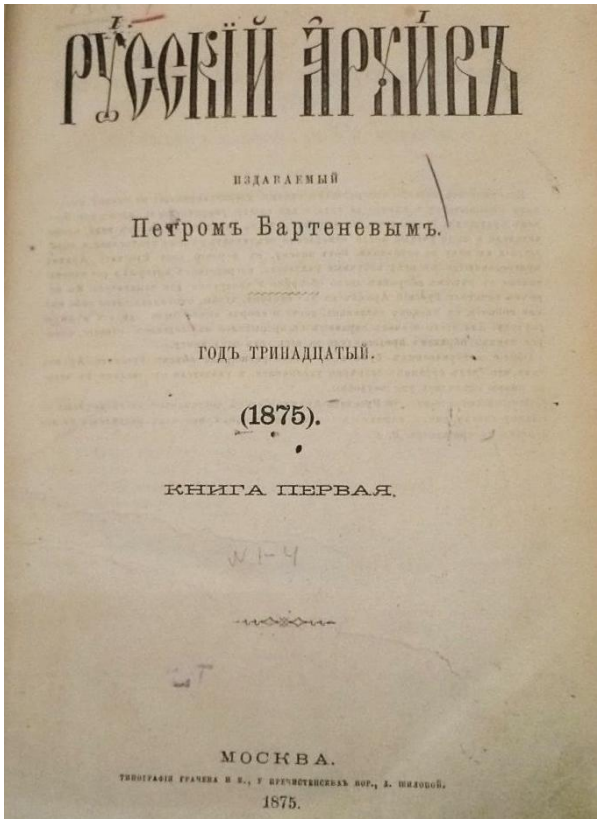
Последняя версия, декабрь 2016 г.

Приложение

Киевская Первая гимназия

Е.Ф. фон-Брадке*. Автобиографические записки //«Русский Архив», 1875, Кн. 1, №№ 1, 3


РУССКІЙ АРХИВЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ

Петромъ Бартеневымъ.

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

(1875).

КНИГА ПЕРВАЯ.

МОСКВА.

ТИПОГРАФІЯ ГРАЧЕВА И К., У ПРЕЧИСТЕНСКИХЪ ВОР., Д. ШИЛОВОЙ.

1875.

<…> Доехав [в декабре 1832 г.] до Черниговской губернии, принадлежавшей к моему учебному округу, я остановился в г. Стародубе и отправился в 9 часов утра в уездное училище. Я застал всех учеников бегающими по двору и по их следам – старого, хромого солдата, который расправлялся с ними словом и делом, когда они слишком бунтовали и подвергались какой-либо телесной опасности. При моем появлении они несколько смутились; но так как я отнесся к ним весьма приветливо, то игры продолжались до 10-ти часов, когда все перешли в классы, где и я преспокойно уселся. В 11 часов появился первый учитель, а в 11½ и двое остальных. Меня не тревожили, и я присутствовал [полуинкогнито] при преподавании, которое заключалось единственно в буквальном переспросе уроков и в распределении новых задач. По окончании классов я назвал себя и просил учителей явиться ко мне немедленно в полном составе, причем в сильнейшем возмущении высказал им мой взгляд на подобный образ действий.

---

* Егор Федорович фон-Брадке (1796-1862) в декабре 1832 г. Высочайшим указом был определен на должность попечителя Киевского учебного округа и в том же месяце отправился в инспекционную поездку. Мы приводим здесь выдержки из его обширных автобиографических записок, касающиеся лишь постановки учебного дела в сем округе. Немного о предках Е.Ф. фон-Брадке:

Род наш происходит из Швеции; мой прадед, во времена Карла XII, был полковником и Шведским комендантом в Любеке. О древнейших предках со стороны моего отца мне ничего не известно, даже не знаю, принадлежали ли они к [Шведскому] дворянству, или мой прадед был первый возведен в это достоинство, к чему впрочем я был вполне равнодушен. Мой прадед имел только двух сыновей, которые начали свою службу в Ольденбургских или Голштинских войсках и переселились оба в поручьичем чине в Россию…

Но инспектор смиренно представил мне следующее оправдание: что сегодня де базарный день, что жалованье учителей заключается в 120 руб. ассигнациями [в год], что они не в состоянии держать у себя прислуги и потому должны пользоваться торговым днем, если желают продовольствоваться в течение всей недели. Разумеется, я не вправе был придавать этим причинам официального значения; но «язык мой прилип к гортани», и я с трудом мог воздержаться от смеха.

В Чернигове осматривал я гимназию и нашел совершенно запущенное и нетопленное помещение, дряхлого директора, мало хороших, а большею частью слабых учителей и весьма даровитую, но вполне неразвитую молодежь; и здесь так же старший учитель получал [лишь] 300 руб. ассигнациями жалованья. Эти оба заведения послужили мне мерилом для всех остальных, и я с грустным чувством продолжал свой путь в Киев, ожидая весьма немногого в будущем. Как я мог надеяться приобрести даже посредственных преподавателей при существующих окладах?

<…> Первое свое посещение [в Киеве] направил я в гимназию. Я нашел значительное, но совершенно запущенное здание, в котором едва можно было взобраться по прежней парадной лестнице, ведущей во второй этаж, до того она была близка к разрушению. Комнаты никогда не топились, и сохранился похвальный обычай не мести их, даже ради приезда нового начальника. Учителя и воспитанники сидели попросту в бараньих шубах, и при входе моем первые сняли их, чтобы показать мне, что они в мундирах.

Эти учителя, с длинными, всклокоченными волосами, и многие из старших учеников, небритые, имели довольно дикий вид. В числе долгих бород некоторые еще находились в младшем классе, и я узнал, что многие уже 8 лет в нем оставались и при этом промышляли извощичьим ремеслом, а также состояли в услужении в лавках и в мастерских и посещали гимназию раза два в месяц, не имея при том другой цели, кроме добродушного удовольствия пощеголять на праздниках в гимназическом мундире.

Директору [Григорию Андреевичу Петрову] и инспектору [Максиму Федоровичу Берлинскому], вместе взятым, было 150 лет от роду; первый из них, весьма достойный, но ни по дарованиям своим, ни по здоровью неспособный человек; второй вполне непригодный, хотя еще бодрый. В числе учителей было несколько даровитых личностей, но все без исключения выполняли свои обязанности, как тяжелое ремесло.

Уездное училище, находившееся в том же помещении, отличалось тем же складом: инспектор старый, но еще вполне свежий человек, лет 60-ти, пользовался славою ничем не брезгать со стороны учеников. Простой ли белый хлеб или бутылку вина или водки – все принимал он с должною признательностью, и часто летом прерывались классы, чтобы доставить детям укрепляющее, телесное упражнение посредством обработки его сада.

Я крепко взмылил голову учителям и предъявил им ясно и подробно мои требования и при этом приказал топить в классах и приготовить сметы для исправления здания, после чего я возвестил им, что намерен теперь же совершить месячный объезд, а после ревизии и по возвращении подробно осмотрю гимназию и если не найду перемены в способе преподавания, то это может иметь для них весьма пагубные последствия.

Производя ревизию в Подольской и Волынской губерниях, я нашел школы вообще в гораздо лучшем состоянии, чем в Киеве и Чернигове, хотя и тут обнаруживались весьма существенные недостатки, а господствующее направление отличалось вполне монашеским характером. Во всех городах меня встречали знатнейшие лица из окрестного дворянства, и все просили позволения присутствовать на ревизии, на что я охотно соглашался, и они являлись целыми толпами. Это было тем замечательнее, что, из желания выиграть время, я производил экзамены от 7-ми часов утра до 9-ти часов вечера, с перерывом только в обеденное время.

Тогда же посетил я Кременец. Он лежит недалеко от Австрийской границы, в живописной местности. Там еще оставались тогда все преподаватели, чиновники, кабинеты, ботанический сад и библиотека так называемого Кременецкого Лицея. Он был устроен знаменитым Чацким, человеком знатным, богатым, всеми уваженным, чрезвычайно образованным и до фанатизма преданным делу, для успехов которого он готов был на всякую жертву*. Он старался добывать нужные суммы, предлагая свои ходатайства, а редкие книги или другие достопримечательные предметы просто похищал собственноручно, коль скоро нельзя было получить их иначе.

Лицей имел назначением доставлять высшему дворянству соответственное образование и воспитывать молодых людей верными подданными Русского императора, но с сохранением [польской] народности. Чацкий воспользовался для того своим сильным значением, которое основывалось на особливой милости к нему императора Александра [I], и старался как можно выше поднять Лицей и доставлять ему все нужные материальные средства. Это и удалось ему: Кременец явно соперничал с Вильною, и многие профессора были лучше Виленских.

Суетность знати удовлетворялась, добровольные пожертвования умножались, собран был капитал в несколько сот тысяч, и распространялось убеждение, что частный человек обязан жертвовать своими собраниями на умножение собраний Лицея. Таким образом, число книг в библиотеке превысило 100 тысяч томов, и кабинеты видимо умножались.

Многие ревностные патриоты начали проводить в Кременце зимние месяцы; маленький дотоле городок оживился беспрестанными балами и другими увеселениями, в которых преимущественно участвовала учащаяся молодежь. Дошло до того, что на масляницу многие знатнейшие семейства переселялись в Кременец из Парижа. Много говорили о том, что в Лицее воспитываются фанатики; но в сущности это было не так. Фанатизм был естественным последствием общественных связей, и его питали женщины, имеющие в западных губерниях великую власть над молодежью.

Кременец сделался любимым местопребыванием Польского дворянства, и по смерти Чацкого стала в тамошнем обществе развиваться мысль о будущей самостоятельной, великой Польше, а в сердцах укоренилась враждебность к метрополии и к государству, с коим связана была Польша. Самый Лицей немного или почти вовсе не содействовал этому превратному направлению; напротив, директор и преподаватели оставались почти совершенно чужды оному и негодовали на то, что возбуждение умов отвлекало молодых людей от науки. Последним директором был породнившийся впоследствии с нами Бокчанин, человек, вполне преданный правительству, твердых правил и верный долгу**.

В профессорах я встретил людей, фанатически преданных только своей науке и мало помышлявших о делах мира сего. Правда, двое представляли исключение, и один из них – русский; но и тех во всяком случае нельзя назвать деятелями. Большая часть преподавателей перешла потом в Киевский университет, и туда же перевезены Лицейские собрания, в том числе и редкие растения ботанического сада.

<…> По возвращении в Киев прежде всего необходимо было учредить управление округом; но [министр Народного Просвещения] князь [Карл Андреевич] Ливен, из экономических соображений, не определил ко мне секретаря, выбранного мною в Петербурге, и на первых порах обстановка моя была самая жалкая.

---

* В 1805 г. Фаддей Феликсович Чацкий (1765-1813) основал Кременецкую гимназию, в 1819-м переименованную в Волынский лицей. В 1831 г. почти все его воспитанники влились в польское восстание, поэтому сие учебное заведение пришлось закрыть, но в 1834 г. его оборудование и библиотека послужили основой при создании Университета св. Владимира в Киеве.

** Речь идет об Иосифе (Осипе) Бокщанине, который станет первым директором открывшейся в январе 1833 г. Волынской губернской гимназии и потому «породнится» с Киевским учебным округом.

Тогда же я начал ревизовать гимназию, с двоякою целью – познакомиться с ее состоянием и в то же время, посредством экзаменов, определить главнейшие черты в системе преподавания. Тут я заметил с радостию, что в отсутствие мое учителя начали усерднее заниматься делом и хотя не успели произвести что-либо значительное, но уже желали этого. Прежде всего надлежало доставить им насущный хлеб, чтоб они могли существовать как на службе, так и вне ее. Я отправил по этому предмету настоятельное представление к только что вступившему тогда в должность министру [Народного Просвещения Сергею Семеновичу] Уварову, прося ввести уже утвержденный новый штат Киевского учебного округа, и не увольнял никого из преподавателей, пока на его долю не выходило пенсиона, более значительного прежде прежнего.

Между тем я искал людей, делал некоторые предварительные распоряжения, чтобы при благоприятнейшей обстановке привлечь более годных людей, и продолжал ежедневно посещать гимназию, заступая место директора и инспектора, прилежно наблюдая за преподаванием и руководя им. Старого директора [(Г.А. Петрова)] я попросил отдохнуть и, чтобы не огорчать его, поручил его сыну [Александру Григорьевичу], бывшему учителем, исполнять мои приказания по гимназии. Инспектора [(М.Ф. Берлинского)] назначил я в председатели одной комиссии, и, таким образом, мне по крайней мере никто не мешал повести дело в ином направлении.

<…> В это время высшее учебное учреждение в Киеве становилось настоятельною необходимостью. В нем как нельзя более нуждалась молодежь западных губерний и царства [Польского], и кроме того чувствовалась потребность в приготовлении хороших учителей. Происходили о том совещания, и сначала в Петербурге решено было учредить университет в Орше для Белорусского учебного округа, а в Киеве – Лицей. Конечно для меня было чрезвычайно важно добиться Университета в Киеве.

[Генерал-губернатор Василий Васильевич] Левашов весьма желал того же, и мы оба ревностно старались достигнуть нашей цели. Дело удалось скорее, нежели мы рассчитывали, потому что не предъявлено было никакого затруднения со стороны моего соседа, Белорусского попечителя [Григория Ивановича] Карташевского, человека очень ученого и в высшей степени достойного, но робкого и нерешительного.

Не прошло года, как меня потребовали в Петербург для ближайших разъяснений. Сумм Лицея было достаточно, чтобы покрыть содержание Университета в первые два года и, по устранении важного денежного вопроса, устав был утвержден, и я получил уполномочие учредить Университет, как скоро дозволят обстоятельства; я же, чтобы не терять времени в столь важном деле, объявил, что открою Университет в Июле следующего [1834-го] года. Эта быстрота возбудила всеобщее удивление.

Мне говорили, что я не найду ни помещения, ни преподавателей; а я с своей стороны возражал, что помещение найду какое придется, что преподавателей нельзя приглашать за много лет вперед и если затрудняться преподавателями, то могут пройти многие годы, прежде чем найдешь их, каких желательно; что во всяком случае дело это очень важно, и по нужде я открою Университет на улице (к каковой крайности я конечно не думал прибегать).

Решительность моя одолела все сомнения, вызвала даже одушевление к этому делу, так что старик-отец ваш* некоторое время был модным человеком, и знакомства его искали самые высшие особы. Но это, разумеется, как и бывает со всякою модою, продолжалось недолго. Добившись столь важного решения, я возвратился в Киев. Между тем введен новый штат учебного округа: чиновникам и учителям предоставлены пенсионы, каких они никогда не ожидали.

---

* Автобиографические заметки Егор Федорович писал в первую очередь для своих детей.

Е.Ф. фон Брадке, попечитель Киевского учебного округа

Я был так счастлив, что уволить пришлось только инспектора Киевской гимназии [(М.Ф. Берлинского)]; остальные неспособные и ленивые учителя, а равно и те, которым сделалось неудобно продолжать безнравственный образ жизни, сами просили об увольнении, ввиду строго заявленных требований. Назначение хороших директоров и инспекторов в гимназии и уездные училища и ежегодный осмотр всех этих заведений сообщили им новую жизнь и дали возможность постепенно совершенствоваться.

Лицей, основанный в Нежине щедротами семейства Безбородков, нашел я так же в состоянии разложения. Он состоял из жалкого математического факультета и не был связан с гимназиею, отчего занятия не представляли никакой определенной цели, и в студенты поступали только на стипендии. Директором был старик, не имевший никакого усердия к заведению; молодежь свободно распутничала; профессора были по большей части вполне ничтожные люди и, во всяком случае, непохвального образа жизни. По моим настоятельным представлениям, учрежден юридический факультет, и к Лицею присоединена гимназия. Благодаря этому и назначению надежного директора и знающих преподавателей, учреждение оживилось и стало процветать.

По этому поводу припоминаю два случая, произведшие на меня сильное впечатление. Учитель немецкого языка в Киевской гимназии, отчаянный пьяница, как скоро прибыл новый попечитель, еще не представляясь ему, решился бросить свой порок: он сдержал слово и был потом у меня одним из лучших учителей*.

Другой случай до такой степени противоречит общему мнению, будто в старости нельзя ожидать исправления, что мне хочется привести его. Вышеупомянутый инспектор уездного училища [в Киеве], не отвергавший самого малого приношения и во всю прошедшую жизнь свою погрязавший в безнравственности, не был уволен, в уважение большой семьи и дабы он мог дождаться возвышенного пенсиона и хоть сколько-нибудь обеспечить свое существование на старости лет.

---

* Возможно, это Иван Ильич Лембах, который прослужил в К. I Г. с 1824-го по 1833 г., а затем был назначен лектором немец. яз. в лицей князя Безбородко (по 1840 год), тогда как фон-Брадке служил попечителем по 1838 год.

Я перевел его в инспекторы особого дворянского уездного училища о четырех классах, причем были приняты меры улучшения посредством [привлечения] хороших учителей и постоянного надзора. Но вскоре надзирать стало нечего: старик-инспектор сделался усерден и точен; училище быстро приобрело добрую славу в средних сословиях, и число учеников возросло до того, что я должен был завести двойные классы.

Через два года по учреждении я был на годовом публичном акте этого училища, вместе с графом Левашовым и многими другими посетителями. По окончании акта, по тамошнему обычаю, мы пошли на квартиру инспектора к завтраку. У меня было уговорено, чтоб на этих завтраках отнюдь не подавали ничего роскошного.

Тут вижу на столе бокалы для шампанского. На вопрос, что это значит, меня просят, чтоб я допустил исключение только на этот раз. После завтрака старик-инспектор, с бокалом в руке и со слезами на глазах, падает передо мною на колени. Меня это озадачило несколько. Я прошу и приказываю ему встать. – «Не перед попечителем стою я на коленях, – отвечал старик, – а перед орудием Божеского милосердия, которое из негодяя сделало меня почтенным человеком, возвратило меня самому себе. Я грешил так, что все о том знали; хочу гласно и покаяться в моем грехе».

Все были тронуты и, признаюсь, мне пришлось сделать над собою усилие, чтобы самому слишком не растрогаться. Многие годы потом этот человек нравственно, по-христиански, с любовью и успехом трудился для блага своего училища, и когда он умер, почти весь город провожал его до кладбища. Вообще должен я заметить, что исполнение долга, на первых порах вынуждаемое, становилось скоро самопроизвольным. Когда я выехал из Киева, не оставалось следов бывшей распущенности, и между учителями различных учреждений преобладала серьезность, с полным отсутствием кичливости. Может быть, бывали случаи лицемерия; но тут судит уже Бог-Сердцеведец, а усердие к делу и нравственная жизнь учителей во всяком случае принесли пользу ученикам.

В таком положении дел умножалось доверие: ученики съезжались в Киев со всех концов государства; приходилось заводить двойные классы, учреждать новые училища. По достижении 12-летнего возраста дети уже не оставались дома, и самые знатные семейства доверяли их гимназиям. Надо было учреждать казенные пансионы; в одном Киеве их учреждено четыре на триста мальчиков, а требование все росло. Такого наплыва в общественные училища не было и в блестящие времена графа Чацкого. При назначении моем я принял две тысячи воспитанников и передал своему преемнику с лишком двенадцать тысяч. Пансионы служили мне отдохновением. Сначала я был должен заниматься ими настойчиво и входить в мельчайшие подробности, потому что никто не смыслил в этом деле; но потом, когда дети необыкновенно полюбили меня, и я радовался успехам, ездить по пансионам стало для меня отрадою; я отдыхал там от дневных трудов, которые нередко удручали меня.

Между тем принимались все меры к открытию Университета. Мне удалось нанять три частных хороших, каменных дома; в одном из них поместились аудитории, актовый зал и все служебные принадлежности; а в двух других – перевезенные из Кременца кабинеты вместе с библиотекою. Все было не роскошно, но прилично и удобно, после сделанных на счет Университета исправлений. Многих профессоров получил я из Кременца, преимущественно для физико-математического факультета; юридический факультет образовался из тех юристов, которые были мне уступлены [Михаилом Михайловичем] Сперанским или, лучше сказать, которых я взял у него силою; они были подготовляемы под руководством этого замечательного человека для законодательной комиссии, затем в продолжение трех лет учились в Берлине и в других Университетах Германии, и из них некоторые соединяли замечательные природные способности с прочным и основательным образованием и впоследствии оказались отличными преподавателями.

Недостающее число профессоров было пополнено лучшими доцентами других Университетов, привлеченными новым учреждением, и Дерпт тоже внес свою долю участия ([Эрнест Карлович] Гофман, [Иван Яковлевич] Нейкирх и [Рудольф Эрнестович] Траутфеттер). Нужно было время и много выносливой терпеливости, ниспосылаемой Божескою благодатью бедному и слабому ее орудию, чтобы подвести эти разнообразные элементы под одно иго и согласить противоречившие одна другой национальности в общем чувстве сердечной привязанности к учреждению, к которому они принадлежали и для блага которого должны были мирно и единодушно работать.

(Великие заслуги Е.Ф. фон-Брадке по устроению и управлению Киевского учебного округа изложены, на основании подлинных бумаг, господином Виталием Шульгиным в статье его «История Университета св. Владимира», в Русском Слове, 1859 г., кн. 10-я. В этой статье между прочим сказано: «Для Брадке Русский, Немец и Поляк не существовали, а только – способные и неспособные люди», стр. 27. – Примеч. издателя «Русского Архива» Петра Бартенева)

15 Июля 1834 г., в день Святого Владимира, Университет был открыт. Еще за несколько дней стало во множестве съезжаться дворянство из Киевской, Подольской и Волынской губерний, и в меньшем числе – из Черниговской и Полтавской. Съехалось больше, чем съезжается на контракты в Январе месяце. За три рубли в сутки нельзя было достать крошечной комнаты. Многие богатые люди располагались по сараям и в клетях, так как иначе ни за какую цену не находилось пристанища. До такой степени три западные губернии сочувствовали этому торжеству. Накануне, 14 Июля, мы только что отпили чай в саду, как начало съезжаться разодетое дворянство. Не ожидая такого заранее условленного съезда, я приказал было принести стулья, но скоро увидел, что стульев недостанет. Гости становились группами, по уездам; дворянские предводители представляли мне их поодиночке. Не скрою, что такая предупредительность, ничем с моей стороны не вызванная, весьма приятно меня тронула.

Наша актовая зала едва вмещала в себе 350 человек, и поэтому я отослал трем дворянским предводителям по сту входных билетов; но они настоятельно просили еще билетов, и я должен был распорядиться, чтобы впускали всякого одетого в дворянский мундир, предоставляя этим господам самим позаботиться о размещении. 15-го числа, в 9 часов утра, в Лавре началось богослужение; служил митрополит [Евгений]. Оттуда около 11-ти часов мы отправились в Университет. Митрополит, с знатным духовенством, освятил покои. Зала, соседние комнаты и лестница наполнились до невозможности: хотели, по крайней мере, присутствовать. Много стульев повынесли, чтобы только выгадать больше места. Для старого фельдмаршала [Фабиана Вильгельмовича Остен-]Сакена, генерал-губернатора [Левашова], духовенства, начальников губерний и предводителей дворянства приготовлены были особые места; я поместился рядом с университетскими чинами возле кафедры, спиною к публике.

Когда прочли императорские рескрипты и профессор истории [Владимир Францевич] Цых окончил ученую речь, я обратился к публике и изложил причины основания Университета и намерения правительства, после чего три дворянских предводителя, в нескольких словах, выразили Государю благодарность за оказанное благодеяние, и это были не пустые слова: собрание обнаруживало явно радостное и восторженное возбуждение.

(Особенное сочувствие местного дворянства, большею частию Польского происхождения, к открытию Университета объясняется словами Высочайшего указа 8 Ноября 1833 года: «Признали мы за благо, по переводе Волынского Лицея из Кременца в Киев, преобразовать оный в высшее учебное заведение с надлежащим распространением и на твердых основаниях, преимущественно для жителей Киевской, Волынской и Подольской губерний, коих наследственное усердие в пользу просвещения упрочило и на будущие времена благосостояние учебных заведений того края». – Примеч. издателя «Русского Архива» Петра Бартенева)

В тот же день на деньги, собранные членами Университета, устроен был обед для властей и дворянства. Тут тоже я должен был уступить просьбам предводителей и вместо 150-ти разослать 300 приглашений: они меня уверяли, что дело не в числе приборов, но что им хочется увезти домой воспоминание об этом празднике.

Тосты вызвали большое воодушевление, которое усилилось, когда встали из-за стола и фельдмаршал с духовенством уехали. Раздавались восторженные приветствия Университету, и тостам не было конца. Видя, что начинает быть уже слишком шумно, я хотел потихоньку удалиться; но меня поймали, подняли на верх [(на руках)], пили еще раз за мое здоровье; дворянство на руках снесло меня вниз и посадило в экипаж.

После были большой обед у генерал-губернатора, бал от дворянства и многие другие торжества; выражалось много симпатии, но я чувствовал усталость. В заключение торжественные депутации дворянства трех губерний являлись благодарить меня. Так кончились эти торжества, и мы приступили к открытию курсов.

Генерал[-губернатор] Левашов и прибывший по Высочайшему повелению от министерства [Народного Просвещения] граф [Николай Александрович] Протасов выражали мнение, что было бы выгодно на первых порах облегчить приемные экзамены; но я не мог согласиться с этим и лично наблюдал, чтобы поступающие в студенты экзаменовались как следует. Впоследствии оба согласились, что я был прав.

Открылся сначала один первый курс, и помещений было достаточно, с избытком; хотя кафедры не все были заняты, но преподаватели не обременялись делом. И по открытии всех курсов места было довольно, а в это время порожние кафедры замещались, по мере надобности, надежными лицами… Студенты могли свободно развивать свои силы, а к вспышкам юношеской живости [мы] относились отечески, строго требуя однако соблюдения существующих законов и постановлений. Попечитель всегда обращался с студентами как отец и друг. Таким его все и почитали, и только в важных и редких случаях предъявлял он свою начальническую власть, что и производило всякий раз сильное впечатление.

Портрет участника Отечественной войны В.В. Левашова кисти Джорджа Доу

Молодые люди часто прибегали к нему в своих личных и семейных делах; родители тоже, и так как в тех местах много бывало семейных столкновений, то попечителю нередко приходилось брать на себя посредничество. Прямым начальником студентов был инспектор (эту должность занимал сначала зять мой, полковник Люце). У него было два помощника; полицейскую должность исполняло несколько человек – педелей.

Все дела обсуждались и улаживались словесно, и только в сложных и очень редких случаях инспектор прибегал к письменному донесению. Принятые в первый год студенты представляли собою довольно нравственный кружок, в котором уважалась религия и развито было чувство чести. Так как число их доходило лишь до 60-ти человек, то я знал всех лично и мог следить за ними. Я внушал им, чтобы они сами оберегали честь своего студенчества и в случае нужды обращались ко мне за содействием. Это было по поводу того, что два перешедшие из Казани студента были замечены в пьянстве. В течение целого года студенты утверждались в добрых правилах, и затем новопоступающие уже поневоле вторили общему настроению Университета. Вообще должно сказать, что хотя и не обходилось без юношеских увлечений, но студенты держали себя нравственно.

Позднее, к сожалению, образовалась печальная путаница в умах, благодаря политическому направлению западных губерний; но иначе и быть не могло, ввиду судорог Польской революции и по причине фанатизма в старшем поколении, особливо в женщинах. Я предвидел это и лично докладывал об этом Государю, еще до основания Университета.

Во втором году существования Университета был Высочайше утвержден план особого университетского здания, по смете в три миллиона рублей ассигнациями*, а в третьем году было приступлено к самым постройкам.

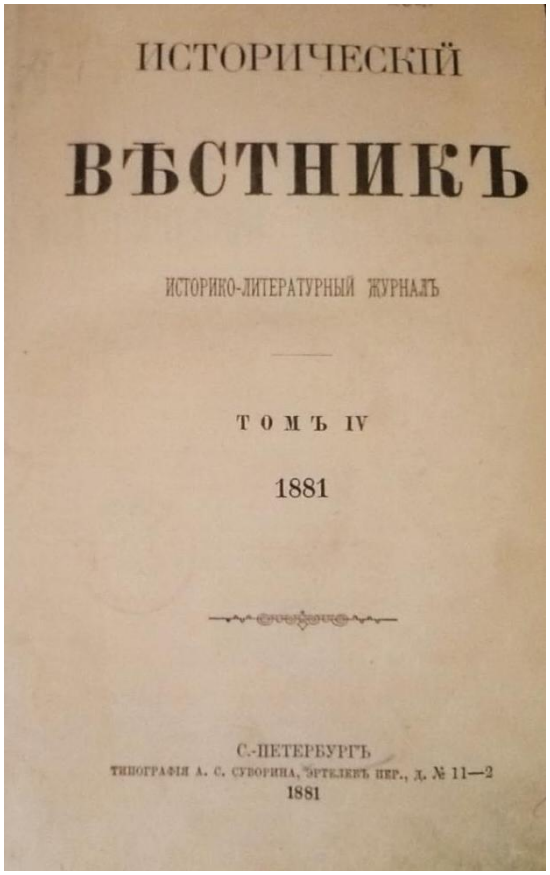
<…>

---

* Со сметой на постройку университетского здания вышла история вполне в российских традициях коррупции и воровства:

Остзейский немец по происхождению, едва говоривший на русском языке, профессиональный военный с самым скромным образованием, Егор фон Брадке ухитрился в течение семи лет руководить Киевским учебным округом. Но именно его инициативе и настойчивости наш город обязан открытием университета. Проект здания, составленный архитектором Беретти, едва не отверг Николай I, т.к. сметная стоимость достигла немыслимой по тем временам суммы – 8-ми миллионов рублей. Как оказалось, местные чиновники утвердили заведомо завышенные цены на стройматериалы, чтобы излишек ушел в их карманы. На что и рискнул намекнуть самодержцу уяснивший ситуацию фон Брадке. Николай тут же дал команду «озаботиться уменьшением» цен. С этим монархом шутки были плохи: подробное расследование могло кончиться Сибирью. Поэтому стоимость постройки университета мигом уменьшилась с 8-ми до 2,7 миллиона. С этой суммой царь согласился. – ***Михаил Кальницкий, «Киевские ведомости», 13 мая 2004 г.***

В.Г. Авсеенко*. Школьные годы. Отрывки из воспоминаний (1852-1863) //«Исторический Вестник», 1881, т. IV


ИСТОРИЧЕСКІЙ

ВѢСТНИКЪ

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ТОМЪ IV

1881

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА, ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. № 11—2
1881

Пропускаю впечатления из своего раннего детства, хотя из них очень многое сохранилось в моей памяти. Пропускаю их потому, что они касаются моего собственного внутреннего мира и моей семьи и не могут интересовать читателя. В этих беглых набросках я имею намерение как можно менее заниматься своей личной судьбой и представить вниманию публики лишь то, чему мне привелось быть свидетелем, что заключает в себе интерес помимо моего личного участия.

В августе 1852 года меня отдали в первую петербургскую гимназию. Преобразованная из бывшего благородного пансиона при петербургском университете, она оставалась закрытым заведением и в некоторых отношениях сохраняла еще прежний характер привилегированной школы. В нее принимались только дети потомственных дворян, в обстановке воспитания замечалось стремление к чему-то более порядочному, чем в других гимназических пансионах; кажется и плата за воспитанников в ней была положена значительно высшая. Я был недурно подготовлен дома, и кроме того доступ в учебные заведения тогда был очень легок. Начальство находило нужным, так сказать, заманивать учеников, во всяком случае встречало их с распростертыми объятиями.

---

* Беллетрист, критик и публицист Василий Григорьевич Авсеенко (1842-1913) родился в дворянской семье, в 1862 г. окончил историко-филологический факультет Университета св. Владимира. Защитив диссертацию, некоторое время был приват-доцентом по кафедре всеобщей истории. В 1864 г. оставил университет и стал сотрудником, а затем соредактором газеты «Киевлянин» В.Я Шульгина.

Мы приводим здесь выдержки не только от впечатлений автора из гимназических годов (к сожалению, весьма кратких), но и из его университетского обучения, которые в той же степени характеризуют, по его мнению, «провинциальность Киева», за двумя-тремя редкими исключениями (хотя, по этим же впечатлениям, СПб. – почти так же провинциален).

Василий Григорьевич Авсеенко

Меня проэкзаменовали шутя и предложили принять во второй класс; но отец мой, большой любитель порядка и последовательности, предпочел поместить меня в первый класс – чтоб уже непременно с начала до конца, систематически, пройти весь курс.

Выросший дома, среди соответствовавшей возрасту свободы, я с большим трудом входил в условия пансионской жизни. Меня стесняла не дисциплина этой жизни, а невозможность остаться хоть на минуту одному с самим собою. Дома я привык читать; в гимназии это было почти немыслимо. Иметь свои книги не разрешалось, а из казенной библиотеки давали нечто совсем несообразное – вроде например допотопного путешествия Дюмон-Дюрвиля*, да и то очень неохотно, как бы только во исполнение воли высшего начальства.

Библиотекой заведывал инспектор, Василий Степанович Бардовский – человек, обладавший замечательною способностью «идти наравне с веком», только в самом невыгодном свете. Мне говорили, что в 60-х годах, будучи уже директором, он страшно распустил гимназию, что и было причиною нареканий на это заведение; но в мое время он обнаруживал во всей неприкосновенности закал педагога-бурсака и разделял все увлечения тогдашнего обскурантизма. Розга в четырех младших классах царствовала неограниченно, и лишь немногие из моих товарищей избегли вместе со мною знакомства с этим спорным орудием воспитания. Секли, главным образом, за единицы.

Каждую пятницу вечером дежурный гувернер выписывал из [классных] журналов всех получивших на неделе единицы или нули, а каждую субботу, на первом уроке, Василий Степанович являлся в класс и кивком головы вызывал попавших в черный список. Товарищи провожали их умиленными глазами… Надо впрочем сказать, что учиться было не тяжело, и избегать единиц не представляло больших трудностей.

---

* Жюль Дюмон-Дюрвиль (1790-1842), французский мореплаватель и океанограф.

Соч.: Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes «l'Astrolabe» et «la Zélée», exécuté par ordre du roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, 24 tomes, Paris, 1841-54;

в рус. пер. вышла другая книга – «Всеобщее путешествие вокруг света, содержащее извлечения из путешествий известнейших доныне мореплавателей, как-то: Магеллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картерета, Бугенвиля, Кука, Лаперуза, Блея, Ванкувера, Антркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Портера, Коцебу, Фрейсине, Билленгсгаузена, Галля, Дюперре, Паульдинга, Бичея, Литке, Диллона, Лапласа, Морелля и многих других»; печаталась наперегонки по частям в типографиях Москвы и СПб. в конце 1830 – начале 1840 годов (фр. оригинал – M. Dumont D'Urville. Voyage autour du monde, résumé général des voyages de découvertes).

Забота о развитии молодого ума, о воспитании благородных инстинктов как-то не вяжется с розгой. И действительно, о таких вещах заботились мало. О жалком составе гувернеров я скажу дальше; сам инспектор, дух и руку которого мы ощущали ежеминутно, хлопотал только о водворении порядка и страха и об искоренении свободомыслия. Поощрять охоту к чтению, к труду не по указке не входило в его программу, и на просьбу выдачи книги из библиотеки большинство учеников получало неизменный, иногда оскорбительный отказ. – «Занимайся лучше уроками! единицы имеешь! Да, так-с!» – отвечал обыкновенно Василий Степанович, повертывая между пальцами серебряную табакерку. «Да, так-с» прекращало всякие разговоры.

Не знаю, сам ли инспектор руководил покупкою книг для библиотеки, но помню, что состав ее был удивительный. Она помещалась в приемной комнате, и бывая там, я усердно разглядывал надписи на корешках книг, но постоянно видел одни и те же «Сочинения Нахимова»*. С тех пор я долго не мог отделаться от представления о Нахимове, как о величайшем русском писателе… Достать книгу по собственному желанию было невозможно.

Помню, что я долго искал, как клада, том лирических стихотворений Пушкина. В то время Пушкина не было в продаже: смирдинское издание (плохое, не полное, на серой бумаге) уже исчерпалось, а анненковское еще не появилось; в моей домашней библиотеке недоставало почему-то одного тома, с мелкими лирическими пьесами, и я знал некоторые из них только по хрестоматии Галахова. Пробел этот просто мучил меня, и я несколько раз, рискуя навлечь на себя гнев Василия Степановича, приставал к нему с просьбой выдать мне из библиотеки этот заколдованный том; но инспектор, находя такое стремление к поэзии предосудительным, отказывал наотрез. Уже года через два, учитель русского языка Сергеев – не блестящая, но добрейшая, славная личность – выхлопотал Пушкина для себя, и под величайшим секретом передал его на один день мне. Это был, может быть, один из счастливейших дней моего детства.

Литературные взгляды начальства выражались между прочим в выборе книг, раздаваемых в награду лучшим ученикам при переходе из одного класса в другой. Мне раз дали какой-то «Детский театр», состоящий из малограмотных переводных комедий, в другой раз – «Очерк похода Наполеона I против Пруссии в 1806 году», в третий – один том словаря Рейфа, и т.д.

Но самую печальную сторону управления Василия Степановича составляла его склонность примешивать к педагогическому делу политический элемент. Эта была, впрочем, общая черта времени. Воспитательные заведения чрезвычайно узко понимали задачу искоренения в молодых умах зловредных идей. Могу удостоверить, что ни у кого из моих товарищей никаких зловредных идей не было; напротив, в эпоху крымской войны, патриотическое воодушевление обнаружилось весьма сильно, и многие из воспитанников нашей гимназии прямо со школьной скамьи отправились умирать на дымящихся бастионах Севастополя.

Тем не менее, мы все постоянно чувствовали себя под каким-то тягостным давлением политической подозрительности. Обыкновенные детские шалости, может быть и предосудительные, но объясняемые условиями закрытого воспитания, духом товарищества, нередко рассматривались именно с этой подозрительной quasi-политической стороны. Припоминаю случай лично со мной. Подружившись с одним из товарищей, я в рекреационные часы часто ходил с ним по коридору, и наши разговоры казались нам занимательнее обычных игр в общей зале.

---

* Речь идет об Акиме Николаевиче Нахимове (1782-1814), поэте-сатирике.

Но гувернер Б-ни, усвоивший себе инквизиторские воззрения на самые обыкновенные вещи, запретил нам оставаться вдвоем, объяснив откровенно, что подозревает нашу политическую благонадежность, и что наше отдаление от товарищей вызывает в его воображении классические фигуры Брута и Кассия… Привожу этот неважный случай, чтоб показать, до какой степени односторонне и несвободно относились тогдашние педагоги к этой несомненно важной задаче общественного воспитания.

Надо прибавить, что искание политической подкладки в незначительных явлениях, вытекающих прямо из условий пансионской жизни, приводило к результатам почти противоположным: мы чуть не с десятилетнего возраста получали неестественный интерес к политическим вопросам, и конечно гораздо больше толковали о них, чем нынешние мальчики. Но, повторяю, относиться враждебно к основам нашего государственного быта никому из нас и в голову не приходило. Так называемое свободомыслие скорее направлялось в сферу религиозную – явление, как известно, общее тогда всем закрытым учебным заведениям.

<…> В другой раз припоминается мне почтенный [директор гимназии] Викентий Васильевич Игнатович, как он, в разгаре восточной войны, вошел раз к нам в репетиционную залу и, поздоровавшись необычайно ласково с учениками, провозгласил: «Дети, любите ли вы Россию?». Мы отвечали, что любим. Тогда директор, указав на производящийся повсеместно сбор пожертвований на военные нужды, пригласил нас открыть между собою подписку. Мы отозвались с полною готовностью.

Я не могу судить, насколько вообще деятельность В.В. Игнатовича была плодотворна для гимназии, но должен сказать, что это был несомненно умный и добрый человек и что наверное ни один из его воспитанников не имел с ним неприятного столкновения и не сохранил к нему враждебного чувства. Если нельзя утверждать, чтоб у нас выразилась серьозная любовь к нему, то только потому что мы мало его видели.

Не знаю, насколько следует приписать вине директора неудачный набор своих помощников по воспитательной части, но надо сознаться, что состав гувернеров был из рук вон плох. Все это были иностранцы – в расчете на практику в новых языках – и почти поголовно люди без всякого образования. Крайним невежеством поражали в особенности французы. Один из них, бывший барабанщик Великой армии [Наполеона], раненный казацкою пикой, преподавал в первом классе французский язык и не мог поправлять ошибок в диктовке, не заглядывая в книгу. Другой был до того стар, что почти не стоял на ногах; третий, совсем глупый и безнравственный человек, решительно не годился к педагогическому делу.

Надо впрочем сказать, что французы были все очень добрые люди и мы с ними отлично уживались; зато удивительным злопамятством и тупым педантизмом отличались немцы. Это были наши присные враги, с которыми мы вели непрерывную войну…

Не знаю, к какой национальности принадлежал упомянутый выше [гувернер] Б-ни; фамилия у него была итальянская, но он отлично говорил по-русски, а по характеру напоминал австрийского полицианта меттерниховских времен. Надо было изумляться ловкости, с какою он накрывал шалунов, и доходящей до благородства горячности, с какою он умел самый пустой случай раздуть до степени чуть не политического дела. Австрийский чиновник, обрусевший в тогдашнем Петербурге и совместивший в себе оба букета, бывал иногда истинным виртуозом своего дела.

Время, в которое я поступил в гимназию – считается переходным в истории наших средних учебных заведений. Классическая система, водворенная графом Уваровым в конце 40-х годов, была заподозрена и нарушена.

Греческий язык сохранился только в некоторых гимназиях, предназначенных приготовлять учеников к поступлению на историко-филологические факультеты; преподавание латинского решено начинать только с четвертого класса; взамен того введено с первого класса преподавание естествознания и увеличено число уроков по математике. Приготовляющие себя к поступлению прямо из гимназии на государственную службу обязывались слушать законоведение. Этот новый учебный план вводился с 1852 года, т.е. как раз со времени моего поступления.

Со стороны теоретической реформа очевидно не выдерживала ни малейшей критики и была ничем иным, как делом бюрократического невежества. Тем не менее, припоминая свои школьные годы, я не могу не сказать, что у нас учились недурно и что получаемое нами образование достигало важнейшей цели – давало ученикам и умственное развитие, и охоту к дальнейшему научному труду. Без сомнения, этим благоприятным результатом гимназия была обязана не программам, представлявшим нелепый винегрет каких-то клочков и обрывков, а выдающемуся таланту некоторых преподавателей и хорошему составу учеников.

Преподаватели [в гимназии] были разные, молодые и старые, годные и негодные, но все они были гуманные, в большинстве очень симпатичные люди, и я не сомневаюсь, что из моих товарищей никто не сохранил ни к одному из них никакого недоброго чувства.

Они стояли решительно вне общего направления и скорее сами подвергались его давлению, чем давили нас. Иначе, впрочем, и быть не могло. Образованные люди тогда еще глядели на вещи одинаково, и не было той розни, которая в настоящее время разделяет и разъедает наши культурные силы. Университетская наука заключала в себе подразумеваемый протест против духа реакции, царившего вне ее. Наши учителя были по большей части люди 40-х годов, вынесшие из стен университетов те гуманные идеи, которыми впоследствии характеризовали целое поколение.

Я припоминаю, что мы еще в низших классах понимали этих людей и что никогда в наших шалостях к ним, в наших подчас очень глупых шалостях, не обнаруживалось ничего оскорбительного для них. Устраивая разные, иногда очень дерзкие неприятности гувернерам, эконому, учителям-иностранцам, мы всегда относились с безусловным и весьма замечательным уважением к русским учителям, в которых чувствовали людей иного, лучшего склада.

<…> Отчасти вследствие несколько исключительного положения нашей гимназии, в которую принимались только дети из самого образованного в России сословия, получавшие уже в семействах более или менее развитые культурные инстинкты, отчасти вследствие традиций заведения, где русская словесность всегда составляла как бы центр преподавания, отчасти наконец благодаря общим условиям и общему направлению времени – между нами, начиная с самых младших классов, всегда находилось немало очень умных и даровитых мальчиков, с ранним и определенным расположением к литературному труду, а еще более таких, которые, не обнаруживая выдающего личного дарования, тем не менее до крайности любили все относящееся до литературы и своим сочувствием поддерживали более даровитых товарищей.

Большинство из нас училось не только в исполнение долга, но испытывало потребность сделать нечто большее, заглянуть повыше казенной черты, войти в живую связь с теми, кто знал больше нас, кто мыслил лучше нас; существовало несомненно какое-то особое веяние, сообщавшее нашим школьным годам трудно определяемую привлекательность. <…> При таком составе учеников учителям, умевшим не вооружать нас против себя, не трудно было вести свое дело.

Не все, конечно, обладали теми же способностями и таким же серьозным отношением к своим обязанностям как [преподаватель русского и церковно-славянского языка и словесности] Василий Иванович Водовозов; но замечательно, что у нас учились хорошо даже у преподавателей, так сказать, «невозможных» с нынешней точки зрения.

Так было, например, с латинским языком. Преподаватель этого предмета З-ов, был удивительный чудак. Недурной знаток своего предмета и человек подчас очень взыскательный, он с этою взыскательностью соединял что-то бесконечно распущенное и шутовское. У него была страсть к скабрезным анекдотам, и он требовал, чтоб к каждому уроку один из воспитанников приготовил такой анекдот, но непременно им самим сочиненный и остроумный. Как только войдет З-ов в класс, один из нас тотчас выходит к доске и начинает рассказ… Если анекдот недурен, З-ов хохочет, мы тоже; если не понравится – скажет «ну, это глупо» – непременно будет гораздо строже ставить баллы.

Казалось бы, такой учитель должен был иметь самое разлагающее влияние на мальчиков, а на поверку выходило, что из латинского языка большинство училось очень недурно, и притом я никогда ни от кого из товарищей не слыхал, чтоб этот предмет считался трудным. Другой учитель – Л-ов, старик, преподававший географию, любил сам рассказывать анекдоты, и по большей части не совсем приличные. В таких рассказах большей частью проходил целый урок.

В 1855 году с моим отцом приключился удар. Чрезвычайно крепкий от природы, регулярный во всех своих привычках, он расстроил здоровье чрезмерным трудом. После удара от него потребовали не только оставления службы, но и переезда в теплый климат. По этой причине мы в 1856 году переехали в Киев, и я перевелся в киевскую первую гимназию. Три года, проведенные в этом заведении, принадлежат к самым скучным годам в моей жизни.

Мне было очень трудно привыкнуть к совершенно иному тону, царившему в провинциальной гимназии. По составу преподавателей она считалась лучшею в округе, и в этом отношении перемена была не особенно чувствительна. Но совсем другим характером отличался состав воспитанников. На них на всех лежала тусклая печать провинциальности, тот серый, подавляющий колорит обывательской ординарности, с которым мне впервые приходилось знакомиться. Артистическая даровитость, отличавшая моих петербургских товарищей, значительный уровень их умственного развития, их раннее, может быть даже слишком преждевременное, знакомство с интересами значительно высшего порядка – ничего этого в киевской гимназии я не встретил.

Единственным отрадным воспоминанием за эти три года я обязан покойному учителю русской словесности, А.П. Иноземцеву. Это была очень даровитая личность, к сожалению рано унесенная смертью. Отличный знаток русского языка, человек с правильным и тонким литературным вкусом, Андрей Петрович был совсем не на месте в гимназии, где воспитанники состояли из поляков и малороссов, не только не умевших правильно говорить по-русски, но даже неспособных отделаться от нерусского акцента. Бывало, он чуть не плакал с досады, когда, например, ученик скажет: «помочу перо»*, и в целом классе не найдется ни одного, кто мог бы его поправить.

Мне сдается, что самая смерть Иноземцева – от разлития желчи – была подготовлена скукой провинциального прозябания и возни с поголовною добропорядочною бездарностью. Ю.Э. Янсон, заступивший его место, человек очень образованный и талантливый, но еще очень молодой, не догадался принять в расчет умственный уровень учеников, но скоро убедился, что класс только хлопает на него глазами – и тоже огорчился.

---

* Имеется в виду, что на «литературном языке» надо говорить – «обмакну перо [в чернильницу]».

Впрочем, это случалось с каждым учителем, который пытался хоть чуточку приподнять уровень преподавания. Мне было очень скучно, и я учился гораздо хуже чем в Петербурге, и хотя окончил курс хорошо, но без медали.

В университет я поступил в сентябре 1859 года. В то время историко-филологический факультет в Киеве считался блистательным. Его украшали В.Я. Шульгин, П.В. Павлов, Н.Х. Бунге; число студентов на нем было очень значительно, благодаря главным образом тому, что в киевском университете вообще было много поляков, сыновей местных помещиков, а польское дворянство всегда отличалось склонностью к словесным наукам.

Я не намерен останавливаться на своих личных впечатлениях, у всякого очень свежих и памятных за эту пору первой зрелости, первых серьезных дум, первых забот и наслаждений. Я хочу только набросать силуэты профессоров и отметить особенные черты, отличавшие университетскую жизнь в знаменательное для края и для всего русского общества время 1859-1863 годов.

Начну с печального сознания, что печать провинциальности лежала на университете в той же мере как и на гимназии. Она выражалась и в отсутствии людей с широкими взглядами, и в слабой связи большинства профессоров с литературными и общественными интересами, занимавшими Петербург, и в подавляющем преобладании «обывательских ординарностей», и во множестве мелочей – в запоздалом появлении какой-нибудь книги, в разнузданности сплетни, принимавшей тотчас самый уездный характер, в старомодном слоге и в невероятном акценте большинства профессоров.

Историко-филологический факультет был значительно лучше юридического и математического, но я думаю что и на этом факультете только двое могли назваться действительно талантливыми тружениками науки – В.Я. Шульгин и Н.Х. Бунге.

Виталий Яковлевич Шульгин считался светилом университета. И в самом деле, такие даровитые личности встречаются не часто; по крайней мере в Киеве он был головою выше не только университетского, но и всего городского образованного общества, и едва ли не один обладал широкими взглядами, стоявшими над чертами провинциального миросозерцания. Самая наружность его была очень провинциальная; с горбами спереди и сзади, с лицом столько же некрасивым по чертам, сколько привлекательным по умному и язвительному выражению, он производил сразу очень сильное впечатление.

Я думаю, что физическая уродливость имела влияние на образование его ума и характера, рано обратив его мысли в серьезную сторону и сообщив его натуре чрезвычайную нервную и сердечную впечатлительность, а его уму – наклонность к сарказму, к желчи, подчас очень ядовитой и для него самого, и для тех на кого обращалось его раздражение.

Последнее обстоятельство было причиной, что и в университетском муравейнике, и в городском обществе у Шульгина было немало врагов, но можно сказать с уверенностью, что все более порядочное, более умное и честное, неизменно стояло на его стороне. Надо заметить притом, что при своей наклонности к сарказму, при своем большею частью язвительном разговоре, Шульгин обладал очень горячим, любящим сердцем, способным к глубокой привязанности, и вообще был человек очень добрый, всегда готовый на помощь и услугу. Как профессор, Шульгин обладал огромными дарованиями.

Не решаюсь сказать, чтоб он был глубокий ученый в тесном смысле слова, но никто лучше его не мог справиться с громадною литературой предмета, никто лучше его не умел руководить молодыми людьми, приступающими к специальным занятиям по всеобщей истории. Критические способности его изумляли меня. В мою бытность студентом он читал, между прочим, библиографию древней истории.

В.Я. Шульгин, профессор Университета св. Владимира

Эти лекции могли назваться в полном смысле образцовыми. С необычайною краткостью и ясностью, с удивительной, чисто художественной силою определения и характеристик, он знакомил слушателей со всей литературой предмета, давая одним руководящую нить для их занятий, другим восполняя недостаток их собственной начитанности. Притом он в замечательной мере обладал даром слова.

Его речь, серьезная, сильная, изящная, не лишенная художественных оттенков, лилась с замечательною легкостью, и ни в одной аудитории я никогда не видел такого напряженного всеобщего внимания. Но в особенности дар слова Шульгина обнаружился на его публичных лекциях по истории французской революции. Возможность раздвинуть рамки предмета и высокий интерес самого предмета, при отсутствии тех условий, которые неизбежно вносят в университетское преподавание некоторую академическую сухость – все это позволило талантливому профессору довести свои чтения, по содержанию и по форме, до такого блеска, что даже пестрая, наполовину дамская, аудитория не могла не испытывать артистического наслаждения.

Мои личные отношения к покойному Виталию Яковлевичу были настолько близки и продолжительны, что я имел случай видеть и оценить его и как профессора, и как редактора «Киевлянина», и как члена общества, и как человека в его домашней обстановке. Везде он обнаруживал тот же серьозный и вместе блестящий ум, тот же живой интерес ко всему честному, человечному, то же открытое, горячо бьющееся сердце, ту же неутомляющуюся потребность деятельности.

Роль его как публициста, создавшего первый в России серьозный провинциальный орган, сразу поставленный на высоту, отвечающую затруднительным политическим обстоятельствам края – достаточно известна, но она уже выходит из пределов моих «школьных лет», и я может быть коснусь ее в другой раз и в другом месте.

Теперь, возвращаясь к университетской деятельности Шульгина, я должен прибавить, что его преподавание отличалось одною весьма важною особенностью: он считал своею обязанностью помогать занятиям студентов не одним только чтением лекций, но и непосредственным руководством тех из них, которые избирали всеобщую историю предметом своей специальности.

У него у первого явилась мысль устроить нечто вроде семинария, наподобие существующих в немецких университетах и в парижской Ecole Normale; эту мысль разделял так же Н.Х. Бунге, которому и привелось осуществить ее на деле; Шульгин же, к величайшей потере для университета, в 1861 году вышел в отставку. Тем не менее у себя дома, в ограниченных, конечно, размерах, он был настоящим руководителем исторического семинария, и его беседы, его советы, его всегдашняя готовность снабдить всякого желающего книгой из своей прекрасной библиотеки – без сомнения памятны всем моим товарищам. Виталий Яковлевич считал как бы своим нравственным и служебным долгом создать себе преемника из среды собственных слушателей, и, действительно, покидая университет, имел возможность представить совету двух студентов, посвятивших себя специальным занятиям по всеобщей истории.

Причины, побудившие Виталия Яковлевича рано оставить университет, заключались отчасти в тяжелых семейных утратах, расстроивших его донельзя впечатлительную и привязчивую натуру, отчасти в неприятностях, сопровождавших его профессорскую деятельность. Привлекая к себе всех более даровитых членов университетской корпорации, Шульгин не пользовался расположением других сотоварищей и не умел относиться к этому обстоятельству с достаточным равнодушием. Ему хотелось отдохнуть. Спустя два года громадный успех предпринятых им публичных чтений о французской революции заставил членов университетского совета догадаться, что если причиною выхода Шульгина и было расстроенное состояние здоровья, то причина эта, во всяком случае, уже устранена.

Потеря, понесенная университетом с отставкою даровитейшего из его профессоров, была так чувствительна, что между бывшими сослуживцами Виталия Яковлевича началось движение, делавшее им во всяком случае большую честь. Стали думать, каким образом вернуть университету того, кто был душою и светилом его. Затруднений, разумеется, встретилось много. Тогда уже действовал новый устав, требовавший от профессора степени доктора [наук]. Шульгин не имел этой степени и, следовательно, мог быть определен только доцентом, с ничтожным жалованьем. На такие условия он не соглашался. Тогда ухватились за параграф устава, которым университету предоставлялось право возводить в степень доктора лиц, известных своими учеными трудами.

Вопрос баллотировали, получилось большинство, представили министру народного просвещения об утверждении Шульгина в докторском звании и о назначении его ординарным профессором. Министр (господин [Александр Васильевич] Головнин) прислал Виталию Яковлевичу докторский диплом, при очень любезном письме. Но, к сожалению, во всю эту, наделавшую в свое время много шуму, историю вошли обстоятельства, побудившие Шульгина отказаться и от диплома, и от назначения. Как раз в это время разыгралось польское восстание. События расшевелили местную администрацию, от нее потребовали более живой, осмысленной деятельности. В перспективе имелись организаторские меры, долженствовавшие совершенно пересоздать местную жизнь; почувствовалась вместе с тем потребность в политическом органе, который служил бы делу пересоздания, явился бы истолкователем новой правительственной программы, будил бы русские элементы в крае.

Так возник «Киевлянин». Виталий Яковлевич первый откликнулся новому движению, горячо принял программу обновления местной жизни и, распростившись окончательно с идеей вновь вступить в университет, отдался всей душой, со всею свойственной ему неутомимостью, деятельности провинциального публициста.

Кафедру всеобщей истории разделял с Шульгиным профессор Алексей Иванович Ставровский. Это был совершенный антипод Виталия Яковлевича и, как следует антиподу, очень его недолюбливал. Семинарист и потом воспитанник бывшего главного педагогического института [в Петербурге], он получил степень магистра всеобщей истории за диссертацию под заглавием «Рассуждение о значении средних веков в отношении к новейшему времени».

Говорят, покойный [профессор всеобщей истории Московского университета Тимофей Николаевич] Грановский, когда хотел потешить своих друзей, извлекал из особого ящика эту удивительную книжицу и прочитывал из нее избранные места. В университетской библиотеке мне удалось видеть экземпляр этого творения; помню, что в нем между прочим говорилось что-то такое о происхождении темляков и портупей…

Во все мое студенчество я не более трех раз посетил лекции Ставровского и очень затрудняюсь определить как и что он читал; товарищи рассказывали о них, как о винегрете каких-то выдохшихся анекдотов, собранных в книгах прошлого столетия. Но я знаю, что, не довольствуясь курсом всеобщей истории, Ставровский читал нам еще науку, по собственным его словам, им самим изобретенную, именно «теорию истории». Под таким заглавием она красовалась и в печатном расписании факультетских чтений.

Я был на первой лекции этой scienza nuova [(новой науки)]; профессор совершенно ошеломил меня живописностью метафор – то он сравнивал историю с голой женщиной под прозрачною дымкой, сквозь которую, т.е. дымку, проникает пытливый взор историка, то строил какую-то необычайно сложную машину, наподобие шарманки, объясняя пораженным слушателям, что вал означает человечество, зубцы, за которые он задевает, – события, а рукоятка, которая его вращает, – уж не помню что, чуть ли не самого профессора. От дальнейшего слушания «теории истории» я уклонился.

Нужно, впрочем, заметить, что слушателями Ставровского могли быть лишь люди не только [не] дорожащие временем, но и обладающие крепкими нервами. Последнее условие требовалось ввиду того, что во всех иностранных словах и именах профессор произносил е как русское ѣ, и выговаривал – Мѣнтѣнон, рѣнѣссанс и прочее.

В большом количестве это выходило нестерпимо, и студенты уверяли меня, что однажды генерал-губернатор князь Васильчиков, присутствуя на университетском акте и слушая, как Ставровский перечислял в своей речи заглавия французских книг, почувствовал себя настолько дурно, что в следующие годы, получая приглашение на акт, всегда спрашивал ректора: «А не будет ли профессор Ставровский произносить французские слова [по-нижегородски]?».

Решительно не могу припомнить, как мы держали из «теории истории». Сдается мне, что факультет вовсе уволил нас от этой непосильной задачи. Зато очень хорошо помню, что оставшись по выходе Шульгина единственным представителем всеобщей, а по выходе П.В. Павлова, также и русской истории в университете, Ставровский задавал для семестральных сочинений очень удивительные темы. К сожалению, не могу привести их здесь в точности, но знаю, что когда я раз в шутку сказал товарищам, будто Ставровский задал сочинение «о пользе Европы» – никто не подумал, что я говорю в шутку.

Князь И.И. Васильчиков

Так как я был рекомендован [для защиты степени кандидата, по окончании курса, педагогическому] совету Шульгиным, то нерасположение Ставровского к последнему перенеслось и на меня, и я очень хорошо понимал, что на окончательных экзаменах он не будет ко мне снисходителен. Может быть им руководило и другое соображение, чисто практического свойства: он дослуживал срок и должен был баллотироваться на добавочное пятилетие.

Если бы к тому времени явился кандидат на кафедру всеобщей истории, шансы быть избранным для него очень бы сократились; и напротив, при торжественном провале рекомендованного кандидата, факультет принужден был бы хлопотать об оставлении Ставровского на кафедре. По этим причинам я не сомневался, что мои экзамены по всеобщей и русской истории превратятся в некое состязание. К счастью, противник мой оказался не из сильных. Древнюю историю я сдал еще при Шульгине; из новой мне попался билет о Людовике святом. Рассказываю я чуть не с полчаса – Ставровский, не глядя на меня, только потирает переносицу. – «Ну, а что ж вы самого главного не рассказали до сих пор?» – вдруг перебивает он меня.

Признаюсь, я стал в тупик: кажется, все уже сдал по порядку, и вдруг от меня требуют самого главного! – «А историю Тристана забыли?» – с торжествующим видом разрешил мое недоумение Ставровский*. Я только переглянулся с Н.Х. Бунге, находившимся ассистентом на экзамене, и по язвительной улыбке на его лице понял, что мне поставят кандидатский балл. Очевидно, «Тристан» дал холостой выстрел.

---

* Тристан и Изольда – легендарные персонажи средневекового рыцарского романа XII века. В поэзию феодальной Европы сказание это пришло в кельтском оформлении, с кельтскими именами, с характерными бытовыми чертами.

С русской историей дело вышло круче. Я не был ни на одной лекции по этому предмету и решительно не знал, что из него делал Ставровский. Товарищи говорили, что он сильно напирает на археологию, что он сам производил какие-то раскопки под Киевом и даже поднес однажды бывшему генерал-губернатору Бибикову какой-то котелок с древностями, сохранившийся с тех пор в университетском музее и называемый студентами «Бибиковским горшком». Все это мало меня успокаивало, тем более что русской историей я занимался гораздо меньше чем всеобщей, и уж в археологии вовсе не был силен. А на экзамене, точно на смех, попадается мне билет: «Культурное состояние Руси в удельном периоде».

Ставровский как увидал, так и повеселел… Ну, пришлось и о Бибиковском горшке поговорить… Ассистентом, на беду, был профессор русской словесности Александр Иванович Селин, на благоволение которого я никак не мог рассчитывать. Поставили они мне вдвоем «3» (высший, кандидатский балл был «4»). Помощью такой отметки из главного предмета со мной было бы совсем покончено, потому что не получивший кандидатской степени, разумеется, не мог бы выступить претендентом на кафедру – но факультет взглянул на дело иначе, и пригласил Ставровского переправить отметку.

Тем, однако, еще не кончились мои состязания с Ставровским. Ввиду только что утвержденного нового устава я предположил тотчас по окончании курса искать приват-доцентуры. Надо было подать pro venia legendi [(диссертацию, на получение права преподавать)]. Шульгин, продолжавший из своего уединения интересоваться университетскими делами, посоветовал мне, не затевая ничего нового, представить просто кандидатское сочинение, благо оно было напечатано. Я послушался, хоть работа эта казалась мне мало достойною. Она представляла, во всяком случае, двоякую выгоду – была готова и притом относилась к эпохе, которою я наиболее занимался, следовательно защита на диспуте представлялась мне делом обеспеченным.

Ставровский, назначенный в число оппонентов, тем не менее заранее торжествовал, рассказывал, что у него приготовлено более ста возражений, что он истребит меня с корнем. В результате вышел такой скандал, какого вероятно еще никогда не было ни на одном диспуте. Чуть не весь [ученый] город собрался в университетскую залу. Ставровский начал напоминанием, что университет носит имя «императорского» и что поэтому защищаемые в нем диссертации обязаны быть безукоризненны. Неожиданное предисловие это сразу озадачило публику…

Затем почтенный оппонент мой развернул тетрадь с обещанными, в числе более ста, возражениями. Но, Боже мой, что это были за возражения! Например, прочитывает он из цитируемой мною книги немецкую фразу и доказывает, что я ее совсем не так перевел. Действительно, между немецкой фразой и моей нет ничего общего. Все недоумевают, я сам ничего не понимаю… Попечитель, покойный сенатор Витте, предполагает, что у нас были разные издания немецкой книги; берет ее у Ставровского, берет у меня – оказывается совершенно одно и то же. Тогда я прочитываю по-немецки ту фразу, на которую ссылаюсь – перевод выходит совершенно верен.

Вся штука в том, что Ставровский взял на указанной мною странице немецкого автора первую попавшуюся ему фразу и вообразил, что это именно та фраза, которую я цитирую в русском переводе. По зале пробегает сдержанный хохот, Ставровский быстро переворачивает листок [с возражениями] и читает дальше. Праздничное настроение публики все растет, диспут принимает характер, совершенно не свойственный торжеству. Наконец, Ставровский догадывается, что надо бросить свою тетрадку, и уступает очередь второму оппоненту.

А в конце концов, более чем благополучный исход диспута ни к чему не привел. Я читал лекции всего один семестр. По новому [университетскому] уставу политическая экономия отнесена была к курсу юридических наук, и таким образом Н.Х. Бунге выбыл из нашего факультета. С этой переменой факультет, можно сказать, рассыпался, поступив в полную власть Селина и Ставровского. Мне за мои лекции не назначили никакого вознаграждения, не признавали их обязательными для студентов и отвели для них такой час, когда все стремятся обедать. Со всеми этими условиями я помирился бы, потому что аудитория моя все-таки была полна, но вопрос для меня заключался в том – каким же образом я буду держать магистерский экзамен при таком составе факультета? Очевидно, судьба моя была совершенно в руках Ставровского.

Ехать в другой университетский город мне не хотелось, да и ученая служба, при ближайшем знакомстве с местным профессорским персоналом, перестала мне нравиться – и я принял предложение генерал-губернатора [Николая Николаевича] Анненкова разделить с Шульгиным труды по редакции «Киевлянина».

С этими воспоминаниями я однако зашел слишком вперед. Мне надо снова возвратиться к первым годам моего студенчества, чтоб сказать о третьем профессоре-историке, П.В. Павлове. Имя Платона Васильевича в начале 60-х годов, т.е. с переездом его в Петербург, сделалось очень известно. Но в Киеве, и особенно между студентами, он еще раньше пользовался громадной популярностью. Его любили, ему поклонялись, его именем клялись. Он соединял в себе репутацию основательного ученого с ореолом носителя так называемых «лучших идей», призванного руководить молодым поколением в его стремлении к общественному и нравственному идеалу.

В то время, т.е. в 1859 году, когда я поступил в университет, роль эта была довольно новая. Мои товарищи были, так сказать, полны Павловым. Понятно, с каким нетерпением ждал я увидеть и услышать его. Громадная, едва ли не самая большая во всем университете, аудитория была битком набита. Сошлись разумеется не только одни филологи и юристы, для которых читалась русская история – сошлись студенты всех факультетов и всех курсов, поляки, хохлы, жиды – в особенности жиды.

Позади кафедры, у стены, в проходе, густо теснились студенты и посторонние лица, устроившиеся кое-как на натасканных отовсюду скамейках. Сторож Данилка, маленький, плутоватенький солдатенок, весь сиял, точно это был его собственный праздник. Наконец профессор появился. Это был среднего роста человек, очень симпатичной, даже красивой наружности, с застенчивым румянцем на лице и прекрасными блистающими глазами. Робко пробираясь в толпе, взошел он на кафедру, и лекция началась.

С этой самой минуты возбужденное состояние, в котором я находился, сразу упало. Я был неприятно разочарован. Профессор, во-первых, был совершенно лишен дара слова. Речь его туго тянулась, останавливалась подолгу после каждого знака препинания, точно он диктовал плохо пишущему классу. Очевидно, содержание лекции было усвоено профессором лишь в главных чертах, и он уже на кафедре, с большим трудом, искал выражения своей мысли.

Во-вторых, самая мысль профессора производила очень смутное впечатление. Перед нами происходили какие-то потуги, искание чего-то еще не уяснившегося самому профессору, блуждание в какой-то новой местности, с отступлениями, с возвращениями назад. Никакого отношения к русской истории лекция не имела. Она составляла введение к так называемой «физиологии общества». Это была попытка систематизировать в научном духе разрозненные положения позитивизма, клочки из антропологии, отголоски еще не определившегося учения о связи истории с естествознанием. Мне показалось, что профессор куда-то сбился, где-то завяз...

П.В. Павлов, профессор Университета св. Владимира

Тем не менее я аккуратно посещал его лекции в течение всего семестра – и с сожалением должен сказать, что первоначальное впечатление мое не изменилось.

Я ни разу не услышал ни одного слова, относящегося к предмету курса. Продолжалась все та же «физиология общества» вперемежку с антропологией и археологией, все то же тягучее вымучивание недающихся фраз. Притом профессор ужасно конфузился или волновался, в глазах его часто стояли слезы. Существенная разница между впечатлением, производимым Платоном Васильевичем, и его установившейся гораздо раньше репутацией, долго приводила меня в недоумение. Впоследствии она для меня объяснилась. Почтенный профессор принадлежал к категории крайне и мучительно увлекающихся людей.

Он перед тем только что совершил продолжительную поездку за границу, и эта поездка отчасти сбила его с толку. Он пристрастился к археологии и истории искусства, волновался итальянскими и готическими памятниками, все тем, что ему открыли европейские музеи. Вкус к этой новой области настолько овладел им, что совершенно оттеснил прежние интересы. Притом, ум П.В. Павлова был из тех, которые не удовлетворяются специальным знанием, которые вечно тревожатся потребностью вместить в себе «все человеческое».

Отсюда постоянное блуждание в общем и безграничном, чрезмерная отзывчивость на вопросы жизни, беспокойная жажда большой и еще не определившейся роли. Натура высоко симпатичная и глубоко несчастная, как мне казалось… Я однако остался при том убеждении, что, несмотря на свои обширные познания и несомненную даровитость, Платон Васильевич был обязан своей громадной популярностью в университете не своим заслугам, как ученого и профессора, а своей роли носителя «лучших идей» и руководителя молодежи.

К сожалению, лично я не наблюдал его в этой роли – он при мне оставался в университете лишь три-четыре месяца – но я видел на своих старших товарищах, что влияние его на них было громадное. В этом смысле он имел то же значение, как Грановский в Москве, как Белинский в литературных кружках. Он был носителем общих гуманных и прогрессивных идей, наследованных от них обоих.

Портрет проф. Н.Х. Бунге кисти художника Ивана Тюрина, 1887 г.

К сожалению, время и условия, среди которых пришлось действовать Платону Васильевичу, были совсем иные. На киевской почве эти общие идеи сталкивались с частными вопросами – польским, украйнофильским и крестьянским. В 1859 году еще не видно было, в какой форме произойдет столкновение, но уже чувствовалась трудность пребывания в сфере общих идей. Мне, как человеку пришлому в крае, это было довольно заметно и может быть именно по этой-то причине мне постоянно казалось, что Платон Васильевич не имеет под собой почвы. <…>

Рядом с почтенными именами Шульгина и П.В. Павлова должно занять свое законное место не менее почтенное имя Н.Х. Бунге. Деятельный, серьезный, несколько сухой по натуре, несколько отзывавшийся немцем, он никогда не пользовался слишком горячими симпатиями студентов, но конечно между нами не было ни одного, который отказал бы ему в безусловном уважении. И как профессор, и как ректор, Николай Христианович был неизменным представителем законности, справедливости, долга, серьезного отношения ко всякому серьезному делу.

При всем том он был очень живой человек, без всякой примеси педантизма и немецкой ограниченности, отзывчивый на все общественные и культурные интересы. Но главное – это был очень надежный человек, и знающие его были уверены, что всякое дело, зачинающееся при его участии, непременно будет поставлено и сделано хорошо, т.е. умно, дельно, справедливо и гуманно, с немецкою серьезностью и без русской страстности и распущенности. На экзамене, где он был ассистентом, достойный студент никогда не мог срезаться; в комиссии, где он был членом, необдуманное или пристрастное мнение никогда не могло торжествовать. Одним словом, натура Николая Христиановича стояла как бы посредине между русскою и немецкою, заимствуя лучшее у той и другой. Такие люди редки и – необыкновенно полезны.

Как профессор Николай Христианович очень заботился о том чтоб заставить студентов заниматься как следует. Его считали требовательным, его экзамен на многих наводил страх.

Действительно, плохой студент не мог рассчитывать получить у него кандидатский балл. Но зато, если студент занимался серьезно каким-нибудь другим предметом, то мог быть уверен, что Николай Христианович не только не срежет его сам, но еще поддержит его перед факультетом. Не довольствуясь чтением лекций, отличавшихся всегда содержательностью и мастерским изложением, Н.Х. Бунге заставлял студентов делать извлечения из рекомендованных им авторов, и самый экзамен его заключался не столько в ответе на вопрос по программе, сколько в отчете о собственной работе экзаменующегося над литературою предмета.

Не без сожаления я должен сказать, что этим исчерпываются мои воспоминания о профессорах, составлявших действительное украшение историко-филологического факультета. Провинциальное положение университета было причиною, что пополнение убыли в наличном составе преподавателей совершалось весьма туго.

П.В. Павлов выбыл [(переехав в Петербург)], когда я был еще на первом семестре, и затем до самого окончания курса и еще несколько лет после кафедра русской истории оставалась вакантною, несмотря на то, что именно в Киеве, ввиду исключительных условий края и политических событий 1861-63 годов, кафедра эта имела большее значение чем где-либо. Шульгин тоже лет пять оставался незамещенным, так что Ставровский пребывал единственным представителем исторической науки на факультете, имеющем специальное историческое отделение.

Университет, т.е. совет, вступал, сколько мне известно, в переговоры и с Н.И. Костомаровым, и с господином Иловайским, и с тем же Шульгиным, и еще с кем-то, искал профессоров даже в недрах семинарий и духовных академий, но все это ни к чему не приводило. Разумеется, кроме провинциального положения университета и незавидного состава факультета, действовали тут и другие причины, и главным образом интриги в самом совете, где представителями факультетских интересов являлись такие «деятели науки» как Ставровский и А.И. Селин.

Последний, с переходом Н.Х. Бунге на юридический факультет, был избран деканом. Действительно, никто лучше его не мог представлять своей особой историко-филологический факультет в том жалком состоянии, в каком он очутился с 1863 года. Александр Иванович Селин преподавал историю русской словесности. Он вышел из московского университета, откуда вместе с сомнительным запасом учености вынес только благоговейное поклонение [профессору истории русской словесности Степану Петровичу] Шевыреву и некоторые смутные отголоски славянофильства. Личность совершенно бездарная, он хотел блистать красноречием и стяжать популярность среди студентов.

Краснобайство его действительно не знало меры. Он сидел совершенным шутом на кафедре, кривлялся, скалил зубы, кидал нецензурные намеки псевдо-либерального свойства, закатывал глаза – одним словом, изображал актера, срывающего рукоплескания с александрийских верхов [(т.е. галерки Александринки в С.-Петербурге)].

По содержанию лекции его были до невероятности скудны и жалки. В древнем периоде он придерживался буквально Шевырева, и это было еще сносно – по крайней мере, студенты знали, как готовиться к экзамену. Но с новой русской литературой он творил нечто невероятное. Вся фактическая часть отбрасывалась в сторону, с кафедры лилась разнузданная болтовня о Малороссии, о Польше, о Мицкевиче, о Погодине, декламировались стихи Хомякова, прочитывалась зачем-то «Небожественная комедия» Красинского, переведенная белыми стихами самим профессором*.

---

* Известность польскому поэту и драматургу Зигмунду Красинскому (1812-1859) принесла драма «Небожественная комедия» (польск. *«Nie-Boska Komedia»*; 1835, опубликована анонимно). Понятно, что сия драма, хотя бы формально, была противопоставлена «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Огромное значение, придаваемое Селиным этому мистическому созданию польского поэта, объяснялось впрочем желанием привлечь в свою аудиторию поляков, составлявших большинство в университете. И действительно, поляки ломились в огромную аудиторию Александра Ивановича, воображавшего, что он устраивает перемирие с поляками. В то время, т.е. перед 1863 годом, поляки в Юго-западном крае действительно много говорили о примирении, о союзе польской и русской (т.е. украйнофильской) молодежи.

При общем настроении тогдашнего студенчества, при заметном развитии украйнофильских тенденций, такой союз, хотя бы и временный, мог бы повлечь для университета важные и прискорбные последствия. Но предшествующая деятельность попечителя округа, Н.И. Пирогова, имела между прочим то значение, что студенты-малороссы поняли глубокое различие между видами польской и украйнофильской партий и держались чрезвычайно недоверчиво.

При всем своем шутовстве и бездарности Селин все-таки производил впечатление как будто живого человека, искавшего связи с молодежью, жившего в сфере политических и литературных интересов. В устах его эти интересы скорее профанировались, чем освящались, но все-таки студенты чувствовали, что этот человек чего-то ищет, чем-то хочет жить.

О прочих профессорах и этого нельзя было сказать. Печать провинциальности, старомодного и тупого гелертерства*, а подчас и просто невежества, лежала на них таким толстым слоем, что из-под него невозможно было что-нибудь выкопать.

Адъюнкт Селина, почтенный Андрей Иванович Линниченко, читавший теорию поэзии, был человек бесконечно добрый и честный, с хорошо направленными симпатиями, но кажется не особенно любивший свою специальность – по крайней мере, мало старавшийся побороть равнодушие, обнаруживаемое студентами к его лекциям; его, если можно так выразиться, заедала собственная скромность.

Философия в мое время не читалась вовсе, психологию и логику мы слушали у профессора богословия; но существовал специалист по философии, Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий, автор неоконченного и очень плохого «Философского лексикона», читавший педагогику (после, с 1863 года, он читал историю философии, и не думаю чтоб с успехом). Я вспоминаю об этом почтенном профессоре с некоторым даже чувством умиления, как о чем-то забавно слабом, добродетельном и невменяемом. Точно сейчас вижу высокую, худощавую фигуру, во фраке с необычайно узкими рукавами и в сереньком жилете, с выражением какой-то благодушной иронии на старческом лице. Для меня не было никакого сомнения, что дома Сильвестр Сильвестрович носит колпак.

Лекций его я совсем не помню, вернее сказать, из всего курса помню только одну фразу: говоря о том, что личность самого воспитателя имеет большое значение в деле воспитания, почтенный профессор выразился между прочим таким образом: «педагог должен быть одет не с роскошеством, но с изяществом», и при этом привстал на кафедре и с благодушной улыбкой оглянул свой собственный узенький фрак (мне почему-то казалось, что в таких фраках расчетливые наследники должны класть в гроб опочивших родственников), свой серый с мелким узорчиком жилет и свой бисерный шнурок к часам…

Помню еще, что перед экзаменом Сильвестра Сильвестровича я никак не мог достать его записок и пошел совсем без приготовления. Мне попался первый вопрос: понятие о педагогике как науке и разделение ее на части. Пришлось излагать свое собственное понятие… Осилив кое-как этот пункт, я начал импровизировать вроде того, что так как воспитание обнимает стороны физическую, умственную и нравственную, то сообразно тому и педагогика делится на три части.

---

* Книжная, оторванная от практики и условий реальной жизни ученость; педантизм в науке.

Профессор Университета св. Владимира С.С. Гогоцкий

Тут почтеннейший Сильвестр Сильвестрович, слушавший меня с обычною благодушно-ироническою улыбкою, прервал замечанием: «это вы все рассказываете по здравому смыслу, а вы бы рассказали по моим запискам». Я выразил сомнение, может ли существовать разногласие между здравым смыслом и записками ученого профессора – и экзамен благополучно закончился.

Очень ученые люди были также профессора классической словесности, господа Дёллен и Нейкирх. Обоих произвела дерптская почва. Дёллена я знал раньше, он был назначен Пироговым директором Первой гимназии, и этот выбор, как все выборы Пирогова, был вполне удачен. Трудно представить себе более добросовестного, гуманного, симпатичного педагога. К сожалению, он оставался немцем, и я это испытывал не только в гимназии, но и в университете.

Оба дерптские питомца были отличные филологи, но в таком узком смысле, до такой степени вне связи с русским образованием, с русской литературой, с русской молодежью, что произошло очень странное явление: в гимназии, где учителя латинского языка конечно гораздо меньше знали, где мы сами конечно меньше сознавали научное значение древних языков – мы присутствовали на уроках латинского учителя с гораздо большим интересом, чем на лекциях немецких филологов.

Помню, что когда уважаемый И.Я. Ростовцев (учитель Первой киевской гимназии) рассказывал нам о жизни Саллюстия или Ливия, объяснял литературное и историческое значение «Катилинской войны» или комментариев Цезаря, мы слушали его положительно с наслаждением, в нас загоралось желание ближе войти в этот любопытный мир, полный таких ярких красок; а когда Дёллен или Нейкирх излагали курс литературы или древностей, стараясь говорить настолько медленно, чтоб мы могли записать лекцию – весь интерес к предмету пропадал. И это происходило не потому, чтоб нас затрудняла латинская речь профессоров – они умели говорить очень понятно, а потому что в их устах древность явилась может быть весьма близкою к их немецкому фатерланду, но весьма далекою от какой бы то ни было, хотя бы лишь литературной, связи с русской мыслью и жизнью.

В эпоху, предшествовавшую восстанию, Киевский университет был из самых многолюдных. Число студентов значительно переходило за тысячу, тогда как после восстания [1863 года] сразу сократилось до четырехсот с чем-то. Это дает понятие, как велико было число поляков. Польский язык преобладал. Несмотря на русское преподавание и русское правление поляки держали себя в положении господствующей национальности, и надо прибавить, что такое положение опиралось не на одном только численном преобладании. Юго-западный край в то время был чисто польский край.

Польское дворянство, богатое, образованное, сплоченное в солидарную массу, владело двумя третями поземельной собственности, дававшей отличный доход, и с помощью крепостного права держало в безусловной зависимости коренное русское население.

Здесь, на благодатной почве Украйны, отношения помещиков к крестьянам издавна приняли чисто феодальный характер. Поляки были завоеватели, утвердившие свое господство после продолжительной кровавой борьбы. От Хмельницкого до гайдамачины край был постоянно заливаем кровью, и когда наконец русская национальность, истощенная, истерзанная, изверившаяся, отказалась от дальнейших бесплодных попыток освобождения – польское шляхетство налегло на нее с надругательством, с мстительным чувством врага, у которого еще болят раны, нанесенные поверженным ныне во прах противником.

Разность не только племенная и сословная, но и вероисповедная, кровавые призраки крестьянских и казацких восстаний, необходимость пользоваться евреями, как посредствующей связью между шляхтой и народом – все это до такой степени обостряло отношения между помещиками и крестьянами, что здесь крепостное право получило характер, какого оно не имело нигде более, не только на Руси, но и в Западной Европе. Помещики были не только собственники земли и холопов, они были политической силой, стоявшей военным лагерем в завоеванной стране, действовавшей не только во имя своих частных, экономических интересов, но и во имя идеи польского господства.

Понятно, что из сферы крепостного права эти воззрения и отношения переносились вообще на все русское население края. На чиновников, из которых только и состоял русский городской элемент, поляки смотрели презрительно. Льстя местным административным иерархам, они в то же время считали себя людьми лучшего общества, представителями аристократического начала, европеизма, культуры.

Хуже всего при этом было то, что многие лица высшей местной администрации разделяли тот же взгляд, и по аристократической тенденции считали себя ближе к польскому магнату, чем к русскому офицеру или чиновнику. Эти аристократы, хотя бы их гербы не восходили далее минувшего царствования, старались всячески показать, что только обязанности службы заставляют их действовать в так называемых «русских видах», но что их личные сочувствия, как людей «хорошего общества», принадлежат польской аристократии. С особою решительностью высказывались в этом отношении административные дамы, перенесшие с собою на политическую почву Юго-западного края кисейные идеи петербургского или московского бомонда.

Нетрудно понять, как эти русские люди «хорошего общества» питали польскую заносчивость и брезгливое отношение поляков ко всему русскому.

В сороковых годах Киев сделался главным центром украйнофильства. Это была еще очень молодая, неорганизованная сила, выступившая не столько в отпоре польской идее, сколько во имя общих освободительных начал, общего протеста против государственной централизации. Последнее значение определялось тем яснее, что русская власть относилась к украйнофилам очень подозрительно и строго.

В конце пятидесятых годов обе идеи, польская и украйнофильская, стояли лицом друг против друга, под общей опалой власти; последняя [идея] считалась даже опальнее, потому что была вполне демократическая и не имела за собою сочувствия дам хорошего общества. Ввиду уже сильно обнаружившегося политического брожения взаимное отношение обеих партий получало существенную важность. Если б украйнофилы дали увлечь себя полякам, восстание разыгралось бы в несравненно больших размерах, могло бы иметь более серьозный, во всяком случае, более кровавый исход.

Первый, кто вполне понял истинное положение дел в крае, был человек посторонний, приезжий, одинаково мало знавший как поляков, так и хохломанов – Николай Иванович Пирогов. Я был еще в гимназии, когда его перевели из Одессы в Киев, попечителем учебного округа. Дать ход человеку такой глубокой образованности, таких свежих и гуманных взглядов, казалось очень серьезной мерой. Я думаю, что это была лишь полумера. Пирогов до такой степени не походил ни на официальных педагогов, ни на иерархов учебной и иной администрации, с которых Крымская война сорвала маски, что его надо было или вовсе не трогать или дать ему назначение в Петербурге, где его деятельностью обозначился бы полный перелом во взглядах на учебное дело, где он служил бы точкою исхода нового движения.

В провинции деятельность его получила очень ограниченное значение. Он отличался от других попечителей, но именно потому что он действовал в Одессе или в Киеве, никто из этих других попечителей не считал возможным подражать ему.

На него так и взглянули как на нечто исключительное и разве что любопытное, но не более. Появление Николая Ивановича в Киеве было сигналом борьбы новых идей со старым режимом, поколебленным, но еще не снесенным Крымскою войною. С дымящихся развалин Севастополя он нес с собою тот новый дух, который так оживил русское общество в конце 50-х годов – дух реформы, гуманности, культурности. Мы в нем встречали «нового человека», глубоко образованного, ненавидящего рутину, преданного смыслу, а не форме, человека, который на своем важном посте не хотел быть сановником, не хотел обращать внимания на обязательный ритуал, хотел делать только одно настоящее дело, делать его по убеждению, от сердца, как у нас делают только одни личные дела.*

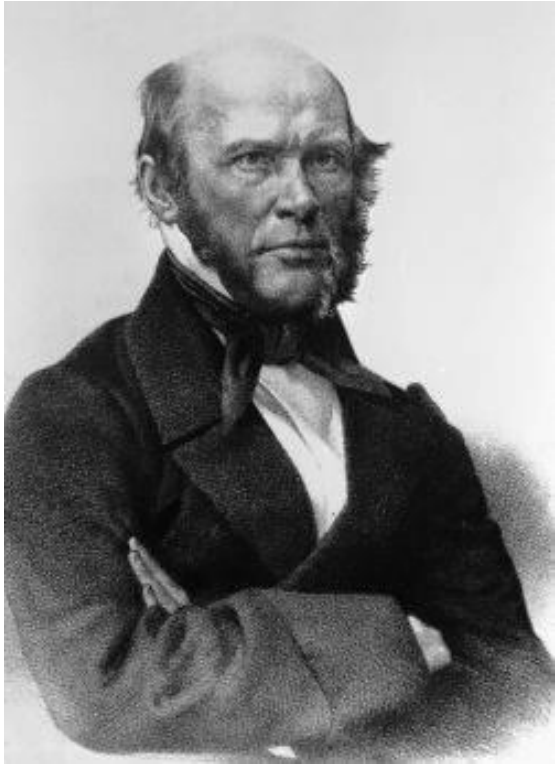
Помню, как всех нас поражала его простота обращения, его неограниченная доступность, его совсем не официальная манера держать себя с генерал-губернатором, его привычка являться в университет в пальто с заложенными в карманы рукавами… Мы тотчас поняли, что в Николае Ивановиче надо искать человека, а не сановника, и как горячо полюбили его все, у кого в мысли и в сердце жило нечто порядочное – это высказалось на его проводах, обратившихся в высоко знаменательное событие для целого края… В университете время управления Пирогова совпало с началом студенческих волнений.

Я считаю это большим благополучием для университетской молодежи, т.е. для русской молодежи, потому что Пирогов, как уже упомянуто выше, сразу разгадал настоящую подкладку этих волнений и разъяснил местному обществу политическое положение дела. Он, и притом только он один, сразу понял, что русское государство имеет врага лишь в польской партии, что украйнофильство не только не опасно ему, но при исключительных условиях места и времени даже может сослужить ему службу.

И вот для всех способных ясно понимать вещи, тотчас определилась система Пирогова: не давить украйнофильскую тенденцию, а взять ее в руки, сделать из нее опору русской идеи в борьбе с польскою, предупредить возможность союза обеих партий, указать украйнофилам общую опасность.

---

* Термин «новый человек» вошел в оборот все же несколько позже, после публикации романа Н.Г. Чернышевского «Что делать» (1863 г.), с подзаголовком «Из рассказов о новых людях». Н.И. Пирогов, как известно, возглавлял Киевский учебный округ в 1858-61 годах.



Н.И. Пирогов, не только талантливый хирург, но и даровитый чиновник-педагог

В этих видах Пирогов не только допускал студентские сходки, депутации, адресы и т.д., но он так сказать сам пошел в движение, чтоб овладеть им и направить в противоположную от польской пропаганды сторону.

Высшая местная администрация не понимала планов Пирогова, как не понимала его манеры держать себя, его сознания человека под мундиром четвертого класса; начались неудовольствия, интриги, и величайший из русских педагогов был отозван от своей высокой миссии, в самое трудное для края время. Но то, что уже было им сделано, принесло плоды: союз украйнофилов с поляками был предупрежден, и ни один из русских студентов киевского университета не ушел в восстание. Этим результатом край был обязан исключительно Пирогову.

Я был очевидцем, как с отъездом Пирогова из Киева оживилась польская пропаганда, и преобладание польского элемента в университете сделалось заметнее чем прежде. Поляки, вообще очень проницательные в политике, давно разгадали в Николае Ивановиче самого опасного своего противника; да и кроме того, присутствие в крае такого крупного русского человека, такого блестящего представителя русской национальности, было для них очень стеснительно. Я уверен, что со временем обнаружится очень значительная роль польского влияния в обширной интриге, свергнувшей Пирогова.

Подъем польского элемента в университете с 1861 года стал особенно заметен благодаря тому, что как раз в это время была отменена студентская форма. Явились тотчас национальные костюмы, под которыми отличить поляка от малоросса было гораздо легче, чем под форменными сюртуками. Вид аудиторий и коридоров совершенно изменился. Прежде, между студентами, бросались в глаза молодые люди достаточных семейств, одевавшиеся у лучшего городского портного, умевшие в своей форменной одежде обнаружить щегольство и претензии на светскость. Поляки, сыновья богатых местных помещиков, особенно старались отличаться аристократическою внешностью и манерами. С отменою формы все эти господа куда-то исчезли.

Отчасти их унесли быстро назревавшие в Варшаве события, так как большинству из них предстояло играть видную роль в предстоящей, по существу своему чисто аристократической, революции; отчасти, может быть, они были запуганы преобладающей массой серых и рыжих свиток, чамарок*, смазных сапог и лохматых голов, наполнивших аудитории вслед за отменой формы. Университет демократизировался как бы по мановению волшебного жезла – и не по одному только внешнему виду.

В польской партии, державшейся до сих пор неизменно самых непримиримых шляхетских тенденций, обнаружилось замечательное явление: горсть молодежи, сблизившись с украйнофилами, сумела отрешиться от этих тенденций и выступила с радикально демократической программой, оскорбившей самым чувствительным образом старую польскую партию. Во главе отщепенцев стоял студент Рыльский, очень энергическая и интересная личность, одна из тех личностей, которые как будто нарочно созданы для того, чтобы вобрать в себя что-то новое, еще незаметное для других, и дать ему форму.

Не знаю, какая судьба постигла впоследствии этого замечательного человека – говорили, что он принял православие и женился на простой казачке, но роль его в Киевском университете в 1861-63 гг. была очень влиятельная: он как бы продолжал дело, похищенное из рук Пирогова. Ненависть к нему поляков была беспредельная; рассказывали, что его хотели убить. Энергия, с какой он изобличал шляхетскую подкладку зачинавшегося движения, без сомнения немало содействовала тому, что с 1861 г. взаимные отношения поляков и русских в стенах университета приняли чрезвычайно острый характер.**

Дело доходило до угроз Варфоломеевской ночью, и я помню, что мы одно время принимали серьозные меры предосторожности, собирались на ночь большими группами и баррикадировали двери и окна… В аудиториях, в сборной и читальных залах поляки и русские держались, как два враждующие лагеря; готовилась борьба за обладание университетом, противники косились друг на друга, выжидая событий… С конца 1862 г. университет стал быстро пустеть. Еще раньше, поодиночке, поляки начали куда-то исчезать; перед зимними каникулами дезертирство усилилось, а после нового года поляки не возвратились. Рыльский и украйнофилы, оставшись на покинутых позициях, торжествовали.

Близ здания университета находился большой, известный всему городу манеж ветерана старых польских войск, Ольшанского. Если не ошибаюсь, он преподавал верховую езду казеннокоштным студентам-медикам, готовившимся на должности военных врачей. Он был любимцем польской аристократической молодежи, сходившей с ума от его старо-уланских, длинных белых усов и восторженных рассказов о восстании 1830 года.

В конце апреля или начале мая [1863 года], в чудную весеннюю ночь, небольшие группы всадников выехали одни за другими из ворот манежа и направились мимо университета на житомирское шоссе. За Триумфальными воротами всадники остановились, поджидая товарищей и строясь в походную конную колонну. Это были запоздалые жертвы польской идеи, юноши и мальчики, студенты и гимназисты, сформировавшие единственную, целиком выступившую из Киева конную банду.

---

* Чамарка, отороченная мехом короткая одежда, бывшая в старину в большой моде у поляков. – ***Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907***

** Тадей Розеславович (Фаддей Ростиславович) Рыльский (1841-1902), «хлопоман», окончил историко-филологический факультет университета св. Владимира в 1862 году. Вскоре после того, как хлопоманы (молодые выходцы из польских или ополяченных шляхетских семей в Малороссии) во главе с Ф.Р. Рыльским и Владимиром Антоновичем осенью 1860 г. вышли из польского студенческого землячества, было возбуждено политическое дело «О предосудительных сношениях студентов Киевского университета с крестьянами», в квартире братьев Фаддея и Иосифа Рыльского и в имении их отца в местечке Романовка Сквирского уезда Киевской губ. провели обыски. Ф.Р. Рыльский стал активным членом киевской Старой громады (общества друзей малороссийской культуры). Большую часть жизни провел в родовом имении, рано овдовев женился на своей крепостной девушке Мелании Федоровне Чуб.

В доме моего отца стояли на постое драгуны. На рассвете я услышал, что они седлают коней. Затем их серые силуэты, в походной форме, тихо промелькнули мимо моих окон.

Я оделся, вышел на улицу и узнал, что ночью выступила из города банда и что эскадрон драгун и казачья сотня пущены вслед за ней. Я бегом вернулся домой, велел закладывать лошадей и полчаса спустя догнал наш отряд. В 14-ти верстах от города, у дер. Борщаговки, банда была настигнута. Казаки обскакали ее с двух сторон, драгуны завязали перестрелку. Минут двадцать пули свистали, ломая пушистые ветки ив; затем импровизированные польские кавалеристы стали поодиночке прорываться сквозь казачью цепь. Крестьяне собрались со всех сторон ловить их.

Один драгун и двое казаков были убиты; их потом с печальною торжественностью похоронили в Киеве. Я в эти дни сдавал свои последние университетские экзамены. Школьные годы кончились…

Н.Я. Барановский[*]. Из школьных воспоминаний о Киеве // «Киевская Старина», март 1884 г.

В февральской книжке «Киевской Старины» за 1883 год помещена заметка «Две ревизии» (Немировская гимназия в конце 40-х годов), в которой автор говорит о двух лицах, занимавших в то время видное положение в управлении Киевским учебным округом и которых он представил в самом непривлекательном свете. Лица эти, которых автор называет только ревизорами, а имена и фамилии их обозначил начальными буквами, были: инспектор казенных училищ Матвей Матвеевич Могилянский и попечитель Киевского учебного округа генерал-маиор Траскин[**].

---

[*] Николай Яковлевич Барановский окончил К. I Г. в 1846 году. А сии воспоминания он прислал в редакцию «Киевской Старины» в начале 1884 г. из Одессы (преподавал в Новороссийском университете?).

[**] Все-таки автор заметки «Две ревизии» Михаил Корнеевич Чалый, служивший тогда преподавателем логики в Немировской гимназии, обозначил своих героев не совсем так, а именно: «ревизор, Матвей Матвеевич» и «попечитель округа, генерал-маиор Траскин».

Первый ревизор, действительно, был охарактеризован весьма карикатурно: “*И откуда, подумаешь, берется эта важность у людей, облеченных властию и полномочием контролировать действия других? И что такое был ревизор? Просто Матвей Матвеевич, слонявшийся до получения должности инспектора, т.е. до 1843 года, в продолжение 15-ти лет, то по канцеляриям разных министерств, то по типографиям. Хотя в книге «Лицей кн. Безбородко» образование названо «многосторонним», на том де основании, что он получил его не там, где получают обыкновенные смертные, а за границей, в страсбургском университете, но, во-первых, если его образование и было многосторонним, то оно давно испарилось и выдохлось вместе с французскими духами, вывезенными из Парижа, а, во-вторых, позволим себе сильно усомниться не только в многосторонности его образования, но даже и в основательном знании когда-нибудь и какой-нибудь науки. <…> Я вполне убежден, что он, кроме французского языка, ничего не знал основательно, кроме скандалезных романов французской стряпни, ничего не читал, кроме официальных бумаг за таким-то номером и нежных billet doux [(любовных записок)] к кокоткам, без всякого нумера, никогда ничего не писал и вынес из заграницы только искусство одеваться по последней моде, шнуроваться как старая дева в корсеты, чернить волосы, белиться и румяниться да самый утонченный разврат, каким только славятся чистокровные парижане*“.

Да и второй ревизор изображен вполне живописно: “*Занимая, до своего назначения попечителем, должность начальника штаба на Кавказе и совершенно не знакомый с устройством учебных заведений гражданского ведомства, генерал Траскин, приступив к осмотру гимназий вверенного ему округа, вообразил [в Немирове], что он делает смотр войскам. Мужчина чудовищно тучный, с рыканием льва вместо обыкновенного человеческого голоса, он мог бы навести страх на самых неустрашимых воинов, а не то что на нас, смиренных педагогов, у которых и душа в пятки ушла, как только послышался на гимназическом дворе зычный голос его превосходительства. – «Я всю подноготную узнаю! Нет, брат, меня не проведешь – дудки! да! я всю подноготную узнаю!», – так орал генерал, идя по двору в классы, в сопровождении директора, разумеется, в полной парадной форме. – «Не прикажете ли, ваше превосходительство, представить вам чиновников вверенного мне заведения? – смиренно спрашивал директор. – «Не нужно мне вашего представления. Марш по своим местам! Я их там ужо! Я всю подноготную узнаю!» <…>*”.

Оба они покойники и не могут ответить за себя, тем более мы, говоря об них, должны соблюдать справедливость и беспристрастие. Не имею намерений вступать с автором «Двух ревизий» в полемику по поводу его резкого отзыва о названных лицах, составленного, как кажется, более по слухам, и тому мимолетному впечатлению, какое они произвели на него во время ревизии Немировской гимназии – впечатления бывают различны и зависят от многоразличных причин. Но хочу передать мои воспоминания о тех же лицах, а мимоходом – и вообще о киевских гимназиях того времени, порядках и условиях тогдашнего воспитания, которые были далеко не одинаковы и зависели от личных качеств воспитателей.

Начну с Могилянского, которому автор заметки ставит, по-видимому, в вину даже его заграничное образование. Известно, что еще ранее 40-х годов все, что было лучшего в России, стремилось за границу для своего образования. Известно также и то, что достичь этого в ту эпоху было не так-то легко. Родители Матвея Матвеевича были люди образованные и состоятельные; они жили в Киеве, пользовались общим уважением тогдашнего киевского общества, имели собственный дом в Липках, против нынешнего дома гражданского губернатора. Благодаря их светлому взгляду и особенной протекции, Матвей Матвеевич получил образование в заграничном университете, но как заграничный диплом не давал ему прав по образованию в пределах России, то впоследствии он сдал экзамен в одном из русских университетов.

В 1843 г. Матвей Матвеевич не был еще инспектором казенных училищ, как говорит автор «Двух ревизий», но и не «слонялся по типографиям», как уверяет он же, а был инспектором 2-го благородного пансиона киевской 1-й гимназии.

Так как мне приходилось видеть его тогда ежедневно (а я воспитывался в 1-м пансионе 1-й гимназии), то могу сказать положительно, что «румян и белил, шнуровки и черненья волос» Матвей Матвеевич не употреблял, это не ускользнуло бы от нашего школьного любопытства и внимания.

Жил он, правда, и в то время шикарно, имел прекрасных лошадей, экипаж и, обладая всеми условиями изящного и образованного человека, вращался в аристократическом кругу, но даже нам, школьникам, было хорошо известно, что средства его не исходили ни из каких незаконных источников. Затем Матвей Матвеевич получил должность инспектора казенных учебных заведений, а в 1848 году исправлял должность инспектора студентов киевского университета. В 50-х годах он был директором нежинского лицея графа Безбородко, а в начале 60-х годов – попечителем Одесского учебного округа, вместо Н.И. Пирогова. Чрез несколько лет Матвей Матвеевич получил место члена совета министра народного просвещения и в этом звании скончался [в Петербурге].

В Киеве, в 40-х годах, было две гимназии: в 1-й было 6 классов, во 2-й – 7. В последней преподавался греческий язык. В 1-й гимназии было 3 благородных пансиона и «конвикт и училище землемеров». В 3-м пансионе было самое незначительное число воспитанников, из лучших польских фамилий, платили по 2 000 рублей ассигнациями в год. 1-й и 2-й пансионы, хотя и помещались в отдельных зданиях, но по внутреннему характеру, условиям и по цене, платимой воспитанниками (1 000 руб. асс. ежегодно), они ничем не отличались один от другого.

1-й и 2-й пансионы и «конвикт», кроме надзора известного числа комнатных надзирателей, находились под непосредственным ведением особого инспектора; но все они подчинялись директору 1-й гимназии, имевшему общее наблюдение за всеми этими воспитательными заведениями гимназии. Матвей Матвеевич в то время был инспектором 2-го благородного пансиона, и об нем у меня, как и у моих товарищей по воспитанию, сохранились самые светлые воспоминания. В каком контрасте находились между собою 1-я и 2-я гимназии в порядках надзора и воспитания, можно видеть из того, что во все мое пребывание в 1-м пансионе я не помню ни одного случая наказания воспитанников розгами.

Совсем иное было во 2-й гимназии, где место инспектора Зимовского (впоследствии директора немировской гимназии) занял [Павел] Иеропес, кроме греческого языка не имевший никакого понятия о самом элементарном образовании. Он занимался сечением воспитанников в течение всех часов пребывания в гимназии, а по выходе их оттуда отправлялся в общие квартиры и, придираясь к каждому вздору, производил там новые экзекуции. Когда бы вы ни проходили мимо этих воспитательных заведений, вас всегда поражал раздирающий душу крик наказываемых мальчиков.

Раз как-то заболел учитель геометрии, на урок 4-го класса для [поддержания] порядка явился Иеропес. Он вызвал самого плохого ученика и приказал ему отвечать урок. Гимназист оказался не промах. Зная, с кем имеет дело, он начертил на доске нечто вроде кошки, обозначил оконечности литерами и пошел писать развязно, бойко формулу за формулой; стер губкой исписанную раз доску, исписал ее вновь и заключил словами: «что и следовало доказать». Иеропес удивленно смотрел сквозь очки на бойкого математика, назвал его – «молодеч» (он плохо говорил по-русски) и поставил ему в журнале пять. В тот урок все оказались превосходными математиками. Говорили, что после выздоровления учителя бойкий математик был обличен в обмане и получил инквизиторскую порку от рассвирепевшего Иеропеса.

Я воспитывался в 1-м пансионе [1-й гимназии], в котором было около 120-ти учеников; во 2-м пансионе воспитанников было несколько менее. В 1-м пансионе было 6 комнатных надзирателей и 7-й – старший. Каждый из 6-ти надзирателей дежурил сутки в неделю; в воскресные дни была особая очередь.

Все надзиратели обладали хорошим знанием новых иностранных языков, на которых воспитанники обязательно должны были говорить, под условием «chèz vous la marque»*. Вечером они сходились для занятий по изучению языков и предметов. Некоторые из «комнатных надзирателей» двух благородных пансионов 1-й гимназии впоследствии заняли видные государственные должности. Так, Падрен-де-Карне был помощником попечителя Одесского учебного округа, граф Келлер – начальником Минской губернии, а Стеблин-Каменский – начальником Виленской губернии.

Падрен-де-Карне был человек вспыльчивый; однажды во время обеда, не помню по какой причине, он крикнул воспитаннику 6-го класса Н.В. Гербелю (впоследствии переводчику Шекспира): «sortez du table!»**. Мы все притаили дыхание и, соображая, что ученик выпускного класса не исполнит подобного приказания «комнатного надзирателя», ожидали бури... Но Гербель, высокого роста, покойно вышел из-за стола и стал у стены, в виду всего пансиона и первоклассных мальчуганов... Через минуту Падрен уже извинялся и целовал Гербеля... Но идеалом нашим и всеобщим любимцем воспитанников старших классов был Е.П. Стеблин-Каменский. Наши пансионы находились в роскошных помещениях. 1-й пансион был в Липках, в доме графа Илинского***. Паркетные полы натирались ежедневно. В верхнем этаже были комнаты для занятий, столовых и приемных, в нижнем – спальни. Кровати и постельное белье, безукоризненной чистоты, стояли днем под чехлами. Отыскать в них клопа было немыслимо****.

В пансионе было 5 роялей. Обед, очень изящный, состоял из 3-х и 4-х блюд, ужин – из 2-х. К утреннему и вечернему чаю подавались молоко и белый хлеб. Наш пансион отстоял от гимназии в 200-х саженях, 2-й был еще ближе. В гимназии мы занимались от 8-ми до 11-ти часов утра и от 2-х до 5-ти часов пополудни. По возвращении из гимназии двери наших пансионов затворялись на ключ, и мы никуда не выходили.

В праздничные дни, если родные присылали за нами лакеев, нас отпускали; но отлучиться самому из пансиона, или без лакея, было немыслимо; привилегией этой пользовались только 6 старших воспитанников, носивших на плечах погоны и наблюдавших за порядком в 6-ти отделениях, по числу комнат для занятий и классов: они в праздничные дни могли выходить из пансиона сами, но предупредив надзирателя. В праздничные дни и обстановка принимала более праздничную наружность; даже швейцар на парадном входе облекался в треугольную шляпу и красную перевязь, постукивая золоченой булавой.

---

* «Вы взяты на заметку».

** «Выйдите из-за стола!»

Николай Васильевич Гербель (1827-83), по окончании К. I Г. поступил в Нежинский лицей кн. Безбородко. Окончив его в 1847 г. со степенью студента и прослужив десяток лет на военной службе, подал в отставку в чине штабс-ротмистра и всецело отдался своему любимому делу – литературе.

*** Илинские – польский графский и дворянский род, герба Корчак, считающий себя происходящим от удельных князей Переяславских, а в действительности ведущий свой род от Остафия Илинского, хорунжего речицкого, в 1550 г. С начала XVIII в. Илинские были, почти наследственно, старостами житомирскими. Ген.-инспектор польской кавалерии Август Иванович Илинский (1760-1844) в 1779 г. получил графский титул от императрицы Марии-Терезии; был действительным тайным советником и сенатором. Его сын Януш так же был сенатором. Род графов и дворян Илинские внесен в V и VI части родословной книги Волынской и Киевской губ. – ***Энциклопедия Брокгауза и Ефрона***

В 1860-м Федор Федорович Меринг приобретет за 4,5 тыс. рублей серебром деревянный дом и 508 кв. саженей земли в Липках у тайного советника графа Януша Илинского (см. Приложение «Э.Э. Классон и Киевское Общество врачей»).

**** *Не приступая в первый день к осмотру учебной части, визитатор принялся за хозяйственную. Общие ученические квартиры у нас содержались в образцовом порядке; стало быть, по этой статье не предвиделось никаких дефектов. Но Матвей Матвеевич сумел и тут найти недостатки. Осматривая дортуары и переворачивая вверх дном каждую постель, он отыскал где-то клопа. <…>* – ***М. Чалый. Две ревизии. «Киевская старина», февраль 1883 года***

По порядку воспоминаний перейду теперь к другому ревизору 40-х годов, так неблаговидно представленному автором «Двух ревизий», бывшему попечителю киевского учебного округа генерал-маиору [Александру Семеновичу] Траскину.

До поступления на эту должность он состоял начальником штаба на Кавказе при князе М.С. Воронцове. Помню, в один летний день 1846 года, мы выстроены были в ряды в рекреационной зале нашего 1-го пансиона. Стены оной сверху донизу были унизаны изящными рисунками пансионеров, из коих два: Велизарий и Мадонна, по величине и работе, занимали видное место. Мы ожидали первого визита нового попечителя Траскина, назначенного вместо князя [Сергея Ивановича] Давыдова.

В общей зале собран был и весь персонал учителей 1-й гимназии, в числе которых был и Н.И. Костомаров, поступивший сюда на должность учителя истории до открытия университетской кафедры. Русскую историю тогда проходили по учебнику Устрялова, а всеобщую – по учебнику Смарагдова. Требовалось, конечно, твердое знание учебника, и сам знаменитый потом историк уступал, кажется, этому требованию, делая в учебниках только сокращения карандашем. Впоследствии, слушая в университете его увлекательные лекции по русской истории, как-то не верилось, что это был тот самый Костомаров.

Вскоре в дверях показалась тучная фигура Траскина, среднего роста, опиравшегося на трость, в мундире генерального штаба. Несмотря на комичную его тучность и зычный голос, его наружность, в золотых очках, была очень симпатична. Как дежурный старший я подошел к нему с рапортом. Выслушав его, Траскин полюбопытствовал узнать, которой губернии я уроженец и прочее.

При представлении ему учителей помощником попечителя Юзефовичем, указавшим на Костомарова как на «магистра [наук]», Траскин оказал последнему особенную любезность. Сделав несколько вопросов некоторым воспитанникам, Траскин обошел все комнаты пансиона и спальни и обратил особенное внимание на библиотеку пансиона, которою заведывал Падрен, сделав по поводу ее несколько замечаний, не обнаруживших в нем ничего того, что приписал ему автор «Двух ревизий», равно не отдал такой чести пробному обеду 1-го пансиона, какую, по словам того же автора, оказал трем обедам в немировской гимназии.

А.С. Траскин на Кавказе. Шаржированный рис. Н.В. Майера (?), 1839 г.

Я был тогда в 6-м, т.е. выпускном классе. Вскоре после этого Траскин приехал к нам в гимназию, в 6-й класс, на выпускной экзамен, на который обыкновенно приглашался, в качестве ассистента, профессор университета соответствующего предмета.

Был экзамен физики, и Траскин, по словам автора «Двух ревизий», не умевший отличить физики от логики, удивил не только нас, но и ассистента [Игнатия Матвеевича] Фонберга (профессора химии) основательным знанием этого предмета, предлагая каждому из экзаменовавшихся вопросы сообразно его ответу и, в случае затруднения в ответе, разъясняя его сам. Физика ведь не такой предмет, чтобы можно было, для удивления кого-либо, подготовиться к нему накануне.

Траскин, помню, посещал и лекции в университете; но исключительное внимание он оказывал наукам математическим. К студентам он был снисходителен и помогал им иногда из собственных средств. Вот несколько тому примеров. Деканом юридического факультета и профессором уголовного права был в то время Савва Осипович Богородский; прекрасный знаток своего предмета, он отличался особою строгостию в оценке познаний студентов и нередко на экзаменах сбивал их в ответах. Должно заметить, что кроме должности профессорской Богородский занимал одно время должность цензора и директора 2-й гимназии, пользуясь и квартирой в гимназии, которая помещалась тогда в доме, где теперь магазин Огюста, на углу Крещатика и Лютеранской.

Были ли у него с Траскиным какие-либо столкновения и счеты, не знаю; но в нашем выпуске [из университета], который вследствие строгости декана оказался ограниченным по числу удостоенных степенями, между деканом и попечителем произошел весьма крупный разлад. Богородский имел почему-то особо веселый вид, когда явился к Траскину с докладом о проценте студентов юридического факультета, удостоенных степеней.

Траскин выслушал его доклад сердито, а потом сказал: «Не могу понять, господин профессор, что вас так радует. Я нисколько не отношу этого прискорбного явления к нерадению студентов, но скорее к нерадению тех профессоров, которые не умеют изложить студентам толково своего предмета и не желают внушить им симпатии ни к себе, ни к тому предмету, который они читают. Некоторые из них впрочем так заняты другими обязанностями, что не имеют на это даже и свободного времени: я постараюсь их облегчить. До свидания, господин профессор!». Траскин в то время занимал лучший на Крещатике дом, уцелевший в том виде и доныне: угольный дом [(т.е. угловой)] против нынешней Европейской гостиницы и фонтана. Через несколько времени С.О. Богородский был действительно облегчен, оставшись только в должности профессора уголовного права.

Один из студентов написал нелепый роман, издав его на последние свои гроши, и посвятил его Траскину. Последний поморщился, но купил тотчас у автора 100 экземпляров (кажется, по 1 рублю). Вместе с этим он посоветовал автору не тратить драгоценного времени на сочинения романов; первым условием, говорил он, хорошего писателя, помимо таланта, должно быть и солидное образование, по окончании же его талант может высказаться сильнее со стороны умственной и нравственной. Прочитав затем самый роман, Траскин смутился и за автора, и за свое имя, красовавшееся с полным титулом его, в форме посвящения, на первой странице издания. Он послал скупить все находившиеся в книжных магазинах экземпляры этого сочинения и взял с автора слово не печатать 2-го издания.

Один студент, находившийся в крайней нужде, не имел средств уплатить денег, требуемых с него за право учения. Он отправился к Траскину и изложил ему свое горе. Траскин немедленно заплатил за него из своей шкатулки, приказал принять его в число недостаточных студентов (с платою за стол и за квартиру по 5 руб. в месяц) и просил его передать другим товарищам, находившимся в такой же нужде, свою готовность заплатить и за них.

После арестов [в марте 1847 г.] Костомарова, [Тараса] Шевченка и других, по известной истории составления славянского «общества св. Кирилла и Мефодия», бывший тогда генерал-губернатор Бибиков приказал в один праздничный день собрать всех студентов в зале университета. В назначенный час мы явились в мундирах. Приехал и Траскин.

Указав в своей речи на современное «брожение умов», Бибиков закончил ее следующими словами, нашедшими тогда место в заграничных изданиях: «если я пять миллионов народа умел поставить на свою ногу, то и вас поставлю: или я лопну, или вы все перелопаетесь!». Траскин весь побагровел, очевидно не от сочувствия к энергичной речи Бибикова. По поводу этой речи и вообще по поводу различия взглядов на системы образования юношества между Траскиным и Бибиковым происходили, говорят, крупные разговоры, пока наконец вместо Траскина не был назначен попечителем киевского округа сам Д.Г. Бибиков в 1848 году.

Воспоминания М.К. Чалого*
// «Киевская Старина», 1889, №№1-12; 1894 г., №№5-12

<…> После гимназических уроков нашего провинциального Герена** – [учителя истории Новгород-Северской гимназии] Михаила Гавриловича Ерофеева, в университете [в 1841 году] мне пришлось слушать всеобщую историю и статистику у проф. Ставровского. Ожидая найти в профессорских чтениях более широкое мировоззрение и более свободы как в изложении фактов, так и в обобщении оных, чем в учительских уроках, я на первой же полуторачасовой лекции совершенно разочаровался в своих ожиданиях.

Профессор, без помощи тетрадки, не мог изложить ни одного исторического события; рыжая голова его, как голова гипсовой фигурки, в продолжение всей лекции находилась в беспрерывном движении; его глаза, после каждой фразы, быстро перебегали от тетрадки к студентам и от студентов к тетрадке; неоднократно повторяемая попытка обойтись без пособия записок [(тезисов, рефератов)] оканчивалась целым потоком ненужных частиц, вроде например: таким образом, извольте видеть, собственно говоря, ну-с, так сказать; город был сожжен, разрушен, уничтожен и тому подобное.

Ежегодно, пред началом лекций, Алексей Иванович рапортовал [университетскому] совету, что он будет читать всеобщую историю, пользуясь сочинениями Гиббона, Людека, Гизо, Августа Тьерри, Шлоссера, Мишо, Ранке и других знаменитостей; между тем на деле оказывалось следующее: записки профессора, на переписку коих у нас терялась бездна времени, впоследствии появились в печати под заглавием «Всеобщая История Лоренца»***, бывшего профессора педагогического института, где воспитывался и наш непризнанный историк, который вероятно из признательности к своему наставнику не изменил в его лекциях ни йоты.

---

* Михаил Корнеевич Чалый (1816-1907), украинский педагог, деятель образования, биограф Тараса Шевченка. Учился в Новгород-северской гимназии, затем – в Университете св. Владимира. Служил, в том числе, в Немировской и во 2-й Киевской гимназиях преподавателем русской словесности. С 1882 г. был членом редколлегии журнала «Киевская старина». Мы приводим здесь, из его весьма живых воспоминаний, лишь те эпизоды и тех персонажей, которые неоднократно упомянуты в воспоминаниях других авторов. Сии воспоминания доступны в Интернете, как и другие страницы отсканированных киевским Институтом высоких технологий номеров журнала «Киевская Старина», по адресу (*iht.univ.kiev.ua/ru/library/all-journals*).

** Герен, Геерен (Heeren), Арнольд-Герман-Людвиг, 1760-1842, немецкий историк, профессор в Геттингене, автор выдающегося сочинения «Ideen über Politik, den Verkehr u. den Handel d. vornehmsten Volker der alten Welt», впервые указавшего на роль торговых сношений в древней истории. Вместе с Укертом 1819 стал издавать обширное издание: «Geschichte der europ. Staaten». – ***Энциклопедия Брокгауза и Ефрона***

*** В бытность профессором Главного педагогического института в Петербурге Фридрих Лоренц издаст «Руководство ко всеобщей истории», СПб., 1855 г.

Как жаль, что настоящий автор этого прекрасного руководства запоздал изданием его в свет; он, во-первых, избавил бы нас от бесполезной траты драгоценного времени на переписку, а во-вторых, заставил бы поработать и нашего историка над составлением собственных лекций.

8 Декабря 1841 года Ставровский защищал диссертацию на степень магистра: «О значении средних веков в рассуждении к новейшему времени», которую Грановский рекомендовал своим слушателям как «образец исторической нелепости». На диспуте магистрант вел себя, как паяц. Почтенный классик наш И.Я. Нейкирх сунулся было сделать ему какое-то возражение из области филологии. – «Ну, уж ваша филология, – ответил Ставровский, не дослушав до конца возражения, – хороши ваши толкования, например, вы производите слово монголы – [от] мы голы!».

(Для казеннокоштных словесников – будущих учителей – на 4-м курсе существовали практические лекции педагогии. Алексей Иванович, цинически относившийся ко всем наукам вообще, а к педагогии в особенности, считая ее измышлением немецких гелертеров, на первой же лекции огорошил нас такою предикой:

«*Вам, господа, известно, что я враг всяческих теорий и так называемых высших взглядов, а потому не стану переливать из пустого в порожнее. Для вас, будущих педагогов, по моему мнению, будет несравненно полезнее, если я, искушенный, так сказать, житейским опытом, ознакомлю вас с практической стороной учительского звания, чем, собственно говоря, и ограничится ваша служебная карьера… Да! а вы, господа, мечтаете переворот в науке произвести, великие открытия сделать – не трудитесь, без вас уже все сделано. Никакой учености на службе от вас не потребуется, за нее ни чинов, ни денег не дадут… Лучше я объясню вам, как вы должны держать себя в отношении начальства, сослуживцев, ваших учеников и их родителей…*». За сим, не будучи вовсе знаком с тою средой, в которой суждено нам вращаться, не зная гимназических порядков, бывший семинарист приступил к изложению своей социологии и закончил «практическую лекцию» таким советом: «имейте, господа, волчьи зубы и лисий хвост!».)

В 1843 году, неизвестно по какому побуждению, Алексей Иванович, пред началом семестра, заявил в совете, что он прочтет студентам 4-го курса историю французской революции, должно полагать, ради снискания популярности, которой ему не удавалось добиться прямым путем. Читать историю великой революции 1789 года, в русском университете 40-х годов, для всякого другого, более даровитого, профессора было бы делом весьма рискованным. Можно ли было с должным уважением к истине и беспристрастием объяснять смысл и значение этого переворота – в то время когда, по словам Грановского, наша цензура не позволяла употребить в поваренной книге выражения: «пирог нужно печь в вольном духу»?

Уж коли наш историк, в присутствии Министра народного просвещения Уварова, доказывал с кафедры, что в древности Римской республики не было, что ее выдумали немцы, то и с революцией он обойдется так же бесцеремонно: он ручался за свою удивительную способность даже изложение истории французской революции опошлить и сделать невыносимо скучной. На первую лекцию Алексея Ивановича собралось множество слушателей: студенты всех факультетов, особенно специалисты по части революций – поляки, побросав свои аудитории, сошлись слушать «революцию».

Предусмотрительное начальство, узнав о таком «движении» молодежи, поспешило само придти послушать, не внушаются ли юношеству вольные мысли, так как профессор почему-то не захотел ограничиться какими-нибудь ассириянами и вавилонянами, а вдруг ни с того ни с сего зачитал чорт знает что такое – «революцию»…

Не прошло недели, как в университет пожаловал господин попечитель [князь Сергей Иванович Давыдов]. В аудитории, где обыкновенно читалась история, шла лекция [преподавателя древней русской литературы и словесности, профессора Николая Трофимовича] Костыря; туда прежде всего князь и заглянул.

Вторую лекцию в той же аудитории должен был читать Ставровский. Студенты, желая занять ближайшие к кафедре места, еще до звонка столпились в коридоре и маленькой передней, под самыми дверями аудитории. После звонка, выйдя от Костыря, князь увидел толкотню и давку; к нему подскочил полковник – инспектор студентов.

– Что это? – обратился к нему попечитель.

– Революция, ваше сиятельство! – брякнул полковник, вытянувшись в струнку.

Князь было смутился. Но кто-то из студентов тотчас же успокоил его, доложив, что это не революция, а история французской революции.

– А-а-а! история… – промычал вполголоса князь.

Прослушав лекцию, его сиятельство пришел к убеждению, что в чтении профессора нет ничего революционного и что, стало быть, опасаться вредного влияния на студентов нет никакого основания. Когда профессор довел свое «изложение» до самого разгара великой катастрофы – «когда обветшалые, подгнившие учреждения Людовиков вырваны были с корнем вон и на развалинах старого порядка вещей, в обагренную кровию землю посажено было древо свободы», на лекцию попечитель явился вторично.

Лектор сдержанным голосом начал излагать историю этих страшных потрясений основ, стараясь, насколько можно, смягчить яркий колорит кровавой картины разрушения разными ненужностями, не жалея при этом крепких слов и эпитетов, которыми он нещадно громил безбожников – французов. И все-таки многое из того, что было приготовлено, пришлось опустить, вследствие чего материалу до звонка не хватило.

Лекцию свою профессор закончил нравственною сентенцией: «Таким образом, господа, как отдельный человек, так и целый народ без религии, без Бога существовать не может: он погибает и таким образом совершенно уничтожается, исчезает!»… Но профессор сентенцию свою кончил, а предательский звонок молчит. Настала пренеприятная пауза: профессор смотрит на студентов, студенты – на профессора, некоторым почему-то стало совестно глядеть и они потупились. Вместо «браво», которым, по всей справедливости, следовало бы поощрить красноречивого профессора, зазвенел колокольчик… et finita la comedia!..

<…> Переводы и объяснения греческих классиков [у профессора Ивана Яковлевича Нейкирха] происходили на латинском языке, тщательно записывались студентами и выучивались наизусть. Лекции обыкновенно начинались неизменным обращением к слушателям: Commilitones humanissimi! Repetendum est inde a versu N usque ad versum N. Quis vestrum repetat? [(Любезнейшие соратники! Повторим от N вплоть до N. Кто повторит это?)] Раз студент Пильчиков вызвался перевесть отрывок из Теокрита, имея перед собой тетрадку с готовым переводом. Прочел он до точки начало идиллии, где говорится о козах, а из тетрадки стал читать совсем другую идиллию, в которой говорилось об овечках. Профессор тотчас догадался в чем дело и с невозмутимым спокойствием заметил: «Humanissime Pilczykow! Verte paginam!» [(«Любезнейший Пильчиков! Переверните страницу!»)]. И, действительно, перевернувши в тетрадке страницу, Пильчиков нашел требуемый перевод, и профессор вполне удовлетворился его ответом, произнеся свое обычное: recte! [(правильно!)]

За повторением предыдущего перевода следовал новый, причем Иван Яковлевич, так сказать, до костей разбирал каждый оборот, каждое слово, каждую частицу. Любимый конек его – генеалогия богов и героев. Родословную каждого божка и каждого героя он передавал с большими подробностями серьезнейшим тоном, каким разве только ученый раввин толкует свой талмуд. Греческие древности, мифология и история литературы излагались так же на латинском языке. Лекция состояла в диктовке, сопровождавшейся обильными объяснениями, причем, для большей наглядности, профессор показывал студентам превосходные изображения древней архитектуры и скульптуры.

И.Я. Нейкирх слыл и действительно был идеалом честности и добросовестности. Нужно было видеть, что с ним делалось, когда он забывал название какого-нибудь ничтожного городишка или год рождения какого-нибудь даже второстепенного писателя – весь сгорит от стыда, готовый провалиться сквозь землю.

<…> Наш историк Ставровский, вообще как сказано, цинически относившийся к науке, трунил иногда над немцами, говоря, что у них достаточно открыть новую запятую в давно знакомом уже тексте, чтобы прослыть ученым классиком. Циник отчасти был прав. И наш филолог Иван Яковлевич интересовался преимущественно самыми темными уголками классицизма и, углубляясь в грамматические тонкости языка, забывал совершенно художественную сторону греческих писателей. Но не так ли поступают и нынешние наши преподаватели классических языков не только в гимназиях, но и в университетах?..

В противоположность серьезному и сухому филологу Нейкирху в лекции профессора римской литературы [Александра Карловича] Деллена вкрадывался романтизм. Живая, подвижная натура этого милого человека вовсе не годилась для роли заправского классика, который, по общепринятому мнению, обязательно должен походить на мертвеца, вставшего из могилы для того, чтобы передать живым людям о том, как живали давно истлевшие греки и римляне. Особенно мило и даже игриво Александр Карлович рассказывал анекдот de causa belli Trojani [(о причине Троянской войны)].

Когда богиня несогласия Дискордия обойдена была приглашением на пиршество, куда приглашены были другие богини: Юнона, Минерва и Венера, то с досады бросила между них яблоко, с надписью: detur pulcherrimae! [(дать прекраснейшей!)] Заспорили богини, кому должно достаться яблоко?

Наконец пригласили, в качестве эксперта, специалиста по части женских прелестей, Париса. Желая задобрить в свою пользу судью, каждая из богинь посулила ему взятку: Juno proposuit regnum, Minerva – sapientiam, Venus autem – pulcherrimam feminarum. Paris noluit neque regnum, neque sapientiam, sed pulcherrimam feminarum. [(Юнона предложила царскую власть, Минерва – знания, Венера, напротив, – прекраснейшую женщину. Парис не выбрал ни господство, ни знания, а остановился на прекраснейшей женщине)]

Питер Пауль Рубенс. Суд Париса (1638-39 гг.). Музей Прадо, Мадрид

Так как между гречанками красивее Елены никого не было, то Венера указала Парису на нее. Он ее похитил – et haec erat causa belli Trojani! [(и это послужило причиной Троянской войны!)]

<…> Из этого краткого перечня посещаемых мною лекций [и характеристик преподавателей] можно усмотреть, что розовые мечты о «святилище науки» разлетелись прахом. Я скоро разочаровался в воображаемых оракулах. Существенной разницы между [Новгород-Северской] гимназией и университетом не оказалось: лекции, как и уроки, были обязательны; то же зубрение записок, тот же звонок, тот же карцер и те же экзамены по билетам, что и в гимназии.

Положение студента, который захотел бы узнать больше того, что заключалось в записках, было весьма непривлекательно: у него решительно не оставалось времени для занятий самостоятельных. Разве в больницу уйдешь на какую-нибудь неделю и там, благодаря покровительству доктора Щербины, займешься чем-нибудь серьезным*.

Вот где кроется, между прочим, причина поверхностного образования, каким в большинстве отличались тогдашние воспитанники университета. Мы понимали отлично, чего нам недоставало, но лишены были возможности пополнить пробелы в своих познаниях самостоятельным трудом.

<…> «*Краснобайство, например Селина*, – говорит один из его слушателей (Авсеенко**), – *не знало пределов. Он сидел совершенным шутом на кафедре, кривлялся, скалил зубы, закатывал глаза – одним словом, изображал актера, срывающего рукоплескания с александринских верхов. С кафедры лилась разнузданная болтовня о Малороссии, о Польше, о Мицкевиче, о Погодине и т.п.*».

“*К Селину*, – говорит историк университета св. Владимира, проф. Буданов, – *можно применить стих Толстого: «Коль любить, так сгоряча, коль рубить, так уж с плеча». Имея натуру проповедника и оратора, он не удовлетворялся ровным течением своей науки и еще менее логическою связью отвлеченных положений ее; как оратор и публицист, он любил собирать большую аудиторию, любил сценическую обстановку и овации. Ученым-филологом он никогда не был.****”

Производимое на слушателей лекциями Селина впечатление можно уподобить действию музыки: слушать его – наслаждение, какое испытываешь в музыкальном концерте. Подобно ловкой игре виртуоза лекции его действовали на душу сильно, но безотчетно и даже бесследно: их трудно было воспроизвести, изложить последовательно на бумаге.

<…> Высшая власть во всем Юго-западном крае принадлежала генерал-губернатору. Об отношениях этой власти к попечителям Киевского учебного округа любопытно свидетельство первого попечителя фон-Брадке.

---

* Э.Э. Классон периодически пересекался с врачом при университетской студенческой больнице и Киевской 2-й гимназии Иваном Трофимовичем Щербиной – на заседаниях Киевского общества врачей, а возможно и в университете, по каким-либо врачебным делам (см. Приложение «Э.Э. Классон и Киевское Общество врачей»).

** Его воспоминания «Школьные годы» см. выше.

*** Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов (1838-1916), с 1875 г. ординарный профессор истории русского права в университете св. Владимира. По поручению совета университета написал книгу к 50-летнему юбилею alma mater (1884 г.) – История Императорского университета св. Владимира. Том 1. Университет св. Владимира в царствование императора Николая Павловича.

На самом деле, стих А.К. Толстого выглядит так: «*Коль любить, так без рассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча, Коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, Коль карать, так уж за дело, Коль простить, так всей душой, Коли пир, так пир горой!*».

«*Граф [Александр Дмитриевич] Гурьев*, – говорит он, – *ненавидел (?) все университеты. Хотя между нами не было никаких неудовольствий, но по университетским делам выходили столкновения, так что дело доходило до Государя, решавшего их в мою пользу. На место Гурьева [в 1837-м] назначен Бибиков, человек великих природных дарований, но без научного образования. По внешности мы были друзьями, но потом ясно оказалось, что он с самого начала имел намерение соединить попечительское место с генерал-губернаторским и добивался этой цели*».

Весьма естественно, что при наклонности все в управляемом им крае подчинять своей власти, приснопамятного Дмитрия Гавриловича [Бибикова], такое учреждение как университет, с известной долей автономии, не могло ему нравиться. А все-таки, после увольнения фон Брадке, ему не удалось захватить в свои руки управление Киевским учебным округом: попечителем [был] назначен гродненский губернатор князь [Сергей Иванович] Давыдов.

(В 1812 г. Бибиков потерял при Бородине руку. Киевская аристократия называла его manchot – однорукий. Говорят, один исправник, отправляя к нему секретное донесение, затруднялся, как ему надписать на конверте: в собственные руки или в собственную руку?)

Он был человек крайне ленивый. В университет он заглядывал крайне редко. На экзаменах обыкновенно садился на студентскую скамью и все время рисовал на лоскутке бумаги головки. В дела [учебного] округа он так же не входил: назначение учителей, их перемещения, повышения, награды и увольнение зависело от всемогущего при нем правителя канцелярии Алексея Алексеевича Лазова. Князь подписывал бумаги не читая. Административная его бездеятельность, в сравнении с «барабанной поспешностию» фон Брадке, очень резко бросалась в глаза. Явно недовольный его назначением Бибиков постоянно запускал в него шпильки.

Хвалился князь перед киевской аристократией, что ему лично известны все студенты, но на самом деле он знал только две студентские фамилии: Вернадского и Пухальского. Гуляет, например, попечитель в Царском саду с своими знакомыми; встречается студент и делает фронт.

– А, здравствуй, Вернадский! – приветствует он любезно юношу.

Встречается другой.

– А, здравствуй, Пухальский!

– Неужели, prince, вам известны фамилии всех студентов? – удивляется гулявшая с ним дама.

– О, да, – отвечает за князя его супруга, – он знает всех молодых людей: они у нас, как дети – мы постоянно с ними.

Если на беду попадался навстречу еще один студент, то князь или старался его не заметить или называл Вернадским. Да, наш сиятельный не обладал твердой памятью; не то что Егор Федорович фон Брадке, который знал по фамилии не только всех студентов, но и гимназистов. Бибиков подметил его слабую струнку.

История с Денисом Подпружниковым, во время царского посещения университета*, навела Дмитрия Гавриловича на мысль – заставить князя выучить фамилии студентов: это было пред Высочайшим приездом в Киев Императора Николая Павловича, в 1841 году.

За две недели до царского приезда нас начали собирать по вечерам в институтскую залу, ставили в ряды, а князь ходил между рядами в сопровождении инспектора и учил фамилии, повторяя каждую по несколько раз. Но память его не слушалась: едва он успевал пройти один ряд и перейти к другому, как уже решительно не помнил ни одной фамилии, возвратясь к первому. Пробившись таким манером недели полторы, его сиятельство бросил свои упражнения в мнемонике, да так и остался при двух фамилиях: Вернадского и Пухальского.

Был где-то попечитель на именинном обеде. Там в присутствии генерал-губернатора стали говорить о похождениях студентов в ночное время, особенно казеннокоштных. Не заезжая домой, прямо из гостей, едет князь в институт. Мы жили уже в новом здании на четвертом этаже. На лестницах не оказалось ни одной лампы. Пробираясь в потемках до студентских камер, он не раз спотыкался и падал.

Затем, преодолев все трудности восхождения на высоту, врывается в первую попавшуюся камеру и там не находит никакого кутежа, ни даже преферанса, а только один лирический беспорядок: раздетые студенты лежали с книгами в руках, кто на полу, подложив под голову латинский лексикон или логарифмы, кто на сдвинутых комодах или на окне; но все, однако ж, были заняты делом, а не кутили, как на них насплетничали.

Нашумевши вволюшку за беспорядок, попечитель пошел в другую камеру, но там не нашел уже ни одного человека: все разбежались и попрятались в сторожку, кто в чем был, оставив на полу зажженную свечу.

---

* К сожалению, М.К. Чалый не приводит подробности этой занимательной истории, хотя далее и описывает свои непростые отношения с Подпружниковым, сотоварищем по Новгород-северской гимназии и коллегой по Университету св. Владимира, учившимся на юриста. Зато сия история была уже отражена в более ранних воспоминаниях Петра Димитриевича Селецкого:

С 1839 года были введены новые дисциплинарные правила; правила эти, несвоевременные и в существе совершенно бесполезные, значительно стесняли разумную свободу, которой мы пользовались доселе. Вся административная деятельность университета была обращена на водворение внешнего порядка между студентами и на улучшение их наружного вида, стригли, брили, одевали по форме и старались придать всем приличную и по возможности благообразную наружность.

Поводом к усиленным университетского начальства по части студенческой наружности послужило последнее в бытность мою в университете посещение государя. В том же здании казеннокоштных студентов нас выстроили стройными рядами, строго осмотрели нашу одежду и приличнейших по виду поставили в первый ряд. Государь вошел и довольно ласково поздоровался с нами, мы ему прокричали очень удовлетворительно: «здравия желаем, ваше императорское величество!» Государь прошел по рядам, видимо остался доволен нашей наружностию и отправился осматривать дортуары. В это время один из студентов задней шеренги, кривоногий и весьма непривлекательной наружности, стал в первый ряд, чтобы ближе видеть государя, в полной уверенности, что смотр окончен. Но государь, возвратясь из дортуаров, стал нас осматривать вновь и с негодованием остановился [взглядом] на кривоногом студенте.

– Как твоя фамилия? – спросил государь.

– П[одпружников], – отвечал отрывисто студент.

– Откуда?

– Из Чернигова, – еще отрывистее отвечал П[одпружников].

– Болван! – грозно сказал император и, обратившись к сопровождавшему его наследнику престола, прибавил: какие неотесанные, не умеют отвечать [(т.е. прибавлять каждый раз – «ваше императорское величество!»)]. <…> – ***«Киевская старина», февраль 1884 г.***

– Чья свеча? Признавайся! – закричал князь, завидев одного студента, успевшего одеться и вернуться в камеру.

– Моя, ваше сиятельство! – отвечает студент.

– А, твоя? – озлился князь. – В солдаты!

– Помилуйте, ваше сиятельство, за что же в солдаты?

– В солдаты, в солдаты! – свирепствовал князь, выходя из камеры.

Когда обошедши все камеры, где успели уже все привесть в порядок, попечитель сходил вниз по освещенным уже лестницам, мой приятель, Фердинанд Лещинский, поддерживая князя под руку, не переставал умолять его о пощаде.

– Нет, брат, не выкрутишься, – говорил уже шутливым тоном попечитель, – будешь солдатом, будешь!

– Ну, Бог с вами, ваше сиятельство, – сказал с притворным отчаянием Фердинанд, – я вам жизнь спас, а вы меня в солдаты…

– Что ты говоришь, когда ты мне жизнь спас?

– Когда я был в первом благородном пансионе гимназистом – забыли? Вы, сходя с лестницы, поскользнулись и, если б я вас не поддержал, то вы ушиблись бы до смерти.

– Друг мой! – умилился князь, трепля по румяной щеке Фердинанда, – ты не будешь солдатом – приходи завтра ко мне обедать!

<…> При князе Давыдове помощником попечителя был сперва [Вильгельм Иванович] Карлгоф. Но из-за популярности, какую он успел приобресть в киевском обществе, князю он не понравился и был перемещен в Харьковский учебный округ. На его место [был] назначен инспектор казенных училищ Михаил Владимирович Юзефович, остававшийся на службе до назначения попечителем Пирогова.

К сонму окружной администрации сопричислял себя и наш всемогущий Алексей Алексеевич Лазов. Придешь бывало в канцелярию – сидит «правитель» на каком-то возвышении, вроде амвона, настоящий Юпитер-громовержец. Взглянет на тебя, да так у порога и остановит орлиным взглядом. Скажет какую-нибудь незначащую фразу, да и прощайте! И неспроста этот гордый бюрократ присвоил себе право так презрительно, обидно относиться к труженикам разных захолустьев – он был всемогущий властелин судьбы их: чрез него все можно было достигнуть, и место лучшее получить, и в инспекторы гимназии попасть. Что захочет, то и поднесет к подписи попечителю.

Михаил Владимирович Юзефович

<…> В наше время приобрели громкую известность «крестовые походы» студентов. Походов этих было не три и не четыре, как в средние века, а немного поболее того. После великой руины, постигшей лучшую часть города – Печерск, по случаю постройки крепостных башен, не осталось и следа этого развеселого квартала: «яко же дух пройде в нем и не будет, и не познает к тому места своего».

Роль «Крестов» [(местности на Печерске с Крестовой улицей)] впоследствии выпала на долю «Андреевской горы», пока Андрей Николаевич Муравьев своим вмешательством не выселил падших дев на Подол – за канаву*. Студентские кутежи юнейшего из русских университетов не представляли ничего необыкновенного: ими славились с давних времен все германские университеты с тою лишь разницей, что немцы, хотя и больше пили и кутили, да ума не пропили, мы же – совершенно напротив. Германские университеты, передавая целые столетия всему миру вековые подвиги ума, нашим русским студентам передавали лишь разгульную жизнь буршей, вместе с разудалою песнею «Gaudeamus».

Шумны были кутежи немецкой молодежи конца XVIII века и странное явление: ни одно время не произвело столько гениев в области науки и поэзии, сколько произвела их знаменитая в истории германской культуры эпоха бурных стремлений – Sturm und Drang [(«штурм и натиск»)]... Нынешние немецкие студенты тоже кутят, наливают в себя пиво, как в бездонную бочку, дерутся на дуэлях, целые годы не берут книги в руки, но потом как будто перерождаются, начинают работать так же прилежно, как прежде бражничали, и блестящим образом оканчивают свою ученую карьеру.

Die Jugend muss austoben [(«Молодежь должна выпустить пар»)], говорят немцы. Но… должно полагать, что немцу здорово, то русскому смерть…

Институт казеннокоштных студентов – благотворительное учреждение, оказавшее немалую услугу высшему образованию, служило вместе с тем, в продолжение целой четверти столетия, рассадником учителей гимназий Киевского учебного округа.

«*Содержание, доставляемое казеннокоштным студентам*, – говорит проф. Буданов, – *должно быть признано действительным благодеянием, предохранявшим молодежь от растраты сил и времени на неблагодарные заработки, в ущерб научных занятий, и от морального озлобления, которое часто заползает в душу среди нищеты*».

Доставляя недостаточным молодым людям средства достигнуть высшего образования, с обязательством прослужить не менее шести лет в должности учителя по назначению от правительства, институт ежегодно поставлял потребный контингент преподавателей для гимназий и дворянских училищ, которые, благодаря этому учреждению, не нуждались в преподавателях так, как стали нуждаться, когда института не стало.

---

* Сей сюжет требует дополнительных розысков. По крайней мере, выйдя в 1866 г. в отставку, православный духовный писатель и историк Церкви А.Н. Муравьев (1806-1874) переехал из Москвы в Киев и поселился близ Андреевской церкви.

Что касается «канавы», то это целая история в жизни Киева:

Глубочицкая канава – русло речки Глубочицы, начинавшейся в верховье Глубочицкого яра и протекавшей по всей его долине и далее по линии Верхнего и Нижнего вала до впадения в Днепр. Подольская часть канавы в середине 1830 годов была расчищена, выровнена и обсажена деревьями, образовавшими лучший в городе Подольский бульвар, или, как тогда говорили, Бульвар на канаве. С развитием в городе производства и уплотнением жилой застройки канава превратилась в сток нечистот с заводов и мещанских усадьб. Отходы пивоваренных, дрожжевых и кожевенных заводов делали воздух Подола и Глубочицы нестерпимо зловонным.

*"Почти в самом центре Киево-Подола, – писала в 1867 г. газета «Киевлянин», – во всю ширину его, от горы и до Днепра проходит канава и, служа стоком нечистот, а под мостиками – общественным ватерклозетом, распространяет на всем своем течении едва ли способствующие общественному здоровью газы. Не очень, впрочем, давно еще «*канава*» имела не одно только то назначение, какое усвоено ею теперь [т.е. служила местом городских публичных домов – МК]*". – Из Интернета

С 1856 года, при новых «веяниях», это в высшей степени полезное и гуманное учреждение представилось в ином освещении: тогда периодическая печать наша сильно влияла на общественное мнение; считая закрытые заведения вредными, она ополчилась против них и главным образом содействовала их закрытию. Той же участи не избежал и институт казеннокоштных студентов при университете св. Владимира. Причины, побудившие совет к ходатайству об его упразднении, были следующие: увеличение числа воспитанников с 50-ти до 150-ти и происходящий оттого недостаток средств, при увеличении цен на содержание.

(По штату 1833 года на одного воспитанника полагалось по смете 400 руб. асс., на 1840 год – по 500 руб. асс., или 114 руб. 28 коп. серебр., а по уставу 1842 г. – 143 руб. серебр. на каждого студента, да кроме того на Рождество и на Пасху отпускалось по 110 руб. серебром.)

Попечитель Пирогов, разделявший вполне взгляд современной печати на закрытые заведения, присоединился к мнению совета, прибавив от себя (как доктора) еще одну причину: тесноту помещения, низость камер; кроме того, он считал закрытые заведения для взрослых вредными в политическом, нравственном и общественном отношениях. На основании всех этих причин Николай Иванович просил министра уменьшить число казеннокоштных воспитанников, хоть наполовину; но министерство, считая институт учреждением полезным, согласилось лишь на то, чтобы желающим жить на вольных квартирах – выдавать по 143 руб. серебр. в год.

Генерал-губернатор князь Васильчиков разделял мнение министерства; но Пирогов в 1858 году вошел снова с представлением о закрытии института, заменив его выдачею стипендий и учреждением «педагогических курсов», которые, однако ж, ни в каком отношении не могли заменить прежнего способа приготовления студентов к учительскому званию. Так называемых «кандидатов-педагогов» бывало на курсах всего два-три человека, а «руководителей» (профессоров и учителей гимназий), получавших вознаграждение за чисто фиктивные труды, человек 15-20. Да и те немногие кандидаты-педагоги, так дорого стоившие казне, весьма неохотно шли в учителя и уходили в другие ведомства, без возврата затраченных на их приготовление денег.

Другая, весьма значительная часть капиталов, оставшихся после закрытия института, [была] обращена на выдачу стипендий. Деньги студенты стали получать на руки, чем, казалось, устранено было великое зло, происходившее от совместного жительства более сотни молодых людей. Но, устранив таким образом воображаемое зло, антагонисты закрытых заведений, помимо того что лишали гимназии готовых преподавателей, в сущности весьма мало обеспечивали существование студентов в материальном отношении: они почти так же стали нуждаться, как и прочие бедняки, живущие изо дня в день впроголодь, одними репетициями – за 5-8 рублей в месяц.

Разница в обеспечении между бывшими казеннокоштными студентами и нынешними стипендиатами громадна: тогда как первые, поступая в институт, получали все необходимое для жизни натурой – теплую и удобную комнату, стол, одежду, обувь, книги и все учебные пособия и ни о чем не заботились, стипендиаты, которым самим предоставлено распоряжаться выданными им деньгами, часто не знают, где будут ночевать сегодня, где придется обедать завтра.

<…> Существование института во время моего в нем [трехлетнего] пребывания можно разделить на два, резко отличающиеся один от другого, периода, как в отношении научных занятий, так и в отношении образа жизни студентов. До 1842 года институт помещался в доме Бухтеевой vis à vis с Институтом благородных девиц (нынешняя квартира гражданского губернатора). Состояние института в этот период имело за собой то преимущество, что он по наружному виду и по внутреннему устройству не имел казенного характера, каким обыкновенно отличаются закрытые заведения.

Дом Бухтеевой состоял из главного двухэтажного корпуса, деревянного флигеля для эконома, другого – для субинспектора Троцкого и небольшого фруктового сада. В первом этаже главного корпуса помещались дортуары, столовая и гардеробная, а во втором – залы для занятий, разделенные глухою стеной на два отделения: в одном жили юристы, а в другом словесники и математики. Не связанные никакими обязательствами, подобно словесникам и математикам, юристы однако ж очень часто, не находя мест по своей специальности, добровольно поступали в учителя, так как они слушали некоторые предметы вместе с словесниками. С переходом университета в собственное здание в нем [было] отведено особое отделение для института [казеннокоштных студентов] – на 4-м этаже.

С открытием медицинского факультета число казеннокоштных студентов утроилось; они заняли весь верхний этаж: словесники, юристы и математики помещены с правой, а медики – с левой стороны. Столовая была общая – на 2-м этаже. Надобно заметить, что мы, первые переселенцы в новое здание, должны были, так сказать, собственным дыханием осушать не совсем еще высохшие стены, будучи обречены на жертву разным болезням. Если покойников было у нас немного, сравнительно с количеством заболевавших, то этим мы обязаны лишь той жизненной силе юного организма, которая нередко производит чудеса. При всем этом пребывание наше в сыром помещении отразилось на нашем здоровьи впоследствии. Только через год после нашего переселения начальство спохватилось и энергически принялось за осушку здания посредством железных печей, расставленных по всем четырем этажам.

Время нашего новоселья как раз совпало с открытием медицинского факультета: на первом этаже устроен был анатомический театр в круглой зале под костелом, а человеческие трупы для секций хранились в подвале. Стало быть, кроме сырости, порча воздуха, которым нам приходилось дышать, еще усилилась от разложения трупов. А простодушные граждане Подола распустили слух, что студенты режут по ночам людей и прячут в университетских подземельях. Подвалы их воображению представлялись какими-то пещерами, о каких говорится в сказках о разбойниках – людоедах.

Жители же прилежащего к университету квартала – «Нового строения» несколько смягчили такой уж чересчур суровый приговор подолян над сынами Эскулапа, утверждая, что студенты режут не людей, а [лишь] жидов. Распространению такой нелепости весьма много способствовало изолированное положение университетского здания, кругом которого в то время на большое расстояние не было никакого жилья, так что в темные осенние ночи небезопасно было проходить запоздалому студенту, хотя и вооруженному, совершенно впрочем безвредной, шпаженкой.

Были случаи грабежа, и раз чуть не случилось убийства, жертвою которого едва не сделались те же самые медики, которых подозревали в каннибальских наклонностях.

Вообще говоря, до открытия университета, Киев был бедный провинциальный город. Там, где ныне университет, три гимназии, ботанический сад, – в диких ярах рос один колючий будяк; люди, еще живущие поныне, охотились по болотам Лыбеди на бекасов, а нынешний Крещатик – это была грязная, глухая низменность, отделявшая Старый город от Липок, где был ряд дач, тонувших в зелени.

«Новое строение», на горизонте – «собственное здание» Университета св. Владимира (Киев, 1870-е годы, фото из коллекции Михаила Кальницкого)

<…> Были между нами и отчаянные франты в сиреневых перчатках, в сюртуках из собственного сукна либерального покроя – с широчайшими рукавами и, с голубой шерстяной материи, подкладкой, вечно раздушенные и скрипящие лакированными ботинками. У одного из таких щеголей заботы о своей наружности простерлись до того, что он ежедневно смачивал квасом свои черные дипломатические бакенбарды, для приданья им металлического блеска, а чтобы они плотнее прилегали к щекам, укручивал их на ночь полотенцем. Господин этот [Юрко], «пустейший из самых бестолковых», до поступления в университет был несколько лет юнкером, но когда дядюшка его, Никита Андреевич Дьяченко, сделался профессором высшей математики, он счел более для себя выгодным получить кандидатский диплом и вступить на педагогическое поприще.

Не будучи в состоянии грамотно написать несколько строк, этот штык-юнкер, с помощию дядюшки, получил золотую медаль за образцовую диссертацию по математике, а по выходе из университета, будучи уже [старшим] учителем [математических наук Немировской гимназии], был рекомендован тем же Никитой в профессоры, на место [ординарного профессора прикладной математики Александра Никитича] Тихомандрицкого[, в 1848 году назначенного на должность инспектора Главного педагогического института в Петербурге]. К этому господину я буду иметь случай вернуться впоследствии.

Весьма заботливый к племяннику,
профессор высшей математики Н.А. Дьяченко

Ареной, где фигурировали наши франты, был Царский сад. Туда съезжался по вечерам весь киевский beau monde. Там можно было встретить постоянного завсегдатая, приобретшего печальную знаменитость, убийцу поэта Лермонтова – Мартынова, присланного в Киев на епитимию – замаливать, под руководством отца Василия Панова, тяжкий грех, он же не простится ему ни в сей век, ни в будущий!.. Самоуверенно и гордо шагал он по главной аллее сада с своею всегдашнею спутницей, известной куртизанкой Ш.

«В бытность свою на Кавказе Мартынов выделялся из круга молодежи теми физическими достоинствами, которые так нравятся женщинам: высоким ростом, выразительными чертами лица и стройностью фигуры. Взгляд его был смел; вся фигура, фантастический костюм и жесты полны были удали и молодечества». Белый бешмет, которым он пленял сердца пятигорских красавиц, в Киеве заменен синим халатом с расшитыми по нем золотыми звездами. Как теперь вижу его сидящим у раскрытого окна своей квартиры (в три окна, против Царского сада), презрительно посматривающего на окружающих.

В шумных аллеях желающие могли познакомиться с графом Т-м. Пресыщенный чувственными удовольствиями старик ловил между гуляющими рослых и румяных юношей, предлагая им на собственный счет на Крестах те удовольствия, которыми сам он, от истощения сил, уже не мог пользоваться [(но с удовольствием посмотрел бы?)]. Об этом развратном цинике можно сказать то же самое, что сказал в своей автобиографии фон-Брадке о 80-летнем фельдмаршале Сакене: «На нем ясно можно было видеть, что чувственность не умирает даже тогда, когда иссякла возможность удовлетворить ее». Кроме господ офицеров и юнкеров, к стыду нашей интеллигентной молодежи, и между нашими студентами находились охотники до лакомого угощения сиятельным польским магнатом…*

<…> Воспоминания о Немировской гимназии [(1845-52 годы)] принадлежат к самым тяжелым годам моей учительской службы. Они главным образом вращаются около личности одного человека – директора Зимовского, без него же ничто же бысть, яже быша. Недаром сей доморощенный педагог, пародируя известное изречение Людовика XIV: L'etat c'est moi [(Государство – это я!)], любил самодовольно повторять: гимназия – это я!

Все отправления не только училищной, но и домашней жизни каждого из его подчиненных находились в полнейшей от него зависимости; от него не было возможности укрыться ни в тиши кабинета, ни у семейного очага: окружив себя шпионами, он знал все, что говорилось в тесном кругу приятелей, и даже, что у кого варилось в горшке. На всем отпечатлевались глубокие следы лап этого восьминога, в которых он как в тисках сжимал Немировскую гимназию в течение 10-ти лет.

Некоторые, из весьма впрочем немногих приверженцев «незабвенного Егора Яковлевича», стараются оправдать деспотические замашки его господствовавшим в 40-х годах направлением, утверждая, что суровость его режима non vitia hominis, sed vitia saeculi [(не пороки человека, но пороки возраста)]; но господа эти правы только отчасти: благоразумная строгость и требовательность в начальнике, при халатном отношении к делу большинства тогдашних педагогов, конечно, необходима; но если строгость переходит предел, она граничит с безумием.

---

* Две выделенные голубым цветом шифровки киевских персонажей требуют дополнительного исследования. Не пытаясь отбирать хлеб у историков, специализирующихся на российской истории XIX века, все же позволим себе дать наводку (из Воспоминаний П.Д. Селецкого):

Губернским предводителем издавна состоял граф [Генрих Юрьевич, или Георгиевич] Тышкевич [(1794-1855)], весьма ловкий и уживчивый человек. Дом его содержался на барскую ногу, и он жил весьма прилично. <…> Довольно приятное [было] семейство Проскуры, состоявшее из отца и очень умной матери, и двух взрослых дочерей. Старшая [сестра Софья Иосифовна] была замужем за Шишкевичем, развелась и вышла впоследствии за Мартынова Николая Соломоновича, сосланного в Киев за убийство на дуэли Лермонтова.

Личность Зимовского, с одной стороны, действительно есть продукт тогдашнего состояния служебной атмосферы, но, с другой стороны, в ней много такого, чего нельзя оправдать никакими веяниями свыше, никакими обстоятельствами времени.

<…> Когда бывший сотрудник графа Аракчеева по управлению военными поселениями, Е.Ф. фон Брадке, был назначен попечителем Киевского учебного округа, неизвестно по чьей рекомендации он пригласил к себе на должность письмоводителя своей канцелярии некоего Зимовского, который, по окончании юридического факультета в Харькове, незадолго пред тем приехал в столицу искать службы по Министерству юстиции.

Тогда еще очень молодой человек, Егор Яковлевич своим деловым характером, исполнительностию, уменьем угодить начальству и практическим знанием иностранных языков пришелся очень по нраву энергическому и неугомонному фон Брадке. Скоро Зимовский сделался самым приближенным лицом попечителя. Карьера его, не в пример другим, пошла быстро. В 1835 году он был назначен синдиком [(главой самоуправления)] университета св. Владимира, а в 1836-м, 25-ти лет от роду – инспектором 2-й Киевской гимназии.

(Родился в 1811 году; окончил курс университета в 1832-м; поступил на службу по Министерству юстиции и перемещен в Киев в 1833 г. Умер в 1882-м.)

«*Назначение Зимовского во 2-ю киевскую гимназию инспектором*, – говорит хроникер этого заведения И.И. Слепушкин, – *вызвало смуты в среде личного ее состава. Зимовский обладал несчастными чертами характера, не располагавшими к нему ни его сослуживцев, ни его подчиненных, ни даже учеников*».

К концу 1838 г. не проходило ни одного заседания, в котором бы инспектор согласился с большинством и не подал бы особого мнения. Это вооружило против него всех учителей, которые особенно были задеты за живое одним из его «мнений», где, говоря о преподавателях, он позволил себе употребить выражение «нерадивые». Последствием этих дрязг, столь вредных в деле воспитания, в 1839 г. стало перемещение Зимовского [из 2-ой Киевской] в Волынскую гимназию.

Но и там он не удержался: его беспокойный, неуживчивый нрав вооружил против него всех. Учитель русского языка Зуб, человек весьма дельный, был оскорблен инспектором в присутствии учеников, вследствие чего, едва Зимовский успел выйти из класса, Зуб стоя на пороге обратился по его адресу с весьма нелюбезными выражениями, показав ему кулак. Получив об этом происшествии донесение от директора, окружное начальство было поставлено в большое затруднение – куда девать это сокровище?

И вместо того чтобы предложить Зимовскому поискать службы в другом ведомстве оно, при содействии всемогущего тогда правителя канцелярии Лазова (в котором после отставки фон Брадке Егор Яковлевич нашел покровителя), послало его исправлять должность инспектора, да не одного, а двух заведений: Лицея князя Безбородка и Нежинской гимназии, мотивируя такое незаслуженное повышение строгостию директора Экеблада, известного укротителя строптивых.

<…> Впоследствии времени Егор Яковлевич, с свойственным ему красноречием, часто вспоминал о своей нежинской службе и, указывая на свою раннюю седину, прибавлял: «я поседел у Экеблада!». Но и в Нежине он не усидел, хотя и поседел.

В 1841 году между им и директором Немировской гимназии И.Г. Кулжинским, который якобы для воспитания детей пожелал переехать в Нежин, состоялось добровольное соглашение поменяться местами, хотя люди близко знакомые с делом, утверждали, что Егор Яковлевич просто надул Кулжинского, уверив его, что Экеблад скоро выйдет в отставку и что ему, Кулжинскому, очень легко будет занять его место, так как сам он, Зимовский, по неимению для того подходящего чина, лишен всякой надежды этого достигнуть.

Из того обстоятельства, что И.Г. Кулжинскому пришлось удирать от директора Экеблада на Кавказ, не дождавшись его отставки, можно заключить, что он, меняя самостоятельную директорскую должность на зависимую инспекторскую, зная притом крутой нрав Христиана Адольфовича, рассчитывал именно на эти шансы.

<…> П.О. Ющенко, мой [сослуживец по Немировской гимназии и] земляк, черниговец, небольшого роста, толстенький, с щетинистыми волосами на маленькой голове, не гармонировавшей даже с его ростом, с широкими, густыми, прямолинейными бровями и неизменным малорусским говором – историк наш имел большие притязания на знание французского и немецкого языка и даже итальянского, так как он переводил сонеты Петрарки на украинское наречие.

Не имев предварительно никакой практики в Черниговской гимназии в разговорном языке, коллега мой, по приезде в Киев [(для обучения в Педагогическом институте)], нисколько не стесняясь заговорил и по-французски, и по-немецки, и можно себе вообразить, какой это был убийственный прононс в устах нашего Городненского обывателя*. Между студентами вращалось немало анекдотов о бесшабашной смелости этого чудака пускаться в объяснения на иностранных языках, при всяком удобном и неудобном случаях. Так однажды, приискав себе кондицию [(платные уроки)] в порядочном доме, он привез туда свой багаж и, встретив на крыльце барышню, дочь хозяина, обратился к ней с вопросом: Ou est mon ombre, demoiselle? [(Барышня, где моя тень?)]

Девушка захохотала и скрылась за дверью. Нетрудно, конечно, догадаться, о чем хотел узнать наш француз из Городни: он хотел спросить ее, где предназначенная ему комната, и вместо chambre употребил слово l'ombre. Очень естественно, что девица не могла удовлетворить желанию чудака, ищущего собственную тень. Но никакие промахи, никакие насмешки со стороны товарищей на упрямого хохла не действовали; он задался непреложною целью научиться, во что бы то ни стало, parler français.

По окончании университета в 1843 г. Ющенко поступил на должность учителя в Немировскую гимназию и с первого же дня своей службы стал претерпевать от директора множество гонений, но к концу второго года, т.е. ко времени моего перемещения из Винницы [в Немиров], укротитель упрямых и крутых натур [директор Немировской гимназии] Егор Яковлевич [Зимовский] уже успел достаточно объездить этого степного коня, и мой земляк, как говорится, должен был покориться необходимости: перестал бурлить, смирился и стал ходить к директору на чай <…>, продолжая питать к нему в душе непримиримую ненависть.

<…> По вкоренившемуся исстари в Немирове между педагогами обычаю – промышлять уроками, Ющенко тоже имел их немало и скопил порядочные деньги, обзавелся мебелью и порядочным гардеробом. Сшил он себе соболью шапку с бархатным, малинового цвета верхом и с золотою китицей [(султаном)], заказал в Киеве модный костюм и на удивление всех пустился в пляс на домашнем вечере [почетного попечителя гимназии] графа [Болеслава Станиславовича] Потоцкого.

Но помимо разного тряпья у него была богатая библиотека. Все новейшие сочинения по новейшей истории на языках французском и немецком, в изящных переплетах были приобретены им из Риги, от Кюммеля. Пользуясь такими богатыми пособиями и обещанною ему протекцией проф. Ставровского, наш историк, в гордом сознании своего превосходства, задумал держать экзамен на магистра и сделаться профессором.

---

* Городня – город в Черниговской губернии.

С этою целию в 1848 году он переместился во 2-ю киевскую гимназию, где и случилась с ним та ужасная катастрофа, которая положила конец всем его затеям и чудачествам: в один осенний день, поутру его нашли в квартире с перерезанным горлом. Полуживого, полиция отправила его в Кирилловское заведение, где медикам удалось спасти ему жизнь. Никто из Киевлян не знал настоящей причины, побудившей его к самоубийству. Одни объясняли покушение его на жизнь любовной историей, другие – соображениями политического характера. Но все это – чистейшая выдумка.

Едва ли не одному мне известна была истинная причина этого кровавого события: я положительно утверждал тогда, что приятель мой посягнул на самоубийство в припадке лунатизма[, которым он страдал еще в Немирове].

По выходе из больницы Ющенко очутился в безвыходном положении… Его исключили из службы; имущество расхитила полиция; знакомые и сослуживцы от него отвернулись как от человека, совершившего страшное преступление; гимназическое начальство отнеслось к постигшему его несчастию безучастно и даже враждебно, и жизнь человека [была] загублена навсегда. Кое-как добрался он до родного хутора. Старушка мать, которую он поддерживал небольшой субсидией, а теперь сам нуждался в помощи, стала делиться с ним последними крохами. В Чернигове у него служил богатый дядя – член приказа общественного призрения, но он отказал ему в пособии.

В последний раз мне довелось увидеться с ним в 1854 г., когда я был уже на службе в Киевской 2-й гимназии. Он показался мне каким-то потерянным человеком.

– Отчего ты, дружище, ни разу не отозвался ко мне? – спросил я его с участием, – я решительно не знал, где тебя искать и что с тобой?

– Эге ж! напысать! А грывенныка на пысьмо де взять? – ответил он мне как-то ожесточенно-тоскливо.

Два раза, говорят, он покушался сгубить себя и каждый раз ему не удавалось покончить с своим жалким существованием: раз нашли его повесившимся на гумне и отцепили, другой раз вытащили его из пруда еле жива и отходили. А все-таки он умер натуральною смертию – от тифа.

<…> Наш немировский [старший преподаватель математики] «дон Жуан» Юрко, совершенно равнодушный насчет литературы, получил от [педагогического] совета поручение написать для торжественного акта речь. Застигнутый врасплох в самый разгар своих амурных похождений, он придумал остроумный способ увернуться из беды, обратившись за помощью к [преподавателю латинского языка] Шведову. Находясь в крайне стесненных обстоятельствах, Артемий Афанасьевич взялся написать речь «О современном направлении просвещения в России» за сторублевое вознаграждение. Когда речь была окончена, Юрко принес ее ко мне для просмотра, выдав ее, конечно, за свое произведение. Ничего не подозревая, я на досуге приступил к ее чтению, но меня сразу огорошили не свойственные этому уличному Ловеласу мысли о превосходстве древне-русского воспитания в страхе Божием пред новым антирелигиозным направлением современного просвещения, якобы растлеваемого злокозненным Западом. Желая поделиться таким курьезом с Артемием Афанасьевичем, я отправился к нему. Но едва я начал читать речь, с приличными предмету комментариями, как мой классик нахмурился и готов был вспылить. Понявши в чем дело, я спрятал рукопись в карман и, допивши стакан чаю, убрался подобру-поздорову, восвояси.

Речь была прочитана в совете, одобрена и отправлена в округ. Попечитель Траскин, как назло, передал ее на рецензию самому рьяному западнику [адъюнкту по кафедре русской словесности Университета св. Владимира] Н.Т. Костырю, который, по прочтении, пришел в ужас… неужели недавний еще кандидат университета, получивший золотую медаль за сочинение по математике, мог написать такую ерунду?

Едет профессор* к попечителю:

– Ваше Превосходительство! Это позор для нашего университета! Как совет немировской гимназии, с директором во главе, мог одобрить к прочтению пред посторонней публикой такую речь? Зачем смотрел Зимовский? Нужно быть непроходимым обскурантом, чтобы допустить такое безобразие в среде педагогов! Автору, по моему мнению, нужно послать строжайший выговор.

– Да, я его выгоню! – порешил по-военному генерал Траскин.

Быть может, попечитель и привел в исполнение свою угрозу, если бы на помощь племяннику не подоспел дядюшка, проф. Дьяченко, который оправдал его невежество тем, что Юрко – математик, а не словесник, что он по своей специальности, еще будучи студентом, написал весьма дельное сочинение, удостоенное факультетом медали (хотя это сочинение тоже не им писано).

<…> Раз как-то на уроке чистописания произошел небольшой беспорядок. Зимовский, стоявший в это время, по своему обыкновению, под дверями (в которых проделано было небольшое оконце, завешенное снаружи для внезапного соглядатайства начальства), влетел в класс как ураган, лютый-прелютый.

– Кто шумел? – кричит задыхающимся от бешенства голосом.

– Такой-то и такой! – докладывает «старший» [по классу].

– Сторожей! Розог! – неистовствует директор.

Виноватых раздели и тут же, посреди класса, растянули на учительской кафедре. В самом пылу [раздачи] «горячих» Зимовский как разъяренный тигр бросается на сторожа, вырывает у него из рук розги и со словами: «как ты сечешь, бездельник?» – начинает сечь рукою властною, сопровождая отчаянные крики мальчика адским смехом.

– Посмотрите, посмотрите, Иван Максимович, что за богатая натура у этого негодяя! – обратился он к [учителю чистописания и рисования, товарищу по Академии художеств и другу поэта Шевченка] Сошенку, указывая на обнаженное тело ученика.

Что происходило потом, Иван Максимович не помнит: от сотрясения нервной системы с ним случился обморок… Такая зверская жестокость палача-педагога до того подействовала на голубиную натуру нашего художника, что он заболел серьезно и затем, едва пришел в себя, тотчас же написал просьбу об отставке.

– Будь что будет! – говорил он друзьям своим, – а служить под начальством такого изверга я не в состоянии! Готов дрова рубить, трубы чистить, с голоду пропадать, чем там мучиться.

В отставке он занялся писанием образов, стало быть, съехал на ту же колею, с которой своротил 16 лет тому назад, с таким самоотвержением решившись отправиться в Петербург изучать высшую живопись в Академии [художеств].

<…> В 1846 году, как известно, по мысли профессора Костомарова в Киеве возникло Кирилло-Мефодиевское братство… В то же самое время люди с научным направлением, не будучи его членами и даже не подозревая о его существовании, но увлеченные общим пробуждением славянских народностей и движимые любовию к своему родному, усердно стали заниматься изучением истории и языков славянского корня, как наукою, и если некоторые из них сближались с членами Кирилло-Мефодиевского братства, то единственно по случайному знакомству с ними, по однородности ученых занятий, без всякого отношения к политическим тенденциям, если таковые существовали.

---

* Адъюнкт Университета св. Владимира Николай Трофимович Костырь фактически выполнял обязанности профессора, преподавая историю древней русской литературы, излагая студентам теорию прозы, теорию поэзии, теорию драмы, критически разбирая замечательнейших современных русских писателей и сочинения студентов и не только…

<…> Обнаружение Кирилло-Мефодиевского братства повлекло за собой увольнение попечителя Траскина. В дополнение к тому, что сказано мною прежде о деятельности этого беспримерного администратора (см. «Киевская Старина», 1883 г., №2, [«Две ревизии»]), я считаю не лишним, для более полной характеристики лица, коснуться его служебной карьеры до назначения попечителем.

По выходе из военной академии А.С. Траскин провел первоначальную свою службу в Военном министерстве. С молодых лет он отличался чудовищной толщиной; лукулловский стол, вино и женщины составляли главную задачу его жизни. Серьезного образования он не имел; светский лоск, буффонство и французский язык сделали его домашним человеком в семействе военного министра Чернышева, который женил толстяка на красавице – побочной дочери князя Куракина, но она скоро умерла.

В 1842 году, в чине полковника, Траскин назначен начальником штаба на Кавказ, но так как комплекция его не переносила тамошнего климата, то он просил министра о переводе в более умеренную полосу, и вот Александр Семенович – попечитель Киевского учебного округа, к великому неудовольствию Бибикова, который еще раньше задался целию соединить в своей особе управление учебным округом с генерал-губернаторством.

Так, еще в 1845 году, сдав князя Давыдова в сенат, он рассчитывал получить желаемое, но министру Уварову на сей раз удалось отстоять обычный порядок управления учебным округом через попечителя, на пост, которого, по протекции Чернышева, и назначен генерал-маиор Траскин. Но по увольнении его управление округом перешло, наконец, к начальнику края Д.Г. Бибикову. Случилось это в 1848 году, памятном не для одной России…

Некоторые из директоров заведений Юго-западного края до того втянулись в политику, что, оставив в пренебрежении научно-воспитательные цели, стали преследовать одни лишь политические, стараясь всевозможными путями уверить начальство, что в политическом отношении во вверенных им училищах все обстоит благополучно.

Хотя они в душе не могли не сознавать все свое бессилие побороть неотразимое влияние на воспитанников враждебной всему русскому среды, но в то же время, желая отличиться перед начальством, прибегали к разным манифестациям, вроде празднования воспитанниками высокоторжественных дней, с речами, иллюминациями и восторженными криками «ура», отправляя вслед затем попечителю пространнейшие описания торжества.

Самым искусным по этой части в [учебном] округе считался [директор Немировской гимназии, куда я попал преподавателем в 1845 году,] Е.Я. Зимовский: il etait plus royaliste que le roi meme [(он был большим роялистом, чем сам король)].

В порыве усердия он своими неблаговидными действиями ронял в глазах поляков достоинство русской правительственной власти, во имя которой он якобы действовал, разжигая национальную вражду, и без того сильную. <…> Просветительная деятельность директора Зимовского не ограничивалась воспитанниками вверенного ему заведения; она простиралась и на их родителей и родственников. Как известно, поляки считают себя народом более цивилизованным, чем мы – русские.

В обхождении с людьми, даже с такими, которым они не симпатизируют, они соблюдают изысканную вежливость, требуя в то же время, чтобы и с ними обходились таким же образом. Поляк иногда не обидится за самую горькую правду, если только она будет облечена в деликатную форму: позлащенная пилюля глотается охотнее. Напротив, он не простит вам самой пустой вещи, если вы в обхождении с ним забудете коренное правило светской вежливости – вас назовут варваром, бурсом [(бурсаком)]. «Сделай мне какую ни на есть пакость, – как бы думают они, – но будь со мной grzecznym i delikatnym [(вежливым и нежным)].

Официального тона наших администраторов, нередко граничащего с грубостию, но хорошо усвоенного чиновничьей рутиной, поляки тоже не могут или не хотят понимать, требуя от всякого лица, какое бы положение оно ни занимало в чиновной иерархии, общеевропейских форм общежития. Наш Егор Яковлевич, как видно, прежде всего задался мыслию искоренить эти шляхетские черты, приучив подольскую интеллигенцию* к суровой простоте русских нравов и противному для шляхетского гонора чинопочитанию, игнорируя польскую поговорку: Szlachcic na zagrodzie rówen wojewodzie! [(Шляхтич и на дворе – ровня губернатору!)]. Но лучше всего обратимся к фактам.

<…> Пришел в директорскую канцелярию старый почтенный господин внесть плату за содержание сына в общей квартире. Пересчитав полученные от него деньги, письмоводитель сказал, что деньги не все, что следует доплатить еще столько-то рублей, так как плата, по случаю дороговизны продуктов, увеличена. В эту же минуту из соседней комнаты влетает директор и, подавая этому господину бумагу, говорит:

– Читайте, здесь об этом написано.

Помещик достает из кармана очки и медленно надевает их. В это время Зимовский бьет его бумагой по носу, приговаривая: «поскорей, поскорей, надевайте свои очки да получше всмотритесь в то, что здесь написано!». Старик, вне себя от бешенства, отскочил на несколько шагов назад и, уходя из канцелярии, промолвил:

– Жаль, что у меня дети [учатся в гимназии], я бы с тобой разделался иначе!..

Во время приемных экзаменов [в Немировскую гимназию] какой-то пан опоздал явиться в квартиру директора с прошением, а пришел прямо в залу, где производились уже экзамены. Увидев вошедшего в залу господина с двумя очень красивыми мальчуганами, Егор Яковлевич выразительным жестом остановил его у порога и, подойдя к нему, взял прошение, не ответив на поклон и не сказав ни слова. Пробежав глазами просьбу и пересмотрев документы, он обратился к просителю с вопросом:

– Это ваши дети?

– Мои, господин директор.

– Собственные?

Но на такой [мерзкий] вопрос пан отвечать словами не нашелся; он только стиснул зубы, побледнел и сжал кулаки. Зимовский, по инстинкту самосохранения, быстро повернулся и отошел к столу.

<…> И о чем бы ни заговорил этот себялюбец, везде и во всем первую роль играло «Я». Так однажды, беседуя с воспитанниками о добродетели и не умея сделать ей точного определения, он привел пример из своей служебной практики:

– Будучи инспектором 2-й Киевской гимназии, я сшил одному бедному ученику шинель, не говоря, что я построил ее на собственные деньги – вот это добродетель!

<…> Всем сослуживцам Зимовского было известно, что он причисляет себя к разряду гениев, понимая гениальность как-то по-своему. Не признавая в человеке величия нравственного и преклоняясь только пред силой материальной, физической, он не раз выражал мне свое недоумение – отчего какой-нибудь Гете или Шекспир считаются гениями? По его мнению, один Наполеон был настоящий гений.

Суворова он так же уважал, переняв от него даже особую манеру предлагать неожиданные вопросы и требуя на них быстрых ответов. <…> Фанатический поклонник палки и штыка, наш доморощенный педагог никак не мог постигнуть, что истинное величие состоит не в физической силе, а в мощном разуме, дарованном небом для просвещения себя и других, что только гению, воспитывающему умы силою истины, а не тому, кто порабощает людей грубым насилием, мы обязаны своим уважением.

---

* Имеется в виду интеллигенция Подольской губернии, куда входил и Немиров со своей гимназией.

<…> Между тем террор директорского режима достиг своего апогея и неминуемо должен был привести к катастрофе.* Дерзкая выходка против директора со стороны одного из учеников послужила поводом к тому, что ученики не хотели больше признавать больше никаких властей. Инспектор же [И.А. Самчевский] растерялся окончательно.

Преподаватели, не допускаемые до сих пор к вмешательству в распоряжения администрации относительно дисциплины, ограничивая свою деятельность отбыванием одних уроков, не могли, конечно, изменить вдруг свой обычный образ действия, чтобы восстановить в заведении порядок и спасти детей от деморализации. Время было тревожное, все перевернулось вверх дном… Вот к чему привела нелепая система единоличного управления гимназией, вот последствия применения к педагогии государственного принципа Людовика XIV: L'etat c'est moi!

<…> Назначено было следствие. Приехал в Немиров депутат от [Киевского] учебного ведомства, директор 1-й гимназии Любимов, а из министерства [народного просвещения] командирован Балабин. Виновного [(ученика 5-го класса Вольского)], в присутствии учеников и весьма немногих учителей, наказали розгами и отдали в барабанщики в оренбургский баталион. Директор же Зимовский, вопреки ожиданиям и надеждам многих, оставлен был на своем посту. В конце [1849] года Егору Яковлевичу «за отличие» пожалован орден Анны 2-й степени: fiat justitia – pereat mundus [(да свершится правосудие – а мир погибнет)].

<…> В августе 1852 года, совершенно для меня неожиданно, состоялось мое перемещение в Киев. После неоднократного покушения вырваться из цепких щупальцев восьминога [Зимовского] я уже и перестал думать о переводе в другую гимназию.

<…> В 1852 году проф. Селин защищал диссертацию на степень доктора. Дмитрий Гаврилович [Бибиков], как попечитель [по совместительству], пригласил на диспут директрису института [благородных девиц] с целой плеядой пепиньерок**. Во время ученых прений докторант, по своему обыкновению, зарапортовался, сказав что-то не совсем приятное для слуха дам. Когда после диспута Бибиков подошел к директрисе и спросил, довольна ли она диспутом, она отвечала, что если бы предвидела, что здесь будут говорить о таких неприличных вещах, то она ни за что не взяла бы с собой девиц. Дмитрий Гаврилович это замечание замотал себе на ус и, спустя неделю, когда Лазов поднес ему к подписи бумагу, спросил, это что?

– Представление госп. Министру об утверждении в докторской степени проф. Селина.

– А, кстати. Что, он преподает еще где-нибудь кроме университета?

– Во 2-й Киевской гимназии читает русскую словесность.

– Долой его оттуда – он мне там детей попортит.

– Кого прикажете на его место назначить?

– Найдите сами, – отвечал генерал.

Идучи после доклада домой Лазов встретился на Крещатике с инспектором 2-й гимназии Гренковым.

– Что нового? – спрашивает инспектор.

– Есть и для вашей гимназии новость; велел найти учителя словесности. Не знаете ли вы кого-нибудь из желающих?

---

* См. ниже, в воспоминаниях М. Чалого «Киевская 2-я гимназия», ссылку на воспоминания И.А. Самчевского.

** Воспитанницы, приготовляющиеся в наставницы или классные дамы.

Так как Гренкову было известно о моем желании, то он и указал на меня, и я получил перевод в Киев. Божественный Александр Иванович [Селин] не мог мне простить своего увольнения. Узнав от Лазова, что Бибиков якобы сам меня назначил на его место, ученый муж был уверен, что я какими-то путями пролез к генерал-губернатору и добился перемещения.

– «Пролаз», – прошипел профессор.

Да, государи мои, тяжелые времена переживали мы!

<…> Ровно 50 лет тому назад, а именно 9 сентября 1844 г., попечителем князем Давыдовым подписана бумага о моем назначении учителем русского языка в параллельных классах Винницкой гимназии*. <…> Между моими винницкими сослуживцами оказались некоторые из университетских товарищей: учитель русской словесности Иван Яковлевич Шульгин, латинского языка [Оттон Карлович] фон-Мерс, истории – Модзелевский и математики – Т.И. Пристюк. <…> В последних числах ноября, «презренной прозой говоря», в Винницкую гимназию [по окончании курса в Университете св. Владимира] назначен мой земляк Т.И. Пристюк. Знакомство наше началось еще в Новгород-Северском уездном училище.

Отец его был крепостным помещика Скоропадского. Находясь в молодых летах при паничах, учившихся в Новгород-Северской гимназии, он имел возможность научиться грамоте и развить свои способности. Вернувшись в имение, он получил должность управляющего в селе Михайловке, Сосницкого уезда. Находясь довольно долго в этой должности, Иван Иванович отличался примерною честностию и гуманным обхождением с крестьянами.

Пользуясь всеобщим уважением и любовию, достаточно обеспеченный материально, он не желал для себя лучшей доли, но не мог желать такого же благополучия для своих детей, которых у него было трое – два сына и дочь. Заручившись благоволением помещика, И.И. исподволь стремился к заветной цели, освобождению из крепостного состояния. Но барин как будто не догадывался о его задушевном желании и в доказательство своего расположения к взысканному милостию рабу взял его сына Тимошу в комнатные казачки. Тогда только огорченный отец стал действовать энергично и настойчиво, чтобы спасти детей от грозящей им участи, и они получили свободу.

Оставив Михайловку, И.И. поселился в 40-ка верстах от Новгород-Северска. Старшего Тимофея определил в уездное училище, а дочь отдал в Гамалеевский монастырь на воспитание. Но, начав свое образование в Новгород-Северске, Тимофей окончил так же и Черниговскую гимназию.

Встретились мы с ним уже в Киеве, при поступлении в Университет. Не изведав подобно мне никаких лишений, поступив прямо на казенное содержание и, сверх того, получив весьма выгодную кондицию [(платные уроки)] у графини [Анны Петровны] Мелиной, мой земляк стал относиться ко мне с каким-то обидно покровительственным тоном, и я с ним должен был разойтись.

Забыв о панской передней, приятель мой, вечно надушенный, в перчатках телесного цвета, в лакированных ботинках, выглядел безупречным comme il faut [(комильфо)], каким он и оставался на всю остальную жизнь. Недостойное поведение товарища, с которым связывали мои детские воспоминания и наши домашние тайны, надолго оттолкнуло меня от него, так что в продолжение университетского курса мы с ним были в разладе; но когда судьба и начальство свели нас на чужбине [(в Виннице)] – все было забыто.

---

* По некоторым обстоятельствам М.К. Чалый сначала описал свою службу в Немировской, а затем вернулся к началу своего семимесячного учительства – в Винницкой гимназии.

Как математик, а следовательно и более меня практичный и расчетливый, он с первого шага на службе занял крепкую позицию в отношении администрации, поставив себя так, что его боялись и уважали не одни учащиеся, но и учащие. Он прослыл у нас за человека, лично известного [генерал-губернатору] Бибикову (чрез графиню Мелину*), а это значило многое. <…>

Воспоминания Н.Д. Богатинова // «Русский Архив», 1899, №№ 2-12**

<…> Вся сила воспитательная в нашей семье исходила прямо из доброго, преданного семье и любящего сердца матушки [(Марии Павловны, урожденной Давиденковой)]. Любовь научила ее вести и воспитывать детей. Она же, она одна, понесла на себе, с начала и до конца, и всю тягость забот о нашем образовании.

Не знаю, не помню, когда и где я научился азбуке и читать; помню только, что у учителя я не учился. Вероятно, выучила читать меня матушка, быть может, с помощь отца [(Димитрия Ивановича Богатко-Богатина, из дворян Волынской губернии)].

Но отец не думал о нашем правильном школьном образовании; он думал ограничиться домашним обучением или у частного первоначального учителя… и тем закончить мое образование, подготовив меня к практической жизни, в торговом деле… попросту говоря отдать меня в «мальчики», а потом в «молодцы» к какому-нибудь купцу. Наша судьба, судьба нашего образования бывала предметом серьезных споров между родителями. Отец и не прочь был обучать нас [(с младшей моей сестрой Александрой)], но ссылался на недостаток средств; матушка настаивала, несмотря ни на что, на непременный долг обучить нас… И превозмогла ее самоотверженная любовь боязливую расчетливость отца.

<…> Семи лет матушка определила меня, вернее, поместила к частному первоначальному учителю Ивану Дмитриевичу Сурмачевскому, не в школу, а именно «к учителю», так как собрание детей до десятка, без всякой классной обстановки, нельзя же назвать школою. Нас и было не более десяти, все малыши еще. Помню, что я поступил туда, уже умея читать не только по-русски, но и по-славянски; оттого между всеми детьми я был лучший чтец, и читал с чувством, с выражением, на которое учитель указывал другим детям, как на пример.

---

* Графиню Анну Петровну Меллину (урожденную Ханыкову) в печати чаще отображали с двумя буквами «л».

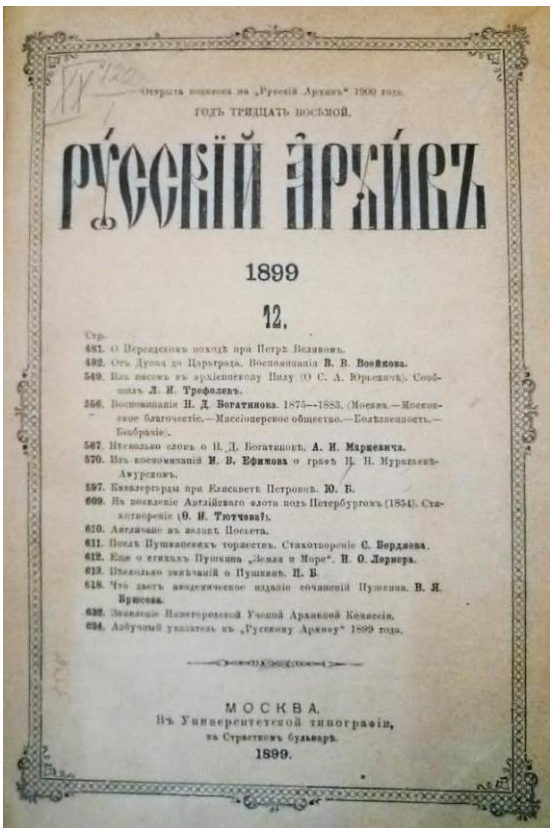
Лотерея, устроенная в 1851 г. в контрактовом доме в пользу приютов попечительницею их графинею А.П. Меллиной, с выигрышами (до 200 вещей), дала 2 500 руб.; два маскарада с тою же целью – 1 500 рублей. О графине Меллиной см. Записки Селецкого, «Киевская Старина», 1884, сентябрь, стр. 90-91. – ***Киев в 1654-1855 гг. // «Киевская Старина», №12, 1904***

Собственно особенно интригующего в Записках П.Д. Селецкого не содержится (кроме того, что он служил переводчиком у Д.Г. Бибикова и каждый день с ним виделся, а графиня распустила о нем преувеличенные слухи как о «герое какого-то романа»):

В Киеве жила тогда [(в 1844 г.)] графиня Меллина, вдова лет пятидесяти; у ней была падчерица, очень умная, любезная и развязная девица не первой молодости и некрасивой наружности, и сын, мальчик лет шестнадцати, готовившийся к поступлению в университет, полуидиот.

** *Николай Дмитриевич Богатинов, действительный статский советник, бывший директор Острожской Учительской Семинарии, в городе Остроге, Волынской губернии, умер в отставке, в Киеве, 31 Мая 1896 года. Н.Д. Богатинов был выдающийся человек и педагог-подвижник. После него остались три тома религиозных, патриотических и педагогических статей: «Сборник статей», Киев, 1891 г. Все свои средства Н.Д. Богатинов завещал Киевскому учебному округу. –* ***Из редакционного предисловия «Русского Архива»***

Из весьма обширных воспоминаний Н.Д. Богатинова (1833-1896) мы приводим лишь те эпизоды, которые непосредственно относятся к его учебе в Дворянском училище и К. 2-й Г. (1843-1852 гг.), к учебе в Университете св. Владимира (1852-1856 гг.) и к службе учителем русского и церковно-славянского языка и словесности в К. I Г. (1856-1874 гг.).



Открыта подписка на „Русскій Архивъ" 1900 годъ.

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.

РУССКІЙ АРХИВЪ

1899

12.

Стр.

481. О Персидскомъ походѣ при Петрѣ Великомъ.
492. Отъ Дуная до Царьграда. Воспоминанія **В. В. Воейкова.**
549. Изъ писемъ къ архіепископу Пилу (О. С. А. Юрьевичѣ). Сообщилъ **Л. Н. Трефолевъ.**
556. Воспоминанія **Н. Д. Богатинова.** 1875—1883. (Москва.—Московское благочестіе.—Миссіонерское общество.—Болѣзненность.—Безбрачіе).
567. Нѣсколько словъ о Н. Д. Богатиновѣ. **А. И. Маркевича.**
570. Изъ воспоминаній **И. В. Ефимова** о графѣ Н. Н. Муравьевѣ-Амурскомъ.
597. Кавалергарды при Елисаветѣ Петровнѣ. **Ю. Б.**
609. На покореніе Алтайскаго флота подъ Петербургомъ (1854). Стихотвореніе (**Ѳ. И. Тютчева**).
610. Англичане въ заливѣ Посьета.
611. Послѣ Пушкинскихъ торжествъ. Стихотвореніе **С. Бердяева.**
612. Еще о этюдахъ Пушкина „Земля и Море". **П. О. Лернера.**
613. Нѣсколько замѣчаній о Пушкинѣ. **П. Б.**
618. Что даетъ академическое изданіе сочиненій Пушкина. **В. Я. Брюсова.**
632. Заключеніе Нижегородской Ученой Архивной Комиссіи.
634. Азбучный указатель къ „Русскому Архиву" 1899 года.

МОСКВА.
Въ Университетской типографіи,
на Страстномъ бульварѣ.
1899.

По какой книге шло учение, решительно не помню; ни того, каковы и по какому способу были занятия арифметикою и письмом… Ну, письмом известно как занимались: с прописей; тогда иного способа и не было. Но тут мне недолго оставалось учиться; отсюда я помещен был в Киево-Подольское Дворянское училище, приготовленный к нему Сурмачевским. Кажется, закону Божию, священной Истории готовил детей он же; не помню, по крайней мере, чтобы до поступления в училище учился я у какого-либо священника.

Сама матушка определяла меня в училище. Это было в конце Июня 1843 г., как раз перед тем временем, как мы должны были оставить свой дом. Сестра моя была отдана в обучение тоже частной учительнице Скорняковой, старухе, которая вместе с дочерью обучала детей обоего пола, тоже без всякого школьного порядка… так, домашним образом. Перед обедом я заходил за сестрою, и мы вместе возвращались домой.

Некоторое время и я у Скорняковой учился танцам. Матушка и об этом имела заботу; но мне эти занятия были очень скучны, не по душе, и я скоро прекратил их. Ах, матушка все делала, что могла, чтобы дать нам образование, чтобы дать жизнь разумную, христианскую. И самая жизнь наша в семье текла так, что религиозно-нравственное воспитание, казалось бы, должно быть совершенно обеспечено. Но о своих первых детских годах в этот период (до перехода из дома) я сохранил в этом отношении самые тяжелые воспоминания.

<…> Милосердие Божие нашло меня уже, быть может, на краю погибели, даровало мне бытие в Боге для добра, для счастия, для разумной жизни, извело меня на правый путь истинного развития, которым я и пошел с этой поры, исполненный благодатной помощи и силы бороться со злом, противостоять злу, сознавать его как зло, смотреть на зло, но как на зло. Это чудо Божьего милосердия совершилось незадолго до перехода нашего из своего дома на [съемную] квартиру и моего поступления в 1-й класс Дворянского училища.

Эти все <…> события в моей детской жизни заключили собою первый период моего детства до десяти лет… Второй период моего детства могу продолжать до поступления в 4-й класс губернской [(будущей Киевской 2-й)] гимназии. Эти пять лет очень богаты самыми дорогими для меня воспоминаниями, под действием которых и некоторые тяжелые воспоминания как бы стушевываются.

<…> Должно быть около того же времени [(начала 1845 г.)] отец вынужден был бросить [и торговлю крупитчатою мукою и зерном,] и [арендованную] мельницу; словом, последовало полное разорение нашей семьи, капитал матушки, и сам по себе небольшой, исчез безвозвратно. <…> Больше всего она сетовала о том, что она лишилась хоть и небольших, но верных средств к нашему образованию; она сознавала, видела, почти убеждалась, и страшилась, что только что начатое дело нашего образования может вдруг оборваться и рухнуть. Ах, так и случилось с образованием сестры.

Неизбежно предстояла бы и мне та же участь, если бы и мне пришлось обучаться в частном учебном заведении. Но мое счастие, что я ходил в правительственное учебное заведение; а тогда еще не было в моде брать такие суммы платы за учение, какие теперь: то и дело что год, то выше и выше поднимаются.

Плата была небольшая, всего три рубля в год; учебников много не требовалось, да и учебники все были издания Департамента Народного Просвещения и недороги (опять, не то что теперь, когда учебники – доходная статья их многочисленных составителей)*.

Упустив из рук образование сестры, матушка уже все силы своего терпения и настойчивости употребляла на то, чтобы отстоять хотя [бы] мое образование от продолжавшихся попыток отца положить ему конец, как превышающему средства семьи: кроме платы за учение и покупки учебников, нужно же было одеть меня по форме, снарядить и на зиму. Текли роковые месяцы, можно сказать, дни моего образования, только что с поступлением в казенное учебное заведение ставшего на прямой дороге. <…>

<…> Помню, еще задолго до наступления холеры (в Киеве она началась в первых числах Октября [1847 г.]), по распоряжению генерал-губернатора Д.Г. Бибикова, приготовлялись многочисленные койки деревянные, скорее лавки, только с изголовьем, а именно в доме же [купца] Калачникова, где и мы росли [с осени 1843 года]. Помню, никто тогда не знал, даже наша семья не знала (хотя все это делалось в одном с нами доме), должно быть, строго было запрещено разглашать, какое назначение имеют эти лавки, койки. Удивляло только нас множество их. Не зная их назначения, так мы и оставили эту квартиру в Сентябре 1847 г. и перешли в дом Чувинина, тут же недалеко, на углу, против знаменитого в то время, особенно своими пирожками, трактира Комкова. Только когда началась холера, мы увидели, как эти койки перевозились в контрактовый дом, и тогда узнали, какое печальное назначение они имели.

Из жизни нашей семьи в этой [новой] квартире, особенно в моих воспоминаниях, выдаются некоторые обстоятельства, так или иначе касавшиеся или семьи нашей, или меня лично. Смерть моего доброго учителя, Сурмачевского [(после воспаления мозга, простудившись в бане)]. Он к этому времени определен был учителем городского приходского училища, помещавшегося как раз напротив дома Дворянского училища, стоявшего косо к углу улицы. Вверху здесь помещалось мужское приходское училище, внизу – женское. Я перешел уже во 2-ой класс и стал очень плохо учиться; особенным затруднением были для меня уроки арифметики, которой я не мог одолеть без частного, домашнего толкования, а репетитора у меня не было.

---

* Департамент народного просвещения (1803-1917). Являлся высшим совещательным органом в Министерстве народного просвещения, был наделен главным образом административно-распорядительными функциями. – ***Из Интернета***

Видя мой неуспех, матушка снова обратилась к Сурмачевскому с просьбою придти мне на помощь; действительно, я стал ходить к нему готовить уроки и помню что, чтобы попасть к нему в комнату, нужно было пройти длинную залу класса, переполненного черноокрашенными скамьями.

Но занятия мои и тут не спеялись, главное потому что тогда нашла на меня пора страшного обленения. Должно быть, это явление было обусловлено состоянием моего здоровья! ибо вскоре же, с приближением осени, я заболел лихорадкою и промучился с нею вплоть до лета, посещая училище только когда мне было легче, изредка, и проводя большую часть времени дома. Само собою и прекратились мои уроки у Сурмачевского.

<…> Мы, ученики Дворянского училища, ходили 22-го Июня на торжественный акт в Университет, общий для всех учебных заведений и гимназий Киева. Шли мы туда в строгом порядке от самого училища, в парах, и мимо «Золотых ворот»; другой дороги не было. Тотчас за Золотыми воротами дорога спускалась среди [древних] валов на поляну, совершенно свободную, на поле настоящее, и так полем доходили мы до университета, проходя мимо подле каких-то военных или интендантских сараев-магазинов. Ничего на этом просторе еще не было: ни [здания 2-ой] гимназии, ни Левашовского института.

Особняком среди раздолья величаво высился и раскидывался во все стороны университет, а впереди него – взрытое буграми и ложбинами поле, где, кажется, саперы тоже немало поработали, производя свои упражнения «за городом». Гимназия и Левашовский институт уже начали строиться позже, после 1848 г. или около того времени.

<…> С каким напряжением я слушал чтение нашего законоучителя, достопочтеннейшего отца Андрея Стефановского, когда раз он принес с собой в класс только что недавно тогда вышедшую книгу Фундуклея «О древностях Киева»… и стал нам, ученикам 3-го класса, читать об основании Киева! Только раз это и было, и это чтение было истинным праздником для нас, детей…

<…> К 8-му Ноября, благодарение Богу, [страшная] холера прекратилась. Но летом 1848 г. она снова появилась с необыкновенною силою. Тогда скончалась от холеры мать моих товарищей по училищу Чеховичей, сыновей профессора [Духовной] Академии; вскоре затем и штатный смотритель училища, Осип Димитриевич Иванишев, прекрасная личность. По случаю холеры при окончании учения нас уже не водили на торжественный акт в университет, а собрали в большом 2-ом классе; здесь прочли переводные списки.

Мне, как первому ученику, дана была в награду книга, даже без переплета, «О богослужении Православной Церкви» И.М. Скворцова*. Отслужен благодарственный молебен при пении одного из учеников, Шуменка, сына, кажется, сапожника, ходившего на клирос и привыкшего к пению.

<…> С переходом на квартиру из своего дома, как я писал, совпало и поступление мое в [Киево-Подольское Дворянское] училище, в 1-й класс. Училище находилось в двухэтажном угольном доме, идя мимо Духовной семинарии. 1-й класс, обширная комната, сквозная с окнами и на улицу, и на двор, помещался на 1-м этаже. Посредине два столба поддерживали потолок.

Из учителей хорошо помню законоучителя отца Андрея Стефановского (Священную историю проходили по Чтениям из книг Ветхого Завета в русском переводе, во 2-м классе Священная История Нового Завета тоже проходилась – по Чтениям из четырех Евангелистов в русском переводе, в 3-м – по пространному катехизису Филарета, первая часть, кажется), учителя русского языка Павла Семеновича Балабуху, очень строгого, требовательного.

---

* Первое изд. книги И.М. Скворцова «О богослужении Православной Церкви» вышло в 1847 г. Иван Михайлович Скворцов (1795-1863) служил кафедральным протоиереем Киево-Софийского собора и ординарным профессором университета Св. Владимира и Киевской Духовной Академии.

Проходили грамматику, не мудрствуя лукаво, прямо по «сокращенной грамматике Востокова», таблицы склонений выписывали в тетрадку с некоторыми упрощениями, а также исключения из таблицы. Помню, для чтения были: Повести Бажанова и Притчи Крумахера. Помню учителя арифметики Сильвестра Сильвестровича или Николая Сильвестровича Коломийцева, предоброго старика, до слабости.

Арифметику проходили по Руководству к арифметике Буссе, во 2-м классе, но учитель давал свои объяснения и их-то требовал на уроке в ответ. Учителем Французского языка был Казель. Учителем Истории и Географии был Кулиш, знаменитый впоследствии Малорусский писатель. О нем помню только, что в комнате, где он жил, на стене нарисованы были тушевальным карандашом большие человеческие фигуры. Помню и потому, что лучшим ученикам он дарил картинки, и я очень добивался чести получить тоже картинку, но получить, кажется, не удалось.* Вскоре он [(Кулиш)] оставил училище, и место его занял Самчевский что ли, в этом роде, лицо очень хорошо помню и только**.

Учитель чистописания и рисования был сначала кто-то на Б., потом Свинчилло, тот и другой жили в училище же, в соседстве с 1-м классом. Я часто бывал в квартире того и другого и живо интересовался живописью.

Тут я получил поддержку той охоты, которая явилась у меня по влиянии отца Дезидерия [(монаха-живописца из Лавры)] и не покидала меня в течение всего гимназического курса, с заменою только живописи рисованием сухими красками*** и тушью.

Любовь моя к этим занятиям была столь велика, что еще в 1-м и 2-м классе отец, во время [заключения в Январе в Киеве ежегодных] контрактов, купил мне ящик дорогих красок, рубли 4 (большие деньги тогда), кисточек, и я стал рисовать цветы, казака, рубящего француза.

Самым трудным предметом была для меня арифметика; наказания шли за наказаниями, наказывали розгами и все за арифметику. Терпеливо выносил я эти наказания и все-таки не учился, ибо ничего не понимал, а по учебнику без понимания не выучишь так, как требовалось. Мое терпение в экзекуциях даже обратило внимание смотрителя: относили его к упорству и тем суровее стали [наказывать]; иногда склонны были объяснять его из моего религиозного настроения, тогда уже заметно выделявшего меня из среды беззаботных проказников-товарищей, приписывая его подражанию с моей стороны страданиям св. мучеников.

---

* Пантелеймон Александрович Кулиш (1819-1897) – знаток малорусского языка и талантливый малорусский поэт, публицист и историк. Преподавал русский язык в Луцком уездном дворянском училище, в Киево-Печерском и Киево-Подольском уездных дворянских училищах, русский язык и словесность, историю и географию – в том же Киево-Подольском училище, а в сентябре-ноябре 1845 г. работал и.о. старшего учителя истории в гимназии в Ровно.

** Это не уже упоминавшийся И.А. Самчевский (1799-1887), который, после окончания Петербургской духовной академии служил профессором в Черниговской семинарии, преподавая греческий и французский языки, историю, богословие; затем, после увольнения из духовного звания, учителем латинского языка и инспектором в Новгород-северской гимназии, недолго инспектором в Немировской гимназии – начиная с 1848 г., после 25-ти лет службы, и, наконец, опять инспектором в Новгород-Северской гимназии – до 1858 г., по выслуге 35-ти лет. А один из двух его детей:

В числе многих моих сослуживцев во 2-й Киевской гимназии находились два брата, Иван и Михаил Самчевские, ближайшие земляки мои, дети уважаемого мною учителя моего Иосифа Акимовича Самчевского. <…> Старший из них, Иван Осипович, преподавал историю и впоследствии, после Слепушкина, моего преемника по инспекторству, был инспектором 2-й Киевской гимназии. По характеру и по своей высокой честности и правдивости Михаил Осипович был неизмеримо выше своего брата, но он все время вращался в низшей сфере учительского персонала, преподавая то русский язык, то географию в младших классах, частию в Киевской 2-й гимназии, частию в Новгород-Северской гимназии <…> – ***М. Чалый. Вторая Киевская гимназия***

*** Имеются в виду акварельные краски, которые при употреблении разводятся водой.

Но так не было, а просто я терпел, ибо сознавал, что страдаю безвинно; я хотел учиться и не мог; родители не могли нанимать для меня домашнего репетитора, который бы втолковал мне то, чего не понимал я в объяснении учителя в школе, а тогда еще не было в порядке вещей вести преподавание удобопонятно: учитель проделает у доски урок, слушаешь ли, не слушаешь, это не его дело; не спросит повторения, не удостоверится, понял или нет, и вот я был не единственною жертвою такого мертвящего преподавания.

Матушка вспомнила, что в семье [чиновника Василия] Лоницкого, моего крестного отца, есть гимназист 6-го класса, Леонид, просила его помочь мне; он приходил раза два-три, указал мне на арифметику учителя Березницкого, как на удобопонятное руководство, приспособленное к самообразованию*. Купили мне, и я действительно, благодаря этому прекрасному руководству, многое понял, что учитель не постарался толково разъяснить, и уже остальные годы в училище шел я по арифметике порядочно. Жаль, что эта арифметика уже и тогда была почти библиографическою редкостью, а теперь про нее и помину нет, исчезла совсем; а именно ей обязан я, что вошел в понимание арифметических действий.

Кто был учителем немецкого языка, и обучался ему или нет, решительно не могу припомнить. Кроме обыкновенных учебников, которые продавались тогда при училище у смотрителя, как издания Департамента Народного Просвещения, отец купил мне большой географический атлас и подробную французскую грамматику Ноёля [(Noël)] и Шапсаля. Я любил очень чертить карты и был мастер этого дела, доведши его почти до совершенства в гимназии; но я был только подражателем товарищей по училищу Мощинских, двух братьев, необычайно искусно чертивших и разрисовывавших географические карты.

Ко 2-му классу, занимавшему большую, тоже сквозную залу на 2-м этаже, примыкала большая комната, исключительно назначенная для класса рисования, с высокими столами посредине, снабженными еще выше выдававшимися опорами для рисовальных досок. Здесь рисовали на досках тушевальными карандашами охотники и искусники. И я тоже был в том числе и, помню, с каким удовольствием я срисовывал, а потом растушевывал по контуру головки, уши, ноги, руки…

Экзамены начинались с начала Мая, кажется, и тянулись до половины Июня, а 22-го всегда был торжественный акт всех казенных учебных заведений – в университете, что было для нас, детей, необычайным празднеством.

Помню, с какою торжественностью нас вели туда в парах; как, приведши в университет, на некоторое время удерживали в коридорах, а старик-сторож, сопровождавший нас, чистил каждого щеткою, и только тогда вводили в торжественный зал… Действительно, то было торжество. Прочитывались краткие отчеты, произносились стихотворения и раздавались награды, и в конце народный гимн – пение и оркестр: чудные минуты детской жизни! С каким торжественным настроением оставлял я залу университета!..

На экзамен Закона Божия приглашался кто-либо из почетного духовенства. Раз, помню, был на экзамене архимандрит Иоанникий [(Горский)], инспектор Духовной Академии; другой, помню, протоиерей Иоаким Игнатович (протоиерей Флоровского [женского] монастыря, глубокий старец). Помню, он спросил меня: нужно ли понимать «огонь геенский» как действительно огонь? Я отвечал: да! На это последовало разъяснение, что «не так, а огонь геенский – подобие того духовного состояния мучения и отвержения от Бога, в котором будут находиться души нераскаявшихся грешников».

---

* Здесь, формально, имеется некое недоразумение: киевский учитель гимназии по русскому языку Ф.В. Березницкий, выйдя в отставку, издавал в 1863-1866 гг. учебники по русской этимологии, русскому языку (фонетика и морфология), а также по русской грамматике. Однако, М.К. Чалый утверждал, что его коллега по 2-й Киевской гимназии составил и учебник арифметики (см. ниже).

Еще был предложен вопрос (тогда же или на другой год, не помню), что это значит, что Иисус Христос трижды спросил св. апостола Петра, по воскресении своем: любишь ли меня, Петр? Я не отвечал и получил разъяснение: троекратный вопрос о любви был предложен в заглаждение троекратного же отречения Петром от Иисуса Христа… После торжественного акта, на другой день всегда служили благодарственный молебен и распускали только на один месяц, по 22 Июля. 1-го Августа уже начинались уроки…

От времени до времени посещал училище, хотя очень редко, почему и наводил страх на всех, директор губернской [(будущей 2-ой)] гимназии Богородский Савва Осипович*. Раз, помню, он страшно раскричался на ученика, у которого одежда была в непорядке, разорвано где-то и не зашито, спрашивал учеников…

Смотритель посещал классы не особенно часто и больше ради взысканий и экзекуции. Помню, занимал ли он чей урок и что-то читал, или так, к случаю, он дал нам (в 3-м классе) наставление: «когда начинаете читать что-либо, не заглядывайте в конец, не ищите конца, а читайте, читайте… дойдете и до конца. Тут не место нетерпению; это признак человека нелюбознательного; ленивый только так делает». Это наставление вероятно, как редко слышимое, глубоко запало в мою душу, и доныне даже, когда есть попытка, начиная что-либо читать, заглянуть в конец, велика ли статья, я живо припоминаю эти слова…

Ученики, сколько помню, вели себя довольно порядочно; не припоминаю, по крайней мере, резких выходов между классами. Порядок, дисциплина не нарушались, хотя решительно не было никакого наблюдающего, кроме старика-сторожа. Даже учительской сборной не было при классах, а учителя собирались на перемену, кажется, в квартире смотрителя, совсем в другом доме. Но зато были «цензора», ученики лучшие в классе, на которых возлагалось наблюдение за порядком в классе и которые, действительно, наблюдали, записывали нарушающих порядок, которым за это предстояло посетить комнату [(гардеробную)], где читался римско-католический закон и происходили экзекуции (здесь же и снимали верхнее платье ученики).

Звонок, которым давался знак перемене и конца уроков, висел наружи, на галерее 2-го этажа, был привешан наподобие колоколов в костелах, для разгонистого звона, и ученик, кажется, 2-го класса, где висели и часы, выходил звонить.

Уроки были до и после обеда по 1½ часа. Расходились домой не в порядке; да и кому же было поддерживать его, когда не было никого при учениках? Только, помню, был случай, когда ученики обязывались идти в парах из училища. Было назначено на [близлежащей] площади наказание плетьми на плахе, приготовлены были подмостки… вся площадь полна народом. И во время самого чтения приговора и наказания нужно было нам расходиться по домам; вот и отдан был строгий приказ идти в парах, в стороне от площади, в сопровождении старика-сторожа, и строго запрещено было показываться в то время на площади…

<…> Помню, по рукам ходила искусно сложенная бумажка, части которой, по мере раскрытия из свертка, представляли какое-либо изображение и доходили наконец до самого грязного рисунка. Носила она название – «доктор». Один из ранних развратников, сын купца Василий Бахирев, замечая во мне религиозное настроение, приставал ко мне с самыми грязными разговорами и рассказами. Другой такой же был дубина, ростом с любого гвардейца, хотя ужасный лентяй и повеса, сын офицера, Соловков, любил рассказывать свои домашние похождения.

---

* Доктор законоведения и ординарный профессор по кафедре законов уголовных и законов благочиния Университета св. Владимира Савва Осипович Богородский состоял вне университета с ноября 1839-го по декабрь 1848 г., т.е. 9 лет, будучи директором 2-й Киевской гимназии и управляющим дирекцией училищ Киевской губернии.

Но одновременно с этим между учениками распространялось и письмо какое-то, с религиозным содержанием, коим заповедывалось каждому, получающему это письмо, читать тут же написанную молитву постоянно и передать непременно письмо с молитвою кому-либо другому, и так бесконечно. Молитва эта имела целию по своему содержанию – отвратить гнев Божий за грехи людей… И я долго, долго читал эту молитву… теперь же совсем позабыл.

<…> Во втором классе я оставался два года, по полной безуспешности в течение первого года вследствие и болезни, и какого-то непонятного обленения, которое тоже можно причислить к болезни: приходя в класс после болезни, я не знал пройденного, получал дурные отметки, за них наказания – розги; понятно, пропадала всякая охота к труду, почти и невозможному; снова заболеваю – и опять та же история. <…> Я выздоровел от мучившей меня лихорадки, остался на 2-й год во 2-м классе и стал, благодарение Богу, сериозно учиться, заинтересовался чтением, рисованием, черчением карт.

Около этого времени я с увлечением читал «Историю Государства Российского» Карамзина, даже первую часть первого тома (о славянах) прочел с полным интересом и прочел что-то три или четыре тома. В 3-м классе я учился очень порядочно и прилежно, хотя и не был в числе первых, но получил перевод в 4-й класс 16-м или 18-м, в средине списка, и должен был оставить училище и перейти в гимназию в 1847 году.

Но штатный смотритель Иванишев пожелал видеться с матушкой и советовал ей оставить меня еще на год в 3-м классе, по моему малолетству и слабому здоровью, вследствие чего (он объяснял) мне будет очень трудно с Подола ходить ежедневно в гимназию, помещавшуюся посредине Крещатика, на углу Лютеранской (теперь Анненковской ул.). Матушка согласилась, я тоже, и вот я, пробыв в 3-м классе еще год, окончил училище уже первым учеником в 1848 году, получил и награду книгою.

<…> Теперь пора сказать несколько слов и о гимназическом моем учении. Всеобщую историю преподавал во 6-м классе профессор Университета Алексей Иванович Ставровский. Шел урок о возникновении монашества в христианстве после первых веков гонения; в объяснении профессор коснулся жизнеописания и преподобного Антония, и лишь только профессор произнес: «преподобный Антоний!», как несколько учеников, как бы по какому общему сигналу, обратились назад в ту сторону, где я сидел, и впились в меня своими смеющимися глазами.

Как меня ни прозывали: и «ханжа», и «святоша», и «преподобный Феофаний»! Кроме личных уколов насмешками, приходилось то и дело слышать со всех сторон самые неприличные речи, а когда, бывало, во время перемен выходили в сад, то и неприличные песни. Раз не было учителя; кто-то из студентов [(гимназистов?)] взошел на кафедру, уселся и, окруженный любопытною толпою, стал громко читать какое-то грязнейшего содержания стихотворение, которое выдавали за принадлежащее Пушкину [(поэму «Лука Мудищев»?)]. Иные, слушая, озирались в мою сторону, где я сидел отдельно, как и несколько других, занятые уроками, и улыбались.

Как нервный мальчик, я весьма часто улыбался нервною улыбкою, даже говоря что-либо вовсе несмешное, несколько прихихикивая при разговоре и делая нервную мину, похожую на улыбку. И эта моя слабость, от детства и доныне преследующая меня, была предметом уколов. – “Что ты все хихикаешь? Что ни скажешь, все «хи-хи»”. <…> Порядочные, Чеховичи-братья, Мощинские-братья, Смилянский, были в меньшинстве; большинство же составляли эти «отделенцы»-буяны [(ученики, жившие на общих квартирах?)]. Доставалось от них и Мощинскому меньшему, Григорию, маленькому ростом, толстенькому: этого было и довольно, чтобы и он стал посмешищем для этих, жаждавших развлечений и упражнения в кулачных схватках, негодяев.

Ничего этого не знали ни учителя, ни инспектор: никто не жаловался; с приходом учителя в класс все приходило в порядок, как ни в чем не бывало. Инспектор редко заглядывал во время перемен: «ведь 7-й класс!», а у него целая гимназия на плечах, и на младших классах главным образом сосредоточивалось его наблюдение; он и не видал, что творили мальчуганы 7-го класса.

Каких нравственных пыток и мне стоил этот 7-й класс, пока Бог помог выйти на свободу из этого вертепа негодяев и разбойников! К числу их принадлежал и один из приходящих, старший брат Коломийцев, скалозуб и тоже грязный мальчик. И это тем больнее было для меня, что у него-то и достал я для чтения книгу Михаила Десницкого «Труд, пища и покой духа человеческого» (собственность его отца, значит, порядочного человека).*

С благодарностью тем большею поэтому вспоминаю о немногих добрых товарищах, которые так или иначе и сами немало терпели от этого скопища «отделенцев»: о братьях Чеховичах, о братьях Мощинских, о Смилянском и особенно о Чеховиче Павле.

Он со мною весь 4-летний гимназический курс учился греческому языку. С ним мы и оставались в гимназии на обеденное время; с ним и возвращались домой на Подол, осенью и зимою, уже в ночной темноте. Он был одного со мною росту, и потому, как оба поднялись, мы с ним и пару составили, когда некоторое время ученики гимназии, кажется, во время проезда Государя Императора или Государя Наследника, а до них тоже некоторое время, в виде выправки и дисциплины, выходили из гимназии на ранги и так шли по улицам, отделяясь от общего строя только при ближайшем направлении к своим домам.

Раз, поставленные в пару, мы почему-то не захотели долго дожидаться; дождь ли накрапывал, холодно ли было, проголодались ли, только вздумали мы с ним ускользнуть из строя и – домой, в паре же, скорым шагом. Но только нет, не удалось: инспектор заметил, воротил, и мы просидели с ним в гимназии несколько часов и уже к вечеру вернулись домой. Так, очень немного отрадных воспоминаний осталось у меня в мое жизненное достояние из отношения ко мне в гимназии, особенно за последние два года учения.

<…> Учился я в гимназии прилежно; в учебниках не нуждался, получая некоторые из них от учеников, прошедших уже курс того класса, для которого они были нужны мне, или доставал у товарищей-подолян. Я был в каждом классе только по году, и 18-ти лет, в 1852 году окончил гимназию, но уже не в доме Киселевского, а в доме Козлова, где ныне Военно-окружной суд и где гимназия очутилась уже к самому концу моего курса, перешедши сюда из своего прекрасного здания, нарочно для нее построенного на [Бибиковском] бульваре и отобранного у нее по воле императора Николая I, повелевшего в этом здании поместить вновь открытый тогда Киевский Владимирский не ранжированный кадетский корпус, до времени постройки для него особого помещения.**

---

* Сия книга (в 7-ми частях и 175-ти беседах) была издана в С.-Петербурге в 1799-1801 годах.

** В воспоминаниях о Киевской 2-й гимназии М.К. Чалый тоже пытался обрисовать запутанную картину постоянных перемещений гимназистов: «*Вторая гимназия до 1850 года собственного здания не имела и после своего открытия в 1836 году поместилась в доме Гербеля, а потом в доме Киселевского (что ныне Дегтерева – угол Крещатика и Анненковской улицы). Затем, едва успела занять выстроенное для нее здание, где ныне помещается 1-я гимназия, как приказано было ей оттуда убраться опять в наемное помещение – дом бывший Козлова, где ныне Военный окружной суд, а в построенном для нее здании поместился неранжированный кадетский корпус, впредь до окончания нынешнего корпусного здания. В 1853-м году для 2-й гимназии начали постройкой другой собственный дом, уже довольно скромных размеров. Между тем, в том же 53-м году неранжированные роты кадетского корпуса водворены в собственном помещении, а тут случился пожар, от которого сгорело задание 1-ой гимназии, вследствие чего она перешла в оставшееся свободным, после выхода корпуса, вовсе не для нее построенное здание; а возобновленное после пожара бывшее здание 1-й гимназии в Липках поступило в духовное ведомство*». – ***«Киевская Старина», 1900, №4***

4-й и 5-й класс я провел еще в доме Киселевского, 6-й же класс и 7-й, до Светлой Седмицы 1852 г. – в здании гимназии, а в доме Козлова уже провел только меньше месяца и сдавал выпускные экзамены, так как Пасха тогда была поздняя, и учение возобновилось после нее только 11-го Апреля. Я посещал уроки всегда исправно; однажды только, в понедельник на Фоминой неделе, выпал ужаснейший глубочайший снег, какого в зиму не бывало, и я не пошел в гимназию; когда же во вторник пришел я, как раскричится на меня инспектор, почему я вчера не пришел на уроки? – «Я вас лишу аттестата!..»

Но тут уже я понял, что это была только вспышка гнева у глубоко уважаемого мною Николая Михаиловича Громова [(правильно – Гренкова!)], и спокойно выслушал его угрозу. А он мог бы мне извинить, зная почти за четыре года мою всегдашнюю исправность. Даже когда у меня сильно болела грудь, начиная с 6-го класса, я не помню, чтобы я пропускал уроки.

С большою любовью я занимался историею, еще и в 4-м классе. Руководство Смарагдова по древней истории было дополняемо довольно подробными извлечениями из Всеобщей Истории Лоренца, и я особенно охотно приготовлял уроки, стараясь возможно ближе и полнее держаться Лоренца. В 5-м классе некоторое время преподавал историю Виталий Яковлевич Шульгин, но недолго; вместо него, перешедшего в Университет, назначен был Ющенко. Этот много рассказывал, но как-то сухо, непонятно, хотя и подробно, и мы мало что заимствовали из его объяснений. К концу [1849/50 учебного] года он оставил службу как больной: в припадке помешательства пытался перерезать себе горло, был спасен, но службы уже не мог продолжать.

В 6-м классе А.И. Ставровский очень нам много объяснил с оживлением, давая подробные записки о реформации в Германии и в Голландии и о 30-летней войне. Помню особенно его одно объяснение о различии древнего и нового мира, на пределах коих как грань стоит христианство с своим всемирным значением. К сожалению, в 7-м классе уже назначен учителем истории Лашнюков, и мы обречены были на машинальное изучение учебников.

С живейшим интересом и любовью изучал я географию России в 5-м классе под прекрасным, энергическим, оживленным руководством Ф.В. Пиленка и получал в течение всего года у него отметку 5-ть. С не меньшею любовью я занимался латинским языком у И.Д. Красковского.* Книга о Катилине и Югуртинской войне, Цицерона De officiis, еще раньше жизнеописания Корнелия Непота, доставили мне много душевного удовлетворения и дали много поучительных уроков. С меньшею охотою и успехом я занимался переводами с русского языка на латинский, это потому что вообще был не очень тверд в грамматических началах.

Греческий язык сначала у Христофора Николаевича (кажется Еронского**), потом в 7-м классе у Владимира Федоровича Федорова шел у меня всегда хорошо; я настойчиво изучал и формы грамматики, и слова, и получал в 7-м классе весьма часто по 5-ти.

---

* *Учителем латинского языка и старшим надзирателем общей ученической квартиры был И.Д. Юскевич-Красковский, бывший во время óно и моим учителем в Новгород-Северской гимназии при директоре Тимковском, которому покойник был обязан весьма полезными советами по части преподавания латинского языка. На долю Ивана Даниловича выпала скромная доля педагога в такое время, когда труд воспитателя юношества ценился не по достоинству, низводимый на степень поденной работы за весьма скудное вознаграждение.* – ***М. Чалый. Вторая Киевская гимназия***

** Это Николай Христофорович Иеропес (см. ниже его circulum vitae).

Математикою, сверх ожидания, я очень хорошо занимался в 4-м классе, особенно геометриею, благодаря прекрасному преподаванию Тимофея Ивановича Пристина [(правильно – Пристюка)], который обыкновенно объяснял новый урок, излагая оный всегда ясно и доказательно и предоставляя желающим записать дома и подать ему для исправления. Это-то я и делал почти в течение всего года и делал настолько обстоятельно и полно, что Т.И., по прочтении моих записок, предлагал и прочим списывать у меня, чем еще более заохочивал меня к усидчивой работе дома, а в классе – к усиленному и сосредоточенному вниманию.

Даже по алгебре в 4-м и 5-м классах я занимался очень хорошо, и например бином Ньютона, помню, изучал с особенною радостью и так, что понимаю и постигаю его построение. Но как дошло дело до тригонометрии и логарифмов, тут уже я ослабел; не пересилить было мне этой мудрости – синусов, косинусов и тангенсов… как в лесу терялся.

Физика и особенно космография проходились мною с особенною любовью, хотя опять в физике все алгебраические формулы были для меня камнем претыкания.*

Но особенно благотворное и воспитательное влияние на меня производили уроки русского языка в 4-м классе и затем – русской словесности в 6-м и 7-м классах, а в 4-м классе занимался русским языком Федор Васильевич Березницкий**. Он давал записки и диктовал примеры периодов. Помню один период, кажется, причинный, составлен был в развитие текста: «Блажени умирающие о Господе; ей глаголет Дух: почиют от трудов своих; дела бо их вслед их ходят». После учили о фигурах, тропах по общей риторике Кошанского, где что ни фигура, то прекраснейшие примеры; далее изучали стихосложение по учебнику Пенинского, опять с примерами:

Всех цветочков боле
Розу я любил,
Ею только в поле
Взор мой веселил.
Не резвись, мотылек:
Обожжет огонек.
Чем горит он светлее,
Тем сожжет он скорее.

и прочее.

---

* *Учитель математики и физики Д.О. Белоусов, собутыльник Березницкого, тоже любил приношения учеников, главным образом ромом и вином; но любя горькое, не отказывался и от сладкого. Ученик V класса, получив на экзамене двойку, пошел к нему на дом переэкзаменоваться, захватив с собой головку сахару. Оставив в передней сахар, он вошел в приемную и стал просить господина учителя выдать записку к инспектору с переводною отметкой. Дмитрий Осипович, заглянув в переднюю и усмотрев там голову сахару, не переэкзаменовывая, немедленно написал на бумажке требуемую отметку и вручил ее просителю. Ученик рассыпался в благодарности и, уходя, берет принесенный сахар. – А что ж это вы? – спрашивает наставник. – А это папаша велел купить для дому, – отвечает проказник. – Ах ты, подлец! – выругался наставник. –* ***М. Чалый. Вторая Киевская гимназия***

** *Старейшим между преподавателями был учитель русского языка Ф.В. Березницкий, товарищ [инспектора] Гренкова по Педагогическому институту, человек не без способностей, известный даже в печати составленным им учебником арифметики, но сильно зашибавший хмелем. Во все продолжение своей киевской службы я ни разу не видел его совершенно трезвым; полупьяное состояние у него было нормальным; таким он и являлся на уроки. Ученики так привыкли к этому, что совершенно мирились с самыми безобразными его выходками. Замечательно, что Федор Васильевич года два почти ежедневно занимался с дочерьми памятного Киеву строителя миллионных башен крепости печерской Клименка; вероятно, и там к нему привыкли. – «Господа! – обращался он к ученикам, – у меня малина поспела, приходите ко мне в сад да приносите с собой побольше сахару!» Ученики шли к нему в сад и несли сахар. –* ***М. Чалый. Вторая Киевская гимназия***

Примеры эти я с величайшим удовольствием заучивал, вдумывался в них, и некоторые из них, как и последний, здесь приведенный, имели впоследствии для меня, по своим глубоким мыслям, значение жизненных правил. – «Не резвись, мотылек: обожжет огонек!» О, сколько раз в последующей жизни этими краткими внушениями, обращенными к мотыльку, этою картиною, взятою из природы и исполненною глубокой думы поэта, я удерживал себя, как бы вразумлял себя в порывах влечений, хотя благородных и чистых, но и опасных для свободного стремления духа.

<…> В 4-м же классе впервые мы изучали церковно-славянский язык – и теоретически, и практически. Для практических упражнений употреблялась хрестоматия славянского языка Пенинского же, прекрасно составленная; мы читали отсюда отрывки из Священного Писания; помню одно: «Моисей же бяше пасый овцы Иофара, тестя своего»… и далее: «иззуй сапоги от ног твоих, земля бо, на ней же стоиши, свята есть»… и шло повествование о явлении Бога Моисею в купине на горе Синайской. Как поражала меня эта строгая речь Божьего посланничества для спасения порабощенного Израиля!

Помню: читали отрывок из книги Юдифи об ее неустрашимости спасать евреев от Олоферна. И много, много под эту, по-видимому скучную работу однообразного чтения и разбора, много продумано, прочувствовано, благодаря прекрасному выбору статей, так воспитательно действовавших на молодые души.

Еще большею силою воспитательного влияния отличался великолепно составленный сборник церковных песнопений, помещенный в этой же хрестоматии. – «Ты – моя крепость, Господи! Ты моя и сила! Ты – мой Бог! Ты – мое радование!..»

Что может сделать хорошо составленная хрестоматия, я испытал сам на себе, и занятия русским и церковно-славянским языком, при помощи таких прекрасно составленных учебников и сборников, доставляли мне величайшее наслаждение.

Я тогда же, еще учеником 4-го класса, возымел желание быть учителем, и именно учителем русского языка, и тогда же определил себя поступить на историко-филологический факультет Университета, почему крепко держался уроков греческого языка, избранного мною для изучения (греческий язык не был обязателен [в гимназии]), хотя на первых порах он представлял для меня немалые затруднения.

В 5-м классе занятия русскою словесностью шли вяло. Новый преподаватель, Николаевский, диктовал свои записки по теории прозы, различные виды прозаических сочинений, описания, разговоры и прочее. Домашние упражнения были тоже редки, но все же кое-что и писали; я, например, писал: Днепр по Гоголю. Еще, при прохождении какого-либо вида сочинения, читали его образцы по хрестоматии (тогда Пенинского), например, описание Финляндии Батюшкова и прочие. В 4-м классе упражнялись в чтении, тоже по хрестоматии Пенинского; потом – отрывки из поэмы «Полтава». Учили ли какие стихотворения за эти два года, не помню.

Но в 3-м еще классе у нас учили: «Русская слава» Жуковского; «Была пора», «Клеветникам России» Пушкина; «Бородино» Лермонтова. То было время патриотического возбуждения, Венгерский поход. Французская революция 1848 г. тоже настраивала общественное мнение к чуткости государственной безопасности и свободе.

Павел Семенович Балабуха, движимый патриотическим же чувством, диктовал нам и патриотического содержания стихотворения и достигал своей цели: и у нас возбуждалось это высокое, подъемлющее дух чувство*.

---

* Скорее всего, преподаватель Дворянского училища П.С. Балабуха был сыном известного киевского купца Семена Семеновича Балабухи (1771-1835), занимавшегося семейным бизнесом по производству цукатов, или балабушек, и державшего пару магазинов в Киеве и даже один – в Петербурге (К. Паустовский в своей «Книге жизни» не совсем точно назовет сие заведение «магазином сухих фруктов»). С.С. Балабуха произвел на свет 8 сыновей и 7 дочерей!

Помню, как в 3-м классе я тыкал пальцем в карту, в то место, где Франция, с азартом, как бы тем [самым] выражая, что так следует поступить с этою страною, возмущавшей общий мир людей своими всегдашними волнениями.

В 6-м классе с Николаевским мы только начали краткую историю русской словесности в ее древний период; тоже шли записки, но не долго с ним занимались: или он умер, или переведен был куда, не помню*; только после него занимался с нами, по приглашению начальства, профессор Университета Александр Иванович Селин.

Он пока оставил теорию русской словесности и занимал нас историею поэзии, давая нам записки, кратко, но прекрасно составленные, которыми ознакомил нас довольно обстоятельно с родами и видами поэзии; но при этом главное то, что все, что ни говорилось Александром Ивановичем, говорилось с чувством, обращалось и к нашему чувству.

Особенно глубоко запали в душу мою объяснения и записки о различии в духе, в характере, в чертах даже внешних, поэзии древних классических народов от поэзии христианского мира: там герои-боги – те же люди, в которых обоготворены все человеческие страсти, где вся сущность счастия и блаженства поставляется в чувственных удовольствиях; здесь, в христианском мире, прославляются герои борьбы, страдания, подвиги, здесь – славная победа над страстями; первообраз христианского героя несет на своих раменах крест и умирает на кресте, молясь за своих распинателей.

Когда шла речь о гимне, Александр Иванович сжато, но обстоятельно дал записки и о поэзии еврейской, где гимн, псалом, религиозная ода составляют главнейшие виды поэзии этого избранного Богом народа. Эти объяснения, эти записки открыли моему разумению новую область духа поэзии, прояснили для меня значение ее форм, ее видов, значение высокой силы творческого слова. Прекрасные эти записки и доныне сохраняются у меня. Столь же обстоятельно, при необходимой краткости, Александр Иванович давал нам понятие о классическом эпосе. Эти незабвенные для меня уроки Александра Ивановича впервые ввели меня в мир общечеловеческих идеалов, общественных стремлений к высокому во всех областях творчества, зодчестве, ваянии, живописи, музыке, поэзии.

О, как все это глубоко прочувствованным изливалось во вдохновенной речи Александра Ивановича! Он сравнивал пагоду индийскую с величественным храмом греческим и потом – с тем высоким идеалом, какой имеет христианский храм: «небо – престол Мой, земля же – подножие ногам Моим», и как на светлейший тип этой христианской идеи указывал на средневековой готический храм, весь в своих стрельчатых, поднимающихся в высь линиях, уходящий в небеса.

Он объяснил преобладание в древнем мире ваяния, в христианском – живописи, в древнем – представления всего человеческого тела и в ваянии, и в живописи – обнаженного, в христианском – одного только лица, как выражения духа. Он, наконец, показал высокое обаятельное действие музыки на душу человека, но еще выше – в развитии человеческого творчества поэзии. Он объяснил нам значение идеала и различие его от идеи; значение творца-гения.

---

* *А.А. Николаевский, воспитанник Киевской Духовной Академии, был искренно преданный своему делу учитель, чему доказательством его учебник «История русской литературы», к сожалению, не напечатанный, хотя историко-филологический факультет Университета св. Владимира, рассмотрев его, дал отзыв, что он может быть «принят за руководство в тех гимназиях, где преподается этот предмет». Бывшие его ученики утверждают, что он отлично вел преподавание русской словесности, но только лишь в дни, когда позволяло ему здоровье, сильно надломленное страданием легких, причинившим ему преждевременную смерть. –* ***Н.С. Тумасов. История Киевской Второй гимназии // «Киевская Старина», 1902, №6***

Эти незабвенные уроки и объяснения, полные жизни, чувства духа, о, как воспитательно они действовали на меня, уже значительно подготовленного именно к такому идеальному отношению к миру человеческого творчества и потому свободно, живо, глубоко воспринимавшего всею душою такое от чувства шедшее просвещенное руководство незабвенного Александра Ивановича!

Он же преподавал историю русской словесности, древней и новой. По недостатку времени в древней он останавливался на главнейшем; так, я помню, он очень живо представил нам образы Нила Сорского, Иосифа Волоцкого и особенно трогательно, можно сказать, изобразил мученика за не понятые современниками высокие идеи Максима Грека. Картина невинного страдальца глубоко трогала и умиляла меня.

Такою же трогательною речью изображен был пред нами Даниил Заточник и еще раньше – игумен Даниил, ставящий у гроба Господня и возжигающий кадило за всю русскую землю. Довольно обстоятельно представил он нам и русские мистерии. Прочее пройдено по запискам, за недостатком времени. В новом периоде русской словесности мы останавливались на чтении отрывков из писателей. Так, обстоятельно мы были ознакомлены с сатирами Кантемира, с комедиями Фон-Визина, с Ломоносовым, с одами Державина и особенно – с «Фелицею» и «Богом», с духовными ораторами XVIII столетия, и все это объяснено и прочтено с чувством, увлечением, жаром.

Помню, когда проходили о духовных ораторах, приведены были отрывки из надгробного слова Феофана Прокоповича у гроба Петра Великого, из приветственного слова Георгия Конисского Екатерине Великой; когда дошла очередь до Анастасия Братановского, то Александр Иванович предложил прочитать его знаменитое слово на смерть Бецкого одному из учеников (из отделенцев), но его чтение ему сразу не понравилось, и он спросил, не может ли еще кто прочесть лучше. Тогда, откуда возьмись у меня смелость, вызвался я прочесть, и прочел с необыкновенным воодушевлением (я был издавна, еще с детских лет, порядочный чтец). Александр Иванович, кажется, не ожидал от меня такого чтения, остался очень доволен и тут же пред всеми похвалил меня. – «Вот, прекрасно прочитали».

С тех пор он оказывал ко мне особенное внимание. О Карамзине много не говорил Александр Иванович, но очень обстоятельно ознакомил нас в выдержках с Пушкиным и особенно – с «Евгением Онегиным». Помню, раз Александр Иванович допустил маленькую неосмотрительность: стал читать «Руслана и Людмилу» и потом то место, где представлена картина петуха, гордо выступающего среди кур, и как загогочут «отделенцы» при чтении этого вольного места на весь класс.

Александр Иванович, кажется, понял свою оплошность, забыл или не знал, с кем он имеет дело, с мальчуганами, уже знакомыми и не с такими вещами, выдаваемыми за «Пушкинские», и больше уже избегал таких вольных мест. Прочтены были тоже выдержки из «Полтавы». Из Жуковского прочтено несколько баллад, между прочим: «Светлана» в отрывках. От Александра Ивановича первого мы узнали о кончине Жуковского 12-го Апреля 1852 г., о чем он с скорбию сообщил нам в классе же, на уроках. Из Гоголя было прочтено несколько отрывков, некоторые типы «Мертвых душ» и между прочим – «Плюшкин». В 7-м же классе Александр Иванович дал на дом каждому прочесть какую-либо книгу и сделать из нее подробное извлечение.

Я избрал XII том Карамзина, царствование Василия Шуйского, и, добросовестно прочитав весь том, действительно сделал из него подробное извлечение, которое и подано было в конце года на рассмотрения Александра Ивановича.

Под таким прекрасным, воспитательно действовавшим руководством в изучении родного языка, в течение почти двух лет, я имел счастье и окончить гимназию, сохранив в душе величайшую признательность к Александру Ивановичу и утешаясь мыслью, что в нем буду иметь в Университете достойного руководителя.

Он же своими прекрасными и душу захватывающими уроками мирил меня с тою оскорблявшею обстановкою «отделенского» товарищества, о которой я выше упомянул и которая так часто ожидала меня тут же, лишь Александр Иванович удалялся из класса, унося с собой и мой мир, и мое наслаждение; точно эти люди не слышали и не понимали его речи, вдохновенной чувством высокого и прекрасного.

Я еще ничего не сказал о своих занятиях в гимназии французским и немецким языками. В 4-м классе на уроках французского языка переводили мы «Странствования Телемака» Фенелона, и, помню, своею назидательностию этот перевод доставлял мне много поучительных уроков. С 5-го же и до 7-го уже введена была хрестоматия Трико, тоже богатым содержанием, хорошо выбранными отрывками производившая на меня всегда сильное воспитательное действие, знакомя меня с жизнию чужого народа, с его историею, его нравственными понятиями и таким образом прокладывая в моей душе дорогу к пониманию общечеловеческой жизни в ее возвышенных, идеальных проявлениях.

Не совсем только удовлетворительно шло преподавание грамматики, особенно в 5-м и отчасти в 6-м классе, когда занимался с нами Венес, плохо говоривший по-русски; но с живейшим интересом я принялся за грамматику французскую, когда стал преподавать Майер, частью в 6-м классе и некоторое время в 7-м, ведший свое дело с большим уменьем и любовью*. Окончил с нами курс гимназии по французскому языку молодой учитель Иван Яковлевич Ростовцев, главным образом обративший внимание на чтение и переводы. Немецким языком занимался с нами весь гимназический курс Августин Яковлевич Сигизмунд, прекрасный преподаватель, особенно своею грамматикою, составленною для русских и ясно изложенною, помогший мне достаточно ознакомиться с немецким языком, так что и на экзамене выпускном я получил по немецкому языку 4-ре**.

Экзамены наши начались приготовлением в классе сочинения по русскому языку. Было дано несколько тем, главным образом из писателей. Так водилось всегда, я это знал и потому дома достаточно подготовлялся к написанию сочинения, особенно старательно прочитав все, что знал об Озерове. Действительно, в числе тем была дана тема и «Об Озерове».*** Я ее и выбрал себе.

И тем не менее я провозился с сочинением в течение всего дня, с 9-ти часов утра до 8-ми часов почти вечера, не обедая, измучив и надзирателя, которому поручено было оставаться до окончаний написания всеми сочинений, достопочтенного Гриненка, который имел терпение ожидать меня, нисколько не подгоняя и не настаивая, а я пишу да пишу, и дотянул почти до 8-ми вечера, удивившись сам, как это я весь день просидел и не вспомнил даже про обед. Это сочинение и было единственным письменным упражнением на окончательном испытании; переводов по языкам не было, как и решения письменных задач.

---

* И сам Н.Д. Богатинов ниже поминает высланного из 2-й гимназии после восстания 1863 г. поляка Малерба (а не Майера), преподавателя французского языка, и М.К. Чалый – Малэрба:

В высших классах французский язык преподавал Малэрб – родом поляк, получивший образование в русских учебных заведениях и потому обладавший знанием русского языка, вследствие чего и преподавание у него шло довольно успешно. – ***М. Чалый. Вторая Киевская гимназия***

** *Учитель немецкого языка Сигизмунд пользовался заслуженною известностью в [Киевском учебном] округе. Составленная им грамматика употреблялась во всех гимназиях. Как преподаватель, он однако ж не мог похвалиться успехами своих учеников: не обладая здоровьем, он часто пропускал уроки и скоро по болезни вышел в отставку.* – ***М. Чалый. Вторая Киевская гимназия***

*** Владислав Александрович Озеров (1769-1816), автор прогремевших на русской сцене начала XIX столетия стихотворных трагедий «Эдип в Афинах», «Фингал» и «Дмитрий Донской». Был вхож в домашний круг Г.Р. Державина, но окончательной литературной средой для него стал кружок-салон А.Н. Оленина. Возможно, общение с поэтами, которые сами писали басни и интересовались спорами вокруг них, было причиной, почему Озеров обратился к этому жанру, казалось бы, столь противопоказанному его дарованию драматурга-трагика. – ***Из Интернета***

Окончил я курс гимназии в числе средних по успехам, внесши предварительно в пользу канцелярии, по требованию письмоводителя, полтора рубля… и простился с гимназиею <…>.

Наступило время поступления в Университет. Тогда для оканчивающих гимназию было в Университете производимо поверочное испытание в виде сочинения по русскому языку. 1-го Августа я и писал сочинение в присутствии ректора Университета Траутфеттера и Александра Ивановича Селина. Писали на темы, которые назначены были на билетах. Мне вынулся не помню с какою темою билет, но она показалась для меня трудною, и я поменялся с моим товарищем по гимназии Мощинским и писал: «О значении Киева». В сочинении допускалось сделать не более двух ошибок; третья уже лишала права поступления в Университет. Ректор очень внимательно просматривал сочинения; хотя и немец он отлично знал русское правописание и нашел в моем сочинении три ошибки, из них одна: «оцѣпѣнѣл» [(вместо – «оцѣпенѣл»)]… Роковая минута! Спас меня уже знавший меня Александр Иванович; он объяснил немцу-ректору, что в таком письме слова нет ошибки, что пишут и так глаголы в силу мягкого произношения [звука «е»], привел несколько примеров, словом, явился моим заступником пред строгим судьею. Ректор не мог возражать профессору русской словесности, я был спасен и принят в Университет по историко-филологическому факультету.

Нужно было получить «матрикул» печатный, за него вносилось 2 рубля. Чтобы добыть их, я продал [Павлу Петровичу] Должикову (содержателю «Аптеки для души», кабинета для чтения) бывшую у нас очень старинную Географию всеобщую, не помню уже, на русском или немецком языке, но очень, очень старинную (уже не подарена ли и она была Каролиною Ивановною вместе с другими книгами, о чем я уже говорил*), кажется, за 1 руб. 50 копеек. Пошить сюртук, шинель форменную, сделать мундир, купить шпагу, треуголку, уплатить за право учения, 20 руб. за первое полугодие, все это были такие расходы, которые не могли сделать мои родители без непомерного напряжения. Я это видел и решился занять какую-либо репетицию, стал спрашивать, искать, узнал, что есть, с тем чтобы я жил в доме этого господина.

Вблизи Университета [нашел такой] дом, тем лучше: зима приближается, не ходить с Подола. Иду. Господин этот гордо и чрезвычайно сухо обошелся со студентом и предложил, если угодно, заниматься с его сыном, но только за стол и квартиру, без денежного вознаграждения. Стол и квартира у меня и без того есть – у родителей, я не согласился и в этом видел Божье устроение, чтобы не покидать родительского крова ни на один день моей юной жизни. Вскоре нашлись у меня занятия частными уроками, вблизи же, у Смородиновых [на Подоле], куда я ежедневно ходил после обеда заниматься с сыном, а несколько позже – у купчихи Дитятиной, сын которой приходил ко мне.

Плату я получал самую ничтожную, кажется не больше 4 руб. в месяц у Смородиновых, и 4 или 5 руб. у Дитятиной; но и это было немалою поддержкою в нашей бедности. Из этих ли денег, или уже родители добыли средства, было сделано все необходимое для меня, хотя исподволь, и уплачено за право учения. За все 4 года моего студенчества не было ни одного разу, чтобы я своевременно уплачивал эту значительную сумму, и каждый раз к 1-му Октября, кажется, и к 1 Февраля я был исключаем из Университета; потом, когда вносил эту сумму инспектору, тот делал о взносе пометку, и тогда я уже мог предъявить декану факультета, проф. Нейкирху, свой лист семестровый, где означались предметы лекций на тот семестр: незабвенный, скорбный лист моего бедственного студенчества, который и доныне хранится у меня.

---

* Немка Каролина Ивановна жила на постое в доме Богатиновых, потом, выходя замуж за немца – фортепьянного мастера, подарила детям несколько книг и нотных тетрадей.

Лист же этот имел документальное значение: им определялось время курса, право на полукурсовой и окончательный экзамен, и не будь в каком-либо семестре пометки декана, даже и при уплате за учение, но просто по забывчивости студента, своевременно не предъявившего декану своего семестрового листа, это полугодие не считалось в число обязательных 8-ми в университетском курсе.

<…> Кроме [разболевшейся ногами от малоподвижного образа жизни] сестры, во время моего университетского курса, раз сильно разболелась и матушка наша сериозно опасно. Тут Господь невидимо послал нам Свою помощь. В соседстве с нами жила вдова Уварова, тоже хорошая знакомая матушки по церкви. Узнав о ее болезни, она просила посещавшего ее доктора, профессора Университета Ю.И. Мацона принять участие в ней и посещать матушку. И Мацон бывал у нас в течение всей болезни матушки, более трех недель, и когда мы, по ее выздоровлении, поднесли ему денежную благодарность, он отказался принять ее, глубоко тронув нас своим благородным бескорыстием и состраданием к нуждающимся.* <…>

Помню, еще одно обстоятельство вызывало во мне пламенную молитву к Богу – Благодетелю. То были годы Крымской кампании, тяжелые годы для России непомерного напряжения ее внутренних сил. Двинуто было государственное ополчение; ратники различных внутренних губерний то и дело переходили Киев, направляясь к театру войны.

Вдруг разнесся тревожный слух, что будет закрыт Университет на время войны, и студентам предоставлено будет право перейти в Московский или Харьковский, и этому слуху тем легче было верить, что, как известно это было, император Николай I не любил Университета и, бывая очень часто в Киеве, как рассказывали, не заезжал в Университет ни разу, кроме первого его обзора после построения.**

А тут еще к тому около этого времени студенты-негодники (большею частью медики, в том числе и мои благовоспитанные товарищи по гимназии из «отделенцев») производили беспорядки в городе, разбивая толпами дома терпимости, выкидывая и другие пьяные штуки. О, как поразил меня этот слух, и всех нас!

Ведь здесь только проходила моя дорога к жизненному обеспечению нашей сиротствующей семьи. Я сознавал, что закрытие Университета было бы для меня равносильно отнятию у меня всяких средств к дальнейшему образованию, а для матушки и сестры – всякой надежды на облегчение от удручающей нужды. Переходить же в Москву или Харьков и немыслимо было при той бедности, в какой и в родном городе мы жили тогда. И я горячо, горячо молил Господа и не раз плакал горючими слезами, чтобы не постигло меня это горе, уже сверх сил моих и наших. <…>

---

* С ординарным профессором Университета св. Владимира Юлием Ивановичем Мацоном был хорошо знаком Эдуард Эрнестович Классон, см. Приложение «Э.Э. Классон и Киевское Общество врачей»

** Оказывается, ранее университет уже закрывали. Из воспоминаний того же П.Д. Селецкого:

Весною 1839 года над университетом разразилась сильная гроза. Еще в 1837 году, осенью, во время посещения Киевом государем, три студента из поляков наклеили на здании университета пасквиль в стихах. По неприязненным отношениям генерал-губернатора к попечителю учебного округа [Е.Ф. фон-Брадке], человеку умному, образованному и энергичному, делу этому придали особенную важность, и государь, посетив институт казеннокоштных студентов, где были собраны все студенты университета, высказал так много негодования и был в таком раздраженном состоянии, что поразил всех своим гневом. <…> Польский эмигрант Конарский прибыл в Россию из Парижа и учредил тайное общество с целью восстановить польскую национальность; пропаганда его распространилась быстро в литовских губерниях и оттуда перешла в Киев. Более двадцати студентов университета св. Владимира принимали деятельное участие в заговоре. Дело кончилось закрытием университета 17 марта 1839 года, ссылкой в каторжную работу трех главных деятелей пропаганды в Киеве [(Буяльского, Богдановича и Рушковского)] и казнию Конарского в Вильне. – ***«Киевская старина», февраль 1884 г.***

<…> О, счастливая пора юности! Из Лавры я никогда не возвращался с пустыми руками: нес с собою хлеб Лаврский, иногда фунтов по десяти, от отца Алимпия или [от митрополичьего повара, монаха] Тихона. Это бывало немалым подспорьем для нас, давая возможность несколько дней обходиться без покупки хлеба на базаре.

Как в Лавре я часто снабжался хлебом, так в Университете один мой добрый товарищ, незабвенный для меня по первой юношеской дружбе, Николай Данилович Протопопов, тоже студент историко-филологического факультета, бывший на казенном счету и направления вполне согласного с моим, тоже прошедший суровую школу жизни до поступления в Университет, снабжал меня писчею бумагою, так что во все время студенчества я не покупал бумаги, имея ее от него. Он же делил со мною часто свой казенный завтрак, кусок вкусного, превкусного хлеба, чем я и подкреплялся в течение продолжительного пребывания на лекциях с 8-ми до 3-х часов. Он же подарил мне лишнюю портупею к шпаге, которую я в память его дружбы ношу и теперь, старенькую, престаренькую.

Университет не раз приходил мне на помощь в моих нуждах. Здесь я дважды получал сукно на сюртук, вынужденный просить об этом помощника попечителя учебного округа, М.В. Юзефовича. Отсюда мне, как бедному студенту, выдано было раз пособие, кажется в 25 руб., из суммы, собранной от домашнего спектакля (или концерта), данного в пользу бедных студентов, и из этого-то пособия было раз уплочено 20 руб. за право учения. <…>

<…> С другими студентами моего факультета и курса [(кроме Протопопова)] я не сходился так близко, но вообще я был счастлив в отношении к товариществу: здесь, после нравственных мук Гимназии, я нашел полнейший покой, уважительное отношение к личности, сдержанность, приличие, беседу тоже всегда благопристойную, иногда весело шутливую, всегдашние расположенность и общительность. Все это после того, что я имел несчастие испытать в Гимназии, было для меня истинным благодеянием, за которое я горячо благодарил Бога. Находя высокое удовлетворение своим сердечным чувствам как в тихом семейном быту, так и среди добрых, благорасположенных товарищей, я, и подавляемый тяжелою нуждою, ни на минуту не ослабевал в любви к научному труду и предавался ему с упоением. От знакомых студентов по [Духовной] Академии, от отца Алимпия из Лавры, из университетской библиотеки я брал книги, читал, изучал.

К этому времени относится чтение впервые сочинений [православного духовного писателя и историка Церкви А.Н.] Муравьева: «Письма о Богослужении», «История св. града Иерусалима», «Первые четыре века христианства», «Письма о спасении мира сыном Божиим», «Римские письма», «Письма о Грузии и Армении», «Письма о Православии», «Письма с Востока», «Русская Фиваида», «Путешествие по св. местам Палестины», «Путешествие по св. местам русским».

Все эти сочинения прочтены были мною, взятые у о. Алимпия в пору моего студенчества. У него я брал «Христианское Чтение» – журнал, издаваемый при С.-Петербургской Духовной Академии, «Лавсаик или повествования о святых отцах-подвижниках»*, «Луг духовный» Иоанна Мосха, «Историю Русской церкви» архиепископа Филарета. Тогда же читал я первые томы Истории русской церкви преосвященного Макария.

---

* Палладий, епископ Еленопольский. «Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов».

Одновременно с таким духовно-назидательным чтением я усердно занимался изучением новых языков, французского и немецкого, особенно французского. К сожалению, мето́ды [(преподаватели)] этих языков, Борель и Краузе, не могли поддержать во мне охоту к изучению этих языков, и лекции эти, можно сказать, безусловно были бесполезны для меня*.

Я читал книги на том и другом языке только дома или даже в Университете в свободные часы, при помощи словарей; на лекциях же этих языков я ничему не мог научиться, ничем не мог дополнить своих знаний гимназических: так они были бессодержательны, вялы, безжизненны, проходили в переводе, например Тридцатилетней войны Шиллера, кем-либо из студентов, причем другие студенты оставались совершенно безучастными, даже скорее зрителями, чем слушателями, ибо и слушать было нечего.

Если же и делал лектор какое-либо замечание или объяснение, то для меня, не понимавшего разговора на французском или немецком языке, все это пропадало бесследно. Но это не ослабляло во мне желания учиться, и я настойчиво читал Тридцатилетнюю войну Шиллера, и особенно усердно занимался французским языком.

К этому времени относится знакомство мое, чрез о. Алимпия, с студентом [Духовной] академии Феофаном Доброленским, из Черниговской семинарии. Он тоже усердно занимался французским языком, читал «Études philosophiques sur le Chrystianisme par Degérando» [(«Философские этюды христианства» французского религиозного писателя Ж.М. Дежерандо)]. Взял у него и я это сочинение и с большою любовью прочел почти все три полных тома, пытался даже переводить письменно, и доныне хранится у меня перевод мой «О душе», крайне неумелый; но я был без помощи, делал все что мог и все сам собою. От Доброленского же достал я сочинение того же Degérando: Du perfectionnement moral [(«Нравственное развитие»)], 2 тома, и читал его.

В университетской библиотеке брал я томы французских энциклопедистов или критику на них, и особенно Вольтера; помню хорошо, как в свободный час, забираясь в VI-ю аудиторию, одинокий в ней, я погружался в это занятие и был безумно счастлив в эти минуты, забывая жизненное горе и нужду свою… Товарищи подсмеивались надо мною, видя, что я постоянно ношусь с тетрадкою слов французских и учу по ней. Однажды эта тетрадка была выхвачена у меня из рук и положена под подставку кафедры; а студент благодушно смеялся, утешая меня, что это не беда, что и без тетрадки и без зубрения можно составить значительный запас иностранных слов только чрез чтение с помощью словаря. Помню этого моего шутника-товарища: поляк, светло-русый, прекрасный, милый малый, фамилия Бржезинский, что-то в этом роде.

С той поры, действительно, я больше не писал слов, а с переходом на 3-й курс и вовсе перестал заниматься языками, а погрузился в чтение материалов для написания заданного в тот год на золотую медаль сочинения «Историческое обозрение просвещения в России от времен Св. Владимира до XIX столетия».

---

* Август Андреевич Борель, лектор французского языка в Университете св. Владимира, преподавал французский язык и французскую литературу с 1839-го по 1868 год.

Сигизмунд Иванович Краузе, лектор немецкого языка в Университете св. Владимира, преподавал немецкий язык и немецкую словесность (последнюю читал, придерживаясь сочинений: Вахлера, Коберштейна, Шлегеля, Бредерлова и др.) с 1839-го по 1864 год. – ***Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1833-1884) / Составлен и издан под ред. В.С. Иконникова. Киев, 1884***

Я взялся писать, и все иное время, кроме лекций, частных уроков и церкви, было занято этим трудом. Перечитал я все доступное, летописи, томы Полного Собрания законов, журналы: Москвитянин, Министерства Народного Просвещения, отдельные сочинения, как Воронова – Историческое обозрение образования в С.-Петербургском округе, и когда собрал значительный запас материалов, уселся писать самое сочинение.

Помню, не одну полночь я проводил за этою работою: спят матушка, сестра, а я пишу стоя, прислонившись у стола, или на стуле, при свете лампады, наполняемой подсолнечным маслом, чтобы меньше стоило освещение (ибо много пошло бы свечей, если работать при свечах). Когда сочинение было написано, оставалось написать заключение, и помню день и час завершения моего непосильного труда: это Великая Суббота, после обедни, около 7-ми часов, пред самым чтением Деяний пред плащаницею, 9-го Апреля 1855 года. О, как я был счастлив в эти минуты! Как радостно встретил великий праздник!

Пересмотрел и исправил местами мое сочинение мой знакомый студент [Духовной] Академии Попов, бывавший у нас. Мое сочинение было переписано набело и сдано декану. Одновременно писали на ту же тему и мой любезнейший [коллега, студент] Протопопов, и еще студент Янсон, из аристократического круга, близкий родственник тогдашнего окружного инспектора Могилянского. Хотя соблюдены были формальности относительно девиза и профессор педагогики и истории воспитания Гогоцкий знал всех нас – писавших и кому какое сочинение принадлежит, но золотую медаль он присудил Янсону, мне же и Протопопову – серебряные, несмотря на то, что Янсон написал только до Петра Великого.

В этом я видел пристрастное отношение профессора и был глубоко огорчен; ибо предлогом к лишению меня золотой медали послужила только внешняя сторона, язык, как выразился в своей рецензии профессор, при громадной массе разработанных материалов и строгой логической системе в построении.

Когда 9 Июня был назначен акт, где я должен был получить серебряную медаль, я вовсе не пошел на акт; вызывали, вызывали. Особенно желал меня видеть митрополит Филарет, присутствовавший на акте, когда ему прочли девиз сочинения: «Корни будут целы, все дерево будет жить». Я на другой день явился к ректору [Траутфеттеру] за медалью, и он встретил меня упреками и неудовольствием. Конечно, я скрыл от него настоящую причину моей неявки на акт. Медаль свою я тогда же продал за 5 рублей: так велика была наша семейная нужда. Но все же труд мой если и не был [справедливо] вознагражден тогда, не пропал для меня: я много прочитал, научился обработывать свою письменную речь, да и в обществе профессоров оставил хорошее впечатление.

Моя исправность в посещении лекций, мое трудолюбие расположили ко мне профессоров [историко-филологического] факультета, во главе которого был достойный Иван Яковлевич Нейкирх, и когда Бог привел меня держать окончательные испытания, я получил лучшие отметки и выпущен был из Университета кандидатом, даже в числе старших кандидатов, имевших в то время право непосредственно по окончании курса начинать службу в столице, о чем дано было мне и свидетельство от Университета, которое и доныне хранится в числе моих документов, как и свидетельство о получении мною серебряной медали за сочинение.

<…> 9 Июня 1856 года было последнее [выпускное, экзаменационное] испытание, день этот и есть день окончания мною, при милосердной Божией помощи, курса Университета…

Наступил для меня мучительный период неизвестности в ожидании места, при той же, и быть может, еще более напряженной нужде и лишениях. Нужно было сшить новое платье, сбросив студенческое, которого уже не имел я права и носить.

Кажется, пришлось студенческий сюртук перелицевать, и вышло что-то обрезанное, короткое, вроде сюртука однобортного. Так и началась моя свободная от всех обязательств жизнь, крайне нуждавшаяся в отдыхе от усиленных, напряженных занятий. Я кончил Университет тощий, исхудалый, как щепка.

Но мысль о месте не давала мне покою. К моему великому счастию и по невидимому Божьему строению, к этому самому времени подоспела перемена в управлении Киевским учебным округом. До этого времени попечителем округа был генерал-губернатор князь Васильчиков, при нем помощником – Юзефович; но собственно действительным управителем был правитель канцелярии попечителя, Л[азо]в, от которого, как тогда шла общая молва, и зависело определение на учительские места, и требовалось истратить расхода [(взятки!)] до 200 руб., чтобы получить место.

Где же мне, бедняку, можно было думать о месте, которое приходилось купить? Но вот в это самое время попечительство отделяется от генерал-губернаторства, и попечителем, мы узнаем, назначен градоначальник гор. Кяхты Николай Романович Ребиндер, который в конце Июня [1856 года] и прибыл в Киев. Он привез с собою и нового правителя канцелярии Губера, определение же учителей взял в свои собственные руки. И я решился просить у него места. В ночь под 7-е Июля я писал свое прошение; утром с матушкою и сестрою горячо молились мы пред иконою Божьей Матерью Братскою и, получив благословение матери, я отправился, еще в студенческом мундире, при шпаге и треуголке, к Ребиндеру.

Он внимательно прочел мое прошение, в котором, объясняя свое семейное положение, я просил определить в Киев при одной из киевских гимназий учителем русского языка или словесности, или истории, в случае же невозможности такого назначения в Киеве, просил назначить в Полтаву или поближе к Киеву, так как матушка моя и сестра не могли ни в каком случае оставить Киев.

Ребиндер особо обратил внимание на мою семейную любовь и заботу о матери и сестре; но, посмотрев на меня, изможденного, тощего, пожелтевшего, он усумнился, могу ли я учительствовать, однако обещал сделать все что можно, и когда я просил позволения, следя в канцелярии за открывающимися вакансиями, напомнить ему о себе, в случае открытия таковых, он сам обещал следить за вакансиями, сказав, что лучше меня это сделает и успешнее. Обрадованный таким милостивым приемом, можно себе представить, какую несказанную радость я принес в свою бедную, напряженно ожидавшую возвращения, семью![*]

Но не одного Ребиндера Бог послал вовремя для устроения моего жизненного пути пред Ним. Около этого времени был переведен из Чернигова инспектором Киевской 1-й Гимназии бывший мой учитель Тимофей Иванович Пристич [(уже было отмечено – Пристюк)], очень хорошо меня помнивший как прилежнейшего и лучшего ученика в бытность его учителем в Киевской 2-й Гимназии. К нему тоже я обратился около этого времени, с просьбою о помощи в приискании места. С полною готовностью он обещал мне свое содействие и вскоре исполнил на деле свое обещание.

<…> 28-го Августа вдруг в нашу квартиру, куда по целым месяцам не показывался никто из посторонних, кроме университетского педеля, частенько меня посещавшего, является эконом пансиона при 1-й Гимназии с приглашением явиться к инспектору, т.е. Т.И. Пристичу. К полудню 29-го Августа я был уже у Пристича, застал его за обедом (постным, по случаю поста в память усекновения главы Иоанна Крестителя) и от него узнал отраднейшую для меня весть, что по его предстательству на днях состоится определение меня учителем в Киевскую 1-ю гимназию. Могу ли я теперь передать то глубочайшее чувство благодарности Промыслителю-Богу за эту Его величайшую ко мне милость?

---

[*] Разорившийся отец Н.Д. Богатинова умер в начале 2-го года его обучения в Университете, т.е. в 1853 году.

1-я Гимназия считалась лучшим учебным заведением. Сюда поступали дети людей богатых, аристократы; она в общественном мнении стояла много выше 2-й, губернской так называемой, Гимназии. И вот я – бедняк, без протекции, без всех с моей стороны данных (ибо кто же знал меня студентом и следил за мною?) определяюсь в гимназию, и еще как? Еще даже не было свободного места, и меня уже назначают.

В это время служил в гимназии учителем русского языка некто Дубницкий, которым начальство гимназии было очень недовольно за его крайнюю неисправность и искало случая отделаться от него. Поехал он на вакацию в отпуск; проходит неделя учения, вторая, он не является из отпуска. Еще проходит неделя, нет его.

Это и послужило поводом к увольнению его от службы. Послали ему письмо с предложением уволиться, а меня назначили на его место, впредь до его увольнения, частным образом, по найму, из особых, специальных средств гимназии. Бумагу о своем назначении я получил 5-го Сентября 1856 года. Тогда праздник Рождества Богородицы, 8 Сентября, приходился в субботу, в пятницу же был всего один урок русского языка, так что можно было бы и не начинать занятий до понедельника, но мой благодетель Тимофей Иванович настоял, чтобы не начинать мне службы в понедельник.

Итак, 7-го сентября 1856 г. – день незабываемый, начало моего наставнического служения. Как ни трудолюбив я был, проходя курс университета, все же явился к новому делу почти неприготовленным и ходил к своему достойнейшему учителю [в Дворянском училище] Павлу Семеновичу Балабухе за советом, как приступить к делу, с чего начать. Однако, с благословения Божьего, начал, зорко следя за своими ошибками, промахами, недостатками. То была особая пора в жизни моей школы.

И в школе обнаружилась новая жизнь, какую начала Россия с новым царствованием. Стали появляться в печати статьи Н.И. Пирогова в «Морском Вестнике», и все вдруг о них заговорили. «Воспитать человека» – стало девизом обновленной школы*. Мой предмет, русский язык, сделался предметом особенно живых статей. Коснулись совершенно новой постановки его, чисто практической; зубрение склонений и спряжений, вообще преобладающее господство формы над содержанием, подверглось жестокому осуждению.

В эту-то самую горячую пору оживленных толков в педагогической литературе о постановке преподавания русского языка я начал учительствовать, вовсе не знакомый со всем тем, что писалось в то время по этому предмету. Но на первых же порах Т.И. Пристич явился мне руководителем на новом для меня пути. Раз он вызвал меня в свободный час, походить с ним на гимназическом дворе, и вкратце ознакомил меня с тем, что печаталось по предмету русского языка, дал прочесть несколько статей и выразил желание, чтобы я усвоил своему преподаванию новые приемы, новый характер практического изучения языка.

---

* К моменту ухода из медико-хирургической академии в журнале «Морской вестник» (июль 1856 г.) была опубликована статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», в которой говорилось: «Школа должна готовить сознательных членов общества, способных не приспосабливаться к злу, а бороться с ним». Эта статья была с восторгом встречена передовой русской общественностью. Она, очевидно, сыграла немалую роль в том, что 30 сентября 1856 г. Н.И. Пирогов был назначен попечителем Одесского учебного округа. Он выступал в газете с программой преобразования школы, поставил вопрос о преобразовании Одесского лицея в университет и одновременно писал о необходимости широкого доступа в университет представителей всех национальностей и сословий. Н.И. Пирогов не сработался с генерал-губернатором края. 18 июня 1858 г. он был переведен попечителем Киевского учебного округа. Но и здесь он отстаивал прогрессивные взгляды на преподавание. В своем дневнике он писал: «Я установил мой коренной принцип, по которому попечитель обязан оказывать на учащихся и учащих одно только нравственное влияние, власти же пытались навязать мне тайно полицейский надзор». – ***Из Интернета***

Я охотно и с благодарностью воспользовался указаниями Тимофея Ивановича; но все же сразу мне трудно было оторваться от принятого в школе способа изучения русской грамматики, так как (я это видел сразу) новые взгляды касались существеннейшего в изучении языка: изгоняли они все, что давало твердое знание форм языка и, оставляя [в стороне] все грамматические термины и подразделения, требовали усвоения и развития путем чтения и бесконечных бесед и вопросов. Не мог я этого и позволить даже себе, имея в виду экзамены, когда ученики должны же обнаружить пред комитетом свои точные знания, а не какой-то сумбур, оставшийся после бесконечных бесед.

И я остался при твердом изучении грамматических форм, но все же дал широкое приложение в преподавании практическим занятиям и объяснениям, словом, стал осмыслять учение путем разнообразных практических упражнений. Назначенный, непосредственно после моего вступления в должность, окружным инспектором, Стеблин-Каменский содействовал тому, что я с первых же уроков должен был серьезно озаботиться о наилучшей постановке даваемых уроков. Незаметно я и втянулся в свое учительское дело и вскоре имел утешение видеть, что мое усердие к делу не остается незамеченным. Так, Тимофей Иванович предложил мне давать частные уроки сыну одного богатого человека (фамилии не припомню) – худо подготовленному, раза три в неделю, для чего я приходил к нему после обеда в пансион 1-й гимназии и здесь, в спальне занимался с своим учеником. Большою поддержкою были для меня эти уроки, пополняя крайне скудные мои средства.

Жалованье мне было назначено по окладу младшего учителя, 328 рублей в год. С большим трудом я собрался из первого полученного жалованья сшить себе форменный сюртук (тогда впервые введены были эти форменные сюртуки, вместо виц-мундиров) из самого дешевого синего сукна, скорее светло-синего, чем синего. Сюртук этот не мог не отличать меня в ряду прочих преподавателей. Да я и сам как-то сторонился всех и, приходя в учительскую, не решался вступать в близкое общение с своими новыми сослуживцами. Отдав честь директору, я становился у окна, опираясь о подоконник, и так ожидал минуты выхода в классы. Так было долго, пока я освоился и стал несколько смелее, не стесняясь своим бедно-старым сюртуком. Чаще всего я заходил на большую перемену в канцелярию и здесь чувствовал себя несколько свободнее в обществе более простых людей, письмоводителя и бухгалтера, который знал моего дядю Алексея Ивановича по прежней службе с ним в банке, оттого и относился ко мне как к своему знакомому.

Наступала осень. Нужно было думать о теплом платье. Но думать много не приходилось: по недостатку средств перелицевали мою старую студенческую шинель, перекрасили ее и кое-как сшили из нее теплое ваточное форменное пальто (тогда только что введены были эти, военного покроя пальто). Пришлось сшивать сукно так, что [горизонтальный] шов прошел поперек пальто ниже поясницы. Было заметно, но что же делать? Таким бедняком я и проходил всю ту зиму.

Нужны были и часы, чтобы своевременно являться на урок. Ну, на часы вовсе не хватило средств; но и тут Бог послал помощь: мой родственник, Михаил Андреевич Буренков, бывший учителем в Подольском дворянском училище, одолжил мне свои лишние часы, и я с ними проходил до Мая 1857 г., когда за 15 руб. матушка купила для меня часы, которые и доныне служат мне, составляя для меня драгоценную память всей моей прожитой на службе жизни, спутники почти всей моей жизни.

<…> В конце Октября я был приглашен давать еще частные уроки в доме госпожи [Александры Ивановны] Давыдовой, двум ее дочерям. Маленькие средства наши этими уроками значительно дополнялись. Матушка могла уже выкупить из залога кое-какие серебряные вещи, могла пошить необходимое белье для всех нас, обзавестись нужным платьем.

На праздник Рождества Христова я мог уже пригласить к себе одного или двух учеников 1-го класса, детей из пансиона, чтобы угостить их у себя, сам приезжал за ними [на извозчике], сам и отвозил их к вечеру.

<…> Хотя я и привык ходить (ибо из этой же квартиры [на Подоле] ходил и в Университет, а прежде с Подола же ходил в Гимназию), но теперь ходить в Первую гимназию было далеко труднее, ибо надлежало подниматься на две горы. Обыкновенный путь мой – чрез старый Киев по Андреевской горе, мимо Михайловского монастыря чрез Крещатицкую площадь и по Институтской, мимо генерал-губернатора и в Гимназию; но иногда, в хорошую погоду, я сокращал путь, проходя жандармскою усадьбою, начиная от Банка и выходя чрез одну частную усадьбу на улицу, прямо выводящую к Гимназии.

Так как большею частью мне приходилось проходить свой путь в раннюю пору, в 9-м часу, то я редко встречал проходивших и мог наслаждаться чудною тишиною и чистым воздухом этой лучшей части города, Липок, где здание Гимназии. Самая Гимназия стояла совершенно вдали всякого движения и городского шума, окруженная обширным пустым, заросшим травою двором, вдали от проезжей улицы, внутри усадьбы; к ней от ворот проводил широко намощенный деревянный помост, где можно было приятно пройтись во время перемен и свободных часов.

Над зданием, на фронтоне высился государственный герб, чугунный вылитый [двуглавый] орел, держащий в когтях ленту с подписью «Ad solem» [(«К солнцу»)]. Подпись эта постоянно обращала мое внимание и служила для меня всегдашним напоминанием о духе, о цели, о характере и моего скромного учительского труда, которому так же предлежит задача служить этой высокой цели образования – обращать жизнь духовную детей к вечному Солнцу истины, разума и добра…

Пройдя по своему почти безлюдному пути, поэтически настроенный этою невозмутимою тишиною, я вступал в гимназический двор с особенным, возвышенным настроением души, и первое, что попадалось здесь мне в глаза, это много говорившая подпись «Ad solem». Уроки я давал в низших классах, до 4-го, русского и церковно-славянского языка. Классы не особенно большие, не более 40-ка человек. Дети прекрасно выдержанные, скромные, прилежные… И я с любовью отдавался своему делу.

Проходил по классам директор Любимов, хотя, впрочем, изредка. Раз, на уроке 1-го класса, он заметил мне ошибку в ударении на слове «багровый», которое я прочитал: ба́гровый, и тут же исправил: багро́вый… Заметивши во мне охоту к чтению, так как я кое-что в начале урока прочитывал детям, Любимов раз пригласил меня к себе на квартиру и дал мне «Журнал для детей» 1856 года. Это был первый детский журнал, в моих руках… Вообще, все мне было совершенно ново в учебном деле. Ошибка моя: ба́гровый оттого и происходила, что я до того не имел в руках никакого словаря. Живая же речь не могла служить для меня образцом; ибо где же я мог ее слышать в образцовом говоре, во время моего студенчества, проведенного в тиши родной семьи и в тесном кружке близких товарищей и знакомых из числа студентов [Духовной] Академии? Неопытность моя, думаю, заметна была начальству; но все покрывала моя любовь к делу и детям.

Назначенный 4-го Сентября 1856 г., я только 21-го Января 1857 г. был определен младшим учителем русского языка в Киевскую 1-ю Гимназию, и с этого-то дня начала считаться моя государственная служба. Наша должность учителя русского языка всегда считалась должностью старшего учителя; но за выбытьем Дубницкого место старшего учителя (которых было по уставу только 8) предоставлено было учителю естествоведения Девьену, так как оклад учителя старшего был несколько выше, кажется, 450 рублей. Однако я не скоро выразумел эту разницу в положении старшего и младшего учителя и все старшинство приписывал предмету, а не окладу, пока, наконец, не открылся мне истинный смысл старшинства, при следующих обстоятельствах.

Весь год меня ни разу не приглашали на заседание педагогического совета. Я даже этого и не заметил. Но вот в конце [учебного] года, по окончании переходных испытаний (это я уже знал из своего гимназического курса) назначается педагогический совет; я узнал о времени его собрания, и хотя тоже не был приглашен, пришел, занял место за столом и вижу, не все учителя собрались, а только 8-мь, те кто были старшими. Идут суждения о переводе [в следующий класс]; ко мне не обращаются вовсе, точно меня нет; я при случае дал какой-то отзыв, его прошли незамеченным.

Тут только я понял всю тайну старшинства: по тогдашнему уставу педагогический совет гимназий составляли только старшие учители, младшие же вовсе не входили в состав совета. Никто мне этого не растолковал, сам я не догадался, и только та неловкость, в которой я очутился в заседании совета, открыла мне глаза. Но опять никто, ни единым словом, даже и теперь, не дал мне понять, что в «не свои сани сел», явившись непрошенный в совет.

И с того времени я уже знал свое положение до времени преобразования гимназий по новому положению. Думаю, немало дивились моей жизненной простоте мои товарищи по службе, с которыми, по-прежнему, и в конце [учебного] года я был в тех же отношениях почтительного отдаления, встречаясь с ними только в учительской во время перемен, приветствуя рукопожатием и двумя-тремя словами перекидываясь в общем разговоре. Да и где же бы нам встречаться? Я жил своим собственным миром: родная семья, церковь, частные уроки – вот был мой замкнутый мир, из которого я не выходил и теперь, как в пору студенчества. А мой любимый Подол тем более держал меня в отдалении от всех сослуживцев, живших поближе к Гимназии.

Вакации 1857 года я впервые проводил вполне покойный душею, счастливый счастием матушки и сестры, которые теперь только почувствовали себя свободными от забот о хлебе насущном и, подобно мне, отдыхали душею после тяжелого и долгого периода всяческих лишений сиротской жизни. На досуге я впервые занялся литературным трудом и обработал одну из частей моего сочинения на медаль.

Помню, как гуляя у памятника Св. Владимира я сочинял, обдумывал, иногда даже присев на камнях, здесь нагроможденных, делал наброски приходивших мыслей. Плодом этих досугов вакационных была моя первая в печати статья «Идеал древне-русского воспитания», которую я послал в новый, с 1857 года выходивший педагогический журнал Чумикова «Журнал для воспитания. Журнал для учителей и родителей». Здесь моя статья и была напечатана в 3-м томе за 1858 год. Я получил за нее 50 экземпляров оттисков да право получать журнал, который и получал до времени его прекращения в 1862 году.

Новый учебный год (1857-1858) пришлось начинать в новом помещении. 1-ая Гимназия была переведена в здание, который занимал Кадетский корпус, когда этот последний уже мог перейти в новое, воздвигнутое для него здание в роще. Это то самое здание, где я провел [обучаясь во 2-й гимназии] весь 6-й, почти весь 7-й класс, период многострадальный в моей детской жизни, о чем я выше подробно писал. Вот те комнаты, где я учился, где мучали меня негодяи-отселенцы. <…> Однако Гимназия не вдруг заняла это здание.

Киев тогда, в начале Октября 1857 года, встречал своего нового царя, Императора Александра Николаевича, впервые по вступлении на престол посетившего Киев. По житомирскому шоссе, откуда ждали прибытия Государя с Государынею, были воздвигнуты триумфальные ворота, которые потом так и остались стоять, постоянно поддерживаемые и поновляемые все время, пока я служил в Киеве, до 1879 года. Есть ли теперь эти ворота, не знаю.

Дворянство Киевской губернии давало бал Государю. За неимением другого помещения для бала было избрано здание, предназначенное для 1-й гимназии. Весь 2-й этаж обращен в бальные комнаты; и залы, и Гимназия, т.е. классы, поместились временно в угóльном доме по Елисаветинской улице, где и прежде помещалась одна из обширных квартир 2-й Гимназии. Пансионеры, кажется, вошли в [новое] здание и занимали 3-й этаж, и на уроки ходили в этот пышный дом. По выезде государя не вдруг гимназия перешла в свое здание. Классы были обклеены красивыми и дорогими обоями. В зале тоже боковые отделения, предназначенные для помещения библиотеки, были обиты дорогими обоями.

Еще до перехода классов я получил от Т.И. Пристича предложение помогать библиотекарю Иноземцеву в перевозке библиотеки из Липок в новое здание. Это было в том, наемном доме. Помню, в учительской, я вздумал было возразить Пристичу (заступавшему тогда должность директора за увольнением в отставку Любимова) против поручения мне помогать библиотекарю. – «Это дело членов совета, старших учителей; я же – младший учитель», – сказал я. – «Делайте, что вам приказано», – был суровый ответ Пристича.

И стали мы перевозить библиотеку – Иноземцев, Должиков, Ростовцев и я. В Липках мы помогали снимать книги с полок и укладывать в ящики; ящики сопровождал я или кто другой, а принимал книги исключительно я. Книги выкладывались из ящиков прямо на пол в зале рядами, после чего я ряды приводил в порядок, смешанные при перевозке расставлял на свое место в ряду, а потом с Иноземцевым – и по полкам. Несколько дней проведены мной в такой работе, непосредственно после уроков: работали при свечах. Раз Пристич даже пригласил меня пообедать у него, оторвав меня от работы.

<…> Помимо ночи, когда я напролет до 3-х часов проводил за писаньем то записок для уроков в Кадетском корпусе, куда я был приглашен преподавать русскую словесность, теорию поэзии и прозы с 1858 г., то писем к ученикам и ученице (в семье Давыдовых), то в прочтении ученических сочинений и из Гимназии, и из Корпуса, и на частных уроках, и после такой ночи, отдохнув до 7-ми часов, я уже собирался в Гимназию и часто даже не молясь выходил из дому, а читал свои утренние молитвы по дороге и оканчивал их, можно сказать, на пороге Гимназии. Так часто бывало. <…>

<…> Годы 1858-1863 были самыми кипучими годами труда и напряжения во всей моей жизни. Я был слишком занят делом и в то же время слишком разбросан в своем желании трудиться, решительно забывая и о себе, и о своей семье, и о своем будущем… В Кадетском корпусе имел я 11 уроков в неделю, продолжая и занятия в семье Давыдовых.

Там последовали уроки в семействе проф. Бунге; баронессы Анны Петровны Боде; сыновьям [Николаю и Владимиру] попечителя Н.И. Пирогова, уроки ученику 3-го класса Реуту, сыну Киевского почтмейстера; наконец, с 1861 года, уроки в семействе генерала-губернатора князя Иллариона Илларионовича Васильчикова – его сыну Сереже.*

К этому присоединились заседания педагогического совета, со времени Пирогова, рассмотрение разных правил, так же в попечительство Пирогова – литературные собрания учеников, с обязательством на них присутствовать и учителям, особенно русского языка и словесности. Уходя из дома в 8 часов утра, я возвращался часто в 8 часов вечера, иногда и позже, всегда пешком, усталый, изнуренный.<…>

<…> Последствия неправильности в пище [точнее, в ее приеме – МК] не заставили себя долго ждать: в 1862 г. я уже почувствовал первые признаки страданий. До половины 1861 г. я не знал извозчика. Пешком в гору к Гимназии, пешком и из Гимназии домой, пешком в Липки, на уроки к Давыдовым, а потом в дом кн. Васильчикова, в праздники пешком в Лавру и из Лавры, притом и не с пустыми руками, с целою объемистою кучею книг.

---

* Сын Киевского почтмейстера Реута в списках окончивших К. I Г. не значится. Сергей Васильчиков, сын генерал-губернатора – тоже.

Только на уроки в Кадетский корпус я ездил, вместе с прочими преподавателями, в дилижансе, который обыкновенно приезжал в город из Корпуса, останавливался на углу 1-й Гимназии и здесь ждал учителей с 3¾ часа, затем к 7-ми часам вечера дилижанс снова забирал учителей и отвозил в город. Это сообщение с Корпусом было чрезвычайно удобно; но зато чего бывало не наслушаешься в этом милом обществе просветителей юношества! Какие разговоры грязнейшие велись здесь, когда забиралась в нашу гражданскую компанию военщина гвардейская, прикомандированная в Корпус для преподавания военных наук.

<…> Во весь этот период моей жизни я вел усиленную переписку с своими учениками и ученицею (в семействе Давыдовых), не потому что лично не мог передать им свои мысли, а избирал этот способ беседы, как более дающий возможности подробно развить свою мысль или выяснить известную сторону предлагаемого мною совета, урока.*

Бывали случаи, что я писал к ученикам, проводившим время на вакациях дома, или оставлявшим заведение. Последнее было, когда ученики мои по 2-му специальному классу в Корпусе переведены были в 3-й специальный класс в Петербург.<…>

В это незабвенное для меня время я, можно сказать, пера не выпускал из рук. Я написал большую статью «Живые картины Киева» и послал в «Русскую Беседу», но получил обратно при письме И.С. Аксакова, в котором он побуждал меня от занятий беллетристикою обратиться к серьезному изучению русской жизни в этнографии, географии, статистике и прочем, хотя и признавал в моей речи обнаружение некоторых задатков художественного дарования.

Тогда я уселся за обширный труд «Духовные потребности русского народа», толстую тетрадь послал в «Журнал Мин. Нар. Просвещения»; возвратили назад с отзывом: не может быть напечатана по не зависящим от редакции обстоятельствам. Некоторая часть этой рукописи была тогда же отдана мною в редакцию «Руководства для сельских пастырей», где и напечатана под заглавием «Отношение богомольцев и странников к народной жизни» (1862 г., №17). Там же я напечатал статьи «О божественном и человеческом значении церкви» (1862 г., №№ 49, 50, 51).

В «Духовной Беседе» (1859 г., №40) была напечатана моя статья «Любовь – жизнь души» <…>. Помню, как появилась у меня эта статья. Раз, я взялся написать кое-что для упражнения в правильной расстановке знаков [препинания], и из простого учебного дела явилась у меня настоящая литературная работа. В «Трудах Киевской Духовной Академии» за 1861 г. помещен был другой отрывок из рукописи «Духовные потребности русского народа», под заглавием «Идеал духовного пастыря». В «Подснежнике» (1860 г., №10) я напечатал повесть «Юношеская любовь»; тоже, сначала взялся кое-что набросать для учебных упражнений на уроках, и вышла большая повесть.

В «Домашней Беседе» за 1860 г., №5 напечатана моя статья «Гуманный совет». Повод к ней [был такой]: в это время, очень болея грудью, я пошел к одному врачу на Подоле за советом; расспросив об условиях и образе моей жизни и узнав, что я холост, он без обиняков дал совет не отказывать себе в половой жизни. Совет этот глубоко огорчил меня, я написал статью и послал [издателю] Аскоченскому; тот дал ход статье, представил в цензуру, а цензор какой-то, кажется, Палаузов, не пропустил ее как «безнравственную».

Это в то время, когда в «Современнике» и «Отечественных Записках» печатались самые отвратительные по цинизму статьи [(это было время Писаревых, Добролюбовых, т.е. полной распущенности в печати)]. Аскоченский пишет о том ко мне и посылает статью в духовную цензуру, откуда статья и получила ход.

---

* *Два из таких писем к ученикам были напечатаны мною в «Домашней Беседе», 1861 г., №25* – более позднее упоминание у Н.Д. Богатинова.

Таковы-то понятия о нравственном и безнравственном господствовали в цензуре 60-х годов.* В то же время я написал несколько статей по учебной и училищной части: «Решение педагогических вопросов современною литературою» («Русский Педагогический Вестник», 1860, №10), «Насколько проект устава гимназий достигает цели образования» (там же, 1859 г.). За эти обе статьи я не только никакого гонорара, даже ни одного оттиска не получил из редакции.

«Об учительских институтах» мнение мое напечатано в «Замечаниях на проект общего плана устройства народных училищ» (ч. I, стр. 83-128). К этой статье дополнительное мнение о том же, там же напечатанное (часть V, стр. 554). «Об отношении поэзии к другим предметам преподавания»: мои два чтения по словесности в 1-м специальном классе Кадетского корпуса («Циркуляры по управлению», 1862, №10 и 11; здесь же раньше был помещен мой отзыв по новому мнению Ю. Янсона, моего сослуживца, о преподавании словесности).

Остались ненапечатанными рукописи, составленные в этот период времени: «Маленький Парнас» (переделка на русский язык одной французской сказки), краткое содержание романа Вальтер-Скотта «Айвенго»… и краткие заметки о повестях Тургенева «Накануне» и Гончарова «Обломов» и прочее… Из всего перечисленного только две статьи принесли мне матерьяльную поддержку, из редакции «Руководства для сельских пастырей»: «О божественном и человеческом значении церкви» и «Отношение богомольцев и странников к народной жизни».

Остальные статьи – ни копейки, а если и вышлют [за] один или два года издание и только, а то [совсем] ничего. Но это меня вовсе и не огорчало, так как не имел я в виду никакой корыстной цели, печатая свои статьи, а считал долгом и счастием делиться своими мыслями с обществом. Вообще, я ни мало не думал в это время о каких бы то ни было выгодах. Я беззаветно предавался внутреннему влечению трудиться для блага церкви, любезного отечества и детей, учеников…

В 1858 году, когда еще Гимназия не переходила в новое здание, [ее] почетный попечитель граф [Генрих Генрихович] Тышкевич устроил гулянье для учителей и учеников, с угощением и фейерверком, в Ботаническом саду. Я тоже был, но все время провел с учениками, гулял с ними по саду и между ними сидел во время чаю. Было в это время на гулянье и семейство Давыдовых; я только видел их и даже не подошел к ним. Думаю, мои сослуживцы, с которыми я за целый вечер ни слова не сказал, немало удивлялись моей дикости и моим вкусам.

---

* В.И. Аскоченский, оказывается, до своей издательской деятельности в Петербурге вращался в кругу преподавателей 2-й Киевской гимназии. Вот как об этом вспоминал М.К. Чалый:

До [попечительства] Пирогова законоучителем во 2-й гимназии был отец Федор Мисловский, настоятель Георгиевской церкви и большой приятель [учителей] Березницкого и Белоусова. Но у о. Федора был еще один домашний друг, товарищ его по [Духовной] академии, приснопамятный Виктор Ипатьевич Аскоченский. Овдовев дважды и трижды переменив службу, он был окончательно уволен в отставку и, не имея средств к существованию, приютился у о. Федора. Живя у него на полном обеспечении, В.И. постоянно на его счет приглашал гостей, а во дни храмового праздника, именин своих и хозяина, собирал такое множество духовенства – и белого, и черного, иногда даже с архиереем во главе, что нашему батюшке каждый прием обходился не менее ста рублей. <…> Наконец, пребывание Виктора Ипатьевича у приятеля стало уж чересчур накладно для него, и он, пожертвовав единовременно некоторой суммой, для предпринятого Аскоченским путешествия в Петербург, освободился от засидевшегося у него гостя. Получив [государственную] субсидию, Аскоченский стал издавать свою, исполненную мракобесия, «Домашнюю беседу».

<…> Мне хотелось быть образцом для детей во всем, в самой внешности. Я был ревнитель точного соблюдения формы, порядка во всем. Лишь только явилась возможность, с наступлением весны, я заказал себе летнее пальто форменного покроя, военного, носил форменную фуражку с кокардою, застегивал сюртук форменный (да другого у меня долгое время и не было) на все пуговицы. В таком виде я и снялся впервые в жизни в фотографии. Когда попечитель [учебного округа] Ребиндер собрал раз на вечер к себе всех служащих в Университете и гимназиях, я явился на вечер в вицмундире, даже и не подозревая, что это не принято, и тогда только понял свою неловкость, когда проф. Бунге подошел ко мне и спросил с удивлением: «Что это, вы сюда пришли прямо со службы?» – «Нет», – отвечал я наивно.

Но другой раз я уже сознательно явился на такой же вечер опять в вицмундире и уже самому Н.Р. Ребиндеру объяснил, когда он заговорил со мною: «Ваше превосходительство, быть может, вы изволите находить мое присутствие на вечере здесь в вицмундире неловким; но я не стыжусь своего вицмундира и предпочитаю его черному фраку, ибо и здесь вицмундир напоминает мне, что я учитель…». Мои слова, кажется, понравились Ребиндеру. Он уже знал обо мне и по службе моей в гимназии, и по занятиям в семействе Давыдовых. В этот же вечер жена Ребиндера приветствовала меня и отозвалась так о моих занятиях: «Александра Ивановна не нахвалится вашими уроками с ее дочерью. Вы – для нее, она – для вас; такое усердие в труде у вас обоих…»

В скором времени, осенью 1859 г., Ребиндер был переведен в Одессу. Я пришел проститься. Он принял меня очень любезно, как я и не ожидал, и сказал: «Я знаю о вашей любви к делу, вашем усердии. Трудитесь так и вперед, и вы исполните своей долг… Душевно желаю, чтобы так ценили и мои преемники вашу службу, и так хорошо думали о вас, как я…» В глубине души я радовался несказанно такому любезному отзыву Ребиндера, моего истинного благодетеля, которому я обязан своим определением на службу в Киеве, радовался, что оправдал его милостивое внимание ко мне, и такой благосклонный отзыв его был для меня высшею и лучшею наградою.

Свое внимание ко мне Н.Р. Ребиндер запечатлел, прислав мне на память (уже из Одессы или Петербурга, не помню) свой гравированный портрет, который и доныне составляет дорогое для меня украшение моей гостиной. Мой благодетель скончался 14 сентября 1865 года в Москве, в знании сенатора, скоропостижно, по признанию врачей, от истощения сил, приняв незадолго до того православие (он был лютеранин) ради детей. Он был женат на княжне Трубецкой вторым браком, и, когда жена его умерла, то по любви к детям он присоединился и сам к православной церкви. Царство ему небесное и вечный покой!

Таким же одобрением венчался мой труд и в Кадетском корпусе. Поступив туда [учителем], в 5-й общий класс, я нашел в своих учениках полнейшее равнодушие к занятиям словесностью, даже небрежение; но еще в этом же году составлением записок, объяснениями, чтением отрывков из образцовых писателей, разбором из собственных сочинений я изменил их отношение, и они полюбили и предмет, и меня.

В 1-м и 2-м специальных классах я читал им общую историю словесности и русской, и при этом, сколько возможно, знакомил их и с писателями, между прочим, чтением их сочинений. С увлечением я читал им [поэмы В.А. Жуковского] «Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянти», отрывки из «Божественной Комедии» Данта, из «Сервантеса» Мильтона, трагедии Софокла, «Король Лир» Шекспира и многое другое. Уроки мои бывали в послеобеденное время, с 4-х до 7-ми часов. В осеннее и зимнее время они приходились в часы с вечерним освещением. Длинная зала в 5 или 6 окон, учеников до 25-ти, не более; мягкий приятный свет ламп; тишина невозмутимая, и при этой располагающей к поэзии обстановке я читаю с увлечением, с чувством и читаю целых два урока в 1½ часа каждый.

Незабвенны для меня эти часы кадетских занятий! И теперь, проезжая по железной дороге мимо Корпуса, я с благоговейным чувством обращаюсь к Богу, сердцем к этому прилежащему дороге крылу здания и ищу напряженно то место, где был мой класс, где я жил такою чудною, счастливою высшим счастьем жизнию.

И ученики меня любили. Когда в 1861 году они оставляли корпус, я пришел проститься с ними пред выездом их в Петербург. Они уже из здания переведены были в баню и здесь приготовлялись к отъезду. Пришел и я к ним в баню и просил их на память написать на листе свои имена и фамилии, раздав некоторым лучшим из них мои фотографические карточки, но сделал ошибку, заказал только дюжину, и имел огорчение заметить неудовольствие тех, кому не досталось карточки. Начался молебен пред отправлением в путь, на площади против главного входа в здание. Сердечно простились со мною все уезжавшие. Провожал их директор Корпуса генерал Адольф Васильевич Вольский, до Броваров.

Они на прощание просили его засвидетельствовать мне их сердечную благодарность за прочтенный мною курс словесности и за все труды мои для них. Многие из них прислали мне из Петербурга свои карточки, которые и доныне хранятся у меня, перенося мою мысль в отраднейшее время моей молодой жизни, когда жить для других, для моих учеников было моему сердцу величайшим и счастием, и потребностью…

<…> С 21-го Января 1861 года я определен был старшим учителем и стал получать несколько высший оклад жалованья. А с 1862 года жалованье еще более увеличилось, вследствие вообще увеличения жалованья учителям гимназий – до 900 рублей. К этому времени попечитель [учебного округа] Пирогов был переведен в Одессу, а вновь назначенный на его место барон де-Витте, поселившись на короткое время в попечительской квартире в Гимназии, вскоре оставил ее, нашедши ее очень неспокойною по слабому здоровью жены.

Таким образом, открылась обширная квартира в самой Гимназии, которую тогдашний директор гимназии Александр Карлович Делен решился предоставить в пользование двум семействам из преподавателей Гимназии и еще семейству окружного инспектора Михаила Ивановича Тулова*. Я особенно усердно просил директора дозволить мне поместиться в Гимназии, на что и получил согласие**; другой же в соседстве со мной поселившийся был преподаватель словесности Василий Иванович Лучицкий. В Сентябре 1862 года мы перешли в нашу новую квартиру.

<…> По переходе [Гимназии] в новое здание и по окончательном водворении в нем после дворянского бала в честь Государя Императора, о котором я выше упоминал, учебные занятия пошли своим порядком.

---

* Все-таки в Киевском учебном округе был один-единственный Тулов: Михаил Андреевич (1814-1882). В то же время Н.Д. Богатинов приводил, по разным поводам, чуть не полярные характеристики сего персонажа.

А М.К. Чалый в своих воспоминаниях давал следующие пристрастные характеристики последнему:

Бывший после Зимовского директором Немировской гимназии, М.А. Тулов повыводил в инспекторы и потом в директоры большую часть своих сослуживцев, в числе которых был и Денис Подпружников [(коллега Чалого по Педагогическому институту)]. – ***«Киевская Старина», №12, 1889***

М.М. Могилянский после ревизии [Немировской гимназии в 1843 году] выразился об этом учителе иностранных языков [(учителе французского и немецкого в первых двух классах П.Г. Барщевском)] – поневоле такими словами: «Что из клочья батог, то из Барщевского учитель!» Несмотря на подобную репутацию, благодаря протекции М.А. Тулова, Барщевский был сделан инспектором и даже директором. – ***«Киевская Старина», №5, 1894***

** Летом 1861 г. у Н.Д. Богатинова пошла горлом кровь, ему пришлось два месяца пролежать в постели, по рекомендации домашнего врача Давыдовых – Сергея Петровича Алферьева (ординарного проф. Университета св. Владимира и знакомого Э.Э. Классона по университету и по Киевскому обществу врачей) Николаю Дмитриевичу необходимо было переселиться с влажного Подола в верхнюю, более сухую часть Киева.

За выходом в отставку Любимова, исправляющим должность директора Гимназии был до конца учебного года [(1857-1858)] Т.И. Пристич, а инспектором – В.Д. Дабижа. Явились новые лица и в составе учащих. Учитель математики Рощин переведен в Петербург, т.е. (как шел слух) ему предложили уволиться, заметив его неблагонадежные отношения к ученикам, его вольнодумные речи и внушения. На его место поступил из Петербурга учителем математики Петрушевский, по болезни вынужденный оставить Петербург; другим учителем математики определен Палиенко из Чернигова.

Учебные занятия при Т.И. Пристиче шли в порядке: ученики не баловались, учились прилежно, а кто поленивался, Тимофей Иванович не скупился угощать такого и розгами, часто посещал классы, вникал в род занятий. Посещал изредка классы и Н.Р. Ребиндер. Раз, побывав на моем уроке в 3-м, кажется, классе, он подозвал меня к себе и поправил мою ошибку в выражении. Я сказал: «говорю за волка», он исправил: «нужно говорить про волка, о волке». Мирно, покойно прошел этот учебный 1857-1858 год, вместе с своим предшественником, моим первым служебным годом (1856-1857).

За все это время воспоминание останавливается на одном характерном случае. Наступила Пасха 1857 года. Было дано от начальства сведение, чтобы собрались на поздравление попечителя с праздником. К 9-ти или 10-ти часам стали собираться в квартире Н.Р. Ребиндера в Липках. В числе поздравляющих вижу священника Богданова, в то время временного настоятеля университетской церкви, диакон и причт тоже в передней, в ожидании входа в залу, по докладу о том попечителю.

Входим. Н.Р. Ребиндер, тогда еще лютеранин, видно не ожидавший церковного привета, принимая нас, суетится, обращается к дворецкому, вынимает деньги. Это значит, платит причту за поздравление! Больно, жутко стало на душе. Других отношений нет к священнику и причту, как только денежных; другой заботы нет, как только избавиться поскорее от этого непрошеного посетителя. О, в каком приниженном положении должны были очутиться священник и диакон, когда служитель вынес им плату за поздравление, точно подачку выпрашивавшему ее нищему! Какое оскорбление должны были вынести в эту минуту перед лицом собравшегося ученого общества скромные служители церкви, пожелавшие, конечно, по собственному, личному расположению поздравить начальника округа от лица церкви! Собрались профессора, учители гимназий.

Жена Ребиндера (дочь декабриста князя Трубецкого и правнука статс-секретаря Екатерины Великой Козицкого) пригласила всех в столовую разговеться. Столпились у стола; но его роскошное убранство, его обильные яства тотчас стали предметом отзывов, в которых проскользнуло неуважение к этому доброму обычаю православной старины. – «C’est une coutume patriarchale» [(«Это патриархальный обычай»)], – слышу я из уст одного профессора. Немногие стали отведывать настольных яств и печений, другие так только стояли, дополняя собою эту патриархальную картину. Я в том числе.

Иронический, тонкий отзыв ученого мужа, конечно, не особенно был приятен добросердечной хозяйке, доброй православной женщине. Несомненно, она имела причину пожалеть, что столько трудов и забот потрачено с тем, чтобы, как выходило, показаться пред ученым сословием Киева людьми патриархальными. Видно Кяхта не Киев, и что в Кяхте (где Ребиндер был до того градоначальником) считается необходимым законом каждого православного семейства, и простого, и знатного, то в Киеве только «coutume patriarchale». В 1858 году уже не было у Ребиндера ничего подобного.

Но были, как я упоминал, вечерние собрания несколько раз, куда приглашались и учителя. Не на всех я бывал.

На одном из таких вечеров один из пожилых преподавателей 1-й Гимназии, Ф.А. Токарский, седой и лысый толстяк, человек очень почтенный, уже чересчур усердно плясал с молодежью; усердие это однако было истолковано не в пользу старого плясуна, и он получил вскоре назначение в Каменец-Подольскую гимназию, что для него было сущим наказанием, ибо должность учителя математики, которую он занимал дотоле, была в то золотое время доходная должность: он имел у себя пансионеров, давал частные уроки ученикам за высокую плату. На его-то место и поступил Палиенко, о котором выше я упомянул.

<…> С наступлением 1858-1859 учебного года я вдруг лишился двух добрых и незабвенных моих благотворителей. Н.Р. Ребиндер, как я писал выше, был переведен в Одессу, а на его место назначен Н.И. Пирогов; но еще прежде Т.И. Пристич тоже оставил 1-ю гимназию и был назначен директором Немировской гимназии. Сердечно простившись и с тем, и с другим, память о которых незабвенна для меня навсегда, я остался один-одинешенек между людьми, с которыми я не имел ничего общего ни по образу жизни, ни по взглядам и убеждениям, свидетельство чему приведено выше*. Я стоял среди моих сослуживцев и ныне, как и в первый день моей службы.

Место директора еще Н.Р. Ребиндером было предоставлено профессору Университета А.К. Деллену, инспектором при котором продолжал оставаться еще около году В.Д. Дабижа. Александр Карлович уже знал меня с поры моего студенчества, и мне отрадно было думать, что новый начальник, примерно-порядочный, именно поддержит строгий порядок в заведении, каким он соблюдался при Т.И. Пристиче.

Но прибыл Н.И. Пирогов, и с ним постигло нашу Гимназию величайшее бедствие; да, я думаю, и все учебные заведения округа. Роковое положение у человека, думающего творить добро и творящего мимовольно зло. И это положение всего попечительства Н.И. Пирогова. Несомненно, он хотел одного только добра, но выходило противоположное: зло, величайшее зло. Сразу он поднял все на ноги. Образовались педагогические советы при участии всех преподавателей с правом голоса. Оживилась учебная и литературная деятельность преподавателя: в циркулярах по управлению округом стали печататься разные мнения, суждения и другие работы преподавателей; обращено было внимание на усиление учебной части; воспитательная часть совершенно переворочена, уничтожены телесные наказания; определены строгие степени наказаний и взысканий и строгая последовательность, введена своего рода отчетность в системе взысканий: за что какое наказание может или не может быть назначено.**

Учащиеся привлекались к самостоятельным работам, к сочинениям для чтения на литературных беседах, Пироговым же учрежденных, по воскресным дням. Для поднятия уровня образования учителей учреждены кандидаты-педагоги, которые, по окончании Университета, должны были известное время (не помню, два или три года) пристроиться к той или другой гимназии, присутствовать на уроках преподавателей и самим, в случае надобности, давать уроки. Учреждены конкурсы для занятия учительских должностей. Эти кандидаты-педагоги, да и все желавшие занять должность учителей, должны были дать в присутствии многочисленного комитета, с попечителем во главе, пробный урок в одной из киевских гимназий.

---

* В опущенном нами сюжете было описано, как Н.Д. Богатинову пришлось заночевать в гимназии, после ученического вечера по случаю Рождества Христова, у живших там по должности холостых преподавателей и воспитателей Ф.Ф. Петрушевского и В.П. Должикова. Первый, без вечерней молитвы, быстро улегся и стал есть в постели принесенный с вечера апельсин, а второй сбросил дневную рубаху и переоделся в ночную прямо перед посторонним человеком, т.е. перед Николаем Дмитриевичем (хотя это можно было сделать и в соседней комнате)!

** Во 2-м томе «Столетия К. I Г.» приводятся подробные таблицы по оным наказаниям.

Словом, поднялась такая кипучая деятельность в округе, какой едва ли когда и занят был до того учебный мир наш. Но одновременно с сим развилась и такая распущенность в дисциплинарном отношении, какой тоже, уже верно можно сказать, дотоле не видал учебный мир. Дисциплина страшно упала. Учитель не вправе был наказать ученика, да и не учитель только, а инспектор и директор, не подведши сначала его проступка под ту или другую установленную ступень проступков; он мог сначала только прибегнуть к выговору, потом к выговору же усиленному и т.д., пока доберется до более чувствительного взыскания. За проступки опять могли назначаться только избранные и указанные взыскания.

Словом, воцарились такая строгая законность на бумаге и беззаконие в жизни заведений, что закон вовсе перестал быть законом. Таблица проступков и взысканий представляла такую законно строгую регламентацию, пред которой оказывались бессильны или, вернее, беспомощны ошеломленные педагоги.

Беда была в том, что таблица эта не могла изобразить и развить по отделам все виды проступков, до последней мелочи. Обнаруживались проступки далеко не предусмотренные ни советами гимназий, ни самим организатором всей этой регламентированной путаницы, и нельзя было под страхом ответственности судить и наказывать этот новоявленный проступок, как подведши его насильно под ближайший к нему по существу. Школа обратилась в судилище, где закон стал на место воспитательного влияния и сердечных искренних отношений. И это сразу, вдруг почуяли мальчуганы; сразу вдруг все дурное, исковерканное домашним воспитанием, испорченное разнородными влияниями, все вдруг подняло голову, окрысилось, зашумело, заволновалось, прихватило через верх распущенности. И дисциплина школы вдруг донельзя упала.

Дошло дело до того, что ученики уже прямо к попечителю стали ходить с жалобою на директора; на бедного же, безгласного учителя уже и не обращали внимания: ибо они вдруг сообразили, что он им может сделать, когда и совет должен еще поломать голову, чтобы подвести под известный разряд проступок мальчугана, прежде чем назначить ему какое-нибудь самое ничтожное наказание. На беду, при подобном, понятно, не предвиденном самим Пироговым, разрешении в жизнь его гениальных преобразований, не было (что касается нашей Гимназии) никакого противовеса этому печальному направлению отуманенной призраком свободы и законности мысли учеников, ни в директоре, ни в инспекторе гимназии.

А.К. Деллен, прекраснейший, добрейший человек, был слишком мягок, слишком нежен, чтобы поддержать авторитет власти в заведении. В.Д. Дабижа, инспектор, тоже прекраснейший и добрейший человек, был слишком высок по своему княжескому положению, слишком аристократ, чтобы унижаться до мелочей школьной обыденности, чтобы досматриваться до этих мелочей и заниматься ими серьезно, самоотверженно. Да вскоре он получил новое назначение в Одесском учебном Округе, место окружного инспектора, и на его место Пирогов выписал своего нового инспектора из Чернигова, А.Ф. Андрияшева, которого в лицо не знал, но который перед тем поместил в циркуляре по округу несколько своих мнений по воспитательной части, пришедших как раз по вкусу Пирогову.

Пирогов узрел в нем призванного педагога, и мы получили в 1859-м году нового инспектора. При нем дисциплина школьная уже окончательно упала. Трудно изобразить, что представляло тогда некогда столь благоустроенное заведение, каким была Гимназия еще за год с небольшим при Т.И. Пристиче!.. Нельзя было узнать 1-й, образцовой по порядку Гимназии!..

В перемены между уроками коридор представлял беспорядочную массу шалунов, бегающих, [ненароком] наскакивающих на идущего учителя. Бьет звонок, никто и не думает идти в класс; бьет второй, последний, нужно, чтобы надзиратели загоняли учеников низших классов, а высших просили идти в класс. Здесь шум, шалости, стук, скачки.

Даже во время урока не было для неспокойных, грубых и шаловливых ничего, что сдержало бы их. Учитель жалуется инспектору, т.е. Андрияшеву, на непорядок, на непослушание; он в ответ: «Учитель не имеет должного нравственного влияния на учеников, не имеет в их глазах авторитета, сам и виноват!» И никакой меры к обузданию классных шалостей и выходок, которые от такого отношения инспектора растут все более и более и доходят до безобразий.

Развитию такого страшного беспорядка в школе много содействовали сами учителя. Вместо того чтобы со вторым звонком им отправляться в классы, они продолжали спокойно беседовать в учительской или, собравшись в канцелярии, курили здесь; так проходило до 5-ти, до 10-ти даже минут, и тогда учителя медленно расходились по классам, дав ученикам время вдоволь нашалиться в ожидании их прихода. Так поступало большинство; в числе же ничтожного меньшинства, исправно по звонку входившего в классы, был и я; всегда, лишь звонок пробил, я входил в класс, в то время как в обоих соседних классах шла возня, шум, крики, визг. Первые 10 минут пропадали для занятий.

Эта моя исправность, как и вообще строгая требовательность к ученикам, столь тяжелые для распустившихся из них, были причиною, что в этой беспорядочной среде находилось немало враждебно ко мне расположенных, и, не чуя над собою никакой власти, эти негодяи творили со мною что хотели. Лишь только я войду в класс, как из соседних двух классов, с обеих сторон, поднимается стук в двери, с завываньем. Вот, с приходом учителей, там водворяется тишина; тогда в моем классе, на задней скамье или где посредине, вдруг начинается топот ногами. Подхожу, прекращается; отойду, опять поднимается.

Раз, был мой последний урок в 1-м классе; а перед моим уроком – урок чистописания; учитель, слабый старичек Беляев; ученики, [оказавшись] на свободе, стали приготовлять класс к моему приходу и облепили положительно весь потолок чертиками из черной, смоченной и в комки свитой бумаги. И как раз на этот урок пришел Пирогов. Осмотрел потолок, но просидел почти весь урок молча, строго насупившись. Однако плод его посещения сказался на другой же день.

Директор А.К. Деллен, не рассчитывая на [инспектора] Андрияшева, сам вошел в класс, сделал строгий выговор классу и наблюдение за порядком класса поручил отъявленным негодяям, во главе которых стоял некто Павлов*, выбрал из них беспорядочных до шести [числом] и пригрозил им ответственностью за каждую шалость, за каждое нарушение порядка. И этой меры уже достаточно было, чтобы эти безобразия прекратились.

В другом классе, 5-м, я имел урок церковно-славянского языка. Это уже не дети, это мальчуганы уже порядочные. Раз, по обыкновению, прихожу в класс по звонку: в классе ни одного ученика. Является один, за ним другой, там – третий, и так поодиночке, муча меня, входят все. И этот случай оставили безнаказанным.

Не говорю уже о других дурных выходках, грубости в ответах, непокорности. Раз, прочитав по церковно-славянски известный отрывок хрестоматии из жизни кого-то из святых, я стал делать разъяснения, перешел к выводу и назиданию; в это самое время, как я уже кончал свою речь, ударил звонок.

– Аминь, – возвыся голос, крикнул один ученик, в ответ на мою поучительную беседу.

Андрияшев не применил никаких мер к упорядочению дисциплины, и бедные надзиратели были истинными мучениками школы. Но зато Андрияшев очень заботился о развитии литературном учеников, отвечая этими заботами идее Пирогова, проведенной в исполнение в виде литературных бесед учеников.

---

* «Некто Павлов» в списках окончивших К. I Г. в 1860 годах не значится.

Были в пансионскую библиотеку выписаны: «Горькая Судьбина» Писемского, «Гроза» Островского и многие другие [произведения] в таком же роде, и ученики принялись за это чтение с такою жаждою, что через два-три месяца они были изорваны, истрепаны донельзя.

В это же время впервые введен был во всех гимназиях округа Юго-западного края язык польский, назначен был и в 1-ю Гимназию чиновник библиотеки университета Св. Владимира, Козловский, и Андрияшев, чтобы и этим людям был простор в учении, исходатайствовал разрешение приобрести для поляков-учеников целую кучу польских книг, польских писателей.

Устраивались учительские вечера, но уже не с такою милою обстановкою, как был вечер на празднике Рождества при Н.Р. Ребиндере (с елкою для детей, где исключительно и были ученики). Нет, пошли в ход танцовальные вечера, ученики приводили или привозили барышень, родственниц и знакомых, приглашался оркестр музыки. Этого мало: пошли драматические представления, комедии; ученики наряжались в женские платья.

Помню, играли какую-то комедию. – «Как нам быть без женщин? – спрашивает актер-ученик, – без бабы и калача не спечешь». Ученики сами устраивали сцену, разрисовывали кулисы, занавес, и сами же от себя ходили по учителям с приглашением «сделать им честь» и пожаловать на их драматический вечер. Длинный, предлинный зал пансиона весь был уставлен стульями; посетители были не только семейства [учеников], учителя, но и посторонние лица, которых ученики получали позволение приглашать.

Конечно, ученье не особенно шло на ум ученикам. Да не особенно ими занимались и учителя. Они тоже устраивали свои вечеринки в классных комнатах, с картежною игрою.

Но должно отметить здесь и другое проявление их общительности: была складчина для образования лектории, и состоялась лектория, выписывались журналы, приходили, читали; хотя я и не участвовал в выписке журналов, но так как в послеобеденное время чтений здесь не бывало и книги оставались свободно лежать по столам, то я в ожидании послеобеденных уроков тоже приходил в лекторию и знакомился с содержанием журналов. Недолго, впрочем, существовала эта лектория, сама собою закрылась.

Довольно часто собирались учителя и на квартире А.К. Деллена, который раза два в году собирал к себе на вечер всех служащих; бывал и я здесь, оставаясь ночевать у [своего хорошего знакомого, надзирателя Гимназии] Григория Фомича Постаневского [правильно – Постоловского – МК]. Довольно часты были общие собрания учителей и в педагогические советы.

Раз, помню, я просил А.К. Деллена позволить мне прочесть в заседании написанное мною мнение о некоторых вопросах из школьной жизни, читал долго, до одного часа, и думал, что делаю хорошее дело, т.е. занимаю собрание тем, чем всего приятнее ему заниматься; но не то вышло. Едва я кончил, как стали в лицо мне высказывать неудовольствие, что я продержал их так долго, что соскучились слушая – и только. А.К. Деллен стоял на том, что все же я не сделал ничего дурного, если попытался занять мысли педагогов педагогическим же делом.

Вообще, А.К. Деллен всегда отличал меня особенным своим расположением и доверием. В это самое время, пред наступлением Великого поста, я писал к нему подробное письмо, прося его вникнуть в важный вопрос христианского воспитания, обратить внимание на приучение соблюдать уставы Святой церкви и прекратить беспричинное и огульное нарушение постов учениками в течение даже Великого поста.

Было так: есть ли скоромное или поститься – предоставлялось самим ученикам. И оказывалось, что за исключением 3-х – 4-х на 150 [мальчиков] все прочие ели скоромное будучи совершенно здравы и бодры. Я советовал Александру Карловичу не допускать такого произвола и установить общеобязательный пост для всех, предоставив только некоторым нарушить его, с ведома и признания в том необходимости гимназического доктора. Так он и сделал. И пока он был директором, Великий пост соблюдался в 1-й Гимназии, несмотря на излишние расходы на рыбу.

Александр Карлович вместе со мною сетовал на беспорядочность, царствовавшую в Гимназии в отношении произвольного запаздывания учителей приходом на уроки, и на другие подобные же дисциплинарные недостатки, просил меня написать свое мнение по этому предмету, и когда я написал и представил ему, оно так ему понравилось, что он изъявил намерение прочесть это мнение мое в совете, как будто им самим составленное. Действительно, в совете он стал читать мою рукопись; но тут вдруг на одном слове остановился, затрудняясь разобрать. Я потерпел – и все-таки не утерпел и подсказал ему, чем и обнаружил свою тайну, повредив своею необдуманностью и самому Александру Карловичу, который не стеснялся, впрочем, воспользоваться моим мнением, будучи с ним совершенно согласен, но затруднялся только сам высказать то же от себя лично, не владея достаточно для этого труда русским языком, будучи немцем, хотя грамматически он очень верно писал по-русски.

Таким образом, вместе с директором я был на стороне строгой дисциплины и для учеников, и для учителей, не одобрял и другие нехорошие стороны своих сослуживцев, между прочим и их индифферентизм религиозный, проявлявшийся пред учащимися на каждом шагу: и в церкви, и в классе, и в жизни. Учители между собою дозволяли делать непочтительные отзывы о церковных обычаях. Немец [(преподаватель)], например, называет лобызание креста комедиею, то смеется и иронизирует об ангелах.

<…> Я не мог так дико думать [(будто бы одна Гимназия виновата в распущенности детей, а вины родителей тут якобы нет)], ибо я видел только равнодушие [учителей], индифферентизм в деле нравственно-религиозного воспитания и немалое нерадение к своему служебному делу и долгу, как говорится, халатное отношение к службе. Это-то последнее, понимаемое в широком смысле, и было главною причиною такого печального исхода нововведений, в деле воспитания, Пирогова. Он задался мыслию развить законность в молодом поколении, а эта мысль выходила у него из высокого понимания свободы человека и уважения к личности. Основание, идея – высоконравственные. Были крайности в развитии идеи; но все же сама идея, будь она понята как должно, дала бы благие плоды, но, конечно, тогда, когда чувство законности господствовало бы в жизни исполнителей его нововведений. А как выразилось это чувство в действиях воспитателей, видно из вышесказанного.

Почуяли и учители, что опека власти ослабела, но не догадались, что быть может намеренно ослабили, чтобы вызвать самодеятельность свободы и применения ее к делу, к труду, к служебному долгу, в верности раз принятому направлению. В этом отношении Пирогов мог бы служить образцом. Он упорно преследовал раз намеченную цель, настойчиво требовал подчинения раз указанной форме. В числе его нововведений были между прочим, как я выше заметил, конкурсы для желающих занять учительскую должность.

Но не странно ли, что этому конкурсу и я подвергся? Я уже учительствовал 4½ года, и не без очевидного успеха, и не без уменья вести дело. Однако когда в начале 1860 года открылись вакансии старшего учителя, с выходом в отставку учителя географии Корнаковского, которому [ранее] была предоставлена вакансия старшего учителя, за смертию учителя словесности Иноземцева, и я был представлен к замещению этой вакансии, Пирогов назначил быть конкурсу и для меня, наравне с определяющимися вновь.

И конкурс состоялся в январе 1860 года в моем же классе, во время моего же урока по расписанию. Собралась многочисленная комиссия, человек до 12-ти, если не более: директоры обеих гимназий, все профессоры историко-филологического факультета, явился и сам Пирогов с помощником, Михневичем, и окружным инспектором.

Я вел дело на уроке, как и всегда, в порядке продолжая курс; употреблял те же приемы, что и всегда; словом, я совершенно забыл, что это какой-то там конкурс, что тут восседает целая комиссия с начальством во главе. Я видел пред собою только учеников. Помню: урок был о придаточных предложениях.

В это время я вовсе устранил из употребления учебник грамматики, и ученики должны были все узнавать от меня, но путем собственного усилия над данными для вывода правила примерами. Давал я пример, из него выяснялись форма, отношения, выводились правила. После этого ученики писали собственные примеры. Затем выведенное правило или замечание записывалось в тетради. И это только и задавалось на урок.

Работа шла медленно, но ученики верно подвигались вперед и основательно узнавали изучаемую форму, твердо запоминали вывод, ибо все было самими учениками добыто, усилием внимания и вдумчивости. Так составлялись целые толстые тетради грамматического содержания, устранявшие совершенно употребление учебника. Таких тетрадей, одна или две, и доныне сохранились у меня на память. Ученики охотно занимались делом; весь положительно класс был занят, и ни одна минута не пропадала даром, без пользы. Такая работа была и на конкурсе. Я признан достойным занять должность старшего учителя.

По окончании конкурса директор А.К. Деллен передает мне, что Пирогов сказал в комиссии: «Я и не сомневался, что дело будет вестись хорошо; но конкурс должен был быть ради формы, чтобы не было отступлений от нее и в других случаях». Так с 21 Января 1860 года я и стал старшим учителем. Не помню, до этого ли дня или после него я получил и первую денежную награду, 150 рублей. Говорили, что Деллен представил к награде одного из двух немецких учителей, Пирогов же его зачеркнул и поставил мою фамилию. А случилось это не без участия моего благодетеля Т.И. Пристюка*.

Около этого времени он представил к награде одного учителя своей (Немировской) гимназии, и когда ему сделали возражение из округа против такого представления, то он в объяснении указал на меня, который много работает и уже не первый же год, а никакой награды не получал, вполне заслуживая ее. Пирогов прочитал этот отзыв и представил меня к награде в 150 рублей. Таким образом, почти одновременно было засвидетельствовано со стороны окружного начальства мое усердное и умелое отношение к делу, мне порученному.

В тех тяжелых испытаниях, среди обезумевшей от свободы молодежи, которые с начала и до конца попечительства Пироговского, и даже далее еще года два, я должен был испытывать, можно сказать, на каждом шагу в Гимназии, было истинною отрадою для меня такое одобрение моего труда и усердия. Время это было самое тяжелое для меня во всю мою службу.

---

* Впервые правильно печатаемая фамилия Тимофея Ивановича говорит о непростительной небрежности редакции «Русского Архива», во всех предыдущих случаях упоминания сего персонажа.

И однако с помощью Божьею дело вел я хорошо, чисто практическим способом с того самого дня, когда Т.И. Пристюк указал мне на статью [Н.И. Пирогова] педагогического содержания в «Морском Сборнике».

Если находилось в классе немало мальчиков дурных, то были и прекрасные дети, которые понимали мою любовь к ним и искали способов ее выразить мне. В это время в зале нашей Гимназии, по разрешению директора-немца, устраивалась ежегодно к Фомину воскресенью лотерея в пользу училища при Лютеранской церкви. Ученики [наши] тоже брали билеты.

Одному из них, милому, симпатичному мальчику Роде попал выигрыш в виде Полного собрания сочинения Шиллера на немецком языке. Это был мой любимый ученик и меня любивший*. Он принес мне свой выигрыш в дар. Другой, тоже очень хороший ученик, католик, выиграл письменный вязаный мешок и тоже принес мне в подарок свой выигрыш. Среди ежедневных неприятностей службы мне приятно было видеть выражение детской любви и благодарности, и я не хотел огорчить добрых детей отказом.

Мне отрадно было видеть замечательные успехи в русском и церковно-славянском языках моих учеников, прилежно занимавшихся моими предметами, при полнейшей запущенности в наблюдении за успехами учащихся со стороны инспектора [гимназии А.Ф. Андрияшева]. Но что особенно отрадно было видеть, что ученики римско-католики не только не отставали в успехах от русских, но даже шли выше и обнаруживали замечательную любовь к занятиям не только русским, но даже и церковно-славянским языком.

Когда я поступил в 1856 г. на службу, тогда изучение церковно-славянского языка ограничивалось только чтением по церковно-славянски жития четырех Евангелистов. Затем начались чтения из [сочинений] четырех Евангелистов. Чтение, перевод, разбор, все эти однообразные, а потому и скучные для детей занятия сами по себе не давали никакого плода в смысле ознакомления учеников с богослужебным языком, не освещали в их душах высоты церковного языка и его сердечности. Я стал читать с учениками церковные песнопения по синодальному молитвеннику, разбирал песнопение, выяснял его смысл, его содержание.

И занятие это было общеобязательное для всех учеников, в том числе и римско-католиков. И дети охотно вели эти занятия, не чуждаясь языка церкви, не брезгая славянщиною. Я не заметил ни разу холодного отношения к делу. И что же? Родители вступились за детей непрошеными защитниками их религиозных убеждений; стали жаловаться на меня инспектору (в то время князю Дабиже), что я, вместо уроков русского языка, занимаюсь религиозною пропагандою посредством уроков церковно-славянского языка, назначаю изучение молитв православной церкви и римско-католикам.

Дабижа передал мне эти жалобы мягко, не настаивая, не требуя, советовал щадить религиозные убеждения римско-католиков и не занимать их изучением молитв. Я объяснил, что пропаганды никакой не веду, но разбираемое песнопение выясняю со стороны его смысла и содержания, что в синодальном молитвеннике и нет таких песнопений, которые исключительно выразили бы собственно учение нашей церкви, отличное от римско-католической; напротив, здесь все до одного песнопения заключают в себе общехристианские догматы и учение. Я продолжал свое дело по-прежнему. Иногда я читал ученикам отрывок из жития святого по-славянски, а их заставлял написать по-русски. Хороши, оживленны были эти уроки, как и уроки русского языка, и только негодяи портили их доброе влияние на детей своими беспорядками, о которых я говорил выше, а инспектор – свои безучастием в поддержании дисциплины. Однако, непорядки школы выходили уже за пределы самой школы, распущенность учеников стала замечаться и в обществе.

---

* «Мальчик Роде» не значится в числе окончивших К. I Г.

Генерал-губернатор князь Васильчиков сильно был недоволен на Пирогова, делал ему предложения о принятии мер к обузданию распущенной им молодежи. Пирогов, по выражению А.К. Деллена, «проглотил эти пилюли», и дело шло по-прежнему, пока (вероятно, по ходатайству князя Васильчикова) Пирогов не был переведен в Одессу, попечителем на место Ребиндера, который назначен был директором Департамента Народного Просвещения [одноименного Министерства].

Студенты и гимназисты устроили Пирогову торжественные проводы, многочисленною толпою до заставы. Это было, вероятно, в половине Апреля 1860 года. Он выехал, но долго еще посеянное им приносило горькие плоды, и дисциплина классная слабо восстановлялась вплоть до назначения инспектором, вместо Андрияшева, И.Я. Ростовцева. Но это было уже в 1862 году.

На место Пирогова попечителем назначен был барон Николаи, человек строгого порядка и законного признания за школою исключительно воспитательного учреждения, а не какого-то судебного, задающегося целью развить законность строгою регламентациею правил воспитания. Не могу более подробно охарактеризовать управление барона Николаи. Никаких и ни в чем особенно видных распоряжений и мер за время его управления не припоминаю. Помню только, что он не был равнодушен к нарушению служащими условий служебного труда.

Тогда уже [(в октябре 1861 года)] возвратился из-за границы И.Я. Ростовцев и стал ходить с бородою. Барон Николаи потребовал от него снять бороду. При нем довольно часто собирались [педагогические] советы для обсуждения предложений по новому плану устройства средних и низших учебных заведений, и я часто являлся в эти заседания прямо из дома князя Васильчикова, после обеда у Васильчиковых, что бывало нередко…

Я тоже писал свое мнение по устройству как гимназий, так и предположенных учительских институтов, уже тогда объятый горячим желанием посвятить себя народному образованию. К первому своему мнению я написал дополнительное мнение и с ним лишь явился к барону Николаи 21 Января 1861 года, прося его обратить внимание министерства на мою записку, не забыть и меня лично, когда будет идти речь о назначении начальников этих новых учебных заведений.

Явился же я к барону Николаи уже не столько как к попечителю округа, а как к товарищу министра, которым он незадолго перед тем был назначен, оставаясь, впрочем, жить в Киеве и управлять округом до Мая, и в Июне 1862 года, когда уезжал в Петербург, Общество профессоров университета делало ему прощальный обед в квартире ректора университета (тогда Иванишева). Из гимназий в обеде приняли участие только директоры гимназий, 1-ой – Деллен и 2-ой – Вилуев, а из учителей – я и назначенный еще при Пирогове учителем словесности В.И. Лучицкий из 1-й Гимназии.

Барон пожелал иметь [фото]карточки лиц, прощавшихся с ним на обеде. Это заставило меня сняться во второй раз. Первый раз я снимался в 1858-м, кажется, году и в форменном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с книгою в руках. Теперь уже я стал отступать от строгости формы, даже имел уже черный фрак, которым и пользовался, бывая часто на балах у князя Васильчикова; в нем же был на обеде у барона Николаи.

Скоро после этого еще представился случай надеть черный фрак. Почти одновременно оставил службу при нашей гимназии и директор А.К. Деллен. По случаю 25-ти лет [службы] ему предстояло избрать: или, оставаясь профессором и директором, лишиться пенсии по профессорству или, отказавшись от директорства, остаться профессором и получить пенсию. А.К. Деллен предпочел последнее. Тяжко досталось ему бремя директорства в разгар Пироговской распущенности. Не сочувствуя Пирогову, он был настолько честен, что признавал тем не менее для себя обязательным добросовестно проводить в жизнь Гимназии его нововведения, конечно, не встречая себе поддержки в составе служащих.

Некоторые даже позволяли себе остроты относительно привычек его частной жизни. Он был прекрасный семьянин, любящий отец семейства, любил своих сыновей и, желая доставить им удовольствие и с пользою занять их, клеил с ними коробочки, вырезывал рисунки по листу, склеивал разные домики и прочее.

Один из учителей, колкий на язык, в общем разговоре в учительской, когда кто-то спросил: «не видали ли директора в Гимназии?», отвечал: «нет его в Гимназии; должно быть, дома, коробочки клеит».

Слова эти были переданы Деллену. Чрез несколько дней он во время переклички входит в канцелярию, где имели обыкновение собираться утром, несет с собою коробочки и подносит их этому учителю (Палиенку), прося его принять их на память от него и говоря, что склеил их, собственно, для него. Понятно, А.К. Деллен был рад выйти из условий этой тревожной, напряженной деятельности, где мало видел истинного понимания высокого назначения наставнического труда.

В Сентябре [1862 г.] был дан ему обед от лица учителей Гимназии в зале клуба. Это был первый обед торжественный, на котором я присутствовал. Я приготовил речь, как и некоторые другие. Но я переждал все речи и сказал свою последней, завершив чествование достойнейшего начальника. На конце по непривычке я сбился, но все-таки оправился и, кажется, произвел приятное впечатление! Я был так еще молод, так полон жизни, так горел любовью к труду, так уважал в лице Александра Карловича истинно достойного труженика. Я радовался его семейному счастию, лаская его деток-сыновей, славных мальчиков. И в своей речи я пожелал ему видеть счастье его детей и в этом получить лучшую награду за труд свой и для чужих детей…

После речи учитель немецкого языка Карл Романович Макинский, распорядитель обеда, подошел ко мне и, отзываясь о тоне речи моей, выразился: «наш митрополит!». Это выражение мне было понятно очень. Мои сослуживцы (а я с многими из тех, которых застал в Гимназии при поступлении, и ныне продолжал служить) видели во мне человека, преданного своему делу и религиозно его понимавшего, как дело христианское, видели мою любовь к церкви, знали о моих отношениях к ученикам, о характере моих бесед с ними, знали мой образ и мысли, и жизни. И вот я «наш митрополит»!..

Обед А.К. Деллену был последним событием, достойным упоминания в том периоде моей жизни, который протек для меня до переселения моего с Подола. Еще будучи директором Деллен изъявил согласие на переход мой в гимназическую квартиру с платою по 200 руб. в год за 3 комнаты с кухнею, и я вскоре после этого обеда перешел в гимназию, и переход этот истинно был заметною гранью, разъединившею первый период, Подольский, моей жизни от дальнейшего. <…>

Я выше заметил, что мои сослуживцы хорошо знали мой образ мыслей, мои убеждения. К тому представлялось немало случаев. Я иногда бывал в гимназической церкви, читал Апостол, например, на праздник Рождества Христова, канон на утрене, раз под день св. Николая – моих именин. Впрочем, я редко бывал в гимназической церкви, живя на Подоле.

После выхода в отставку учителя географии Петра Корнаковского на его место определен был Пироговым некто поляк Рупневский. По принятому в то время правилу замещения мест воспитателей при пансионе Гимназии преподавателями Рупневский поступил в воспитатели. Как он смотрел на свои воспитательские обязанности, куда направлял свободное влечение детей, можно видеть из того, что в Великий пост ученики, на его дежурствах и с его почина, занимались приготовлением масок, которые и надевали, резвясь в свободные часы. Узнал я об этом, не могу теперь припомнить как, и в педагогическом совете при случае указал на такое неблагоговейное препровождение времени в дни Великого поста.

Около этого же времени, за переходом Ю. Янсона в Петербург на должность профессора Университета, место учителя словесности некоторое время занимал кандидат-педагог Р…*, известный в местном литературном кружке под именем Феди, как он подписывался под статьями, преимущественно фельетонами, «Киевлянина» или «Киевского Телеграфа».

Раз, на учительском вечере я, ходя с ним в актовой зале, вел разговор о воспитании в духе религии; перешли к вере вообще и различию вероисповеданий. – «Я высоко ценю православие; как чистое христианское учение оно без всякого даже сравнения выше римско-католицизма и лютеранства; его основы так глубоки… я признаю это своим сознанием, и однако верить, жить верою, не могу».

И этот человек без веры тоже был воспитателем при пансионе, некоторое время и жил в Гимназии. Каковы могли быть его уроки словесности?.. Да, словесность тогда в гимназиях, в пору Пирогова и после него, стояла на страшных распутьях болтовни о всем «по поводу» прочитываемых образцов и обратилась в ничегонеделание. Твердых знаний никаких. Против риторики, против поэзии, против истории словесности и особенно же против чтения и изучения памятников древней словесности до Петра (каковы Кирилл Туровский, Слово о Полку Игореве и другое) поднялся ожесточенный лай.

Долой – риторика, теория, история, никаких категорий, искусственных подразделений, никаких родов и видов… только читать сатирические произведения, изучать их и составлять понятия о достоинствах языка их (это было время Писарева, Добролюбова). Новые преподаватели словесности, сбитые и сбившиеся с толку, производили кутерьму в головах учеников, и дело шло страшно безобразно.

Доходило до того, что разбирали на уроках словесности «Грозу» Островского, выясняли идеалы «Обыкновенной истории» Гончарова, его же «Обломова». Особенно Обломов стал любимою темою таких необыкновенных словесников. К таким преподавателям принадлежал и Р… . Впрочем, он недолго был в нашей Гимназии.

Ко времени моего перехода в Гимназию на жительство состав служащих значительно изменился начиная с директора или, лучше сказать, с попечителя округа. По отъезде барона Николаи к началу учебного года прибыл новый попечитель – барон де Витте. При нем уже выбыл из гимназии А.К. Деллен и назначен на его место А.Ф. Андрияшев, наш инспектор, а инспектором назначен И.Я. Ростовцев.

Законоучитель – тот же, отец Василий [Петрович Каменский]; учитель словесности после Р… – В.И. Лучицкий; истории – Должиков; географии – Рупневский; физики и математики, вместо Петрушевского, возвратившегося по укреплении здоровья в Петербург, Илья Гаврилович Радкевич и Палиенко; естествоведения – Девьен; латинского языка вместо Ростовцева – Николай Панкратьевич Кустов; немецкого – К.Р. Макинский; французского, вместо Гедуэна, Леклер; кроме того, Ю.Ф. Функе, в параллельных классах, кажется и латинского языка; М.Д. Успенский, за упразднением предмета законоведения, то латинского, то русского языка; арифметики – Куликовский. Благодарю Бога, я был со всеми ими в добрых отношениях, да и вообще все мы жили очень согласно; я не помню ничего похожего на интриги, сплетни или какие-нибудь подвохи и подкопы.

---

* В трехтомнике «Столетие К. I Г.» обозначен Федор Ромер, комнатный надзиратель и воспитатель благородного пансиона и смотритель здания – в 1860 г.). Интернет указывает на то, что в «Киевлянине» и «Киевском Телеграфе» в 1860-е регулярно публиковал фельетоны Федор Эмилиевич Ромер (1838-1901) – брат учителя К. I Г. П.Э. Ромера. Подписывался псевдонимами Ф. Рр., Базиль Вафельник, Жан-де-Вафелькин, Федя Знакомый, Федя Маленький и др.

В наиболее близком общении я находился с добрейшим Эразмом Игнатьевичем Куликовским и Ильею Гавриловичем Радкевичем, хотя и со всеми [остальными], как сказал, не имел поводов к неприятностям. Я не одобрял их господствующего обычая оттягивать уроки, который и теперь продолжался; но этот пункт, можно сказать, единственно резко выделял меня из общей среды, и оттого я и близко стоял к тем из учителей, которые вместе со мною стояли на стороне строгого порядка в школе.

Другое, с чем я не мог примириться, это курение на переменах. Лишь кончится урок, почти все спешат из учительской в канцелярию, которая в это время обращена была в курительную комнату. Тем более это тяжело было видеть, что канцелярия находилась в одном коридоре с классами, только несколько сбоку, ученики имели доступ к ней и могли наблюдать за своими учителями. Дурной пример шел от учителей, а они как будто бы не сознавали этого. Было время, даже курили в библиотеке, уже совсем смежной с классами, и дым табачный проходил в класс. И это нисколько не смущало наставников.

Такие непорядки продолжались и по восстановлении некоторой дисциплины в Гимназии, за что принялся с энергиею новый инспектор Ростовцев. Будучи в числе либеральных людей в бытность учителем он, лишь сделался инспектором, увидел и признал необходимость сильной власти и принялся за дела горячо. И через два-три месяца куда делась эта распущенность учеников, это опаздывание с перемен на уроки, эти шалости и шум и даже бесчинства, что царили в Гимназии в инспекторство Андрияшева?

Оживились инспекторы в наблюдении за учениками. Педели заполошились во время перемен. Лишь раздавался первый звонок, ученики быстро наполняли класс и тотчас усаживались по местам. Между 1-м и 2-м звонком, в течение 5-ти минут, ни одного ученика не видно в коридоре, а в классах все на месте в ожидании прихода учителя. Большого труда, больших усилий стоило изменить к лучшему донельзя распущенную Гимназию. И во все инспекторство Ростовцева до 1865 г. порядок в гимназии был образцовый. Великая его заслуга пред 1-й Гимназиею. Он спас ее и изгладил зло, причиненное ей беспорядочностью инспекции Андрияшева.

Тяжело вспомнить об этом ужасном времени всяческих беспорядков. На жалобу преподавателя И.Я. Ростовцев уже не говорит, подобно Андрияшеву: наставник – хозяин класса, он виною сам, если нет порядка, и никакой фразы; напротив, по первой жалобе учителя Иван Яковлевич вникал в дело, наказывал ученика строго, особенно за дерзкие речи, непослушание; и у него ученик, а не учитель, был неправ в своей дерзости или непослушании. Оттого ученики боялись забываться и даже грубейшие натуры сдерживались. Мне не раз приходилось приглашать Ивана Яковлевича в класс, когда какой-либо грубый мальчик проявлял нетерпимое в классе непослушание или говорил дерзко. И он не задумывался прибегать к решительным мерам.

Около этого времени поступил в должность учителя латинского языка в параллельных классах или низших, не помню, А.А. Иванов, кандидат-педагог, ездивший за границу, человек, преданный классицизму всею душою и больше грек и римлянин, чем сам грек и римлянин, но при этом человек крайне крутого нрава, тяжелый, железный, немилосердный, как трудно представить, в отношении к ученикам, которые не знали, что и как, по его мнению, нужно знать [про] классику. Непомерные его требования в отношении к формам латинского языка, строгость оценки, приводили в уныние классы, из состава которых два-три ученика могли удовлетворить неумолимого педагога-классика, других же до крайности ожесточали.

В числе последних был в 4-м классе ученик, поступивший в нашу Гимназию откуда-то недавно, малый – грубый, дерзкий, не знавший удержу, племянник коменданта Киевской цитадели генерала Мусницкого*. Он до крайности ожесточился против Иванова, который не щадил его, как лентяя вообще. Тут и я подбавил с своей стороны масла в эту горевшую гневом душу. И по русскому языку этот ученик шел плохо, нерадиво, лениво, и моя настойчивость, требовательность и тоже оценка по достоинству вооружили его и против меня. Получив дурную отметку с назначением обязательной работы, этот ученик (фамилии не припомню), наговорил мне дерзости, и я пригласил И.Я. Ростовцева; Иван Яковлевич, видя, что дело не пустое, по степени раздражения этого ученика, заключил его в карцер, но тот вырвался и, схватив нож [точнее, выхватив – МК], стал бегать по зданию, ища Иванова и меня. Я уже жил в это время в Гимназии, скрылся в своей квартире, пока его не обезоружили. И в тот же день он был отправлен из Киева со служителем в дом родителей.**

Будь это при инспекторстве Андрияшева, не знаю чем бы могло дело кончиться!..

Ростовцев, впрочем, вообще обращался с учениками тихо, изумительно сдержанно, спокойно, и в этом отношении он, можно сказать, вдруг переделал себя в другого человека из того, каким был будучи учителем – вспыльчивым, крикливым, запальчивым. Его не слышно было в коридорах и в классах, и только редко, редко он выходил из себя и возвышал голос в объяснении с каким-либо грубым мальчуганом. Так было собственно в Гимназии. Как дело велось в пансионе, я почти не знаю. <…> Оттолкнула меня от пансиона страшная холодность ко всему религиозному и церковному, которую дети, конечно, заимствовали от своих воспитателей подобных Рупневскому, Петрушевскому и прочим.

Раз, еще при Дабиже, я вызвался прочитать накануне Святого Причащения правило в церкви, стал читать; но во время чтения, из последних рядов, позади меня, доносились смех, топот, входили и выходили; словом, большинство вело себя весьма неблагоговейно… разве только маленькие дети первых двух классов оставались спокойны.

Я из всего этого увидел, что не могу рассчитывать на какую-либо пользу в среде этих дурно настроенных детей, и перестал вовсе бывать в пансионе, навсегда, не будучи уверен, что не получу оскорблений из-за угла или исподтишка. Поэтому не знаю близко, как шли дела у Ростовцева в пансионе.

Пансионеры затеяли какое-то самоуправство, какой-то заговор против усиленного надзора. Ростовцев и тут настоял на немедленном увольнении трех или четырех зараз: тогда был уволен Юскевич-Красковский, сын моего доброго учителя Ивана Дамиановича (Ивана Даниловича?); Замятин; в низших классах, прекрасное дитя, любимое мною и мне преданное – Коврич; Писарев.***

Настойчивость, требовательность, при спокойном отношении к делу, и решительные меры произвели свое благотворное действие: дисциплина в Гимназии была восстановлена. И с этой поры наступает для меня пора самого спокойного, мирного труда в среде детей почтительных, послушных, исполнительных, ведущих себя безукоризненно, отлично. К числу мер, которые в моих классах, т.е. там, где предстоял мой урок, поддерживали порядок со стороны инспектора, я употреблял и свое личное влияние на детей.

---

* Комендантом Киевской цитадели служил в то время Осип Осипович Мусницкий (1800-1866).

** Сей возмутительный эксцесс, к сожалению, не удостоился упоминания в 3-томнике, выпущенном по случаю 100-летия К. I Г. (зато там описан другой инцидент, произошедший в октябре 1863 года, см. ниже).

*** По-видимому, речь идет об инциденте, происшедшем в октябре 1863-го (см. раздел «Состояние гимназии во время постепенного введения устава 1864 года» в книге «Столетие Киевской Первой гимназии»).

Выделение сего абзаца синим цветом вызвано тем, что редакция «Русской Старины» не удосужилась проверить расстановку в нем знаков препинания – к кому относятся уточнения, например – «в низших классах», «прекрасное дитя»: нами это сделано вслепую!

Каждый раз по приходе в класс, особенно в 1-м и 2-м классах, где было больше времени, я прочитывал детям что-либо. Так, по частям я прочитывал целую большую повесть из детских журналов. Дети очень любили слушать, очень дорожили случаем послушать хорошего чтения… и вот, лишь только наступало время моего урока, в классе водворялась необычайная тишина; дети знали, что лишь пробьет звонок, я явлюсь тотчас, и сидели с напряженным ожиданием моего прихода. Отрадно было на душе, когда вступал я в класс, точно в пустой, такая была тишина невозмутимая.

Иногда я не мог скрыть улыбки удовольствия, и урок начинался чтением. Что бы ни читали, много ли, мало ли, дети всегда поднимались после чтения и поклоном благодарили за чтение. Иногда я читал и в конце урока, и даже значительную часть урока занимал чтением, когда видел, что урок приготовлен хорошо, знают отчетливо, пишут правильно заданное, например, стихотворение и прочее. Тогда, в награду, я что-нибудь читаю.

Когда же, случалось, я заставал класс в некотором непорядке, я не читал, объявляя, что лишаю их чтения в наказание за непорядок. На другой раз уже приходя в класс я мог вполне насладиться примерным порядком и, конечно, опять читал. Так дети привыкли к такому порядку пред моими уроками, что надзиратели и инспектор, проходя мимо класса, могли уже наперед знать, что это будет мой урок, когда видели [учеников] в полнейшем порядке. Благодарение Богу, таким образом дело у меня продолжало идти чрез целые 12 лет, с 1862-го по 1874 год; я вполне наслаждался миром, и бывали годы, когда я, можно сказать, не имел надобности возвышать голос, говоря с детьми. И за все это я не могу не поблагодарить сердечно.

Когда И.Я. Ростовцева сменил Палиенко, то и он был все время образцовым инспектором и достойным продолжателем дела, начатого Иваном Яковлевичем после погрома Пироговского периода. В 1873 году заменил Палиенко, назначенного директором реального училища в Киеве, учитель латинского языка Юлиан Иванович Сенинский, вступивший в нашу Гимназию, полагаю, в 1867-м или около этого года; он тоже был неутомимо предан делу строгого порядка в заведении. При его инспекторстве я оставил Гимназию.

<…> Я уже говорил, как занимались русским и даже церковно-славянским языком римско-католики. Когда в период с 1862 года и далее стали появляться в нашей Гимназии ученики из евреев, эти последние замечательно усердно занимались и русским, и церковно-славянским языком, и были из них наиболее успевающие ученики.

С большою охотою трудились не только дети низших классов, где я по преимуществу все время занимался, но и высших – 7-го например, где я часа два [в неделю] повторял грамматику русского и церковно-славянского языков, а один час, за выбытием в отставку В.И. Лучицкого и до назначения на его место Д.А. Синицкого, занимался и словесностью.

Случалось встречаться с моими учениками, по окончании курса Гимназии, и я слышал слова горячей благодарности. Один из них, Качаунов*, говорил: «Если бы не вы, я никогда бы не знал русского языка и правописания». Другой, уже пользующийся доброю славою доктор, говорил: «Никогда не забуду ваших нравственных наставлений, которыми будили вы в нас чувство добра и воспитывали для добра». Дети понимали мои труды для них, а я трудился-таки немало в своем скромном учительском положении.

Когда я перебрался жить в Гимназию, то неуспевающих постоянно оставлял для приготовления вновь урока после конца классов, а сам оставался с ними, пока они не приготовят урока, спеша предварительно пообедать; приходил и выслушивал, или пересматривал тетрадки; когда было и вторично дурно написано, еще заставлял вновь написать и так настойчиво добивался, чтобы ученик привыкал относиться к делу вполне сознательно и прилежно.

---

* Алексей Алексеевич Качаунов окончил К. I Г. в 1862 году.

Или назначал я ученикам придти мне на квартиру и здесь их выслушивал и пересматривал их работы; это, последнее делал я, когда стал чувствовать себя очень слабым, избегая усталости.

Так я делал в течение 12-ти лет, а когда был год 2-м классным наставником, то такое выслушивание или выучивание неудовлетворительно приготовленных уроков распространил и на другие предметы классного курса. Ученики знали, что если они не приготовят, как должно, урока или работы, то будут непременно наказаны, и старались готовить как можно основательнее уроки и как можно тщательнее письменные работы. Не могли дети не придавать особенного значения моему такому отношению к их учению, видя, что я один только так поступаю и никто другой; я же, поселившись в Гимназии, считал уже эту непосредственную близость к месту моей службы безусловно обязывающим меня побуждением все меры употреблять, и вне урочного времени, к подъему уровня успехов всего класса, а не отдельных, лишь лучших учеников.

Я никогда при этом ни слова не говорил о своих таких дополнительных трудах никому, и весьма часто свидетелями этих трудов были только ученики да сторожа, остававшиеся убирать классы; иногда видел их инспектор или надзиратель, по очереди остававшиеся после уроков с оставленными учениками, ибо оставляли и другие, но не приходили выслушивать. Директор же – никогда; только раз и он видел, когда в числе оставленных мною учеников был его сын, неудовлетворительно приготовивший свой урок. Он пришел и прислал в класс Пиленка просить отпустить его сына домой, как больного мальчика.*

Впрочем, с 1866 года, когда здоровье мое сильно пошатнулось и стал я впервые страдать нервами, хотя и прибегал к такой мере, но реже, назначая по преимуществу в исправление домашние работы. <…> Много ли пользы принесла моя деятельность за эти 19 лет? Приходится ответить горестным ответом: едва ли много! Пока дети оставались в низших классах, не выходя из круга детских расположений и чувствований, обновляя в себе доброе и бодрое нравственное настроение в непосредственном общении со мною, до тех пор можно было радоваться за них: милые дети, прелестные мальчики.

А пока эти милые дети пройдут курс Гимназии, смотришь, в 7-м классе из этих милых, мягких, симпатичных детей выходят колоды бесчувственные, огрубевают, ожесточаются, дичают: распущенность поразительная, непочтительность, ухватки повес, обленивaются.

И скольких приходилось оплакивать в сердце из тех, на которых смотрел и не нарадовался в их милом детстве! Этим свойством искажать так детскую натуру особенно отличался пансион. Что тут за воспитание давалось детям, не знаю; но только немногие из добрых детей, пройдя Гимназию в пансионском обществе, сохраняли в себе эту привлекательную мягкость детского сердца, эту преданность добру, эту свежесть восприимчивости и чувствительности.

Если все эти качества и сохраняли ученики при окончании курса Гимназии, то преимущественно те, кто имел счастие жить в семье у родителей или родственников. С теплою любовью относились ко мне эти юноши и по окончании курса.

Но бывали из живших в семействах, что отворачивались и не кланялись при встречах, по выходе из Гимназии. Рогович** один, например, уже будучи студентом, раз встретился со мною в семействе моего сослуживца В.И. Лучицкого, в день св. Пасхи, и даже не посмотрел в мою сторону, не то чтобы приветствовать. А с ним я еще частным образом занимался уроками русского языка, когда он был в 7-м классе и прибег к моей помощи, плохо зная русский язык.

---

* Александр Алексеевич Андрияшев, сын тогдашнего директора, окончил К. I Г. в 1873 году.

** Николай Рогович окончил К. I Г. в 1873 году.

Другой, Чоповский*, прекрасный мальчик, лучший мой ученик, пока был в низших классах; когда кончил Гимназию и поступил на медицинский факультет, уже стал избегать встречи со мною, точно я его исконный враг: уже иное направление получали его мысли и симпатии, и на меня, конечно, он смотрел как на обскуранта, ханжу, быть может, с сожалением, а не то и с презрением, особенно после того, как я имел с ним разговор по поводу картины художника Крамского, на передвижной выставке – «Христос в пустыне».

Он, со слов проф. Шкляревского (статья в «Киевлянине»), восторгался воплощением человеческих страданий души Богочеловека, боровшейся с собою и в этой борьбе просветлявшейся величием принятой миссии. Я порицал такое направление живописи, которое идет вразрез с изображением Христа в св. Евангелии, с божественным образом Христа, носимым в духовном сознании.

Третий, Под-ий**, тоже пока был мальчик, прекраснейшее дитя, был лучший мой ученик; тоже в 6-м или 7-м классе брал у меня и частные уроки, чувствуя себя слабым в правописании. А стал студентом – распился, распустился, самое лицо до безобразия расплылось. С-в, Б-ев***, милые дети, любимейшие ученики мои, в Университете стали отъявленными нигилистами. Станешь считать, припоминать – и ужаснешься.

Иные из этих милых детей, еще не выходя из Гимназии, явно оказывали мне страшное презрение и враждебность даже. Так в 1862 году, когда я проводил лето в Голосееве [под Киевом], раз туда же забрел и один из таких несчастных мальчиков, ученик 6-го класса, над которым много я поработал, пока был он учеником моим в низших классах: он писал крайне дурно, ошибочно. Гуляя в лесу, он увидел меня, сидевшего на колоде, приваленной к дереву, так как место там было покатое, над оврагом. Прошел, не поклонился. Я встал и пошел к своей [арендованной на лето] квартире, и когда [через какое-то время] возвратился опять к своей колоде, она уже была сброшена по обрыву на дно оврага.

И как подумаешь, что из множества учеников за эти 19 лет, проведенных мною чрез 4 первые класса гимназии, только очень и очень немногие вышли порядочными людьми, с теплотою чувства вспоминающими мою услугу их нравственному воспитанию, то смиришься и признаешь невольно, что плода-то не очень много вышло из этого труда, которому предавался я вседушевно в эти 19 лет моей службы. <…>

Что сталось с моими «благодарными» учениками Кадетского Корпуса, о чувствах которых ко мне я писал выше?

Один пошел в банду [польских] повстанцев; другой, спасая промотавшегося командира батареи, покривил душою; третий за несоблюдение воинской дисциплины разжалован в солдаты, четвертый, в детстве и в пору учения кадетом мальчик очень религиозный и набожный, оставив военную службу, поступил в Университет и потерял всякое чувство веры и своей прошедшей светлой поры детства, стал индифферентом к делу духовной жизни; пятый застрелил свою сестру и сослан в каторжную работу; шестой – не знаю, что он, но уже встречаясь со мною не узнавал меня более; седьмой, еще будучи учеником Корпуса, заразился сомнением во всем сверхъестественном [(т.е. Божественном)], проникся нигилизмом до мозга костей, как говорится (прелестный мальчик, мягчайшее сердце).

Таковы плоды и здесь моих, можно сказать, самоотверженных трудов для учеников Кадетского Корпуса; для них, быть может, я еще больше потрудился в свое время, чем для учеников Гимназии. Это для них я составлял по ночам записки, засиживаясь до 3-х часов. И что вышло?

---

* Яков Чоповский окончил К. I Г. в 1871 году.

** По-видимому, это Николай Подруцкий, окончивший К. I Г. в 1874 году, или же, скорее, Александр Феодосьевич Подгаецкий (1870 г.), окончил медицинский факультет Университета св. Владимира в 1876-м.

*** Возможно, С-в – это Иван Михайлович Саранчев, окончивший К. I Г. с золотой медалью в 1871 г. или же Евгений Александрович Снигирев (1875 г.). А Б-ев – Николай Булычев (1869 г)?

Нужно смириться и признать ничтожность своего жизненного труда, если оценивать его не по напряжению и не по хотениям воли, а по его плодам или, вернее, его бесплодию.

<…> С концом 1863-1864 [учебного] года я не изъявил желания продолжать свои занятия в Корпусе. Так, можно сказать, печально кончилось мое преподавание в Корпусе. Тут, по плодам, по учению дело обстояло куда как хуже, чем в гимназии. И немудрено. Уроки только утренние, т.е. первый, утренний, начинались молитвою; затем, по окончании уроков [(перед обеденным перерывом)] уже не было молитвы, послеобеденные уроки не начинались молитвою, и в конце уроков молитвы тоже никогда не читалось. Удар барабана в тишине вечером, в 7 час, производил какое-то магнетическое действие: всё встрепенется, все спешат, учителя – домой, кадеты – строиться в ряды, к отходу в роты, а о Боге и помину нет.

Уже по этому одному можно судить, что за воспитание было в Корпусе, и каким добром на жизнь запасались эти дети и юноши, воспитываясь под барабан, вышибавший из их мысли все духовное, истинное. Когда я впервые начал свои занятия в Корпусе, и начались уроки по теории поэзии, то один из учеников громогласно возгласил мне в виде не то ответа, не то возражения: «проза – есть, поэзия – пить». Этот несчастный и был тот, что пошел в каторгу за убийство сестры.

Кроме отраднейших воспоминаний о моих занятиях по корпусу за время 1858-1861, хранящихся в душе моей, памятью о Корпусе служат в моей библиотеке [номера] за несколько лет «Журнала для детей», а также несколько учебников по словесности: Тулова – о родах и видах поэзии («Руководство к познанию родов, видов и форм поэзии». К., 1855)*, хрестоматия Галахова – три части, Полная хрестоматия историческая – Галахова же, историческая грамматика Буслаева, грамматика Греча.

Из этого уже видно, какими богатыми средствами располагал Корпус в деле образования, когда каждый преподаватель мог бесплатно получить нужные учебники, которым, кажется, и счету не велось. А какие плоды в духовной жизни этих детей и юношей выходили из этих щедрых затрат правительства? Я упомянул, что один из моих учеников по Корпусу разжалован был в солдаты, это В-ч. Узнал я об этом, должно быть, от его товарища Иконникова**; это было вероятно в 1864 году.

---

* Это все тот же окружной инспектор Михаил Андреевич Тулов, который окончил философский факультет Университета св. Владимира, служил профессором теории поэзии и истории литературы в Нежинском лицее и не был лишен педагогических и эпистолярных способностей.

<…> Главные его труды: «О современном направлении изящной словесности на Западе Европы» (Киев, 1850), «Руководство к познанию родов, видов и форм поэзии» (К., 1855), «Очерки истории языкознания» (1869), «Об элементарных звуках человеческой речи и русской азбуке» (Киев, 1874 и 1881), «Русский букварь» (Киев, 1875, 1878, 1881), «Руководство для обучающих чтению по русскому букварю» (1875), «О малорусском правописании» (Воронеж, 1880), «О процессе поэтического творчества» (К., 1881), а также ряд журнальных статей по школьному вопросу. В свое время обратили на себя большое внимание его «Несколько слов о брошюре князя Васильчикова: Письмо министру народного просвещения графу Толстому» (К., 1876). В «Основе» [(Южно-русском литературно-ученом вестнике, выходившем в Петербурге)] 1861 г., под псевдонимом Линейкина, он поместил начало полубеллетристического очерка «Гимназическая переписка», окончание которого, по цензурным условиям, могло появиться лишь 20 лет спустя, в «Вестнике Европы». – ***Энциклопедия Брокгауза и Ефрона***

** Владимир Степанович Иконников (1841-1923), ординарный профессор по кафедре русской истории Университета св. Владимира, при открытии в Киеве кадетского корпуса (1852 г.) был зачислен в это заведение на казенный счет, где и оставался до окончания курса в 1861 г.

В это время в Петербурге жило семейство Давыдовых; я был с ними в переписке и решился просить Давыдову ходатайствовать пред ее знакомым, начальником артиллерии генералом Баранцевым, о помиловании несчастного юноши. Я описал в письме добрые его качества, как кадета. Не могу теперь припомнить подробности всего дела, но только чрез некоторое время я получил утешительное письмо от Давыдовой, что ее заступничество пред Баранцевым увенчалось полным успехом: В-ч снова произведен в офицеры.*

Не помню уже, сам ли я писал к нему, поздравляя его с помилованием и призывая к исправлению жизни, если она так уже потекла, что привела его к такому несчастью, а также взывая к его христианскому чувству благодарности Богу за Его милость. В-ч был римско-католик. Завязалась у меня переписка с ним. Он отвечал мне письмом, мало имевшим по содержанию общего с духом моих обращений к нему; едва ли достаточно и оценил он оказанное ему добро; еще менее видно было, чтобы несчастие смирило его гордую душу и вызвало чувство теплой веры в Промысел. Я отвечал ему письмом, полным соболезнования о таком его духовном состоянии.

В ответ на это письмо он прислал письмо, где от первой строки до последней слышался голос человека разочарованного, снедаемого духом сомнений и отрицания. – «Тот только может спокойно жить в мире, кто ни о чем не думает», – такова мысль, из которой он выводит заключение о жалкой участи всякого мыслящего человека, который, уже в силу того, что он размышляет, не находит себе покоя, окруженный, подавляемый на каждом шагу противоречиями в законах жизни, природы и человека. И все в этом роде.

Ответное письмо мое на эту философию отчаяния находится в ряду черновых моих писем к ученикам. Тем и окончилась моя переписка с В-чем. Что с ним сталось после, поднялся ли его удрученный, разочарованный дух на высоту светлого христианского мировоззрения или окончательно погиб в бездне неверия, не знаю.

Был я несколько позже в переписке и с другим таким же сбившимся с толку моим учеником по Гимназии. В числе лучших учеников моих по низшим классам был некто Ш-ский**, премилое дитя. Шел он все время хорошо, кончил первым и курс гимназии. Но тут его кто-то подбил вместо поступления в Университет идти в домашние учители в семейство графов К. в Херсонской, кажется, губернии. Общество это и погубило юношу.

При свидании он передавал мне, по течению разговора, характер разговоров его с графинями и их подругами: без стеснения шла речь о незаконных сожитиях, о вольном обращении обоих полов, о поре половой зрелости и подобных материях. Это была преобладающая тема семейных разговоров, в которых и его делали участником.

Прожив так года два или три, Ш-ский наконец опомнился, что ему нужно доучиться, и отправился в Петербург для поступления в Медико-хирургическую академию, куда и поступил. Не помню, как это устроилось, но в бытность мою в Петербурге мы сошлись, разговорились, и тут опять разговор сошел на ту же тему, что и в семействе. Какое невежество господствует в обществе в отношении к охранению своего здоровья! Из ложной стыдливости, девушки, страдающие [венерическими] болезнями, стыдятся прибегнуть к медицинской помощи, ложный стыд!

---

* Речь идет об Александре Алексеевиче Баранцове (1810-1882), графе, генерале от артиллерии, с 1862-го – начальнике Главного артиллерийского управления. Идентификация помилованного им В-ча требует трудоемких архивных розысков. Возможно это был родственник В.Ф. Вокача, вышедшего из 1-го Кадетского корпуса в 1838 году и дослужившегося до генерал-майора. «Семейство Давыдовых» – возможно, это семья бывшего попечителя С.И. Давыдова, перемещенного в 1845-м на должность сенатора в Петербург. Не путать с «семейством Александры Ивановны Давыдовой», остававшимся в Киеве.

** Возможно, это – Константин Шпилярский (окончивший К. I Г. в 1865 г.) или же – Иосиф Шидловский (1867 г.)?

Такие разговоры дали мне повод спросить, неужели молодые люди, его сотоварищи, не придают никакого значения чувству стыдливости и так заурядно, так неосторожно относятся к этому важному жизненному вопросу? Ответ: «Да, так, быть может, на весь состав студентов Академии и 30-ти не найдется, которые бы хранили целомудрие. Этому и не придают никакого значения, дело обычное!».

С болью сердечною я простился с моим искалеченным нравственно юношею. Так вдруг получаю от него письмо, в котором он старается убедить меня жениться, доказывая безусловную необходимость этого акта в жизни человека, подвергая решительному сомнению возможность избегнуть человеку подчинения этому закону его природы, приводя в доказательство господство тайного разврата в жизни монашествующих и все в подобном роде.

Я отвечал письмом, в котором старался выяснить ему забытый им закон свободы духа и необходимость для человека, не меньшую, если не большую, торжества духа над плотию, обличал новых апостолов материализма, проповедующих грубые законы природы, как единственные силы, управляющие жизнью человека.

Ш-ский отвечал резким письмом в защиту нового мировоззрения, выдвигающего на первый план необходимость для правильного развития жизни взрослого человека, мужчины и женщины, изменить взгляд на брак и перестать смотреть на брак как на таинство, а стать смотреть на него как на физиологический закон и прочее, и прочее в том же роде. Кажется, я уже и не отвечал ему ничего на эту безумную проповедь.

<…> Не счастливее, не благоприятнее были плоды моих занятий и в частных домах. Возьму прежде всего семью баронессы [Анны Петровны] Б[оде]. Прекрасная, религиозная женщина болела душою о сыне, который после приготовления мною к экзамену поступил, кажется, во 2-й или 3-й класс нашей Гимназии и тут сошелся с дурными мальчиками, между прочим с Батиевскими, о которых речь была выше*.

Еще до поступления в Гимназию я немало бился над ним, замечая в нем какую-то необычайную вялость, точно усыпление мысли. Я возбуждал его всячески к труду, старался развить любовь к учению и однако все-таки видел в нем какое-то непонятное обленение и догадывался о каком-то стороннем дурном, расслабляющем влиянии. Бывая в Михайловском монастыре, я видел его не раз в обществе послушников. В церкви он не стоял, а – в алтаре, пономарне и развлекался сборами к выходу архиерейскому и прочим, совершавшимся пред глазами, а не молился.

---

* В опущенном нами эпизоде описывался конфликт, в который Н.Д. оказался косвенно вовлечен: госпожа Батиевская сваливала основную вину за распущенность и дурное воспитание своих двоих сыновей, поступивших в К. I Г. из какой-то другой гимназии, на преподавателей (прежних и нынешних?), в том числе и в беседе с викарием Киевской епархии преосвященным Антонием, причем при этом сослалась и на Богатинова, в итоге до попечителя Н.И. Пирогова и директора К. I Г. дошли слухи о двух противоположных мнениях, которые учитель якобы высказывал в разговорах с Батиевской и в беседах с преосв. Антонием!

Что касается баронессы Анны Петровны Боде, урожденной Колычевой, то она была замужем за Львом Львовичем Боде (1820-1855). Судьба их сына Якова по Интернету не прослеживается, кроме занесения в Родословную книгу российских дворян:

Определением Прав. Сената, от 28 ноября 1840 года, 20 ноября 1847 года, 21 сентября 1850 года, 28 января 1864 года, 18 марта и 2 сентября 1870 года, утверждены в баронском достоинстве, с внесением в V часть Родословной Книги, бароны БОДЕ: 1) ЛЕВ ЛЬВОВИЧ и сын его ЯКОВ; 2) МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ; 3) статский советник КЛЕМЕНТИЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ (КЛЕМЕНС-ГРИГОРИЙ-ПЕТР); 4) подполковник ЛЕВ АНДРЕЕВИЧ (ЛЮДВИГ-ПАВЕЛ), жена его ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА (рожд. МУСИНА-ПУШКИНА) и дети их: СЕРГЕЙ и ЛЕВ, и 5) штабс-капитан АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ и дети его АНДРЕЙ, ВЛАДИМИР, ВАРВАРА, НИКОЛАЙ, ВАЛЕРИАН И АЛЕКСАНДРА.

Я не одобрял его за такую рассеянность, советовал помнить, для чего в церковь приходим, а чтобы отвлечь от общения с послушниками, сообщества во многих отношениях крайне опасного по своему развращающему влиянию, я советовал матери сблизить его с лучшими моими учениками по Гимназии, приглашал их себе в гости на праздники, с позволения инспектора. Увы! Эти мои лучшие ученики З-н, С-н оказались негоднейшими уже в 6-м классе, и первый из них был исключен*. Однако общество «слимаков» [«слизняков»], должно быть, сильно подействовало на мальчика. Учиться он не обнаруживал особой охоты и дома, а когда поступил в Гимназию, и совсем изменился, так что должен был остаться на 2-ой год в том же классе. Огорченная мать решила взять его домой и тем окончательно испортила дело. Мальчик окончательно распустился.

Уже и прежде бедная мать томилась горем об опасности для сына нравственного развращения в сообществе Батиевских. Раз, после обеда, она пригласила меня к себе в кабинет и наедине горько сетовала на свое несчастие. Сын ушел с Батиевскими гулять в Царский сад и, не видя его долго дома, мать кинулась искать его и нашла в саду в сообществе с Батиевскими и с какими-то девками. – «Еще недолго бы продлилось такое сообщество, и Яша мой, быть может, стал бы мужем», – говорила огорченная до глубины души мать. Когда же Яша очутился на свободе от уроков и, вероятно, еще больше сблизился с праздными «слимаками», то дурные влияния совсем овладели ленивым мальчиком.

Раз, должно быть весною 1862 г., возвращался я домой рано утром, около 6½ часов, из Гимназии, где по случаю вечера 9-го Апреля, в день рождения А.К. Деллена, заночевал, боясь позднею ночью возвратиться домой, и что же я вижу, спускаясь домой? Яша идет мне навстречу, с Подола, весь в измятом платье, смущенный, приниженный. Я догадался, откуда он идет; опасения бедной матери сбылись – пропал мальчик.

И что же? Мне же, скоро после конца моих занятий с ним, пришлось слышать со стороны нарекание матери, что я сгубил ее сына! Чем?.. Будто я его наталкивал на мысль о монастыре, о суетности мирской жизни, и тем убил в нем энергию воли, расслабил его волю!

Ах, напротив, я-то и восставал против его близкого обращения с монастырскими служками, я-то и выяснял ему истинную суть молитвы, а не праздного зевания в церкви, я настойчиво возбуждал в нем любовь к учению. Вот истинно незаслуженное нарекание, как говорится, «с больной головы на здоровую».

Что вышло из моих трудов в семействе князя В[асильчикова]? Тут-то менее всего я и мог ожидать какого-либо плода в нравственном смысле. Я был просто учителем русского языка, не более, и было над чем работать, не увлекаясь беседами. Сережа писал крайне ошибочно, читал очень дурно. На эти слабости и обращено было все внимание; однако все же я и здесь делал что мог в смысле и нравственного воспитания, чрез выбор стихотворений к изучению, объяснение которых и давало мне случай нравственно действовать на чувство мальчика, чрез выбор статей для чтения, примеров и прочего.

Но лучшею воспитательницею сына была мать [Екатерина Алексеевна], проникнутая глубоким религиозным чувством. Раз, попалась мне записная книжка Сережи. Там между прочим рукою княгини написан был урок сыну: «Блюди себя, друг мой! Храни чистоту души, чистоту сердца. Будь на страже своих пожеланий. Помни слово Божье: сокровище духа мы носим в скудных сосудах. Так слабы мы по природе! Оттого ищи в Боге своей силы, своей опоры!». В таких выражениях был написан урок рукою любящей матери. В 1863 году прекратились мои уроки Сереже.

---

* З-н, понятно, не числится в списке окончивших К. I Г. Что касается С-на, то им мог бы быть Василий Андреевич Субботин, окончивший гимназию в 1864 г.

<…> Раз, встречаюсь с бывшим законоучителем Сережи, священником о. Александром Борецким, расспрашиваю о Сереже. – «Шалит кирасир в Питере!» Значит, опять к чему же привели и мои уроки, направленные к нравственному воздействию на мальчика?*

Еще я давал уроки, как писал выше, в семействе Д[авыдовых], занимался тут с дочерью и сыном. Много души, много жизни, много святой любви вложил я в эти мои незабвенные для меня занятия. Сама ученица один раз свидетельствовала: «Вы пробудили во мне совесть!». И что же вышло и на этой моей «ниве трудовой»? Только светская жизнь, без вдумчивости в смысл и значение жизни по духу веры и при свете разума. Уже скоро после прекращения моих уроков в 1861 году в этом семействе те, кого учил и уча старался воспитывать, могли, без угрызения совести, накануне Крещения Господня, весь день проводить в репетиции к домашнему спектаклю, а в самый канун праздника разыгрывать свои роли в этом спектакле, а на другой день высыпаться, вместо участия в Божественной литургии.

До глубины души я был огорчен таким забвением всех моих внушений: жить в духе церкви православной, в теснейшем общении с ней. А сколько жертв принес я своему учительству в этом семействе? Вместо полуторачасового урока я проводил в уроке по три часа, читая Шекспира и прочих; чего стоили мне эти уроки из желания дать им наиболее воспитательный характер! Значит, опять могу с горечью в сердце самого себя спросить: к чему же эти усилия – воспитательно действовать и на эти добрые души – привели?

Так, когда разберешь хорошенько и оценишь по плодам свою деятельность, невольно смиришься ввиду убогого ничтожества истинных плодов многолетнего труда в той среде, где туго, туго прививаются к сердцу внушения, истекающие из сознания иных просветительных и руководительных начал жизни, чем те трясины, на которых покоятся людские понятия о нравственности, о долге, о патриотизме в жизни и воспитании, о общем строе жизни.

Оттого-то так еще рано, после начала моей службы, видя с горестью, как мало истинной пользы приносит в этой среде самый напряженный труд над нравственным воспитанием, я всею душею устремился к иной деятельности, к иной, еще неиспорченной, среде народной, и возгорел непреодолимым желанием посвятить себя всецело просвещению народа чрез приготовление учителей в народные училища. Отсюда-то истекли мои статьи об учительских институтах, мои отчаяния и надежды дождаться счастия стать именно в эту среду, обещавшую больше плода, больше восприимчивости к добру, больше отзывчивости на добро. Не скоро, но Бог благословил исполниться моим надеждам.

Дам себе труд припомнить кое-что и из моих служебных отношений за этот длинный 19-летний период. Новый попечитель Витте прибыл в Киев во время вакаций [1862 года], когда я жил в Голосееве. По возвращении в город я явился к нему и был принят очень любезно: посадил меня, поговорил. Жил он в попечительской квартире [в 1-й Гимназии], но, как писал я выше, недолго.

Стук над головою, где помещались классы, неспокойство вообще жизни в многолюдном учебном заведении, особенно при болезненности его жены, которой мы вовсе и не видели никогда, эти причины заставили его скоро переменить квартиру, которую он и нанял на Крещатике.

Здесь-то мы, т.е. все служащие в гимназиях с своим начальством во главе, в лице его приносили свою благодарность правительству за улучшение быта учителей в средних учебных заведениях – возвышением жалования. Дело это было начато еще при бароне Николаи; при Витте разрешено благоприятно, благодаря деятельной поддержке тогдашнего министра [народного просвещения] Головнина.

---

* Князь Сергей Илларионович Васильчиков (1849-1926), окончив в 1867 г. Пажеский корпус, был выпущен в лейб-гвардии Конный полк, дослужился до генерала от кавалерии, после 1917-го эмигрировал из России.

Ездили мы благодарить Витте в неделю Православия, после обедни. Это был первый шаг к дальнейшему улучшению быта служащих в гимназиях. Совершенно не помню подробностей этого дела; кажется, жалование возвышено было до 600 рублей, с уничтожением различия между учителями старшими и младшими.

Около этого же времени Витте посетил классы гимназий. Он прямо пришел в мой класс по приезде в Гимназию. Очень незадолго до этого в педагогическом совете гимназии, не помню уже по каким побуждениям, состоялось решение обращаться с учениками, кажется, низших классов до 4-го включительно с местоимением «ты» вместо «вы», как было до сих пор. Верный определению совета и вполне сочувствуя такой разумной мере, я тотчас же стал и применять ее к делу; но в некоторых учениках 1-го класса не раз встречал озлобление против «ты», довольно резко высказываемое тут же, в классе ропотом, передразниванием – «ты»; однако, строго преследуя такие дерзкие выходки, я стал учеников приучать к такому обращению. Не знаю, делали ли то же другие учителя; но мне пришлось в 3-м классе выдержать борьбу с учениками из-за этого «ты».

И вот, когда ученики попривыкли к такому тону, приходит Витте; я и при нем говорю ученикам «ты». Перемена. Витте в учительской подзывает меня к окну, поодаль других, и говорит: «Вы обращаетесь с учениками на ты. Это очень резко звучит и в противоречии с общепринятым в учебных заведениях обычаем говорить ученикам вы». Я тут же объяснил ему, что так говорю строго следуя недавно состоявшемуся определению совета.

Пошел он по классам после меня, и хотя это замечание было сделано лишь мне и, кажется, довольно тихо, негласно, он всюду уже слышал «вы». Никто не поддержал меня, никому не захотелось повторить пред Витте мое объяснение, что делаем в согласии с определением совета, когда не так бы удобно было переменять обращение, имеющее основанием педагогические соображения, придать обращению с детьми оттенок искренности, простоты, семейственности.

По переходе с Подола [в квартиру при Гимназии] я довольно часто ходил в обедню в университетскую церковь, был здесь и в неделю Православия, в 1864 году, и впервые видел, что, должно быть, здесь годами практиковалось. Сюда ходили слушать обедню ученики 2-й Гимназии, из общей ученической квартиры.

Сюда же приходили на обедню и ученицы частного женского пансиона госпожи Лейс, помещавшегося в большом доме, угольном с Университетом. Здесь девочки и причащались в этот день, а к концу обедни – гимназисты, к ним присоединялись и кадеты, выстраивались от дверей церкви чрез всю переднюю и дальше, по обе стороны, и чрез этот ряд, своего рода «сквозь строй» (столь известный в России в былое время) бедные девочки должны были проходить, пожираемые впивающимися в них глазами этих повес. Страшно тяжелое, отвратительно зрелище!

Я не мог примириться с таким страшным безобразием, тем более что это как «сквозь строй» было обычным явлением в университетской церкви при расходе из церкви. Я написал резкую заметку и отдал ее в редакцию «Киевского Телеграфа». Господин Юнг, редактор, немедленно напечатал ее в ближайшем нумере за подписью «один из молящихся», не помню, или «посетителей университетской церкви». Заметка эта произвела страшную бурю. Всполошился Витте; всполошились директоры, инспекторы и, первое дело, стали разыскивать преступника, дерзнувшего опозорить честь Гимназий и выставить в таком мрачном свете безрелигиозное направление воспитания в них.

Витте сам ездил к Юнгу просить сказать ему, кто писал заметку. Юнг отказал сообщить эту тайну редакции, хотя объяснил – «один из учителей». Тут уже стало ясно, кто. – «Кто же мог так написать, кроме Богатинова? Он же там и бывает часто».

Прихожу в Гимназию, прохожу по коридору, подходит ко мне директор Андрияшев, обнимает мою талию так любезно, дружественно и таким мягким, располагающим к откровенности тоном спрашивает меня: «Скажите, Николай Дмитриевич, говорят, что вы написали заметку о беспорядках в университетской церкви?». Я прямо сказал: «Да, я!». Что же мне было и отвечать на эту льстивую речь, чувствуя вокруг себя руку дружественного собеседника? – «Да, я так и думал, однако нехорошо вы сделали – бросить тень на Гимназию, на директора, на порядки». Я просил Андрияшева не выдавать моей тайны.

А в это уже время он послал в «Киевский Телеграф» опровержение за подписью «директор Андрияшев», где смело отрицал возможность такого явления из общего направления гимназий и обличал автора заметки в преувеличении.

Встретил меня на улице инспектор 2-й Гимназии Сомчевский. – «Правда ли, что вы написали заметку?» Что далее говорил, уже не помню. Вижусь вскоре с настоятелем университетской церкви, протоиереем Назарием Фаворовым, моим хорошим знакомым; зашла речь и о заметке; не помню, знал ли он или от меня узнал. – «А я собирался писать опровержение от себя да увидел, что уже напечатано опровержение от округа. Тут затронута некоторым образом и моя честь, что я могу допускать такие беспорядки в церкви».

Несколько времени спустя приезжает из Житомира Т.И. Пристюк, бывший в то время директором Житомирской гимназии. – "И у нас знали, что это вы писали заметку. И что же? Все благополучно окончилось? Слава Богу! А я думал и боялся, чтобы не побили вас оскорбленные гимназисты и кадеты: как же, назвать их «повесами», так разбранить!”.

А я ведь, в порыве негодования на эту мерзость, решительно ни о чем не подумал, что может выйти из моей заметки: обидится попечитель, примет за личную себе обиду директор 2-й Гимназии (тогда Вилуев), вкупе с инспектором, брошу укоризну вообще гимназическому воспитанию, посягну на честь причта университетской церкви, оскорблю повес… решительно ни о чем этом я и не подумал, руководимый единственно мыслию прекратить такое вопиющее безобразие, такую наглость! Благодарение Богу! Меня оставили в покое. Узнал ли Витте или нет, не знаю; но я продолжал ожидать всяческих себе огорчений и неприятностей, и какова была моя радость, когда еще в Июне 1864 года мы узнали, что Витте переводился попечителем в Варшаву.

<…> С первого же воскресенья по появлении в печати моей заметки последовало распоряжение попечителя округа, чтобы ученики 2-й Гимназии навсегда прекратили посещение университетской церкви и ходили на службу Божью в церковь 1-ой Гимназии; только певчим из состава квартиры 2-ой Гимназии, по ходатайству, дозволено было принимать участие в университетском хоре; потом и эта льгота отнята, и с той именно поры 2-ая Гимназия слушает богослужение в церкви 1-ой Гимназии.

Вероятно, немногие теперь знают, кому этим порядком обязано начальство 2-ой Гимназии. Благодарение Богу! Когда я впервые увидел учеников 2-ой Гимназии, идущих в нашу церковь, я готов был тогда все вынесть, радуясь в душе, что теперь уже не повторится более таких бесчинств в университетской церкви.

Впрочем, от Витте я удостоился получить и благодарность, уже после этого случая. Раз он был в Гимназии, в классах, зашел и в учительскую, и здесь при всех благодарил меня за участие в занятиях педагогической школы. Что это за педагогическая школа? Работа в педагогическом мире, поднятая Пироговым в нашем округе, не улеглась с его удалением. Это было время, как я уже выразился, общего возбуждения в России, когда все зашевелилось, или, вернее, стало бродить, поднялись вопросы, прежде не возникавшие, выдвигались стороны, прежде не замеченные, и прочее. Это была великая эпоха освобождения крестьян.

Так и в мире педагогическом закипела работа при Пирогове. Ушел он, а работа шла: как? какою дорогою? куда вела? – дело другое. Стали ни с того, ни с сего устраиваться воскресные классы, так называемые воскресные школы, точно грибы после дождя. Были опыты такой воскресной школы и при 1-ой Гимназии; я был в стороне этого дела, ибо жил в то время еще на Подоле, но знаю достоверно, что учительствовали в этих воскресных классах ученики – охотники. Главными же двигателями этого дешевого просвещения явились студенты Университета, для которых открылся способ бесконтрольной широкой пропаганды разных модных идей.

А что было в то время [за] студентство, можно заключить из следующего. Именно в это же время в Софийском соборе, во время богослужения, студенты проходили по задним галереям собора, куря папиросы. Это было время появления в печати «Отцов и Детей» Тургенева, и кто из молодежи тогда не читал этого произведения, где впервые выступали представители русского нигилизма? К счастию, скоро поняли, чего можно ожидать от этих рассадников Базаровского мировоззрения, и школы повсюду были закрыты. Но люди благомыслящие все-таки думали, что в воскресных школах можно было сделать много добра, что, конечно, несомненно, но при других, другого характера просветителях.

Моя добрая знакомая, Елисавета Алексеевна [Кублицкая], именно для детей, посещающих эти воскресные классы, пожертвовала 100 экземпляров Евангелия, которые и были мною переданы И. Слепушкину, тогда смотрителю Киево-подольского дворянского училища, где тоже была воскресная школа. Но все-таки школы скоро были повсеместно закрыты.

К числу созданий того времени, духом того времени порожденных, принадлежала и названная мною педагогическая школа при Киевской 1-ой Гимназии. Вместе с освобождением крестьян явилось впервые ясное сознание необходимости и распространения грамотности в народе, посредством сельских училищ.

Правда, по почину Киевского митрополита Арсения, духовенство Киевской епархии стало заводить церковно-приходские школы; но управление Киевским [учебным] округом сочло необходимым и от себя дать бытие известному числу народных училищ, здесь же в Киевской губернии. Тут начало ожесточенного столкновения духовной власти, в лице митрополита, с учебным округом, дошедшего до крайней степени раздражения, почти враждебности. Округ открывает училище, митрополит запрещает священнику принимать на себя законоучительство в школе; поднимается жалоба на округ, что округ отбирает для своего училища учеников, поступающих в церковно-приходскую школу; учителя в глазах крестьян представляются проповедниками безбожия и неверия.

В округе и доныне, вероятно, хранится любопытная жалоба, кажется попечителю округа, какого-то сельского общества на «какого-то» Тулова (а это и был главный двигатель в открытии первых народных училищ в Киевской губернии, в то время окружной инспектор), что он разъезжает по селам и проповедует, что Бога нет и прочее, почему крестьяне, кажется, отказывались от содействия в учреждении у них предположенного училища, словом, что-то в этом роде.

Вообще архивы консистории и канцелярии округа за все это страшное время представляют, несомненно, громадные кипы бумаг, сношений, донесений, откуда [исследователи] увидят, что борьба велась между обоими ведомствами, духовным и учебным, ожесточенная. Округ, конечно, не был намерен отказываться от мер в просвещении народа, в согласии с государственной пользою, строго определяя главнейшую и существеннейшую задачу, в то же время самую скромную, чуждую всякого задирательства в деле обучения грамотности.

Нужно сказать, вес пыл, вся горячность борьбы исходила не от округа, а от митрополита, и округ, благоразумно уклоняясь от всяких препирательств с предубежденным, страстным противником, делал что мог для народного образования; именно: что и как мог.

С целью обеспечить вновь открываемые училища учебными силами, при округе, по представлению окружного инспектора Тулова, во время попечительства Витте была учреждена педагогическая школа, т.е. классы, куда принимался каждый, изъявивший желание быть учителем в сельском училище, не для прохождения правильного курса, а только для более или менее продолжительной подготовки к учительству. Сюда поступали едва-едва способные учиться, полуграмотные парни, исключенные из уездных и духовных училищ, и прямо, можно сказать, с улицы всякий сброд; но попадались и порядочные люди.

Ежедневно они собирались в эту школу; сюда приходил и учитель предметов давать уроки. Учителями были по преимуществу, кажется, студенты; но был и учитель Гимназии, не помню, за плату ли или так – из ревности к народному просвещению. Подучивши немного, сбор этот размещали по училищам.

Помню публичный экзамен этой педагогической школы в зале нашей Гимназии. Были поставлены для детей скамьи, приведены дети из приходских училищ; сели на скамьях, и начался публичный экзамен, т.е. собственно пробные уроки некоторыми учениками этой школы, предназначенными к отпуску; давали пробные уроки в присутствии попечителя округа и многочисленных посетителей собственно из учебного мира.

В веселом настроении были посетители. Один такой педагог объяснял детям устройство глобуса и размещение воды на земном шаре. – «Отчего в южном полушарии воды так много – всё океаны? Вот видите, отчего. Если вы обмакнете палец в воду и затем наклоните палец книзу, то вся вода стремится к концу пальца, к нижнему его концу, и вода стечет сюда наиболее. То же и на глобусе; смотрите южная часть глобуса – она же и нижняя часть. Сюда-то и стекает со всего мира вода, оттого-то здесь и более всего воды!». Слушая такое смехотворное объяснение, как было не подумать: «смелость города берет?».

Уже к концу существования этой необычайной школы, напоминавшей собою что-то вроде школы Сократа и мудрецов Афинских, т.е. жалкой их пародии, и я был приглашен, за выбытием кого-то, кому было поручено ведение занятий по родному языку, говорю, и я был приглашен М. Туловым заниматься собственно чтением.

Я занимался исключительно выразительным чтением, чем и был занят, кажется часа три в неделю, преимущественно в послеобеденное время; учеников в то время было не более 15-ти, разного рода люди: были и очень благонравные и исправные, были и тупицы страшные. Бьешься бывало весь урок с такими тупыми и решаешь – какая несчастная будет школа, в которой будут учительствовать такие тупицы.

За эти-то занятия и благодарил меня Витте. Впрочем, я нисколько не вмешивался в дело школы, тем менее имел отношение к направляющему ее деятельность началу. А начало это было какое-то странное, темное, спутанное. Для этих вновь открываемых училищ приготовлялись учителя, смело можно сказать, взятые с улицы, подучивали их кое-как, кое-чему, но что-то такое непонятное сообщалось их разумению: ходили они все какие-то косматые, неряшливые, какими-то Запорожцами выглядывали.

Для практики их при Гимназии на черном дворе открыта была школа для мальчиков, и из этого простого дела, обучения детей грамоте, они делали что-то такое необычайное, точно они Америку открывали или порох изобретали: так много они думали уже о себе, лишь только их допускали к занятиям грамоте по звуковому способу. Какая-то гордость прививалась этим людям, их точно готовили в какие-то бойцы за какую-то идею. Для училищ печатали на казенный счет «Байки», т.е. переделки басен Крылова на малороссийский язык, приготовляли к изданию большие стенные картины, для наглядного обучения из малороссийского быта.

Словом, что-то нехорошее, неладное, опасливое творилось в этой педагогической школе, которая, к счастию, уже доживала свое жалкое существование в то время, когда я стал там заниматься.

Время это вообще было временем особенного оживления в педагогическом мире; помимо таких мечтательных предприятий как воскресные школы серьезно в то время занялись пересмотром программ по предметам гимназического образования. И у нас в Киеве поручено было профессору А.И. Селину в комитете из преподавателей русского языка и словесности составить новые программы; этим мы были заняты довольно-таки долгое время, собираясь в квартире Александра Ивановича.

Затем, в 1863 году, с разрешения министерства состоялся летом, пред экзаменами, съезд всех учителей гимназий округа. Съезд был открыт речью самого попечителя Витте, в передней зале Университета. Здесь впервые встретились учителя округа в одном общем собрании. Это было первое в России собрание учителей гимназий для решения педагогических вопросов, в отношении к установлению единства в преподавании. Мне не трудно было принимать участие в заседаниях съезда, ибо квартира моя была тут же, рядом с Университетом. Впрочем, лично я не ожидал от съезда, притом столь многочисленного (до 50-ти человек), и по застенчивости, несмелости в общественных собраниях я принимал очень малое участие в говорении на съезде; если же что нужно было сообщить или выяснить, читал заранее приготовленное.

В таком многочисленном собрании я всегда чувствую себя неловко и с большой робостью и опасением говорю, ожидая, что каждое слово мое тут же осудится, пересудится, окритикуется и, пожалуй, осмеется. В числе же членов съезда были и острые язычки. Однако съезд все-таки выработал кое-какие основные положения и правила, которые и предложено было попечителю округа принять к непременному исполнению всеми преподавателями русского языка и словесности, с предупреждением, что съезд снова соберется в будущем, 1864 г., чтобы дать отчет об испытанных приемах преподавания и приведенных в исполнение положениях съезда.

Так и было. В 1864 году снова собрался съезд; но уже некоторых из бывших на первом съезде не было. Польский мятеж 1863 года рассеял и некоторых из нашей братии по всему лицу Русской земли. Тот переведен в Николаев, тот – в Новочеркасск, тот вовсе удалился из службы, и таких было несколько за потворство Польским затеям, а иные и прямо – за слишком либеральное направление преподавания. Иные же, как надежные люди, получили назначение в гимназии Царства Польского. Иные, чувствуя крайнее стеснение своему патриотическому чувству в учебных заведениях края, переполненных поляками и волнуемых в своем внутреннем мире этим мятущимся элементом, связывающим по рукам русского человека, сами перевелись во внутренние губернии, даже на Кавказ.

<…> Эти два съезда преподавателей русского языка и словесности принесли немалую пользу: учители имели уже определенную программу, с которою должны были соображаться, чтобы дело шло по должному [направлению]. Но и после этих съездов преподаванием русского языка вместе с церковно-славянским и словесностью много занималось окружное начальство, ровно как и выработкою подробных правил внутренней жизни гимназий, правил внутренней дисциплины и по всем сторонам внутренней жизни заведений. Снова рассматривались и программы по русскому языку и словесности, уже на этот раз под председательством проф. [Университета св. Владимира] Василия Яковлевича Яроцкого, который собирал нас в лектории профессорской по вечерам много раз в зимнюю пору, в котором году не помню, но незадолго от предельного в моем настоящем рассказе 1874 года.

<…> Я за этот период поместил в циркулярах [Киевского учебного округа] мои две статьи, первую – «Об отношении поэзии к преподаванию прочих предметов гимназического курса». Помню, статью эту я носил к помощнику попечителя господину Михневичу, который сам держал редакцию циркуляров.

Михневич был приглашен Н.И. Пироговым сменить Могилянского, служил при бароне Николаи и при Витте, отчасти и при Ширинском-Шихматове, когда при самом начале попечительства сего последнего сменен был М. Туловым – прекрасным, мягким, всегда ровным себе человеком; знавшие его профессора Ришельевского лицея говорили: какой был тогда, такой и теперь, нисколько не изменился в нем человек добрый, внимательный, спокойный и простой. Это был совершенно верный отзыв.

Вторую свою статью я поместил в циркуляре несколько позже, уже в 1876 г. – «О патриотизме в воспитании». Здесь же в свое время помещались отрывки из моего дневника по командировке на Волынь, для открытия народных училищ. Не скоро улеглось поднятое Пироговым оживление в округе, проявлявшееся между прочим обогащением и циркуляра литературно отделанными материалами по учебно-воспитательной части. Во время попечительства князя Ширинского-Шихматова особенно богато был содержан циркуляр, и только с начала попечительства Антоновича циркуляр по преимуществу [опять] становится сборником официальных распоряжений и срединного и местного учебного управления.

Самое время располагало людей школы к особой, усиленной деятельности. В крае подготовлялся и наконец вспыхнул Польский мятеж. И оказалось, что учебные заведения края скрывали в своих недрах наиболее значительный состав повстанских сил.

Нечего уже и говорить про студентов Университета. Еще задолго до восстания, еще при жизни князя Васильчикова в костеле распевались гимны воспалительного свойства, главными певцами которых были студенты. Гимназии, следя за своими учениками в костеле, посылали туда нарочно к народному праздничному богослужению надзирателей. Полиция наряжала усиленный полицейский дозор. Еще весною 1862 года на подъезде костела избит был студентами[-поляками] полицейский квартальный.

Отсюда, из Университета шла пропаганда в среду гимназий. Какими средствами не пользовались, чтобы добыть нужные деньги на дело восстания. В нашей Гимназии, в зале, раз был дан концерт, собравший народу полнехонькую залу. Было объявлено, «с благотворительною целью». Не обратили даже внимания, что главные руководители и исполнители концерта были поляки. Никому и в голову не приходило заподозрить истинную цель этого невинного удовольствия. Это было, можно сказать, накануне самого восстания, Великим постом 1862 года*.

Все в городе, по-видимому, было спокойно. Вдруг 23-го Апреля пронесся слух, что поляки бунтуют, вышли за город бандою. Посланы были казаки в погоню, мимо наших окон проскакали пожарные повозки, наполненные солдатами, так как вблизи города были уже стычки. К 10-ти или 11-ти часам к университетской клинике подвезен был раненный в стычке казак. В гимназиях в этот день недосчитались нескольких учеников, в нашей – тоже. По справкам оказалось, что и на квартире их не было.

Созван был во время перемены большой совет. Директор Андрияшев объяснил совету положение дел, отсутствие учеников-католиков и предложение решить об их виновности. Учитель Должиков стал возражать против виновности, прежде собрания улик и прочего. Андрияшев вышел из себя и закричал: «Я приказываю вам замолчать! Оправдывать, хлопотать об этом – есть признаки равнодушия к Русским интересам, которое в виду совершающегося не может дозволено русскому верноподданному».

---

* Описка автора или опечатка редакции: вооруженное выступление поляков в Киеве, после январского восстания, произошло в апреле 1863 г.

Такая вспышка и такое обращение с учителем, который только еще несколько слов не успел сказать, как получил приказание молчать, нас всех оскорбило; однако не такое было время, чтобы свои личные расположения принимать в расчет. Конечно, отсутствовавшие ученики-католики были исключены; но не только они оставили Гимназию. Учитель польского языка Козловский, учитель географии Рупневский были высланы из Киева на службу во внутренние губернии, как сопричастные к мятежным начинаниям. Из 2-ой Гимназии выслан учитель французского языка Малерб.

Преподавание польского языка был повсеместно прекращено навсегда. И Андрияшев имел неудовольствие истреблять польские книги, которыми он так заботливо снабдил ученическую библиотеку вскоре после своего назначения инспектором. Благодарение Богу, этим и кончилось в киевских гимназиях. С первых же дней [после окончательного подавления масштабного мятежа, осенью 1863 года] все пошло своим чередом и ничто не мешало правильным занятиям. Много хуже, беспокойнее, мятежнее было по провинциальным гимназиям края. В Житомире, рассказывали, ученики на площади водрузили траурный крест и тут пели революционные гимны.

В Немирове особенно было тревожно. Начальство и учителя получали письменные угрозы смертию; наконец, в дверях главного входа нашли все матерьялы к поджогу, который, кажется, уже и был учинен, но вовремя усмотрен. По распоряжению Витте, для производства следствия по [Немировской] гимназии был командирован наш Андрияшев, как юрист. По возвращении он передавал много подробностей, но я ничего теперь не припомню.

В городе тоже все было спокойно, но арестов было немало. В начале Мая [1863 г.] я был на уроке у княгини Васильчиковой, оставлен обедать и после обеда сидел с прочими в гостиной. В это самое время послышалось особенное движение народа по улице Крещатицкой, и мимо окон прошла большая толпа повстанцев, окруженная казаками и уланами, кажется. Это была последняя, так сказать, уличная тревога в городе.

Вскоре затем съехавшиеся в Киев на съезд гости – учители русского языка и словесности выражали сетования на положение свое среди учащихся, в значительном большинстве по провинциям поляков, тревожную заботу о своей личной безопасности и вообще свое крайне тяжелое, мучительное положение представляли в тревожных отзывах. Один из них, Шелкович, тогда же возымел намерение оставить край и перевелся на Кавказ. По этому можно было судить, каково было вообще состояние воспитания в училищах края, как трудно доставалось честным труженикам школы что-либо сделать в интересах Русского дела и воспитания в их тревожном, всегда под страхом, положении!

А я в своей Гимназии мирно работал в этом самом направлении, и ничто не преследовало меня даже тенью грозящей опасности из-за угла за Русское направление, за православно-Русское делание. Тогда только я сознал свое великое счастие, и мелкие неприятности потеряли для меня всякое значение.

В 1864 году, по перемещении попечителя Витте на такую же должность в Варшаву, к нам назначен был на его место попечитель Виленского учебного округа, князь Ширинский-Шихматов. Он прибыл в начале Сентября и остановился пока временно, до приискания квартиры в городе, в квартире инспектора Гимназии, заняв две комнаты. Еще не видав меня, князь уже знал меня по моим сношениям с управлением Виленского округа.

Польский мятеж, особенно сильно разыгравшийся в Северо-западном крае, открыл глаза многим в России на печальное положение дел в крае, особенно на печальное положение православной церкви и православно-народной школы. В издававшейся в то время в Москве газете И.С. Аксакова «День» печатались корреспонденции из края, взывавшие к русским людям о помощи православному духовенству и народно-русской школе присылкою, между прочим, русских книг и церковно-богослужебных книг и утвари.

После усмирения мятежа правительство принялось за образование школ народных в крае, а попечитель округа князь Ширинский-Шихматов вложил в это дело всю свою душу, умев приискать себе и дельных помощников, в числе которых особенно отличался [Василий Петрович] Кулин, окружной инспектор. Я в то время получил из редакции «Руководства для сельских пастырей» до 500 экземпляров моей статьи «Впечатления пасхального богослужения», напечатанной в этом издании тотчас после праздника Пасхи, и 400 экземпляров послал к этому Кулину для рассылки по училищам края.

Вскоре я получил благодарность за пожертвования от попечителя округа кн. Ш.-Шихматова. Одновременно с этим, чрез мои руки было выслано довольно книг в одно из православных братств при какой-то сельской церкви, в том числе Четьи-Минеи святого Димитрия Ростовского, оставленные мне Елисаветою Алексеевною Кублицкою, при отъезде ее в Петербург, о чем я выше писал, много и других книг, своих и пожертвованных, которые предварительно были переплетены в кантоническом военном училище по доброму вниманию к моей жертве инспектора этого училища М. Курдюмова, с которым я был хорошо знаком по [Кадетскому] Корпусу, где он, состоя учителем 2-ой Гимназии, тоже давал уроки. Мои отношения к народному делу в Северо-западном крае и к тамошним братствам познакомили меня с новым попечителем Киевского учебного округа, добрейшим князем Александром Прохоровичем Ширинским-Шихматовым.

Вскоре по приезде князь потребовал меня к себе и, после моего первого представления к нему, говорил со мною с полной откровенностью, как с человеком, в направлении которого он видел полное соответствие своим стремлениям.

В задушевной беседе он выразил, между прочим, что ему известно индифферентное отношение большинства учащихся к строгим задачам истинного воспитания в духе церкви и народности, но что пусть думают о нем, что хотят, он будет делать свое дело, как велит долг Русского и надеется иметь и во мне, между прочими, деятельного помощника.

Тогда же он сообщил мне, что немедленно приступает к открытию новых народных училищ в округе и прежде всего в Волынской губернии. Скоро князь увидел и узнал, что такое педагогическая школа при 1-ой Гимназии, и первым его делом было закрытие этой школы, что совершилось уже к концу 1864 года. Имущество школы, т.е. книги, библиотека, учебные пособия, было передано в хранение чиновнику особых поручений при попечителе Ардальону Калистратову; оставшиеся же слушатели оной (это вернее, чем сказать – ученики) были кое-как подготовлены с грехом пополам к выпуску и распределены по училищам, вновь открытым на Волыни. Закипела работа. И прежде всего приступлено было к открытию училищ на Волыни. Князь снарядил целую миссию на Волынь.

В числе избранных князем для изыскания местностей, удобных к открытию училищ и к склонению общества к их устройству, был и я. Здесь не буду распространяться об этом важном событии, о чем думаю подробнее сказать в другом месте.

{В ночь с 14-го на 15-е Сентября 1864 года угасла жизнь нашей доброй матушки, и мы с сестрою во второй раз и вполне осиротели. <…> Через несколько дней после кончины матушки приехал в Киев новый попечитель, князь Ш.-Шихматов. О первом свидании с ним я уже рассказал. Скоро я получил приглашение от него отправиться на Волынь, для предпринятого им открытия училищ. И тут-то началась для меня пора борения. Ехать на два месяца, оставив только что осиротевшую сестру одну, с прислугою.

Долго мы с сестрою думали-гадали, как быть; думал сидя дома, думал гуляя, и помню, раз, гуляя по бульвару, мы решили было отказаться от предложения, не подвергая свою жизнь опасности: впервые в жизни в зимнюю пору ездить по селам приходилось, при моем слабом здоровье, еще так недавно выдержавшем сильнейшее кровотечение. Я решился и пошел объявить об этом И.Я. Ростовцеву, которому поручено было князем вести все предварительные работы по этому предприятию.

Но Иван Яковлевич наотрез посоветовал мне не отказываться, успокоил меня и насчет поездки, представив, что везде я могу найти нужный покой и радушный прием у священников, и относительно сестры, что она остается не одна же, а в среде семейств – сослуживцев моих по Гимназии, которые позаботятся о ней, чтобы она не скучала; наконец, привел и то, как убеждение, что труд мой не останется без награды и вообще без последствий для дальнейшей моей службы.

С благодарностью тогда я принял это сердечное участие во мне Ивана Яковлевича, и мы с сестрою не раз, проходя тем местом бульвара, где состоялось наше решение об отказе, называли его «местом малодушия» и спрашивали себя: что бы хорошего вышло из того, если бы я отказался? <…>Я решил ехать; сестра охотно согласилась [остаться на время одна]. <…> К концу 6-ти недель по кончине матушки я уже готов был в путь и, выслушав заупокойную обедню в Флоровском монастыре, так называемую «беззвоницу», я 22-го Октября, в день Казанской Божьей Матери, уехал в Житомир, в сопутствии одного унтер-офицера, взятого мною для услужения – Матвея, в колясочке из Лавры, одетый в нарочно пошитый теплый ваточный казакин, в высокой барашковой шапке, впервые преобразившись в народного человека, впервые и на пути в народ. 5 Декабря только я возвратился в Киев, найдя, благодарение Богу, сестру мою здоровою и благодушною…}*

24 Октября [1864 г.] я уже ехал в Житомир [(административный центр Волынской губернии)], куда скоро прибыл и сам князь в сопровождении И.Я. Ростовцева – в качестве делопроизводителя, секретаря, казначея. Князь остановился вместе с Ростовцевым у Т.И. Пристюка, а я – у моего доброго, из детства знакомого, М.Г. Барского, учителя Житомирской гимназии, который тоже был избран в помощники к сельским обществам. Разделили губернию по уездам между посланцами от Министерства Народного Просвещения.

Мне дали уезды Заславский и Новоград-Волынский, Барскому – Житомирский и Овручский, Луке Рафальскому (тоже учителю Житомирской гимназии, кажется, уже бывшему в то время в отставке) – уезды Острожский и Кременецкий, Георгию Страшкевичу, смотрителю Теофильского дворянского училища, Староконстантиновский и еще какой-то. <…>

В непрерывных переездах провел я вплоть до 5 Декабря, когда, наконец, возвратился домой, изнеможенный, натерпевшийся всего по деревням и в пути, но увидевший свет впервые в моей жизни.

<…> В мое многонедельное отсутствие мои уроки занимал один из кандидатов-педагогов, или Кустовский или, не помню, двоюродный брат мой Гр. Богатинов, теперь учитель Петровской гимназии. По приезде я испросил себе еще дней десять отпуску от преподавания для составления подробного отчета об исполнении возложенного на меня поручения. Извлечение из отчета помещено в Циркуляре по Управлению Киевским Учебным Округом, также в выдержке в «Киевлянине» и отдельною брошюрою «Первые училища на Волыни, открытые при содействии Министерства Народного просвещения в начале 1865 года».

По представлении отчета я получил формальную благодарность князя за исполнение поручения и одновременно имел предложение принять в свое ведение как библиотеку бывшей педагогической школы, так и склад учебников и книг – для рассылки по училищам. В начале 1865 года я принял и то, и другое.

---

* Сей абзац был опубликован в №11 «Русского Архива» за 1899 г., практически в конце воспоминаний о киевском периоде. Разницу в два дня по дате отъезда Н.Д. Богатинова в Житомир – в разных местах его воспоминаний – отнесем к уже ослабевшей памяти.

{В 1865 году нам пришлось расстаться с своею удобною квартирой в здании Гимназии. Князь Ш.-Шихматов пожелал, по примеру своих предшественников, поместиться в здании Гимназии, и нам предложено было искать квартиры. Страшно были поражены мы с сестрой этою вестью: таскаться по квартирам мы не привыкли, всюду жили подолгу. А тут точно в чужом городе. Да и вдали от церкви, да и от Гимназии, быть может тоже далеко, и между чужими людьми. С своею скорбию я обратился к князю, прося вникнуть в наше положение и предложить директору Гимназии, дать нам помещение во флигеле Гимназии, где тогда открылась свободная квартира.

Мое ходатайство было уважено, и я получил возможность устроиться, хотя уже с меньшими удобствами, в новой квартире, во флигеле Гимназии, за ту же цену – 200 руб. в год, с казенными дровами и водою. А В.И. Лучицкий должен был уйти из Гимназии, М.А. Тулову отвели квартиру в 3-м этаже, в соседстве с канцелярией попечителя.

Как мы были счастливы. Как благословляли Бога за эту великую к нам милость Его! Флигель в расстоянии сажень 10-ти от здания, близко и в церковь, и мы в своей учительской среде, среди людей, живущих общими интересами. Здесь мы и прожили целых девять лет, с Июля 10-го 1865 г. до 3-го Сентября 1874 г., когда уехали в Екатеринослав.}*

<…> Вечером [(20 Октября 1865 г., по завершении еще одной командировки)] я был уже дома, со страхом и трепетом проехав ночью чрез Житомир, где в то время холера порядочно свирепствовала. Вечером же я спешил с личным докладом к князю и чтобы проститься с ним, так как на другой день рано утром был назначен отъезд его в Петербург.

Из тех полномочий, какими я был облечен при моей командировке, можно видеть, что князь питал ко мне полное доверие. Незадолго перед этим он приказал директору представить меня к награде орденом Св. Анны 3-й степени, помимо ордена Св. Станислава 3-й степени, что тогда можно было сделать. Такое близкое отношение мое к князю не скрылось от людей, которым направление деятельности князя – строго-православно-народное не нравилось.

В то время в Киеве издавался юмористический, карикатурный журнал. Издателями или издателем (не знаю, один или несколько) приготовлен был карикатурный листок, на котором князь Ш.-Шихматов изображен был архиереем, а по сторонам его я – архимандритом, кажется, Андрияшев – тоже, и подписана из одного псалма переделка, вроде этого: «Андрияшев – крепость главы моея, Богатинов – полон упования моего»… Я не видел сам этого листка, видевшие же передавали и рисунок, и подпись.

Цензура не дозволила, конечно, издание листка; однако из этого можно заключить, как иным не по нутру была деятельность князя, и особливо там, где незадолго до него (при Витте) можно было таким воспитателям как Рупневский, занимать учеников искусственным маскарадом в дни Великого Поста… <…>

<…> Еще в 1867 г., к осени, князь Ш.-Шихматов был переведен попечителем в Московский Учебный Округ. И когда я возвратился из 3-месячного отпуска в Самару для лечения, я уже не застал его в Киеве. Новый попечитель, Платон Александрович Антонович, приехал в Киев уже поздненько, кажется, что в Феврале 1868 года. Все время, с отъезда князя до прибытия Антоновича, округом управлял М.А. Тулов, помощник попечителя. Князь Ш.-Шихматов, по выходе в отставку Михневича, избрал себе в помощники М.А. Тулова. Трудно объяснить причины этого избрания.

---

* Аналогично: сей абзац был опубликован в №11 «Русского Архива» за 1899 г.

М.А. Тулов – недоброжелатель Н.Д. Богатинова

Князь не мог не знать, что Тулов составил себе славу украинофила. Еще когда он знакомил князя с положением дела народного образования, он, в звании окружного инспектора, представил ему приготовленные к изданию картины для наглядного обучения, из быта малороссов, представил ему отпечатанные на казенный счет Байки Глебова на малороссийском языке*. Наконец, из дел канцелярии князь знал про знаменитое донесение из села о пропаганде неверия «неким Туловым».

Князя, как человека деятельного, вероятно к этому избранию привела мысль: М.А. Тулов, как старый служака, отлично знал округ, и положение, и состояние учебных заведений, почему в этом отношении и обещал деятельного помощника в себе князю. Однако, избирая М.А. Тулова, князь нисколько не стеснился дать мне, как заведующему книжным складом народных училищ, где хранилось еще до 500 экземпляров Баек Глебова, приказание – все до единого экземпляра этих Баек сжечь, как вредное издание, которому не должно иметь места в народном училище, что и было исполнено мною. Только ради смеха я оставил на память себе одну эту, истинно смехотворную книженку, читая которую на исковерканном малороссийском языке, нельзя не смеяться…

М.А. Тулов не особенно долюбливал меня. Ему не могло нравиться мое направление. Когда я по делам склада народных училищ бывал у него, он никогда не приглашал меня сесть, хотя иногда и долго приходилось говорить. Ну и сам стоял, а посадить не мог. Вообще он был очень холоден ко мне. Быть может, тут и Байки Глебова виноваты. Малейшей ошибки, обмолвки с моей стороны было для него довольно, чтобы представить меня в дурном свете.

Раз он был на уроке у меня. Шла речь о правописании слов с буквою ѣ [(ять)]. Держась объяснений Павского и других**, я говорил ученикам: если в слове слышится два звука е, то тот, который произносится протяжно, если только он коренной, пишется через ѣ, привел и примеры: «желѣзо», «вѣтер» и прочие. Тулов, направляясь мимо меня уже к выходу, предложил мне вопрос: а как, держась этого объяснения, нужно писать слово «телѣга»? Я, с ослабленным от работы вниманием, отвечал: после т – ѣ [(т.е. «тѣлѣга»)]. Тулов ничего не сказал, поклонился и ушел.

Это было в период страшного нервного расстройства, которое я переживал с 1866 по 1870 год, когда весьма часто на уроках я заговаривался, искажая слова, искажая фамилии учеников, заминая слова и прочее.

---

* Глебов (Глибов) Леонид Иванович (1827-1893), поэт-баснописец. В 1855 окончил Нежинский лицей. Был учителем гимназии. Первый сборник Глебова «Стихотворения» на русском языке вышел в Полтаве в 1847. Собрания басен «Байки» выходили в 1863-м и 1882 году.

** По-видимому, речь идет о фундаментальном труде протоиерея Герасима Петровича Павского – «Филологические наблюдения над составом русского языка» в 4-х томах (1841-1850).

Вскоре после этого появилась в «Киевлянине» передовая статья о неудовлетворительности положения в преподавании словесности и русского языка в гимназиях. В этого время я исполнял должность преподавателя словесности в высших классах, вместо вышедшего в отставку В.И. Лучицкого. Никогда у меня на уроках словесности Тулов не был. Но вот в статье этой вставляется такое приблизительно место: «Есть учители, которые берутся не за свое дело, преподавать и словесность и … а если поколупать хорошенько их знания, как они окажутся бедны, недостаточны…». Так как статья явилась вскоре после моей обмолвки, то я все подобные намеки прямо отнес к себе.

<…> Вместе с назначением [с подачи М.А. Тулова, при новом попечителе учебного округа Антоновиче, бывшего воспитателя Полоцкого кадетского корпуса] И.Я. Посяды [директором учительской семинарии, на каковую должность я имел надежды ранее рассчитывать,] я был облегчен немало освобождением от заведывания библиотекою педагогической школы и книжным складом народных училищ: библиотеку и все к ней относящиеся учебные пособия я передал Посяде, а книжный склад – директору Андрияшеву, который с того времени, по соглашению с управлением округа, принял на себя обязанность рассылать по училищам учебные пособия из своего книжного магазина, открытого им в помещении 1-й Гимназии, при редакции «Киевского Народного Календаря».

Он стал издавать его еще с 1864 года, постоянно более и более расширяя свою издательскую деятельность и придавая ей характер вполне торгового предприятия.

Таким образом, и положен был конец самостоятельному существованию книжного склада при канцелярии попечителя округа, до того времени державшегося только бесплатным исполнением обязанностей заведующего книжным складом.

Сданы были мною и библиотека, и книжный склад, и никому и в голову не пришло поблагодарить меня за труд заведывания с 1865-го по конец 1869 года, точно дело мое состояло в том, чтобы только держать у себя ключи от комнаты и шкафов, и между тем много, много дорогого времени да и здоровья (в зимнее время комната вовсе не отапливалась) стоил мне этот безмездный труд.

Однако все же служба моя не была лишена поощрений по Гимназии. В 1867 году, для предпринятого мною лечения кумысом, мне было выдано пособие, кажется в 300 рублей, и впервые отпуск на 3 месяца; затем, в этот же период времени до 1874 года, я награжден орденом св. Станислава 2-й степени, а со введением нового устава гимназий получил высший оклад жалованья за 12 уроков [в неделю] – 1250 рублей.

Кстати упомянуть, что от Гимназии я получал за свой особенный труд и другие пособия, достаточно вознаграждавшие мою служебную деятельность: 2 года по введении устава я исполнял должность секретаря педагогического совета, получая за этот труд по 120 руб. в год, 2 или 3 года был классным наставником, получая по 160 руб., за чтение письменных ученических упражнений получал 100 руб. и сверх того – дополнительный процент, уж не помню в каком размере, за службу в Юго-западном крае и еще по 60 руб. [в год] за каждый дополнительный сверх 12-ти урок [в неделю], которых тоже было у меня, кажется, до 6-ти.

В материальном отношении я был совершенно обеспечен. В дополнение к этим средствам раз я воспользовался жалованьем учителя словесности, в течение почти полгода за исполнение его должности – после выхода в отставку В.И. Лучицкого и до назначения Д.А. Синицкого, кажется, до 500 руб.; точно так же после выхода Лучицкого в отставку я был приглашен участвовать в испытательном комитете при попечителе округа, для производства испытаний на звание учителя уездного, городского, приходского и сельского училищ и домашних учителя и учительниц, что тоже приносило мне в год, кажется до 180 рублей, занимая относительно немного времени: 2 раза в неделю от 6-ти до 8-ми, редко до 9-ти, часов [вечера], с 1-го Сентября по 1 Мая.

Новый попечитель округа [Антонович], хотя и не скоро, все же узнал меня и оказывал мне заметные знаки своего внимания. Впрочем, дело началось было у меня с ним очень дурно. Не помню когда, в 1868-м или 1869 году, он пришел раз на приемный экзамен, производившийся тогда в актовой зале Гимназии, побыл несколько и, уходя, позвал к себе на квартиру меня и другого учителя – Федора Леонтьевича Стефановича.

Мы недоумевали, что за причина [вы]зова, но скоро дело разъяснилось.

Еще с 1864 года, т.е. со времени поездки на Волынь, я стал носить бакенбарды, к чему особенно меня привели сильные зубные боли, к ослаблению которых кто-то из знакомых посоветовал запустить бакенбарды. Сначала я носил их небольшие: затем, страшно тяготясь бритьем, которое я вовсе не умел производить, постоянно режа себе щеки, подбородок, не умея вовсе бриться и даже держать бритвы и обращаться с ними как должно, я запустил бакенбарды побольше, обривая только усы и под губами – верхний подбородок.

<…> Волосы же у меня были черные-пречерные, густые, все лицо заросло волосами и только вокруг рта – чистое место, да и то даже я не брился, а чаще всего только ножницами остригался. Иногда князь Ширинский-Шихматов, встречаясь со мною в коридоре, замечал: «Какие у вас густые бакенбарды, все лицо заросло!», но этим и оканчивалось дело. Да, кажется, я не все нарушал законы: нося большие густые бакенбарды, я все же, как гражданский чин, брил усы и верхний подбородок, внизу же волоса так расчесывал, что, действительно, выходили бакенбарды, а не борода. И вот эта-то моя богатая борода, подбородок и обратили внимание Антоновича. [Учитель] Стефанович тоже, как и я, делал: носил бороду, обривая усы.

Вошел Антонович, сразу резко стал говорить, что, вместо того чтобы в звании учителя подавать пример исполнения законов, мы, напротив, своим примером учим неповиновению законам Империи. Я на это заметил: «Я так ходил при предшественнике вашего превосходительства, и он не видел в этом нарушения закона. Поэтому, не зная, при каком способе ношения бакенбардов нарушается закон, осмелюсь просить ваше превосходительство указать мне, какого размера бакенбарды я могу носить».

Не успел я еще кончить своего слова, как Антонович разразился гневом: «Вот я вам укажу, я тотчас уволю вас из службы за грубость. Что же я должен вам – циркулем отмеривать ваши бакенбарды?». Я поспешил извиниться за, может быть, неосторожное выражение, просил простить, что не так высказался; именно имев в виду, действительно, разъяснить себе, как же я могу носить бакенбарды, если не могу так [как сейчас] носить, хотя так же я носил при Ширинском-Шихматове и ничего, но носить я должен [из-за болезненных зубов]. Прошла вспышка, и Антонович отпустил нас, пригрозив, что «этого разговора он не забудет». И однако, благодарение Богу, забыл.

Но он переменил о мне мнение к лучшему. Вскоре стали у нас собираться комиссии для составления новой программы по русскому языку в низших классах (эти бесконечные комиссии, которые в течение моей 19-летней учительской службы собирались раза четыре), под председательством помощника попечителя Тулова. Тяжелы были, даже невыносимы, эти комиссии для меня. Тулов дозволял по своему либерализму курение; комната небольшая, учителя обеих гимназий, русского, латинского и новых [иностранных] языков; дым страшный, к концу заседания голова страшно разболится.

Помню, одно заседание Тулов открыл таким вступлением: “Рассказывают, что во время Дунайской кампании погонщики обоза, при подъеме в гору где-то в Молдавии, из наших южнорусов, когда все их усилия побудить лошадей или волов везти подводы, нагруженные войсковыми вещами, истощились, подошли к заведующему обозною частью с низким поклоном и просили позволения «лаятыся». Позволение дано; посыпалась брань на животных, и подводы взъехали в гору. Так и я, в интересах общей пользы, прошу позволения в вашем собрании лаятыся, т.е. критически отнестись к некоторым непорядкам”. Как он «лаялся», уже вовсе не помню.

В одно из таких общих заседаний комиссии пожаловал и Антонович. Шла речь о программе для первых трех низших классов гимназии по русскому языку.

Долго, много говорили; я все большею частью молчал, видя всю бесплодность этого говорения, потом с своей стороны предложил проходить грамматику русского языка концентрически: в 1-м – возможно обстоятельно, в главнейших чертах, всю грамматику; во 2-м – уже делать дополнения того, что пройдено в 1-м; и в 3-м классе – вполне и окончательно. Я представил образец такого распределения.

Мое мнение было принято, и поручено было мне и составить такую программу. Уходя по окончании заседания, Антонович подошел ко мне, подал руку и сказал: «Вы все большею частью молчали, но сказали самое дельное из того, что я слышал здесь за все заседание». Когда к нему обратился князь Кочубей с просьбою посоветовать учителя для занятий русским языком – с его воспитанником, неким Гриценком, Антонович прямо послал его ко мне, объяснив: «Если он не научит, то уже никто не научит». Так передано было мне тем лицом, в присутствии которого шел разговор.

Когда я раз, узнав об ожидаемом выходе в отставку инспектора Острожской гимназии (тогда еще прогимназии, преобразованной из дворянского уездного училища), просил Селина, моего добрейшего профессора, попросить о мне Антоновича, с целью обратить на меня внимание и предоставить мне это место, Селин, дождавшись случая, исполнил мою просьбу.

Он говорил о мне Антоновичу, не указывая впрочем на Острог, а так вообще о мне, что пора бы меня и двинуть несколько повыше, на это Антонович заметил, что он этого не сделает. – «Почему же?» – спросил Селин. – «Да если я буду трогать хороших, опытных преподавателей, то что же выйдет с учением?» Когда в 1873 году министр народного просвещения граф Толстой посещал и нашу Гимназию, то в течение 3-х или 4-х дней ни разу не побывал у меня [на уроке]; случилось однако встретиться с ним на парадной лестнице, когда он шел с Антоновичем в Гимназию, а я, кончив свои уроки, из Гимназии. Антонович представил меня графу и сказал: «Это из старейших и лучших наших учителей».

Граф подал мне руку и выразил сожаление, что не мог быть на моем уроке по недостатку времени. Антонович неоднократно бывал у меня на уроке, и один, и с посетителями, раз с членом Совета министра народного просвещения Вороновым*, который уходя выразил мне полное удовольствие и одобрение; другой раз как-то – с какими-то приезжими чехами (два или три человека), которых привел на мой урок, чтобы показать приемы хорошего преподавания русского языка. Вообще, в отношениях его ко мне и тени не осталось того неудовольствия, какое он так умело высказал мне по случаю моих бакенбардов. Все позабыто было…

---

* Андрей Степанович Воронов родился в 1819 году. В 1860 г. был назначен на должность вице-директора департамента Народного Просвещения. В последние годы жизни был членом совета министра Народного Просвещения. Умер в 1875 г., в звании тайного советника.

<…> С введением нового устава 1871 года положение мое в Гимназии стало невыносимым. По уставу учитель русского языка в низших классах должен соединять в своем лице и учителя латинского языка, к 4-м урокам русского языка присоединяя 8-мь латинского языка. Итак, 8 уроков [в неделю] я должен убивать на зубрение латинской грамматики с маленькими детьми, на склонения, на спряжения, на формы. Положим, и здесь можно сделать много для умственного развития учащихся, осмыслять для них закон употребления этих форм по зависимости слов, но требования устава были невыносимо тяжелы и превышали силы малюток, 10-летних детей: от них требовалось не только знание форм, но и безошибочное их употребление в письменных работах.

Я внес в свое преподавание много труда, настойчивости и терпения, я заохотил детей с любовью заниматься учением, я сам с интересом вел дело, и даже письменные работы, при постоянном руководстве с моей стороны, обращенном главным образом к возбуждению внимания к делу, очень часто выходили весьма удовлетворительными; в случаях же ошибок ученик мог, подумавши, исправить ошибку, объяснить правило и прочее; словом, я был вполне доволен успехами своего класса, но глубоко и уже из собственного опыта убеждался, что большего требовать невозможно – от детей 10-ти лет

Всего этого было мало бездушному уставу: ученик должен был безошибочно перевести с русского на латинский, и только тогда он удостоивался повышения. Труды года, усердие в течение года, засвидетельствованные учителем, не привлекались во внимание, и комиссия, состоявшая из классиков высших классов, безжалостно ставила неудовлетворительные отметки, только принимая в расчет письменную работу учеников, которые в течение года шли вполне успешно. Ученики наиусерднейше занимались, и будь они спрошены, дали бы вполне удовлетворительное объяснение своих ошибок, только потому вкравшихся в письменный ответ, что это детская работа.

Вдруг из 40-ка учеников только 14-16 переводятся, а 26[-24] остаются в том же классе из-за письменных ответов! Легко ли бедным детям пережить это бездушное решение? Где же у них возьмется энергия к дальнейшему труду? Где же они возьмут то, чего не дает им их еще детская природа?.. Мало этого. Набрасывается тень и на способность учителя к своему делу: учитель не умеет учить, не знает сам своего дела; учитель виноват; веди дело иначе учитель – вышло бы лучше…

Невыносимо больно было видеть себя и своих учеников в таком ужасном положении, особенно при сознании, что лучше вести дело, чем я его вел, приложив к учению форм мертвого языка все выработанные мною в течение 18-ти лет приемы преподавания, содействующие легчайшему изучению форм языка, лучше вести дело нельзя, не убив окончательно духа детей строгостию требований…

А у меня дети любили занятия латинским языком, охотно и дружно работали; единицами и нулями не мучил я их, а только добивался твердого знания форм, как разнообразнейшими приемами преподавания, так и непременным исправлением сделанных ошибок. Дети дружно работали в классе, и ни одна минута не пропадала в этой дружной, общей работе. И после всего этого 26 учеников остаются в классе!..

Мало и этого. Директор Андрияшев, ни разу в течение года не пришедший в мой класс, дает в отчете о состоянии Гимназии неудовлетворительный отзыв об успехах класса, выражает неодобрение моим требованиям, не вдумавшись в их значение, и все это из слов и заключений инспектора Палиенка, который в последние годы под влиянием своей жены, имевшей причину к неудовольствию на мою сестру и настроившей и мужа к недружелюбному отношению ко мне, стал со мною в натянутые отношения и не задумывался сочинить какую-либо выдумку о моем преподавании, тоже ни разу не входя в мой класс.

<…> Преобладание классицизма, сухого, бездушного, жестокого, полагало предел моим стремлениям к живой деятельности в области воспитания, чрез посредство родного слова, ограничивало средства к воспитательному воздействию, ибо значительная часть уроков шла на латинскую грамматику. Словом, я навсегда должен был отказаться от счастия жить духом в своем учительском труде и обращался в простого учителя, изучающего латинские вокабулы да формы, «не мудрствующего лукаво», добиваясь лишь того, чтобы комиссия классиков, собиравшаяся экзаменовать учеников, нашла их способными, сверх своих детских лет, к безошибочному употреблению латинских форм в письменных ответах. И в этом поставлять всю цель своего труда!

Но добиться-то этого, я это уже испытал, было невозможно; а рассчитывать на снисхождение к детским слабостям членов комиссии классиков уже потому я не мог, что снисхождению этому мешали опять личные отношения. Я становился в положение подсудимого, а они являлись судьями, весы правосудия в руках которых очень наклоняло в одну сторону пристрастное отношение ко мне как к человеку, который был для них «спица в глазу» по пословице, и по многим причинам: я не знался с ними, не бывал в их обществе, не встречался с ними ни в клубе, нигде; жил особняком, сам с собою, в своем духовном миру, в своем труде.

Выносить на себе этот суд неправедный, который создал новый устав гимназий, породив в составе служащих дух партий, это тоже было немалою побудительною причиною постараться «уйти от зла и сотворить благо…». И я ушел, Бог помог мне уйти. <…>

С началом учебного 1874-1875 года я уже, в ожидании назначения, хотя и считался еще учителем, не ходил на приемные испытания, потому что все это время был болен; наконец 15-го Августа я совсем слег в постель, и в постели застала меня бумага попечителя Одесского округа о моем назначении в Екатеринослав, с предложением немедленно отправиться к месту новой должности.

Это было 18-го Августа. Сборы при моем нездоровье затянулись, и я только 3 Сентября с сестрою и своею слугою Александрою выехал в Екатеринослав, куда и прибыл 5-го Сентября. <…>

А.И. Маркевич*. Несколько слов о Н.Д. Богатинове // «Русский Архив», 1899, №12

Я хорошо помню Н.Д. Богатинова, так как был его учеником, поступив в 1-й класс Киевской I гимназии в конце Августа 1854 года. Дубницкого я уже не застал, и русский язык преподавал нам Постеловский [правильно – Постоловский – МК]. Чему он нас учил – не помню; но вспоминаю, что он заставил нас покупать какого-то серого вида и плохой печати брошюрку, им изданную, в которой было напечатано несколько первых стихов из «Фелицы» Державина, разделенных по стопам; стоила эта брошюрка, кажется, 7 копеек. За плохой ответ Постеловский бил ученика кольцом (на указательном пальце) по голове; говорили, что это больно; но я сам не испытывал; а видать – нередко видал.

Богатинов был невысокого роста, довольно плотный, шатен с несколько вьющимися волосами; лицо у него невыразительное, пожалуй бы, довольно красивое, если бы на нем не было множества прыщей. Ходил он медленно, говорил тихо и елейно, каждому слову пытался придать выражение.

---

* Известный историк Алексей Иванович Маркевич (1847-1903) в списках окончивших К. I Г. не значится. Зато значится Ипполит Иванович Маркевич (старший брат? – см. ниже), выпущенный в 1858-м с правом на чин 14-го класса. А.И. Маркевич прислал свои воспоминания в «Русский Архив» из Одессы (уже уволившись с должности экстра-ординарного профессора по кафедре русской истории Новороссийского университета, где ранее окончил свое высшее образование на историко-филологическом факультете).

Учитель он был прекрасный, и мы ему обязаны знанием языка в пределах гимназических требований и безошибочным правописанием; между тем уроки его были не трудны, подготовляться к ним почти не приходилось.

Особенно он заинтересовывал нас письменными работами, и мы охотно писали ему сочинения; я, например, помню, что написал для него сочинение еще в 1-м классе гимназии: изобразил весну по отрывку из «Евгения Онегина» («Гонимы вешними лучами»). В 4-м классе писались сочинения уже порядочные, а дальше – не знаю, так как ни теории словесности, ни истории русской литературы я у Богатинова не учился.

Охотно он читал нам отрывки из наших классических писателей; особенно любил Жуковского, многие стихотворения которого мы заучили; я помню, с каким чувством читал он рассказ о смерти Зораба и жалобах Рустема; мы плакали… Тем не менее Богатинов не пользовался у нас особенной симпатией, хотя именно хотел быть любим своими учениками. Он не искал среди них популярности, подобно Янсону; но видимо хотел стать с ними в близкие отношения, заслужить их доверие, и это ему не удавалось.

Его любили, как почти всех наших учителей – не больше; между тем Ф.Ф. Петрушевского (ныне известный ученый, профессор Петербургского университета), Рупневского и особенно Девьена мы любили гораздо больше, хотя Петрушевский вовсе не старался сблизиться с учениками, а Рупневский был даже грубоват и мог в запальчивости хватить ученика линейкой по спине (что я испытал на себе). Но Петрушевский, Девьен и Рупневский были люди большой умственной силы; гимназисты чувствовали ту бесконечную пропасть, которая лежала между знаниями своими и этих трех наставников, и беспредельно преклонялись пред их авторитетом. В Богатинове же, да и во многих других учителях того времени, чувствовались люди рядовые, знания, недавно усвоенные и недалеко ушедшие от знаний развитого гимназиста высшего класса. А молодость так чутка.

Богатинов упоминает, что он брал к себе в отпуск детей из пансиона, учеников 1-го класса. Я был в числе таковых. Помню, Богатинов взял меня и еще кого-то из моих товарищей в отпуск в субботу, после уроков, если даже не после обеда. Первым делом он повел нас к вечерне, потом мы напились у него чаю и часов до 9-ти разговаривали о том, о чем могли говорить дети: о своих родных да о гимназии; он же все время делал нам наставления. Сестры его я не помню, но мать была совсем простая женщина, типа киевской мещанки.

Припоминается, что я в разговоре сказал какое-то резкое выражение, кого-то назвал подлецом. Боже мой! Богатинов чуть не заплакал и стал меня стыдить; пилил, пилил без конца; я, впрочем, был из любимых его учеников.

Спалось нам у него хорошо. В воскресенье утром мы были с Богатиновым в церкви, пообедав очень скромно и неприхотливо, гуляли, а к 7 часам вечера он уже доставил нас в пансион. Словом, время мы провели у него скучновато. Потом он взял в отпуск иных пансионеров и т.д.; другие учителя этого не делали, разве ученик был их родственник или из знатной семьи.

***

Богатинов сообщает о приеме в Киеве императора Александра II, в 1857 году. И об этом крупном для Киева событии помнится мне кое-что не только слышанное, но и виденное; ограничусь дополнением к рассказу Богатинова.

Нам, гимназистам, показывали триумфальные ворота; показали как наш актовый зал, библиотека и другие комнаты были приготовлены для царского приема. Пансионеров, сколько я помню, никуда не выводили из здания Гимназии, и мы из слуховых окон 3-го этажа смотрели на царский бал, хотя трудно было увидеть что-либо кроме громадной, в виде спирали, зеленой люстры с восковыми свечами.

Не удовлетворенный видимым, я пошел спать в дортуар и вдруг проснулся от чего-то холодного, брошенного мне прямо в лицо. Опомнился – оказался большой кусок мороженого; я стал его уписывать, но дело было интереснее. Гимназисты, после разъезда [царственных особ], пробрались в буфет, где нашли обилие благ земных, и начали пировать: старший брат мой, принявший в этом участие, вспомнил обо мне и отправился меня будить, захватив на всякий случай кусок мороженого. Конечно, мы тотчас же сбежали вниз и пристали к пирующим, не разбирая что нам приходилось есть и в каком порядке.

Я после мороженого захватил рябчика, потом какой-то сыр; мы что-то и пили. А затем вошел в буфет какой-то важный барин и сказал нам по-польски: «Прошу вас, господа, выпить за здоровие Государя». Тогда прислуга (не мешавшая нашему пиру) стала откупоривать Шампанское и угощать нас. Мы пили, кричали «ура!» Потом пили за угощавшего нас пана и т.д. Досиделись мы до бела света, и многие пошли в дортуары далеко не твердою поступью.

***

При печатании воспоминаний Н.Д. Богатинова в «Русском Архиве» некоторые фамилии прочтены неправильно: учитель, инспектор 1-й Киевской гимназии назван Пристичем, его фамилия была Пристюк. Вместо Постаневский надо – Постеловский; вместо Кулаковский надо – Куликовский.

М. Чалый. Вторая киевская гимназия (1852-1861) // «Киевская Старина», 1900, №№ 4, 6, 7-8[*]

<…> Еще в 1851 году, прослуживши Немировской гимназии 8 лучших лет моей жизни и узнавши, что во 2-й Киевской гимназии, за смертию учителя русской словесности Николаевского, открылась вакансия, я отправился к помощнику попечителя М.В. Юзефовичу проситься о переводе. Хотя впредь до приискания преподавателя туда был приглашен профессор А.И. Селин, но я, по совету инспектора Гренкова, рискнул попытать счастья.

Прихожу к генералу и прошу лакея доложить о себе.

– Пожалуйте! – буркнул тот не глядя на меня и указывая жестом по направлению к двери, ведущей на балкон.

Его Превосходительство только что окончил завтрак. Придерживая шпаженку, я отвесил поклон и вытянулся в струнку под самой стенкой.

– Здравствуйте! Что скажете? – спросил генерал, вытирая рот салфеткой.

– Осмеливаюсь утруждать Ваше Превосходительство покорнейшею просьбой о перемещении меня из Немировской гимназии во 2-ю Киевскую на вакансию учителя Русской словесности.

– Откуда вы взяли вакансию? Там читает профессор.

– Я полагал, Ваше Превосходительство, что профессор Селин исправляет эту должность временно, за неимением в виду лица, которое бы заняло вакансию.

– Да кто вам сказал, что профессор преподает временно? – спросил генерал, возвысив голос.

– Мне казалось, – ответил я смиренно, – что две должности, профессорская и учительская, в такой многолюдной гимназии как 2-я Киевская в одном лице несовместимы: одно исправление ученических сочинений, я знаю это по опыту, это такой труд…

– Не рассуждать! – зычным голосом крикнул генерал, – смотрите, пожалуйста, он хочет, чтоб я променял профессора университета на какого-нибудь учителишку!

---

[*] Воспоминания М. Чалого доступны в Интернете, как и другие страницы отсканированных киевским Институтом высоких технологий номеров журнала «Киевская Старина», по адресу: *iht.univ.kiev.ua/ru/library/all-journals*.

Разумеется, после такого комплимента мне оставалось только поскорей унести ноги от этого неприветливого господина.

И только через год после этой неудавшейся попытки, благодаря содействию того же Гренкова и его приятеля, всемогущего в округе А.А. Лазова, я наконец вырвался из ежовых рукавиц [директора Немировской гимназии] Зимовского и, оставив навсегда жидовское местечко, соделался обитателем богоспасаемого града. Прибыв на место в конце августа 1852 года, я счел долгом немедленно явиться к Михаилу Владимировичу [Юзефовичу]. Доложили.

– Просят в беседку, пожалуйста, – сказал мне тот же самый невежа-лакей, отворяя двери в сад.

Вхожу в беседку. Мой генерал сидит, как бог Пан, окруженный пышной растительностью.

– А, здравствуйте! вы уже приехали?

И он протянул мне руку, с которой я решительно не знал, что делать – брать или не брать?

– Прошу садиться!

– «Что за притча? – подумал я, не веря своим ушам, – что за метафора такая?»

А ларчик просто открывался: узнав об увольнении профессора [Селина] и о моем назначении на его место, он спросил Лазова:

– Алексей Алексеевич, что это все значит?

– Сам уволил и сам назначил другого, – ответил тот.

– «А-а, – сообразил генерал, – значит, с этим учителишкой нужно быть деликатней – он известен самому Бибикову».*

Директором 2-й гимназии был в то время богатый малороссийский пан Николай Аркадьевич Ригельман (это не единственный директор из помещиков: в Волынской гимназии был Трофимовский, в Черниговской – Бугаевский, в Каменец-Подольской – Вощинин), который до того числился на службе в канцелярии генерал-губернатора и, от нечего делать, путешествовал по славянским землям, да пописывал в московских славянофильских журналах. Бибиков на подобных субъектов смотрел глазами Наполеона I, называвшего их идеалогами [(идеалистами)], т.е. людьми негодными для практической деятельности, и потому, когда открылась вакансия директора во 2-й киевской гимназии, после отставки проф. [Саввы Осиповича] Богородского [в декабре 1848 г.], он предоставил ее Ригельману, из чего между прочим можно заключить, как легко смотрели на многотрудные обязанности педагога вершители наших судеб.

---

* Предысторию этого сюжета – см. в предыдущих воспоминаниях М.К. Чалого:

<…> В 1852 году <…> Дмитрий Гаврилович <…>, когда Лазов поднес ему к подписи бумагу, спросил, это что?

– Представление госп. Министру об утверждении в докторской степени проф. Селина.

– А, кстати. Что, он преподает еще где-нибудь кроме университета?

– Во 2-й Киевской гимназии читает русскую словесность.

– Долой его оттуда – он мне там детей попортит.

– Кого прикажете на его место назначить?

– Найдите сами, – отвечал генерал.

Идучи после доклада домой Лазов встретился на Крещатике с инспектором 2-й гимназии Гренковым.

– Что нового? – спрашивает инспектор.

– Есть и для вашей гимназии новость; велел найти учителя словесности. Не знаете ли вы кого-нибудь из желающих?

Так как Гренкову было известно о моем желании, то он и указал на меня, и я получил перевод в Киев. Божественный Александр Иванович [Селин] не мог мне простить своего увольнения. Узнав от Лазова, что Бибиков якобы сам меня назначил на его место, ученый муж был уверен, что я какими-то путями пролез к генерал-губернатору и добился перемещения. – «Пролаз», – прошипел профессор.

По приезде в Киев я не застал директора на службе: он прохлаждался в своих имениях, собирая дани многи с крестьян своих, хотя учение в гимназии давно уже началось (каникулы наши в то время продолжались всего один месяц: с 22-го июня по 22-е июля). Обязанности директора, в его отсутствие, исполнял инспектор Н.М. Гренков. Переночевав у своего земляка Т.И. Пристюка, тогда учителя 1-й Киевской гимназии, я на другой же день, по его указанию, занял довольно удобную квартиру у его сослуживца Ф.А. Токарского и немедленно приступил к преподаванию своего предмета.

Так как предместник мой, А.И. Селин, был не наш брат – чернорабочий учитель, а восторженный пенкосниматель-профессор, то мне, на первых порах, было довольно трудно управляться с многолюдными классами (в V классе в двух отделениях – 115 чел., в VI – 82, в VII – 58). Новые мои слушатели совершенно отвыкли от гимназического способа преподавания; им видно пришелся по вкусу университетский способ чтения лекций; роль их круглый год была совершенно пассивная: наслаждаясь красноречием обожаемого Александра Ивановича, они никогда не отдавали ему отчета в том, насколько ими усвоено прослушанное. Понятно, что мои «уроки», после профессорских лекций, пришлись им не по нутру.

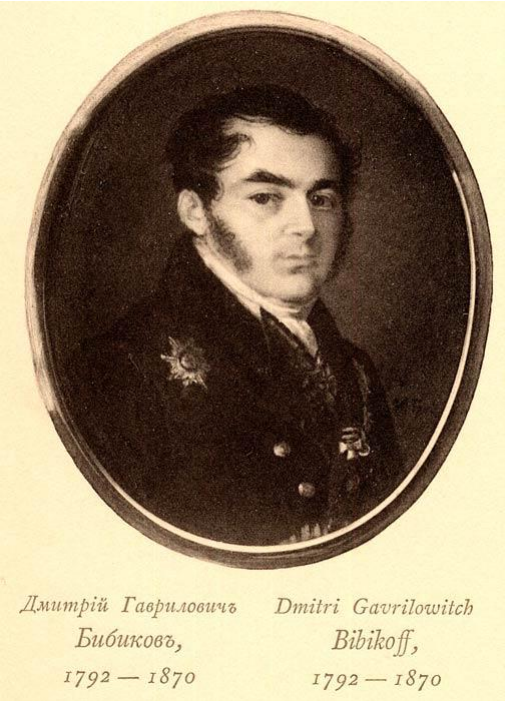
Пользуясь приятельскими отношениями к директору и к помощнику попечителя [М.В. Юзефовичу] и опираясь на свой авторитет как профессора, Александр Иванович знать не хотел никакой программы, безусловно обязательной для обыкновенных смертных, т.е. учителей, которые не смели отступать ни на иоту, а потому мне пришлось вколачивать весьма поверхностные обрывки сведений своих учеников в пределы гимназического курса.

А тут еще вернувшийся из деревни директор, недовольный увольнением профессора помимо его желания, не переставал настаивать, чтобы я познакомился с Александром Ивановичем и поучился у него преподаванию русской словесности, но я шел своей дорогой, следуя собственному методу, выработанному самостоятельной 10-летней практикой.

Результаты моего преподавания, как показали годичные, а особенно окончательные, испытания, превзошли мои ожидания. В качестве контролирующего ассистента на экзаменах в VII [(выпускном)] классе присутствовал и мой антагонист Селин, который тоже остался совершенно удовлетворенным ответами моих учеников. Все 58 человек получили отметки удовлетворительные, несмотря на то, что по предписанию Бибикова по русскому языку требовалась отметка 4. После этого директор предоставил мне полную свободу действия относительно моего преподавания.

<…> Поздней осенью 1852 года Киев праздновал великое событие – отъезд Д.Г. Бибикова за границу в четырехмесячный отпуск, из которого он уже не возвратился, перейдя на пост министра внутренних дел. Четырнадцатилетнее свое владычество над Юго-Западным краем (1838-1852) он сам охарактеризовал в речи, обращенной к дворянству трех губерний во время выборов, случайно совпавших с этим отъездом. Сознавая свою мощь сановный оратор в сжатом виде представил, конечно, с своей точки зрения блестящие результаты свое деятельности во вверенном ему крае; но дальнейший ход событий в жизни этого края далеко не оправдал смелых выводов грозного администратора.

Бибиков в роли попечителя учебного округа, не задаваясь никакими педагогическими вопросами, требовал от наставников средне-учебных заведений Юго-Западного края только одного – чтобы они польских детей сделали русскими, преданными Царю и отечеству. В силу таких требований педагоги очутились в исключительном положении: к их деятельности чисто научного свойства примешивались требования, не имевшие ничего общего с наукой.



Но что сделали наши гимназии для русского дела в ополяченном крае? Заключалась ли хоть малая доля правды в широковещательных донесениях разных Зимовских, Яковлевых* и других обрусителей?

А ведь донесениям этим Дмитрий Гаврилович верил бесконтрольно, награждая их крестами и деньгами. Мало того, на основании подобных донесений он вводил в заблуждение правительство, насчет верноподданнических чувств польского населения.

Так, во всеподданнейшем отчете за 1848 год он между прочим доносил:

«*В учебных заведениях стал развиваться русский язык, русские начала и желания служить, почему учебные заведения не представляют никакой опасности, и последствия эти важны в настоящее время, а в будущем следует ожидать самых прочных результатов в отношении образования польского юношества*».

А будущее, увы! зло насмеялось над этим пророчеством дальновидного администратора… Жаль, что он не дожил [в ранге попечителя] до злополучного 1863 года.

Да, не добром помянули Бибикова наши педагоги.

---

* По-видимому, речь идет об Аристархе Александровиче Яковлеве, который в 1840 г. был назначен директором Винницкой гимназии и под чьим руководством в 1844-м началась педагогическая карьера М.К. Чалого:

<…> Образ жизни нашего премьера ничем не обнаруживал представителя ученого сословия, а тем паче опытного педагога, обязанного, в силу данного ему полномочия, руководить учебно-воспитательным делом. Что он там писал в своей канцелярии, куда приходил два раза в неделю в почтовые дни, обыкновенно в халате и с трубкою в зубах – об этом знало лишь окружное начальство и, судя по получаемым им наградам «за отличие», оно, должно полагать, было совершенно довольно его службою. Что же касается нас – подчиненных, то мы видали своего директора только на вечерах у семейных учителей, в качестве почетного гостя, да по воскресеньям у него за обедами, на которые обыкновенно по праздникам приглашались холостые педагоги госпожей директоршей [Варварой Федоровной]. В продолжение семимесячной моей службы в Виннице я видел его у себя на уроке всего один раз и то по случаю вступления в должность новоизбранного [почетного] попечителя [гимназии], которого следовало хоть один раз за все трехлетие поводить по классам.

<…> Неужели, спросит читатель, в округе ничего не знали, не ведали о том, что творилось по гимназиям? Уже ли не существовало никакого контроля, вроде внезапных ревизий? Как не быть! Были и ревизии, но директора [А.А. Яковлева] трудно было застать врасплох, так как у него в канцелярии попечителя [Киевского учебного округа] были на жалованьи доброжелатели, всегда готовые своевременно известить о грозящей опасности. – ***Воспоминания М.К. Чалого. «Киевская Старина», 1894, №11***

«*Не говоря уже о его гордости и надменности, в этом человеке не было никакого чувства, а какая-то убийственная холодность и равнодушие к судьбе ближнего*» – см. «Старая и Новая Россия», 1878, №12, Характеристика Титова.

Один из учителей Киевской гимназии, обремененный большим семейством, рискнул попросить у попечителя прибавки к весьма скудному жалованью.

– Вишь, старый, чего захотел, – пошутил Дмитрий Гаврилович, – а если бы я велел всыпать тебе 25 горячих, попросил бы ты прибавки?

Ошеломленный такой жестокой шуткой педагог чуть было не рехнулся тут же, в приемной. Шатаясь как пьяный вышел он на свежий воздух и, стоя на крыльце между двумя часовыми, долго не мог прийти в себя, повторяя бессвязно услышанные им от генерала слова: «всыпать… 25?.. мне? Я – солдат? Нет… вот и шпага и треуголка… Я коллеж…»

Когда огорченный старик отправился искать сочувствия своему горю к генералу штатскому [(помощнику попечителя М.В. Юзефовичу)], то сей последний утешал его такой сентенцией:

– Так вам и нужно! Не лазьте по пустякам к Генерал-Губернатору, минуя ближайшее начальство, Что ж, что вы коллежский асессор? По моему крайнему разумению, учителям не следовало бы давать таких больших чинов. Ну, скажите на милость, к чему послужил ваш чин? И что за важная птица – учитель? C'est une métier [(Это – ремесло)]».

Жалованья, правда, прибавили классику, но лучше бы с голоду пропасть, чем испытать такое тяжкое унижение за 23-летнюю усердную и беспорочную службу. O tempora, o mores! [(О времена, о нравы!)] – повторял идучи домой униженный и оскорбленный наставник юношества.

Суровый бибиковский режим заразил манией величия и других администраторов – от смотрителей уездных училищ до помощника попечителя включительно. Вот тому доказательство. Помимо просьб о перемещении, каждый проезжавший через Киев учитель обязательно должен был явиться к начальнику в полной парадной форме и для того должен был везти с собой, на почтовой перекладной за 200-300 верст, мундир, шпагу и треуголку.

<…> За несколько часов до своего отъезда Дмитрий Гаврилович показал пример повиновения начальству на гимназистах. После маршировки на гимназическом плацу, с инспектором Гренковым во фланге, он скомандовал детям:

– Ложись! – и обе гимназии, как один человек, полегли. – Храпи! спи! вставай! – и все в точности исполнено.

– Вот как нужно повиноваться начальству! – обратился он поучительным тоном к представителям дворянства трех Юго-Западных губерний, присутствовавших при муштре, в мундирах.

Начальником края назначен волынский губернатор, князь Илларион Илларионович Васильчиков. В этой прощальной речи своей к дворянству Бибиков выразился о своем преемнике такими словами: – «Вместо меня вступает в управление тремя губерниями князь Васильчиков. Это человек благороднейших чувств; он исполнит превосходно все тяжелые обязанности того тяжкого бремени, которые я несу 15 лет».

К Васильчикову перешло и номинальное управление Киевским учебным округом; говорю – номинальное, потому что в сущности делами округа продолжали заправлять прежние воротилы: Юзефович и Лазов. За три года своего управления князь был только один раз во 2-й гимназии, тотчас по приезде своем в Киев. В сопровождении помощника он обошел все классы, отнесся к нашему педагогическому персоналу весьма ласково и благосклонно, так что мы увидели в нем более именитого посетителя, чем начальника.

Суровый бибиковский режим миновал навсегда; забитое и загнанное учительство вздохнуло свободнее; директоры нас перестали пугать попечителем как букой; даже громовержец Михаил Владимирович [Юзефович] должен был изменить свое обращение с подчиненными на более вежливый тон. Гуманное отношение князя к личности каждого служащего сдерживало буйные инстинкты власть имущих, не знавших до того никакого удержу.

Попечительство князя Васильчикова не ознаменовано ни одним важным распоряжением ни по учебной, ни по воспитательной части. Назначения на должности, перемещения, увольнения, награды шли не от попечителя, а от Юзефовича и Лазова; он только подписывал то, что ему подкладывали.

Тем не менее в его управление округом случилось событие, по поводу которого князь проявил свою самостоятельность: это увольнение директора Немировской гимназии Зимовского. В конце 1852 года с Зимовским опять случилась так называемая неприятная история: его опять побили.

Дмитрий Гаврилович за оскорбление действием наградил в первый раз потерпевшего орденом Анны 2-й степени, несмотря на то, что директор был кругом виноват, вызвавши своим жестоким обращением дикий поступок ученика Вольского [*]; тут Егору Яковлевичу немало помогли своим предстательством Юзефович и [инспектор казенных училищ] Могилянский. Теперь же князь не принял от побитого никаких объяснений и, отвергши заступничество Могилянского, велел Зимовскому подать в отставку. И поделом!

<…> До открытия повсеместно по всей России женских гимназий и прогимназий немногие институты благородных девиц были единственными заведениями, удовлетворявшими потребностям образования русской женщины.

---

[*] Сей эксцесс описан в воспоминаниях Иосифа Акимовича Самчевского (1799-1887), служившего, в том числе, инспектором в Немировской гимназии, с октября 1848 года, имея уже 25-летнюю выслугу («Киевская Старина», 1894, №6):

Ученик [5-го класса] Вольский, сын русского и польки, был чрезвычайно ленив и дерзок. Когда после многократных взысканий он нисколько не исправлялся, Зимовский велел мне написать письмо к отцу его, становому в городе Балте, чтобы он взял сына из гимназии, под опасением исключения из нее, но пока письмо мое дошло по адресу, ученик Вольский совершил уголовное преступление. 13 ноября [1848 года], в воскресный день, я <…> пришел прямо в столовую общей квартиры, где ученики уже обедали. В средней столовой я встретился с Зимовским и, раскланявшись, мы пошли в противоположные стороны. Вскорости послышался необыкновенный стук, и я, думая, что упала скамья или разбита посуда, спокойно возвращался назад и опять встретился с Зимовским, который с бледным лицом и держась рукою за поясницу свою, молча рукою указал мне в крайнюю столовую, в которую вошедши, я увидел всех учеников, вставших из-за стола, и перед ними Вольского, державшего в руке большой перочинный нож. Здесь мне сказали, что Вольский сидел за столом, облокотясь на руку, и когда Зимовский, отдернув его руку, приказал ему сидеть прилично, он облокотился по-прежнему, когда же Зимовский стал опять поправлять его, Вольский, вставши из-за скамьи, ударил Зимовского в лицо, а когда последний велел схватить его, то Вольский, вынувши из кармана перочинный нож, отвернул большое лезвие его и ударил Зимовского в поясницу. Надзиратель Мальцев бросился к Вольскому, который нанес ему тем же ножом две раны. К счастью, Вольский сам бросил нож свой на пол, и я велел служителям схватить преступника, вести его прямо в карцер, куда и сам пошел за ним, взяв с собою другого надзирателя (Мальцева повели в квартиру), и приказал туда же позвать гимназического лекаря, чтобы освидетельствовать, не сошел ли Вольский с ума. В карцере на вопрос мой, как он осмелился сделать такое преступление против директора, он отвечал: «Пускай он меня не трогает, я его убью!». Лекарь объявил мне, что никакого сумасшествия в Вольском не находит. <…> В это время генерал-губернатор и вместе [с тем] попечитель Бибиков находился в Петербурге, куда из округа отправлен был мой рапорт, и мы полтора месяца ожидали, чем окончится дело о Вольском. <…> 23 декабря получено в гимназии решение дела Вольского, которого император Николай Павлович повелел высечь розгами пред всею гимназиею и отослать барабанщиком в Оренбургский пехотный корпус.

В итоге «преступник Вольский», 24 декабря, незадолго перед праздником Рождества Христова, получил 25 «горячих» в зале Немировской гимназии, где были выстроены все воспитанники, по назначению жандармского полковника из Каменец-Подольского Скворцова и чиновника особых поручений из Петербурга Евгения Петровича Балабина (зятя министра Уварова). При экзекуции присутствовал и присланный из Киева (по-видимому, от лица попечителя округа) директор 1-й гимназии Любимов.

Носились слухи, что на пути [из Немирова] поляки Вольскому давали деньги и что будто бы Вольский в Оренбурге впоследствии был произведен в офицеры, на самом же деле Вольский и там, по своей дерзости, ударил офицера и за это опять был высечен розгами, после чего, конечно, не мог уже быть офицером.

<…> Во время тех же Рождественских праздников прибыл из Киева сочувствовавший и постоянно благоприятствовавший Зимовскому друг его, инспектор казенных училищ Могилянский – для разведок на месте о деле Вольского и, может быть, для разузнания о действиях Балабина по этому делу. <…> После описанного выше столкновения Зимовского с Вольским он получил пощечину от квартировавшего у него ученика, которого секретно от всех сам посадил в карцер, и тем дело кончилось; в другой же раз, когда ученик нанес ему подобный удар, жандармский полковник донес о том высшему начальству, после чего Зимовский переведен был в Орловскую гимназию, где опять случилось с ним неблагополучие: письмоводитель его промотал казенные деньги – пять тысяч рублей, которые Зимовский должен был пополнить из своего кармана. По выслуге 25-летнего срока он получил отставку.

В Киеве в 50-х годах, кроме института [благородных девиц] и училища графини Левашовой, существовали два частные пансиона: госпож Залеской и Ганф, находившиеся под наблюдением директора 1-й гимназии Любимова, который появлялся туда только на торжественные акты. Образование, получаемое в этих частных училищах, было, как известно, весьма жалкое. Содержательницы их взялись за воспитание девиц не по призванию, а из целей спекулятивных. Главными предметами в них считались: французский язык, музыка и танцы, а главнейшим – «наука страсти нежной, которую воспел Назон».

В начале 1854-55 [учебного] года меня пригласили преподавать русскую словесность девицам 3-го, высшего класса в пансион госпожи Ганф. Мои ученицы круглый год во время моих уроков занимались щипанием корпии, и потому больших успехов от моего преподавания трудно было ожидать. Все напоминало тогда о том, что там, далеко на юге [(в Севастополе)] льется кровь моих соотечественников: по улицам беспрерывно двигались нестройные массы серого люду новобранцев, сопровождаемых плачущими женщинами; по дворам везде слышались грубые голоса унтеров, обучающих рекрут.

<…> В следующем учебном году меня пригласил [проф.] В.Я. Шульгин преподавать русский язык и словесность в училище графини Левашовой. <…> 18 февраля 1855 года по Киеву пронеслась печальная весть о кончине Государя Николая Павловича… Когда я в этот памятный для России день пришел в обычный час на урок в Левашовский пансион, то застал все население его поголовно плачущим. Постояв несколько минут у своего учительского стола и не дождавшись конца рыданию своей аудитории, я ушел в Софийский собор учинить присягу на верную службу новому Императору, Александру II.

С вступлением на престол Царя-Освободителя в общественной атмосфере нашего отечества почуялось новое веяние духа жизни. С арены государственной деятельности сошли долго до того царившие администраторы; суровость Николаевского режима с военной дисциплиной сменилась более мягким управлением гражданского персонала. Клейнмихели, Бибиковы, Дубельты, не содействовавшие гуманному направлению нового царствования, заменены другими лицами. В то же время соединение должности Генерал-Губернатора и попечителя учебного округа в одном лице признано несовместимым. Попечителем назначен к нам [в июне 1856 г.] кяхтинский градоначальник, женатый вторым браком на дочери знаменитого декабриста князя Трубецкого, Н.Р. Ребиндер.

<…> Очутившись на посту, не имеющем ничего общего с градоначальством Сибирского городка, наш новый попечитель не мог сразу ориентироваться и на первых порах не знал, как ему быть. Ревностно, но неумело принялся он за дело: бегал по гимназиям с французскими учебниками в кармане, задавал ученикам довольно странные вопросы, на которые те не знали что отвечать; заставлял малышей 2-го и 3-го класса решать арифметические задачи на французском языке или делать переводы с французского на немецкий язык и тому подобные фокусы. Ища сближения с ученым сословием, он завел у себя вечера исключительно для профессоров университета и учителей гимназий. Вечера эти долженствовали носить семейный характер. Приглашенные на эти вечера имели случай видеть многострадального старца с длинною седой бородой [С.П. Трубецкого], возвращенного из Сибири после 30-летней каторги. Но, к сожалению, эти «семейные вечера» продолжались недолго.

Прекратились они как-то сами собой за отсутствием гостей, которые перестали посещать любезного хозяина потому, что почувствовали себя в положении щекотливом, так что, несмотря на превосходный кяхтинский чай, они должны были лишить себя удовольствия бывать у господина попечителя. Дело в том, что наш либеральный начальник, под предлогом сближения с педагогическим персоналом, стал у каждого из гостей выпытывать и выведывать обо всем, что вовсе не относилось к педагогии.

Значит, несмотря на новые веяния и на близкое родство с декабристом, кяхтинское градоначальничество взяло верх над попечительством, полицейская жилка дала себя почувствовать на посту, который не должен бы иметь ничего общего с полицейскими замашками. К прискорбию, не все педагоги оставили попечителя; нашлись и такие, поддавшись искушению, вроде выкреста Федорова*, ханжи Богатинова и еще некоторых учителей, которые продолжали пить у попечителя чай, «свидетельствуя на други своя ложно».

Престижу попечительской власти немало вредил и вывезенный Николаем Романовичем из Сибири Губер, сменивший всемогущего в [учебном] округе А.А. Лазова: опутав начальников заведений ненужными формальностями, он еще больше уронил достоинство попечительской власти.

Оговорами наушников объясняется неравность обращения Николая Романовича с педагогами. Тот самый учитель, которого он еще вчера осыпал похвалами, приглашая на интимную беседу в свой кабинет, вдруг ни с того ни с сего попадал под опалу. Получив донос, вместо того чтобы действовать начистоту, как подобает человеку прямому и правдивому, т.е. пригласить к себе обвиняемого и потребовать от него объяснения, наш попечитель прибегал к способу, который практикуется агентами тайной полиции. Около месяца он производил повальный обыск, бегая по улицам он каждого человека спрашивал: «Знаете ли вы такого-то NN? Что он за человек? Что вы за ним заметили?». Если случалось ему попасть на человека, знающего опального субъекта с хорошей стороны, он не желал с ним долго разговаривать, а искал другого, от которого ему хотелось непременно услышать что-либо дурное – такого он выслушивал со вниманием и одобрением.

Неизвестно, до какой несправедливости в отношении своих подчиненных дошел бы в своей подозрительности наш кяхтинский городничий, если бы его пребывание у нас продлилось долее; но он не пробыл в Киеве и полных двух лет. Осенью 1859 года он оставил нас, получив другое назначение**. А в 1865 году, после смерти жены, из любви к детям принял православие и скоропостижно скончался от истощения сил, в звании сенатора.

<…> Еще не вполне оконченный [строительством в 1853 году] дом для 2-й гимназии директор Гренков, ревностный блюститель казенных интересов, поспешил занять. Жертвой такой поспешности был, во-первых, сам директор, схвативший тиф; затем больница общей ученической квартиры переполнилась тифозными воспитанниками, и только благодаря приезду в Киев министра [народного просвещения] Норова, поднявшего весь медицинский факультет [Университета св. Владимира], с Мерингом во главе, из 30-ти человек, заболевших тифом, только один ученик умер.

Хотя гимназия водворилась в собственном помещении, но здание не было принято дирекцией формально. Главный строитель его, окружной архитектор П.И. Шлейфер, чтобы скрыть некоторые дефекты своего детища, затеял передачу здания во время болезни директора Гренкова; но инспектор Монахов наотрез отказался от приема, вследствие чего мне, тогда еще учителю, предписано было управляющим округом М.М. Могилянским принять оное на законном основании, хотя в таком распоряжении законность вовсе отсутствовала.

---

* Мы ранее опустили эпизод, когда в 1843 г., во время учебы Михаила Корнеевича Чалого, в университетской церкви окрестили еврея Цеви Гирша Гринбаума, при этом тогдашний ректор университета Василий Федорович Федоров стал восприемным отцом и дал ему свою фамилию – Владимир Васильевич Федоров. Этот выкрест, оказывается, ранее учился в Каменец-подольской гимназии на счет кагала, чтобы сделаться раввином, однако, окончив гимназию и женившись, бросил жену и детей и тайно сбежал в Киев. Выучившись, В.В. Федоров служил в Киевских гимназиях учителем греческого языка (в частности, у него учился Н.Д. Богатинов, см выше).

** На осень 1859 г. указывал и Н.Д. Богатинов. Однако по издателю Русского биографического словаря А.А. Половцову, Н.Р. Ребиндер был переведен на ту же должность в Одесский учебный округ в июне 1858 г. В общем, здесь какая-то невязка, м.б. чисто формальная.

Не желая вооружать против себя начальство, я принял на себя обязанность, ко мне вовсе не относившуюся. Тому же управляющему округом Могилянскому я обязан назначением меня инспектором 9 августа 1858 года.

<…> Прибытие Николая Ивановича Пирогова [в 1858 году] в Киев ничем особенным в летописях Киевского учебного округа не ознаменовано. По случаю его приезда не было ни особенных приготовлений к его встрече, ни мундирных представлений начальству.

На другой день после приезда он представился Генерал-Губернатору и более никого не удостоил своим посещением. Спустя месяц правитель канцелярии Губер напомнил ему, что следовало бы побывать у митрополита Исидора и, зная, что для подобных визитов Николая Иванович тяжеленек на подъем, прибавил:

– Сегодня, ваше Превосходительство, высокоторжественный день; владыка служит в Софийском соборе, а после обедни к нему обыкновенно заходят почетнейшие лица с поздравлениями, то и Вам будет кстати зайти к нему.

Мотнув в знак согласия головой, Николай Иванович велел подать мундир, наскоро облачился и на петушке отправился в Софийский собор. По окончании молебствия входит Попечитель к Митрополиту и едва оказался в дверях приемной, как князь Васильчиков поспешил ему навстречу, взял его под руку и, подведя к Преосвященному, отрекомендовал: «известный Пирогов!».

– А-а, вот кстати, – промолвил владыка, – у меня и просьба к вам есть.

– Позвольте узнать, в чем она заключается?

– У Вас имеется вакансия цензора, а у меня есть в виду достойнейший кандидат на эту должность – некто Кулжинский из Нежина.

Ни слова не ответив на рекомендацию митрополита, Пирогов посмотрел на потолок, потом на висящие по стенам портреты архиереев, сделал два шага назад, тихонько вышел из залы, сел на дрожки и вернулся домой. Для того чтобы объяснить такое, несколько странное, поведение Попечителя, нужно знать кто такой был рекомендуемый кандидат, И.Г. Кулжинский, воспитанник Черниговской Семинарии, пройдя учительские должности в разных духовных и светских училищах, дослужился до директорства в Немировской гимназии, затем, как мы уже знаем, поменявшись местами с инспектором лицея [князя Безбородка в Нежине] Зимовским, ушел от [директора] Экеблада в Тифлис и, вышедши по болезни в отставку, навсегда поселился в Нежине и занялся на досуге писанием разных статеек, во вкусе редактора «Маяка», обскуранта Бурачка и К°.*

В то время через Нежин проходил московский почтовый тракт, по которому постоянно проезжали разные именитые особы – генералы, губернаторы, архиереи. Домишко Ивана Григорьевича [Кулжинского] находился вблизи почтовой станции, и ему всегда давали знать о приезде каждого важного сановника; он тотчас облачался в мундир, нацеплял свою Аннушку на шею и спешил представиться. Скучающая от утомительной езды на почтовых особа была не прочь поболтать с униженно-почтительным и неглупым стариком, пока подадут лошадей, и вот завязывалось «знакомство на большой дороге», которое при случае было очень и очень полезно.

---

* Бурачок Степан Анисимович (1800-1876), публицист, критик, прозаик, издатель; кораблестроитель. Сын адмирала О. И. Бурачка. <…> В 1840-45 – издатель журнала «Маяк современного просвещения и образованности. Труды ученых и литераторов, русских и иностранных». С 1842 – «Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности в духе русской народности». Уже после первых номеров «Маяк» приобрел твердую репутацию одного из «самых одиозных, ретроградных изданий» (с точки зрения либерально-космополитической критики того времени). Бурачок опубликовал на страницах «Маяка» свою повесть «Герои нашего времени» (1845, т. 19), полемически заостренную против «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Бурачок противопоставлял Печорину положительных религиозно-нравственных героев. Отрицательные персонажи цитируют Пушкина и Лермонтова, а молодая девушка сходит с ума, обманутая офицером, подражавшим Печорину. – ***Из Интернета***

Познакомившись таким же манером с митрополитом Исидором, Кулжинский и попал под его протекцию. Но Пирогов знал Кулжинского отлично по сотрудничеству его в «Маяке» и на просьбу владыки сделать такого гуся цензором не мог найтись что сказать и безмолвно удалился. Еще большим оригиналом выказал себя Николай Иванович во время приезда в Киев Министра Народного Просвещения Ковалевского. Недели за две до его прибытия директор 1-й гимназии Деллен и правитель канцелярии Губер советовали Попечителю выехать навстречу Министру, если не на границу округа, то хоть в Нежин.

– Это зачем? – ответил им Пирогов, – в Нежине есть директор Лицея и гимназии – он и встретит его.

Не смущаясь неудачей, непрошеные советники напомнили Николаю Ивановичу о необходимости приготовить для Министра приличное помещение на время его пребывания в Киеве.

– Это зачем? – возразил опять Попечитель, – в городе есть весьма хорошая гостиница – там он и остановится.

Не смотря, однако ж, на такой категорический отказ Деллен, помимо его распоряжения, приготовил для Министра квартиру в здании 1-й гимназии.

Наконец, утром одного дня из Нежина получена эстафета, что Министр прибудет в Киев вечером. Пирогов прочел эстафету и нисколько не стесняясь, в 12 часов, после доклада, как он обыкновенно делал это ежедневно, отправился верхом на дачу, за пять верст от города по житомирскому шоссе, и вернулся оттуда только на другой день утром.

Но с представлением Министру не спешил, а тот, не дождавшись его, первым решился нанести ему визит. Входит Министр в переднюю – там, по обыкновению, никого не было; в залу – тоже никого нет; дверь в кабинете полуотворена – он туда – и застает хозяина за бритьем. Увидав Министра в зеркале, Николай Иванович кивнул ему головой и, не оборачиваясь, продолжает свое бритье. Министр, дождавшись конца операции, любезно поздоровался с хозяином, который надевши вицмундир повел его по гимназиям на экзамены по группам. Опять-таки не следует забывать, что так поступить с Министром мог только «известный Пирогов». Нам, людям Николаевских времен, воспитанным в правилах строжайшего чинопочитания и мундирных представлений начальству, показалась непривычной необыкновенная простота обращения Николая Ивановича с подчиненными. Кто бы ни пришел к нему – директор ли гимназии, профессор, учитель или студент, он был неизменно одинаков. В приемную к нему входили без доклада: войдешь, бывало, в переднюю – никого нет, в кабинет дверь всегда полуоткрыта – там за письменным столом сидит попечитель и пишет. Не дожидаясь приглашения войдешь в кабинет, садишься у стола и ждешь минуту-другую, не прерывая нити излагаемых им на бумаге мыслей.

Окончив период, Николай Иванович кладет перо, откидывается на спинку кресла и, посмотрев на пришедшего, спросит: «Ну, что скажете?». Скажешь, зачем пришел, услышишь несколько слов, не требующих разъяснения и, видя что он опять берется за перо, встаешь и уходишь. При этом Николай Иванович не обращает ни малейшего внимания на то как одет посетитель, в мундире ли он или в простом сюртуке – для него безразлично. Сам он посещал гимназии всегда в своем неизменном драповом пальто, так что едва ли кому-нибудь из учителей пришлось видеть его хоть раз, не говорю – в мундире, но даже в вицмундире.

Пирогов терпеть не мог никакой торжественности, мишурного блеска, выставки. Наши, так называемые, торжественные акты, где обыкновенно публике показывался товар лицом, при попечительстве Пирогова перестали существовать. Всякому, кто удостаивался получить пригласительный билет на акт, памятны эти театральные представления, эта выставка произведений отечественной педагогии, но не всякий из посетителей, я думаю, знал, чего стоили актерам этой комедии репетиции, т.е. приготовления к акту.

Выбирались пьесы, выбирались и ученики, назначались сочинения для прочтения пред публикой, иногда за целый месяц до акта, в самую, что называется, страдную пору – во время годичных экзаменов. И вот назначается генеральная репетиция. Господин директор садится за стол в торжественном зале, представляя из себя почтеннейшую публику. Вводят актеров, остриженных под гребенку и затянутых в мундиры, с твердыми как луб [(подкорье)] воротниками, упирающимися в подбородок. Сперва учат, как мальчик должен выходить на середину зала, как должен кланяться, делать ножкой – это самое главное.

Если такого предварительного испытания мальчик не выдерживал, его не допускали до произнесения затверженных стихов и прогоняли из зала с насмешками, хотя бы он был первейший декламатор. Все эти ненужности при Пирогове сделались преданием; мундиры наши были спрятаны и попорчены молью. Такое пренебрежение к мундирной внешности и парадной выставке возбуждало сильное негодование охранителей старых порядков, и они поставили ему в счет будущих инсинуаций, дискредитировавших в глазах правительства реформаторскую деятельность Николая Ивановича.

Задумав произвесть в заведениях вверенного ему округа реформу, первый год своего попечительства Пирогов посвятил ознакомлению с существовавшими в них порядками, как в отношении преподавания в них предметов, так и в отношении дисциплины. Особенным вниманием Попечителя при посещении гимназий пользовался латинский язык и закон Божий. Придавая изучению древних языков весьма важное значение, как предмету, наравне с математикой, развивающему способности учащегося, он старался улучшить приемы его преподавания в гимназиях.

У нашего классика [во 2-й гимназии] был такой прием: вызвав ученика на средину класса, он занимался исключительно им одним, оставляя без внимания весь класс, причем, наводя его на уразумение смысла переводимого отрывка, он не всегда верно мог оценить степень его знания, давая ему возможность скрыть свое невежество. Николай Иванович старался отучить преподавателей от таких застарелых привычек, настаивая на том, чтобы внимание всего класса не прерывалось ни на минуту в продолжение урока, чтобы учитель поддерживал это внимание, задавая им как можно чаще беглые вопросы и заставляя их повторять делаемые объяснения правил. Сам попечитель, для примера преподавателю, делал это очень ловко.

Раз, помнится мне, он застал на латинском уроке ученика подле кафедры, переводившего отрывок из Цицерона De officiis. Николай Иванович по обыкновению сел на первой скамье и стал слушать. Учитель, стоя подле ученика, постоянно поправлял его и наводил; попечитель несколько раз делал ему замечание не мешать отвечающему, предоставив ему самому добиваться смысла, но учитель не унимался. Все это не могло остаться без внимания на служебную карьеру почтенного классика. Как только исполнилось 30 лет его службы, Пирогов отказал ему в просимом пятилетии.

– Довольно с вас, – сказал он ему, – ваши лета требуют отдыха. Нужно дать место молодым.

Закон Божий, в ряду других предметов гимназического курса, поставлен в положение исключительное: в то время, когда все другие предметы служат к обогащению знаниями и к развитию умственных способностей учащихся, закон Божий преимущественно должен влиять на нравственную сторону, действуя на сердце, направляя волю к добру. Между тем Пирогов, объехав половину округа и побывав на уроках законоучителей, вынес самое невыгодное мнение о их преподавании: у них закон Божий, даже более чем некоторые другие предметы, сделался достоянием одной памяти, одного механического заучиванья текстов, часто без понимания их смысла.

Николай Иванович конечно не скрывал своего недовольства и иногда высказывал его публично. Отцы [(священники)] вломились в амбицию и из-под руки стали взводить на Пирогова обвинение в индифферентизме к религии вообще, что де весьма вредно влияет на учащихся, что он, порицая законоучителей за небрежное отношение к их обязанностям, унижает достоинство самого закона Божия. Предсмертная исповедь нашего великого хирурга да послужит им уликой в таком недобросовестном обвинении.

<…> Задумав реформу существовавших в гимназии правил о проступках и наказаниях воспитанников, Николай Иванович при посещении гимназии просматривал с большим вниманием штрафной журнал за несколько лет и нашел в нем довольно несообразностей относительно несоответствия наказаний с проступками. Затем потребовал ведомости об успехах учеников.

Способ определять разные степени знания посредством пятибалльных отметок, существующий и ныне во всех учебных заведениях Министерства народного просвещения, не удовлетворял требованиям Пирогова: он считал его нерациональным и даже вредным. Высказанный им при этом взгляд подробнее формулирован в статье «Школа и Жизнь».

«*При ответах испытуемого,* – говорится там, – *следует определять не maximum, а известное minimum сведений. Maximum сведений – беспредельно и бесконечно. Как ни разнообразьте вы ваши отметки, как ни распределяйте число баллов, вы никогда не обозначите всех степеней сведений. Вы никогда ни от кого не получите отчетливого ответа на общий вопрос: как велики сведения такого-то в той или другой науке? Но поставьте вопрос точнее и спросите: имеет ли такой-то достаточно знаний, чтобы достигнуть той или другой цели в какой-либо науке? И вам можно будет отвечать положительно: да или нет. И только эти два слова должны быть ответом экзаменатора на определение вопроса о minimum сведений для перевода ученика в высший класс*».

На основании такого правила, приняв кроме того во внимание потерю времени на продолжительность испытаний, годичные экзамены при Пирогове производились одновременно по всем предметам и в каждом классе оканчивались в один день, значит, продолжались в семи классах вместо 5-ти недель всего 7 дней. Делалось это таким образом. Ученики данного класса, по количеству преподаваемых в нем предметов, делились на группы. В зале ставилось столько столов, сколько было групп, а за каждым столом восседали преподаватель и ассистент. Когда инспектор оканчивал подобное размещение, по данному им знаку все преподаватели одновременно начинали экзаменовать.

В зале начиналось вавилонское смешение языков. Группы кругообразно переходили от одного стола к другому, и в продолжение каких-нибудь пяти-шести часов испытание по всем предметам оканчивалось. Разумеется, что при оценке познаний ученика экзаменаторы руководились главным образом годичными отметками, которых полагалось только две: 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно: да или нет. Отличнейшие по успехам ученики, по усмотрению комитета, освобождались от экзамена. Директору и инспектору при экзаменах предоставлялся контроль; они подходили то к одному, то к другому столу, следя за порядком испытаний.

Известно, что большинство наших воспитанников, не только средних, но и высших учебных заведений, учится ради получения хороших отметок, а наши педагоги еще более способствовали гоньбе учеников за пятерками.

Так, например, учитель математики [во 2-й гимназии] Байер, восхищенный бойким ответом воспитанника, вынет из кармана свой «списóчек» и велит ему «по этой самой причине» собственноручно поставить отметку 5 с двумя крестами*. Отмена пятибалльной системы главным образом должна была способствовать к искоренению этого зла.

Но еще больший вред приносило и приносит умственному развитию учащихся механическое заучивание задаваемых уроков, зубрение учебников, обогащающее одну лишь память, ко вреду других способностей. Против этого веками коренившегося способа учения Пирогов не переставал проповедывать как между преподавателями, так и между учениками, настаивая на необходимости самостоятельного труда. С этой целию и были заведены литературные беседы. Упражнения в литературных занятиях по всем преподаваемым в гимназии наукам должно было служить целию этих бесед.

Всякое проявление самостоятельного труда участника в литературных беседах должно быть дорого для руководителей беседы, возбуждая в них надежду, что университет получит ученика, уже хорошо ознакомившегося с тем родом научных работ, который ему предстоит в университете, хорошо подготовленного к университетским занятиям и уяснившего себе цель и значение умного учения. При этом наставникам было предложено указать учащимся на такие предметы, которые были бы им по силам. На эти беседы раз в неделю собирались ученики VI и VII классов обеих гимназий.

Ученик 1-й гимназии приносил сочинение, а ученик 2-й гимназии к следующему собранию писал на это сочинение критику, и тут между ними происходил диспут, который тут же и записывался скорописцами. На критику иногда писалась антикритика и т.д.

Беседы происходили в зале 1-й гимназии, в присутствии гимназического начальства и преподавателей, под председательством попечителя. Вмешиваться в диспут двух соперников никому не дозволялось. Только в крайнем случае, когда спор заходил слишком далеко и диспутанты не знали сами, как им выпутаться из сетей, в которых они сами себя запутали, их останавливал Николай Иванович и наводил на настоящую дорогу.

На первые беседы, сколько я помню, были представлены сочинения: воспитанниками 1-й гимназии – Овсеенком, Забугиным и Лашкевичем, 2-й гимназии – Диким, Цветковским и Бутовичем. Сочинения этих учеников, согласно правилам, были написаны по совещании с преподавателями, но авторы следовавших за ними сочинений перестали согласоваться с установленными попечителем правилами.

---

* Ранее М.К. Чалый давал такую характеристику своему коллеге:

Преподаватель математики Маврикий Павлович Байер – аккуратнейший и честнейший учитель, занимавшийся с учениками безвозмездно, даже вне классного времени – явление, сколько я помню, исключительное между математиками, угнетавшими учеников вымогательством частных уроков. Как немец, он был большой формалист. При нем находились во всякое время карманные «списóчки», где были записаны мельчайшие подробности относительно ответов каждого ученика. Жаль только, что своим кропотливым усердием он не только не возбуждал в учениках любви к своему предмету, но требованьем буквального заучиванья учебника отбивал охоту к изучению его.

Вечно недовольный действиями надзирателей и критически относясь к распоряжениям инспектора, неугомонный наш Маврикий постоянно твердил о необходимости введения в число предметов гимназического курса особой науки, которую он называл «моралами». В продолжение всей своей службы во 2-й он постоянно имел богатых пансионеров и при всей своей скупости сколотил порядочный капиталец. В конце своей службы он женился и последние годы жизни вечно нуждался в деньгах и умер почти нищим.

Выбор тем стал своеволен и безразличен: так, воспитанник 2-й гимназии Н-н дерзнул преподнести почтенному собранию теорию Духинского, доказывая, что русские – не славяне, а туранцы*, истинные же славяне – поляки, которым и подобает господствовать над всеми прочими славянскими народами, для чего необходимо возвратить Польше ее прежнее могущество, расширив ее до границ 1772 года.

Замечательно, что под давлением начинавшегося тогда польского террора, ни в 1-ой, ни во 2-ой гимназии не нашлось ни одного критика на это сочинение: в то время начались уже революционные манифестации в Варшаве, а вслед за Варшавой повторились во всех городах и местечках Юго-Западного края беспрепятственно.

Ученик 2-й гимназии Шульц прочел сочинение о курении табака, причем не стесняясь порицал тут же сидевшее начальство, которое не стыдилось взыскивать за такие пустяки.

В силу ложно понятого значения самостоятельного труда воспитанники высших классов, пренебрегая сухими учебниками, «с ученым видом знатока» стали штудировать серьезные сочинения, не вполне доступные их пониманию, так например по словесности – Шерра, по истории – Бокля и т.п., и если учитель математики спросит урок у кого-нибудь из этих самостоятельных ученых, то ему ответят: «я специально занимаюсь словесностью или историей».*

Несмотря однако ж на такие, вовсе нежелательные явления, нельзя сказать, чтобы литературные беседы совершенно не достигали своей цели. По словам самого учредителя их, «многие из участвовавших в беседах доказали явное научное стремление и любовь к занятиям и дарование». Николай Иванович не терял надежды улучшить это в высокой степени полезное учреждение, которое послужит средством к развитию самостоятельной деятельности учащихся. Но этот самостоятельный труд никому сразу не дается; в нем нужно испробовать свои силы с чрезвычайной постепенностью.

Для лиц, желающих получить должность учителя по избранному предмету, установлены были так называемые конкурсы, состоявшие в следующем. В одной из гимназий конкуренту назначался пробный урок. Для того чтобы не прерывать хода преподавания, урок этот обыкновенно служил продолжением того, на чем остановился преподаватель. Конкурсному уроку предшествовал краткий colloquium, долженствовавший обнаружить в будущем учителе степень его знакомства с избранным им предметом.

Затем пробный урок происходил в присутствии попечителя или, чаще всего, его помощника – И.Г. Михневича, директора и, в редких случаях, профессора педагогии. На этом уроке конкурент обязан был выказать уменье обращаться с классом и обнаруживать более или менее искусные приемы в преподавании.

---

* Туранцы – народы «урало-алтайской группы».

«*В отличие от славянофилов, которые, по существу, отождествляли русских и славян, евразийцы совершенно по-иному рассматривали данную проблему. Для них русские – это единство славянского и туранского этносов. И поскольку в русских жилах вместе со славянской течет и туранская кровь, характер русского народа, как и Русского государства, имеет сходство с национальными особенностями как славянского Запада, так и туранского Востока*». – ***С.Н. Пушкин. Евразийцы о государстве на евразийском пространстве // Фаизхановские чтения, №4 (2007 год)***

** Иоганн Шерр (1817-1886), немецкий историк литературы, публицист, беллетрист и общественный деятель. Некоторые труды: «Allgemeine Geschichte der Literatur» (10-е издание, 1900; русский перевод Пыпина, Вейнберга); «Deutsche Kultur und Sittengeschichte» (11-е издание 1902; русск. перев. 1869); «Schiller und seine Zeit» (4-е издание 1865; русский перевод 1875); повести (10 т., 1873-77), из которых некоторые переведены на русский язык, в том числе «Михель. История немца нашего времени» (1873).

Генри Томас Бокль (1821-1862) – англ. историк, социолог-позитивист. Видный представитель географической школы в социологии. Предпринял попытку при изучении истории применить закон причинности, истолкованный в духе материализма. Задумал многотомную естественно-научную историю человечества, однако завершил лишь два тома — «Историю цивилизации в Англии» (1857-1861, рус. пер. 1863-1864).

Покончив всю эту процедуру, члены комитета совещались между собой и составляли протокол о замеченных ими достоинствах и недостатках конкурента, решавший его участь.

По закрытии в 1858 г. института казеннокоштных студентов, доставлявшего гимназиям Киевского учебного округа потребный контингент преподавателей, учреждены были, по мысли Пирогова, Педагогические курсы, которые однако ж ни в каком отношении не заменили прежнего способа приготовления студентов к учительскому званию. Так называемых кандидатов-педагогов бывало на курсах всего два-три человека, а руководителей-профессоров и учителей по разным предметам гимназического курса, получавших солидное вознаграждение за чисто фиктивные труды, человек 15-20; да и те немногие кандидаты, так дорого стоившие казне, весьма неохотно шли в учителя, уходя в другие ведомства, без возврата затраченных на них денег. Такое же фиаско потерпели и педагогические курсы в Петербурге, как свидетельствует о том дневник проф. Никитенка.*

Концу 50-х годов нашего столетия суждено было, по инициативе Пирогова, разрешить великие «вопросы жизни» возрожденного после долгого сна общества. Сколько было в эти годы высказано в нашей литературе благородных убеждений! Какая обширная программа для деятельности наших педагогов! Всякий спешит придумать что-нибудь новое, заявить о своих прогрессивных стремлениях, побранить рутину. Это памятное для нас время по преимуществу может быть названо эпохой проектов, мнений, начинаний, улучшений.

(По своеобразному мнению учителя Богатинова – «Русский Архив», 1899 г., это была пора, когда все подвинулось к чему-то, оторвалось от старого порядка, понеслось бестолково, кувыркаясь, плюя на прошлое. В земле Русской начинался хаос…)

И всю эту новую теорию воспитания выпало на долю нашим педагогам прилагать к делу. Авторы разных прожектов большею частию заботились о том, чтобы у них красиво и гладко выходило на бумаге, не думая о том, насколько применимы к условиям русской жизни их воззрения. Как ни глубокомысленны были их теоретические соображения, но они не могли иначе войти в жизнь, как путем долговременного опыта; кроме того, для этого требовались энергические, чуждые утопий и увлечений практики, которые сумели бы осуществить задуманные реформы, не насилуя действительности, а приноравливаясь к потребностям общества, чтобы задуманное было бы так же хорошо на деле, как оно у них выходит на бумаге, а не казалось бы только таким.

Преподавателям средне-учебных заведений Киевского учебного округа до попечительства Пирогова, при всем их желании участвовать в обсуждении разных педагогических вопросов, за отсутствием ученого органа, не было возможности высказаться.

Циркуляр по Управлению округом служил лишь официальным органом попечительской канцелярии и заключал в себе сведения о производствах в чины, о перемещениях, назначениях и наградах служащих; при Пирогове же этот циркуляр сделался журналом педагогическим. В неофициальном отделе его стали помещаться мнения учителей гимназии о преподавании предметов гимназического курса. Мера в высокой степени полезная; ибо, как говорят французы, du choc des opinions éclaire la verité [(столкновение мнений проясняет истину)]. Редакция педагогического отдела была возложена на помощника попечителя И.Г. Михневича. К сожалению, между нашими педагогами нашлись господа, которые посредством этих мнений задумали сделать себе карьеру – проложить путь к повышению по службе. Пользуясь доверчивостью попечителя, который не всегда мог проверить на деле излагаемый ими способ преподавания, об успешности коего они разглагольствовали на бумаге, эти проныры стали лгать бессовестным образом.

---

* Речь идет об уникальном документе Александра Васильевича Никитенка (1804-1877) – «Дневнике», который он вел непрерывно с 1826-го по 1877 год!

Таковы, например, мнения о преподавании русского языка Мануйловича – ленивейшего из преподавателей Новгород-Северской гимназии, и учителя Каменец-Подольской – Редчица (этот педагог, не совестясь, между прочим написал, что ученики до того увлекаются его преподаванием, что «когда досадный звонок» возвестит об окончании урока, то они горько плачут), пожалованного за мнение в инспекторы. Хорош был в этом отношении и Белоцерковский словесник. Нужно было знать этих людей, какими они были на деле, чтобы отнестись с полнейшим недоверием к их пышным фразам, а между тем их «мнения» стали образцом для руководства многих скромных и добросовестных тружеников, которым попечитель при случае не переставал рекомендовать их.

Учитель Русского и Славянского языка 2-й гимназии Омельяненко, едва вступил в должность после отставки Березницкого, не искушенный опытом, не овладев вполне своим предметом, так же поместил в Циркуляре мнение о преподавании, да не одного русского языка, но и словесности, которой ему не довелось преподавать вовсе. Не соглашаясь с его мнением, я не мог оставить его без возражения, сам преподавая русский язык и словесность в продолжение 13 лет.

Важнейшею реформою Н.И. Пирогова, навлекшею на него наиболее нареканий со стороны охранителей старых порядков, было, без сомнения, введение «Правил о проступках и наказаниях учеников». Руководящим мотивом этого нововведения была заветная мысль Николая Ивановича – уничтожить произвол и самодурство начальников средне-учебных заведений. Приглядевшись к существовавшим взысканиям, он нашел, что не только в разных дирекциях существуют различные наказания за один и тот же проступок, но одно и то же наказание употребляется с разной целию. Объединение таких действий было необходимо.

Несмотря однако ж на полнейшее отсутствие твердых начал в системе нашего воспитания, в педагогической практике дореформенного периода не переставал существовать известный кодекс правил и инструкций для руководства педагогов. Все эти инструкции главным образом направлены были к тому, чтобы индивидуальные свойства учащихся подвести под один общий уровень, чтобы это бесконечное разнообразие темпераментов, наклонностей, особенностей ума и воли – обобщить, нивелировать, привесть, так сказать, к одному знаменателю.

Такое гуртовое воспитание, конечно, весьма облегчало тяжелый труд педагогов-воспитателей при их, по большей части, формальном отношении к делу, избавляя их от обязанности индивидуализировать детей, без чего наше общественное воспитание лишено было жизненности, целесообразности и обращалось в какую-то однообразную, уродливую, схоластическую команду, как будто мы имели дело не с разумными существами, а с машинами. Невозможность вникать в натуру каждого воспитанника в многолюдных гимназиях нарушило и те сердечные, патриархальные отношения воспитателя к воспитанникам, которые составляют отличительную черту домашнего воспитания – родительского.

Патриархальные отношения, особенно в наших Юго-Западных гимназиях, немыслимы, да и вообще они сделались мифом. В наших заведениях господствует другое начало – административное; из этого начала Николай Иванович старался извлечь все, что есть в нем хорошего, а хорошего в этом начале он находил то, что оно, при известных условиях, может содействовать к развитию в детях чувства законности. Главным же средством к развитию этого чувства он считал составление точных, положительных и одинаковых для всех дирекций правил о проступках и наказаниях учеников.

<…> Упразднение розги в Киевском учебном округе аналогично с освобождением крестьян от крепостного состояния: как состояние душевладельцев в лице своих представителей – Муравьевых, Закревских и Паниных пророчило бунты, резню и революцию, так и наши доморощенные педагоги с уничтожением розги предсказывали совершенную деморализацию воспитанников, утверждая, что только розгой и держится дисциплина в заведениях; но как те, так и другие жестоко ошиблись в своих пророчествах.

Задумав благодетельную реформу во внутреннем строе гимназий Киевского учебного округа, Николай Иванович предварительно затребовал от директоров статистические сведения о числе телесных наказаний за 1858 год. Что бы это значило? – недоумевали директора и бессовестно стали лгать, уменьшив количество высеченных воспитанников до минимума. Только более храбрые и недогадливые дали сведения, согласные с действительностью.

Жаль, что попечитель потребовал сведения за год своего управления округом, когда под влиянием гуманных взглядов его наказания розгами значительно уменьшились; если бы он пожелал иметь сведения за несколько лет до своего прибытия, то увидал бы не то: одни субботки Николая Михайловича Гренкова [во 2-й гимназии] доставили бы ужасающую цифру избиенных младенцев, которая превзошла бы сообщенную волынским [(точнее – житомирским)] директором Китченком (280 человек) за 1858-й год.

Запасшись материалами, Пирогов составил комитет под своим председательством. Членами комитета были: помощник его, Михневич, два директора, два инспектора киевских гимназий, инспектора казенных училищ, профессоры университета: истории – Шульгин и педагогики – Гогоцкий, и два учителя. Заседания комитета длились более трех недель. С первого же заседания нетрудно было заметить, что наш председатель склоняется к безусловному упразднению розги. Оппонировали ему больше всех оба директора: Гренков и Деллен (профессор!). Последний написал целую апологию розге, состоявшую из 40-ка пунктов, в доказательство ее необходимости в гимназиях, ссылаясь между прочим на пример Англии.

На это Николай Иванович возразил ему: «*Там где чувство законности глубоко вкоренилось и проникло все слои общества, там самые нелепые меры не вредны, потому что они не произвольны; а там (как у нас), где нужно сначала распространить это чувство, розга не годится. Но у нас еще нельзя вывести розгу вовсе из употребления: пока детей секут дома, трудно придумать что-нибудь другое для наказания. А если при существующих узаконениях вывести ее [наш] комитет не вправе, то следует употреблять этого рода наказание с крайнею осторожностью*».*

Когда наконец, после продолжительных дебатов, порешили допустить розгу только по определению педагогического совета, большинством ⅔ голосов, то ярый защитник телесных наказаний Николай Михайлович Гренков, скорчив пресмешную мину, обратился к председателю с просьбой:

– Ваше Превосходительство! позвольте директору без определения педагогического совета, иногда хоть маленьких посечь немножко!

---

* <…> В 1859 году Пироговым было созвано «совещание», в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директоры, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за «постепенность реформы» и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время «правилам», в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок, предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет «способствовать развитию чувства законности». В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесное наказание, значился, между прочим, «религиозный фанатизм».

Это был компромисс «теории с практикой» и притом очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. «Дух времени» быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень на руку. Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей, полной горечи и сарказма по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря: за и против Добролюбова, причем «умеренный либерализм» того времени был за попечителя и за постепенность против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки она далеко оставила за собой все остальные: в 1858 году из шестисот учеников было высечено двести девяносто. Это было в семь раз чаще, чем, например, в киевской второй гимназии, и в тридцать пять раз больше, чем в киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги, с директором Киченком во главе, проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно, не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать. – ***Владимир Короленко. История моего современника***

<…> Из Чернигова [Федор Андреевич] Китченко был переведен в начале 50-х годов в житомирскую гимназию: после сего проходит 10 лет; настало иное время, явилось положение 19 февраля [1863 года]; мрачный период нашей крепостной жизни кончился и бесправие осталось назади. Эта обновленная наша жизнь выразилась всюду, в каждом учреждении, только Китченко, этот гимназический Ушаков XIX века, был чужд ее, все прошло мимо него: в 1858 и 1859 гг. в попечительство Пирогова были затребованы сведения от всех гимназий Киевского округа о количестве учеников, наказанных розгами в течение учебного года. Из этого отчета, напечатанного в то же время в журнале Министерства Народного Просвещения, видно, что в каждой гимназии наказанные считались десятками, а в Житомирской, где директорствовал Китченко, число сеченых перевесило многие сотни. Эта цифра в то время поразила всех; но зная Китченко можно с уверенностью сказать, что он умышленно утаил в отчете многие сотни, если не тысячи.

<…> Мы выше сказали, что истязание учеников было наслаждением Китченка и сослались на Ж.М.Н.П. Чтобы читатель мог убедиться в справедливости сказанного, мы отсылаем его к 1-му т. соч. Добролюбова, стр. 234; здесь имеется таблица о числе высеченных в 1858 году гимназистах в Киевском округе; из этой таблицы оказывается, что было высечено: в киевской 1-й гимназии – 3, в ровенской – 6, в новгород-северской – 8, в черниговской – 18, в нежинской – 20, в подольской – 37, в белоцерковской – 38, в полтавской – 39, в киевской 2-й – 43, в немировской – 67, в житомирской – 290. – ***Дополнение редакции «Киевской Старины» к «Воспоминаниям Иосифа Самчевского», полученное от одного из его учеников, 1894, №5***

Известный журнальный критик Добролюбов, с таким восторгом приветствовавший появление знаменитой статьи Пирогова «Вопросы жизни», предал Николая Ивановича гласному осуждению за сохранение розги в учебных заведениях вверенного ему округа; но едва ли он был прав, потому что и то, что успел сделать председатель комитета для облегчения участи детей, при существовавших тогда жестоких истязаниях – и в семье, и в школе, было великим для них благодеянием; притом же вопрос о том, быть или не быть розге в училищах, решен условно не им самим, а по большинству голосов, коллегиально. Ограничив произвол директоров педагогическим советом, он уже тем самым сделал розгу наказанием исключительным.*

Предписав дирекциям ввести в употребление составленные комитетом «Правила о проступках и наказаниях учеников», Пирогов предложил воспитателям следить за применением их на деле и докладывать ему о неудобствах и недостатках. "*Прошу всех и каждого воспитателя, по введении в действие «Правил», сообщать мне замеченные недостатки и указать придуманные каждым из них исправления*".

Значит, Пирогов не считал введенные в гимназиях «Правила о проступках и наказаниях» совершенством, так как на опыте могли обнаружиться проступки, не предусмотренные комитетом, упадок же дисциплины в заведениях неосновательно приписывать введению этих правил, как думает ненавистник нововведений Богатинов (см. «Русский Архив», 1899 год, №8). Сам же он сознается, что дисциплина (относительно 1-й гимназии) упала от других причин.

«*Директор Деллен, прекраснейший, добрейший человек (такие люди всегда бывают плохими администраторам), был слишком мягок, слишком нежен, чтобы поддержать авторитет власти в заведении; а инспектор Дабижа, так же прекраснейший и добрейший человек, был слишком высок по своему княжескому положению, слишком аристократ, чтобы унижаться до мелочей школьной обыденности и заниматься самоотверженно. Но он скоро получил другое назначение.*

---

* Внешний импульс обращения Н.И. Пирогова к педагогической проблематике носит частный и в известной мере случайный характер. Редакция журнала «Морской сборник» предложила ученому написать статью о возможных изменениях в содержании образования и учебно-воспитательном процессе в морских кадетских корпусах. Итогом этого явилась опубликованная бесцензурно в июльском 1856 года выпуске журнала программная статья Пирогова «Вопросы жизни», в которой он указал на большой разлад между сословным воспитанием, школой и действительностью, убеждал, что до того, как молодой человек получит специальные знания, он должен приобрести «общечеловеческое» образование. «Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане!». Статья сразу привлекла большое общественное внимание и вызвала огромный резонанс.

<…> На первый взгляд специальный журнал морского ведомства не лучшее место для публикации программных педагогических манифестов. Но такой вывод может сделать только поверхностный человек. «Морской сборник» в то время лично патронировался Великим князем Константином – очень прогрессивным государственным деятелем, убежденным реформатором. И благодаря этому, публикация статьи Пирогова в таком значимом журнале сразу придавала ей государственный, почти императорский статус. Более того, статья была незамедлительно перепечатана в приложении за 1856 год в педагогическом официозе – «Журнале Министерства народного просвещения» (№ 9) с многозначительной сноской «печатается по указанию Министра народного просвещения». Все это придало «Вопросам жизни» чуть ли не статус официальной педагогической концепции, новой государственной философии образования, которую педагогам необходимо было не только изучать, но и выполнять.

Ну и окончательно ввела «Вопросы жизни» в круг самых обсуждаемых публикаций статья Н.А. Добролюбова «О значении авторитета в воспитании», вышедшая в майском номере 1857 года самого известного и популярного тогда общественно-литературного журнала «Современник», где была дана самая благожелательная оценка статьи Пирогова. <…> Собственно, благодаря Добролюбову и через Добролюбова самые широкие круги читателей, далекие от таких специальных изданий как «Морской сборник» и «Журнал Министерства народного просвещения» познакомились с содержанием «Вопросов жизни». – ***Дмитрий Гарбузенко. Николай Иванович Пирогов***

На место его Пирогов выписал из Чернигова Андрияшева: получив его правила о проступках и наказаниях учеников, он узрел в нем призванного педагога, но при нем дисциплина окончательно упала. Нельзя было узнать первой, образцовой по порядку, гимназии»[*].

Как бы в подтверждение того, что сказано здесь о несостоятельности в 1-й гимназии, воспитанники пансиона, помещавшегося над попечительской квартирой (где теперь канцелярия), учинили крупный дебош, взволновавший попечителя и ускоривший перемещение Дабижи в Одесский округ. В одно из заседаний комитета, когда все члены были уже в сборе, входит председатель и спрашивает: «Дабижа здесь?» – «Нет, еще не пришел», – был ответ. Не садясь за стол, Николай Иванович, мрачный и взволнованный, каким никто его из нас до того не видал, стал ходить, насупившись, по зале, а мы все стояли у стола. Входит Дабижа.

– Что у вас там в пансионе случилось? – обратился к нему попечитель.

– Ничего особенного, ваше превосходительство.

– Как ничего?

– По крайней мере, в поданном мне дежурным воспитателем рапорте ничего не было доложено.

– Вам нужны рапорты? Вы сами не можете зайти в пансион? Вам нужны доклады? Вы обязаны знать первым, что делается в пансионе!

Согласно вышесказанному распоряжению попечителя, по введении правил, мною замечены и доложены следующие неудобства[**]:

1) Наказание за незнание урока розгами, по Пироговскому кодексу, заменилось арестом с обязательной работой; но в практическом применении этого правила наказание падало не на лентяя-ученика, а на инспектора, который должен был сидеть под арестом вместе с учениками, пока они не вызубрят свой урок. Вследствие моего заявления о неприменимости этого правила в заведении с 700-ми воспитанниками, где ежедневно по разным предметам оставлялись под арестом около 30-ти человек, Попечитель самолично захотел проверить справедливость заявления. Пришел он в гимназию около 2-х часов и, отпустив меня обедать, просидел с арестованными до 7-ми часов вечера. Убедившись таким образом на деле о неудобствах параграфа Правил об аресте с обязательной работой, разрешил, по моему представлению, пригласить трех студентов, которые за обед в общей квартире и по 10 руб. в месяц обязались сидеть с учениками до вечера и выслушивать их уроки.

2) Суд товарищей способствовал к развитию общественного мнения между воспитанниками. Случалось нередко, что ученики целым классом выдавали виновного, сделавшего проступок, предосудительный для чести целого класса. Но суд выборных не всегда был удачен и беспристрастен.

Было два случая: в первом ученики VII класса вытолкали из комнаты для занятий общей квартиры ученика V класса за то, что он не шел спать и сидел без позволения инспектора до 10-ти часов, тогда как этим правом пользовались только семиклассники, причем один ученик VII класса ударил ученика V класса и назвал его товарищей дураками. Оскорбленный на другой день дал пощечину оскорбившему его. Суд выборных был помещен мною в особой комнате. Так как в разбирательство дела инспектор вмешиваться не должен, то, заперши выборных на ключ, я ушел на квартиру. Через два часа я навестил их, но дебаты судившихся не привели ни к какому решению, и я опять ушел. Было уже 7½ часов, когда судьи, не видя конца спорам и томимые голодом, приступили ко мне с просьбой решить дело по моему усмотрению.

---

[*] Это не точная «цитата из Богатинова», а изложение по смыслу высказанного последним (см. выше).

[**] В августе 1858 г. М.К. Чалый был назначен инспектором 2-й Киевской гимназии.

Во втором случае ученик VI класса побил ученика V класса – еврея за то, что тот обругал его. Выборные присудили побитому арест за то, что он обругал христианина. И тут дело решено неосновательно.

(В Белоцерковской гимназии самосуд окончился самоубийством ученика VII класса, высеченного товарищами за какой-то позорящий заведение проступок. Печальный этот случай послужил обвинительным пунктом для свержения Пирогова с попечительства.)

3) Оскорбление прислуги действием. Это зло с особенным упорством держалось в закрытом заведении, куда поступали дети мелкопоместных дворян, посессоров [арендаторов земельных участков] и экономов больших имений, смотревших на крепостных как на рабочий скот. Воспитанные в такой среде мальчики позволяли себе обращение с прислугой крайне грубое и неуважительное, между тем как между лакейством находились отставные николаевские солдаты, прослужившие 25 лет Богу и Государю.

Правила за этот проступок гласили: «*для восстановления униженного человеческого достоинства ученик обязан просить у него прощения публично, и кроме того за обиду – [полагается] вознаграждение материальное в виде штрафа, выдачей месячного жалованья*». Отучить воспитанников от этого безобразия стоило мне немало хлопот, и кажется я начал достигать цели; но рукопашная расправа господина директора в присутствии учеников с одним из служителей испортила все дело. Докладывать же о проступке самого начальника заведения инспектору не полагается.

4) Со времени введения «Правил о проступках и наказаниях» розга довольно продолжительное время существовала в гимназии de jure, но, к сожалению, пришлось употребить ее в дело de facto. Уже по увольнении Гренкова [с поста директора] господа преподаватели стали заявлять мне, исполнявшему обязанности директора, об упадке классной дисциплины, а надзиратели – о своевольстве мальчуганов во время перемен, причем надзиратель Садковский доложил, что когда он пригрозил, по старой привычке, ученику 2-го класса розгой, то шалун сказал ему, что «скорее вас высекут, чем меня». Что делать?

В силу такого-то пункта «Правил» подобный проступок требовал быстрого, мгновенного наказания, которое тогда только и достигнет своей цели, когда будет совершено немедленно за учиненным проступком, а между тем собрать совет в полном составе можно было только на другой день; вследствие чего я порешил ограничиться наличными членами, и мы составили протокол и единогласно постановили наказать виновного пятью ударами розог, и вот, как только ученики, после перемены, уселись на места, Садковский вызывает оскорбившего его ученика, и я чрез весь коридор веду его чрезвычайно медленно до сторожки, а он все время слезно вопиет и просится; плач его навел панический страх на все низшие классы.

Я фактически доказал, что розги в гимназии существуют, что важные проступки не останутся безнаказанными. Классная дисциплина восстановлена, и преподаватели перестали жаловаться. Это был единственный случай употребления телесного наказания во все время моего исправления директорской должности [в 1861 году].

Некоторые из местных почвенников укоряли Пирогова в космополитизме – за поблажки полякам и покровительство, оказываемое евреям; но они правы только отчасти. Оставаясь в душе русским человеком, Николай Иванович, как европейски образованный человек, смотрел на окружавшие его национальности с точки зрения европейца.

Допуская самостоятельное существование каждой народности и каждой отдавая полную справедливость, он беспристрастно относился и к хорошему, и к дурному, принадлежало ли это хорошее или дурное к чуждой национальности или к родной русской. В одной из своих прощальных речей он сказал: «*В крае, где постоянно нужно сообразоваться с различными национальностями, я не мог не быть ровен и одинаков со всеми и строго беспристрастен, желая добра и правды всем без различия*».

О поляках он выражался, как о народе легкомысленном, но достойном удивления за его беззаветный патриотизм и энергию в сохранении своей национальности от поглощения чуждыми нациями. В евреях он видел необыкновенно даровитое племя и учащуюся еврейскую молодежь он всегда покровительствовал за хорошие успехи в науках.

Что же касается медицинской помощи, оказываемой Пироговым страждущему человечеству, то ⅔ пациентов его были евреи, страстные любители лечения. Два дня в неделю, определенные им для приема больных, от 8-ми часов утра до 8-ми часов вечера, были посвящены бесплатной практике. Обширное entrée первой гимназии, с его широкими лестницами, ведущими на второй этаж, в эти два дня было переполнено евреями всех возрастов и полов. Слепые, хромые, изувеченные и расслабленные – все обращались к знаменитому врачу, и все им, без различия звания и состояния, был оказываем, смотря по болезни, более или менее продолжительный осмотр.

Нам не раз приходило в голову, обедал ли Николай Иванович в эти дни, и мы дивились, какая необыкновенная сила воли и энергии нужна была человеку для такого самоотверженного подвига. Сколько христианского милосердия и любви вмещала в себе эта великая душа, заключенная в таком невзрачном теле.

<…> Наши антики-педагоги (Березницкий, Белоусов, [учитель русского и славянского языка] Ковалевский* и другие) должны были уступить место личностям более современного направления; а вслед за введением преподавания польского языка в гимназиях Юго-Западного края число преподавателей-поляков увеличилось. Пользуясь делаемыми им поблажками сверху, они беспрепятственно стали подготовлять молодежь к тому, что случилось в 1863 году.

Ясное дело, что начальник гимназии с такими консервативными убеждениями, какими заявил себя Гренков, был весьма нежелателен для наших пропагандистов. Они повели против него подпольную интригу, перетянув на свою сторону ловкого гешефтмахера Федорова. Зная нерасположение к директору попечителя, за пристрастие его к березовой каше, наши поляки, с помощию учителя 1-й гимназии Рупневского, бывшего у Николая Ивановича [Пирогова] домашним человеком, до того его настроили, что едва Гренкову истекло 30-летие его службы, он был немедленно уволен в отставку.

---

* Появившийся здесь впервые сей персонаж М. Чалый ранее характеризовал так:

Учитель русского и славянского языка Ковалевский, переведенный из Белой Церкви, человек от природы робкий и какой-то загнанный, обладая при этом неказистой наружностью, был вечным мучеником безжалостных мальчиков (сей возраст жалости не знает, – сказал Крылов), получая в прибавку после каждого урока выговор директора за неуменье держать порядок в классе. Сознавая свое бессилие укротить маленьких зверьков, он нередко плакал во время уроков. Не надеясь наконец ни на защиту инспектора, ни на строгие взыскания за учиненные ему пакости, он однажды, выбившись из сил, пал на колени пред образом Божией Матери и обратился с мольбой к защитнице всех скорбящих: «Матерь Божия! – взмолился наставник, – накажи их, негодных!» А негодяи все-таки продолжали делать ему всевозможные пакости: то воробья выпустят во время урока, то зазвонят на последней скамье в колокольчик, то заведут машинку с веселой музыкой.

Про этого горемыку-педагога ученики сочинили такие стишки: Колокольчик звенит – /Ковалевский бежит, / Садится за стол / И объясняет глагол: / Глагол есть такая часть речи, / Что Ковалевский упал с печи, / Ударился о пол / И выскочил глагол.

Не нашел этот злосчастный труженик счастья и по выходе в отставку: избавившись от мучительства детей и отслуживши благодарственный молебен, он недолго пользовался свободой: через год он ослеп и окончил жизнь в богадельне.

<…> В продолжение 10-летней моей службы во 2-й киевской гимназии мне не довелось дожить до памятного киевлянам 1863 года, когда во граде Владимира и Ярослава wybuchneło powstanie [(вспыхнуло восстание)], которое, по внушению Варшавского жонда, долженствовало доказать Европе, что и «сей пращур городов русских», по несчастной случайности [лишь] временно находившийся под властию Польши, так же принадлежит к ее составу. В мое время происходили только манифестации, совпавшие с междуцарствием во 2-й гимназии.

На мое несчастье, в числе поляков-учителей очутился и мой университетский товарищ, живший со мной в одной камере [(комнате)], преподаватель польского языка Валерий Коперницкий, до мозга костей проникнутый польскими тенденциями. Образовалась [в Киеве] целая толпа патриотов, к которой примкнули и некоторые либералы из русских; с помощию последних они начали проводить через Педагогический совет [2-й гимназии] предложения, явно клонившиеся к ущербу русского направления в заведении. Пользуясь съездом [в Киев] значительного числа богатых панов во время [январских] контрактов, эти господа устроили между ними подписку в пользу польской ученической библиотеки и на собранные деньги приобрели массу книг, большею частию исторического содержания, разумеется, с известными тенденциями. Наполнив ими два огромные шкапа, они поручили заведывание ими фанатику-студенту Шембелю, который стал выдавать их ученикам обеих Киевских гимназий.

Когда мне пришлось обнаружить организацию этого общества просветителей юношества и конфисковать несколько сочинений в закрытом заведении, поляки-учители вошли к попечителю с прошением узаконить существование польской библиотеки, поместив ее в гимназии рядом с мизерной, только что заведенной библиотекой русских книг на весьма ограниченные средства из добровольных пожертвований самих воспитанников.

Попечитель нашел такую просьбу подлежащею удовлетворению, предоставив окончательное решение вопроса о библиотеке польских книг Педагогическому совету. И что же? Едва ли не большинством одного голоса вопрос этот решен отрицательно.

В попечительство Пирогова в Киевском учебном округе славились преподаванием три учителя: в 1-й гимназии – Рупневский, во 2-й – Шумовский и в Волынской – Коссовский. Все они излагали географию Российской империи весьма поверхностно, сравнительно с географией Польши, которую они излагали очень пространно в границах [Речи Посполитой] 1772 года, по карте, полученной в нескольких экземплярах из Парижа. Благодаря предстательству Рупневского, при Пирогове они были неуязвимы.

Панихида по убитым в Варшаве пяти мятежникам, разрешенная правительством, впервые обнаружила всю закоренелую ненависть, весь фанатизм до того милых и любезных киевских поляков*. Ограничусь только тем, какой вред для гимназий причинило привлечение детей к участию в политических беспорядках. Когда в городе стали носиться слухи о предстоящей панихиде, некоторые из наших преподавателей-поляков стали между собой совещаться, резко отделившись от своих русских сослуживцев; в подражание им и ученики-католики сделали то же самое относительно своих товарищей.

<…> На другой день еще до начала уроков ученик VII класса Р-ий, сын политического ссыльного, стал бегать по классам и подстрекать учеников не идти в университетский костел [(здесь генерал-губернатор и попечитель предложили провести панихиду с участием гимназистов-поляков)], где не будет никакой церемонии, а в городской костел, где сделаны громадные приготовления.

---

* Речь идет о погибших при подавлении манифестации в Варшаве 13 февраля 1861 года.

После второго урока, по звонку, отделились козлища от овец, выстроились в пары в коридоре и под предводительством наставников-поляков вышли на улицу; но дошедши до угла университетской ограды, по данному Коперницким сигналу, рассыпались и во все лопатки побежали в городской костел.

<…> Следовавшая затем другая панихида, если не ошибаюсь, была в память польского историка Левеля [(умер 29 мая 1861 года в Париже)], а третья, и кажется, последняя, в память соединения Литвы с Польшею, по инициативе ученой молодежи университетской.

Облекшись в чамарки и вооружившись толстыми палками, толпа человек в 300 двинулась по два в ряд по Большой Владимирской улице к городскому костелу. Дойдя до пересечения Владимирской улицы с Бибиковским бульваром, из отряда выделились два студента и направились один в первую, а другой во вторую гимназию – приглашать на торжество гимназистов. Предвидя все это, я приказал запереть все входы и выходы в гимназию, а сам, как часовой, стал ходить по тротуару.

Подходит к парадным дверям юноша.

– Вы кто такой и что вам нужно, – спрашиваю.

– Я студент университета св. Владимира, мне необходимо повидаться с моим родственником.

– Я вам этого не могу позволить в настоящее время, приходите после. Идите своей дорогой и пойте свои гимны, сколько вашей душе угодно, а детей не трогайте – я за них отвечаю и перед родителями, и перед начальством. Зачем вы, господа, путаете детей в свои манифестации?

– Об этом скажет история, – отвечал с важностию студент, повернулся и ушел в костел.

До этой последней демонстрации полиция, по распоряжению свыше, вовсе не мешала полякам бесчинствовать среди стотысячного населения богоспасаемого града; наконец, мера долготерпения истощилась. При выходе из костела, на церковной паперти был избит в кровь квартальный надзиратель; затем, совершив этот подвиг, студенты двинулись к университету, как носился слух, с целию истребить центральный архив.

Но к счастию, буйство их на сей раз ограничилось разбитием нескольких стекол в помещении архива. До этой безобразной выходки полиция, повторяю, не делала никаких распоряжений, но после избиения квартального и тайная, и явная полиция ополчилась против буянов с великою стремительностию; начались аресты, обыски, штрафы.

Пока студенты-поляки совершали свои оргии в костеле и на улицах, русские студенты не находили повода протестовать против безобразий, чинимых товарищами, но лишь только они учинили дебош в стенах университета, как в тот же самый день попечителю был подан протест с 150-тью подписями. В нем торжественно заявлялось, что русские студенты не солидарны с поляками и порицают их бесчинства.

<…> Полицейские меры, предпринимаемые администрацией для уничтожения беспорядков в среде университетской молодежи, не согласовались с мнением Николая Ивановича, что часто было причиной недовольства его действиями Генерал-Губернатора. <…> Натянутые отношения, возникшие между Попечителем и Генерал-Губернатором, не предвещали ничего доброго. Наконец, интриги обострили эти отношения еще более, и по представлению князя Васильчикова он был уволен в отставку [в марте 1861 года].

<…> По увольнении Пирогова, до назначения на его место барона А.П. Николаи, должность попечителя исправлял Иосиф Григорьевич Михневич. Уроженец Волынской губернии, магистр Киевской духовной академии 6-го выпуска (1829-1833), он избран был Пироговым в помощники, по выходе в отставку долго царившего в [Киевском учебном] округе М.В. Юзефовича.

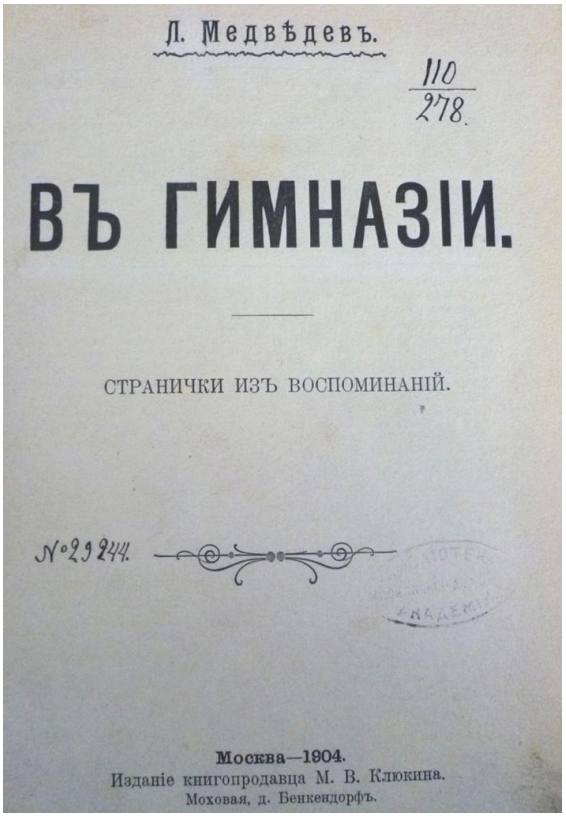
Как при Пирогове, так по увольнении его, и еще при двух попечителях, Иосиф Григорьевич неуклонно следовал принципам Николая Ивановича, насколько это от него зависело, и если что-нибудь держалось еще в гимназиях от реформ пироговских, то этим они обязаны Михневичу.

<…> Со времени [непродолжительного] увольнения[, с должности директора 2-й гимназии,] Гренкова вплоть до приезда [в 1861 году] барона А.П. Николаи я исправлял две должности – директора и инспектора. В течение этого времени поляки успели пропеть все свои гимны, кокетливые польки – износить свои траурные платья, студенты – свои чамарки. За польскими манифестациями следовали малорусские: появились бараньи шапки, смазные сапоги, мережаные [(с цветным орнаментом)] сорочки. Все это имело сильное влияние на возбуждение умов учащейся молодежи и не могло не повлиять на ослабление дисциплины в Киевских учебных заведениях.

А тут, как назло, на место либерального попечителя назначен самый крайний консерватор николаевских времен. При самом вступлении своем в должность барон А.П. Николаи задался мыслию похоронить и засыпать землею все реформаторские распоряжения по округу своего гениального предместника и повернуть заведения к старым порядкам. Но это, за краткостию его попечительства, удалось ему только отчасти.

<…> В короткое время своего попечительства (говорит в своих воспоминаниях Богатинов – «Русский Архив», 1899 г., №2) барон Николаи ничего особенного не сделал, помимо разве того, что не был равнодушен к несоблюдению служащими условий служебного труда, да разве приказал воротившемуся из заграницы Ростовцеву снять бороду, которой он украсил себя заграницей. <…>

Л. Медведев*. В гимназии. М., 1904


Л. Медвѣдевъ.

110
278.

ВЪ ГИМНАЗІИ.

СТРАНИЧКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

№29244.

Москва—1904.
Изданіе книгопродавца М. В. Клюкина.
Моховая, д. Бенкендорфъ.

* Писатель Лев Михайлович Медведев (1865-1904) учился в К. I Г. в 1870-х, с 3-го по 6-й классы, а в начале и конце учебы пребывал во Второй гимназии. Он был на 3 года старше Р.Э. Классона.

<…> ***«Карандаши» и «паштеты»***

– Сегодня у нас назначена драка с «паштетами», ты пойдешь?

С такими словами, в один прекрасный день, во время большой перемены, ко мне обратился один из товарищей-второгодников. В качестве «хорошего товарища» я, конечно, был не прочь от того, чтобы с кем угодно устроить драку, но для меня, еще новичка и младенца во всякого рода гимназических делах, было совершенно непонятно, с кем именно придется драться.

Какие такие «паштеты»? Мои познания по кухонной части простирались настолько, что я знал, что паштетом называется особенного рода пирог, но не с пирогами же товарищ предложил мне вступить в борьбу. Это было совершенно непроизводительное и, по меньшей мере, нелепое препровождение времени. Съесть пирог, конечно, я согласился бы с величайшим удовольствием, но вступить с ним в сражение считал совершенно несовместным с собственным достоинством. Предложение почтеннейшего «второгодника» поставило меня в крайне затруднительное положение.

С одной стороны, из чувства товарищества, я не счел возможным отказаться от лестного участия в столь странном предприятии, с другой же стороны, не желал делать заведомую чепуху. Нет, следовательно, ничего удивительного в том, что я стоял против товарища с разинутым от удивления ртом и выпученными глазами.

Я даже немного испугался: мне показалось, что товарищ мой не совсем в здравом уме и не вполне твердой памяти… Бывают ведь внезапные умопомешательства!

– Что ты сказал, – промолвил я, наконец, – с кем назначена драка?

– С «паштетами».

– С какими? – переспросил я.

– Как с какими? Обыкновенно какие «паштеты» бывают, – отозвался товарищ и тем окончательно сбил меня с толку.

Я мог только сказать:

– Не знаю.

И только что я сказал это слово, как лицо товарища приняло самое пренебрежительное выражение.

– Не знаешь, – отозвался он не то с сожалением, не то с презрением, – а еще смеешь называться гимназистом.

Но это не помогло делу: я все-таки не знал. Товарищ чуточку помолчал, а я стоял перед ним довольно сконфуженный и ждал соответственных разъяснений. Но поначалу он довольно странно разъяснил мое незнание.

– Эх ты, молокосос, – сказал он.

Вместо товарищеского разъяснения – и оскорбление. Это мне не понравилось. Во мне, благодаря обидному слову, немедленно же взыграл дух гордости.

– Ты не ругайся, – сердито заметил я, – а то, хоть ты и второгодник, а я на это не посмотрю...

Не знаю уж, вид ли у меня был достаточно бодрый и молодцеватый или товарищ мой находился в миролюбивом настроении духа, но только, на этот раз, наш разговор не принял в дальнейшем враждебного характера.

Товарищ сказал:

– Ну, если уж ты не знаешь, так слушай.

И тут только он сделал то, с чего, в сущности, следовало начать. Он объяснил мне, что «паштетами» называются ученики другой гимназии города. Почему их так именно называют, он в точности и сам не знал.

Кажется, их так называют по той причине, что пансионерам этой гимназии дают на завтрак по воскресеньям какие-то паштеты (должен сказать, что вряд ли это справедливое объяснение, ибо через несколько лет я перешел в эту гимназию, поступил в пансион, но совершенно не помню, чтобы нам давали на воскресный завтрак паштеты; правда, пироги иногда по праздникам бывали, но никогда на завтрак, а на обед, притом очень и очень редко), а потому их и называют «паштетами».

Вот и все, да это и не важно, по какой причине их так называют. «Паштеты», и все тут! А раз это так – «их следует дуть». Узнал я и другую интересную вещь, а именно то, что гимназистов нашей гимназии называют «карандашами». Почему – это тоже не вполне точно известно.* «Паштеты», по словам моего товарища, утверждают, что в давно прошедшие годы один из наших гимназистов где-то (но где – этого никто сказать не мог) «украл» карандаш, был уличен с поличным, даже, кажется, исключен за свое преступное деяние из гимназии, и с этой поры за нами и утвердилось прозвание «карандашей»...**

Были еще «чижики». Так назывались ученики прогимназии. Но их, в качестве «прогимназистов», а не настоящих гимназистов, в счет как-то не принимали и интересовались ими очень мало. Зато «паштеты» и «карандаши» неустанно враждовали между собою и при всякой встрече устраивали изрядные потасовки.

После такого разъяснения я, конечно, вполне согласился с тем, что «паштетов следует дуть» и выразил полную готовность присоединиться к выступающему против них отряду наших гимназистов. Готовность моя была тем охотнее, что я узнал, что на этих днях «паштеты», собравшись в большом количестве в университетском ботаническом саду, напали на небольшое количество «наших» и после упорного сражения «нашим» пришлось отступить. Проще говоря, нас изрядно оттузили. Поражение требовало отмщения. «Наших» на сей раз должно было собраться изрядное число.

Участие в походе сильно волновало меня, и я с большим нетерпением ожидал окончания уроков... Здесь я должен сказать, что постоянные ссоры двух гимназий (однако, только младших, не далее третьего класса учеников), заводимые притом нередко на улицах, уже давно обратили внимание гимназического начальства.

Драки были запрещены и участники их подвергались взысканию, но, разумеется, задорных мальчуганов было довольно трудно удержать. Тогда, во избежание уличных сборищ большого количества гимназистов враждующих гимназий, было решено начинать учебные занятия в разное время. Мы начинали и кончали уроки на полчаса ранее воспитанников первой гимназии. Но и эта мера мало помогла. Ради великого удовольствия сразиться с «паштетами», мы, по окончании уроков, жертвовали получасом свободного времени и поджидали наших врагов частью на улице, а частью в каком-нибудь излюбленном для этого месте, чаще всего в вышеупомянутом ботаническом саду.

---

* Речь идет, как мы видим, о намечавшейся драке учеников Киевских Второй и Первой гимназий (соответственно между «карандашами» и «паштетами»).

** *В 1837 г. 11 учеников 2-й гимназии и Печерского училища образовали из себя воровскую шайку с обдуманным заранее планом, с правильным распределением ролей и принялись за похищение чужой собственности. К своей операции они приступили в весьма удобное, так называемое контрактовое время, когда в контрактовом доме собиралась масса покупателей. Где наиболее скоплялось их и где следовательно внимание продавцов было наиболее отвлечено от воришек в гимназическом одеянии, там с усиленною энергиею работали они, унося все, что только попадалось под руки: картины, рамы, щетки, гребешки, помаду, зеркала, чубуки, табак курительный, табак нюхательный, конфекты, вино, стаканы (у сбитенщика) и прочее, и прочее. Воровали они в продолжение двух недель, захватывая значительными порциями попадавшееся под руку: например, фунт табаку, связку чубуков, десяток картин и т.д. В особенности много при обыске найдено у них карандашей (не с тех ли пор ученики 1-й гимназии дразнят учеников 2-й словом «карандаш»?). –* ***Н.С. Тумасов. История Киевской 2-й гимназии // «Киевская старина», 1902, №5***

И «паштеты», которые были не менее нас – «карандашей» задорны и отважны, всегда с величайшим удовольствием принимали вызов. «Бой» начинался всегда почти по одному, давно уже установившемуся порядку. «Паштеты» и «карандаши» в том или другом месте встречались. Начиналось взаимное хождение взад и вперед и бросание победоносных и вызывающих взглядов друг на друга. Затем какой-нибудь малыш, проходя мимо одного из неприятелей, как будто бы совершенно нечаянно, толкал его и произносил:

– «Паштет»!..

В это же самое время кто-нибудь из другой гимназии проходил мимо «нашего», задевал его и с презрением бросал:

– «Карандаш»!

Затем следовало:

– Чего толкаешься?

– А ты чего?

– Вот я тебе покажу.

– А ну-ка, толкни еще раз.

– А ты думаешь, не толкну?

– Попробуй.

После этого следовал второй толчок, более энергичный. Тогда подходил кто-нибудь из товарищей и заявлял:

– Ты его зачем трогаешь?

– А тебе какое дело, – говорил сейчас же появляющийся союзник толкнувшего.

– Не позволю трогать товарища.

– И я не позволю.

Тут постепенно начинали подходить новые и новые сотоварищи. Собиралась изрядная кучка. Разговоры становились все оживленнее и громче. Некоторые вызывающе «толкались», а через каких-нибудь пять минут все уже отчаянно галдели.

Наконец, с чьей-нибудь стороны (чаще с той, где чувствовали свое численное превосходство) раздавалось решительное восклицание:

– Что с ними разговаривать... Дуй их, ребята.

И это было сигналом. Моментально завязывалась общая свалка. В итоге побежденные спасались бегством, а победители преследовали их по пятам. Бывало и так, что в то время, когда какая-либо из сторон уже изнемогала и начинала уступать, неожиданно подходила вторая группа из гимназистов той же гимназии. С криками «не робей, ребята, ура!» эта новая группа, со свежими силами, бросалась на выручку, а изнемогающие, видя подкрепление и снова почувствовав прилив храбрости, устремлялись на врагов. Военное счастье, как известно, переменчиво и те, которые считали себя несомненными победителями, смешивались и обращались в беспорядочное и постыдное бегство.

Бывало и так, что обе стороны сражались с одинаковым упорством. В чью пользу решилась битва, определить было трудно.

Тогда раздавались крики «довольно, довольно». Устанавливалось перемирие и доходило даже до того, что, если дело происходило в ботаническом саду, неприятели в конце концов начинали какую-нибудь совместную игру, причем, для справедливости, «партии» делились с тем расчетом, чтобы в состав каждой непременно входили гимназисты обеих гимназий. Наигравшись вдоволь, расходились по домам, но, идя по наружности довольно мирными группами, уже снова впадали в воинственное настроение.

– А на следующий раз мы вам покажем, – говорили одни.

– Попробуйте... руки коротки, – отвечали другие.

Строго говоря, эта глупейшая вражда особенного вреда не приносила, но иногда все-таки дело кончалось порядочными синяками и шишками... Бой, в котором мне впервые пришлось принять участие, окончился очень неудачно для «карандашей». Несмотря на то, что нас собралось много, «паштеты» явились еще в большем количестве. Сражались мы храбро (читатель видит, что я совершенно правдив, не скрываю факта нашего поражения, а потому нет основания сомневаться в нашей храбрости; сила солому ломит), но в конце концов были сломлены превосходными силами врагов и удирали с места сражения во все лопатки... <…>

Через несколько дней произошел новый бой. На этот раз мы, собравшись с внушительными силами, одержали блестящую победу.

– А мы здорово вздули паштетов! – ликующим тоном отрапортовал я, вбегая домой.

Мачеха осмотрела меня; старые повреждения еще не прошли окончательно (шишка, однако, уже уменьшилась, а синяк стал желтым), но новых не было.

– Ну, скажи, пожалуйста, – спросила она меня за обедом, – почему же, собственно говоря, вы деретесь с первогимназистами?

На это я ответил весьма доказательно:

— За то самое, что они смеют называть нас «карандашами».

И более ничего не мог сказать. Вероятно, если бы я был учеником первой гимназии, то на такой же вопрос, ответил:

– А потому, что они называют нас «паштетами».

<…> ***Пансион***

Это был довольно тяжелый, довольно трудный день в моей жизни. Мой дядя и вместе с тем опекун, привезши меня с тем, чтобы сдать в пансион 1-й К-ской классической гимназии, говорил с инспектором. Я не слыхал сути разговора, так как находился в некотором отдалении. Я стоял и, как говорится, хлопал глазами. Мне было, если сказать правду, очень не по себе.

По сей день я учился в другой гимназии города [(во 2-й Киевской)], но не в пансионе, а приходящим, жил в чужой, но хорошей семье, куда попал после смерти отца и где считался своим человеком. Там я чувствовал себя достаточно свободной личностью, которой было дозволено не только дружиться, а в случае надобности и драться с уличными мальчишками или на бесконечно большое расстояние провожать солдат, когда они с музыкой шли по городу, но даже бегать на пожар и вступать там в споры и распри с лицами, наблюдающими порядок и благочиние во время этого общественного бедствия.

На пожарах иногда даже я с гордостью играл роль общественного деятеля: раза два или три я, вместе с прочими добровольцами разных званий и сословий, качал воду. Теперь я очень грустил, ибо отлично сознавал свое новое положение, понимал, что свободе в том виде, какова она была до сих пор, приходит конец: сделавшись пансионером, я, вне всякого сомнения, попаду уже в совсем иную, стеснительную для меня обстановку и лишусь многих привилегий и вольностей, добытых мною в течение всех тринадцати лет моего земного существования. Провожать солдат уже не придется, драки с мальчишками возможны лишь в праздничные дни, когда меня обещали «брать в отпуск», а с пожарами и совсем придется проститься.

Согласитесь сами, что меня ждала незавидная, сравнительно со всем предшествующим, будущность для человека, сознающего свое достоинство. Я хлопал глазами и от нечего делать осматривал «инспекторскую комнату», где находился в данное время.

Инспекторская (в других местах она называется «учительской», ибо в ней происходит отдохновение преподавателей во время перемен) новой гимназии напоминала собою нашу прежнюю инспекторскую, куда, за разного рода провинности и нарушения гимназических правил, меня неоднократно призывали и, выслушав мои объяснения, или отпускали с миром (это бывало относительно редко), или налагали соответственную меру взыскания (это бывало значительно чаще).

Впрочем, все почти инспекторские или учительские (называйте их, как вам будет угодно, ибо не в имени дело) комнаты удивительно похожи одна на другую.

Инспекторской, окончив мой осмотр, я остался совершенно доволен, так как, по моему крайнему разумению, она была именно такова, каковой ей и надлежало быть. Но зато новый инспектор мне не очень-то пришелся по вкусу. Он нисколько не напоминал своей наружностью нашего прежнего инспектора, Онисима Ивановича, который так страшно кричал на нас, но которого, попривыкнув к его громовому голосу, мы нисколько не боялись, зная, что, в огромном большинстве случаев, дело только этим грозным шумом и ограничится...

Новый инспектор был высокий господин с быстро бегающими маленькими глазами, тоненьким голосом и, что самое скверное, рыжими волосами, таковыми же усами и огненной бородой. Все же рыжие люди, так, по крайней мере в то время, думал я, неминуемо должны обладать достаточно злым характером.

– «От этого не отвертишься, его не проведешь, с ним шутки плохи».

Таковы были удручавшие меня, далеко не веселого свойства мысли.

Тем временем разговор с начальством пришел, как и все на свете, к концу. Мой дядя обратился ко мне с подобающей случаю речью, в которой внушил мне несколько наиболее важных и существенных параграфов из правил тихого поведения и доброй нравственности, сказал, что, в случае хорошего образа действий с моей стороны, меня постоянно, по праздничным дням, станут брать в отпуск, дал мне, с разрешения господина инспектора, три рубля денег, поцеловал меня в голову, перекрестил, потом раскланялся с инспектором, сказал ему еще два-три прощальных слова и удалился...

В первый момент мне стало совсем не по себе, я чувствовал себя в положении мыши, попавшей в мышеловку. Теперь я был один, в полном распоряжении «рыжего».

Так я окрестил нового моего начальника и, как оказалось, будучи от природы умным и наблюдательным мальчиком, нисколько не ошибся в определении: вся гимназия поголовно именовала почтеннейшего Юлиана Ивановича именно этим словом*. Исключение составляли только те воспитанники, которых природе заблагорассудилось наделить волосами того же цвета, каков был у нашего инспектора. Эти слово «рыжий» благоразумно замалчивали.

Должен, однако, сказать, что, в результате результатов, как оно почти всегда и бывает, чорт оказался совсем не таким уж страшным, как его малюют. Мало того: Юлиан Иванович, несмотря на свою внешнюю суровость, был прежде всего на редкость справедливый человек, что детьми всегда особенно ценится, и очень добрый, любивший, как свое ответственное дело, так и находящихся под его ведением питомцев, особенно маленьких.

Помню, когда года через два после моего поступления в пансион, Юлиана Ивановича перевели куда-то директором и он должен был нас покинуть, при трогательном прощании с нашим «рыжим», многие плакали совершенно искренно, а он, несмотря на повышение по службе, долго крепился, потом махнул рукой и сам заплакал... Но перехожу к повествованию.

---

* Скорее всего, это Юлиан Иванович Сенинский – учитель истории и латинского языка (1865-1869 и 1871-1880) и инспектор К. I Г. (1873-1880). В 1880 г. был назначен директором К. 3-й Г.

– Теперь, дети, я прикажу проводить вас к Ричарду Ричардовичу, – послышался голос инспектора.

Эта фраза вывела меня из задумчивости. Какие такие дети, когда тут всего одно дитя, и притом довольно скверное. Я невольно оглянулся вокруг и увидел, что, кроме нас двух, т.е., инспектора и вашего покорного слуги, в инспекторской находилось еще третье живое существо. Как я мог его проглядеть – не знаю, но, вероятно, я был сильно удручен, а потому и не заметил его.

На одном из стоявших у правой стены стульев, под портретом внушительного генерала с орлиным взором и седыми баками (как оказалось потом, это было изображение одного из бывших попечителей учебного округа), сидел довольно высокого роста, худенький белокурый мальчик с веснусчатым лицом.

Инспектор сделал пояснительный жест рукой, белокурый мальчик быстро поднялся и моментально, выразив на своем лице глубочайшее почтение, вытянулся в струнку.

– Антон!

Так сказал, вернее выкрикнул, инспектор и на зов, в одно мгновение, словно вынырнув откуда-то из-под земли, бесшумно появилась высочайшего роста и поразительной худобы фигура в унтер-офицерском мундире, с галунами и несколькими серебряными и медными медалями на груди. Это был «педель» Антон, господин, как пришлось мне убедиться в недалеком будущем, деятельный, зоркий, неутомимый, относящийся крайне враждебно к гимназистам, платившим ему взаимно тою же монетой.

Впрочем, иметь с ним дело приходилось, главным образом, «приходящим» воспитанникам гимназии, а мы – «пансионеры» – сталкивались с ним относительно редко, да притом и времени, от постоянных войн со своими пансионскими «дядьками», в нашем распоряжении оставалось не настолько много, чтобы уделять Антону особенное внимание.

– Отведи детей в пансион к Ричарду Ричардовичу, – протянул инспектор.

– Слушаю-с! – отчеканил Антон ледяным, не имеющим совершенно никакой интонации, равнозвучным голосом.

– Ну, дети, постарайтесь вести себя хорошо, и вам хорошо у нас будет. Обещаете?

Сказав эти слова, новый наш начальник посчитал нужным притронуться рукой к нашим волосам, что, по-видимому, обозначало ласку в настоящем и утешение относительно будущего.

– Обещаете? – снова повторил он.

Белокурый мальчик не сказал в ответ ничего, он продолжал стоять, вытянувшись в струнку, зато я с величайшей готовностью пообещал вести себя самым наилучшим образом (самообладание уже успело ко мне вернуться) и даже, по собственной инициативе, подкрепил свое обещание клятвой, которой от меня никто и не думал требовать.

– Пожалуйте! – отчеканил Антон тем же ледяным тоном, на этот раз обращаясь уже непосредственно к нам. Он имел удивительную способность говорить всегда однозвучно, никогда, словно говорящая машина, не понижая и не повышая своего голоса.

Предводимые Антоном мы пошли по длинному коридору гимназии, прошли его, по чугунной лестнице поднялись на следующий этаж, потом еще выше, еще и, наконец, остановились перед широкой, напоминающей добрые домовые ворота дверью. Антон позвонил. Дверь со скрипом распахнулась и перед нашими глазами предстала особа, хотя и в таком же унтер-офицерском мундире, как и Антон, и с таким же количеством медалей, но совершенно другого типа. Это был невысокий, плотного сложения человек с багровым носом и еще более багровой шеей, знаменитый в наших пансионских летописях дядька, Иван-Ябеда.

– Вот, Иван, примите. Господин инспектор приказали проводить их к господину дежурному воспитателю, – официальным тоном заявил Антон.

– Новички? – коротко спросил Иван, но в его голосе, в противоположность Антону, не было ничего официального.

От Ивана-Ябеды пахнуло на нас букетом самого скверного табаку, называемого махоркой, или, на юге, где обучался я, «корешками». Он запер дверь за немедленно удалившимся, по исполнении инспекторского приказа, Антоном.

Дверь задрожала, замок звякнул как-то особенно и, что касается меня, то на меня все это подействовало крайне угнетающим образом.

– Прощай приволье, – уныло подумал я.

– Ну, ходим, панычи.

Иван-Ябеда говорил с изрядным хохлацким акцентом. Он энергично ударял на звук «о», а его «е» всегда звучало как «э» оборотное. По всем вероятиям наши физиономии выражали достаточную степень уныния, так как даже у дядьки Ивана явилась некоторая потребность так или иначе ободрить нас.

– Отó приемная, отó спальня старшего возраста, – пробурчал он, выразительно ткнув указательным пальцем по направлению к двум попавшимся на нашем пути дверям.

– А отó умывальники, – пояснил он, указывая на огромные медные предметы, прикрепленные к стене и поразительно похожие на колоссальные самовары, разрезанные надвое.

Как раз, не так давно перед этим, [я] прочитал не помню уж какую именно историческую повесть, где, в конце концов, какого-то малорусского гетмана поляки зажарили в «медном быке»... Именно этот-то самый «медный бык» и пришел мне на ум при виде умывальников. Безобидные и бесполезные предметы, служащие исключительно только для чистоты и опрятности молодого поколения, показались, по первому впечатлению, мне необычайно страшными.

Иван-Ябеда проводил нас в комнату для занятий. Это была обширная зала, вся уставленная «партами» черной окраски, на три человека каждая, сдвинутыми по две вместе таким образом, что трем, сидящим на одной парте, приходилось сидеть лицами к трем, сидящим на противоположной. Посреди залы висела большая лампа, а по тому же направлению, у окон, выходящих на улицу, стоял небольшой столик. За столиком сидел красивый, стройный господин, брюнет с пробивающейся уже проседью в бороде, и что-то весьма старательно писал в толстейшей книге.

Это и был воспитатель, а вместе с тем учитель немецкого языка, Ричард Ричардович Гартман*. Толстейшая же книга оказалась «кондуитным» или, проще сказать, штрафным журналом, куда неукоснительно, в назидание будущих поколений, вносились злые деяния пансионеров, а против описания преступлений, в особой графе, и притом уже рукой инспектора Юлиана Ивановича, значилось: «лишить отпуска в следующий праздник», «оставить без третьего блюда», «в карцер на один час», и тому подобные довольно краткие, но вместе с тем и весьма выразительные изречения.

Воспитатель довольно приветливо окинул нас взглядом. Увидев, что я был в форменной одежде, он прежде обратился ко мне.

– Как ваша фамилия?

Я сказал.

– Имя?

Я и это сказал. Он записал сказанное мною в другую, лежащую перед ним и тоже толстую книгу, а затем продолжал допрос.

– В какой класс поступаете?

– В третий.

---

* Под сим персонажем зашифрован, похоже, Густав Ричардович Бергман – учитель немецкого языка и воспитатель пансиона в 1870-1903 гг.

– Вы раньше уже, вероятно, судя по форме, были в другой гимназии?

– Да.

– В какой?

Я ответил.

– А... у вас там слишком много воли дают, – заметил он.

– Нет, у нас там было ужасно строго.

Мне почему-то показалось, что эта невинная ложь должна непременно послужить мне на пользу. Но воспитатель, видимо, плохо мне поверил, потому что как-то сомнительно покачал головой.

– А какой язык изучали, – снова спросил он, – немецкий или французский?

– Я француз.

– Немецкий язык полезнее, – сказал на это Гартман.

Я, конечно, не возражал. Покончив со мной, Ричард Ричардович обратился к моему белокурому спутнику.

– Ваша фамилия?

– Назаритенко, – ответил тот необычайно тихим, даже нежным голосом.

– Имя?

– Анатолий.

– В какой класс поступаете?

– В третий.

– «Ага, значит товарищи!» – подумал я.

– Где раньше учились? – продолжал Гартман.

– Дома-с, – учтиво ответил Назаритенко.

– Какой язык изучали?

– Оба, – проворковал Назаритенко.

– И немецкий и французский?

– Да-с.

– Гм... это очень хорошо, что вы учитесь и немецкому языку: это очень полезный, это даже более чем необходимый язык, особенно потом, в серьезных научных занятиях.

Гартман дружелюбно посмотрел на Анатолия Назаритенко, потом все-таки постарался так же любезно посмотреть и на меня.

– Пойдем, господа, я укажу вам места, где будете сидеть, – обратился он к нам, поднимаясь со стула.

Он повел нас на левую половину комнаты. Только теперь я хорошенько осмотрелся и увидел, что вся комната битком набита молодыми людьми всякого возраста, из коих немало было и весьма солидных юношей с усиками и даже легкой растительностью на месте будущей бороды.

Старшие лениво, словно не хотя, а как-то невольно, оборачивали свои головы в нашу сторону, зато младшие делали это с глубочайшим наслаждением и величайшим любопытством. Послышался довольно громкий и вместе с тем многозначительный шопот.

– Новички, новички.

– Новички-дурачки-и! – пропел где-то высокий дискант.

– Тише! – прикрикнул воспитатель.

– Дурачки-и! – донесся откуда-то совсем с другой стороны гармонический альт.

– Молчать! – снова пригрозил Гартман, и дальнейшее пение смолкло.

– Ну, будут колотить, – порешил я, так как настроение толпы к новичкам было, очевидно, враждебное, угрожающее.

Раздумывая об этом, я мысленно приготовился к отпору и дал себе слово, во всяком случае, продать свою шкуру насколько возможно дороже.

Ричард Ричардович нашел два свободных места рядом. Назаритенко занял крайнее место, я среднее. Другой мой сосед был высокий, лет четырнадцати мальчик. Черты его лица были неправильны и не отличались красотой, но зато ясные голубые глаза глядели так тепло и душевно, что я немедленно же почувствовал себя много легче.

Положение, однако, было не из завидных. Прежде всего я не знал, что делать. Я бы занялся размещением в определенном для меня ящике несложного имущества, привезенного со мною, но Иван-Ябеда, взявши наши пожитки от Антона, сказал, что принесет их нам во время перерыва от занятий, а до этого было еще далеко... А потому, изнывая и от бездействия, и от неловкости положения, я сидел и с невольной грустью ожидал будущего. Физиономии многих пансионеров, сидевших на ближайших партах, не предвещали ровно ничего доброго.

Я знал, что в те относительно еще дикие времена к новичкам, вместо того, чтобы обласкать и ободрить их, новые их товарищи относились на первых порах недружелюбно.

И первые признаки недружелюбия уже чувствовались в воздухе. Едва только дежурный воспитатель удалился на свое место, как в меня уже успело попасть несколько хлебных шариков, какое-то мягкое, слизистое вещество вроде хорошо пережеванной бумаги и несколько старых перьев. В грядущем могло быть и хуже, до лупки включительно.

В свое время, в прежней гимназии, где, считая с приготовительным классом, мне пришлось пробыть три года, я сам довольно деятельно обижал новичков, не представляя собою исключения из общего глупого правила, а теперь сам с горькой обидой ожидал, что и меня, старого, опытного гимназиста ждет подобная же участь, потому что, при данных обстоятельствах, в новой гимназии я сам был бы не что иное, как жалкий новичок и даже хуже: я перешел из другой гимназии, а у нас между гимназистами разных гимназий существовала постоянная вражда. До этого мы были, так сказать, врагами. Теперь предстояло сделаться союзниками, но это делалось не так-то легко…

Словом, так или иначе, а мысли волновавшие меня были самого неприятного свойства.

Мой сосед, мальчик с голубыми глазами, однако, не вселял во мне чувства недоброжелательства к себе. Наоборот, он, чувствуя мою неловкость, заговорил первый. Он шепотом задал мне несколько обычных в таких случаях вопросов: кто я, откуда, как зовут, какого класса и проч.

Я отвечал довольно неохотно, но узнал и от него, что он ученик четвертого класса, был раньше приходящим в той же гимназии, но вот уже три недели, как отдан в пансион. Фамилия Лукомский, имя – Петр.

– Может быть, хотите книгу почитать? – обратился он ко мне, покончив со всеми предварительными вопросами.

Это было, действительно, спасительное средство от горьких дум. Читать я любил и даже очень, а потому чуть не с радостью сказал:

– Дайте, если есть.

– Сейчас.

Он приподнял крышку своего ящика, порылся между книгами и дал мне одну из них.

– Это прекрасная книга, – сказал он.

Видя такую вежливость, я тоже постарался отличиться хорошими манерами и сказал:

– Спасибо!

Я открыл книгу. Это был «Князь Серебряный» графа А.К. Толстого. Первые две страницы прочитал я плохо, а потом увлекся… Лучшее средство от всякого рода горьких дум и сомнений – хорошая книга…

Раздался резкий звон колокольчика. Это звонил дежурный воспитатель, оповещая час или, если быть точным, получас отдыха. Занятия в пансионе были распределены так: мы вставали в шесть часов утра и, после молитвы, занимались до половины восьмого, потом пили чай и вновь занимались до девяти. Затем следовали полчаса полного отдыха, после чего нам надо было спуститься вниз в гимназические классы, откуда мы возвращались обратно в пансион, если было пять уроков, в половину третьего, если меньше, то, разумеется, раньше. Это была первая часть пансионского дня.

Обедали в три часа, затем были свободны до пяти. С пяти занимались до половины седьмого, отдыхали полчаса и снова занимались до трех четвертей восьмого. После этого следовал вечерний чай, а за сим отдых. В девять часов вечера вечерняя молитва, после которой три младшие класса и приготовительный шли спать, а пять старших классов занимались еще час, т. е. до 10 часов вечера. Звонок воспитателя, о котором я только что упомянул, извещал о получасовом перерыве вечерних занятий, т. е. это было в половину седьмого. Мигом поднялся невообразимый гвалт и шум. Мальчики быстро повскакивали с мест и большинство их побежало из залы в коридор.

– Я скоро вернусь, – сказал мне Цыбульский, – и отправился к выходу*.

Вышел и дежурный воспитатель. Я и Назаритенко остались сидеть на своих местах и молчали. Не знаю почему, но я не имел ни малейшей охоты разговаривать с ним, хотя для этого и были основания: несомненно и он, как новичок, да еще поступивший прямо из дому, чувствовал себя не своей тарелке, а следовательно нам-то и подобало держаться один другого. Но он не делал ровно никаких попыток к сближению, а мне, изрядному волченку и дикарю по природе, тоже не хотелось делать первого шага в этом направлении.

Иван-Ябеда быстро исполнил свое обещание и притащил наши пожитки: у меня была небольшая шкатулка, у Назаритенка узелок.

– От теперь и устраивайтесь себе на доброе здоровье, – сказал дядька, – а одежу вашу я уже сдал в гардероб.

С этими словами он удалился. Но едва успели мы запрятать наше имущество в ящики, как уже перед нами стояли четыре гимназиста, приблизительно нашего возраста. Физиономии у них были в достаточной мере задорные...

– «Вот оно, сейчас начинается», – подумал я и приготовился, по мере возможности, не посрамить себя, не ударить в грязь лицом. Мальчики стояли перед нами.

– Носатый, – произнес один из них.

Это вне всякого сомнения относилось ко мне, и это была до некоторой степени правда, так как судьбе было угодно наделить меня носом несколько превышавшим тот размер, который бы делал мою физиономию правильной.

– Белобрысый, рябой, – с дерзостью произнес другой мальчуган.

Это, конечно, относилось уже к Назаритенке. Не знаю, что сказал он, но я, так как не любил замечаний о своем носе, оскорбился.

– Вы ко мне не приставайте, – отозвался я с достоинством.

– Ишь, какой важный, – продолжал неприятель.

– Оставьте меня, – настойчиво сказал я.

– А если не оставлю?

– Тогда...

---

* Все-таки перед этим наш герой познакомился с Петром Лукомским, а не с неким Цибульским. В опущенном в данном приложении очерке «Литераторы и журналисты» Лев Михайлов упоминал этого Цибульского (настоящая фамилия автором изменена): «белокурого мальчика, с неправильным, даже некрасивым, но симпатичным лицом», написавшего в гимназии еще неумелые, зато патриотические стихи про войну с турками, а затем уже изящное романтическое стихотворение «Изгнанник».

– Ну, что тогда, тогда что? – задорно приставал мальчуган.

Я и сам не знал, что именно должно последовать тогда, и потому, чтобы с одной стороны не потерять собственного престижа, а с другой стороны сбить противника с позиции неопределенностью, отвечал довольно гадательно:

– А вот сами увидите.

Незнакомец приблизился ко мне.

– Вы себе не воображайте, – проговорил он с некоторой угрозой в голосе.

И я постарался сказать грозно.

– И вы не воображайте.

– А этого не хотите?

Откровенно говоря, я этого вовсе не хотел, так «это» было кулаком, приставленным к моему носу, довольно грязным кулаком, запачканным в чернила... Мой нос чувствовал не только приближение неприятного орудия, но даже его теплоту. Видя непосредственную опасность, я невольно отстранил руку соперника.

– Эге, вы вот как... А ну-ка, попробуйте.

И он слегка толкнул меня.

– А вы не толкайтесь, – ответил я и тоже слегка подтолкнул его.

Не знаю, чем бы это все кончилось, но совершенно неожиданно со стороны Назаритенка раздался отчаянный вопль, а потом рыдание. Вероятно, и с ним велся подобный же разговор, как и со мною, но он не выдержал роли.

Едва только раздался вопль Назаритенка, как мальчуганы моментально пустились наутек, но в самых дверях столкнулись с Ричардом Ричардовичем, уже спешившим на отчаянный крик новичка.

– Охременко, Войнов, Дверницкий, Богданов, стойте. Что случилось?.. А?..

И он быстро подошел к нам.

– Что такое, отчего вы плачете? – спросил он.

– Они дерутся, – сквозь слезы бормотал Назаритенко.

– Кто они, все эти?

Он указал на четырех захваченных им преступников.

– Нет, вот этот, – рыдая сказал Назаритенко и указал на одного из мальчиков.

– А, Охременко, это вы…хорошо-с…

– Я только… – начал было свое оправдание мальчуган.

– Вы только… знаю, хорошо знаю. Теперь ступайте под лампу, а потом мы поговорим относительно вас с инспектором.

– Вас тоже трогали? – обратился он ко мне.

Я был настолько взволнован возможностью предстоящей мне опасности, что по первому началу ничего не мог ответить. Воспитатель принял мое молчание за утвердительный ответ.

– Кто вас трогал, вот этот? Богданов, вы? – и он указал именно на того, кто затеял ссору.

Но я уже пришел в себя. Богданов смотрел на меня своими черными глазами в упор. Они были несколько дерзкие, эти черные глаза, но такие большие, смелые, словно испытывали. Дух товарищества и самообладание сразу овладели мною, и я твердо отвечал:

– Меня никто не трогал.

– Да вы не бойтесь, скажите прямо, – настаивал воспитатель, пытливо поглядывая то на меня, поощряя, то на Богданова очень строго.

– А я и не боюсь, меня никто не трогал.

– А вас он не обижал? – снова обратился Ричард Ричардович к Назаритенке.

Тот продолжал еще хныкать.

– Кажется, и он трогал, – всхлипнул он.

Но тут уже мне стало досадно. Я отлично знал, что Богданов его трогать не мог, так как собирался устроить битву со мной.

– Нет, – сказал я довольно резко, – он его не мог трогать. Это неправда.

– Почему? – спросил воспитатель.

– Потому что он все время разговаривал со мной.

– То есть, приставал к вам?

– Нет, так прямо разговаривал.

– О чем?

– Ну, вообще… спрашивал.

– Ваше дело, как хотите, – сказал воспитатель, затем обратился к Назаритенке:

– Если вас кто-нибудь хоть пальцем тронет, то сейчас же скажите мне. Я строго, без всякого снисхождения накажу виновных.

– Хорошо-с, – промычал Назаритенко сквозь слезы.

– А когда придет инспектор, вы ему расскажите все. Охременко давно замечен.

И воспитатель ушел. Меня взволновала, однако, несправедливость. Богданов Назаритенка не трогал.

– Зачем же вы наврали? – сказал я, когда вся группа удалилась.

– Я не врал, – со злобой ответил Назаритенко, – он меня толкнул, а я его не трогал.

– Но не этот, не второй, – заметил я.

– Все равно... пусть.

Я не мог удержаться и прошептал:

– Ябедник.

Пока расхлебывалась вся эта каша, полчаса отдыха миновали и занятия снова начались. Воспитатель вызвал нас – новичков в библиотеку, чтобы выдать нам учебные книги и пособия. Там пришлось провозиться, так что час занятий прошел довольно быстро. Раздался новый звонок. Воспитанники снова устремились к коридору. Я толокся на одном месте, не зная, что предпринять.

– У тебя есть пара?

Я обернулся. Передо мной стоял мой недавний недоброжелатель Богданов.

– Какая пара?

– На чай.

– То есть, как это? – спросил я недоумевая.

– А строиться в пары. Мы, когда ходим на чай и обед, всегда строимся в пары.

– У меня нет.

– Так я буду тебе парой, хочешь?

– Хорошо, – ответил я.

– Идем.

Он взял меня за руку и скорыми шагами потащил в коридор. Здесь воспитанники уже выстроились длинной вереницей, словно солдаты. Богданов и я заняли место. Через две минуты мы двинулись в самый нижний этаж здания, где находилась столовая, для которой в помещении пансиона не было подходящего места.

– Ты в третий класс? – спрашивал Богданов уже на ходу.

– Да.

– Значит, товарищи. А с этим ябедой ты не дружи, – продолжал болтать Богданов, намекая, очевидно, на Назаритенко.

– Я и без тебя отлично знаю, – говорил я, уже не чувствуя никакой робости.

– Ты товарищ, это видно, – глубокомысленно заметил Богданов.

– А вы зачем к новичкам пристаете? – спросил я уже внизу, когда мы входили в столовую.

– Ну, разве не знаешь... нельзя же... надо узнать все, как следует.

Это было сказано довольно неопределенно, но для меня достаточно понятно.

– Ты садись рядом со мной, – сказал Богданов.

– Хорошо.

Мы стали у своих мест. Прочитали молитву, после чего все сели за чай. Его полагалось по два стакана на человека, при небольшой булке. Чаепитие продолжалось недолго, минут десять.

Совершенно в таком же порядке, а вернее беспорядке, так как «пары» шли весьма нестройно и притом с величайшим гамом и шумом, возвратились мы обратно наверх.

До сна оставалось около часу. Не могу сказать, чтобы первый вечер, проведенный в пансионе, показался мне особенно приятным. Во всяком случае, я чувствовал себя стесненным, но Богданов, взявший меня под свое, так сказать, покровительство, делал все от него возможное, чтобы только развлечь меня.

– Ты чего же это такой? – спрашивал он, видя, что я нет-нет да и взгрустну.

– Как какой? – спросил я в свою очередь.

– Да такой... надутый, кислый.

– Да так, скучно.

– А ты не скучай.

– Это уж не от меня зависит, – заметил я довольно резонно.

Но Богданов продолжал свои утешения.

– Главное, не будь бабой. Я, брат, тоже, когда поступил сюда, скучал, а теперь привык, – и ничего. Да ты в отпуски будешь ходить по праздникам? – добавил он.

– Буду.

– Ну, вот видишь, а еще скучаешь. Я вот и совсем в отпуск не хожу, а и то ничего, – сказал он с оттенком грусти.

– Почему? – спросил я.

– А очень просто, почему. Родители мои живут далеко отсюда, в уездном городе. За мной только и приезжают, что на Рождество да на Пасху. Зато уж эти дни гуляешь вволю. Ждешь, не дождешься, когда время настанет.

И тут глаза его приняли самое восторженное выражение. Очевидно, воспоминания о родном доме, о родной семье волновали и трогали его душу.

Богданов, как я заметил потом, был изрядный «задира» и бойкий мальчик, но за смелый, открытый и в сущности бесконечно добрый характер пользовался общей любовью товарищей. Потому-то «протекция», оказанная им мне в этот первый вечер, проведенный мною в пансионе, сильно послужила мне на пользу. О нашей первой, поначалу столь недружелюбной встрече, знали уже многие, и так как я оказался, хоть и новичком, но не ябедником, то и отношения между мною и новыми моими товарищами установились довольно хорошие.

Не более, как через двадцать минуть после чаепития и после того, как Богданов показал мне свои «собственные» книги (он очень любил читать и «собственных» книг у него было десятка два, чем он весьма гордился), мы в количестве человек пяти уже играли в рекреационной зале в какую-то подвижную игру. Это в значительной степени развлекло меня и помогло скоротать вечер. Зато с Назаритенкой решительно никто не говорил. Его, однако, уже не трогали, и он в унылом одиночестве копошился возле своего ящика, приводя в порядок выданные учебники и прочее имущество. Вообще, этот воспитанник с первого же дня занял исключительное положение между нами...

Наконец, раздался звонок, призывающий на вечернюю молитву, после чего «младший возраст», т. е. ученики приготовительного и трех первых классов, направился спать… Мне указали свободную кровать возле какого-то не знакомого еще мне мальчика из другого класса... Впоследствии, когда я окончательно освоился с пансионской жизнью, я переменил свое место и перебрался в круг товарищей-третьеклассников.

Не скажу, чтобы я засыпал спокойно и весело. Много разных мыслей теснилось в моей голове... Вспоминался родной дом, вспоминался покойный папа, разошедшаяся в разные стороны семья, наконец, и то семейство, где я жил после смерти отца... Словом, многое, многое припомнилось мне в эту первую пансионскую ночь.

И то, что в сущности было так недавно, каких-нибудь два, три года тому назад, показалось мне далеким, но навсегда незабвенным, навсегда дорогим, дорогим уже потому, что оно было бесповоротно потеряно мною. В этот день я простился с тою порою жизни, которая называется первым, «золотым» детством. И действительно, много еще радостных минут пришлось испытать мне в дальнейшей жизни, но это были уже не те светлые, безоблачные радости, которые лелеяли меня в родном доме.

Грустно мне было, так грустно, что я едва-едва не разрыдался, и только боязнь прослыть плаксой удержала меня от слез. Хорошо еще, что пришел Богданов и посидел некоторое время возле меня, рассказывая, главным образом, о пансионских порядках...

Я заснул, а в шесть часов следующего утра громкий звонок возвестил, что пора вставать. Проснувшись, я в первый момент даже не мог сообразить, где я и что со мной.

– Ну, вставай. Идем умываться!..

Это был голос Богданова.

И с этого дня потянулась моя пансионская жизнь, продолжавшаяся почти четыре года.

Дядьки

Вавилов

Дядьки играли огромную роль в нашей пансионской жизни. За те несколько лет, которые мне пришлось быть «пансионером», у нас переменилось их несколько... Всего их полагалось, как и воспитателей, четыре, из коих ежедневно дежурило два.

Многие из них служили недолго, уходя по тем или иным причинам, а потому я их помню смутно, но Вавилов и Иван, прозываемый «Ябедой», не оставляли пансионской службы во все время моего пребывания, а потому запечатлелись в моей памяти очень хорошо.

В сущности, это были добродушнейшие люди, оба уставные солдаты; но нам казалось, что они заняты исключительно только тем, чтобы делать нашему брату-гимназисту всяческие неприятности; в силу таких соображений и мы, в свою очередь делали все возможное, чтобы только насолить им.

Иван-Ябеда – человек деятельный и энергичный, действительно, довольно ретиво относился к своим обязанностям, старался уловлять нас в разных беззакониях и очень часто «доносил» по начальству о наших деяниях.

– От сейчас пойду и донесу господину воспитателю, – говорил он, выследив что-нибудь подобное курению или игре в перья.

И, действительно, шел и докладывал. По этой-то именно причине его и называли «ябедой»... Старшие воспитанники его не боялись, потому что он и сам старался с ними быть в ладу, смотря на все сквозь пальцы и пользуясь за это некоторыми выгодами, но для малышей его деятельность была очень неприятна, и потому его не любили, стараясь всеми силами перехитрить его и не попадаться ему на глаза при совершении разного рода проступков против «правил».

Что касается Вавилова, то тут уже не было решительно никаких оснований для враждебного к нему отношения. Оно, правда, существовало, но более по простой привычке видеть во всяком «дядьке» неприятеля, а вовсе не благодаря его отношениям к нам. Можно утвердительно сказать, что к нам он решительно никак не относился. Он существовал при пансионе с незапамятных времен и был так стар, что выказывать какую-либо деятельность решительно не мог. Все, чего он только хотел, это одного полного покоя и ужасно сердился, если этот покой чем-нибудь был нарушен.

«Ловить» на месте преступления он не выказывал ни малейшего желания, а если случайно что-нибудь видел, то не жаловался воспитателю уже по одному тому, что надо было идти в другой конец пансиона, изложить суть дела, разъяснить все, что следует, а это было сопряжено с движением. Вавилов вечно сидел на своем месте и дремал.

Малыши же, как нарочно, старались тем или иным способом нарушить это мирное занятое, и тогда Вавилов приходил в ярость.

– Чертенята! – отчаянно вопил он, если какой-нибудь мальчуган, во время его дремоты, подкрадывался к нему и щекотал бумажкой за ухом.

Он вскакивал с места и кричал вдогонку удирающему во все лопатки проказнику.

– Вот ужо доберусь до тебя, скажу воспитателю.

Но так как он даже не успевал рассмотреть, кто именно его побеспокоил, то немедленно же снова опускался на скамейку и начинал дремать. Единственно, что он делал с энергией – это звонил в колокольчик, когда надо было возвестить перемену занятий, обед, чай, вечернюю или утреннюю молитву и т. д. Звонил он не только энергично, но даже с каким-то ожесточением, так что характер его звона можно было определить безошибочно: никакой другой дядька не поднимал такого ужасного трезвона, как будто случилось какое-нибудь несчастье вроде пожара или землетрясения, или нашествие неприятелей. Объяснение этого факта очень просто: Вавилов сердился на то, что приходилось тревожиться.

Вавилов считался «старшим дядькой». На это он, пожалуй, имел полное право, ибо, если, в сущности, уже не годился для своей хлопотливой должности, то за выслугу лет достоин был всякого почета. Как я уже сказал, он был очень стар. Сколько ему тогда было лет, я сказать решительно затрудняюсь. Вероятно, лет девяносто, не менее, И это не выдумка, а правда. Он служил уже в 1812 году, участвовал в битве с Наполеоном и ходил в заграничный поход 1813 года. Кроме того он же участвовал в усмирении польского восстания 1831 года и венгерском походе.

Словом, повоевал он на своем долгом веку достаточно и был несомненно бравый солдат. У него была масса медалей, нашивок на рукавах (он, кажется, был фельдфебелем) и целых четыре георгиевских креста, два серебряных, из коих один с бантом и два золотых, т. е. имел решительно все отличия, какие только доступны нижнему чину.

В хорошие минуты он позволял рассматривать эти кавалерские знаки. Рассматривал их и я. Помню, на одной из медалей было написано: «не нам, не нам, а имени Твоему, Господи»... Но Вавилов редко находился в хорошем настроении духа, и тогда, на просьбу показать свои медали, отвечал очень кратко.

– Отстань, поганый, чего ты привязался.

Что в нем сидел дух настоящего воина, это не подлежало сомнению. После венгерского похода он получил «чистую», как выражался, отставку, но, когда над родиной стряслась новая беда, снова пошел служить и перенес все невзгоды геройской защиты Севастополя... Судьба, однако, хранила бравого солдата: он, кажется, и ранен был только один раз, и то легко.

После севастопольской кампании он и поступил в наш пансион. Тут-то и начались его бедствия; победитель французов, усмиритель польского восстания, отважный севастополец, наконец, нашел таких неприятелей, перед которыми приходилось пасовать... несколько десятков маленьких сорвиголов, которым не было решительно никакого дела до прошлых подвигов героя.

Вавилов был вообще не словоохотлив и о своем прошлом говорил очень мало. Только иногда, если уж бывал в очень хорошем настроении (и неминуемо, если ему удавалось предварительно хорошенько покушать и при этом выпить рюмочку-другую), он говорил окружавшим его пансионерам.

– Да, братец ты мой (хоть этих «братцев» было несколько), всего-то я натерпелся, всего-то я насмотрелся. Сам, небось, знаешь, какая ране служба была. Теперь что?.. Теперь, братец ты мой, разве служба, а тогда была служба.

– Да расскажи, Вавилов, расскажи что-нибудь, – приставали к нему.

– А что тебе рассказывать?..

– Да так, что видел.

– Мало ли, братец ты мой, что видел. Все видел. Француза видел, поляка видел, венгра видел, опять же турку, француза и англичанина. Мало ли чего видел, всего не расскажешь. Поживи, вот, с мое и сам увидишь, а что я тебе стану рассказывать.

Вот и все, что приходилось от него слышать по поводу его боевого прошлого. Иногда, впрочем, он распространялся и на гражданскую тему, но только одну единственную.

– Да, братец ты мой, много тоже я передрал вашего брата.

– Как, то есть, передрал? – с недоумением спрашивал какой-нибудь мальчуган.

– Да так, очень просто.

– Как просто?

– Обыкновенно, как дерут.

– Когда?

– По субботам.

– Это еще как? – продолжали недоумевать слушатели.

– А так, по субботам, разложат этаким манером и всыпят, кому пять, кому десять [розог], а кому и целых пять десятков.

– За что?

– А так, за разное. Учишься плохо, ну, тебе и влепят по первое число, прошалился – опять тебе в субботу пропишут баню.

Вавилов служил еще в то время, когда в учебных заведениях практиковались телесные наказания.

–А тебе не жалко было?

– Чего жалко?

– Да сечь.

–А чего я стану жалеть. Мне приказано дать десяток розог, ну, и дам десяток. Прибавить нельзя, потому, значит, по положению, убавить опять же никак нельзя, потому десяток полагается, ну, и получай свое, сколько тебе по закону следует.

– Да ведь больно.

– А мне что. Твоя вина, тебе значит и больно, а я тут не виноват.

– Что ж, кричали? – спрашивали старика.

– Иной так горло драл, что в ушах звенело, а иной молодец, словно в рот воды наберет. Всыпешь это десятка два, а он хоть бы тебе слово. Вот Петр Семенович, так тот не кричал...

– Какой Петр Семенович? – недоумевали мы.

– Какой?.. Нешто не знаешь воспитателя.

Тут Вавилов даже улыбался при таком приятном воспоминании. Петр Семенович [Иващенко], учитель словесности и один из наших воспитателей, любимец пансиона, воспитывался в нашей гимназии и потом, по окончании университета, в нее же и на службу определился.

Узнав о том, что Петр Семенович был, по словам старого дядьки, молодцом и не кричал, мы шли к нему гурьбой и докладывали:

– Петр Семенович, Петр Семенович, а Вавилов рассказывал, как он вас сек по субботам.

– Ах, старый хрен, чужие тайны выдает, – смеясь, говорил воспитатель.

– И здорово сек? – допытывались мы.

– Изрядно... вам бы не пожелал. Ну, теперь, слава Богу, все это побоку.

Помнится, в тот вечер, когда мы впервые узнали от Вавилова, что наш воспитатель под розгами не имел обыкновения кричать, Петр Семенович, шуткой, в нашем присутствии, сказал старику:

– Ты что же это, Вавилов, рассказываешь детям о том, что будто бы сек меня.

– А разве вру, что ли?.. Небось и сами помните... Не раз, чай, приходилось пробовать березовую кашу, – отвечал Вавилов не без чувства собственного достоинства.

Петру Семеновичу оставалось только признать факт и улыбнуться: уста старого воина не знали лжи и вещали одну только правду. Лично Вавилов не сочувствовал отмене розог.

– Теперь-то вот не секут, – говорили мы, чтобы подзадорить старичину.

– И глупо делают, – сердито отвечал он.

– Как глупо? – вопрошали мы.

– Да так глупо, оно глупо и есть. Ежели бы вас по субботам драли, то вы бы такие не были.

– А какие бы мы были?

– Какие?.. Обыкновенно какие бывают – шелковые, а то нет на вас удержу.

Но словоохотливость Вавилова была явлением очень редким. Все остальное время он пребывал в дремотном состоянии. Чего он особенно не любил, так это так называемых прогулок. Он, можно сказать, прямо ненавидел их до глубины сердца, хотя эти прогулки вообще были довольно редки.

Обыкновенно мы гуляли по саду при гимназии, но иногда, для разнообразия, нас водили гулять куда-нибудь в город. Гуляли мы, конечно, под наблюдением воспитателя, дядьки должны были нас сопровождать. Если эта обязанность выпадала на долю Вавилова, то гневу его не было пределов.

– Ишь ты, чего выдумают, – свирепо рычал он, напяливая на себя шинель, – по городу таскаться. Словно мало места в саду, а тут изволь – иди. Хорошо им, молодым, а тебе-то что за охота (это он бурчал по адресу воспитателя) сапоги зря трепать.

Но отказаться было нельзя: прогулки были распоряжением инспектора. Приходилось Вавилову нести этот тяжелый для него и радостный для нас крест.

– Тоже гуляльщики отыскались, – угрюмо бормотал он, спускаясь с лестницы.

И в течение всей прогулки, продолжавшейся обыкновенно часа полтора, Вавилов не переставал негодовать и расточать критические замечания относительно «глупой выдумки» и «гуляльщиков»… Иногда только, словно изнемогая от непосильного бремени, он тяжело вздыхал и шептал.

– О, Господи!.. По грехам моим, видно, приходится терпеть.

И уж в этот день к нему лучше и не приближаться... До самого сна он был мрачнее черной тучи, разумеется, в то время, когда не дремал. Долго ли после того прожил на белом свете Вавилов, я не знаю.

Мне, однако, пришлось еще увидеть его в бытность мою в университете. Два последние гимназические года я провел уже не в пансионе. Я снова, как и в былые дни, сделался приходящим и перешел в другую гимназию, именно в ту самую, где началось мое учение. Окончив ее и поступив в университет, я поселился вместе с моим товарищем по прежней гимназии. Однажды вечером мы встретили на улице Вавилова. Старик отнесся к нам радушно. Мы стали его расспрашивать, что делается в пансионе.

– А что там делается!.. Ничего не делается, все как следовает быть, – несколько неопределенно ответил он.

Нам захотелось поболтать со стариком. Кстати, встретились мы недалеко от нашей квартиры.

– Вавилов, зайдем к нам, – пригласил мой товарищ.

– А чего я у вас не видел, – довольно резонно заметил наш бывший охранитель.

– Да так... посидим... чайку попьем, – настаивал мой сожитель.

– А что мне с твоего чаю? – снова и не без основания заметил старик.

– Да, ведь, чай чаем, а, может быть, и что другое найдется.

Лукомский сказал это так выразительно и так весело подмигнул, что колебания старика прекратились. К тому же и я подкрепил просьбу товарища и стал просить Вавилова зайти.

– Ну, ладно, зайду уж.

И мы направились к нам. Наше обиталище, видимо, понравилось старику.

– Ничего, комната хорошая, – одобрительно произнес он, хотя это была маленькая комнатка, замечательно скромно обставленная.

– Ты посиди тут с ним, а я пойду, похлопочу касательно чаю, – сказал Лукомский.

– Ладно, ладно посижу уж, – добродушно отозвался старик, предвкушая нечто приятное. Он догадался, что бывшие его пансионеры намерены не ударить в грязь лицом перед своим старым дядькой. Лукомский распорядился относительно самовара и затем исчез на некоторое время. Минут через двадцать он вернулся, и я слыхал, как он говорил кухарке:

– Вы, Агафья, пожалуйста, устройте все, порежьте да подайте.

Через каких-нибудь пять минут на столе уже шипел самовар... А за сим кухарка вышла на минуту и, возвратившись, внесла поднос, на котором красовалась посуда с водкой, вареная колбаса, селедка, несколько соленых огурцов и вполне достаточное количество хлеба.

– Ну, теперь, дедушка, можно и выпить, – весело произнес Лукомский, знавший, что этого рода предложение не совсем неприятно сердцу нашего старого фельдфебеля.

– Это ты, братец мой, верно сказал, – довольным тоном произнес Вавилов, ласково поглядывая на нас, но еще того ласковее на посуду, содержащую подкрепительную влагу.

Лукомский, как вежливый хозяин, сам налил гостю рюмку.

– Пей, дедушка.

Вавилов слегка покачал головой.

– А ты сам-то, что же? А ему-то что же? – спросил он, указывая на меня.

– Мы не пьем.

– Вот тебе раз. Нет, братец ты мой, это непорядок. Так нельзя, чтобы, значит, гость пил, а хозяин смотрел да любовался, – наставительно произнес старый солдат.

– Да, ведь, мы, Вавилов, не пьем, – отнекивался Лукомский.

Но Вавилов имел на этот счет свое особое мнение.

– Быть того не может! Чай, ведь, теперь ты студент, а не какой-нибудь там паршивец. Но, а уж ежели не пьешь, так одну-то рюмку выпить можно, ради хорошей компании.

– Ну, так уж и быть, ради гостя, – согласился Лукомский.

Пришлось достать у кухарки еще пару рюмок и мы, чокнувшись с нашим дядькой, выпили, хоть и с преизрядным отвращением и достаточным количеством гримас.

– Хорошо, – с величайшим наслаждением сказал Вавилов.

– Недурно, – сказали для вежливости и мы, хотя, не знаю, как мой сожитель, но я тогда, и совершенно искренно, находил, что напиток был весьма отвратителен на вкус.

Потом мы закурили папироски, предложив папиросу и старику.

– Вот, Вавилов, – шутя болтал Лукомский, – теперь уж не пожалуешься на нас дежурному воспитателю за то, что курим.

Вавилов махнул рукой.

– Да разве я когда жаловался? Это, братец ты мой, Иван, тот действительно, а я, чай, сам знаешь, не препятствовал. Мне что?.. Мне только бы ты в порядке себя держал, да сам на глаза не лез, а ябедничества этого самого, так нет, не люблю.

– Верно, верно, старина, – согласился Лукомский, – да, оно и действительно было верно.

– А ну-ка, еще рюмочку, – предложил я.

– Что ж, это можно, – разрешил Вавилов, но стал настаивать, чтобы и мы выпили.

Мы, однако, отказались наотрез. Старик, впрочем, больше настаивать не стал. Но зато сам он не отказался и от третьей и от четвертой и от дальнейших, пока сосуд не опорожнился. Впрочем, это была не особенно большая порция, достаточная лишь для того, чтобы привести старого воина в доброе и разговорчивое настроение.

Не знаю уж, по этой ли причине, или потому, что на нас он теперь смотрел не как на «паршивцев», а как на равных себе людей, но никогда я не видел старика в таком хорошем и необыкновенно оживленном расположении духа.

Но он совершенно, что называется, размяк, когда кухарка принесла еще две бутылки пива, заботливо припасенные Лукомским для заключения...

– Ну, братец ты мой, это уж, как тебе сказать, ценный ты человек, – говорил Вавилов, любовно поглядывая на бутылки, – т.е. во какой душевный. Утешил старика. Будем прямо говорить, утешил, а зато и тебе будет утешение.

– И тебе тоже будет, – сказал он уже и по моему адресу.

– Спасибо, спасибо, Вавилов, – отозвались мы.

В итоге он просидел у нас часа три. На сей раз он нам рассказал больше, чем когда-либо можно было от него добиться.

Так, мы узнали, что француз «щуплый», что «поляк бунтует», что венгр «ничего – молодец, а все супротив наших не устоит», а англичане – народ «сурьезный...» Но о себе Вавилов опять ничего не говорил. Очевидно, это была, действительно, скромная и благородная натура, притом гораздо более сложная, чем казалось.

Когда он, наконец, собрался уходить, Лукомский предложил ему денег на извозчика. Это прямо растрогало старика.

– Вот это спасибо, что пожалел старого. Да, может, у тебя самого не густо?.. А?..

Но Лукомский успокоил его, сказав, что хоть оно, пожалуй, и в самом деле не особенно густо, но, во-первых, хватит на наш век, а, во-вторых, нужно же старику доставиться домой честь-честью... Словом, доказательства были основательные, и Вавилов спорить не стал.

Перед прощанием Вавилов спросил Лукомского.

– Ты на что же такое учишься?

– То есть, как на что!

– Ну, на кого, кем хочешь быть?

– Доктором.

Вавилов посмотрел на него с некоторым сокрушением.

– Что, разве не хорошо? – спросил Лукомский.

– Да нет, оно и ничего, а все-таки тебе бы лучше другое.

– А что?

– Ты вот, видишь, какой стройный да плечистый. Тебе в самый раз в военную службу, – сказал старик, считавший военное ремесло самым высшим из всех.

– А вот ему нельзя, – добавил он, указывая на меня.

– Почему?

– Да так, щуплый, виду в нем настоящего нету.

Мы усадили его на извозчика и простились. Больше мне не случалось его видеть. Не знаю, долго ли он еще жил, но в настоящее время, конечно, когда сам я не молод, его, вероятно, давно уж не существует в этом мире. И вот теперь вспомнилась мне эта высокая, суровая фигура старого солдата. Суров он был наружно, но мягкое у него было сердце, хотя, например, он очень равнодушно говорил о розгах... Но мог ли он понять это?..

Мир твоей памяти, честный старик!

Иван-Ябеда

– Здравствуй, брат, опять в перышки играешь?.. А не угодно ли пожаловать к господину дежурному воспитателю.

– Иван, голубчик, мы не серьезно играем, мы так себе, шутя.

– Иван, голубчик, миленький...

– И не голубчик я и не миленький, а вот господин воспитатель разберется.

– Да, ведь, мы шутя.

– Ну, так ему и скажете, а я не виноват. Мне приказано наблюдать, ну, я и наблюдаю, потому нельзя, – присягу принимал.

– Иван, миленький, мы больше не будем.

– А уж это, как господин воспитатель захочет, так и сделает.

Такой разговор неоднократно происходил между дядькой Иваном и какими-нибудь малышами, попавшимися в запрещенной игре в перья или в каком-либо ином незаконном деянии. И при таких обстоятельствах Иван бывал решительно непреклонен. Он ссылался на присягу, которой, конечно, относительно ловли играющих в перья, никому не давал, и никакие просьбы, никакие слезы малышей не могли тронуть его сердце.

И он, уличив, немедленно же влек бедного мальчугана, если и не на заклание, то во всяком случае к дежурному воспитателю. С приготовишками и первоклассниками он совершенно не стеснялся и тащил их за рукав мундира, а в случае сильного упорства, то и прямо за ворот. Второклассников только слегка подталкивал вперед, словно ободряя, а учеников третьего класса силой не вел, так как они бы ему этого и не позволили, а шел к дежурному воспитателю с соответственным докладом.

Воспитатель поступал с виновными сообразно со своим характером. Иной ограничивался только простым замечанием, иной делал строгий выговор и потом отпускал с миром, иной же и наказывал, впрочем, легко. Но для Ивана это было безразлично, ему лишь бы «доложить»...

Вероятно, этим он думал отличиться перед начальством, хотя большинство воспитателей, даже, пожалуй, все, кроме нашего немца Гартмана, были скорее недовольны его многочисленными «докладами», так как он делал донесения сплошь и рядом о таких пустяках, которые не заслуживали ровно никакого внимания и только попусту отнимали у воспитателя время на разбирательство.

Если следовало наказание, то Иван чувствовал себя очень недурно.

– Ага, попался! Вот теперь придется постоять под часами, – говорил он самодовольно.

Стоять «под часами» или «под лампой» – было самое обычное наказание у нас в пансионе. В так называемый «угол» у нас не ставили, а ставили или под большие стенные часы в коридоре, или под одну из трех ламп, висящих в комнате для занятий. Тяжелая сторона этого наказания заключалась не в самом стоянии, которое не заключало в себе физических страданий, а именно в том, что приходилось стоять на виду у всех.

Наказание это было столь обыкновенно, что я не могу сказать, чтобы воспитанники его стыдились и были удручены нравственно, наоборот даже, наказанный, в огромном большинстве случаев, вызывал сочувствие товарищей. Но главное – лишение свободы действия: все кругом бегают, играют, суетятся, а ты изволь стоять и смотреть. И с каким, бывало, нетерпением поглядываешь на часы, чтобы скорее прошло назначенное время, которое никогда не было более часа, а чаще продолжалось пятнадцать, десять, а иногда и всего только пять минут.

Но в общем у нас было очень мало свободного времени, а потому, понятное дело, не хотелось терять и пяти минут свободы. Говорить с кем-либо во время «стояния» под часами или лампой запрещалось, но, несмотря на запрещение, друзья и приятели наказанного старались войти с ним в какие-нибудь разговорные сношения, чтобы облегчить его тоскливое настроение. Воспитатели смотрели на такое нарушение правил сквозь пальцы, лишь бы только тихо было, дядьки и совсем на это внимания не обращали, но только единственно не Иван. Этот следил и, в случае замеченного нарушения, немедленно бежал и докладывал воспитателю.

Итак, в тех случаях, когда его донесение увенчивалось наглядными результатами, он бывал очень доволен и посматривал на преступника не без торжества и чувства собственного достоинства и превосходства. Но праздник, однако, не всегда бывал на его стороне. Если дело кончалось простым замечанием со стороны воспитателя, то самым вызывающим образом ликовал прощенный преступник.

– А что, Иван, а что Ябеда, вот и остался с носом. Видишь, ничего и не сделали, – победоносно заявлял мальчуган.

Иван что-то бурчал. Мальчуган продолжал его язвить.

– А вот погоди, доберусь до вашего брата в дежурство Личарда Личардовича, тогда будет другое, он по головке не погладит, – угрюмо бурчал он, недовольный не столько тем, что воспитатель был слишком, по его, Ивана-Ябеды, мнению, снисходителен, сколько тем, что его старания пропали даром.

Иван был полной противоположностью Вавилову. Насколько тот любил полный покой и отличался бездеятельностью, настолько Иван был деятелен и энергичен, постоянно чем-нибудь занят. Он несомненно завидовал Вавилову, как старшему и, следовательно, получающему большее жалованье. Он был, хоть тоже не особенно молодых лет, так как прошел длинную солдатскую службу, начатую им еще в Николаевские времена, но значительно моложе Вавилова. Ему, вероятно, было лет около сорока восьми, но выглядел он моложе и вообще довольно неопределенно в смысле возраста. Вавилов был высок необычайно, тощ и сед, как лунь, притом с большою белой бородой.

Иван – приземист, коренаст, с лицом кирпичного цвета, красной шеей, темными волосами с легкой проседью и всегда брился, так что носил только одни, необычайно щетинистые усы. Лицо Вавилова было простодушно и несколько сурово, так что он напоминал какого-нибудь почтенного старца, библейского патриарха, в лице Ивана было немало веселости, но вместе с тем и хитрости. Вавилов был в общем молчалив, Иван, наоборот, отличался словоохотливостью, особенно, с новичками, у которых, неизвестно для какой цели, всегда подробно узнавал о их семейном положении, и со старшими пансионерами.

В смысле знаков отличия Иван, по сравнению с заслуженным кавалером, носителем четырех георгиевских крестов и массы медалей, не годился ровно никуда. У него была всего только одна медаль, кажется, за Севастопольскую кампанию, но если он и был в походе, то ни в каких битвах и сражениях не участвовал. Это доставляло обильную пищу для малышей, которые чтобы подразнить Ивана, утверждали, что он не настоящий, а «поддельный» солдат.

– И не солдат, а унтер-офицер, – сердито огрызался Иван, чтобы хоть как-нибудь поддержать свое достоинство.

И этого «поддельного» солдата он никогда не забывал. Ему, допустим, удавалось кого-нибудь «поймать» в чем-нибудь запрещенном.

– От говорили, что я «поддельный», а пусть-ка настоящий вот так поймает. Вот теперь и поддельный, а господину воспитателю сейчас же пойду и доложу.

Выслеживал он постоянно, даже ночью в спальне любил подслушивать разговоры воспитанников перед сном; «ловил» же он прямо артистически и, несмотря на все меры предосторожности со стороны маленьких хитрецов, в самый горячий и совершенно неожиданный для них момент.

Кажется, что никакой опасности не грозит, и вдруг за плечами раздается:

– Ага, здравствуй, брат...

И часто, разговаривая по вечерам, он сообщал пансионерам о том, как, когда, при каких именно обстоятельствах и в каких именно беззакониях он «уличал» того или другого пансионера:

– Было это давно... вас тогда и в пансионе не было. Учился у нас Ахматов. Ловкий парень, что и говорить... теперь уж он студент, а может и университет окончил. Ловкий парень, а только и я не промах... старый воробей, на мякине не проведешь, одно слово – тертый калач... Вот однажды, подхожу это я...

И затем следовал целый рассказ о том, как Иван перехитрил Ахматова, конечно, в каком-нибудь пустяке. Рассказывал все это наш Иван необычайно самодовольно, словно он был опытный полицейский сыщик, а шалуны-пансионеры настоящие преступники.

Особенной неумолимостью отличался Иван именно там, где бы, казалось, надо быть более снисходительным, именно к самым маленьким воспитанникам. Может быть, это именно по той причине, что «ловить» простодушных карапузов было очень легко, и Иван, ловя их, находил удовлетворение своим артистическим чувствам, ибо и в самом деле считал себя великим артистом по этой части. И эти малыши боялись его, как огня.

Второклассники, как народ более опытный, боялись его значительно меньше, ученики третьего класса окончательно решали, что чорт страшен далеко не так, как его малюют и уже совсем его не боялись. Это понимал и сам Иван. Начиная с третьего класса, он уже не говорил своего знаменитого «здравствуй, брат», а произносил «мое почтенье, господа» и переходил на «вы», впрочем, он вообще был довольно вежлив и «ты» говорил как бы шутя и только в случаях «поимки».

Учеников четвертого класса он трогал очень мало, потому что они уже относились к старшему возрасту (так, например, спали в «старшей спальне», а Иван редко дежурил в спальне старшего возраста.

Зная, что младшие воспитанники его опасаются, воспитатели, для того, чтобы происходило меньше шалостей, умышленно назначали его дежурить именно к ним), а, начиная с пятого класса, он совершенно почти прекращал свои ловли и ухищрения...

Пустяков о старших он не докладывал и даже сам смотрел на многое спустя рукава, как, например, хотя бы на курение, хотя именно оно-то, как увидим после, и погубило Ивана-Ябеду. Только серьезные проступки, которых ни скрыть, ни оставить без наказания было нельзя, привлекали внимание почтеннейшего дядьки...

И если нам удавалось его «одурачить», то мы были очень довольны. Помню один случай, случай притом действительно серьезный, за который теперь, конечно, не похвалю ни себя, ни других товарищей – участников этого дела, прямо нехорошего.

Не помню уж за что именно, мы были наказаны довольно серьезно, оставлены на четыре часа под арестом. В таких случаях нас уводили вниз, в гимназическое помещение, где находились классы, и запирали каждого отдельно. Так случилось и тогда.

Нас было четверо – один пятиклассник, два ученика (в том числе и я) из шестого и один из седьмого класса. Между нами был мой товарищ, некий Окуневский, личность в своем роде замечательная. Он производил огромное количество всяких правилонарушений, но умел так блестяще выкручиваться из беды, так ловко оправдываться во взведенных на него обвинениях, что очень часто выходил сухим из воды при таких обстоятельствах, при которых это казалось совершенно невозможным. Даже и воспитатели отдавали ему в таких случаях дань удивления.

Иногда воспитатель прямо спрашивал:

– Окуневский, я знаю, что вы виноваты, но скажите по чистой совести, можете ли вы оправдаться или нет?

И Окуневский соображал...

– Могу, – отвечал он.

– Ну, так идите, – решал воспитатель.

Но иногда Окуневский прямо заявлял:

– Нет, сегодня не могу... да, пожалуй, и мог бы, да только не хочу. Виноват.

И за это его любили, так как, будучи проказником большой руки, он обладал известной долей смелости, даже удали, учился очень хорошо, нравился не только товарищам, но и воспитателям. В описываемом случае он вышел почти в буквальном смысле слова «сухим из воды», притом так, что мы – трое остальных – только ахнули от удивления.

Четыре часа – времени достаточно, и мы решили ими воспользоваться особенным образом, для чего, по предварительному уговору, захватили с собою не только книги, но и фуражки. Будучи подвергнуты наказанию, мы решились покуситься на другое преступление, довольно серьезного характера, именно – «удрать» из-под ареста в город. Но и этого мало: не просто «удрать», а покататься на лодке по реке Днепру, что, без участия взрослых, ввиду массы несчастных случаев, было запрещено всем гимназистам города вообще.

У Окуневского был какой-то ключ, которым он мог отпереть запертые двери. И действительно, через каких-нибудь четверть часа после того, как нас отвели и рассадили по классам, Окуневский всех нас выпустил, снова запер все двери и мы благополучно улепетнули в город, а оттуда на реку. Не стану здесь говорить в подробностях о том, как мы провели время, скажу лишь в нескольких словах.

С нашей точки зрения было очень весело. Во-первых, мы выкупались (дело было в конце мая, во время экзаменов), а потом чудесно покатались на лодке добрых два часа. Гребцы мы все были порядочные и несчастия с нами не случилось. Возвращались назад мы в самом прекрасном настроении (о, беззаботная юность!), а между тем над нашими головами висела страшнейшая грозовая туча.

Мы, ликующие и веселые, и не подозревали, что наше отсутствие замечено, что нас хватились. Правда, и тут сказался гений Окуневского. Мы вышли в парадные двери, а вернулись обратно черным гимназическим ходом. У дверей нас ждали, но относительно черного хода не догадались, а потому мы прошли незамеченными, и Окуневский снова запер нас на ключ. Мы засели, словно ничего и не было, и, конечно, всякий был рад, что все так хорошо окончилось. Мы чувствовали себя олицетворенными невинностями, но только в течение десяти минут.

Спустя это время явился Иван, отпер мой класс и заявил прямо.

– Пожалуйте к воспитателю; известно, что вас не было в классе.

Я, признаюсь, порядком таки струхнул. С Иваном объясняться я не стал, так как видел, что все известно, и побрел в пансион совершенно удрученный, если и не сознанием своей вины, то, во всяком случае, ожиданием основательной неприятности, которую несомненно заслужил. Так, от радости и торжества только один шаг до горя и унижения.

А Иван пошел выпускать других «арестантов», но, увы, не на свободу, а для привлечения к следствию по новому, ими же содеянному, преступлению. Вероятно, и прочие испытывали такое же чувство своей беспомощности, как и ваш покорный слуга, ибо не стали, видя, что попались, как кур во щи, входить в какие-либо объяснения с Иваном...

Все прочие, но только не Окуневский. Этот, наоборот, подробно расспросил дядьку о том, как он вошел в класс и как не застал там Окуневского. Иван не без торжества и не без ехидства рассказал все, как было. Входя в помещение пансиона, мы только тоскливо смотрели один на другого: оправдания быть не могло и, будучи по-своему честными, мы безмолвно решили сознаться во всем.

Окуневский тоже был несколько взволнован и озабочен, но, как видно, имел другой взгляд на положение дел.

– Господа, я с вами не был, – успел он шепнуть нам, когда мы входили в пансион.

Что такое он задумал, мы, конечно, узнать уж не успели, так как пришлось немедленно итти в комнату дежурного воспитателя, но поняли, что Окуневский что-то придумал и хочет только, чтобы мы сказали, что вместе с нами его не было. Воспитатель немедленно же явился из общей комнаты для занятий.

Он укоризненно покачал головой и сказал:

– Эх, господа!..

Господа угрюмо молчали, ожидая, что произойдет. А произошло то, что уже было послано за инспектором, который и пришел не более, как через десять минут. Дело было серьезное. Лицо инспектора глядело в достаточной степени мрачно и ничего хорошего для нас не предвещало. Горизонт покрывался зловещими тучами, на наши преступные головы надвигалась гроза.

– Ну-с, господа!..

Так начал инспектор и его голос, хоть и был очень тонкий и протяжный, напомнил нам удар грома, и выражение его глаз – сверкание молнии. Допрос начался. Не стану описывать подробностей. Первые четверо, чтобы скорее покончить тяжелое положение, сознались решительно во всем. Настала очередь Окуневского.

– Ну-с, господин Окуневский, надеюсь, на этот раз и вы никаких оправданий не имеете? – не без торжества вопросил Юлиан Иванович, отлично знавший искусство нашего товарища в уменьи «оправдаться».

– Я не знаю, где были они, но только я с ними не был, – сказал Окуневский.

– Что-о? – прямо вскрикнул инспектор.

Ложь была в достаточной степени очевидна. Мы молча ожидали, что из всего этого произойдет, воспитатель посмотрел на Окуневского с полным изумлением.

– Я с ними не был, – повторил Окуневский.

Инспектор посмотрел на нас. Не желая «подводить» товарища, мы молчали. Известно, что молчание – знак согласия. Мы этим делали два дела: во-первых, не сквернили своих уст ложью (хотя это было несколько по-иезуитски) и вместе с тем не выдавали товарища. Думаю, что в тот момент никакие силы и никакое самое строгое наказание не заставило бы нас сказать простое «да» или столь же простое «нет», вообще сказать хоть одно слово. Лгать мы не хотели, сказать же правду не позволяло чувство «товарищества», а потому молчать было и лучше, и честнее всего.

– Где же вы были? – прокричал инспектор.

– В классе, – ответил Окуневский и ответил спокойно, так как уже, видимо, вполне овладел собой и составил блестящий план защиты.

– Как в классе?.. Вас там не было. Иван искал, но не нашел.

– Я прятался от него.

– Зачем... что вы какие-то пустяки рассказываете?

– А так, захотелось немножко подурачить его, в этом я действительно виноват, – скромно повинился Окуневский.

Дело принимало настолько интересный оборот, что мы уже позабыли о грядущем взыскании и только думали о том, как может вывернуться наш неисправимый товарищ, когда, казалось бы, для этого не было и малейшей возможности.

– Вы говорите прямо глупости, – сердито сказал инспектор.

– Юлиан Иванович, – проговорил Окуневский, – позвольте мне все рассказать по порядку.

Инспектор только и мог пожать плечами. Больше ему ничего не оставалось делать.

– Говорите.

– Видите ли, вот как было дело. Я услыхал, как Иван отпирает двери. Дай, думаю, пошучу с ним. Взял и спрятался под парту. – «Господин Окуневский, вы тут», – спрашивает Иван. А я нарочно молчу. Иван спросил еще несколько раз, я нарочно не откликался. Потом он стал ходить по классу и смотреть в партах и под партами, а я перелазил с одной на другую, так что он не заметил. Затем Иван даже выругался и упомянул что-то о чорте. Поискал, поискал и ушел. Тогда я вылез и стал себе готовить уроки.

Иван стоял тут же и с удивлением смотрел на Окуневского.

– Разве так было? – спросил инспектор.

– Так точно! – по-солдатски ответил унтер, потому что все именно так и было.

Инспектор покачал головой, посмотрел с удивлением теперь уже на дядьку. Мы были наказаны довольно строго и то только благодаря чистосердечному раскаянию, а именно посажены на продолжительный срок уже не в класс, а в настоящий полутемный карцер. Окуневский же получил лишь выговор «за неуместную шутку во время нахождения под арестом».

Как же все это случилось?.. Если вы помните басню Крылова о ларчике и механике, то знаете, что ларчик иногда открывается очень просто. Так было и в данном случае. Я говорил уже, что мы, пойманные, так сказать, с поличным, растерялись настолько, что ни слова не говорили с Иваном по поводу нашего приключения. Иначе поступил Окуневский. Иван все ему рассказал и подробно объяснил, как он вошел в пустой, по его мнению, класс, как производил розыски и так далее, а потом, растерявшись от неожиданного заявления Окуневского, даже не смог сообразить, что тот всю эту историю передает с его же – Ивана слов.

Дело закончилось. Окуневский буквально торжествовал и даже насмехался над нами.

— А что, не вам дуракам чета, – заливался он самым добродушным хохотом.

И мы не могли не признать его полного превосходства над нами. Но очень интересно было и дальнейшее. Много времени спустя, уже на следующий год, в один из вечеров, мы от скуки разговаривали с Иваном-Ябедой. Между прочим вспомнили и об этой истории.

– Иван, – сказал ему Окуневский, – а ведь и я был с ними.

– Ну-у? Быть того не может! – усмехаясь промолвил Иван.

– А вот же и было.

– Да ну, вас, чего вы меня дурачите, – отмахнулся Иван рукою.

– Теперь-то не дурачу, а вот тогда одурачил, – подзадоривал его Окуневский.

Иван, конечно, не верил. Тогда Окуневский рассказал ему обо всем подробно. Широко раскрылись от удивления глаза Ябеды.

– Вот это так молодец! – воскликнул он в полном восхищении.

Артист не мог удержаться от похвалы другому артисту, хоть и должен был признать свое поражение. Ивану, как человеку хитрому и ловкому в своем деле, не могли не понравиться такие же качества в другом, хоть и сопернике.

Он долго повторял «вот это так молодец» и даже пришел в такое хорошее настроение, что пообещал «никогда уже не ловить» Окуневского. Впрочем, он вообще не любил ловить старших, но тогда был действительно такой исключительный случай, которого скрыть не было решительно никакой возможности...

– Да, брат Иван, – говорил, смеясь Окуневский, – вот тебе и старый воробей, а попался на самую простую мякину.

– Да, нашла-таки коса на камень, – согласился Иван и прибавил:

– А, ей-Богу, хороший бы из вас, господин Окуневский, дядька вышел.

– Ну, брат, пожалуй, и что-нибудь получше выйдет, – засмеялся Окуневский.

– Оно, конечно, вы человек образованный, так дядькой и не будете... А только знаете, что я вам скажу, – обратился он к Окуневскому, теперь уже совершенно серьезно.

– А что? – спросил тот.

– А вот что: как окончите вы гимназию, так поступайте вы в такие студенты, из которых адвокаты выходят. Хороший из вас адвокат будет, такой хороший, что лучше уж и не надо. От помяните мое слово: ей-Богу, что так.

Иван даже перекрестился в подтверждение полной истины своих слов. Несомненно, он не был лишен наблюдательной жилки.

Лично я не знаю, какой бы из Окуневского вышел адвокат, но знаю, что он сделался превосходным врачом, был некоторое время на службе в земстве, а потом заведывал образцовой больницей в губернском городе, имел кроме того очень большую практику и пользовался общей любовью. Да его и в гимназии любили не только мы – товарищи, но и начальство, хотя хлопот с ним было немало.

Я сказал выше, что дядьку Ивана погубил табак. Собственно говоря, табак был побочной причиной, настоящим образом погубила его корысть. Соблазнился бедняга Иван. Это было уже после выхода моего из пансиона и перехода в другую гимназию.

Какой-то юный шестиклассник, отчаянный курильщик, раздобыл себе четверку очень хорошего табака и спрятал его в ящик. Иван-Ябеда, почему-то, пронюхал о таком противозаконии, но не «доложил по начальству», а взял этот табак себе. Но этого мало, он еще вздумал, как истинный артист, похвалиться своей ловкостью перед бывшим владельцем курительного зелья в полной уверенности, что тот должен будет признать факт ловкости Ивана, и на этом дело окончится. Но и на этот раз коса нашла на камень. Юный курильщик пришел в негодование и стал требовать, чтобы Иван отдал ему обратно запрещенный предмет потребления. Иван не соглашался. Слово за слово, обе стороны начали горячиться.

– А что вы мне сделаете, – насмешливо вопрошал Иван, – не пойдете же на меня жаловаться?

– Нет, пойду! – горячился пансионер.

– Чтобы самому в карцер попасть, – уязвил Иван.

И вдруг произошла полная неожиданность. Пансионер решил «будь, что будет» и, прежде нежели сам успел что-нибудь толком сообразить, побежал к дежурному воспитателю и рассказал, не щадя самого себя, все дело. И вышло очень нехорошо. Замолчать дела было нельзя, дошло до директора, и в результате гимназист был наказан, а Ивана пришлось удалить со службы. Этого, конечно, мальчик не хотел и даже, как передавали, плакал и просил простить Ивана, но поступок был предосудительный.

Ничего не вышло. Ивану отказали. Что с ним было потом, я не знаю, так как его не встречал. Думаю, впрочем, что он не пропал: слишком деятельный человек был.

<…> ***Смягчение нравов***

В очерке «Карандаши и паштеты» я рассказывал о странной и, в сущности, весьма нелепой вражде, которая, без всякой видимой причины, существовала, и существовала очень долгое время, между гимназистами двух городских гимназий. В К. была еще третья гимназия, но она находилась на далекой окраине города, и ее воспитанникам редко приходилось сталкиваться с нашими. Была еще, как я имел случай упоминать, и четырехклассная прогимназия, учеников коей называли «чижиками», но с ними тоже не враждовали. На моих глазах эта прогимназия выросла в шестиклассную, а потом, с добавлением еще двух классов, сделалась полной четвертой гимназией города.

Но главную роль по-прежнему играли две старейшие гимназии. Судьба устроила так, что я учился сперва во второй, потом четыре года в первой, а потом снова вернулся во вторую.

Приятелей, как там, так и тут, у меня было достаточное количество. Мне же нередко приходилось способствовать сближению гимназистов обеих гимназий между собой.

Я поступил в гимназию в такое время, которое смело можно было назвать диким, но на моих же глазах эти дикие отношения значительно изменились к лучшему. Грубые нравы постепенно смягчались, и «мальчишеское» молодечество, выражавшееся, главным образом, в ссорах и драках, все более и более уступало место разумным веяниям.

На моих же собственных глазах все это закончилось полнейшим перерождением, окончательно изменившим отношения гимназистов между собою. Правда, соперничество между гимназиями осталось, но характер его был уже совершенно иной, так сказать, духовный, умственный. И если прежде огромное значение имела исключительно грубая физическая сила, то теперь на нее внимания уже не обращали, стараясь соперничать совсем в другом смысле. Тут соперничество было уже общее, не только между маленькими гимназистами, но и между старшими; между последними, пожалуй, даже большее.

Из старой вражды осталось только одно – название «карандаши» и «паштеты», но эти названия употреблялись уже без всякого злобного чувства, в виде простой шутки, для краткости... Кроме того, слова эти напоминали о прошлом или, как мы говорили шутя, «о доисторических временах седой древности», хотя эта седая древность была не за горами.

В чем же именно стало теперь выражаться наше соперничество?.. Скажу кое-что об этом. В обеих гимназиях нередко устраивались литературно-музыкальные вечера. Разнообразно составленная программа, в которую входили чтение, музыка и пение, исполнялась исключительно воспитанниками гимназий. По окончании литературно-музыкального отделения следовали танцы, потом угощение «гостей» (причем и «хозяева», т. е. гимназисты той гимназии, где происходило событие, старались не забывать себя) и снова танцы для заключения.

Проходили такие «вечера» очень оживленно и для гимназии они всегда являлись своего рода праздниками, именинным днем, о котором говорили долго после того, как он уже проходил, и к которому готовились особенно старательно... Как «паштеты», так и «карандаши употребляли все усилия, можно сказать, прямо из кожи лезли в стараниях, чтобы эти «вечера» проходили с возможным блеском и многолюдством, и чтобы литературно-музыкальная программа была в состоянии действительно заинтересовать слушателей.

И вечера обеих гимназий, в самом деле, славились в городе по заслугам. В числе приглашенных, прежде всего, занимали место семьи воспитанников, но, кроме того, посылались пригласительные билеты во все прочие учебные заведения города: другие мужские гимназии, все женские, женский институт, реальное и юнкерское училища, военную гимназию.

Скажу, между прочим, что два последние учебные заведения портили нам немало крови. Не пригласить юнкеров и кадет было бы с нашей стороны большой невежливостью, так как и они всегда приглашали гимназистов на свои вечера, а, между прочим, они значительно подрывали наш авторитет в одном отношении.

По музыкально-вокальной части преимущество всегда оставалось на стороне «штатских», т.е. гимназистов, но зато по части танцевальной господа «военные», т.е. юнкера и кадеты, оставляли нас далеко за собою. Подобное обстоятельство приводило нас в ужасное огорчение. Да и было отчего. Судите сами: мы – «штатские», хоть и одетые тоже в мундиры, выглядели сравнительно со стройными, прямо держащими свое туловище «военными», как какие-то нескладные мешки, набитые сеном. Те и ходят как-то иначе, и стоят на особенный манер, и кланяются грациозно, а мы...

Нет, лучше уж помолчать. Мы, по сравнению с ними, напоминали по неуклюжести своих движений по меньшей мере молодых слонов, если не пожилых гиппопотамов. Что же касается танцев, то тут их преимущество было вне всякого описания. И как нам было не огорчаться, когда «дамы» решительнейшим образом предпочитали штатским военных! Известное дело, что женскому полу весьма любезен и приятен хороший танцор.

Подойдет это к какой-нибудь миловидной институтке или гимназистке наш ученик, расшаркается так старательно, что чуть ее с ног не собьет, и самым сладким голосом произнесет:

– Позвольте пригласить вас на тур вальса.

А она в ответ:

– Ах, извините, пожалуйста, я ужасно устала.

И действительно видно, что она находится в последней степени утомления, еле-еле на ногах держится, так вот и упадет от усталости. Конечно, при таких обстоятельствах о танце и думать немыслимо, нельзя же окончательно доконать несчастную барышню. Прекрасный пол – существа слабые, их надо щадить, жалеть. Но, странное дело: не успеет гимназист отойти в сторону (разумеется, с вытянутой от разочарований физиономией, так как ему ужасно хотелось показать свое танцорское искусство именно с этой «дамой»), как она уже несется в вихре самого упоительного вальса с военным человеком.

Военный человек едва только подошел, слегка шаркнул ногой, только что заикнулся:

– Позвольте предложить…

А уж, смотришь, барышня, только что готовая упасть от усталости, несется с ним по паркету. И в глазах ее не только утомления не видно, а, наоборот, полная готовность протанцевать верст двадцать, если не больше. Да, было отчего не только огорчаться, а прямо дойти до отчаяния. Правда, и между гимназистами были лихие танцоры, но они были известны наперечет и с ними барышни усталости не чувствовали, а общая масса по этой части сильно хромала.

Пробовали мы убеждать представительниц прекрасного пола, что, собственно говоря, танцы – это вещь второстепенная, что, уступая в этом отношении, мы значительно превосходим господ военных во всем ином… Они же ведь только всего и будут, что простыми офицерами, а из нас получатся ученые профессора, знаменитые доктора, неумолимейшие прокуроры, красноречивейшие адвокаты, гениальные поэты, наконец, даже астрономы…

Барышни со всем этим вполне соглашались и возразить против этого ничего по существу не могли, но танцевать предпочитали все-таки не с будущими поэтами, прокурорами и астрономами, а с [будущими] прапорщиками и ротными командирами. Впрочем, эта крупная неприятность отходила на задний план и, приготовляясь к нашим вечерам, мы старались изо всех сил.

Оркестр сыгрывался, чтецы доводили искусство декламации до последней степени, тщательно вырабатывая и обдумывая произношение каждого слова. Хорошими чтецами гордилась вся гимназия. Во второй гимназии был некто Лысак, ученик старших классов. Он превосходно декламировал серьезные стихи и не было ему равного в прозаическом чтении. Но если гимназисты второй гимназии гордились Лысаком, то первая гимназия имела тоже основание похвастаться. Был там некий Масалютин, малыш малышом, такой карапуз, что его еле от земли было видно, но если надо было прочесть смешную басенку или юмористическое стихотворение, то он читал его с таким мастерством настоящего артиста, что слушатели приходили действительно в неподдельный и прямо неудержимый восторг...

Особенно сказывался его талант при чтении басен. Для каждого животного у него была особенная манера, которая именно это животное и характеризовала. За медведя он говорил каким-то уморительным басом, за лисицу тончайшим и сладчайшим альтом, ворона говорила как-то особенно глупо, а мартышка так сердилась на очки, что было ясно, что, в конце концов, она не сможет поступить иначе, как только хватить их о камень и именно с такою силой, которая необходима для того, «чтоб только брызги засверкали». Вообще, крохотный Масалютин был великий мастер своего дела. В нем было не искусственно выработанное, а природное понимание содержания и смысла того, что он читал.

В каждой гимназии был свой оркестр. Музыкантов хороших было немало в обеих гимназиях, но первая гимназия превзошла вторую в одном отношении: у нее был собственный композитор, воспитанник Страхов, писавший очень недурные музыкальные произведения и романсы. Этот Страхов представлял собою постоянный предмет зависти для учеников второй гимназии, но, несмотря на все поиски, композитора там найти не могли.

Поэтов было несколько у каждой из гимназий, и они тоже с большим успехом выступали перед публикой на литературно-музыкальных вечерах, а композитор в числе всех гимназистов был только один единственный... Но в последний год моей гимназической жизни судьбе было угодно, чтобы в этом смысле шансы уравнялись: Страхов перевелся в другой город. Вероятно, композиторство его дальше гимназии не пошло. Мне, по крайней мере, не приходилось встречать композитора с такой фамилией, а за дальнейшими успехами известных мне тем или иным талантом гимназистов я всегда следил. Знаю и теперь из них нескольких ученых, писателей и одного художника.

Много стараний было положено на образование хороших церковных хоров. Тут соревнование сказывалось с особенной силой. Дело в том, что из двух гимназий только у одной была своя домовая церковь, именно у более богатой – первой, но и пансионеров второй гимназии по праздничным и воскресным дням водили в эту же церковь.

Хоры чередовались: один праздник пел хор первой гимназии, а в следующий – ученики второй гимназии. Каждая из гимназий старалась изо всех сил: выбирались самые трудные концерты, необычайно сложные напевы, и маленькая ошибка в пении обсуждалась потом учениками на всевозможные лады, как событие самой первостепенной важности.

– А помните, господа, как у вас сфальшивили в «Господи, силою твоею возвеселится царь», – с торжеством напоминали одни.

– Ну, и вы тоже хороши, нечего сказать: прошлый концерт совершенно испортили, – с небрежной улыбкой отзывались другие.

– У нашего Кононова такой дискант, что все отдай, да и то мало, – хвалились «паштеты».

Дискант у Кононова был, действительно, прелестный, зато у «карандашей» имелся настоящий бас, «октава», которым тоже можно было гордиться с полным основанием. Словом, гордились музыкантами, певцами, чтецами. И каждый успех отдельного певца был в то же время успехом всей гимназии.

– Ну, брат, смотри, не осрамись, – подбодряли товарищи певца или чтеца, с понятной в таких случаях робостью выходящего на эстраду.

И следили за ним с замиранием сердца: вдруг возьмет да и провалится. И велико было общее ликование, если воспитанник не ударял, как говорится, в грязь лицом, поддерживал честь своего учебного заведения. Конечно, громогласное восхваление собственных достоинств практиковалось исключительно между младшими воспитанниками. Случалось иногда, что взаимные споры по тому или иному поводу принимали у малышей довольно бурный характер, переходили в ссору и кончались в результате легкой потасовкой. Но постоянных сражений, как какого-то обычая, о котором я упоминал ранее, не было.

Вообще, нравы сильно смягчились и старинная вражда между «карандашами» и «паштетами» все более и более угасала уже на моих глазах. Я лично пережил это переходное время и, застав в полном разгаре старые порядки, сам был и свидетелем новых. А что касается старших классов, то тут уже между воспитанниками устанавливались совершенно дружеские отношения.

Было лишь молчаливое соревнование: старались более читать, думать, рассуждать, издавали рукописные журналы и прочее в этом духе. А затем, по окончании гимназии, университет тесно объединял всех нас в одну братскую семью восторженной молодежи.

<…> ***Сад***

Привет тебе наш старый, столь дорогой некогда сердцу пансионский сад. В нашей в сущности однообразной, монотонной и строго по часам размеренной жизни, какая обычно ведется в так называемых закрытых учебных заведениях, он играл большую роль, с ним связано много лучших воспоминаний.

Он освежал нас своим прохладным дыханием, он давал маленьким воспитанникам возможность пошире развернуться в их играх, а для старших – поэтические настроения, как чисто духовный отдых от учебных занятий, которые в то время, когда я учился, легкими назвать нельзя было.

Сад был славный: просторный, тенистый, каких и во всем городе, отличающемся обилием зелени, было не много. Не одно поколение выросло, выучилось и приготовилось к жизни под его ласковой сенью... Не мы были первые и не мы последние. С какой радостью, каждый раз после обеда, мы нестройной гурьбой выбегали в сад. Тут нам предстояло почти два часа полной свободы, мы рассыпались по саду и делали буквально, что хотели. Сад наш был настолько велик, с такой массой укромных уголков, что, хоть нас было почти сто человек, нас даже и видно не было.

Только на большой площадке перед садом, где составлялись партии в мяч, крокет или «цурки» (эта игра в северных учебных заведениях называется – играть «в чижика») и где стояла гимнастика и гигантские шаги, было относительно многолюдно. Тут же обыкновенно присутствовал и дежурный воспитатель.

«Дядькам» было вменено в обязанность обходить сад и смотреть, как ведут себя остальные воспитанники, но и большинство дядек гораздо более предпочитало усесться где-нибудь на скамейке и курить там трубку, нежели бродить по саду, ведь и нашим солдатам хотелось отдыха. Уж на что отличался ретивостью Иван-Ябеда, а и он был не прочь посидеть полчасика под тенью дерева.

– Обойди-ка его, проклятого, – бурчал [другой] старый дядька Вавилов, – все ноги обобьешь. Ишь – какой огромный, словно тебе лес.

Словом, в саду мы были предоставлены почти самим себе. И начальству не приходилось раскаиваться в том, что оно предоставляло нам эту свободу. Нарушение правил, шалостей было гораздо больше в самом пансионе, нежели в саду. «Оставить без сада» было, пожалуй, самым неприятным из наказаний.

Мы, как это почти всегда бывает, когда оказано известное доверие, дорожили свободой и сами старались ничем не вызывать недовольства нами со стороны педагогического персонала. И, рассыпавшись по саду во все его концы, мы наслаждались от всей души.

Быть может, многим из нас этот гимназический сад напоминал другой сад где-нибудь в глухом провинциальном городке или далекой деревне, где протекало наше раннее детство. Мне, по крайней мере, он говорил о многом, и я любил его.

Сад был старый и богатый самой разнообразной растительностью. Березы, липы, белая акация, клен, шелковица и масса кустарника всевозможных сортов. Было, между прочим, очень много сирени, лиловой и белой, где в мае всю ночь, так что их было слышно из окон пансиона, заливались соловьи. В сиреневых кустах мы, между прочим, находили каких-то огромных, необыкновенно толстых, зеленого цвета гусениц с рожками на голове. Мы пробовали неоднократно выводить из них бабочек, но, насколько помнится, это никак не удавалось: дело кончалось куколкой, но далее того не шло.

Для малышей наш сад был целым миром: прятались в кустах, играя «в охоту», «индейцев», забирались на деревья и долго просиживали там на ветках. Да и не одни только малыши, а и подростки.

Помнится, во время экзаменов из четвертого в пятый класс (тогда это были чуть ли не самые трудные экзамены, письменные и устные, за все четыре года гимназического курса), наиболее усердные из нас, чтобы не терять даром времени, и во время гулянья забирались на какое-нибудь высокое с густыми ветками дерево и там «зубрили».

Никто, решительно никто, не мешал. Разве иной раз какой-нибудь шутник заметит уединившегося на высоте «зубрилу», подойдет к дереву и начнет трясти его.

– Люблю как душу, – напевает он, – и трясу, как грушу. Падай груша с дерева.

– Оставь, не мешай! – раздается недовольный голос с древесных высот.

– Сколько билетов прошел? – считает нужным осведомиться трясущий.

– Ах, не мешай, пожалуйста, всего только двадцать. Боюсь, что не успею окончить.

– Ба!.. А я так всего только четырнадцать. Ну, зубри, зубри, Бог с тобою.

Мешать заниматься во время экзаменов не полагалось.

Держащим «устные экзамены» ученикам четвертого и шестого классов само начальство всячески старалось доставить возможные удобства, а «выпускные» так те даже на это время переводились из общих комнат для занятий в отдельную залу. Осенью и зимой она предназначалась для игр в свободное от занятий время, а весной в ней надобности не было: во время отдыха как после обеда, так и после вечернего чая, до того времени когда ложились спать, воспитанники все время оставались в саду.

Особенно любили мы именно вечернее время. В хорошую погоду от воспитателя зависело дать возможность погулять лишний час. Тогда ложились уже не в девять, а в десять часов вечера, так что гуляли и при луне.

И я не помню случая, чтобы хоть какой-нибудь из воспитателей не дал нам этого лишнего часа. Это, пожалуй, было бы жестоко. И как хорошо мечталось, когда мы были в старших классах, именно в эти вечерние часы.

Разбившись на отдельные группы и пары, о чем, о чем только мы тогда не говорили, каких воздушных замков не строили. А главным образом о том, что нас ждет в будущем, когда мы окончим гимназию и поступим в университет, казавшийся нам лучшим из благ, данных человеку на земле. Золотые мечты, радужные надежды!.. Привет тебе наш старый сад, неизменное спасибо за те хорошие минуты, которые ты нам дарил.

И когда раздавался звонок, дающий знать, что время для отдыха миновало, мы очень лениво собирались обратно в пансион.

Много лет спустя после выхода моего из пансиона и после отъезда из К., мне снова пришлось побывать в этом городе. Уехал оттуда я восемнадцатилетним юношей, а приехал уже зрелым человеком, немало испытавшим в жизни...

В К. я пробыл несколько дней. Пришлось кое-где побывать, навестить дорогие моему сердцу могилы, устроить некоторые личные дела. Наконец, все было сделано и вечер, накануне моего отъезда, был у меня свободен. Я пошел прогуляться по городу и долго ходил по улицам без определенной цели. Блуждая таким образом и вспоминая прошлое, около девяти часов вечера я проходил мимо нашей гимназии. Многое изменилось в городе. На месте старых зданий возникли новые, незнакомые мне, но здание гимназии не изменилось нисколько...

Невольная мысль мелькнула в моей голове.

– А не зайти ли?

В сущности, мысль была довольно странная: во-первых, было уже достаточно поздно, а во-вторых, что я мог там найти после пятнадцати лет, прошедших с той поры, как я покинул город. Но противиться своей мысли я не мог и отворил дверь в здание гимназии. Всего по улице было три входа: парадный и два боковых. Словно для напоминания о грехах и преступлениях дней былых, я вошел в правый вход, как раз в то место, где в наше время помещался «карцер» – маленькая комната, хотя и светлая, но имевшая свое огромное неудобство.

Сторожем при правом входе вообще и при карцере в частности был в мои времена добрейший старик Тихон. Старик-то он был добрейший, но целый почти день курил трубку. Табак был, разумеется, не из высших сортов: самая крепкая и скверная махорка. Дымом и запахом этой махорки были насквозь пропитаны и комнатка Тихона, и находящийся с ней рядом карцер.

И если приходилось быть «арестантом», то в результате, помимо лишения свободы, нередко получалось изрядное отяжеление головы от дыма и копоти, исходящих из трубки Тихона. Я испытывал это довольно часто. Все, и карцер, и комната сторожа остались на прежнем месте. Я постучался. На мой стук вышел средних лет отставной солдат. Тихона, который и в наше время был достаточно стар, уже не было. Вероятно, и он уже, как многие иные, отошел в нездешний мир.

Сторож осведомился, что мне нужно.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я, – кто сегодня дежурный воспитатель в пансионе?

Мне стало даже неловко. С какой стати я потревожил человека? Вероятно, воспитатели моего времени или умерли, или давно уже успели перейти на службу в какие-либо другие места. Я решил, что, узнав кто дежурный, скажу, что мне не его нужно и уйду.

– Иващенко, – сказал сторож.

– Какой? Неужели Петр Семенович! – воскликнул я с полнейшим удивлением и радостью: Петр Семенович Иващенко, учитель словесности, был воспитателем и в мое время, притом одним из любимцев большинства воспитанников.

– Да, Петр Семенович Иващенко, – подтвердил солдат.

Этого было достаточно. Теперь мне уже определенно захотелось побывать в пансионе. И я стал подниматься по когда-то столь знакомой мне витой лестнице. Не без внутреннего волнения дернул я ручку у звонка. Дядька, отворивший дверь, был тоже из новых.

– Могу ли я видеть воспитателя? – обратился я с вопросом.

– Извольте. Сейчас доложу, – сказал дядька и направился с докладом.

Через минуту я уже узнал приближающуюся ко мне знакомую фигуру.

– Чем могу служить? – спросил Петр Семенович, видимо, не узнавая меня.

Конечно, ему было нелегко меня узнать: мало ли нас, гимназистов, прошло, так сказать, через его руки за долгие годы воспитательства и учительства. Но когда я назвал себя, он узнал меня разом и, скажу правду, искренно обрадовался.

– Пойдем, голубчик, пойдем в мою комнату. Сердечно рад, что ученик навестил старого учителя. Спасибо, от души спасибо!

И я чувствовал, что он действительно говорит так от полного сердца.

– Через полчаса, – говорил Иващенко на ходу, – у нас молитва, а потом, когда улягутся спать воспитанники, мы с вами посидим. Можно будет и отлучиться ко мне на квартиру. Поужинаем и вспомним доброе старое время. Не откажетесь?

Еще бы отказаться!.. Я прослушал молитву, побывал в спальне, потом осмотрел весь пансион.

– То же самое, то же самое, – говорил Иващенко, – ничто не изменилось кроме людей. А из нас, ваших воспитателей, только два и осталось: я и Гартман; [чех] Апоздаль ушел от нас*, Тимченко умер.

В десять часов вечера, когда легли старшие воспитанники (порядок остался прежний: старшие ложились часом позже младших), которым Иващенко меня представил, как их старшего «коллегу» и «воспитанника, не забывшего старого воспитателя», мы пошли на квартиру к Петру Семеновичу. Она находилась в другом корпусе, во внутреннем дворе гимназии. Нужно было, однако, небольшой кусок пути сделать через сад.

И снова у меня мелькнула мысль.

– Петр Семенович, не будете ли вы любезны сделать мне маленькое одолжение? – обратился я к нему.

– Пожалуйста, что такое?

– Пройдемтесь разочек по саду.

– Что так?

– Да так, старину вспомнить хочется.

– С удовольствием, – согласился воспитатель.

И мы обошли кругом. Тихо, словно говоря о былом, шелестели листья, ярко мерцали звезды на темном украинском небе. Много лет прошло с того времени, много воды утекло... Сколько уже других юношей успело побывать в этом саду. Молодость, веселье, надежды. Я шел и ничего не говорил. Иващенко, словно уважая мое молчание, тоже не произносил ни слова. Тихо шелестели листья деревьев, задумчиво светили алмазные звезды на далеких небесах...

Я шел и думал:

– Привет тебе наш старый сад, привет тебе от бывшего питомца... Кто знает, суждено ли мне когда-нибудь снова увидеть тебя.

Я шел по саду... И сладко было мне, и вместе тем так грустно, грустно... Тихими шагами обошли мы весь сад.

– Ну, теперь ко мне? – спросил Иващенко.

– Пойдем, Петр Семенович, – ответил я.

И мы пошли на квартиру моего старого воспитателя. Незатейливый ужин и дружеская беседа о старом, новом и надежде на дальнейшее будущее задержали нас до рассвета. Мы простились и уже навсегда: года через полтора я узнал, что Петра Семеновича не стало.

---

* *Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль [(более точно – Поспишиль)]. Он медленно продвигался по коридорам на больных, опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешиля в Опоздаль.* – ***Константин Паустовский. Повесть о жизни***

<…> ***Последний раз***

Почти два месяца усиленных занятий и постоянных тревог. Физически мы сильно утомлены, но нравственный подъем духа в нас велик. Вот и последний экзамен. Экзамен для большинства нетрудный – история, но это, пожалуй, самый тревожный день в нашей гимназической жизни. Еще бы: в этот день мы последний раз гимназисты. А дальше... прощай, гимназия! Нас вызывают по алфавиту, каждый поочередно подходит к длинному, покрытому зеленым сукном столу, за которым восседает экзаменационный трибунал, дрожащей рукой вынимает билет и, пока отвечает предшествующий товарищ, садится в стороне на стул и обдумывает будущий ответ. После того снова подходит к столу. Вопросы экзаменаторов и ответы экзаменующегося длятся в среднем немногим менее десяти минут, сообразно с тем, насколько быстро отвечает экзаменующийся.

Нас около сорока человек в классе и на то, чтобы переспросить всех, требуется времени около семи часов. Но те, которые «отделались», домой не уходят, а или продолжают сидеть в зале, или же толкутся в коридоре до самого конца. Каждому хочется знать, как держат экзамен прочие товарищи. Только что ответил я. Быстрыми шагами выхожу в коридор.

– Ну, что, как? – бросается ко мне целая толпа.

– Выдержал, – отвечаю я с чувством полнейшего облегчения.

Экзамена по истории – предмету мною любимому – я не боялся, но в последний момент все-таки струсил: а вдруг «срежут».

Наконец, вызван и последний по алфавиту ученик. Уставшие экзаменаторы встают из-за стола, а у выхода из залы их окружает весь класс.

– Все выдержали, все, – отбояривается директор, – теперь, только пожалуйте, господа, за аттестатами.

Мы, оживленно беседуя, расходимся по домам. И так как мы уже не гимназисты более, то большинство, а в сущности почти все, первым делом спешим скинуть с себя «гимназическую шкуру». Обедать я обещал у мачехи, а потому, чтобы скорее поспеть, взял извозчика. Однако предварительно поехал к себе на [съемную] квартиру.

– Погоди, – говорю я извозчику, – остановись у подъезда.

– Долго пробудете? – вопрошает возница.

– Нет… минут десять, не более.

Через десять минут извозчик уже смотрит на меня с изумлением и даже несколько подозрительно. Причина вполне понятная: скрылся в дверях юноша в гимназической форме, а назад вернулся молодой человек в сером пальто, таковом же пиджаке, из-под которого видна синяя русская рубаха, черной шляпе с широчайшими полями и основательной палкой в руках.

– Поезжай, – говорю я вознице.

Тот исполняет приказание, но искоса смотрит на меня все еще подозрительно: мой маскарад ему не совсем понятен. Кто знает, быть может, я даже какой-нибудь мошенник. Всякий ведь народ бывает на свете.

У мачехи целое торжество. Меня ждут к семейному, но, во всяком случае, парадному обеду. Лидочка, увидев меня входящим, взвизгивает от волнения... В солидной девице невольно узнаю маленькую девочку, подругу первых дней детства. Она находит, что «штатское» ко мне «ужасно как идет». А давно ли, кажется, она, когда я поступил в приготовительный класс, восторгалась моим мундиром, находя, что я в нем «красавчик»... Не очень давно, только девять лет тому назад.

Меня даже и не спрашивают – благополучно ли сошел мой экзамен. Вся моя фигура утверждает это: на мне костюм свободного гражданина. Меня поздравляют, пьют за мое здоровье и прочее в этом духе.

И я замечаю, что во мне прибавляется изрядная доля важности... Это видно, между прочим, из того, насколько независимо я прихлебываю из рюмки крепкий портвейн и дымлю папиросой.

– На какой же ты факультет решил поступить? – спрашивает мачеха, так как до сего времени я колебался в окончательном выборе.

– На филологический или юридический, – говорю я, но все-таки прибавляю:

– В крайнем случае, на естественный или медицинский, но только не на чисто математический...

Математик я, действительно, плохой...

По окончании обеда я извиняюсь, говоря, что мне необходимо отлучиться «по одному важному делу»... Причина уважительная. Меня не задерживают. «Важное дело» состоит в том, что у меня имеется непреодолимое желание прогуляться по главной улице в штатском костюме... Как будто можно кое-что припомнить по этому поводу. Что именно?..

Уже не мою ли давнишнюю прогулку по городским улицам в гимназическом мундире? Право не знаю. Но я не один. На главной улице таких молодых людей целые десятки... Да оно и быть иначе не может, если принять во внимание, что в городе целых четыре гимназии.

Что касается «реалистов», то они сегодня отсутствуют: в реальном училище кончают экзамены только через два дня. Но и нам еще предстоит однажды нарядиться в гимназическую форму... И этот раз уж на самом деле «последний раз». Именно в день раздачи «аттестатов зрелости». Директор вручает каждому из нас драгоценный документ, жмет руку «как равный гражданин равному гражданину», говорит соответственную столь важному в нашей жизни случаю речь, и на этом кончаются наши долгие счеты с гимназией.

Дружной группой выходим мы из парадных дверей гимназии (это для пущей торжественности, ибо вообще для гимназистов существуют боковые входы, а парадный лишь для учительского персонала и частных лиц; но теперь и мы «частные лица») и, толпясь у входа, перекидываемся возгласами:

– Итак, в четыре часа.

– Да.

– На пристани.

– Никто пусть не опаздывает.

– Позже четырех ждать не будем.

– Смотрите.

А в четыре часа дня у лодочной пристани или так называемого «перевоза» через реку собрался весь класс. Но это уже не были «гимназисты», форма отсутствовала, вместо мундиров и кепи виднелись всевозможнейших цветов пальто, пиджаки, широкополые шляпы. Владелец лодок Прокоп, как называли его в городе, немедленно же отпустил «напрокат» должное количество лодок.

Лодках в шести мы разместились и, через некоторое время, с веселыми песнями уже плыли вниз по реке.

Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью...

Так, довольно нестройно, неслось с одной лодки, а другая заливалась по своему:

Гой ты Днепр, ты мой широкий,
Ты кормиле-ец наш родной.

А на третьей дружно гремела старинная студенческая песня.

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!..

Певали мы эту песню и в гимназии, но только теперь получили полное право петь ее по настоящему, на положении студентов. Быстро, обгоняя друг друга, словно состязаясь между собою, скользили лодки по синим волнам реки. Недалеко уже и мост, а за ним, на берегу широкого залива, Никольская слободка. Эта слободка – любимое место для прогулок всей учащейся молодежи города.

«Окончившие гимназисты», по исстари заведенному обычаю, неизменно праздновали «выпуск» общей поездкой на лодках в Никольскую слободку. Приблизившись к цели, мы увидели на берегу несколько уже ранее нас причаливших лодок и группу других молодых людей. На берегу послышались крики.

– Эй, какая гимназия?

– Вторая, а вы? – отзывались с наших лодок.

– Третья.

– Дорогу второй гимназии, да здравствует вторая гимназия! – неслось с берега.

– Vivat, четвертая! – отвечали мы взаимными приветствиями.

И не успели мы высадиться и смешаться с третьегимназистами, как показались еще лодки.

– Эй, кто там? – кричали мы.

– Первая гимназия, – отзывались с лодок.

– Ура, первая гимназия! – кричали береговые.

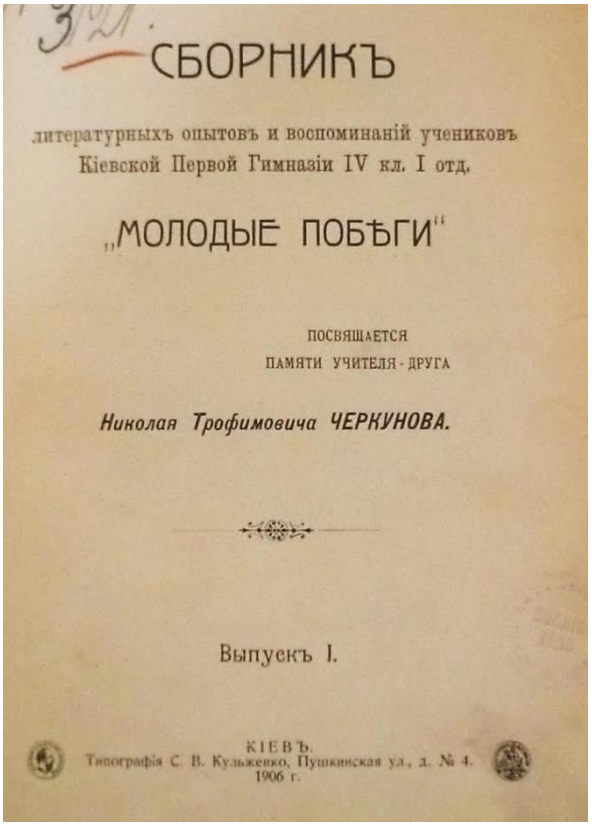
Через несколько времени подъехала, встреченная бурными приветствиями, и четвертая гимназия. Около ста пятидесяти юношей собрались праздновать день «выпуска». Там и сям неслись песни. Гимназисты всех четырех гимназий образовали одно общее, радостное, молодое, веселое... А вечер надвигался, солнце спускалось все ниже и ниже, темнело небо...

– Эй, господа, зажигать костры!

Молодежь рассыпалась по берегу, собирая сухие ветви, палки, камыш и вообще весь возможный для горения материал. И, когда небо потемнело окончательно, при блеске первых звезд, весь речной берег озарился поэтическим заревом пылающих костров. А пенье, смех, крики и разговоры неслись все громче и громче...

Только уже рано утром все двадцать пять лодок единовременно двинулись в обратный путь. Так прощались мы с гимназией. На пристани разбились на отдельные группы и после того... уже никогда не собирались все вместе. Различные университеты, а потом и жизнь разбросали нас в разные стороны...

Сборник литературных опытов и воспоминаний учеников Киевской Первой Гимназии «Молодые побеги», Киев, 1906*



СБОРНИКЪ

литературныхъ опытовъ и воспоминаній учениковъ
Кіевской Первой Гимназіи IV кл. I отд.

„МОЛОДЫЕ ПОБѢГИ"

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ-ДРУГА

Николая Трофимовича ЧЕРКУНОВА.

Выпускъ I.

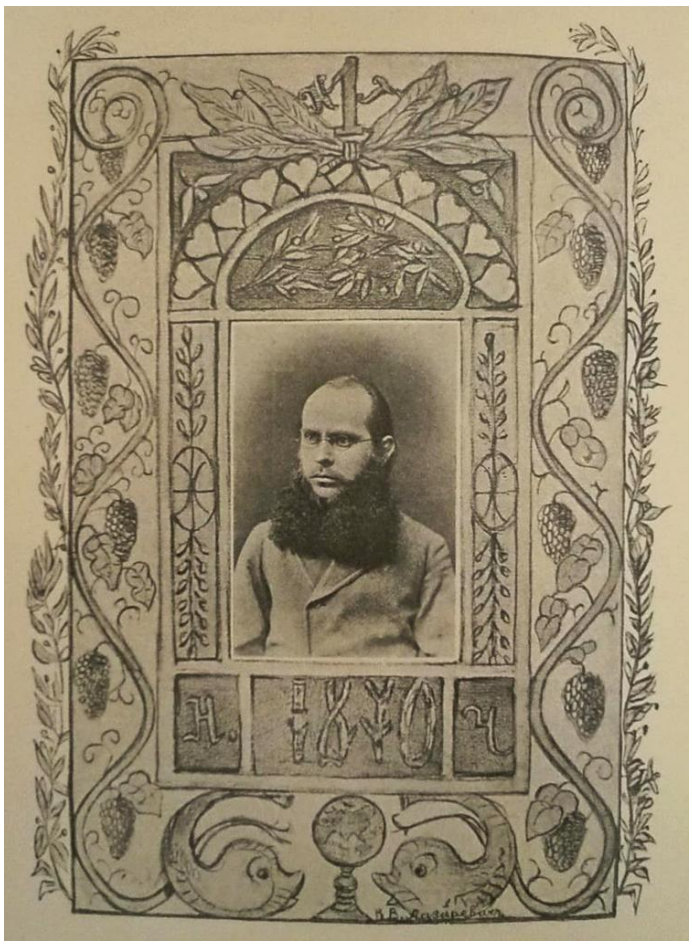
КІЕВЪ.
Типографія С. В. Кульженко, Пушкинская ул., д. № 4.
1906 г.

К портрету Николая Трофимовича Черкунова

Настоящий портрет изображает Николая Трофимовича Черкунова, когда он был еще юношей, впервые вступившим в родную ему Первую гимназию преподавателем географии в 1870 году. Какое прекрасное лицо, проникнутое спокойным, примиренным и ясным выражением! Какие выразительные черты, в которых так и светится его чистый нравственный облик. Вот – широкий, открытый лоб, показывающий сильный любознательный ум, вот – глубокий, задумчивый взгляд его голубых добрых глаз, отражающий твердую уверенность в себе, в своих молодых, юношеских силах, готовых отдаться первому призыву; а вот – небольшой нос, полные щеки и плотно сжатые губы, свидетельствующие о твердом решительном характере, не способном остановиться на полпути или дрогнуть перед трудностью. А это круглое лицо, окруженное русой курчавой бородой, так и выдает в нем живьем подлинного русского человека.

Вся 35-летняя учительская деятельность Николая Трофимовича в Первой гимназии была, действительно, редким примером стойкого человека долга, самоотверженного служителя науки, искреннего патриота, прекрасного товарища и неизменного друга детей, плативших ему доверием и любовью. Нельзя не применить к нему слов сердцеведа-Шекспира: «Жизнь его была прекрасна; в нем так счастливо сочетались все элементы, что природа могла бы сказать о нем – «Это был человек». *М.Т. [(М.И. Тростянский)]*

* В 1911 г. последовал Вып. II, мы приводим здесь лишь избранные места Выпуска I.



Символический смысл рамки к портрету Николая Трофимовича Черкунова

Виноградные лозы, окружающие с двух сторон рамку с полными кистями винограда, изображают плодотворную деятельность Николая Трофимовича, а два дельфина и глобус внизу рамки являются эмблемой многочисленных путешествий нашего незабвенного преподавателя, выносившего из них много полезного для знания, которым затем широко делился со своими учениками. Вверху – орнамент, состоящий из сердец, а над ним – герб Киевской 1-ой Гимназии – означают любовь и сердечную признательность учеников этой гимназии к дорогому учителю. Рамку обвивают с двух сторон молодые побеги, которых символическое значение понятно. *Ученик 3-го класса В. Лазаревич*[*]

Из моего дневника (1905 г.)

Май. Сегодня нас распустили на каникулы. Не успели нам выдать аттестации, как мы шумной толпой высыпали из гимназии на улицу. Все спешили домой. Я шел быстро. Незаметно подхожу к домику Николая Трофимовича Черкунова, нашего любимого учителя географии. – «Зайду, – думаю, – проститься: завтра еду в деревню». Звоню. – «Дома Николай Трофимович?» – «Дома, дома», – раздается ласковый голос из другой комнаты.

Николай Трофимович очень обрадовался; у него можно было всегда видеть учеников, которым он показывал свои коллекции и занимал их разными играми. Он очень любил детей и готов был проводить с ними целые дни.

---

[*] Владимир Владимирович Лазаревич, православный дворянин, род. 25 окт. 1892 г. в СПб., в 1910-11 уч. году значился в VIII классе по I-му отделению. Остальные авторы «Молодых побегов» до сего класса по каким-то причинам не дошли: или перешли/переехали в другие гимназии/города или же были отчислены «за малоуспешность».

Николай Трофимович показал мне новых тропических бабочек с островов Явы, Борнео и других жарких стран. Все стены музея были увешаны географическими картами. В витринах виднелись изящные японские и китайские вещицы из слоновой кости, модели разных животных, иностранные монеты, коллекции камней, яиц, птичьи чучела и другие редкости. Я с особенным вниманием слушал рассказы Николая Трофимовича о его дальних путешествиях. – «Теперь сыграем в шашки», – сказал мне Николай Трофимович, и мы начали играть. Первый раз я выиграл, второй – проиграл, а затем опять несколько раз выиграл. С каждым новым выигрышем откладывалось в мою сторону по несколько конфект.

Собираюсь домой, прощаюсь с Николаем Трофимовичем и выхожу на улицу. Не успел я пройти и нескольких шагов, как служитель догнал меня и попросил возвратиться. – «Вы выигрыш забыли», – сказал мне Николай Трофимович. Не взять выигрыша, значило обидеть доброго учителя, и я, краснея и стесняясь, забрал конфекты. Удивительно ласков и приветлив был всегда Николай Трофимович ко всем. – «Прощайте! – сказал он мне вслед. – Собирайте бабочек, жучков… Прощайте! Прощайте!»…

Июль. Приближался конец июля. Жарко, очень жарко... Только к вечеру легче стало. Мы сидели в саду и пили чай. Вдруг скрипнула калитка, и знакомый наш деревенский почтальон появляется в саду и подает нам письма и запоздалые газеты. С жадностью мы принялись читать. Мне попался лист «Киевлянина» за 12 июля. Читаю: «Вчера в Петербурге скончался скоропостижно преподаватель Киевской Первой гимназии Николай Трофимович Черкунов». Больно, тяжело было мне! Невольно мне вспомнились последние слова его: «Прощайте! Прощайте!».

Август. Мерно и плавно раздаются в воздухе громкие раскаты церковного колокола. Звонят уже на «Достойно». Стою в церкви и не в силах отрешиться от посторонних мыслей. Вспоминаю Киев, музей, Николая Трофимовича. Он уже покойник!.. В ушах звучат его ласковые слова: «Сыграем в шашки! Выигрыш возьмите!». «Со святыми упокой» прервало мои мечтания. Слезы душили меня. Не помню, как я вышел из церкви и очутился один в моей любимой беседке. «Прощайте! Прощайте!..» – звучат последние слова нашего дорогого, незабвенного Николая Трофимовича. *П. Липовецкий*

Памяти Николая Трофимовича

Кто из учеников Киевской первой гимназии не помнит Николая Трофимовича, этого маленького живого старичка с узенькими добрыми глазами? Я познакомился с ним при следующих обстоятельствах: после Рождества (1905 г.) я пришел на экзамен в III-й класс и в первый же день экзаменовался чуть ли не по всем предметам, между прочим и по географии. Учителя этого предмета я представлял себе высоким, строгим стариком, который старается как-нибудь напасть на слабое место ученика и поставить ему 2.

Такому мнению об учителе способствовал характер самой науки – географии, где мое внимание сосредоточивалось, преимущественно, на высоких скалистых горах, суровом климате северных стран и на бурливых морях и океанах. Учитель такого предмета должен был, по моему мнению, олицетворять собою преподаваемую им науку.

Как же я удивился, когда по зале, скоро семеня маленькими ножками, прошел небольшой, толстый старичек с открытым лбом, длинной белой бородой, с выдающимся животом, вследствие чего две последние пуговицы его мундира никогда не застегивались. Он ласково спросил, меня ли надо экзаменовать, и получив утвердительный ответ, повел меня на другой конец залы.

Здесь усевшись, он прежде всего спросил, по какому учебнику я проходил географию. Узнав, что по его «Игре»*, он задал мне несколько вопросов, на которые я удачно отвечал. Говорил Николай Трофимович тихо и глядя своими добрыми глазами мне в лицо.

Окончив меня экзаменовать, он торопливыми шажками подошел к маме и, улыбнувшись своей широкой ласковой улыбкой, поздравил ее с моим успехом; затем он куда-то скрылся, и я потом видел уже его окруженного учениками, с любопытством слушавшими какой-то его рассказ. Ближе я узнал Николая Трофимовича на его уроках географии, которые я с удовольствием слушал: он всегда живо и наглядно излагал свои объяснения с интересными рассказами и подробностями из путешествий. Я его знал всего ½ года, но и за это короткое время искренно полюбил его, как человека и интересного преподавателя. И что же? Он умер летом того же года, когда все ученики разъехались и даже не могли отдать прощального привета своему любимому преподавателю. *Е. Рыбников*

Урок географии

Сейчас урок географии. Ученики с книжками и «записками» в руках озабоченно снуют между партами. У карты большая кучка. Задние напирают на передних, прокладывая себе дорогу локтями. Оттуда несутся всевозможные возгласы и нудные, монотонные голоса «зубрящих». – «Убирайся к ч[ор]ту!» – «Мешаешь заниматься! Куда ты лезешь?» – «Сейчас иду жаловаться: мешают заниматься». – «Фискал! Ябедник!» – «Афганистан находится в восточной части Азии…» – ровно жужжит кто-то. – «Врешь, в западной!» – «Сам врешь, не мешай!»…

Дверь отворяется, и в класс входит Николай Трофимович. Николай Трофимович – маленький, толстенький старичек, с большим животом и коротенькими, пухлыми руками и ногами. Его свежее, розовое, необыкновенно добродушное, вечно улыбающееся лицо окружено белоснежной, круглой бородой. Над мало морщинистым лбом – огромная зеркальная лысина, окаймленная реденькими, длинными, совершенно седыми волосами. Широкий нос, закрытый бородой и усами рот, блещущие из под бровей и очков маленькие глазки – все на этом лице носило какой-то особенный отпечаток добродушия, веселости и ласковости. На нем длинный, ниже колен, синий учительский сюртук, широкие брюки и огромные мягкие башмаки, подошвами которых он шлепает при ходьбе по полу. – «Ти-ше, ти-ше, дети! у-рок на-чи-нается», – произносит он старческим, слегка дребезжащим голосом, отделяя каждый слог и хлопая ладонями маленьких пухлых рук по столу.

– «Гос-по-дин Му-нин! – вызывает Николай Трофимович и спрашивает урок… – А скажите, господин Му-нин, ваш дом на вос-ток или на запад от гим-назии?» – перебивает он завравшегося ученика. Молчание. – «Слышите, господа? гос-по-дин Мунин не знает, где его дом; ему нянюшку нужно», – добродушно острит Николай Трофимович; но ученик конфузится страшно; и еще бы: гимназисту – и вдруг няня. Николай Трофимович сидит на стуле, выставив вперед живот и протянув коротенькие ножки. Сюртук застегнут на одну верхнюю пуговицу, за которую теребят пухлые пальцы. Полы висят по бокам стула, левая рука разглаживает бороду, а из-под бровей и очков блещут на учеников хитро и весело маленькие глазки.

Ученик отвечает безнадежно плохо. Николай Трофимович беспомощно роняет руку с бороды на стол; нижняя губа его оттопыривается, он всем туловищем тяжело поворачивается к столу и наклоняется над журналом. – «Садитесь», – печально говорит он и «делает» отметку. Ученик садится на место и заводит беседу с задним столом.

---

* «Учебные географические игры (из общего курса I-IV классов)».

Урок географии Н.Т. Черкунова в К. I Г., фото начала 1900-х

– «Господин Мунин! – раздается голос Николая Трофимовича, – все люди стремятся вперед, а вы – назад, вас нужно записать в обратное царство», – и Николай Трофимович записывает ученика в особый отдел своей книжечки, носящей загадочное название «Обратное Царство». – «Гос-по-дин Ра-а-ми-ров! – певучим голосом вызывает Николай Трофимович другого ученика. – А ска-жи-те, гос-по-дин Ра-а-ми-ров, какие фрукты из Италии вы-во-зят-ся?».

Ученик глядит на учителя, на карту, подмигивает товарищам, беззвучно шевелит губами, но хранит гробовое молчание. – «А-пель-сины и ли-моны, гос-по-дин Рами-ров, а-пель-сины и ли-моны, а вы этого не знаете и, следовательно, не имеет права их есть». – «Господа! – обращается он к классу, – кто любит апель-сины?» – «Я! я! я!..» – «Имейте в виду, господа, кто не знает, где апельсины растут, тот не имеет права их есть». Ученик смущенно улыбается. – «А ска-жи-те, г-н Ра-миров, какое самое холодное место в Африке?» Ученик смущается еще больше, волнуется, усиленно шепчет что-то и теребит пуговицы блузы. – «Ну, пропал!» – думает он.

Николай Трофимович обращается к классу. Следует несколько неудачных ответов. – «Эх вы! На самой вы-со-кой го-ре», – торжественно сообщает, наконец, Николай Трофимович, самодовольно разглаживая бороду. Спросив еще нескольких учеников, Николай Трофимович встает, входит в проход между партами, слегка выставляет левую ногу вперед и облокачивается кулаками пухлых пальцев на парты. Глаза его блещут сквозь очки еще веселее и энергичнее обыкновенного. Сперва он шутит с ближайшими учениками, а потом приступает к рассказу следующего урока.

Рассказывает он просто, интересно, увлекаясь и увлекая учеников. Речь его вся пересыпана остротами, прибаутками, смешными эпизодами и интересными подробностями. Рассказывая, например, об Африке, Николай Трофимович непременно опишет охоту за гориллой, какое-нибудь забавное приключение путешественника и т.п. Иногда он как бы от восторга всплескивает коротенькими, пухлыми руками или, желая показать что-нибудь очень большое, смешно растопыривает руки, причем на лице у него появляется необыкновенно веселая и добродушная, совсем не старческая улыбка. В такие минуты он очень похож на веселого пухленького ребенка.

Николай Трофимович говорит очень тихо; все, кто может, подвигаются вперед и слушают внимательно, если не для того, чтобы услышать объяснение урока, то для того, чтобы посмеяться его остротам вместе с другими.

Изредка оставшиеся сзади, ничего не слыша, выкинут какую-нибудь штучку, но это не нарушает общего настроения. Правда, ученикам порядочно достается от привычки Николая Трофимовича испытывать их сообразительность, но зато, когда он собирается рассказывать, все оживляются и придвигаются поближе.

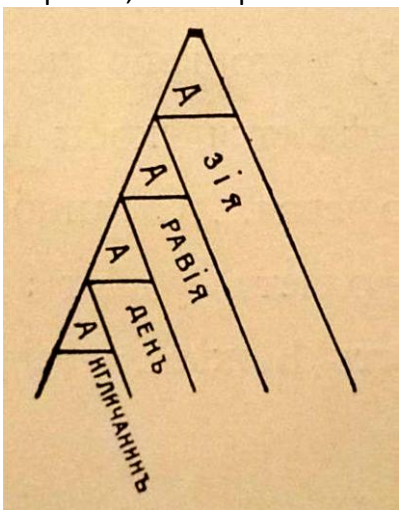
Иногда, увлекаясь, Николай Трофимович отклоняется от своего предмета, рассказывая нам то о своей коллекции, то как его бывший ученик, моряк присылает ему из тропических стран разные редкости, то как этот же моряк попадает на «Ретвизане» в Порт-Артур* и присылает «своему старому учителю» японскую бомбу. Бьет звонок. Николай Трофимович берет журнал и, пошлепывая башмаками, скрывается за дверью. Последний раз блеснула его белоснежная голова, последний раз приветливо и весело мелькнуло его лицо, последний раз пришлепнули башмаки. – «Прощайте, Николай Трофимович!» – сочувственно вслед говорят ему ученики. *Д. Данилычев*

Из «живого слова»

За все время своего преподавания в нашем классе Николай Трофимович не задавал уроков по книге; мы учились с его живого слова. Объяснения Н.Т. были всегда очень занимательны; мы запоминали их хорошо, тем более что Н.Т., объясняя урок, скрашивал его интересными отступлениями: шутками, остроумными замечаниями, иногда поучительными анекдотами. Вот отрывок из уроков Н.Т., представляющий собою слабое эхо его живой речи (у меня хранятся записи всех уроков Н.Т. за три года – 1902-1905).

«Ю.-З. Аравия расположена у важного Баб-эль-мандебского пролива, лежащего на дороге в богатую Индию и в Великий океан. По природе это самая лучшая часть Аравии. Здесь расположены горы и есть низменность. Так как в Аравии рек и озер почти нет, то воду приходится искусственно поддерживать в колодцах. Здешние колодцы носят название «вади». Устраиваются они в высохших руслах рек и обсаживаются деревьями, для сохранения влажности. Из городов Ю.-З. Аравии важен Аден, прибрежный город у Баб-эль-мандебского пролива. Аден принадлежит англичанам».

При этом Н.Т. взял у дежурного кусочек мелу и нарисовал на доске четыре «А», одно в другом: – «Первое А, – сказал Н.Т., – представляет Азию, второе – Аравию (в Ю-З. части Азии), третье – Аден в Ю.-З. части Аравии, а четвертое – Англичанина в Адене».



* «Ретвизан» – эскадренный броненосец русского флота, участвовавший в войне с Японией и сильно поврежденный в 1904 году. В 1905-м был японцами капитально отремонтирован и вошел в состав императорского флота под названием «Хидзэн».

Мы все рассмеялись, рассмеялся и сам Николай Трофимович. Выждав, пока все успокоились и приготовились слушать дальше, Н.Т. продолжал:

– Внутреннюю Аравию составляет плоскогорие Неджед, пересеченное кое-где высокими горами. Жители внутренней Аравии прежде были независимы. В XVIII веке у них появился проповедник Вагаб. Вагаб возбуждал соотечественников против турок, утверждая, что они заклятые враги Магомета. Образовалась новая Вагабитова секта, которая настояла на войне с турками. Дело кончилось плохо для арабов: они были разбиты и покорены султаном Мухмед-Аримом. Арабы – магометане. Их религия запрещает идолопоклонство, курение табаку, потому что табак создан дьяволом (при этих словах Н.Т. многозначительно посмотрел на задние парты) и ношение шелковой одежды, потому что шелк делается якобы из нечистых внутренностей гадкого червя.

– Странно, – заметил Н.Т., – что религия позволяет убийства, кражи и обманы, ссылаясь на милость Божию, а запрещает такие пустяки.

После этого Н.Т. рассказал нам интересное путешествие по Аравии англичанина Пальгрева.

– Арабы не любят европейцев; поэтому Пальгреву пришлось переодеться в арабское платье. Но по дороге его выдал слуга. Путешественника арестовали и отправили к султану. Султан велел позвать переводчика, но вскоре убедился, что сам Пальгрев прекрасно говорит по-арабски. Удивленный султан отпустил ученого путешественника. Однако этим не кончились приключения англичанина: он очень любил курить. Табак у арабов запрещен. Пальгреву после долгих, но тщетных поисков, наконец, удалось купить в лавочке у еврея за большие деньги пачку табаку. С этим запретным плодом Пальгрев, как только пришел домой, заперся и стал наслаждаться курением. Увлекшись, он забыл, что у арабов каждый обязательно должен присутствовать на молитве в мечети и что за отсутствующим посылают «медеяхов» (служителя при мечети). «Медеяхи» вооружены булавами и обязаны пускать их в дело, если здоровый человек почему-то не пришел в мечеть. Эти-то медеяхи и постучались в дверь Пальгрева, когда тот курил. Положение англичанина было неприятное: он предчувствовал, как будет прохаживаться по нем булава медеяха. Но его спас негр-слуга…».

Звонок прервал речь Н.Т., и мы никогда, к сожалению, не узнали, как негр спас англичанина…

Запоминая на уроках Н.Т. интересные эпизоды, мы легко запоминали и главное содержание урока. Многие из моих товарищей и теперь помнят, что объяснял Н.Т. в первом, втором и третьем классе, а, может быть, будут помнить и всю свою жизнь – впечатления детства, говорят, так глубоко врезываются в память, что никогда не забываются.

Спасибо за все дорогой и незабвенный Николай Трофимович!

Ал. Ястребов

Памяти Николая Трофимовича

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
(Из Некрасова)

Кончалось лето. После ясных теплых дней началась дождливая погода; завыл в трубах ветер, наводя своими унылыми напевами тоску на душу; пожелтелые листья сыпались с деревьев, крутясь в воздухе; небо облегли свинцовые тучи; сделалось совершенно темно; изредка шаловливый луч солнца промелькнет между тучами и осветит эту печальную картину: прохожих под зонтиками, торопливо шлепающих в грязи калошами, извощиков, закутанных в армяки, из-под которых выглядывает только кончик головы, струйки воды, падающей с крыш, которые переливаются на солнце всеми цветами радуги…

Я уже подходил к дому, где жил Николай Трофимович, когда заметил низенького старичка в длинной шубе, с высоко поднятым воротником, с добродушным, всегда улыбающимся лицом, окаймленным белой бородой и белыми волосами, которые выбивались из-под меховой круглой шапочки; он приближался ко мне маленькими быстрыми шажками, почему казалось будто он катился, а не шел. Это был Николай Трофимович. Я поклонился.

– А, господин Белявский! Здравствуйте!.. Вы ко мне?.. А уроки выучили?

– Выучил.

– Скажите, господин Белявский: где Баски живут?

– Баски?

– Да, Баски.

Я смутился, потому что в книге этого не было; но зная, что Николай Трофимович не любит, когда ему так говорят, и боясь, что он поставит мне потом плохую отметку, я испугался и протянул:

– Ммм-Ммм…

– Господин Белявский, вы – не корова; что же мычите? – сказал Николай Трофимович и добродушно рассмеялся. – Идемте, долго мы с вами заговорились; наверное, нас ждут.

Через минуту мы уже входили в «коллекцию». Со всех сторон бежали к нам ученики и ученицы.

– Здравствуйте, Николай Трофимович! Николай Трофимович пришел, – слышались крики.

– Николай Трофимович! Это – новичок, – говорили дети, указывая на меня, – ему надо жабку…

– Тсс… Ну, господин Белявский, мы вас проэкзаменуем.

Я замер. А что, если он опять будет прошлое спрашивать? Но все-таки пошел за ним.

– Вот, погладьте эту штучку, – сказал Николай Трофимович, показывая жабку – японское изделие.

Я смело протянул к ней руку. Вдруг что-то неожиданно запищало. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, и я в страхе попятился к двери.

– Душа в пятки ушла. Он еще маленький, – сказал Николай Трофимович, ласково улыбаясь.

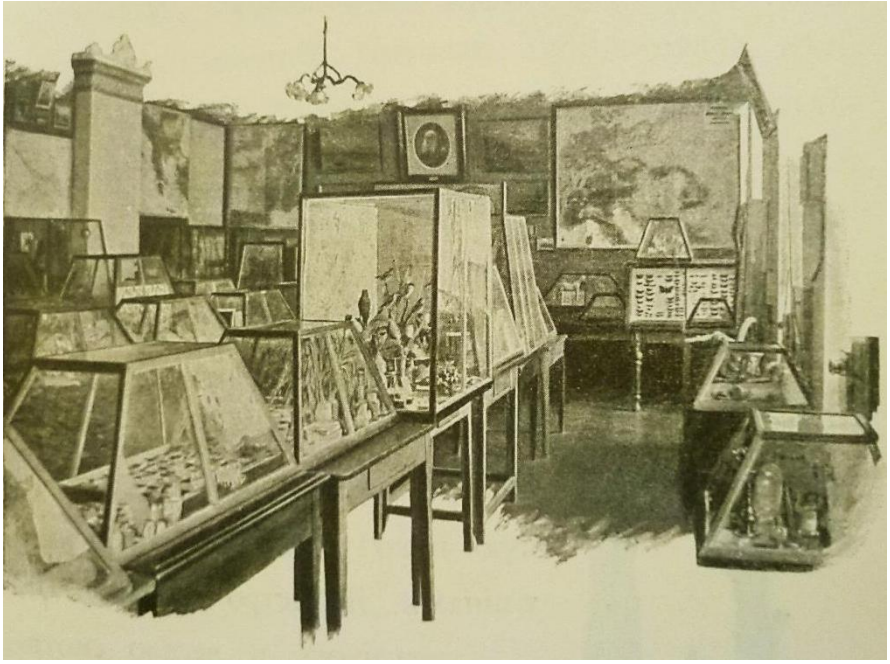
С тех пор за мной и осталась кличка «Маленький.

Время бежало. Оно бежало так быстро, как бежит и теперь. Приходил день и уходил; приходила ночь, а потом снова наступал день. Так же как время – дни и недели, уходят и приходят люди, сменяя друг друга. Все отходит в область воспоминаний. Николая Трофимовича нет уже в живых. Многое из пережитых впечатлений заслонено другими и отчасти забыто. Но дрогой облик Николая Трофимовича свеж в моей памяти и ничем не заслоняется. Я тепло и свято храню его в моей памяти и буду хранить.

Маленький (Белявский)

Страничка из воспоминаний

Ясный, морозный, зимний денек. Снег тихо хрустит под санями и под ногами прохожих. Приятно пойти погулять в такую погоду даже по городским улицам. Я быстро шагаю по тротуарам и весело смотрю по сторонам: направо тянется Николаевский парк, обнесенный решеткою, налево – дома. На этой улице находится хорошо известный моим товарищам дом, в котором живет наш уважаемый преподаватель географии Н.Т. Черкунов. К нему-то я и иду. Вот я и у подъезда, с правой стороны которого виднеется карточка: «Географическая коллекция». Еще минута и я звоню в квартиру Н.Т. …



Коллекция Н.Т. Черкунова

Дверь открывается и пред моими любопытствующими глазами: просторная комната, у стен и посреди ее стоят застекленные ящики; по стенам висят карты и картины, на окнах стоят стереоскопы.

У окна стоит невысокий старичек в сюртуке, по привычке застегнутом на одну пуговицу, и в очках, через которые глядят добрые голубые глаза, придающие его лицу добродушное выражение. Это – Н.Т. При моем входе он повернул свою седую голову и пошел ко мне навстречу мелкими шагами, едва заметно переваливаясь на своих небольших ногах.

– Здравствуйте! – сказал он своим тихим ласковым голосом. – Вы у меня в первый раз?

– Да, – отвечал я, поглощая глазами кусочек [японской] гранаты из П. Артура, приковавший мое внимание потому, что в это время шла русско-японская война (1904-1905 гг.), и все интересовались всякими, даже ничтожными, вещами с Дальнего Востока.

Вдруг послышался громкий смех и говор, и в комнату вбежало несколько мальчиков с румяными щеками и оживленными лицами и окружили Н.Т., а я тем временем начал осматривать коллекцию… Часа через три я выходил из квартиры Н.Т. … Туманный вечер. Морозит. Тускло горят уличные фонари. Темень такая, что не видно ничего перед собою даже за два шага. Я медленно иду по тротуару и вспоминаю только что виденное… Это было первое и последнее мое посещение Николая Трофимовича.

Теперь я часто вспоминаю о моем посещении Николая Трофимовича и о его коллекции, которая произвела на меня сильное впечатление и оставила навсегда о себе и о своем почтенном хозяине добрую и неизгладимую память. *В. Базилевич*

Незабвенной памяти Николая Трофимовича Черкунова

Покойный Н.Т. был человеком нежного сердца, остроумным, веселым, любил пошутить, и его добрые, безобидные шутки всегда вызывали искренний смех, ободряли нас и скоро сближали с ним. Я помню одну из таких его классных шуток.

В конце февраля 1905 года после недавних, очень сильных морозов наступила оттепель. Везде запахло весной. Солнце весело согревало землю; частые капли таявшего снега катились с крыш домов; с мостовой вместо скрипа саней слышался стук колес; на деревьях появлялись почки… В гимназии кое-где уже слышались разговоры о роспуске, о летних каникулах и тому подобных приятных предметах.

В один из таких манящих дней первым уроком была география. Н.Т., веселый и жизнерадостный, как всегда, бодро вошел в класс и выслушал молитву пред уроками. После молитвы он подошел к столу, сел и вынул заветную книжечку, которая была решительницей нашей судьбы по географии. Каждый насторожился в тревожном ожидании быть спрошенным. Но Н.Т., погладив свою седую курчавую бороду и весело улыбнувшись, сказал: «Поздравляю вас с весной, господа! Неделю тому назад, когда еще были морозы, я встретил по пути в гимназию нашего ученика Мая (Владимира Мая*) и сказал ему: господин Май! Как вы смеете ходить по улицам, когда еще зима? Чтоб мне скоро была весна! И, как видите, господин Май послушался меня».

Все громко рассмеялись этой шутке Н.Т., и долго еще слышались то здесь, то там взрывы веселого хохота. Весь урок прошел оживленно; ученики смелее отвечали урок, и никто не мог пожаловаться, что ему скучно.

Когда на последнем уроке Н.Т. простился с нами и пожелал нам веселых каникул, никому и в голову не приходило, что мы более не увидим его милой круглой фигурки, не услышим его веселых назидательных шуток. – «Не забывайте меня, если я уйду от вас», – последние слова Н.Т. обращенные к классу, еще и сейчас звучат в моих ушах.

Спи спокойно, наш нежный старый друг! Никогда, никогда память о тебе не заглохнет в наших любящих сердцах! *М. Ястребов*

Памяти Николая Трофимовича

«Свежо предание» –
А верится легко.

Все показывает, что весна начинается… Трудно просидеть в гимназии пять долгих часов. Из окна нашего класса видна раскачивающаяся ветка зеленеющей акации; по небу с клекотом пролетают грачи; теплое солнце бьет в окно целыми снопами лучей…

Ну как тут слушать объяснения учителя или отвечать на заданный вопрос? Хочется в сад или куда-нибудь на простор, чтобы своими глазами увидеть расцвет природы, о чем так увлекательно рассказывал нам учитель естествознания.

Вот после уроков я, по обыкновению, пошел в Николаевский сквер подышать чистым воздухом. Я сел на скамеечку и наблюдал, как гонялись и чирикали воробьи, радуясь весеннему солнышку. Вдруг я услышал знакомый голос, говоривший мне: «Господин Борисенко наблюдает над чем-то». Я обернулся и увидал Николая Трофимовича.

Он стоял в темно-серой крылатке; из-под мягкой шляпы с широкими полями выбивались пряди его седых волос; маленькие голубые глаза блестели из-под стекол его светлых очков.

– На что вы смотрите? – спросил он с улыбкой.

– На воробьев, – ответил я сконфуженно и привстал со скамейки.

– Ну, сидите, сидите! А вот скажите мне лучше: воробей – домашняя птица или нет?

Я растерялся и что-то пробормотал себе под нос.

– Эх вы, недогадливый господин! Если приручить воробья, то он будет домашним; а если не обращать на него внимания, то останется себе диким, как был, – проговорил Николай Трофимович и рассмеялся.

Как часто я слышал от него подобные загадки! Как часто я ломал над ними голову, при ответах Николаю Трофимовичу! А теперь не услышу их больше, потому что уже нет его – дорогого Николая Трофимовича. *Н. Борисенко*

---

* На самом деле – Владислав Ричардович Май, окончил К. I Г. в 1905 г., затем поступил в Университет св. Владимира на естественное отделение физико-математического факультета.

Дорогой памяти Николая Трофимовича Черкунова

Прошло несколько месяцев, как умер наш дорогой, незабвенный Николай Трофимович. Но образ его, как живой, встает в моем воспоминании… Я помню и его географическую коллекцию, уютные комнатки, густо уставленные редкими экземплярами насекомых, животных, пресмыкающихся, картинами достопримечательностей стран и городов… Помню также его уроки, его остроумные замечания, веселящие и оживляющие усталых рассеянных учеников на пятом, последнем уроке. Мы забывали его на уроках, как преподавателя географии: он был нашим добрым, любящим и просвещенным другом, с увлечением рассказывающим нам о знойных пустынях Африки, о желтых степях Азии и роскошных городах Америки… А сколько мудрых советов и правил доброго поведения было преподано нам вместе с живыми сведениями по географии!..

Николай Трофимович без устали сеял в нас «разумное, доброе, вечное» до самой своей смерти, и скажем ему от всей души «Спасибо сердечное» и искреннее пожелание, чтобы легка была ему земля на его преждевременной могиле. *Игорь Ахрамович*

<…> ***К воспоминаниям о Н.Т. Черкунове***

К воспоминаниям учеников я позволю себе присоединить и мое личное воспоминание, относящееся к одному из последних заседаний Педагогического Совета [К. I Г.] с участием Николая Трофимовича. Это было 4 числа февраля месяца 1905 года, когда собралось экстренное заседание Педагогического Совета для обсуждения министерского предложения высказаться по вопросу о сближении семьи и школы. В Петербургском учебном округе шли уже в это время оживленные педагогические собрания, в которых вопрос об этом сближении решительно склонялся в пользу родительских совещаний, призываемых на помощь Педагогическим советам. Родительские совещания, казалось, и были тем искомым в школьной задаче, которого недоставало школе для ее правильного развития и преуспеяния.

Оставалось только выработать более подробное и определенное положение этого нового учреждения в составе средней школы. Киевский учебный округ обратился к Педагогическим Советам гимназий с предложением выяснить этот вопрос; потребовался и наш голос. Мы собрались. По заметному возбуждению собравшихся можно было ожидать заседания горячего и интересного. Начались прения. И в самом деле, немало было огня и увлечения в речах ораторов! Какая убежденность и потребность высказаться звучали в их словах! Оно и понятно: слишком близок и дорог был нам поднятый вопрос. Мнения то совпадали, то расходились.

Во всех речах слышалось горькое сознание разобщенности семьи и школы, их взаимного непонимания, по временам переходящего в недоверие, сознание необходимости приблизиться друг к другу для успешности общего дела воспитания и образования и т.п. Но лишь только вопрос касался того, как устроить взаимное отношение школы и семьи, учителей и родителей, голоса тотчас же разделялись… А между тем суть вопроса ускользала от ораторов. Один Николай Трофимович молчал, не проронив во время дебатов ни единого слова. Казалось, им овладела какая-то тайная мысль и он ждал момента, чтобы высказать ее. В глубине души, вероятно, многие разделяли мое недоумение по поводу молчания Николая Трофимовича, такого опытного и испытанного педагога.

Наконец, и Н.Т. вымолвил свое слово, привлекши к нему общее внимание. Тихим, но уверенным голосом, обводя товарищей своими добрыми, умными глазами и слегка улыбаясь своею мягкою, детскою улыбкой, начал он свою речь:

«Господа! Очень важный вопрос занимает наше сегодняшнее собрание. Мы все хорошо знаем недостатки нашей средней школы, порицаемой родителями. Мы ищем средство устранить это зло и сблизиться с ними. Как же сблизиться? Я думаю – очень просто: чем ближе к детям, тем ближе к родителям. Понять ученика, его наклонности, внушить к себе его доверие, полюбить его – вот истинная задача школы и желанный интерес всех родителей. Не с родителями в школе, а с детьми их мы должны искать близости, и только такая близость возвысит школу и сблизит ее с семьей».

Сколько правды и прямоты в этих простых искренних словах. Но таков и в действительности был Николай Трофимович – весь простота, весь доброта. Всегда близкий к детям, всегда их любящий и ими любимый – он, поэтому, давно уже решил для себя вопрос о сближении с семьей. Его золотые слова: «Чем ближе к детям, тем ближе к родителям» – всегда будут заключать в себе истинное разрешение вопроса о сближении семьи и школы.

М. Тростянский

Столетие Киевской Первой Гимназии. Киев, 1911*

* Сей фундаментальный, серьезный труд может представить интерес в основном для историков с узкой специализацией, хотя воспоминания выпускников К. I Г. и оживляют его.

В то же время в Интернете доступен более изящный труд преподавателя географии и истории К. 2-й Г. Никифора Степановича Тумасова «История Киевской 2-й гимназии» (хотя и неполный, поскольку после его смерти в 1887 г. сыну удалось отыскать в бумагах отца лишь первые главы), в котором представлен «обзор всех выдающихся событий гимназии, характеризуя одновременно с этим и общее течение в направлениях учебно-воспитательного дела в крае, в связи с оценкой личностей, стоявших во главе [Киевского] учебного округа». – ***«Киевская Старина», 1902, №№1-6: iht.univ.kiev.ua/library***

Предисловие

Со времени учреждения в 1802 г. Министерства народного просвещения дело распространения общего образования в России было поставлено на прочном основании, вполне обеспечивавшем его дальнейшее развитие и процветание.

Сменялись министры народного просвещения, придерживавшиеся различных и иногда взаимно противоположных взглядов в отношении целей и задач общеобразовательной средней школы, изменялись системы образования соответственно взглядам той или другой эпохи, заменялись, применительно к этому, один другим уставы средне-учебных заведений, но возникшие с 1804 г. в разных местах нашего обширного Отечества очаги просвещения, наименованные уже в то время гимназиями, продолжали существовать и дожили до нашего времени, воспитывая и обучая подрастающие поколения, и с каждым годом все с большим и большим числом учащихся.

Особенный спрос на общее среднее образование стал обнаруживаться со времени великих и благодетельных реформ Императора Александра II, что вызвало значительное увеличение числа средне-учебных заведений в империи. Но, наряду со вновь возникавшими, старые учебные заведения, учрежденные на первых порах существования Министерства народного просвещения, все более крепли, ширились и являлись добрым примером для своих молодых собратий.

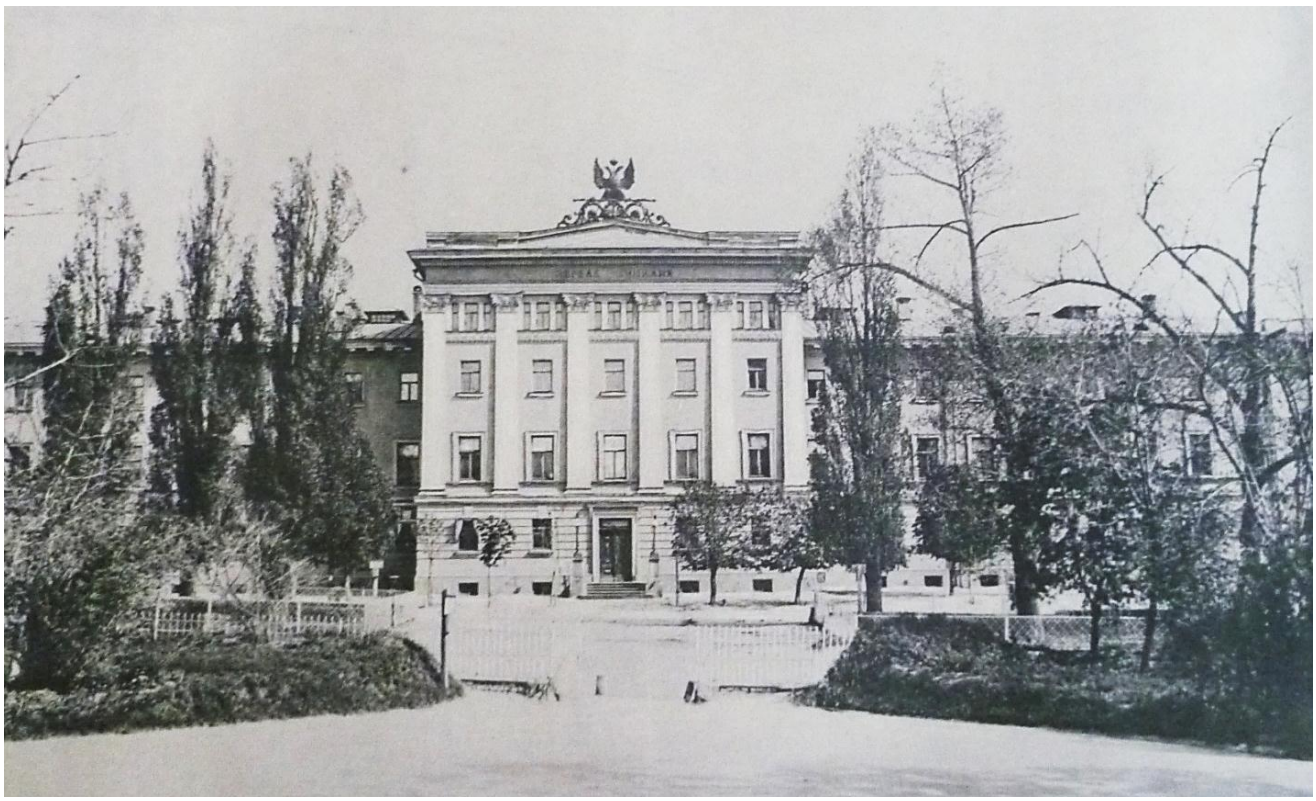
К числу таких маститых общеобразовательных заведений принадлежит и Киевская Первая Гимназия, учрежденная в древнем Киеве 5 ноября 1809 г. Возникла она еще в то время, когда польская культура простирала на «мать городов русских», «колыбель православия», свое влияние, основываясь на том, что Киев был некоторое время под владычеством польской короны, во время которого значительная часть территории обширного и богатого юго-западного края, культурным центром которого был Киев, была распределена между польскими и преимущественно ополяченными русскими магнатами и шляхтичами и, следовательно, являлась как бы польским достоянием.

Так как в это время в юго-западном крае, как в прочих частях империи, тяготило крепостное право, лишавшее крепостных всех прав гражданства, в том числе и права на образование, то польское дворянство, пользовавшееся могущественной поддержкой личного друга Императора Александра I, князя А.А. Чарторыйского, заявляло открыто, что юго-западный край – польский, не принимая во внимание того, что многочисленная бесправная крестьянская народная масса была русской и православной.

Такого рода взгляды польского дворянства были усвоены даже некоторыми русскими сановниками, имевшими близкое отношение к делу народного просвещения.

Но, в противовес этому, были люди, у которых сильно билось русское сердце, которые хорошо понимали всю неосновательность польских притязаний и всеми мерами стремились к тому, чтобы восстановить прежнее значение Киева, как источника русской православной культуры. Такими людьми были министр внутренних дел, граф В.П. Кочубей и тогдашние киевские военные губернаторы, знаменитые впоследствии герои отечественной войны, князь М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский и граф М.А. Милорадович.

Кутузов отвел для вновь возникавшей первой в Киеве гимназии лучшее место в городе, кловское урочище, ныне Липки, Милорадович отвел под гимназию находившийся там и принадлежавший Лавре каменный дом, а Кочубей оградил ее от попытки польских деятелей обратить ее в очаг польской культуры, находя что «неприлично было бы, чтобы в Киеве, древней столице российской, где был насажден первый корень российского просвещения, где издревле была и поныне существует Российская Академия, от коей получила начало большая часть российских училищ, учение производилось», как то предполагали дворяне, «на польском языке, когда и самый язык, свойственный коренным обитателям той страны, не есть язык польский».



Здание Киевской I гимназии

Таким образом возникла в Киеве русская гимназия, осчастливленная на первых же порах своего существования, а именно 13 октября 1811 г., высокой Монаршей милостью, в виде особого устава, приравнивавшего ее, по проходимым в ней курсам, к высшим учебным заведениям империи. Ввиду такого особого значения Киевской Первой Гимназии со времени самого ее возникновения, она всегда пользовалась милостивым вниманием Русских Самодержцев и имела счастье видеть в своих стенах 11 октября 1835 г. и 11 августа 1840 г. Императора Николая I, 7 октября 1837 г. и 11 августа 1840 г. Императора Александра II, еще в бытность его Наследником Цесаревичем, и 17 августа 1885 г. Императора Александра III и ныне благополучно царствующего Государя Императора Николая Александровича, в то время еще Наследника Цесаревича.

Ввиду всего этого, исполнившееся ныне столетие существования Киевской Первой Гимназии является событием большой важности, не только в жизни гимназии, но и в жизни всего Киева и прилегающего к нему обширного края, а потому педагогический совет гимназии нашел необходимым, в благодарную память о прежних деятелях на ниве народного просвещения и для запечатления в памяти подрастающих поколений заслуг гимназии перед Престолом, Церковью и Отечеством, отметить ее столетие празднованием торжественного юбилея.

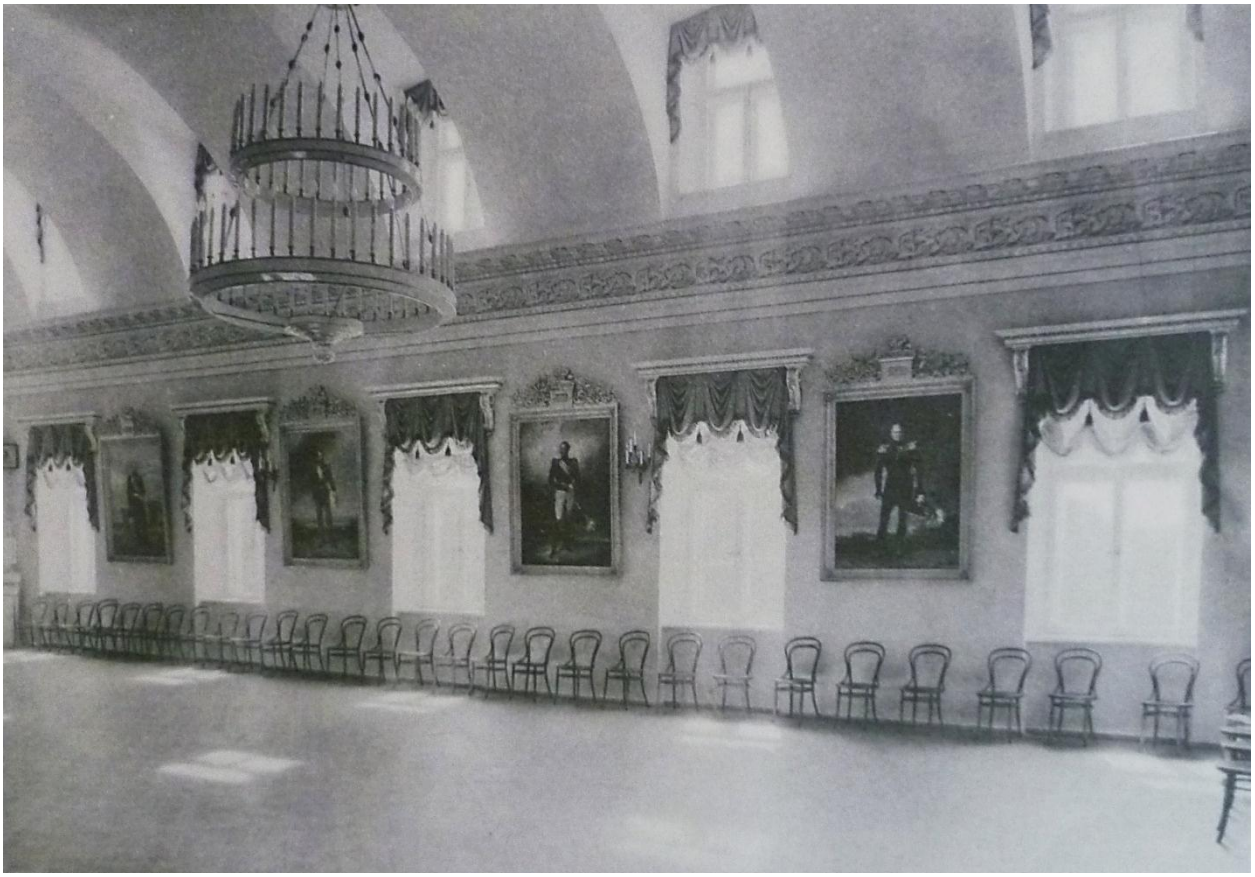
<…> На первых же порах [особая юбилейная] комиссия ознакомилась с юбилейными изданиями других гимназий, отпраздновавших уже свои юбилеи, и пришла к заключению, что ни одно из этих изданий не удовлетворяет вполне желаниям комиссии. Принимая во внимание вековую продолжительность времени, за которое необходимо обозреть жизнь гимназии, и многочисленность лиц, служивших и учившихся в ней, комиссия пришла к заключению, что юбилейное издание должно быть в нескольких томах, из которых первый должен быть посвящен точным биографическим данным о должностных лицах гимназии и, по возможности, об учившихся в ней.

С открытки начала XX века

<…>

Комиссия может с уверенностью сказать, что вошедшие в состав первого тома список должностных лиц и их биографии – почти полные и исчерпывают тот архивный материал, каким могла располагать комиссия при их составлении. Что касается списка окончивших курс гимназии, число которых – 2 682, и именного списка ныне учащихся в ней, в числе 793, то таковые безусловно полны и точны.

Актовый зал



Актовый зал

Нельзя сказать того же относительно биографий бывших воспитанников гимназии, которые страдают неравномерностью объема, неполнотою сведений и некоторой, если можно так выразиться, формулярностью; но комиссия в этом отношении была всецело в зависимости от сообщаемых ей автобиографических и биографических данных, так как иным источником, для составления биографий бывших воспитанников, комиссия не располагала*.

В первом же томе отведено место для воспоминаний о гимназии, в значительной степени оживляющих и иллюстрирующих тот сухой фактический материал, который является содержанием этого тома. Комиссия льстит себя надеждой, что бывшие воспитанники гимназии, познакомившись в подробностях с составом первого тома юбилейного издания, пожелают поделиться сведениями о себе и воспоминаниями о гимназии, которые будут с благодарностью приняты и помещены в «Летописи Киевской Первой Гимназии», которая отныне будет издаваться ежегодно в одном томе, начиная с 1911-1912 учебного года.

*Из биографического словаря должностных лиц***

Андриевский Алексей Александрович, учитель русской словесности (1890-1895), сын священника, род 7 апреля 1845 года. По окончании в 1865 г. историко-филологического факультета в Университете св. Владимира поступил на киевские педагогические курсы с причислением по службе к Киевской 1-ой гимназии. В 1866 г. был назначен учителем словесности в екатеринославскую мужскую гимназию. Через 5 лет был переведен в одесскую Ришельевскую гимназию, а с 1873 г. состоял учителем русского языка в одесской 2-ой гимназии и одновременно членом испытательного комитета при управлении одесского учебного округа. В 1877 г. по прошению был переведен в тульское реальное училище.

Тяжелая педагогическая деятельность, в связи с постоянными перемещениями, вредно отозвалась на здоровьи А.А., и в 1878 г. он прервал свою службу, уволившись по прошению. Трехлетний отдых настолько укрепил ослабевшие было силы А.А., что он в 1881 г. возвратился в Киев и поступил в киевское губернское правление редактором неофициальной части «Губернских Ведомостей». Пробыв в этой должности с 15 мая по 10 сент. 1881 г., А.А. снова принялся за педагогическую деятельность и был определен учителем словесности в Киевскую 2-ю гимназию и педагогики в высшие классы женской гимназии В.Н. Ващенко-Захарченко. К этому же времени относится назначение его членом испытательного комитета по русскому языку при киевском учебном округе. Наряду с этим занятиями А.А. находил время преподавать русский язык во Владимирском кадетском корпусе и юнкерском пехотном училище. В 1885 г. он был назначен инспектором златопольской мужской гимназии, отпраздновавшей в 1887 г. свой 50-летний юбилей, ко дню которого А.А. составил историческую записку.

---

* Сей неутешительный тезис подтверждает и то, что среди биографий выпускников нет данных о гордости гимназии – Р.Э. Классоне (закончившем ее с серебряной медалью). По-видимому, последний, уехав из Киева в Петербург, порвал все связи с гимназией. Но, будь члены комиссии более неравнодушными к составлению юбилейного сборника, они могли бы обратиться хотя бы к его матери, А.К. Классон-Вебер, которая жила в Киеве.

** Биографии учителей и других сотрудников К. I Г. приводятся выборочно – преподававших во времена учебы гимназистов, воспоминания которых помещены ниже (и конечно же в годы учебы Р.Э. Классона, который оставил лишь изустные воспоминания). В то же время в юбилейном сборнике по К. I Г. отсутствуют биографические сведения по «малозначительным сотрудникам», в частности по надзирателю пансиона Вавилову (см. воспоминания Льва Михайлова «В гимназии») и другим, по «дядькам» – то же самое; по сторожу Казимиру и надзирателю Платону Федоровичу (см. воспоминания Константина Паустовского).

В 1890 г. А.А. опять возвратился в Киев, получив место учителя словесности в К I Г. и русского языка в Фундуклеевской женской гимназии. В Киеве он остался до 1895 г., когда он, по окончании 25-ти лет службы, оставил киевский учебный округ и перешел опять в одесский, где энергично работал до 1901 г. Умер А.А. в Киеве 9 июля 1901 года.

А.А. Андриевский с своею скромною педагогическою деятельностью соединил широкое общественное служение. Города, в гимназиях которых он состоял учителем, были и местами его плодотворной общественной деятельности. В Екатеринославе он оставил по себе память как учредитель «общества попечения о женском образовании». В Одессе с именем А.А. связано процветание Сиротского Дома, который из простого благотворительного учреждения сделался под руководством А.А. как бы просветительным центром Одессы. А.А. принимал также деятельное участие в составлении сборника «Столетие вятской губернии», изданного по случаю празднования столетия учреждения губернии.

Но более всех городов обязан неутомимой просвещенной деятельности А.А. Киев, где он, в качестве редактора неофициальной части «Губернских Ведомостей», своими научно-литературными трудами и изысканиями пролил много света на темные исторические судьбы Малороссии. Перу А.А. принадлежат труды: «Из жизни Киева в XVIII в. (архивные заметки», «Войтовство Сычевского в Киеве (1754-1766 гг.)», «Русские конфиденты в Турции и Крыме в 1765-68 гг.» и др., помещенные в «Губернских Ведомостях», «Киевской Старине», «Чтениях в обществе Нестора-летописца» и др. изданиях.

Особенно ценны изданные им «Исторические материалы. Из архива киев. губерн. правления» (10 выпусков). Его труды перечислены в некрологе, составленном И.М. Каманиным и помещенном в журнале «Киев. Старина» за 1902 год.

Не забудет Киев А.А. и за его горячее участие в трудах киевской комиссии народных чтений (переименованной потом в общество содействия народному образованию). Это участие продолжалось до последнего дня его жизни в Киеве. В переписке с своими друзьями А.А. как-то обмолвился, назвав свою службу «служебным кипением»… Эту обмолвку можно бы признать лучшей характеристикой его жизни и деятельности, полной созидательного труда и неустанной энергии, направленной на благо общества.

Андрияшев Алексей Фомич, инспектор (1860-1862) и директор (1862-1890) К. I Г., родился 17 февраля 1826 г. в хуторе Германовщине, в двух верстах от с. Леплявого, золотоношеского уезда полтавской губ., в зажиточной, но простой казачьей семье, хотя мать его была дворянка из рода Анисимовых. Воспитание и образование получил в переяславском духовн. училище, в переяславской духовн. семинарии, в нежинском лицее и в Университете св. Владимира, где и окончил курс юридического факультета со степенью кандидата прав в 1850 г. В 1856 г. выдержал экзамен на степень магистра и 26 мая этого года, по защите диссертации «О правах Православной Русской церкви на имущества», удостоен был степени магистра гражданского права.

Педагогическую деятельность свою А.Ф. начал в 1850 г. старшим учителем законоведения в черниговской гимн., где, сверх своей должности, преподавал также славянский язык, русскую историю и географию. С 1857 г. состоял членом черниговской губерн. еврейской комиссии.

29 июня 1860 г. А.Ф. был назначен инспектором К. I Г., и с этого времени вся его разнородная и полезная деятельность протекает в Киеве. В 1862 г. был назначен и.д. директора К. I Г., а 17 июня 1863 г. был утвержден в этой должности, которую занимал беспрерывно 28 лет, причем преподавал разновременно географию, историю, русский и латинский языки.

В звании директора К. I Г. А.Ф. исполнял и многие другие обязанности. Так, с 20 августа по 24 октября 1863 г. был председателем педагогического комитета при педагогических курсах; в 1865 г. был назначен секретарем попечительского совета; в 1866 г. принял заведование народными училищами в киев., волын. и подол. губерниях; в 1869 г. состоял председателем испытательного комитета; с 16 июня по 17 августа1870 г. исправлял должность директора учительской семинарии; 3 мая 1879 г. был назначен председателем педагогического совета частной женской гимназии В.Н. Ващенко-Захарченко. 20 августа 1890 г., за выслугою срока, был уволен от службы, в чине действительного статского советника. Имел орден св. Анны I степени. <…>

В начале своей службы (в 1863 г.) А.Ф. был командирован в местечко Немиров (подольской губ.) для производства следствия над польскими жандармами-отравителями [сей сюжет в Интернете не обнаруживается, а потому требует трудоемких архивных исследований, например знакомства с ф. 479 «Немировская военно-следственная комиссия при Киевском военном округе, г. Немиров, Брацлавский уезд, Подольская губерния, 1863-1864 гг.» в Центральном государственном историческом архиве Украины – МК], а в 1870 г. – в Петербург на Всероссийскую мануфактурную выставку для ознакомления с педагогическим ее отделом. Сверх того, А.Ф. принимал деятельное участие в деле попечения о раненых во время русско-турецкой войны (1877-78) в составе общества Красного Креста, за что получил знак Красного Креста. Он же первый в России, вместе с статс-секретарем К.К. Гротом, озаботился устройством Убежища и Училища слепых в Киеве, за что ему была выражена благодарность Государыни Императрицы.

Сверх заведывания Училищем слепых, А.Ф. в последние годы жизни много занимался пчеловодством. В 1902 г. по инициативе и на средства А.Ф. была открыта в Киеве школа пчеловодства Южно-Русского общества пчеловодства, основанного в 1897 г. по его же ходатайству. Летом 1904 г. эта школа перешла в собственное помещение в Боярку и получила наименование: «Боярская школа пчеловодства им. Алексея Фомича Андрияшева».

Нельзя не отметить также деятельного участия А.Ф. в киев. славянском благотвор. о-ве. А.Ф. был почетным и старейшим членом этого общества и, как горячий поборник идеи славянского общения и единения, с 1869 г. почти до конца жизни принимал самое живое участие во всех делах о-ва, то в качестве члена совета и разных комиссий, то в должности товарища председателя, то в роли докладчика по современным вопросам жизни славянства. Между прочим, 17 ноября 1891 г. в общем собрании общества им был прочитан реферат: «Воспоминание о почившем почетном члене общества отце протоирее И.Г. Наумовиче».

Литературные труды А.Ф. следующие: «Русско-славянский букварь», выдержавший 7 изданий; «Книга для первоначального чтения» (2 части, Киев, 1869); «Народные чтения», «Народная читальня» (Киев, 1875); «Повесть о Богдане Хмельницком» (Киев, 1883); «Молитвенник», с объяснениями; «Русская история в рассказах», с портретами; «Словарь иностранных слов», иллюстрированный объяснительными рисунками; «Басни Крылова», с объяснениями и замечаниями; «Книга для чтения рукописного» (Киев, 1875) и др. А.Ф. издал в общем до 200 названий книг и брошюр и распространил в народе более 2 000 000 книжек, цены которых очень доступны.

С 1864 г. издавал и редактировал «Киевский народный календарь», ценою 20 коп., разошедшийся в числе около 1 500 000 экземпляров, в котором помещено очень много исторических и сельскохозяйственных сведений. Издание календаря было предпринято А.Ф. по возвращении из командировки в Немиров с целью противодействия польской пропаганде, органом которой служил «Бердичевский календарь», издаваемый римско-католическими монахами бердичевского кармелитского монастыря. «Киевский народный календарь» был одобрен Министерством народного просвещения и за один из календарей (от 1867 г.) А.Ф. объявлена Высочайшая благодарность.

С 1867 по 1876 г. А.Ф. издавал двухнедельную газету «Друг народа». В журнале «Воспитание» (1859 г.) помещено несколько его статей общепедагогического характера.

Такого же характера и речь, произнесенная им на торжественном акте К. I Г. 24 сентября 1878 г. «О необходимости взаимодействия семьи и школы в деле воспитания и обучения», напечатанная в «Отчете» той же гимназии за 1877/78 учебный год. Одною из последних статей А.Ф. является «Народная школа на юге России» (Киев, 1889).

Наконец, следует заметить, что А.Ф. принадлежит и первый труд по истории К. I Г., под заглавием «Историко-статистическое обозрение 50-летнего существования Киевской 1-ой гимназии», читанный 13 августа 1862 г. на публичном акте обеих киевских гимназий (Киев, 1862). Сюда же относится и речь А.Ф. «Киевское главное народное училище», читанная им 13 октября 1886 г. на годичном акте К. I Г. и напечатанная в Отчете этой гимназии за 1885/86 учебный год. А.Ф. умер 31 июля 1907 г. в Киеве.

Н.Д. Богатинов оставил не очень лестные воспоминания о А.Ф. Андрияшеве (см. выше).

Антонович Владимир Бонифатьевич, впоследствии профессор Университета св. Владимира по кафедре русской истории. По окончании курса наук в Университете св. Владимира в 1860 г. со степенью кандидата историко-филологического факультета, состоял в течение трех месяцев кандидатом-педагогом при К. I Г. по латинскому языку[, а также участвовал потом в выпускных экзаменах].

Из словаря Венгерова: *Профессор русск. истории в Киевск. ун-те (с 1870 г.). В 1862 г. III Отделением был причислен к общ-ву «Хлопоманов».*

Бевиньон Франц Архангелович, комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1856-1857) и учитель французского яз. (1858-1864), уроженец Швейцарии, католик, род. в 1824 году. По выдержании специального испытания в Университете св. Владимира на звание учителя французского яз. в средних учебных заведениях был определен 17 окт. 1856 г. на должность комнатного надзирателя в 1-й благородный пансион при К. I Г., а через год, согласно прошению, уволен от этой должности. С 7 июня 1857 г. по 18 нояб. 1858 г. находился в отставке, а затем был назначен младшим учителем французского языка в К. I Г., в которой, сверх должности учителя, был также определен смотрителем здания, а в 1863 г. снова допущен к исправлению должности комнатного надзирателя благородного пансиона. В 1864 г., вследствие отношения почетного попечителя варшавской русской гимназии, действительного тайного советника И.И. Фундуклея, был перемещен учителем в русскую гимназию в Варшаве.

Безсмертный Евгений Адрианович, статский советник, директор К. I Г. (1903-1907), род. 8 июля 1864 г. в г. Овруче, Волынской губ., где отец его в то время был надзирателем акцизных сборов. В 1874 г. поступил в 1-й класс гродненской гимн., затем дальнейший курс среднего образования проходил с 1875 г. в виленской 1-й гимн., которую окончил в 1882 г. с серебряной медалью. По окончании гимн. поступил в петербургский историко-филологический институт, в котором и закончил свое высшее образование в 1887 году.

Педагогическую деятельность Е.А. начал в 1887 г. учителем древних яз. в лубенской гимн., откуда через два года был перемещен на ту же должность в киево-печерскую гимн., в которой находился на службе до окт. 1893 года. В этом году был назначен инспектором немировской гимн., а через два года (с 12 дек. 1895 г.) директором новгород-северской гимн., откуда в 1898 г. был перемещен на такую же должность в киевск. 3-ю гимн., а затем, с 26 апр. 1903 г., в К. I Г., в которой и пробыл 4½ года, причем одновременно состоял председателем педагогического совета частной женской гимн. А.Т. Дучинской. 18 авг. 1907 г. был перемещен на должность директора в саратовскую 2-ю гимн., а 26 нояб. того же года в одесскую 4-ю гимн., директором которой состоит по настоящее время. Сверх должности директора этой гимн., состоял с 4 марта 1908 г. по 12 июля 1909 г. председателем педагогического совета в одесской женской гимн. О.Е. Малько, а с 28 сент. 1909 г. занимает такую же должность в женской гимн. Кандыба. Имеет орден св. Анны 2-й степени.

Во время своей службы в киевских гимн. Е.А. состоял членом киевского отделения общ. классич. филологии и педагогики. В 1892 г. был командирован с ученою целью за границу, а в дек. 1899 г. в Петербург для участия в комиссии по преобразованию средней школы. Составленный им по этому вопросу реферат «К реформе средней школы» был им предварительно прочитан в заседании киевск. отдел. общ. классич. филологии и затем напечатан в одном из томов трудов комиссии министра Н.П. Боголепова по реформе средней школы. Кроме того, Е.А. Безсмертному принадлежит перевод отрывков из IV книги истории Геродота, напечатанный в I выпуске «Известий древних писателей о юге России», изданных Академией наук под редакцией академика Латышева.

Белявский Димитрий Львович, учитель математики (1880-1885), из дворян, родился в 1856 г. По окончании физико-математического факультета в петербургском университете со степенью кандидата и с правом на звание учителя математики, был назначен 20 октября 1880 г. учителем математики в К. I Г. 8 января 1881 г. был перемещен в коростышевскую учительскую семинарию наставником и учителем математики, а 6 марта 1882 г. опять переведен в К. I Г. В 1885 г. уехал для лечения в отпуск в Ялту, где 13 октября 1885 г. умер от чахотки.

Бергман Густав Ричардович, учитель немецкого яз. (1870-1903) и воспитатель пансиона (1872-1884), уроженец лифляндской губ., лютеранин, брат известного в России и в Германии хирурга Эрнеста Ричардовича Бергмана, род. 17 ноября 1840 г. По окончании курса богословского факультета в юрьевском университете был назначен 19 окт. 1870 г. учителем немецкого яз. в К. I Г., в каковой должности прослужил 32 года, до дня смерти, последовавшей 18 февр. 1903 года. С 3 мая 1872 г. по 16 авг. 1884 г. состоял также воспитателем пансиона при той же гимназии. Сверх немецкого яз., преподавал временно и греческий яз. в средних классах гимн., а с 1883 по 1885 г. состоял также учителем немецкого яз. в частной женской гимн. Ващенко-Захарченко. Деятельное участие принимал Г.Р. в обществе вспомоществования нуждающимся ученикам К. I Г., как незаменимый казначей этого общества. Искренняя привязанность Г.Р. к К. I Г. особенно выразилась в завещании им капитала в 1000 рублей для вспомоществования учителям К. I Г. и их семействам.

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Берлинский Максим Федорович, учитель естественной истории (1788-1834), из дворян курской губ. (владелец двух крестьянских душ, записанных в Киеве), род в 1764 г. в с. Новой слободе, путивльского уезда [Курской губ.]. Обучался с 1776 по 1786 г. в киевской духовной академии латинской грамматике, риторике, философии и богословию, «с успехом, – как гласит аттестат, – преизрядным и от ученых мужей особливое одобрение заслуживающим, в слоге священных проповедей и витийстве действительном предпочтен был многажды по достоинству прочим своим сотрудникам и добропорядочным и примерным поведением в добродетельных качествах достоин любви и благопризрения; кроме латинского обучался еврейскому яз., истории и географии и арифметике теоретической и практической с успехом препохвальным».

Затем, по окончании курса с отличием, был послан в Петербург, где с 1786 по 1788 г. учился в учительской гимназии, состоявшей в ведомстве комиссии об учреждении народных училищ, истории естественной, истории всеобщей и географии, для приготовления к учительской должности. В 1788 г., по окончании наук в учительской гимназии, был определен комиссией народных училищ на должность учителя «вышних» классов в киевское главное народное училище для преподавания истории естественной и всеобщей и географии. В этой должности был произведен 4 апр. 1799 г. в чин 12-го класса, 31 дек. того же года в титул советника и, наконец, в 1806 г. в коллежские асессоры. В 1804 г., по представлению министра нар. пр., было пожаловано ему из Кабинета 500 руб. на издание составленной им истории Малороссии и Киева. В 1809 г., по случаю увольнения от должности директора главн. нар. училища И.В. Глейнига, он исправлял должность директора этого училища до его упразднения (5 нояб. 1809 г.).

При преобразовании киев. глав. нар. училища по новому штату поступил в «гимназийское» отделение и два года преподавал русскую словесность. Сверх естественной истории преподавал в гимназии также сельское домоводство, а в 1821 г., по неимению особого учителя химии и технологии, было поручено ему также обучение технологии в высших классах гимназии. В 1825 г. был произведен в статские советники, а в следующем году награжден св. Владимира 4-й степени. В 1833 г. был назначен инспектором Киевской гимназии и в том же году вышел в отставку, после 46-летней службы, с пенсией 2 280 руб. ассигнациями. С 1828 г. состоял членом московского общества истории и древностей.

В автобиографии попечителя киевского уч. окр. Е.Ф. фон-Брадке (1832-1838) встречаем следующий, далеко не беспристрастный, отзыв о Берлинском и директоре Петрове («Русский Архив», 1875 г.): «*Директору и инспектору, вместе взятым, было 150 лет от роду; первый из них был весьма достойный, но ни по дарованиям, ни по здоровью неспособный человек; второй – вполне непригодный, хотя еще бодрый…*

Старого директора я попросил отдохнуть, и чтобы не огорчить его, поручил его сыну, бывшему учителем, исполнять мои приказания по гимназии. Инспектора я назначил председателем одной комиссии, и таким образом мне, по крайней мере, никто не мешал повести дело в ином направлении».

Другой отзыв о Берлинском дал в 1816 г. визитатор И. Гв. Рудомина [(из древнего шляхетского рода Рудомино)], который говорит:

«*Учитель Берлинский от давних лет похвально известный и уваженный учебным начальством, как по своей заслуге, так и по изданным сочинениям и привязанности к наукам, которая в нем истинное учительское звание доказывает, при важной смотрительской должности и учительских трудах, занимается еще достойным похвалы старанием собрать материалы, служащие к описанию древностей и составлению статистики Киева*».

А визитатор Вылежинский в 1818 г. пишет: «*Есть прилежным смотрителем и трудолюбивым учителем… В преподавании ученикам предмета своего (естествен. истории), что касается минералогии, придерживался сочинений [французз. натуралиста] Добантона и [русского минералога и химика Василия Михайловича] Севергина, касательно ботаники – Линнеевой системы, касательно домоводства – ученых сочинений Кукольника. В летнее время показывал ученикам растения в природе и, повторяя с ними правила, приучал учеников, чтобы они сами могли определять растения*».

Последние годы своей долгой жизни М.Ф. доживал скромно и уединенно в своем домике в Липках, близ императ. дворца, где тогда помещалась гимназия, коротая свои досуги метеорологическими наблюдениями. Умер на 84-м году от рождения 6 янв. 1848 г. и погребен на старом Байковом кладбище. Могила его находится в довольно неприглядном виде: она ничем не огорожена; на кирпичном, уже разрушающемся фундаменте лежит чугунная плита с надписью: «На сем месте погребено тело статского советника и кавалера Максима Федоровича Берлинского, родившегося 1764 г. авг. 6 дня, скончавшегося 1848 г. генв. 6. Мир праху твоему». (См. статью В. Щербины «Первый киевский археолог М.Ф. Берлинский» в «Киевской Старине», т. LV, 1896 г.)

Во время своего служения в Киеве М.Ф. Берлинский много занимался изучением здешнего края. Результатом этих занятий была обширная рукопись «Историческое обозрение Малороссии и Киева, содержащее в себе происшествия и перемены, случившиеся в сей стране от древнейших времен до начала XIX ст.», составленная в 1804 г. и оставшаяся неизданною. В 1820 г. он издал «Краткое описание Киева» – первый печатный труд по истории и археологии этого города. Кроме того, он напечатал ряд статей по археологии в периодических изданиях; из них наиболее замечательною является статья «О Десятинной церкви», составленная по случаю разборки древнего основания [и развалин] этого храма.

В 1800 г. он издал в Москве учебник «История российская для употребления юношеству» [(небольшие отрывки печатались в тогдашних повременных изданиях Петербурга)]. В 1814 г. составил книгу «Наставление к собиранию и приготовлению червеца, или русской кошенили», изданную хозяйственным департаментом мин. вн. дел.

Богатинов Николай Дмитриевич, учитель русского яз. (1856-1874), из киевских граждан, православный, род. 4 дек. 1833 года. Высшее образование получил в Университете св. Владимира, где окончил курс наук в 1856 г. со ст. кандидата, причем советом университета был награжден серебряною медалью за рассуждение «Историческое обозрение воспитания и обучения в России до конца XVIII в.». Педагогическую деятельность начал в К. I Г., где преподавал русский яз. 18 лет, сперва в качестве младшего учителя, а затем, с 2 февр. 1860 г., в качестве старшего учителя, причем с 26 июня 1869 г. по 5 сент. 1871 г. исполнял обязанности секретаря педагогического совета.

Сверх должности по гимназии занимался преподаванием русского яз. и словесности в общих и специальных классах Владимирского кадетского корпуса в течение 6-ти лет (1858-1864). В 1864 г. был командирован в киевскую и волынскую губ. для осмотра народных училищ и в этой командировке находился с 7 окт. по 6 дек.; в следующем же году был командирован в киевскую и волынскую губ. для осмотра народных училищ и в этой командировке находился с 7 окт. по 1 ноября 1865 года.

С 1865 по 1869 г., вследствие распоряжения попечителя киев. уч. окр., безвозмездно заведывал книжным складом народных училищ. 26 янв. 1871 г. был назначен членом испытательного комитета и экзаменатором по русскому и славянскому яз. и словесности. С 3 авг. 1874 г. был назначен директором народных училищ екатеринославской губ., причем два раза была объявлена ему благодарность попечителя одесского уч. окр. за службу и за принятие им полезных мер по народному образованию.

С 1 июля 1875 г. был назначен директором острожской учительской семинарии и в этой должности оставался до конца своей службы (1893 г.), причем за службу и особые труды был награжден чином действительного статского советника и орденом св. Станислава 1-й степени. В «Русском Архиве» за 1899 г. напечатаны «Воспоминания Н.Д. Богатинова».

<…> *Бодянский Павел Николаевич*, инспектор К. I Г. (с 1907 г.), сын священника, род. 9 авг. 1857 г. в с. Сербах балтского у. подольской губернии. Учился в тульчинском духовном училище (подольской губ.), в каменец-подольской духовной семинарии, где прошел полный курс, и в Университете св. Владимира, куда поступил в 1877 г. на историко-филологич. фак., предварительно сдав в харьковском университете вступительный экзамен.

По окончании университета в 1881 г. со степенью кандидата исторических наук был оставлен при университете стипендиатом для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории и пробыл таковым стипендиатом 3 года, с 29 мая 1881 г. до 29 мая 1884 года. В бытность свою стипендиатом, с 23 авг. до 6 окт. 1883 г., во время заграничной командировки учителя К. I Г. Л.М. Студенецкого, П.Н. преподавал латинский и греческий яз. в этой гимн., а также состоял учителем русского и обоих древних яз. в частном училище 1-го разряда М.С. Есикорского, с авг. 1883 г. во все время существования этого училища (до 1887 г.). В 1886 г., с янв. по май, временно преподавал латинский язык в К. 2-й гимназии.

27 янв. 1887 г. был определен сначала сверхштатным, а потом (с 10 июля 1887 г.) штатным учителем русского и древних яз. в К. I Г. 15 февраля 1888 г. было поручено ему также исполнение обязанностей воспитателя в пансионе, в каковой должности он был утвержден 18 авг. 1888 года. С начала 1901/1902 уч. года было ему поручено также преподавание истории, причем некоторое время он продолжал преподавать и древние языки.

Вскоре по назначении П.Н. учителем К. I Г. ему было поручено также заведывание младшим отделом ученической библиотеки, которым он заведывает и в настоящее время. 1 сент. 1907 г. П.Н. был назначен на должность инспектора К. I Г., в каковой должности, в чине статского советника и с орденом св. Владимира 4-й ст., состоит и теперь. По случаю посещения К. I Г. королем сербским Петром I 17 марта 1910 г., был награжден сербским орденом Белого Орла 4-й ст. Еще в бытность свою стипендиатом для приготовления к профессорскому званию П.Н. был избран в члены киев. отделения общества классич. филологии и педагогики, на заседаниях которого читал неоднократно рефераты по истории и римским древностям, а с сент. 1891 г. состоит секретарем этого общества. <…>

Дополнение: П.Н. Бодянский 21 марта 1911 г. был назначен директором К. 3-й Г.

Беляев [(Бѣляев)] Федор Алексеевич, учитель чистописания и рисования (1836-1864), уроженец харьковской губ., из мещан, свободный классный художник, православный, род. ок. 1804 года. По получении от Академии художеств свидетельства на звание свободного классного художника был определен, с 1 янв. 1836 г., и.д. учителя рисования и чистописания в К. I Г. и утвержден в этой должности в 1837 году. Прослужил в К. I Г. почти 29 лет. С 1838 по 1850 г. преподавал рисование также в киев. институте благородных девиц. Умер, состоя на службе, 27 дек. 1864 года. Директор А.К. Деллен, представляя Ф.А. Беляева в 1858 г. к награде, так охарактеризовал его преподавательскую деятельность:

«*Учитель рисования Федор Беляев занимается уроками рисования в К. I Г. в течение 22-х лет. Принадлежа к числу даровитейших воспитанников императорской с.-петербургской Академии художеств, он старался внести в свое преподавание рисования в гимназии те же строгие понятия об искусстве, какие он вынес от своего наставника профессора Егорова. С неутомимостью истинного художника преследовал он эту цель и сумел внушить ученикам своим любовь и уважение к искусству.*

В числе множества других, более или менее даровитых рисовальщиков, образовавшихся под его руководством, К. I Г. с гордостью может указать на бывших своих учеников, известных современных художников, Забеллу, Ге и Страшинского, первоначальное развитие которых, по всей справедливости, принадлежит учителю Беляеву…

В настоящее время учитель Беляев, стесненный односторонностью метода Сапожникова, принятого за руководство в гимназиях, был лишен возможности с прежним успехом заниматься художественным развитием учеников своих, но по-прежнему примерное усердие и в высшей степени добросовестное исполнение обязанностей вполне характеризуют его полезную деятельность, заслуживающую особенного поощрения со стороны начальства».

Из книги А. Сапожникова «Курс рисования» (СПб., 1849 г.):

Цель, с которой учреждены рисовальные классы в военно-учебных заведениях, состоит не в том, чтобы из воспитанников сделать художников-живописцев, но заключается в развитии способности изображать на бумаге видимые предметы понятно и правильно, чтобы в случае надобности, учащиеся могли без затруднения нарисовать с натуры полезную машину, необходимый инструмент, любопытный вид местности или другой предмет, могущий встретиться на поприще военной службы и в домашнем быту. Сверх того, умение рисовать развивает способность судить правильнее об изящных художествах, доставляющих благороднейшее наслаждение образованному человеку. Из этого видно, что обучение рисованию с такой целью, должно иметь метод, отличающийся от обыкновенного способа преподавания, основанного на одном только копировании с готовых уже рисунков, или оригиналов.

Выпускник К. I Г. А.И. Рубец оставил живые воспоминания о Ф.А. Беляеве (см. ниже).

Из воспоминаний Николая Ге «Киевская Первая гимназия в сороковых годах»

(Журнал «Искусство», Киев, 1911, № 8-9):

Среди учителей был маленький человек и ростом, и своею скромностью, сознанием своего ничтожества. Этот учитель был учитель рисования. Для меня же этот человек был самая близкая душа. Он был художник, да еще несчастный. История его проста. Он был человек без роду, без племени, как говорят, бедный человек, но бог дал ему дарование, он попал в академию художеств – прекрасно рисовал, был учеником Егорова, профессора академии. Егоров, как стилист, признавал только рисунок и потому полюбил Беляева за строгий рисунок. Беляев с глубоким чувством повторял слова Егорова, обращенные к нему: «Алексеич, я в тебе вижу себя!» Но несмотря на это, с Федором Алексеевичем (таково было его имя) случилось горе: у него умерла невеста.

Он заболел, чуть не умер, а выздоровевши, увидел себя вне академии, беспомощным, без средств. Случайно попался на глаза попечителю киевского округа Фон-Братке. Этот его взял и назначил учителем рисования в гимназии в Киеве – вот тут он и погибал. Всякий знает, что такое уроки рисования в гимназии, это время гульбы – шум, гам, крик.

Федор Алексеевич приладит доску на кафедре и тонко художественно очиненным карандашом, с шариком на острие, мягко кладет штрихи. Вдруг с боку, нарочно или не нарочно, толчок под руку – карандаш ломается и делает безобразную линию во весь рисунок. Федор Алексеевич с досадой хватает доску и ищет своего врага, но, разумеется, тот исчез; Федор Алексеевич опять начинает свою сизифову работу. И вот, среди этих варваров, как он называет их и в душе и на словах, он встречает мальчика, который во все свободные минуты только и делает, что рисует. Федор Алексеевич, разумеется, любит этого мальчика и потому еще больше боится, чтобы он не попал на его карьеру, а потому кроется от него.

Но я неудержимо стремлюсь к нему – иду к нему. Он жил на Екатерининской улице. Маленькая комната; на полу везде рассыпано семя для голубей, которые тут же ходят; стоит мольберт; на нем неоконченная картина – масляными красками: «Меркурий усыпляет Аргуса»; шкатулка с красками, еще в пузырях; овальная палитра, гипсовая голова; клетки для голубей; этюды, рисунки по стенам; запах сигары, и милый, кроткий Федор Алексеевич в одном жилете перебирает на гитаре грустные мотивы; я мало разговаривал с ним, наслаждался им. Каждый год к акту я готовил массу рисунков, всякого жанра акварелей. Тут было все: и головы, и виды. Федор Алексеевич все раскладывает на столе и любовно меня благодарит. Мы с ним представляем деятельность по искусству за всех. Бедный Федор Алексеевич, он мне один раз показал месячные баллы, где мне было поставлено за все месяцы полный балл 5. Он и сам знал, что это ничего не стоит, но хотел чем-нибудь отблагодарить. Когда я получил вторую золотую медаль в академии художеств, я заехал к нему. Он мне сказал грустным голосом: «Я знал, что ты будешь художником, я тебе не говорил этого, я боялся тебя соблазнить – это большое горе и несчастье». Он воскрес от уныния перед смертью, он сочинил эскиз «Освобождение крестьян», но, не окончив, умер. Я не видел эскиза, мне рассказывали.

Воскресенский Константин Николаевич, инспектор (1880-1886), сын священника, род 25 сент. 1841 г. в г. Александрове, владимирской губернии. По окончании переяславльского духовного училища и владимирской духовной семинарии поступил в 1859 г. в киев. духовную академию, но не пробыл в ней и года и в 1860 г. поступил в Университет св. Владимира на историко-филологический факультет, который окончил в 1864 г. со ст. кандидата. Педагогическую свою деятельность К.Н. начал в 1864 г. в К. 2-й Г., куда был определен сначала преподавателем истории, а потом, с 1865 г., русской словесности. В К. 2-й Г. пробыл 15 лет, до 1889 г. [(правильнее – до 1879 г. = 1865 +15)], причем несколько лет состоял учителем словесности в Фундуклеевской женской гимназии и в институте благородных девиц, а потом [учителем] истории в женской министерской гимназии. В 1872-76 гг. состоял секретарем педагогического совета К. 2-й Г., а в 1878-79 гг. членом испытательной комиссии при управлении киев. уч. округа.

После временного (в 1878-79 гг.) исполнения обязанностей инспектора в К. 2-й Г. К.Н. был назначен 27 дек. 1879 г. инспектором студентов Университета св. Владимира, но пробыл в этой должности недолго: 11 сент. 1880 г. был освобожден от обязанностей инспектора студентов, а 19 сент. того же года назначен инспектором К. I Г., в каковой должности состоял 6 лет, до 31 окт. 1886 г., когда был назначен директором К. 3-й гимназии.

В этой должности К.Н. пробыл до конца своей жизни, причем в 1888 г. был удостоен ордена св. Владимира 3-й степени. Умер, в чине статского советника, 9 июня 1892 года. <…>

Выпускник К. I Г. В.Н. Терлецкий оставил душевные воспоминания о К.Н. Воскресенском как «кассире» (см. ниже).

Гедуэн Петр Иванович, учитель французского яз. (1838-1862), из иностранцев (присягу на верность подданства России принес в 1841 г.), католик, род. ок. 1800 г.; имел в Киеве (в Дворцовой части) деревянный дом. По выдержании испытания в Университете св. Владимира на звание учителя французского яз. в гимназиях был допущен 5 сент. 1838 г. к преподаванию французского яз. в К. I Г., а также в институте благородных девиц. От последней должности был уволен по прошению в 1842 году. В К. I Г. состоял в должности младшего учителя французского яз., в которой был утвержден в 1843 г., до 1862 г., когда, после кратковременной болезни, умер (10 сент. 1862 г.) в чине надворного советника.

Жалованья получал 343 руб. 10 коп. в год. Сверх должности по гимназии с 1838 по 1852 г. безвозмездно преподавал французский яз. в училище графини Левашовой. П.И. Гедуэн содержал в Киеве с 1842 по 1862 г. частный мужской пансион, который по учебной программе и по образовательной цели соответствовал уездным училищам и состоял из трех классов. К 1 янв. 1854 г. состояло в пансионе 43 воспитанника (все из дворян), 12 преподавателей наук, 3 учителя искусств и 3 надзирателя. После смерти П.И. в половине 1863/4 уч. г. большинство воспитанников поступило в К. I Г., куда приняты были без экзамена.

Говас Виктор Альфонсович (Victor Hovasse), учитель французского яз. (с 1908 г.), французский гражданин, род. в 1863 г. во Франции. Среднее образование получил в лицее в Ренне, университетское – в Ренне и в Париже, где приобрел звание учителя средних учебных заведений. Затем, в течение одного года, занимался филологическими науками в гейдельбергском университете в Германии. После 10-летней преподавательской службы в реннском лицее В.А. приехал в 1894 г. в Россию, где сначала был гувернером в доме графа Л.Н. Толстого, а потом штатным учителем французского яз. в средних учебных заведениях Варшавы и Риги. С 1 июня 1908 г. состоит учителем французского яз. в К. I Г.

К. Паустовский в «Книге жизни» изобразил сочные штрихи к портрету мосье Говаса (см. ниже).

Голубовский Петр Васильевич, учитель истории (1886-1895), из дворян, род. в 1857 году. По окончании курса в Университете св. Владимира в 1881 г. со ст. кандидата по историко-филологическому факультету состоял при университете стипендиатом для приготовления к профессорскому званию по кафедре русской истории.

В 1884 г., по защите диссертации «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей XI-XIV вв.» (Киев, 1884), был удостоен степени магистра. В том же году был назначен учителем истории и географии в нижегородскую гимназию, откуда в 1885 г. был перемещен на такую же должность в роменское реальное училище, а в 1886 г. в К. I Г. Здесь пробыл учителем истории до 1895 г., читая в то же время лекции по русской истории в Университете св. Владимира, сначала в качестве приват-доцента, а с 1893 г. в должности экстра-ординарного профессора. Степень доктора русской истории приобрел в 1895 г. за диссертацию «История смоленской земли до начала XV в.» (Киев, 1895). Умер 17 марта 1907 года. <…>

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Горонескуль Иван Романович, комнатный надзиратель и воспитатель благородного пансиона (1867-1871), из дворян полтавской губ., православный, род. 4 июля 1841 года. По окончании в 1864 г. полного курса наук в харьковском университете по юридическому факультету со званием действительного студента был допущен, с разрешения попечителя одесского уч. окр., к и.д. комнатного надзирателя в пансион при екатеринославской гимназии. 29 сент. 1866 г. был перемещен учителем русского яз. в екатеринославское уездное училище, с оставлением при исправлении должности надзирателя в том же пансионе. Затем, 30 мая 1867 г., согласно прошению, был определен комнатн. надзирателем в благородный пансион при К. I Г. (с жалованьем 350 руб.). 24 февр. 1870 г. сделался воспитателем того же пансиона, в каковой должности прослужил до 1 сент. 1871 г., когда по прошению был уволен от службы, вследствие избрания на должность мирового судьи зеньковского судебного мирового округа.

Горонескуль Илия Романович, учитель географии (1863-1868), из дворян полтавской губ., православный, род. 18 июля 1840 года. По окончании курса физико-математического факультета в Университете св. Владимира по разряду естественных наук со ст. кандидата поступил в 1863 г. на педагогические курсы при том же университете, а 8 ноября того же года был определен младшим учителем географии в К. I Г. Сверх учительской должности исполнял с 16 марта 1865 г. по 30 мая 1867 г. также должность комнатного надзирателя в благородном пансионе при К. I Г.

И.Я. Горонескуль был косвенно замешан «в деле об ученике Киевской 1-ой гимназии Феофиле Бородаевском» (см. ниже).

Гофман Август Адольфович, учитель немецкого и латинского яз. (1862-1868), лютеранин, род. в 1829 г. в Германии, в провинции Ганновере; присягу на верность подданства России принес в К. I Г. в 1867 году. Образование получил в оснабрюкской гимназии и в университетах геттингенском и эрлангенском. Получив степень доктора филологии, начал преподавать древние языки. В 1859 г. приглашен был учителем в Выборг, в гимназию Бема, а в следующем году сделался воспитателем детей Н.И. Пирогова, бывшего тогда попечителем киев. уч. окр., и прожил год в его имении, с. Вишне, подольской губернии. 28 марта 1861 г., по выдержании в Университете св. Владимира испытания на право быть учителем немецкого яз. в средних учебных заведениях, был определен и.д. учителя немецкого яз. в нежинскую гимн. и лектором немецкой словесности в лицей князя Безбородко.

Отсюда в начале 1862 г., согласно прошению, был перемещен учителем немецкого яз. в К. I Г., а через год, сверх этой должности, определен комнатным надзирателем благородного пансиона при той же гимназии. В 1864 г. советом Университета св. Владимира был удостоен степени кандидата по историко-филологическому факультету и с декабря 1866 г. перемещен учителем латинского яз. в параллельные классы К. I Г. В марте 1868 г. был переведен в Петербург учителем древних яз. в 3-ю гимназию, а в 1873 г. назначен инспектором 2-й прогимназии. По преобразовании последней в 1879 г. в 7-ю гимназию состоял в ней директором до самой своей смерти (1897 г.). Кроме того, был много лет председателем [педагогического] совета в гимназии Стоюниной и преподавал немецкий яз. в рождественской женской гимназии. Умер 3 января 1897 г. в чине действительного статского советника.

А.А. Гофман известен в учебной литературе прекрасными комментированными изданиями речей Цицерона («В защиту Секста Росция Америйского», «О назначении Гнея Помпея полководцем», «Первая и вторая речи против Катилины»), из которых его 1-е изд. речи Цицерона в защиту Росция Америйского (1882 г.) было удостоено ученым комитетом малой премии императора Петра Великого.

Кроме того, он составил учебники немецкого яз., которые в свое время были в большом употреблении, как то: «Этимология немецкого яз. сравнительно с этимологией русского яз.» (2-е изд., 1888); «Синтаксис немецкого яз.» (1889); «Начальная хрестоматия немецкого яз.» (1897).

<…> *Гренков Николай Михайлович*, учитель математики и физики (1835-1849) и инспектор (1854-1855), из духовного звания, православный, род. в 1810 году. По окончании курса наук в тамбовской духовной семинарии поступил в петербургский главный педагогический институт, в котором прошел курс высших наук по физико-математическому факультету. 23 авг. 1835 г. был определен младшим учителем математики в Киев. [1-ю] гимназию, а с 1 янв. 1836 г. – старшим учителем того же предмета в К. 2-ю Г. За успехи в науках, оказанные в этом году учениками на публичных испытаниях, изъявлена была ему благодарность от попечителя уч. округа.

15 сентября 1836 г. был перемещен старшим учителем математики и физики в К. I Г. (с годовым окладом 464 руб. 64 коп.). С 20 сент. 1837 г. было поручено ему преподавание алгебры и аналитической геометрии в Университете св. Владимира, каковую должность он исполнял до конца 1838 г., когда адъюнктом по кафедре этих предметов был определен студент главного педагогического института А. Тихомандрицкий. С 1841 г. Н.М. Гренков преподавал арифметику также в киев. институте благородных девиц. 1 мая 1849 г. был назначен инспектором К. 2-й Г., а в 1854 г. – инспектором К. I Г. Наконец, в 1855 г. был перемещен директором в К. 2-ю Г., в каковой должности состоял до 1861 года.

На службе был награжден чином статского советника, орденом св. Станислава 2-й ст. и знаками отличия беспорочной службы за 15 и 20 лет. Вследствие болезни 19 дек. 1861 г. был уволен по прошению в отставку, с полным окладом пенсии, в размере 850 руб. в год.

Из воспоминаний М. Чалого. Вторая Киевская гимназия:

Во все время своего инспекторства, вплоть до увольнения по службе при Пирогове, Николай Михайлович слыл ревностным поклонником розги. У него заведен был такой порядок: в продолжение целой недели взыскания с учеников производились только за шалости, не касаясь их лени, а в субботу надзиратели выписывали из классных журналов наставленные за всю неделю учителями единицы и нули и всех лентяев, коих число доходило иногда до 30-ти человек, оставляли по окончании уроков для расправы. Обычай этот, по всей вероятности, занесен инспектором из Тамбовской семинарии, где, как и в других духовных училищах того времени, существовали субботки (subbativa).

При всем том, нужно отдать справедливость неусыпной деятельности Николая Михайловича, успевавшего водворять порядок в такой многолюдной гимназии, какою была в то время 2-я киевская. В ней числилось более 700 человек, из коих 200 помещались в общей квартире при гимназии, что, при безучастном отношении господ преподавателей к поведению учеников вне классного времени, делало службу инспектора весьма тяжелою; помощники же его, надзиратели, не оказывали ему ни малейшей помощи. Ответственность за дисциплину, поэтому, всецело ложилась на инспектора.

Каждый учитель, отбывши свои часы в гимназии, спешил на уроки в другие заведения, нисколько не заботясь о том, что творилось в гимназии во все остальное время, какие там малыши претерпевали истязания за те единицы, которые наставлены ими в классных журналах зря, без должного внимания к ответам ученика и к его слезным оправданиям своей неуспешности.

<…> Второй учитель немецкого языка [(после первого – Сигизмунда)] Гаазе – тупоумное и упрямое создание, доставлявшее немало возни с учениками инспектору [Гренкову], надоедая ему своими жалобами на их проказы. Ученик VI класса Ш-ий выкинул ему такое коленце: когда немец по окончании урока выходил из класса, он схватил его за хвостики фрака, и один из них остался у него в руках. Инспектор страшно рассвирепел. (Директор [Н.А. Ригельман] в то время был в деревне[, занимаясь хозяйственными делами по своему имению].)

Призвав Ш-ого в инспекторскую комнату, он объявил ему, что исключит из гимназии с оповещением по [учебному] округу. 20-летний юноша, как оказалось, был шкодлив как кот, а труслив как заяц: он ударился в слезы, прося заменить исключение каким-нибудь другим наказанием, например, заключением на две недели в карцер. Но инспектор вопрос о наказании поставил иначе: или исключение или розги.

После долгих упрашиваний ученик наконец согласился на розги, под условием, чтоб о наказании не знали товарищи. Инспектор берет лист бумаги, кладет перед Ш-м на стол и диктует ему просьбу о том, чтоб его высекли. После этого раба Божия повели в сторожку и всыпали ему 25 горячих. Хотя он под розгами и силился не кричать, искусавши язык до крови, но товарищи проведали каким-то способом о его позорном наказании и выгнали его из класса: как, дескать, ты, подлец, позволил себя высечь?

Вопрос: как решился Гренков, в противность уставу [о гимназиях], допускавшему телесные наказания только в трех низших классах, наказать розгами ученика VI класса? Да, решился, ничтоже сумняшеся; значит, это практиковалось не в одной 2-й гимназии, а то же самое, как мы видим, проделывалось и у Зимовского, и Китченко [(в провинциальных гимназиях)], не говоря уже о кадетских корпусах и духовных училищах. Попечитель фон Брадке сильно настаивал в Министерстве [народного просвещения] на том, чтобы это позорное наказание распространить еще на IV и V классы. «Находясь в нежном возрасте от 12-ти до 16-ти лет, ученики этих классов, естественно (?), не могут понимать собственной пользы и надлежаще управлять собственными поступками», – писал он Министру в 1837 году. Да, жестокие нравы, сударь, были у моих современников!

Ученик Ш-ский был не последнею жертвой этих жестокостей. Благодаря бестактности того же бестолкового Гаазе у него случилась на уроке в V классе новая история. Спрашивает он ученика Шварца урок, а тот отвечает: «не знаю». – Ну, то имеешь едыныцу! – порешил учитель. – За что же единицу? – Ну, то имеешь нуль! Шварц подбегает к кафедре и дает немцу пощечину. Наказание последовало жестокое, в присутствии Юзефовича и жандармов; затем определено отдать Шварца в барабанщики. Отбарабанив положенный срок, он принялся за ремесло своего отца – единственного в то время в Киеве зубного врача – и стал вставлять зубы искусственные [(протезы)], тогда как прежде он умел лишь выбивать натуральные. Брат нового дантиста, впоследствии известный акушер, находился в то время в VII классе [(В середине 1860-х Александр Адамович Шварц служил ассистентом при Акушерской клинике и пересекался с Э.Э. Классоном на заседаниях Общества Киевских врачей)].

<…> По выходе в отставку Н.А. Ригельмана [в 1854 г.], Гренков вступил в исправление должности директора <…>. Гренкову на сей раз не удалось попасть в [штатные] директоры; тут и приятель Лазов [(управляющий канцелярией учебного округа)] не мог ничего поделать, потому что крупные назначения по округу, в попечительство князя Васильчикова с княгиней Екатериной Алексеевной, совершались в круге аристократии в Липках, к обществу которой попович Гренков не принадлежал; там фигурировал инспектор 1-й гимназии Е.П. Стеблин-Каменский, хотя сам не аристократ, но женатый на аристократке.

Наш Николай Михайлович должен был уступить насиженное местечко своему великосветскому сопернику и занять его место – инспектора 1-й гимназии.

<…> С назначением Могилянского директором Лицея князя Безбородка ему [(Стеблин-Каменскому)] предложена была вакансия инспектора казенных училищ, и только тогда Гренкову удалось получить директорство во 2-й гимназии, которое принадлежало ему, по праву долголетнего служения этому заведению, еще прежде.

Сделавшись самовластным распорядителем судеб нашей гимназии, Николай Михайлович нашел в ней, за весьма короткое свое отсутствие, многое изменившимся.

Безучастное отношение Стеблина-Каменского к своим обязанностям и слишком слабый надзор за учащимися [нового] инспектора Монахова не могли не повлиять на состояние дисциплины в заведении, вследствие чего суровый режим недавнего прошлого возобновился еще в сильнейшей степени.

<…> Со времени увольнения Гренкова [в 1860 году] вплоть до приезда барона А.П. Николаи, в продолжение тяжелых для меня одиннадцати месяцев, я исправлял две должности – директора и инспектора. <…> Между тем правитель канцелярии [Киевского учебного округа] Губер с К° не переставал работать у попечителя в пользу закадычного своего приятеля, большого любителя березовой каши, отставного директора Гренкова – и барон воскресил этого Лазаря и посадил его мне на шею.

<…> Глубже и сознательнее всех восчувствовали всю несообразность воскресения этого Лазаря воспитанники 2-й гимназии, которые в продолжение целого года, под влиянием новых веяний пироговского режима, успели уже отвыкнуть от ежовых рукавиц, от щипков и толчков, от начальничьего крику с пеной у рта и других проявлений бесшабашного произвола и самодурства, навеки, казалось, похороненных Пироговым и воспрянувших в лице нелюбимого ими директора.

Протест со стороны учеников был неизбежен, и он не замедлил выразиться в резких и буйных поступках, вышедших из ряду обыденных мальчишеских шалостей. Едва только появился на коридоре «старый наш знакомый», как с обоих концов длинного коридора раздались оглушительные свистки. Мой Николай Михайлович побледнел, но потом скоро оправился и, овладев собой, вошел в сборную учительскую комнату, поздоровался с преподавателями и, когда уселись ученики, как ни в чем не бывало, обошел все классы.

На другой день та же история: свищут да свищут. На третий день, не показываясь в гимназию, он велел надзирателям собрать учеников вольных квартир в залу после уроков, а воспитанников закрытого заведения отправить в столовую обедать, где мне приказано было присутствовать во время обеда. Не успели прочитать перед обедом молитву, как из залы ринулись ученики по лестнице в большом беспорядке.

Что же случилось? Николай Михайлович, распорядившись собрать учеников в залу, задумал подействовать на них силою своего красноречия; но едва он вошел в залу, как со всех сторон его окружила густая толпа мальчуганов, как на военном смотру солдаты окружают генерала. Ему и рта не дали разинуть: загалдели, заревели, засвистали. Протиснувшись сквозь сплошную массу учеников, директор ушел из залы задними дверями. Хорошо, что хоть такое случилось, но могло случиться гораздо худшее.

Через несколько дней Николай Михайлович испробовал еще одно средство укротить разъяренного зверя – буйную 700-головую толпу, склонив на свою сторону учеников VII класса, чтобы через их влияние подействовать в его пользу на другие классы. Пригласив в свою квартиру весь класс, он говорил долго, убеждал, грозил и в конце концов пообещал всем без исключения выдать аттестаты, если ученики перестанут ему свистать. Этим обещанием «опытный и умный администратор», каким рекомендовали его барону его приятели, окончательно уронил себя в глазах воспитанников.

На следующий день, понадеявшись на то, что предложенною сделкой семиклассники привлечены на его сторону, Николай Михайлович самоуверенно вошел в VII класс перед приходом учителя, но ученики подняли такой содом, что директор едва унес ноги. Авторитет начальника заведения был окончательно подорван.

<…> Не прошло и недели после моего приезда к родным [(в отпуск, в конце ноября 1861 года, чтобы отдохнуть после несения двойной ноши в течение 11 месяцев и тщетного сдерживания атак учеников на директора)], как я получил письмо от своего сослуживца и земляка, учителя М.О. Самчевского, который поторопил меня возвращением [из Новогород-Северска] в Киев, где в мое отсутствие случился наконец тот резкий проступок, о коем предсказывали явившиеся к нему [ранее] «уполномоченные» от Киевского общества.

Помещаю здесь выдержки из этого письма.

«После вашего выезда и та небольшая доля порядка и дисциплины, которая успела удержаться в нашей гимназии, благодаря вашему влиянию на воспитанников, вследствие самодурства и совершенной растерянности Гренкова, рушилась вконец. Испробовав все способы увещаний и бестактного подлаживания к ученикам и видя недействительность кротких мер (так несвойственных ндраву самодура), сей господин решился идти напролом и силою укротить разнузданную толпу. Неистовые крики, топанье ногами, толчки и щипки воскресили допироговские времена во всем их безобразии.

Случилась, например, такая возмутительная история: на улице, против гимназии, на виду у всех проходящих директор встречает ученика VI класса и делает ему выговор за расстегнутый сюртук; тот, подняв [в знак почтения] фуражку, опять употребил ее по назначению, т.е. надел на голову. Директор взбесился и палкою сбил с головы фуражку, крича во весь народ: «я вас отучу от Чаловских порядков! (и эту фразу он повторял уже не раз). Дальше идти было некуда. У детей не хватило больше терпения переносить такое обращение; накипевшая злоба проявилась наконец стихийной бурей.

Во время большой перемены ученики всех 12-ти классов (пять классов было с параллельными отделениями) беспорядочной толпой стали тесниться по коридору, и лишь только показался директор, подняли такой содом, что он едва успел вскочить в сборную учительскую комнату; но толпа не переставала реветь; в дверях зазвенели разбитые стекла; в сборную полетели куски мелу, чернильницы, линейки… Вот до чего довели благоустроенную гимназию бестолковые распоряжения начальства.

Но все сообщенное мною не главная часть письма. Дело вот в чем. Гренков, купно с Губером и К°, всю вину случившегося в гимназии беспорядка взвалил на вас: что вы де, подстроивши учеников, сами уехали. Это сообщил мне [окружной инспектор] М.А. Тулов, который теперь, по случаю безначалия, безвыходно сидит в гимназии и ждет не дождется вашего возвращения, чтобы передать вам бразды закусившего удила коня. Поспешите же приездом; мы все готовы помочь вам разоблачить эту гнусную клевету, взведенную на вас сторонниками Гренкова, который, потерпев поражение, заперся в своей квартире и даже у входа поставил стражу».

<…> Барон принял меня с обычной своей аристократической важностию, но вежливо, пригласил в кабинет, просил садиться. <…> [После моего напряженного разговора с А.П. Николаи] Николай Михайлович [Гренков] получил собственноручное письмо барона с предложением подать в отставку.

Григорович Иван Александрович, учитель древних яз. (1880-1904) и воспитатель пансиона (1884-1904), уроженец Галиции, [стал] православным в 1851 году. По окончании, в качестве славянского стипендиата минист. нар. просв., курса наук в петербургском университете по историко-филологическому факультету и по выдержании испытания на звание учителя латинского и греческого яз. 5 апр. 1880 г. был назначен учителем древних яз. в К. I Г., в каковой должности оставался 24 года. Сверх занимаемой должности состоял 20 лет воспитателем пансиона при К. I Г. и 11 лет (1893-1904) заведывал фундаментальной библиотекой, на упорядочение которой положил много труда.

С 1 июля 1904 г. был перемещен на должность помощника инспектора студентов университета св. Владимира. Ныне состоит в должности и. об. директора сквирской городской гимназии.

Выпускник К. I Г. Н.П. Михайлов оставил достаточно объективные заметки о «вспыльчивом, но добром и милом Иване Александровиче!» (см. ниже).

Грудзинский Иван Григорьевич, надзиратель за приходящими учениками (1867-1879), сын священника, род. 8 марта 1834 г. в гродненской губернии. Учился в Вильне в литовской духовной семинарии, которую окончил в 1855 году. Поступив на гражданскую службу, был назначен в 1863 г. надзирателем за учениками полтавской гимназии. Состоя в этой должности, выдержал экзамен на звание учителя русского яз. в уездных училищах и 25 апреля 1867 г., согласно прошению, был определен учителем этого предмета в переяславское уездное училище. 20 ноября 1867 г., согласно прошению, был переведен на должность надзирателя за приходящими учениками К. I Г. Состоя в этой должности, исполнял временно обязанности воспитателя в пансионе (осенью 1871 г.), а также преподавал русский яз. в приготовительном классе этой гимназии. 15 мая 1879 г. был перемещен на должность помощника проректора Университета св. Владимира, а 27 июня 1884 г., за выслугою 25-летнего срока, уволен в отставку, в чине коллежского советника. В настоящее время служит в канцелярии Университета св. Владимира.

Дабижа Василий Дмитриевич, князь, инспектор 2-го благородного пансиона (1852-1857) и гимназии (1857-1860), из дворян херсонской губ., православный, род. ок. 1822 года. Учился в К. I Г., в которой окончил курс в 1841 году. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по юридическому факультету со званием действительного студента в декабре 1848 г. поступил на службу канцелярским чиновником в штат канцелярии херсонского гражданского губернатора, а через полгода, в 1849 г., перешел на службу в штат канцелярии киевского, подольского и волынского генерал-губернатора.

В 1851 г. был назначен чиновником особых поручений при попечителе киев. уч. окр. и в том же году избран действительным членом высочайше утвержденной при Университете св. Владимира комиссии для описания губерний киев. уч. округа. 31 мая 1852 г. назначен инспектором 2-го благородного пансиона при К. I Г.

В 1855 г. утвержден в звании редактора этнографического отделения комиссии для описания губерний киев. уч. округа, а в 1857 г. утвержден в звании ученого секретаря той же комиссии. В этом же году (6 сент.) было поручено ему исправление должности инспектора К. I Г., в каковой должности был утвержден 22 авг. 1858 г. и оставался до 1860 года.

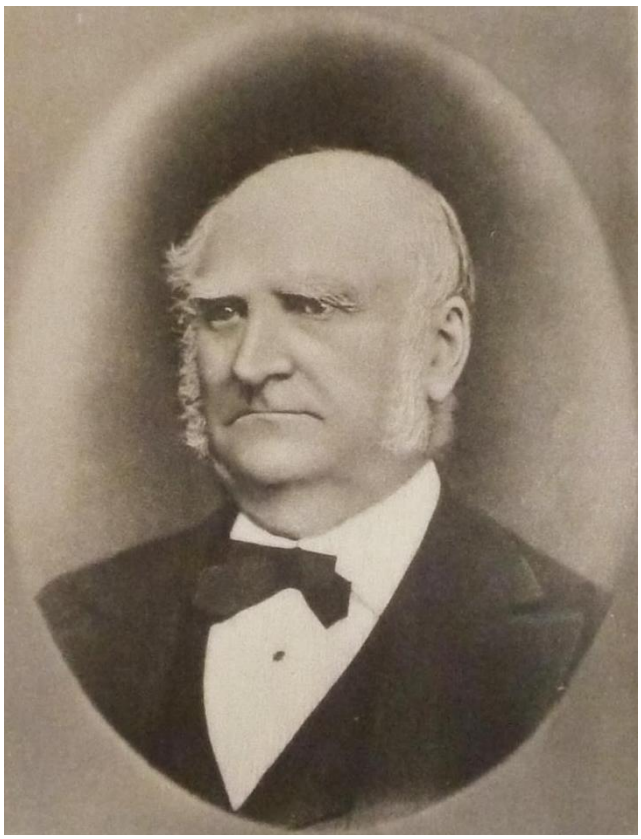
В 1858 г. произведен в тайные советники и пожалован в звание камер-юнкера двора Его Императорского Величества. Впоследствии В.Д. служил по ведомству императрицы Марии [Федоровны] и был тайным советником и камергером. Был женат с 27 сент. 1859 г. на Анастасии Александровне Горленко. Умер в 1908 году. Дабижа – молдавский княжеский род, восходящий до XVII в. и переселившийся в 1812 г. в Россию.

Девиен [(Девьен)] Виктор Петрович, учитель естественных наук (1852-1863), из дворян эстляндской губ., лютеранин, род. ок. 1829 года. По окончании курса наук в петербургском главном педагогическом институте был назначен с 17 авг. 1851 г. старшим учителем математики в черниговскую гимн., откуда через год был перемещен старшим учителем естественных наук в К. I Г. За ревностную и полезную службу в этой гимназии получил в 1857 г. благодарность от попечителя уч. округа. С 1 авг. 1860 г. был командирован с ученою целью за границу на полгода. В 1861 г. совет горыгорецкого земледельческого института избрал его своим членом-корреспондентом. Умер 1 февр. 1863 г., состоя на службе, в чине надворного советника.

<…> *Деллен (Дёллен) Александр Карлович (Людвигович)*, профессор Университета св. Владимира и директор К. I Г. (1857-1862), из иностранцев (с 1849 г. русский подданный), евангелик, род. 9 апр. 1814 г. в Митаве. До поступления в университет находился под непосредственным руководством своего отца, превосходного педагога, содержавшего частное училище в местечке Доблен, близ Митавы. По окончании курса в этом училище А.К. сделался в нем преподавателем в 1830 году.

В 1832 г. поступил в юрьевский [(дерптский)] университет, где спустя 4 года окончил курс наук по философскому факультету со ст. кандидата философии. В качестве кандидатской диссертации представил сочинение «De vita et scriptis Livii Andronici» [(«О жизни и трудах Ливия Андроника»)], за которое советом университета был награжден золотою медалью. Выдержав затем учительский экзамен, был определен с 1 авг. 1837 г. учителем в рижскую гимн. в чине 10-го класса. С 1 мая 1838 г. был утвержден в этой же гимн. старшим учителем с чином 9-го класса. В том же году получил степень магистра римской словесности, представив в качестве диссертации переработку своего кандидатского сочинения «De vita Livii Andronici dissertatio» (Dorpati Livonorum, 1838). На магистерском диспуте его присутствовал и принимал участие в качестве оппонента тогдашний министр нар. просв. граф С.С. Уваров.

Немедленно после того гр. Уваров предложил новому магистру место адъюнкта по греческой и римской словесности в Университете св. Владимира, и 29 сент. 1839 г. А.К. Деллен был утвержден в этой должности с чином коллежского асессора. В конце 1839-40 уч. года был удостоен благодарности от министра нар. просв. за отлично усердную службу, а 4 ноября 1840 г. утвержден в звании экстра-ординарного профессора по кафедре римской словесности и древностей. В 1850 г. был назначен и.д. ординарного профессора по той же кафедре. В 1856 г. за труд по составлению разбора сочинения С. Ешевского «Аполлинарий Сидоний», А.К. Деллен был удостоен Академией наук золотой медали, установленной для рецензентов. В 1857 г., уступая настояниям тогдашнего попечителя киев. уч. округа Ребиндера, А.К. согласился принять на себя должность директора К. I Г. и в течение пяти лет занимал эту должность, успевая совмещать многочисленные, связанные с нею обязанности с трудом преподавания по занимаемой им кафедре.



В 1860 г. советом Университета св. Владимира был избран руководителем педагогических курсов для занятий с кандидатами по латинскому языку. По истечении 25-ти лет службы по мин. нар. просв., в 1862 г., был оставлен на пятилетие, а в следующем, 1863 г., утвержден в звании заслуженного профессора. Степень доктора римской словесности А.К. получил в 1864 г., защитив в качестве диссертации свое, задолго до того напечатанное сочинение «Beiträge zur Kritik und Erklärung der Satiren des D. Junius Juvenalis» (Киев, 1846), и в том же году был утвержден ординарным профессором по занимаемой им кафедре.

В 1867 г., по выслуге 30-ти лет по учебному ведомству, вышел в отставку. Но отставка его длилась недолго; в том же году совет харьковского университета предложил ему занять место ординарного профессора по кафедре римской словесности. А.К. согласился на это предложение и, заняв в 1867 г. означенную кафедру в харьковском университете, оставался на ней в течение трех пятилетий, до самой смерти, последовавшей в 22 марта 1882 года. В течение своей службы в Университете св. Владимира А.К. Деллен удостоился знака отличия беспорочной службы за 20 лет в 1858 г. и за 40 лет в 1878 г. и ордена св. Станислава 2-й ст. с императорскою короною в 1862 году. <…>

Деллен Константин Александрович, учитель древних и новых яз. (1883-1904), сын А.К. Деллена, профессора Университета св. Владимира и директора К. I Г., лютеранин, род. в 1854 году. Учился в К. I Г. с 1863 по 1867 год. Окончил курс наук в харьковском университете по историко-филологическому факультету и в 1881 г. выдержал испытание на степень магистра сравнительного языкознания. В 1883 г. защитил представленную в историко-филологический факультет диссертацию под заглавием: «О так называемых casus absoluti в главных языках индо-европейского племени» (Харьков, 1881). В этом же году был определен на должность учителя древних языков в К. I Г., в каковой должности состоял 21 год. Кроме древних яз. преподавал также немецкий и французский. Как отличный знаток музыки и хороший пианист К.А. много содействовал развитию музыкального дела в К. I Г.

В 1887 г. был командирован за границу для изучения организации ремесленного образования в иностранных государствах. Составленный им «Отчет по командировке за границу для изучения вопроса о введении в учебные заведения обучения ручному труду» вышел в 1888 г. (как оттиск из циркуляров по киев. уч. округу №2). В 1904 г. К.А. перешел на службу в варшавский уч. окр., где занимал сначала должность инспектора варшавской 1-й прогимназии, а потом должность директора сувалкской гимн. (1905-1908). В 1908 г., по выслуге 25-ти лет, вышел в отставку, в чине статского советника, причем имеет все ордена, до ордена св. Владимира 4-й ст. включительно.

Был преподавателем у Р.Э. Классона.

Из воспоминаний Н.П. Михайлова (1894-1904): *Латинский язык с 1-го класса преподавал К.А. Деллен, жизнерадостный, веселый, музыкант. Учился я у него удивительно неравномерно: от «единицы» до «четверки». В 1-м классе он у нас преподавал и французский язык.*

Демаре [(Демарэ)] Петр Антоний Николаевич, комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1847-1856), французский гражданин, католик, род. ок. 1802 года. По выдержании в 1843 г. в К. 2-й гимн. установленного испытания получил свидетельство на право обучения в частных домах чтению и письму на французском яз. и началам арифметики. В службу вступил 27 ноября 1847 г. комнатным надзирателем в 1-й благородный пансион К. I Г. и в этой должности пробыл до 1856 года.

Выпускник К. I Г. А.И. Рубец оставил сочные воспоминания о надзирателях-французах Мессонье и Демарэ (см. ниже).

Должиков Владимир Платонович, учитель русской словесности и истории (1853-1864), из потомственных дворян полтавской губ., православный, род. в 1827 году. По окончании курса наук в Университете св. Владимира со званием действительного студента в службу вступил 20 окт. 1852 г. в белоцерковскую гимн. младшим учителем параллельных классов, с откомандированием для преподавания истории всеобщей и русской в К. 2-й Г.

В 1853 г. был удостоен степени кандидата по историко-филологическому факультету и с 30 сент. определен в К. I Г., сначала учителем русской словесности, а затем, с 1856 г., учителем истории. С 11 марта по 28 июня 1860 г. В.П. исправлял должность инспектора гимназии и благородного при ней пансиона. В 1861 г. был избран руководителем кандидатов-педагогов для практических занятий по истории, а с 1862 г. состоял библиотекарем неподвижной библиотеки при гимназии.

Директор А.К. Деллен, в 1858 г. представляя В.П. Должикова к награде, следующим образом охарактеризовал его педагогическую деятельность: «*Старший учитель Должиков занимается преподаванием русской и всеобщей истории с 1853 года. Неутомимость и примерное усердие в исполнении своих обязанностей с первого времени назначения поставили учителя Должикова в число лучших наставников гимназии.*

Его горячая любовь к своему предмету, вследствие которой он, не удовлетворясь гимназическим руководством, пополняет свое преподавание записками и другими источниками, придающими особенную занимательность его преподаванию, необходимо должна была иметь благотворное влияние и на учеников; в свою очередь, они полюбили занятия по русской и всеобщей истории.

Результат испытаний по этим предметам в настоящем 1857/8 году оказался самый удовлетворительный: изо всего числа учеников, подвергавшихся испытанию, более половины получили отметки отличные и хорошие. Кроме занятий по русской и всеобщей истории, составлявших 12 уроков в неделю, учитель Должиков взял на себя, со смертию старшего учителя Иноземцева, еще 12 уроков по русской словесности.

Невыгода продолжения чужого образования, начатого учителем Должиковым в половине курса, нисколько не остановила его деятельности. Ученики последних классов оказали так же замечательные успехи по русской словесности, более всего выказавшиеся в их сочинениях; в окончательном классе одному из учеников Должикова, за особенно отличные успехи по русскому языку и прекрасное сочинение педагогическим советом гимназии присуждена награда чином 14-го класса».

30 окт. 1864 г. В.П. Должиков определен инспектором в полтавскую губернскую гимн. и состоящий при ней благородный пансион; здесь, сверх обязанностей инспектора, преподавал историю в высших классах полтавского института благородных девиц, с 20 нояб. 1864 г. по 10 авг. 1866 г., и несколько раз временно исправлял должность директора училищ полтавской губернии. В 1866 г., согласно желанию, был перемещен на таковую же должность инспектора в немировскую гимн., а в 1867 г. назначен председателем немировской еврейской учебной комиссии. С 1871 по 1882 г. В.П. был директором каменец-подольской гимназии и состоявших при ней землемеро-таксаторских классов; 6 сент. 1872 г. также начальником каменец-подольской Мариинской женской гимназии. 30 сент. 1882 г. был перемещен на должность директора немировской гимн. и через год уволен, за выслугою срока, от службы. В.П. окончил 30-летнюю свою службу в чине действительного статского советника, имея все ордена, до ордена св. Владимира 3 ст. включительно.

Был женат на дочери помещика золотоношского уезда полтавской губ. Еве Николаевне Максимович.

Как следует из воспоминаний «ханжи» Н.Д. Богатинова, ему как-то пришлось заночевать в гимназии, после ученического вечера по случаю Рождества Христова, у живших там по должности холостых преподавателей и воспитателей Ф.Ф. Петрушевского и В.П. Должикова. Первый, без вечерней молитвы, быстро улегся и стал есть в постели принесенный с вечера апельсин, а второй сбросил дневную рубаху и переоделся в ночную прямо перед посторонним человеком, т.е. перед Николаем Дмитриевичем (хотя это можно было сделать и в соседней комнате)!

Дубницкий Георгий Калинич, учитель русского и церковно-славянского яз. (1848-1856), из дворян черниговской губ. (в кролевецком уезде владел 82-мя крепостными и 767-ю дес. земли), православный, род. в 1826 году. По окончании курса наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата вступил в службу 1 авг. 1846 г. младшим учителем в параллельные классы К. 2-й Г. В 1848 г. был перемещен на такую же должность в К. I Г., где в 1849 г. был определен старшим учителем русского и славянского яз. и в 1855 г. произведен за выслугу лет в коллеж. асессоры. В 1856 г. был уволен в отпуск на вакационное время, по причине болезни; не явившись в срок, представил в удостоверение своей болезни медицинское свидетельство и вслед затем подал просьбу об увольнении от службы.

Дьяченко Андрей Никитич, учитель математики (1866-1873), из дворян, православный, род. 21 марта 1845 года. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по физико-математическому факультету со ст. кандидата поступил в 1865 г. на педагогические курсы при том же университете и с 5 авг. 1866 г. был определен учителем низшего оклада в К. I Г. В должности учителя К. I Г. пробыл 7 лет, причем в течение 1866, 1868 и 1872-1873 гг. исполнял обязанности секретаря педагогического совета, а с 1 сент. 1869 г. преподавал математику в Фундуклеевской женской гимназии. 7 июля 1873 г., согласно прошению, перемещен учителем в киевское реальное училище и 31 авг. того же года определен и. об. инспектора этого училища. В 1881 г. назначен директором роменского реального училища, откуда в 1903 г. был перемещен на такую же должность в ровенское реальное училище. В 1906 г. уволен, за выслугою срока, от службы, на которой состоял 40 лет.

А.Н. окончил службу в чине действительного статского советника, имея все ордена, до ордена св. Станислава 1-й степени включительно.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Жалковский Георгий Васильевич, помощник классных наставников и учитель гимнастики (1882-1887), уроженец Буковины, австрийский подданный, принявший присягу на русское подданство в 1888 г., сын священника, православный, родился 12 марта 1861 г. Осенью 1882 г., после окончания военной службы в одном из стрелковых батальонов австрийской армии, приехал в Киев, где занял должность помощника классных наставников и учителя гимнастики в К. I Г. <…> В 1905 г. был награжден орденом св. Станислава 2-й степени. Умер 9 января 1908 г. в чине статского советника.

Желинский [(Жилинский)] Гилярий Никодимович*, комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1844-1871), из дворян киевской губ., православный, род. 12 мая 1808 года. Учился в каневском уездн. дворян. училище.

Сохранившийся в архиве К. I Г. «аттестат» гласит следующее: «*Предъявитель сего, дворянин киевской губ. богуславского уезда, Гиларий Никодемов сын Желинский, имеющий от роду лет 24, обучался в каневском уездном училище с 1-го до 6-го классов, которые совершенно окончил с следующими успехами: в Законе Божием – превосходный, геометрии – превосходный, тригонометрии – превосходный, ботанике – превосходный, физике – превосходный, химии – превосходный, физико-математической географии – превосходный, алгебре – превосходный, аналитической геометрии – превосходный, науке гражданского права – превосходный, всеобщей и римской истории – превосходный, красноречии – превосходный, поэзии – превосходный, в языках: российском, польском, латинском, немецком – превосходный, французском – хорош.*

Поведение его было всегда похвальное, и для того он – Г. Желинский преподавал немецкий язык в 1-м и 2-м классах один год, русский язык в 1-м и 2-м классах один год, и был при оном училище домашним надзирателем лет 6. В удостоверение сего ему – Г. Желинскому сей одобрительный аттестат за подписом начальника училища и приложением казенной печати дан. В г. Каневе 1832 г. ноября 12 дня».

В службу вступил Г.Н. 10 янв. 1844 г. и.д. комнатного надзирателя 1-го благородного пансиона при К. I Г. В этой должности был утвержден в 1848 г. и в том же году произведен в коллежские секретари (получал 228 руб. 57 коп. жалованья и 57 руб. квартирных в год). В 1859 г. был определен старшим комнатным надзирателем благородного пансиона (с жалов. 428 руб. 57 коп.), а в 1869 г., за выслугою 25-летнего срока, оставлен на службе еще на два года. Сверх должности надзирателя состоял (с 2 апр. 1863 г.) учителем арифметики в училище графини Левашовой.

Выпускнику К. I Г. А.И. Рубцу на всю жизнь запомнился сей поляк – самый ненавистный из надзирателей пансиона, иезуитоподобный, всех оскорблявший и с презрением относившийся к русским (см. ниже).

---

* Был еще один надзиратель Желинский – Михаил Никодимович, по-видимому, младший брат Гилярия, служил комнатным надзирателем во 2-м благородном пансионе (1841-1849) и преподавал математику (1848-1849), но он умер в 1849-м и посему уже не мог «бить связкой ключей по затылку» гимназиста К. I Г. А.И. Рубца, учившегося в 1853-1858 годах, и других.

Зевеке Готфрид-Богдан Иванович, врач благородного пансиона (1850-1868), уроженец лифляндской губ., из купцов, евангелик, род в 1800 году. В звании лекаря, признанного петербургскою медико-хирургическою академией, был принят в 1821 г. в медицинскую службу и определен в армию; от этой службы был уволен в 1824 году. С 1832 по 1841 г. состоял врачем при нежинской гимн. высших наук и при лицее князя Безбородко.

22 июня 1843 г., согласно прошению, был определен к исправлению должности доктора при киев. институте благородных девиц и, сверх этой должности, 28 февр. 1850 г. назначен врачем 1-го благородного пансиона при К. I Г.

В течение своей службы в киев. учеб. заведениях был награжден орденами св. Анны 3-й ст. (в 1847 г.), св. Станислава 2-й ст. (в 1866 г.) и за 35-летнюю беспорочную службу (в 1867 г.) орденом св. Владимира 4-й степени. В 1868 г. произведен в статские советники.

Директор А.К Деллен, представляя его в 1858 г. к высочайшей награде, так охарактеризовал его докторскую деятельность: «*Надворный советник Богдан Зевеке состоит медиком при больнице К. I Г. в течение восьми лет. Неустанная деятельность в исполнении обязанностей медика, усердное внимание к больным и отеческое о них попечение делают службу его полезною и необходимою. Замечательная его диагностика, соединенная с благоразумною осторожностью, почти всегда предупреждала развитие острых болезней в больнице гимназии.*

В последние два года он с видимым успехом употребляет гомеопатическое лечение; результаты этого лечения, при восприимчивости детского организма, оказались в высшей степени благоприятными; все бывшие случаи, как эпидемических, так и спорадических болезней, имели самый благоприятный и вместе скорый исход».

Выпускник К. I Г. А.И. Рубец весьма комплиментарно отзывался о «добром Зевеке» (см. ниже).

Златоверховников Михаил Данилович, митрофорный протоиерей, магистр богословия, законоучитель и настоятель гимназической церкви (1878-1908), сын священника, род. 14 сентября 1842 г. Образование получил в тульской духовной семинарии, а затем в киевской духовной академии, курс которой окончил в 1869 г. Службу начал в черниговской мужской гимн., куда в светском звании определен был 5 августа 1869 г. и.д. законоучителя, а с 22 февраля 1870 г., дня рукоположения в сан священника, утвержден законоучителем в коренных классах черниговской гимназии. С 26 октября 1870 г., сверх занимаемой должности, состоял в Чернигове законоучителем женской гимн., а в 1876/77 учебном г., кроме того, преподавал в старших классах гимн. словесность и логику.

15 июля 1878 г. был переведен в К. I Г. законоучителем параллельных, а с 1 августа 1885 г. основных классов, состоя во все время службы в К. I Г. настоятелем гимназической церкви. Сверх занимаемых должностей был законоучителем министерской женской гимназии [(8-ми классной)] до 1 августа 1883 г. и К. 3 Г. с 1883 по октябрь 1895 г.

С 1890 по 1896 г. состоял членом киевского духовного цензурного комитета, а с 1890 по 2 декабря 1908 г. членом-экзаменатором по Закону Божию в испытательном комитете при киевском уч. округе. 1 ноября 1908 г. оставил службу при К. I Г. вследствие назначения его кафедральным протоиереем Киево-Софийского собора.

Тридцатилетняя служба отца М.Д. Златоверховникова в К. I Г. сопровождалась многочисленными одобрениями и благодарностями со стороны учебного начальства и отличена высшими иерейскими наградами, орденами до св. Анны I ст. включительно и утверждением в потомственном дворянском достоинстве. За 100-летний период существования гимназии, отец М.Д. Златоверховников представляет первый пример такого продолжительного служения в должности законоучителя гимназии.

Он имел редкое для законоучителя утешение провести чрез все классы гимназии два последовательно сменявшихся поколения: отцов и их сыновей. Выдающийся пасторский такт и внимательная любовь к детям – учащимся открыли путь для его пастырского влияния из школы в семью и снискали ему среди киевлян широкую известность образцового учителя и опытного духовника. <…>

К. Паустовский в «Книге жизни» оставил весьма нелицеприятную характеристику Златоверховникова – дряхлого, шепелявого и глухого (см. ниже).

Иванов Андрей Акимович, учитель латинского яз. (1862-1865 и 1868-1871), уроженец таврической губ., из купцов, православный, род. в 1840 году. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету со ст. кандидата был определен в авг. 1862 г. на киев. педагогические курсы и прикомандирован для занятий в К. I Г., а с 22 дек. того же года, за выбытием учителя латинского яз. И.Я. Ростовцева, допущен к самостоятельному преподаванию этого предмета в той же гимназии. Сверх того, 3 мая 1863 г. был допущен к исправлению должности комнатного надзирателя благородного пансиона при К. I Г., от каковой должности был уволен, согласно прошению, 14 янв. 1864 года.

В следующем году, с 1 марта, был командирован с ученою степенью на два года за границу, с производством ему содержания по 1600 руб. в год, в каковой командировке пробыл по 1 сент. 1867 года. 24 марта 1868 г. был определен учителем латинского яз. в К. I Г. на место выбывшего учителя Августа Адольфовича Гофмана. Здесь прослужил до 16 авг. 1871 г., когда, согласно прошению, был уволен от занимаемой должности.

В докладной записке, поданной директору К. I Г. 3 сент. 1870 г., А.А. горько жалуется, что *“с самого вступления своего в должность при здешней гимназии встретил решительное противодействие своим усилиям к возвышению или, лучше сказать, к созданию в ней классического образования», и просит директора, в случае если не будут сделаны предлагаемые им изменения в распределении уроков латинского яз. между ним и учителем Кизимовским, ходатайствовать о совершенном увольнении его от должности учителя «в той гимназии, которая так несочувственно относится к классическому образованию»”*.

По уходе из К. I Г. А.А. продолжал жить в Киеве, занимаясь частными уроками и любимыми филологическими науками. Собрав вокруг себя молодых филологов, образовал частный «филологический кружок» («circulus philologicus»), члены которого обязаны были на заседаниях кружка вести беседы и читать рефераты на латинском языке. Благодаря таким стеснительным условиям, а также строгой требовательности председателя кружка, «circulus philologicus» в скором времени распался. <…>

Научно-литературные труды А.А. Иванова следующие:

<…> 5) Мелкие статьи (оттиски из газет), напр.: «Краткие замечания на рецензию г. Петра (1880); «О книге В.И. Петра по славяноведению» (1885); «Об языке газеты «Слово» (1881) и др.; в особенности замечательны статьи: «О саксонских гимназиях» («Журнал Мин. Нар. Просв.», 1866 г., №11 и следующие); «О нашем классическом образовании» («Русский Вестник», 1871 г., №4); и три статьи «По поводу хохломании» (I. О национальном языке. II. Объединение народов и борьба языков. III. Столица Руси и гнездо раскола) в «Киевлянине» за 1881 г. (№№ 54, 60 и 66).

По поводу этих последних статей сам автор говорит следующее: “*Издавна, со времени студенчества своего и первых дней зарождения или возрождения хохломании (в 1858 г.), возмущаясь этою позорнейшею для России (как симптомом ее глубокой внутренней немочи), нравственно-преступнейшею и бессмысленнейшею, невозможною ни в какой другой стране, попыткою посягнуть не только на внешнюю форму народной жизни, т.е. на государство, но и на содержание, т.е. на целость и единство народа, и давно напечатавши против сего уродства немало статей и заметок («О мало-русском литер. языке и об обучении на нем», в «Русском Вестнике», 1863 г., №5, далее в 1863 и 1864 гг. под разными заглавиями в «Соврем. Летоп.», «Моск Ведом.» и «Киев. Телегр.», я после долгого перерыва решился было в феврале сего [1881] года, когда это «чудище обло, озорно, стозевно и лаяй», возомнив на своей улице праздник, чуть не бесновалось, выступить против него в «решительный и упорный бой» с длинным рядом еженедельных статей, намереваясь следить за ним шаг за шагом, «доколе будет надобность и возможность». Но ограничился всего тремя вступительными статьями в «Киевлянине», главнейше потому, что третья из них, вопреки главному моему условию – «целости и невредимости», оказалась изуродованною… Кроме того, прошла и охота писать, так как в это время возмутительная агитация вынуждена была стихнуть. Но «чудище» вновь подымает свою голову. Если оно оправится, то я имею в виду обстоятельно ополчиться против него с новою работою, в которую войдут и элементы из всех прежних моих сочинений. В особенности нужно будет разъяснить всю зловредность «невинного» замысла ввести мало-русское наречие в школы (хотя бы только сельские)*”.

О фанатике своего дела – А.А. Иванове оставил воспоминания выпускник К. I Г. Г.Е. Червинский (см. ниже).

Иванов Варсонофий Николаевич, учитель математики (с 1903 г.) и воспитатель пансиона (с 1906 г.), православный, род. 28 окт. 1859 г. в Курске, где и получил среднее образование. По окончании Университета св. Владимира со степенью кандидата математических наук был назначен и.д. учителя математики и физики в златопольскую гимназию без прав [государственной] службы, по найму, а затем, 1 апр. 1888 г., по выдержании учительского экзамена, был утвержден в занимаемой должности. Состоя учителем математики и физики в златопольской гимн., преподавал в течение 5-ти лет естествоведение в женской прогимн., заведывал физическим кабинетом, метеорологической станцией и библиотекой (в течение 6-ти лет) – фундаментальной и ученической; кроме того, руководил устройством литературно-музыкальных вечеров при мужской гимн., состоял воспитателем пансиона и членом хозяйственного комитета (в течение 7-ми лет). В качестве члена хозяйственного комитета принимал деятельное участие в наблюдении за постройкой нового здания гимн. и в составлении сметных статей на различного рода ремонтные работы.

20 марта 1898 г. был перемещен в уманскую гимн., а оттуда, согласно прошению, в лубенскую гимназию. Будучи учителем мужской гимн. в Лубнах преподавал математику и физику и в местной женской Александровской гимн., а также в течение трех лет состоял членом хозяйственного комитета, исполнял обязанности воспитателя пансиона и заведывал учительской ссудо-сберегательной кассой. С 1 июля 1903 г. перемещен учителем математики в К. I Г., где с первого же года службы состоял руководителем занятий по математическим предметам в пансионе, а затем – воспитателем пансиона (с 1906 г.) и казначеем общества вспомоществования недостаточным ученикам К. I Г. Кроме того, преподавал разновременно математику, физику и методику в женских гимназиях, в гимн. Бейтель, в Екатерининской гимн. (в течение всех лет службы) и в гимн. св. кн. Ольги.

За время службы в разных гимназиях киев. уч. окр. В.Н. было произнесено несколько актовых речей («Образовательное значение математических предметов», «Элементы образования и воспитания», «Задачи средней школы», «Пирогов как педагог-гуманист»), был прочитан в обществе естествоиспытателей доклад о беспроволочном телеграфировании и на ту же тему была прочитана популярная лекция для учеников старших классов киевских гимназий, в последнее же время издан им «Систематический сборник стереометрических задач, решаемых при помощи тригонометрии». В 1910 г., летом, В.Н. принимал участие в ученической экскурсии на балканский полуостров, организованной учебным округом, впечатления от которой были им изложены затем в нескольких статьях, помещенных в «Киевлянине». В.Н. состоит в чине статского советника и имеет орден св. Анны 2-й степени.

Иващенко Петр Семенович, учитель русского языка и словесности (1872-1897), сын казака, православный, родился в 1846 г. в гадячском уезде полтавской губернии. Обучался в полтавской гимназии, в которой окончил курс с серебряной медалью.

Затем поступил в Университет св. Владимира, где в 1872 г. окончил курс наук на историко-филологическом факультете по славяно-русскому отделению, с правом получить степень кандидата, и, по представлении диссертации, с 1 августа этого года был определен учителем русского и латинского языков в параллельные классы К. I Г.

В феврале 1873 г. утвержден в степени кандидата историко-филологического факультета и 16 июня того же года – и.д. профессора лицея князя Безбородко по кафедре русской словесности. Здесь читал лекции в течение одного года; осенью 1874 г. вследствие преобразования лицея в институт, перешел обратно в К. I Г. учителем русского языка и словесности и с 15 марта 1877 г. был определен воспитателем пансиона при той же гимназии. В этих обеих должностях прослужил до 1897 года.

В течение 25-летней службы в К. I Г. П.С. неоднократно преподавал в младших классах гимназии, совместно с русским языком также и латинский. С 1 октября 1880 г. по 1 августа 1884 г. преподавал русский язык и словесность в киевском институте благородных девиц, а в 1893/94 и 1894/95 [учебных] гг. русскую словесность в коллегии П. Галагана.

Кроме того, с 20 ноября 1887 г. был членом состоящего при управлении киевского учебного окружного испытательного комитета по русскому языку. В 1896 г. пожалован орденом св. Анны 2-й степени. Умер 13 июня 1897 г. в чине статского советника. <…>

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Элегические воспоминания о П.С. Иващенке, см. выше – Л. Медведев. «В гимназии».

Извеков Дмитрий Петрович, учитель математики и физики (1874-1908), из дворян, православный, род. в 1849 г. в Орле. По окончании в 1874 г. курса наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата математических наук был определен (12 сент. 1874 г.) и.д. учителя математики в ростовское (на Дону) реальное училище и женскую гимназию. 14 окт. того же года переведен учителем математики в К. I Г. и в то же время назначен воспитателем пансиона этой гимназии. Через год, по уходе И.Г. Радкевича, было возложено на Д.П. также преподавание физики, после чего он оставил должность воспитателя.

Д.П. состоял учителем К. I Г. 34 года. 20 авг. 1908 г. был уволен от должности, согласно прошению, и в то же время назначен председателем педагогического совета частной женской гимн. В.А. Жеребцовой, в каковой должности пробыл по июнь 1909 г., когда вышел в отставку по болезни. В бытность свою учителем К. I Г. Д.П. состоял членом физико-математического общества, комиссии народных чтений и киев. общества грамотности со дня его открытия в 1882 году. В качестве члена совета и казначея последнего общества Д.П. принимал самое деятельное участие в постройке и оборудовании «Народного дома» на троицкой площади.

В конце 1903 г., вследствие принципиальных разногласий с членами совета общества, Д.П. выбыл из состава членов совета, оставаясь, однако, почетным членом этого общества. Наконец, нельзя не отметить полезной деятельности Д.П. как члена и незаменимого кассира (1894-1908) ссудо-сберегательной кассы служащих при К. I Г.

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Выпускник К. I Г. д-р М.Е. Шмигельский с глубоким уважением вспоминал «доброго идеалиста» Д.П. Извекова (см. ниже).

Ильин Димитрий Тимофеевич, учитель древних языков (1878-1880), из духовного звания, родился в 1849 г. в Вязьме. По окончании курса учения в смоленской духовной семинарии (1865-1870), поступил в число штатных воспитанников петербургского историко-филологического института, где выслушал полный курс наук и в 1874 г. получил звание учителя гимназии.

В том же году был назначен учителем древних языков в феодосийскую прогимн., откуда 14 августа 1876 г. перемещен на ту же должность в киевскую прогимназию. 19 августа 1878 г. определен учителем древних языков в К. I Г., где, сверх учительской должности, допущен был в ноябре того же года также к исправлению должности воспитателя пансиона. Учителем прослужил в К. I Г. до 7 марта 1880 г. Впоследствии был директором златопольской гимн., в каковой должности и умер 21 июня 1887 г., в чине статского советника.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Ильяшенко Степан Константинович, учитель математики и воспитатель пансиона (1876-1894), из дворян полтавской губ., православный, родился 23 февраля 1849 г. в селе Панфилах переяславского уезда. По окончании в 1874 г. курса математических наук в Университете св. Владимира с званием действительного студента, преподавал математику в ростовском (на Дону) Петровском реальном училище и Екатерининской женской гимназии. 7 августа 1876 г. был перемещен учителем математики в К. I Г. и, сверх этой должности, назначен воспитателем пансиона. В К. I Г. прослужил 18 лет, до 1 июля 1894 г., когда был определен помощником инспектора студентов Университета св. Владимира. Впоследствии сделался инспектором студентов и был пожалован чином действительного статского советника. В 1905 г. вышел в отставку. Умер 8 декабря 1907 г. в Киеве.

Выпускник К. I Г. В.Н. Терлецкий зафиксировал немало живых подробностей о «грозном воспитателе» С.К. Ильяшенко (см. ниже)

<…> *Иноземцев Андрей Петрович*, учитель словесности и истории (1849-1858), из купцов, православный, род. в 1824 году. Первоначальное образование получил в лубенском уезд. училище, где учился с 1832 по 1836 год. Поступил на службу в 1841 г. учителем обуховского приход. училища, но в 1845 г. был уволен и по экзамену принят в число студентов Университета св. Владимира. По окончании историко-филологического факультета со ст. кандидата в 1849 г. был определен младшим учителем в параллельные классы К. I Г. и, сверх того, учителем русского языка в киевский институт благородных девиц; в последней должности состоял до октября 1852 года. В 1851 г. был назначен старшим учителем словесности, а в 1853 г. перемещен на должность старшего учителя истории в той же К. I Г. В последней должности оставался до 1856 г., когда снова был перемещен на должность учителя словесности.

29 июля 1857 г. попечитель уч. окр., обратив внимание на особенное усердие и заботливость, с какими А.П. преподавал свой предмет ученикам К. I Г., оказавшим по сему предмету значительные успехи, объявил ему за ревностную и полезную службу свою искреннюю благодарность. Умер в 1858 году.

Выпускник К. I Г. В.Г. Авсеенко очень высоко отзывался о А.П. Иноземцеве (см. ниже).

Иензен [(через I)] Иван Фридрих Осипович, надзиратель и смотритель здания К. I Г. (1845-1875), уроженец курляндской губ., из мещан, лютеранин, род. в 1812 году. Учился в митавской гимназии. В 1845 г., по выдержании испытания в смоленской губернской гимн. на звание домашнего учителя немецкого яз., поступил на службу (31 июля) и.д. учителя этого предмета в киево-печерское уездное дворянское училище. Сверх этой должности, с 21 авг. того же года был определен комнатным надзирателем в 1-й благородный пансион при К. I Г., где получал жалованья 228 руб. 57 коп. и квартирных 57 руб. в год. 3 авг. 1849 г. перемещен младшим учителем немецкого яз. в К. 2-ю Г.

В должности надзирателя пробыл до 1860 г., когда, согласно прошению, был уволен от должности по болезни и определен смотрителем здания К. I Г. В 1861 г. исполнял должность надзирателя за приходящими учениками. С 1870 г. снова был определен смотрителем здания, от каковой должности уволен 23 сент. 1874 г. и назначен помощником классных наставников.

Выпускник К. I Г. Г.Е. Червинский оставил живописные подробности о немце-воспитателе Иензене (см. ниже).

Иеропес [(через I)] Панаиот Христофорович (Павел Николаевич), учитель греческого яз. (1822-1835), из иностранцев, православный, род. ок. 1796 г. в Малой Азии. Обучался в гимназии высших наук в Смирне «елино-греческому» языку, философии, физике, математике, химии и истории.

По прибытии в Россию, в 1818 г., был определен учителем греческого яз. в таганрогскую коммерческую гимназию, откуда 19 июля 1822 г. был перемещен на такую же должность в Киевскую гимназию, где прослужил ок. 14 лет. В 1825 г. произведен в титулярные советники, а в 1834 г., за ревностное исполнение обязанностей по службе, была изъявлена ему от попечителя уч. окр. признательность. В 1836 г. назначен инспектором в волынскую гимн., откуда через три года перемещен тем же званием в К. 2-ю Г., а затем, 13 авг. 1843 г., назначен и.д. инспектора князя Безбородко и нежинской гимназии. Последнюю должность исправлял до 24 марта 1849 г., когда, согласно прошению, был уволен в отставку.

Из воспоминаний М. Чалого «Вторая Киевская гимназия»:

В тридцатых и сороковых годах в Киевском учебном округе просвещали русское юношество два брата грекосы, выходцы из турецкой провинции, воспитанники Смирнской семинарии – Павел и Николай Христофоровичи Иеропесы.

Старший из них, Павел, был некоторое время инспектором 2-й гимназии, потом – лицея князя Безбородка, а младший – Николай Христофорович был сперва младшим профессором в гимназии высших наук в Нежине, а потом – учителем греческого языка во 2-й киевской гимназии. Этот Николай Христофорович любил часто вспоминать, как они с братом учились в Смирнском университете: «Оба мы хорошо учились и кончили заведение – брат Павел кандидатом, а я – действительным студентом, потому что у меня по чистописанию не вышли кандидатские баллы». На уроках Николай Христофорович иногда пускался в филологические тонкости. Однажды он стал превозносить богатство русского языка в сравнении с греческим: «По-гречески слово γίγνω – значит родить; для всех людей и животных существует одно это слово: и человек – родил, и собака – родил, и корова – родил, и свиня – родил, а по-русски говорят: собака – окотенился, корова – опоросился, свиня – отелился, очень, очень богаты русский язык».

Иогансон [(через I)] Оскар Федорович, учитель немецкого яз. (с 1893 г.), лютеранин, род. 2 сент. 1858 г. в Риге. Среднее образование получил в рижской губернской классич. гимназии. В 1882 г. получил звание учителя немецкого яз. в гимназиях и был определен учителем этого предмета в суражскую прогимназию, откуда в том же году перемещен на такую же должность в новозыбковское реальное училище. С 1883 по 1889 г. состоял учителем немецкого яз. в новгород-северской мужской гимн., а с 1889 по 1893 г. – в полтавском реальном училище, откуда 1 ноября 1893 г. перемещен в К. I Г. Имеет чин статского советника и орден св. Станислава 2-й степени. Во время своей службы в К. I Г. состоял членом испытательного комитета при управлении киев. уч. окр. по немецкому яз. с 1899 по 1908 год.

Перу О.Ф. Иогансона принадлежит трехактный драматический этюд «Обида», появившийся в печати в 1901 г. и одобренный (в 1902 г.) московским литературным комитетом к постановке на сценах императорских театров. Кроме того, он написал несколько романсов, которые исполнялись в концертах в Киеве, Петербурге и за границею.

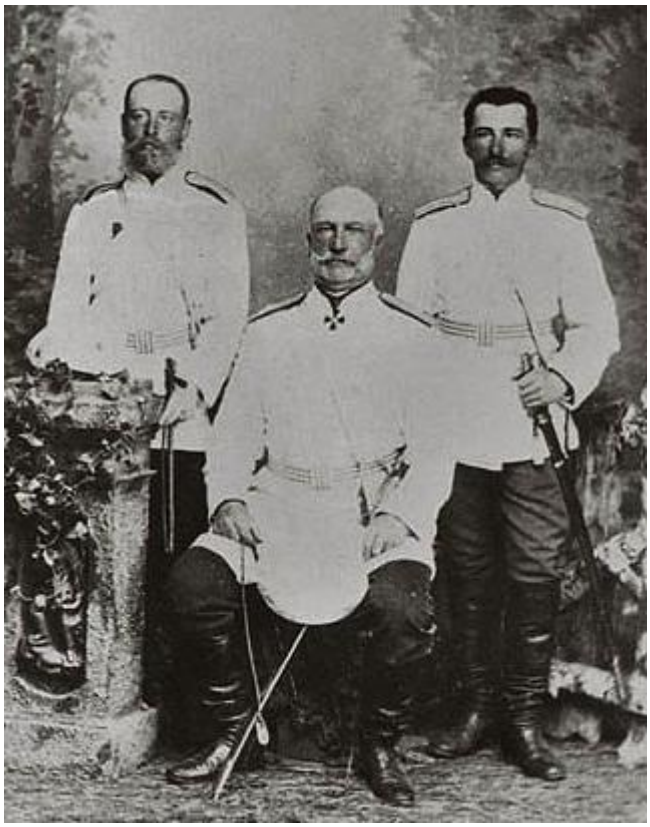
К. Паустовский в «Книге жизни» весьма живописно изобразил сего немца – любителя музыки (см. ниже).

Каменский Василий Петрович, протоиерей, законоучитель (1849-1871) и настоятель гимназической церкви (1847-1867), уроженец тамбовской губ., сын священника, род. в 1810 году. По окончании курса тамбовской духовной семинарии (в 1832 г.) и московской духовной академии (в 1836 г.) был определен 20 авг. 1836 г. учителем математики и французского яз. в киев. духовную семинарию, где состоял на службе до июля 1850 г., исполняя разновременно, сверх преподавательской должности, обязанности секретаря семинарского правления и эконома семинарии.

5 сент. 1847 г. преосв. Филаретом, митрополитом киевским, рукоположен во священника к церкви К. I Г., а 27 апр. 1849 г. определен и законоучителем в К. I Г. 22 июля 1850 г. назначен штатным священником к Киево-Софийскому собору, оставаясь в то же время на службе в гимназии, настоятелем церкви – до 30 окт. 1867 г., а законоучителем – до 20 авг. 1871 г., когда по прошению был уволен от этой должности, с назначением пенсии за 35 лет училищной службы.

Дальнейшая служба отца В.П. Каменского до смерти его, последовавшей 12 окт. 1879 г., была при Софийском соборе, в сане протоиерея и ключаря собора, где он, сверх занимаемой должности, исполнял разные поручения епархиального начальства: был членом и казначеем епархиального попечительства о бедных духовного звания, законоучителем в училище для девиц духовного ведомства, членом совета, членом строительного комитета и временным распорядителем по этому училищу, наконец, с 1868 г., благочинным печерских, старо-киевских и новостроенских церквей. Кроме иерейских наград имел орден св. Владимира 3-й ст. и потомственное дворянское звание, в котором утвержден 10 мая 1876 года.

Келлер Эдуард Федорович, граф, комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1844-1845) и инспектор 3-го благор. пансиона (1846-1850), из дворян витебской губ. (в люцинском уезде имел 800 душ крестьян и в калужской губ. – 600 душ), лютеранин, род. около 1818 года.



Граф Э.Ф. Келлер с сыновьями Алексеем и Федором

По увольнении из петербургского университета, до окончания в нем полного курса наук, поступил на службу 25 ноября 1842 г. в канцелярию киев. гражд. губернатора. 9 февр. 1844 г. был определен комнатным надзирателем в 1-й благородный пансион при К. I Г. От этой должности был уволен 28 янв. 1845 г. и 12 мая того же года назначен штатным смотрителем киево-печерского уездн. дворян. училища. 14 сент. 1846 г. был допущен к исправлению должности инспектора 3-го благородного пансиона и 12 окт. того же года утвержден в этой же должности. Жалованья получал 500 руб. в год.

1 марта 1850 г. был пожалован в звание камер-юнкера двора Его Императорского Величества. В этом же году был произведен в надворные советники и перемещен на службу в петербургскую таможню.

В 1853 году переведен в Министерство внутренних дел и назначен Волынским вице-губернатором. В 1858 году пожалован камергером и в том же году назначен Минским гражданским губернатором. Дослужился до чина тайного советника. В 1863 году был назначен сенатором. В 1864 году определен сначала в межевой департамент Сената, потом в 1-е отделение 3-го департамента. В 1865 году перемещен во 2-е отделение 3-го департамента, а в 1880 году — во 2-е общее собрание Сената. – ***Из Интернета***

Кемриц Иван Федорович, учитель французского языка К. 3 Г. и коллегии П. Галагана, был допущен с 16 августа 1883 г. к преподаванию французского языка в К. I Г., в низших параллельных классах и в старших классах совместно для учеников, обучавшихся обоим древним языкам. В этой должности состоял до 1886 г.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Кизимовский Петр Васильевич, учитель латинского яз. (1865-1872), сын священника, род. в 1834 г. в Чернигове. По окончании в 1857 г. курса наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата по историко-филологическому факультету был определен младшим учителем латинского яз. в черниговскую гимназию. В 1860 г. сделался старшим учителем того же предмета. С 15 июня 1860 г. по 20 янв. 1862 г., по поручению педагогического совета, содержал книжный магазин при гимназии.

12 февр. 1865 г. был перемещен старшим учителем латинского языка в К. I Г. и в том же году избран секретарем педагогического совета. Сверх этой должности состоял учителем в институте благородных девиц и в Фундуклеевской женской гимназии.

За отлично усердную службу в этих трех учебных заведениях не раз удостоивался наград и подарков. С 7 янв. 1872 г. был перемещен учителем латинск. яз. и исполняющим обязанности инспектора в новгород-северскую гимн., а 17 авг. 1874 г. определен директором в немировскую гимн., откуда 30 сент. 1882 г. перемещен на ту же должность в черниговскую гимназию. Состоя на службе, умер 15 февр. 1895 г., в чине действительного статского советника. Имел орден св. Станислава 1-й степени.

Клячин Василий Петрович, учитель истории (с 1909 г.), православный, сын купца, род в г. Кременчуге, полтавской губ., в апр. 1858 года. В 1872 г. поступил в полтавскую гимн., которую и окончил в 1878 г. с серебряной медалью. В этом же году поступил в медико-хирургическую академию, откуда, не подвергаясь переводным экзаменам, перевелся в Университет св. Владимира на медицинский факультет, а затем на историко-филологический факультет того же университета, который и окончил со званием кандидата в 1884 г. При переходе с 3-го курса на 4-й за сочинение, предложенное факультетом на тему: «Политические собрания кальвинистов во Франции в XVI в.», удостоен был золотой медали.

По окончании университета В.П. поступил на службу в библиотеку Университета св. Владимира помощником библиотекаря. Вскоре затем, после выдержанного устного экзамена на степень магистра всеобщей истории, В.П. получил приглашение от историко-филологического факультета одесского университета занять освободившуюся там кафедру всеобщей истории (после ухода проф. Трачевского), для чего предварительно им были прочитаны в Университете св. Владимира две пробные лекции.

Но назначение в одесский университет не состоялось, в виду кандидатуры на ту же вакантную кафедру проф. харьковского университета Надлера, который и был утвержден на этой кафедре министром нар. просв. Тогда В.П. начал курс лекций по новой истории в киевском университете в качестве приват-доцента, причем читал историю Франции в XVIII в. и историю реформации в Германии, готовясь в то же время к магистерской диссертации. В 1894 г. был назначен учителем истории в коллегию П. Галагана, а в 1895 г. и воспитателем коллегии.

В виду последнего назначения В.П. оставил службу в университетской библиотеке и прекратил также чтение приват-доцентских лекций. Состоя по службе в коллегии, В.П. преподавал также и в других учебн. заведениях Киева: в бывш. женской гимн. Ващенко-Захарченко, в институте благородных девиц, в женском коммерч. училище Володкевич и, наконец, в женской гимн. Крюгер; в течение 2-х лет читал также лекции на высших женск. курсах Жекулиной. С 1 авг. 1909 г. В.П. переведен был из коллегии П. Галагана учителем истории в К. I Г., а вскоре затем назначен учителем и в женскую гимн. св. кн. Ольги. <…>

К. Паустовский в «Книге жизни» с большим уважением отзывался о В.П. Клячине (см. ниже).

Когут Петр Леонтьевич, учитель русского языка и словесности (1900-1905), род в 1855 году. Университетские науки он проходил при старом академическом уставе, который делил оканчивавших курс университета на кандидатов и действительных студентов. П.Л. окончил Университет св. Владимира в 1883 г. со степенью действительного студента по историко-филологическому факультету, с правом получить степень кандидата по представлении в срок удовлетворительной диссертации. В том же (1883) году выдержал при университете испытание на звание учителя русского яз. и словесности в сред. учебн. заведениях и начал свою педагогическую службу, получив в 1884 г. заведывание железнодорожным на станции «Киев» одноклассным училищем. В 1887 г. был назначен учителем русского языка в кременчугское Александровское реальное училище, откуда в 1900 г. был переведен на ту же должность в К. I Г., в которой прослужил 5 лет.

В 1905 г. был назначен сначала и.д. инспектора полтавского Александровского реального училища, а затем переведен на ту же должность в немировскую гимназию. С 1908 г. состоит директором новгород-северской гимназии.

Выпускник К. I Г. Н.П. Михайлов на всю жизнь запомнил тему для сочинения, предложенную П.Л. Когутом: «Возвышенную цель поэт избрать себе обязан» (см. ниже).

Козловский Станислав Лаврентьевич, учитель польского яз. (1860-1863), католик, род. ок. 1820 года. Учился в К. 2-й Г. В 1845 г. окончил курс наук в Университете св. Владимира со званием действительного студента и был определен и.д. помощника библиотекаря Университета св. Владимира. В следующем году, по представлении удовлетворительно написанного рассуждения, был удостоен степени кандидата по первому отделению философского факультета и утвержден в должности помощника библиотекаря.

Эту должность занимал до 1860 г., когда был назначен учителем польского яз., сперва в К. 2-й Г., а затем в К. I Г. В 1848 г. киев., подольск. и волынск. генерал- губернатором, с согласия попечителя киев. учебн. округа, С.Л. Козловский был назначен для занятий в киев. комиссию для разбора древних актов, а в 1853 г. избран в члены комиссии для описания губерний киев. учеб. округа. В 1853 г. было поручено ему преподавание польского яз. в киев. институте благородных девиц; кроме того, преподавал польский яз. также в Фундуклеевской женской гимназии. С 10 окт. 1861 г., сверх должности учителя польского яз., был назначен в училище графини Левашовой учителем педагогики и дидактики; здесь руководил педагогическим классом для практического приготовления наставниц из пепиньерок и воспитанниц выпускного класса и исполнял обязанности помощника инспектора классов до конца своей службы, от которой был уволен 29 окт. 1863 г. в чине надворного советника[, как сопричастный к мятежным начинаниям, и выслан из Киева на службу во внутренние губернии].

Корнаковский Петр Григорьевич, комнатный надзиратель конвикта и благородных пансионов (1839-1856) и учитель географии (1838-1859), из духовного звания, уроженец волынской губ., род. ок. 1810 года. По окончании курса наук в волынской духовной семинарии со ст. студента в 1833 г. поступил на службу и.д. учителя в дерманское уездное училище, но в следующем году был уволен, по прошению, от этой должности, а так же из духовного звания. 2 апр. 1835 г. был определен канцелярским служителем низшего оклада в канцелярию совета Университета св. Владимира и 3 окт. того же года – учителем русского языка и словесности в махновское уезд. дворян. училище.

Отсюда в 1838 г. перемещен младшим учителем в параллельные классы К. 2-й Г., с откомандированием для преподавания в параллельных классах К. I Г. В 1839 г., сверх должности учителя, был определен надзирателем, сначала в конвикт бедных дворян, а затем во 2-й благородный пансион при К. I Г.

В конце 1840 г., за усердное исполнение обязанностей по должности комнатного надзирателя, был утвержден в звании старшего комнатного надзирателя того же пансиона. В сей должности оставался и по соединении (в 1850 г.) 2-го благородного пансиона с 1-ым, до 1856 г., когда по прошению был уволен от должности надзирателя.

В звании старшего комнатного надзирателя был назначен в 1842 г. учителем географии в киевский институт благородных девиц и с 6 июля 1844 г. младшим (а с 1846 г. – старшим) учителем географии в К. I Г. От преподавания в институте был освобожден в 1853 г., а в К. I Г. оставался учителем географии до 13 окт. 1859 г., когда, в чине надворного советника, был уволен от службы по прошению, за выслугою срока, с предоставлением ему права носить в отставке мундир, присвоенный должности, и с производством ему пенсии в размере полного оклада штатного жалованья (650 руб. серебром в год). В 1860 г. произведен был в коллежские советники, имел орден св. Станислава 3-й степени.

Костомаров Николай Иванович, учитель истории (1845-1846). Личность и деятельность известного русского историка Н.И. Костомарова настолько велики, и о нем столько писано, что здесь мы ограничимся только приведением сведений о службе его в должности старшего учителя в К. I Г., сохранившихся в архиве гимназии и дополняющих некоторыми точными данными биографию его в недавно изданном I томе «Собрания сочинений Н.И. Костомарова» (СПб., 1903; сравни также «Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета св. Владимира, 1834-1884, составленный и изданный под редакцией проф. В.С. Иконникова, Киев, 1884).

2 августа 1845 г. директор А.Г. Петров получил от управляющего киев. уч. окр. М.В. Юзефовича предложение от 31 июля 1845 г. за №4014 о том, что он переместил на вакансию старшего учителя в К. I Г. старшего учителя того же предмета ровенской гимн. Н.И. Костомарова.

О том же был уведомлен и директор ровенской гимназии П.О. Аврамов предложением от 28 июля за №4015, вследствие чего он 25 авг. переслал в К. I Г. формулярный список о службе Н.И., диплом на степень магистра, метрическое свидетельство и аттестат, выданный ему из правления харьковского университета. На этом самом отношении была позже [сделана] собственноручная подпись Н.И. Костомарова следующего содержания: «Значащийся в сем отношении диплом получил, учитель Н. Костомаров. Июня 5-го, 1846 г.».

В сохранившемся при деле формулярном списке написано следующее: «*Состоящий в 9-м [чиновном] классе магистр Николай Иванов сын Костомаров, старший учитель исторических наук К. I Г., 28-ми лет, исповедания православного, из купеческого звания, воронежской губ., острогожского уезда, в слободе Юрасовке 18 душ крестьян и 500 десятин земли. По окончании наук в харьковском университете удостоен звания действительного студента 20 июня 1836 года.*

По выдержании экзамена на степень кандидата советом университета утвержден в той же степени 8 дек. 1837 г., на что получил свидетельство 28 ноября 1838 года. Определен и.д. помощника инспектора студентов харьковского университета 26 авг. 1842 г.

Представлен к переименованию в соответствующий званию кандидата чин коллежского секретаря 2 февр. 1843 г. Подвергался испытанию на степень магистра 31 мая 1844 г., на что получил диплом 4 окт. 1844 г. Определен старшим учителем исторических наук в ровенскую гимн. 13 окт. 1844 г., причем получил третное не в зачет жалованье 133 руб. 33 коп. серебром 17 окт. 1844 г. Перемещен учителем того же предмета в К. I Г. 28 июля 1845 г. Аттестования способен и достоин. Был в отпуску с 5 июня по 3 июля 1845 г. В отставке был с 30 апр. 1843 г. по 13 окт. 1844 г. Холост».

19 авг. 1845 г. попечитель киев. уч. окр., свиты Его Императорского Величества генерал-маиор Траскин, уведомил директора К. I Г., что министр нар. просв., вследствие его представления и согласно избранию совета Университета св. Владимира, предложением от 1 авг. 1846 г. за №6925 утвердил старшего учителя К. I Г. магистра Н.И. Костомарова адъюнктом по кафедре русской истории в Университете св. Владимира. О том же уведомил от имени совета университета его синдик Глушановский от 27 авг. 1846 г. за №1203, с просьбой сообщить, на какое время получил Н.И. Костомаров жалованье, на что директор ответил, что таковое получено им по 1 августа. Отношением от 23 окт. 1848 г. за №1139 ректор университета, Траутфеттер просил директора ускорить доставлением послужного списка Н.И. Костомарова, который и был отослан 28 октября того же года.

Из воспоминаний Николая Ге «Киевская Первая гимназия в сороковых годах»

(Журнал «Искусство», Киев, 1911, № 8-9):

Николай Иванович Костомаров был любимейший учитель всех. Не было ни одного ученика, который бы не слушал его рассказов русской истории. Самый страстный слушатель русской истории был наш товарищ поляк [(Сагатовский Дионисий Марцельевич – «впоследствии доктор», примеч. В. Стасова; окончил К. I Г. вместе с Н. Ге – в 1847-м)].

Н.И. никогда никого не спрашивал, никогда не ставил баллов – даже месячные баллы ставили мы сами – и – надо правду сказать – добросовестно. Уроки Н.И. были духовные праздники. Его урока все ждали, впечатление было таково, что учитель [Андрей Иванович] Линниченко, поступивший на его место, у нас в последнем классе целый год не читал истории, а читал русских авторов, сказав, что после Костомарова он не будет читать нам историю. Такое же впечатление он производил и в женском пансионе и потом в университете. В женском образцовом пансионе воспитывалась моя жена, она мне это передавала. Мы с женой встретили его, после его ссылки, в Париже в 1857 году. Я узнал его сзади по нервным его движениям. Мы побежали за ним – он нас признал; с тех пор мы стали друзьями и оставались такими до его смерти.

Куликовский Эразм Игнатьевич, комнатный надзиратель благородного пансиона (1850-1862) и учитель математики (1858-1866), из дворян киев. губ., католик, род. в 1825 г. Окончив курс в училище землемеров при К. I Г. в 1846 г., поступил на службу 28 янв. 1848 г. в это же училище и.д. младшего учителя геодезии и черчения, а в 1850 г., сверх должности учителя, был определен комнатным надзирателем 2-го благородного пансиона при той же гимназии. По присоединении училища землемеров к К. 2-й Г. был оставлен при тех же должностях, а за упразднением землемерного отделения при К. 2-й Г. остался при одной должности надзирателя 2-го благородного пансиона К. I Г., в каковой был оставлен и по соединении 1-го и 2-го благородных пансионов в один. С 1853 по 1856 г. преподавал математику в низших классах К. 2-й Г. 1 сент. 1858 г. определен младшим учителем в параллельные классы К. I Г. В 1862 г. был уволен по прошению от должности комнатного надзирателя, с оставлением в должности учителя параллельных классов, в каковой пробыл до 1866 г., когда был перемещен в нежинскую гимн. С 4 марта 1863 г. состоял старостою римско-католической каплицы при К. I Г.

Куницкий Владимир Николаевич, учитель русского яз. и словесности (1895-1896), род в осташковском уезде тверской губ., где находилось родовое, дворян Куницких, имение в 3700 десятин. В 1882 г. окончил петербургский университет со ст. кандидата, а в 1883 г. поступил учителем русск. яз. в 1-ый кадетский корпус, в котором с 1886 г. числился штатным учителем.

В 1884 г. осташковское земское собрание избрало его почетным мировым судьею. Это избрание внесло, по-видимому, разлад в служебную карьеру В.Н., пробудив в нем народнические чувства и стремление к земской деятельности. В 1891 г. В.Н. был назначен на должность осташковского земского начальника. Но педагогическое призвание одержало в нем верх над земскими стремлениями, и в 1894 г. он опять вернулся в учебное ведомство, поступив сначала воспитателем и учителем в киев. коллегию П. Галагана, а в 1895 г. – учителем русского яз. в К. I Г. Здесь В.Н. прослужил только один год: в 1896 г. он был перемещен в сиротский институт императора Николая I в Петербурге. <…>

Кустовский (Кустовскій) Григорий Максимович, учитель параллельных классов и комнатный надзиратель пансиона (1864-1865), сын священника, православный, род. ок. 1834 года. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету со ст. кандидата был допущен к исправлению должности младшего комнатного надзирателя в благородном пансионе при К. I Г. и с 25 ноября того же года определен и.д. младшего учителя в параллельные классы той же гимназии. 2 февр. 1865 г. был командирован с ученою целью за границу, сроком на два года, вследствие чего был уволен от занимаемой должности учителя и комнатного надзирателя, с причислением к министерству нар. просвещения.

Кустов (Кустовъ) Николай Панкратьевич, учитель латинского яз. (1863-1866) и инспектор гимназии (1865-1866), из купцов, православный. По окончании в 1852 г. курса наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата по историко-филологическому факультету поступил на службу 28 сент. 1853 г. младшим учителем в ровенскую гимн., откуда через год был перемещен старшим учителем истории в житомирское раввинское училище и в декабре того же (1854) года старшим учителем латинского яз. в житомирскую гимназию, с оставлением учителем истории в раввинском училище.

9 авг. 1863 г., согласно прошению, был перемещен учителем латинского яз. в К. I Г., где был избран секретарем педагогического совета. Обе должности исполнял до 1865 г., когда (с 5 февр.) был назначен инспектором К. I Г. В последней должности пробыл 1½ года; 24 авг. 1866 г. был назначен директором училищ черниговской губ., каковым и пробыл по 7 окт. 1872 года. Из Чернигова в 1872 г. был перемещен директором в К. 2-ю Г. и с того времени заведывал также землемеро-таксаторскими классами и состоял начальником киев. женской гимназии. Умер 13 авг. 1878 г. в чине статского советника. Имел все ордена, до ордена св. Владимира 3-й ст. включительно.

Лебедев Александр Федотович, учитель древних языков (1898-1901), сын священника, род в 1862 году. Окончив в 1885 г. курс наук в петербургском историко-филологическом институте по разряду древних языков, с правами кандидата университета, был назначен учителем древних языков в прилукскую гимназию, откуда в 1898 г. был перемещен в К. I Г.

Здесь пробыл до 1 сент. 1901 г., когда был назначен на должность инспектора народных училищ ярославской губернии. В настоящее время состоит директором смоленской гимназии.

Выпускник К. I Г. Н.П. Михайлов запомнил А.Ф. Лебедева, как удивительно мягкого человека (см. ниже).

Леклер Людвиг Людвигович, учитель французского языка (1864-1871), французский гражданин, католик, род. в 1827 году. По окончании курса наук в высшей суасонской семинарии (во Франции) в 1852 г. и по выдержании конкурса в Университет св. Владимира на занятие должности учителя французского яз. в средних учебных заведениях был допущен в 1861 г. к исправлению должности учителя французского яз. в новгород-северской гимназии, откуда 12 июня 1864 г. был перемещен к таковой же должности в К. I Г.

В этой гимназии состоял на службе по 30 июля 1871 г., причем с 1867 г. преподавал французский язык также в Фундуклеевской женской гимназии.

Из воспоминаний Г.Е. Червинского (см. ниже): *Оба учителя, [Людвиг] Регаме и Леклер, были очень милые и симпатичные люди, но преподаванием почти не занимались… <…>*

Лисицын Иосиф Георгиевич, учитель латинского языка (1869-1892), уроженец тверской губ., сын священника, родился в 1840 г. По окончании курса наук в киевской духовной академии (в 1865 г.) и в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету со степенью кандидата (в 1869 г.), был определен на должность учителя латинского языка в К. I Г., где прослужил 23 года, до своей смерти, последовавшей 13 октября 1892 г. В течение свой службы в гимназии И.Г. Лисицын много лет исполнял обязанности секретаря педагогического совета.

В 1870 г. постановлением совета киевской духовной академии был допущен к чтению лекций по латинскому языку в звании приват-доцента и в этой должности оставался до 1884 г., когда, с введением нового устава духовных академий, приват-доцентура была упразднена. И.Г. Лисицын занимался переводом творений отцов церкви; некоторые из этих переводов были помещены в «Трудах Киевской Духовной Академии».

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Лучицкий Василий Иванович, учитель русской словесности (1861-1870), сын священника, род. в 1812 г. Окончив в 1835 г. курс киевской духовной академии со ст. кандидата, был определен 7 окт. того же года учителем словесности и греческого и латинского яз. в [каменец-]подольскую духовную семинарию.

Одновременно занимал и другие должности: в 1835 г. был определен секретарем подольского семинарского правления, каковую должность исполнял до 1849 г.; в 1836 г. исправлял должность учителя гражданской истории и состоял членом каменец-подольского тюремного комитета; в 1838-1839 гг. временно преподавал в семинарии церковную историю и еврейский язык. В 1840 г. был освобожден от преподавания греческого и латинского яз.; зато в 1842 г. было возложено на него преподавание еврейского языка. В 1851 г. был определен членом временного комитета для обревизования экономических отчетов подольской семинарии и подведомственных ей четырех низших училищ.

В 1857 г. был уволен по прошению из духовного звания. В следующих 1858 и 1859 гг. несколько раз исправлял должность инспектора семинарии, а также должность учителя логики, психологии, патристики [(философии и теологии отцов церкви, то есть духовно-религиозных лидеров христианства до VII века)] и латинского яз. В 1859 г. был допущен к преподаванию русской словесности в каменец-подольскую гимназию, причем, по утверждении в должности старшего учителя словесности в той же гимназии, был уволен по прошению от службы при подольской духовной семинарии.

С 12 дек. 1861 г. перемещен старшим учителем русской словесности в К. I Г. Сверх должности по гимназии преподавал русскую словесность также во Владимирском кадетском корпусе. В 1865 г. был избран руководителем кандидатов-педагогов для практических занятий по русской словесности, а в 1868 г. назначен членом испытательного комитета при учебн. округе. 7 ноября 1870 г., за выслугою 35-летнего срока, был уволен, согласно прошению, от службы учителя.

Уже в отставке был утвержден директором учительской семинарии в Чернигове, без права службы. Имел чин статского советника и орден св. Станислава 2-й степени.

Любимов Александр Петрович, инспектор и директор К. I Г. (1836-1857), из дворян петербургской губ., православный, род. в 1806 г.; имел в Киеве в Дворцовой части деревянный дом. Образование получил в кадетском корпусе, куда поступил в 1819 году. Затем, проходя военную службу, в последовательном порядке был произведен, в 1833 г., в штабс-капитаны. В 1834 г. был уволен по болезни от военной службы и определен помощником инспектора студентов Университета св. Владимира, причем был переименован в титулярные советники.

Сверх должности помощника инспектора студентов был назначен 3 сент. 1835 г., впредь до распоряжения, в помощь директору училищ киевской губ., на правах инспектора, для надзора за учениками первых трех классов Киевской гимназии во время классного преподавания, каковую должность исполнял по 15 ноября того же года.

За отлично-усердное исполнение таковой обязанности 4 дек. того же года объявлена ему была благодарность попечителя. 6 марта 1836 г. А.П. Любимов был определен инспектором К. I Г. и в этой должности пробыл до 1844 года. В течение этого времени не раз удостоивался наград со стороны начальства; так, в 1837 г. «вследствие найденного министром народн. просвещения при личном обозрении в 1-м благородном пансионе во всех частях порядка» была объявлена ему благодарность министра; в следующем же году «за найденный порядок в 1-м благородном пансионе» получил «совершенную» благодарность от попечителя уч. округа.

Кроме того, в 1839 г. был награжден тысячью рублей ассигнациями и в 1842 г. 400 рублями серебром, а в 1843 г. был произведен в надворные советники.

2 сент. 1844 г. был назначен и.д. директора К. I Г. и 6 апр. 1845 г. утвержден в этой должности, которую занимал до 16 июня 1857 г., когда был уволен, в чине статского советника, от службы. За отлично-усердную службу и особые труды был пожалован орденами: св. Анны 3-й ст. в 1851 г. и св. Анны 2-й ст. в 1853 году. Кроме того, в 1850 г. получил знак отличия беспорочной службы за 25 лет и в том же году, «вследствие найденного министром нар. просвещения порядка при личном обозрении гимназии и состоящих при оной воспитательных заведений», объявлена ему была опять благодарность министра. Был уволен от должности директора в 1857 году.

Лятошинский Николай Леонтьевич, учитель истории (1896-1906), православный, сын врача, род. 4 дек. 1861 г. в г. Вознесенске херсонской губернии. По окончании житомирской гимназии поступил на историко-филологический факультет Университета св. Владимира, который окончил по историческому отделению в 1884 г. со степенью кандидата. На юбилейном акте этого года получил золотую медаль за работу об исторической критике [историка Августа] Шлецера. 12 дек. 1884 г. был определен на должность учителя истории и географии в немировскую гимназию, откуда в 1889 г. был перемещен на такую же должность в житомирскую гимназию, а в 1896 г. в К. I Г.

Во время своей 10-летней службы в этой гимназии Н.Л. состоял членом и секретарем испытательного комитета при управлении учебн. округа и воспитателем гимназического пансиона. Кроме того, с 1898 г. преподавал историю в частной женской гимн. А.Т. Дучинской, а в 1905 г. был назначен председателем педагогического совета частной женской прогимн. Л.Е. Братковой. В 1906 г. был назначен директором немировской гимн., а в 1908 г. перемещен директором в златопольскую гимназию. 12 дек. 1910 г., за выслугою 25-летнего срока, уволен по прошению в отставку, в чине статского советника.

Н.Л. Лятошинскому принадлежат следующие литературные труды: 1) «К столетию падения венецианской республики», речь, произнесенная на акте К. I Г. 13 окт. 1897 г.; 2) «Кавказ в историческом отношении» («Экскурсия на Кавказ учеников К. I Г. в 1901 г.»); 3) «Главнейшие исторические города прибалтийского и юго-западного края» («Экскурсия учеников К. I Г. в 1902 г.»); 4) «Воспоминания о Н.Т. Черкунове» (Киев, 1905); 5) «Полтавская битва 27 июня 1709 г. Очерк для учащихся старшего возраста» (К., 1909. Статья, удостоенная премии от киев. уч. окр.).

Из воспоминаний Н.П. Михайлова (см. ниже): *Преподавание Николая Леонтьевича отличалось прекрасной манерой, умением интересно рассказать, старанием ознакомить нас с источниками и документами. <…>*

Макинский Карл Романович, комнатный надзиратель пансиона (1839-1863) и учитель немецкого яз. (1845-1871), уроженец курляндской губ., из мещан, лютеранин, род. в 1812 г. в Либаве. Учился в Юрьевском университете на философском факультете, но курса не кончил. В 1839 г., по выдержании в Университете св. Владимира испытания на звание учителя немецкого яз., был определен (с 13 февр.) и.д. комнатного надзирателя в 1-й благородный пансион при К. I Г., а через год на такую же должность во 2-й благородный пансион при той же гимназии. В последней должности был утвержден 5 июня 1843 года.

Сверх должности надзирателя был назначен учителем немецкого яз. с 1 окт. 1843 г. в киево-печерское уездн. дворянское училище, а с 31 июля 1845 г. младшим учителем того же предмета в К. I Г. (с годовым окладом 343 руб. 10 коп. серебром). Кроме того, с 15 окт. 1844 г. по 15 ноября 1852 г. безмездно преподавал немецкий яз. в училище графини Левашовой.В 1850 г. (6 ноября), по закрытии 2-го благородного пансиона, был перемещен в 1-й благородный пансион при той же гимназии и с 1 авг. 1855 г. назначен старшим комнатным надзирателем пансиона. Директор А.К. Деллен, представляя в 1858 г. К.Р. Макинского к награде, так охарактеризовал его педагогическую деятельность:

«*Колл. асессор Карл Макинский в течение 19-летней службы своей постоянно обращает на себя внимание неутомимостью и примерным усердием в исполнении своих обязанностей. Быв сначала определен надзирателем 1-го благородного пансиона, а потом младшим учителем К. I Г., он умел заслужить всеобщее уважение твердостью своих правил и особенною ревностью к службе. Ближайшее его начальство имеет в нем дельного помощника, товарищи – хорошего сослуживца, воспитанники – благоразумного воспитателя и вместе с тем – друга. Проникнутый истинною любовью к воспитанникам, старший надзиратель Макинский в то же время следит зорким и опытным глазом за всеми проявлениями разных особенностей их характера и всегда готов помогать им, как своими советами, так и своими познаниями.*

Кроме занятий по надзирательской должности, ему поручено заведывание учебными пособиями пансиона, которые и ведутся им в надлежащей исправности. Как учитель немецкого яз. в гимназии, колл. асс. Макинский отличается примерным усердием и обладает всеми приемами опытного и дельного преподавателя».

6 сент. 1863 г. К.Р. Макинский, согласно прошению, был уволен от надзирательской должности, с оставлением в должности младшего учителя немецкого языка. В 1864 г., за выслугою 25-летнего срока, был оставлен на службе еще на 5 лет, а в 1869 г., за выслугою 30-летнего срока, еще на 2 года. В 1868 г. был награжден орденом св. Станислава 2-й ст. и в 1869 г. произведен в статские советники.

Из воспоминаний А.И. Рубца (см. ниже): *Немцы надзиратели были – Макинский и Краузе, которые, в противоположность поджарым французам, были народ полный и крупный. <…>*

Мессонье Иван-Баптист Вильгельмович, комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1839-1859) и младший учитель параллельных классов (1846-1858), французский гражданин, католик, род. в 1803 году. По выдержании в 1839 г. испытания в Университете св. Владимира на право обучать французскому яз. в частных пансионах вступил в службу 13 февр. 1839 г. комнатным надзирателем 1-го благородного пансиона при К. I Г. и пробыл в этой должности 20 лет, до 1859 г., когда, согласно прошению, был уволен по болезни от службы, в чине титулярного советника. Сверх должности надзирателя состоял с 1846 по 1858 г. младшим учителем параллельных классов К. I Г.

<…> *Меттро Альфред Николаевич*, учитель французского языка (1884-1889), родился 27 апреля 1839 г. в г. Фрейбурге, в Швейцарии, и там же окончил курс Училища правоведения. В 1867 г. поступил на службу в керченскую Александровскую гимназию на должность учителя французского языка, откуда в 1884 г. был переведен на ту же должность в К. I Г. и оставался в ней до дня смерти – 15 февраля 1889 г.

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Мищенко Яков Герасимович, учитель древних языков (1880-1891), сын купца, православный, родился в 1852 г. в г. Прилуках, полтавской губернии. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету, со степенью кандидата, был определен в 1878 г. учителем древних яз. в лубенскую гимназию, откуда в начале 1880 г. был перемещен в К. I Г., где пробыл 11 лет. В 1891 г. был перемещен в черниговскую гимн. и через год – в К. 3-ю Г., в которой прослужил семь лет.

После перевода в Прилуки, состоявшегося в 1899 г., Я.Г. перешел на службу в оренбургский уч. окр., где прослужил 6 лет (1900-1906) в пермской гимн., а затем вернулся в киев. уч. окр. и с 1906 г. состоял учителем древних яз. в стародубской гимназии.

Во время своего пребывания в Киеве Я.Г. принимал деятельное участие в киевском отделении Общества классической филологии и педагогики, в котором состоял секретарем с 1885 по 1891 год. Ему принадлежит перевод с французского языка второго тома сочинения Виллемса «Римское государственное право», изданного в 1888 г. под редакцией П.Н. Бодянского, а в 1893 и 1894 гг. им были изданы переводы 30-ой и 39-ой книг Тита Ливия и в 1896 г. – биография Демосфена. Кроме того, в журнале «Гимназия» (апрель 1890 г.) была напечатана его статья «К реформе учебных планов» и в «Русской Школе» (декабрь 1903 г.) статья «О реформе в гимназиях».

В бытность свою учителем пермской гимн. Я.Г. принимал участие в переводе истории Тита Ливия, предпринятом попечителем оренбургского уч. окр. И.Я. Ростовцевым и вышедшем в Москве (в 1892-1899 гг.) под редакцией П. Адрианова, причем ему принадлежит перевод 4-ой и 5-ой книг, вошедших в первый том этого издания.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Могилянский Матвей Матвеевич, инспектор 2-го благородного пансиона (1838-1842), из дворян, православный, род. в 1807 году. По окончании курса наук в страсбургском университете поступил на службу 17 сент. 1826 г. в канцелярию новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова, откуда через год по желанию был уволен и определен в канцелярию киевского военного губернатора. Из этой канцелярии был уволен по прошению в 1828 г. и определен в правление петербургского заемного государственного банка, где утвержден был в 1830 г. столоначальником и в 1831 г. произведен в губернские секретари.

Из правления заемного банка перешел в 1831 г. в канцелярию комитета министров на должность младшего помощника экспедитора, но через год по прошению был уволен и определен в канцелярию киев., подол. и волын. генерал-губернатора, где занял место переводчика, исправляя в то же время должность чиновника для иностранной переписки и заведуя паспортною частью.

4 марта 1837 г. был уволен из канцелярии военного губернатора и в начале 1838 г. определен начальником типографии Университета св. Владимира, а 1 дек. того же года – инспектором 2-го благородного пансиона при К. I Г., в каковой должности был произведен (в 1841 г.) в титулярные советники. В 1843 г. был назначен инспектором казенных училищ, в 1846 г. – инспектором студентов Университета св. Владимира, а 13 янв. 1855 г. – директором лицея князя Безбородко и нежинской гимназии. В этой должности оставался два года, по 16 янв. 1857 г., т.е. до приезда в Нежин нового директора, Е.П. Стеблин-Каменского (бывш. инспектора К. I Г.), хотя уже 21 авг. 1856 г. был сам назначен помощником попечителя киев. уч. округа.

Затем, 28 февр. 1859 г. был назначен попечителем одесск. уч. окр., 17 апр. 1862 г. – членом главного правления училищ, с увольнением от должности попечителя, а 1 июля 1863 г. – членом совета министра нар. просвещения. Состоя в последней должности, а именно 4 мая 1865 г., был избран почетным членом новороссийского университета, за труды его по преобразованию одесского лицея в новороссийский университет.

В качестве члена совета М.М. Могилянский энергически исполнял разные командировки и поручения, пока в 1873 г. здоровье его внезапно [не] расстроилось, вследствие чего он, расслабленный и умственно, и физически, был помещен в дом призрения душевнобольных им. наследника цесаревича [Александра Александровича, будущего императора Александра III], где и умер 27 июля 1874 г., в чине тайного советника. Будучи холост и не имея близких родных, он находился последнее время на попечении профессора петербургского университета Ю.Э. Янсона (бывшего учителя К. I Г.).

Из воспоминаний Николая Ге «Киевская Первая гимназия в сороковых годах»

(Журнал «Искусство», Киев, 1911, № 8-9):

Инспектор всех учебных заведений округа, крепко сутуловатый человек, но чрезвычайно занятый собой, что видно было и в прическе, и в одежде, пришел один раз к нам в пансион. На мою беду, меня взяла охота рисовать виды из моего путешествия домой, на каникулы, в Подольскую губ. Я нарисовал на доске два вида, местечка Мурафы и города Могилева на Днестре; оба места замечательно красивы своей панорамой.

Нарисовав, я подписал оба [(«Мурафа» и «Могилев»)]. Входит Могилянский (фамилия инспектора); увидал эти рисунки, нарисованные на доске мелом, остановился и громким голосом сердито спросил: «кто рисовал?» Я назвал себя. Он вдруг обругал меня и прогнал на место. Не только я, но и все товарищи удивились и не поняли, в чем дело, и только когда прибежал инспектор и объяснил, в чем дело, тогда мы, зная причину, пришли в недоумение. Дело было в том, что Могилянский шел в сопровождении надзирателя [1-го благородного пансиона] Мураида, грека [(Александра Дмитриевича Мураита, из дворян Черниговской губ., православного)], и рисунки принял как что-то обидное для них обоих. Могилянский и Могилев, Мураид и Мурафа, вот до каких тонкостей достигала глупость.

В [18]71 году, когда [в Петербурге] была выставлена картина моя «Петр и царевич Алексей», я видел, как он, Могилянский, подошел к картине, долго смотрел и все пожимал плечами, выражая недоумение, должно быть, припомнил старую историю своего воспитательства.

Назаренко Афанасий Васильевич, учитель приготовительного класса (1891-1910) и русского и древних яз. (с 1898 г.), род. 18 янв. 1861 г. в с. Протасовке, роменского уезда полтавской губернии. По окончании курса роменского уездного дворянского училища поступил в К. I Г., которую и окончил в 1884 году. Высшее образование получил в Университете св. Владимира на историко-филологическом факультете. С 1890 г. состоял учителем русского яз. в киево-благовещенской церковно-приходской школе, а с 24 окт. 1891 г. – заведующим зверинецкой церковно-приходской школой.

В 1891-1892 гг. состоял учителем и воспитателем приемного внука Ее Императорского Высочества великой княгини Александры Петровны. 14 дек. 1891 г. определен учителем приготовительного класса в К. I Г., со всеми правами и преимуществами учителей основных классов гимназии. С 1898 г. стал преподавать латинский и русский яз. в младших классах гимназии, а 1 июля 1910 г. утвержден в должности учителя латинского языка. Состоит членом киевского отделения общества классической филологии и педагогики, в одном из заседаний которого (14 ноября 1902 г.) читал реферат «Библиографическая заметка о книге В. Дунина-Борковского: Руководство к изучению русской грамматики и правописания на литературных образцах и диктовке-перефразе».

В 1895 г. был почетным попечителем протасовской церковно-приходской школы, а с 1910 г. состоит председателем протасовского церковно-приходского попечительства. С 1908 г. состоит делопроизводителем общества вспомоществования нуждающимся ученикам К. I Г., а с 6 сент. 1910 г. – казначеем киевского отдела галицко-русского благотворительного общества. Имеет чин статского советника и орден св. Анны 2-й степени.

Из «Книги жизни» Константина Паустовского:

[Сторож] Казимир ввел меня в приготовительный класс. За столом сидел классный наставник Назаренко – громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охранке[*]*. Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции.<…>*

Олиферов-Мануилович Петр Афанасьевич, род. 30 июня 1824 года. Окончил курс наук в Университете св. Владимира. Состоял в должности комнатного надзирателя пансиона при К. I Г. с 3 окт. 1867 г. и в должности воспитателя с 12 февр. 1870 г. по 1873 год.

Косвенно замешан в «политической истории» с гимназистом Феофилом Бородаевским в 1871-72 гг.(см. ниже).

Олендзкий [(Олендский)] Антоний Михайлович, почетный каноник, законоучитель римско-католического вероисповедания (1863-1907), из дворян, род. 5 марта 1836 года. По окончании курса наук в римско-католической духовной академии со степенью магистра богословия был в 1860 г. рукоположен во священника.

---

[*] Игра слов: Навуходоносор – имя вавилонских царей, а «Науходоносор» – «на ухо доносит».

В воспоминаниях Анатолия Петровича (в тексте – Глеба) Беклемишева (*www.famhist.ru*), относящихся к 1899 г., содержится более приземленная версия появления прозвища:

[Мать] Мария Модестовна сама подготовила Глеба в приготовительный класс и отвела его в Первую гимназию. Это было желтое здание, по архитектуре типичное для времен Николая 1-го. Экзаменовал Глеба Афанасий Иванович [(правильно – Васильевич)] Назаренко, воспитатель приготовительного класса, не старый еще человек с красивой черной раздвоенной бородой, по прозвищу Навуходоносор. Это странное прозвище он получил еще в университете, где ему дали «в ухо», а он на это «донес», отсюда и вышло на-в-ухо-доносор.

В 1861 г. был определен законоучителем в радомысльские дворянское и приходское училища, а 8 янв. 1863 г. – в К. I Г., в каковой должности состоял 44 года и 8 месяцев – по 13 сент. 1907 года. Кроме того, состоял законоучителем также и в других учебных заведениях Киева.

В течение многолетней учительской деятельности каноник А.М. Олендзкий был неоднократно награждаем: в 1873 г. был пожалован наперсным крестом; в 1877 г. возведен в звание почетного каноника по луцко-житомирской епархии; в 1890 г. награжден орденом св. Станислава 3-й ст. и в 1897 г. – св. Анны 3-й ст.; сверх того, получал награды в виде денежных выдач. По освобождении от преподавания Закона Божия в К. I Г. министерством нар. просв. было назначено ему ежегодное пособие в размере 400 рублей.

Педагогическая деятельность каноника А.М. Олендзкого во все время его службы была плодотворна: он умел снискать любовь учеников, воспитать в них религиозное чувство, укрепить веру и правду. Как товарищ он оставил о себе наилучшие воспоминания.

В «Книге жизни» К. Паустовский оставил сочные подробности об активном участии ксендза-каноника Олендзкого в разнимании дерущихся гимназистов (см. ниже).

Падрен-де-Карне Матвей Иванович, комнатный надзиратель училища землемеров и 1-го благородного пансиона (1836-1845), швейцарский гражданин, католик, род в 1810 году. Был определен 12 ноября 1836 г. и.д. комнатного надзирателя в училище землемеров при К. I Г., а 20 марта 1837 г. перемещен к такой же должности в 1-й благородный пансион при той же гимназии и утвержден в должности 14 сент. 1837 года. Сверх надзирательской должности был назначен с 24 авг. 1838 г. учителем немецкого яз. в киев. институт благородных девиц, где за отличные успехи воспитанниц в 1841 г. было объявлено ему благоволение Ее Императорского Величества.

Кроме того, с 5 ноября 1838 г. состоял учителем параллельных классов в К. 2-й Г. 16 дек. 1840 г., за усердное исполнение обязанности по должности комнатного надзирателя, был утвержден в звании старшего комнатного надзирателя 1-го благородного пансиона.

К этому времени выдержал испытание в Университете св. Владимира на право быть учителем латинского яз. в уезд. дворян. училищах и в параллельных классах гимназии, соответствующих классам дворянского училища. В 1843 г., за выслугу четырех лет в должности младшего учителя, был утвержден в чине 10-го класса, а в 1845 г. уволен от службы.

Позднее служил помощником попечителя Одесского учебного округа.

Палиенко Иван Степанович, учитель математики (1857-1873) и инспектор К. I Г. (1866-1873), православный, сын чиновника из малороссийских казаков, род 18 июня 1832 г. в г. Черкассах, киев. губернии. Учился в К. 2-й Г., курс которой окончил в 1851 г. с серебряною медалью, и в том же году поступил в Университет св. Владимира, где окончил курс наук в 1855 г. со ст. кандидата. 30 ноября 1855 г. И.С. начал свою педагогическую служебную деятельность в качестве старшего учителя математики и физики в ровенской гимн., а через 4 месяца был переведен в черниговскую гимназию. 19 июля 1857 г. переведен на такую же должность в К. I Г., в которой около года (1858-1859) был также и комнатным надзирателем благородного пансиона. В К. I Г. прослужил около 16-ти лет, притом последние 7 лет, с 15 июля 1866 г. до 1 июля 1873 г., в должности инспектора. С 1862 по 1868 г. состоял также учителем арифметики в киев. институте благородных девиц, а с 26 ноября 1868 г. – секретарем попечительского совета.

По избранию попечительского совета И.С. был в течение 6-ти лет руководителем по математике для окончивших университет молодых людей, приготовляющихся к преподаванию в сред. учеб. заведениях, на открывшихся в июле 1860 г. при уч. округе педагогических курсах, до закрытия их в 1867 году.

1 июля 1873 г. И.С. был назначен директором открывшегося в то время в Киеве реального училища. Прослужив в должности директора этого училища 12 лет, вышел в 1885 г. в отставку, в чине действительного статского советника, имея орден св. Владимира 3-й степени. В циркуляре по управлению киев. уч. округа за 1860 г. И.С. Палиенко поместил статью «О преподавании математики».

Н.Д. Богатинов упоминал И.С. Палиенка как «колкого на язык» господина (см. выше).

Петров Александр Григорьевич, учитель законоведения (1820-1834) и директор К. I Г. (1835-1844), из дворян, сын директора училищ киевской губ. Григория Андреевича Петрова, род. ок. 1800 года. По окончании курса воронежской гимн. поступил своекоштным студентом в харьковский университет, где сначала слушал курсы общих наук, а потом перешел на юридический факультет, но степень кандидата получил 30 авг. 1819 г., по этико-филологическому отделению философского факультета.

25 февр. 1820 г., по распоряжению училищного комитета харьковского университета, был определен учителем законоведения в Киевскую гимназию, где в 1824 г. утвержден был в чине коллежского асессора. 8 окт. 1833 г. был назначен чиновником особых поручений при попечителе киев. уч. окр., а 31 янв. 1834 г. был определен директором училищ киев. губ., с оставлением в должности синдика университета, пока не был (4 июля 1835 г.) назначен ему преемник. В этом же году получил благодарность от попечителя киев. уч. окр. «за твердый порядок во время испытания учеников».

С учреждением в Киеве второй гимназии А. Гр. был утвержден (1 янв. 1836 г.) директором К. I Г., а вместе с тем управлял, с 1 янв. по 22 апр. 1836 г., и 2-ою губернскою гимназиею, до прибытия вновь назначенного директора последней Милашевича.

В этом же году попечитель киев. уч. окр. выразил ему благодарность «за деятельность и попечение об увеличении успехов воспитанников вверенных ему учебных заведений и отличное состояние К. I Г.»; в следующем году (6 окт.) «вследствие найденного министром нар. просв. при личном обозрении цветущего состояния К. I Г. и состоящих при ней заведений, за способ управления подобным заведением и благородное рвение к дальнейшему усовершенствованию оного», получил признательность от министра нар. просв.; по ходатайству того же министра, за отлично-усердную службу и труды был удостоен монаршего благоволения.

17 мая 1838 г. А. Гр. был назначен инспектором классов киевского института благородных девиц, каковую должность исполнял до 1844 года. С 30 мая по 31 дек. 1840 г., по распоряжению киев., подол. и волын. генерал-губернатора, состоял членом особого комитета, учрежденного по высочайшему повелению для начертания проекта положения о губернских раввинах и духовных при них правлениях.

В 1842 г., с разрешения министра нар. просв., был командирован в Петербург для обозрения тамошних учебных заведений, в каковой командировке пробыл с 28 апр. по 10 июня. А. Гр. был награжден орденами: св. Анны 3-й ст. в 1837 г., св. Владимира 4-й ст. в 1840 г. и св. Станислава 2-й ст. в 1842 г.; в этом же году получил знак отличия беспорочной службы за 20 лет. В 1839 г. был произведен в коллежские советники.

Для характеристики А. Гр. Петрова приведем следующую выдержку из брошюры И.И. Слепушкина «Первые годы Киевской 2-й гимназии» (К., 1872, стр. 2):

“Педагогический совет тогдашней Киевской (ныне 1-й гимназии), обсуждавший, при участии почетного попечителя графа Илинского, условия открытия нового учебного заведения, полагал открыть 2-ю гимназию на Подоле и находил необходимым ввести преподавание польского языка, наравне с новейшими, в обеих гимназиях, или, по крайней мере, в 1-й, «ввиду того, что часто встречается нужда в языке польском живущим и служащим в здешнем крае и оправдывается состоянием польской литературы, заслуживающим внимание каждого образованного человека».

Но директор 1-ой гимназии А.Г. Петров, который вел все дело открытия, заметил в представлении, что «прибавление излишнего против устава предмета едва ли будет совместно с преподаванием всего в уставе назначенного и что в белорусском штате греческий язык уступил место польскому». Оба означенные предположения не состоялись: первое – по неимению помещений, второе – вследствие отказа министра, несмотря на жаркое предстательство [попечителя киев. уч. округа] фон-Брадке и мнение университета за введение польского языка в круг учебных предметов”.

Из воспоминаний Николая Ге «Киевская Первая гимназия в сороковых годах»

(Журнал «Искусство», Киев, 1911, № 8-9):

Среди начальников мы встретили замечательного человека и дорогого для нас директора гимназии Александра Григорьевича Петрова. Он был человек среднего роста, с большой головой, покрытой черными волосами; добрые и умные глаза, большая нижняя губа, как у античных голов, бросались в глаза. Говорил он по-русски, прибавляя «-с» к концу слов, говорил громко и приятно; был он человек простой и добрый; мы его любили и уважали. Он жил не с нами, но никто не знал, был он в пансионе или нет – сигналов о прибытии его не было. Часто он сидел в соседней комнате, а мы этого не знали.

Приходил он к нам не как начальник, а всегда за делом: он приносил или новую книгу, или особенное какое-нибудь известие, новое в науке или в искусстве, или что-либо относящееся к явлениям общественным. Часто он приходил к кому-нибудь одному из учеников, желая ему сделать что-нибудь полезное. Подчиненные служащие не особенно его любили; они его боялись; мы же, напротив, радовались его приходу.

Он не стеснялся временем, часто приходил [в пансион], когда мы были уже в постелях, и вынимал газету, чтобы сообщить нам новость. Тогда один из учеников доставал сальную свечу из ночника и светил, мы же вскакивали с постелей и, надев на себя одеяла, его окружали, а Александр Григорьевич читал. При такой обстановке мы узнали, как поднимали наверх Исаакиевского собора громадные гранитные колонны. У нас любили музыку. Много учеников из поляков отлично играли на фортепиано. Часто меня заставал Александр Григорьевич слушающим хорошую игру. Он на цыпочках подходил ко мне, подсаживался и слушал сам и никогда не оскорблял меня замечанием, почему я не занимаюсь уроками. Он знал, что и это дорого, и это образовывает человека.

В гимназии, входя в класс, он всегда имел с собою что-нибудь, чтобы предложить ученику: или ножик, или карандаш, или резинку. Во всех классах он встречал своих друзей по любви к образованию. Он дарил шахматы, книги, рисунки, диксионеры [словари], все, что может служить развитию.

Я помню, как один раз во время контрактов (ярмарка) встретил нас, оставшихся в пансионе на праздники Рождества, на Подоле, около контрактового дома. Он вошел в дом с нами, чтобы купить каждому что-нибудь. Меня он подвел к картинам, литографиям и предложил выбрать по вкусу, и когда я выбрал небольшую литографию, он остановил меня, говоря: «ты не церемонься, выбирай, что получше», и сам мне выбрал большую литографию «Лошадь».

Он знал, что я дома, по праздникам, рисовал рисунок со Штейбена «[Наполеон под] Ватерлоо», и желал дать мне что-нибудь крупное, чтобы помочь. Вот какой был у нас директор. Кто его знал, тот не мог его забыть и через 30 лет. В семидесятых годах я встретил его в Петербурге, на Английской набережной. Я подошел к нему, снял шляпу и сказал: «Дорогой Александр Григорьевич! Я счастлив, что могу теперь вам сказать, как вас любил и уважал мальчиком, гимназистом за ваше доброе, человеческое и просвещенное отношение ко мне».

К сожалению, он оставался не долго с нами. Когда мы узнали окончательно, что он нас оставляет, мы целым пансионом, до ста человек, пошли не по парам, как обыкновенно ходили, а толпой к нему на квартиру выразить ему наше сожаление – мы это сделали не по внушению кого бы то ни было, а от чистого сердца. Нам было жалко расставаться с таким другом. Он нас принял радостно – посадить нас было невозможно. Мы, как вода, залили его дом собою. Мы расстались.

Петров Григорий Андреевич, директор [Киев.] гимназии и училищ киев. губ. (1819-1835), род ок. 1763 г., из дворян воронежской губернии. Образование получил в петербургских частных пансионах и, наконец, в главном немецком при церкви св. Петра училище, прошедши курс русского, немецкого и французского яз., математики, истории и географии. Начал службу капралом лейб-гвардии преображенского полка30 апр. 1777 г.; произведен фурьером 1 янв. 1782 г., подпрапорщиком 10 янв. 1784 г., каптенармусом 8 янв. 1785 г., сержантом 8 янв. 1786 г.; 1 янв. 1789 г. переведен из гвардии в новгородский мушкатерский полк поручиком, 5 окт. 1790 г., в корпус пеших стрелков, вновь сформированный, а 3 июля 1792 г. в тульский мушкатерский полк, 21 сент. 1792 г. произведен за усердие в службе в капитаны. 9 янв. 1793 г. назначен старшим адъютантом в штабе генерал-поручика А.Я. Леванидова. 24 янв. 1794 г. произведен за отличную службу в секунд-маиоры, с оставлением в должности старшего адъютанта.

1 сент. 1796 г. назначен директором училищ воронежской губ., 29 окт. того же года уволен из военной службы с чином премьер-маиора. 31 дек. 1807 г. произведен в коллежские советники, а 14 апр. 1819 г. переведен директором Киев. гимназии и училищ киев. губ., в каковой должности состоял по 1835 год. В 1824 г. произведен в статские советники, а в 1826 г. награжден орденом св. Анны 2-й степени.

Участвовал в следующих походах: в 1789 г. в Молдавии, 7 сент., при речке Сальче [близ Измаила] против усиливавшегося неприятеля в отряде под начальством генерал-маиора А.Я. Леванидова, в подкрепление легкой конницы, а 12 сент. под предводительством генерал-аншефа князя Н.В. Репнина при бомбардировании крепости Измаила; в 1790 г. в Молдавии и Валахии до Букареста под предводительством генерал-аншефа графа А.В. Суворова-Рымникского; 11 мая 1792 г. в Польше во время усмирения мятежников противной фракции; 27 марта 1793 г. при присоединении к России от Речи Посполитой областей и при приводе к присяге на верность и подданство польских военных чиновников.

Служба Г.А. Петрова была необыкновенно продолжительна: она продолжалась 58 лет (1777-1835); в звании директора училищ он прослужил 39 лет, а в должности директора Киевской гимназии 16 лет. Г.А. Петров был женат и имел пять сыновей: Александра, Григория, Павла, Андрея и Семена, и двух дочерей. Старший сын, родился около 1800 г., в 1821 г., 20-ти лет от роду, был уже учителем, а в 1835 г. сменил отца в должности директора Киевской гимназии и училищ киев. губернии.

Петров Николай Александрович, учитель словесности (1896-1903), род. 5 дек. 1862 года. В 1889 г. окончил историко-филологический петербургского университета со ст. кандидата и через три года начал свою педагогическую деятельность, получив место учителя русского яз. и словесности в пермской Мариинской женской гимназии.

Художник в душе, всецело преданный своему делу, и педагог по призванию, Н.А. держался вполне определенных и весьма самобытных взглядов на предмет своего преподавания – художественную литературу; он считал ее источником возвышенных мыслей и благородных чувств, которые могут захватывать собою, «заражать» читателя.

Сообразно с этим он определял и задачу преподавания, которая, по мнению Н.А. должна заключаться в том, чтобы возбуждать в учениках интерес к художественным произведениям литературы и воспитывать в них чувства высокого и прекрасного. «Средствами для достижения этого, – развивал в своей блестящей актовой речи Н.А., – могут служить частью – прочувствованное чтение, насколько оно осуществимо по условиям предоставленного времени, частью же, для выполнения того, что не может быть прочитано, и для наиболее полного возмещения и яркого освещения целого, по возможности соответственно – колоритное, одушевленное чтение».

Н.А. никогда не прибегал к аналитическому разбору произведений; такую систему, предлагаемую некоторыми представителями немецкой педагогики, он считал прямо вредной, убивающей эстетическую чуткость и отзывчивость в учениках. Следуя своим взглядам, он всегда вдохновенно и живо передавал ученикам основной тон поэта, именно «заражая» их определенными переживаниями. Подобными приемами преподавания, своим красноречием и живым, чуждым сухой схоластики, отношением к делу, Н.А. снискал себе славу талантливого педагога и приобрел искреннее расположение всех своих учеников и учениц. С переводом Н.А. в Киев (в 1896 г.), на место учителя русской словесности в К. I Г., педагогическая деятельность его сильно расширилась. Он был приглашен также в женскую гимназию А.В. Жекулиной, а потом, с 1908 г., в гимназию А.Т. Дучинской.

В 1903 г. Н.А. был переведен на должность учителя истории и географии и в то же время инспектора в либавскую Николаевскую гимназию. Но вскоре он отказался от инспектуры и возвратился к своему любимому преподаванию русского яз. и словесности, получив место учителя в 12-ой петербургской гимназии.

В дни торжественных актов К. I Г. Н.А. Петров произнес целый ряд блестящих речей, из которых особенно заслуживает внимания речь, произнесенная 13 окт. 1900 г.: «Парадоксы в преподавании художественной литературы», представляющая как бы открытую исповедь оратора-педагога. Из других его речей напечатаны: «Народные черты и симпатии в поэзии Пушкина» и «Основные мотивы поэзии Апухтина».

Выпускник К. I Г. Н.П. Михайлов оставил весьма сентиментальные воспоминания об «удивительно мягком и тихом человеке» Н.А. Петрове (см. ниже).

Петрушевский Федор Фомич, учитель математики и физики (1857-1862), из дворян, православный, род в 1828 г. в Петербурге. Учился в петербургской 3-й гимн., потом в петербургском университете, где в 1851 г. получил ст. кандидата физико-математических наук. В том же году был командирован университетом, в качестве ассистента проф. астрономии А.Н. Савича, в херсонскую губ. для наблюдения полного затмения солнца. В 1853 г. (10 марта) был определен старшим учителем математики в петербургскую Ларинскую гимн., откуда 5 авг. 1857 г. был перемещен, согласно прошению, учителем математики и физики в К. I Г. Сверх должности по гимназии преподавал географию в институте благородных девиц. Получив в 1862 г. степень магистра за диссертацию «Способы определения места полюсов магнитов и электромагнитов», был допущен с 25 февр. 1863 г. к чтению лекций по кафедре физики в петербургском университете.

Степень доктора приобрел в 1865 г. за диссертацию «О нормальном намагничивании» (С.-Пб., 1865). В этом же году организовал практические занятия студентов. С 1872 г. состоял председателем, сначала физического общества, а потом физического отделения русского физико-химического общества. Кроме чтений в университете преподавал физику в институтах технологическом и путей сообщения и в минном офицерском классе в Кронштадте, где устроил специальный физический кабинет.

<…> Шесть публичных лекций изложены в сочинении «Свет и цвета» (1883 г.); кроме того, Ф.Ф. напечатал книгу «Краски и живопись» (1891 г.). По физике замечательны следующие книги: «Курс наблюдательной физики» (1874 г.); «Начальный курс физики» (1876 г.); «Экспериментальный и практический курс электричества» (1876 г.) и «Современное состояние маячного освещения» (1878 г.).

Кроме того, ему принадлежит несколько статей по физике и по истории и технике живописи, помещенных в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона, в котором с 1892 г. состоял главным редактором по отделам точных и естественных наук.

Умер в 1904 году.

Выпускники К. I Г. Н.А. Бунге и Н.П. Забугин оставили добрые воспоминания о замечательном преподавателе Ф.Ф. Петрушевском (см. ниже).

Посадский-Духовской Иван Васильевич, директор К. I Г. (1890-1903), род в 1850 г. в новгородской губернии. Окончив в 1875 г. курс математического отделения физико-математического факультета в петербургском университете со ст. кандидата, был удостоен звания учителя гимназий и прогимназий, с правом преподавать математику и физику. Педагогическую деятельность свою начал в гатчинском Николаевском сиротском институте, куда в 1875 г. был определен учителем математики. В 1881 г. был назначен инспектором борисоглебской гимн., а через год директором изюмского реального училища и председателем педагогического совета изюмской женской прогимназии. С 1884 по 1890 г. занимал те же должности в сумском реальном училище и в сумской женской гимназии.

Директором К. I Г. состоял с 12 окт. 1890 г. по 14 марта 1903 г., когда был назначен помощником попечителя варшавского уч. округа. В 1895 г. был награжден чином действительного статского советника и в 1896 г. пожалован орденом св. Владимира 4-й степени. Со званием директора К. I Г. И.В. соединял много других должностей: с 1891 г. состоял председателем педагогического совета киев. женской гимн. В.Н. Ващенко-Захарченко (впоследствии А.Т. Дучинской), где в 1898 г. преподавал космографию; с 1895 по 1903 г. редактировал циркуляры по управлению киев. уч. окр.; с 1896 г. был членом, а затем председателем киевского губернского комитета попечительства о народной трезвости; кроме того, в продолжение многих лет был членом училищной комиссии киев. городской думы, состоял наблюдателем в пансионе при управлении юго-западных [железных] дорог и, как член-учредитель, принимал видное участие в открытии отделения русского общества охранения народного здравия.

В 1899 г. И.В. был командирован в Петербург, для участия в комиссии по преобразованию средней школы, а в 1902 г. для участия в комиссии по выработке программы и учебных планов средней школы на 1902-1903 учебный год.

Во время всемирной выставки в Париже (в 1900 г.) принимал деятельное участие в работах по устройству русского отдела выставки, причем за работы по школьной гигиене И.В. присуждена была золотая медаль, а К. I Г. выдана медаль с патентом. Наконец, нельзя не отметить энергичной деятельности И.В., направленной к оживлению общества вспомоществования нуждающимся ученикам К. I Г. Изданием ежегодных отчетов о состоянии этого общества и разных сообщений о положении гимназии, освещении классов, экскурсиях учеников и т.д., И.В. сумел возбудить интерес общества к жизни гимназии.

Стоя во главе К. I Г., И.В. широко поставил дело образовательных экскурсий для осмотра исторических памятников, картинных галерей, выставок, музеев, фабрик и заводов. Летом под его руководством неоднократно совершались отдаленные научно-образовательные экскурсии. При этом ученикам-экскурсантам предварительно сообщалась основательная подготовка, а после экскурсий от них требовался обязательный отчет о виденном.

Из печатных трудов И.В. Посадского, касающихся разных школьных вопросов, главным образом, школьной гигиены, приводим следующее: 1) Киевская 1-ая гимназия в 1891-1894 г.; 2) Средние учебные заведения киевского учебного округа за десятилетие 1889-1898 гг.; 3) Классные столы Киевской 1-й гимназии; 4) Пищевое довольствие воспитанников пансиона Киевской 1-й гимназии; 5) Освещение классов и пансиона Киевской 1-й гимназии; 6) Исследование воздуха и определение коэффициента вентиляции в классах и пансионе Киевской 1-ой гимназии; 7) Учебно-воспитательный отдел на парижской выставке 1900 года и заграничные школы (в «Сборнике отчетов преподавателей и преподавательниц киевского учебного округа по осмотру парижской выставки 1900 г.»);

Сверх того под редакцией И.В. Посадского вышли два больших литературных сборника: «Памяти Пушкина. Празднование столетней годовщины со дня рождения А.С. Пушкина в учебных заведения киевского учебного округа», в трех томах (Киев, 1900), и «Памяти Гоголя. Чествование памяти Н.В. Гоголя в учебных заведениях киевского учебного округа 21 февр. 1902 г.», а также книги: «Экскурсия учеников Киевской 1-й гимназии на Кавказ в 1901 г.», «Экскурсия учеников Киевской 1-й гимназии в Москву, С.-Петербург, Финляндию, Ревель, Ригу и Вильну в 1902 г.», «Актовые речи» и другие. Для всемирной парижской выставки И.В. издал книгу на французском языке: Le premier gymnase de Kieff. <…>

Выпускнику К. I Г. Н.П. Михайлову запомнились ежегодные литературно-музыкальные вечера, устраиваемые под руководством И.В. Посадского-Духовского (см. ниже).

Поспишиль Алексей Осипович, учитель древних языков (с 1874 г.), православный, родился 3 (15) июня 1851 г. в Чехии, в с. Боище близ г. Кутна Гора (нем. Куттенберг), где и получил первоначальное образование в городском четырехклассном училище. Затем учился с 1863 по 1871 г. в Кралове-Градецкой (нем. Кенигрец) гимназии, в которой проходил и окончил курс учения первым учеником.

Со 2-го класса гимназии стал изучать славянские языки, особенно русский, под руководством проф. Хр. Стефана, известного в то время своими классическими переводами русских писателей (Гоголя, Пушкина, Загоскина, гр. Соллогуба и др.) и за свой славянский патриотизм лишившегося государственной службы.

Последнее обстоятельство, а также Всеславянский съезд, состоявший в 1867 г. по случаю этнографической выставки в Москве, при участии чешских политических деятелей Франца Палацкого и Франтишека Ригера, вызвали среди чешской учащейся молодежи необыкновенный патриотический подъем, который разрешился усиленным изучением русского языка и, наконец, бегством нескольких учеников 7-го класса в Москву, где они были приняты (без аттестата зрелости) в университет.

Мечтал о подобном бегстве и гимназист 7-го класса А.О., но будучи осужден на жизнь в интернате, под строгим надзором духовного начальства, не успел привести в исполнение свой план: вся корреспонденция, которую он завел со своими московскими друзьями и с председателем Славянского общества А.Ф. Гильфердингом, была конфискована, русские книги отобраны и приняты меры к прекращению всяких сношений с Россией. Пришлось смириться и оканчивать курс.

По окончании гимназии в 1871 г. А.О. поступил на философский факультет Пражского университета, откуда снова завязал сношения с русскими друзьями в Москве и Петербурге, а через год, по предложению А.И. Георгиевского, принял место гувернера в доме Сазонова в Москве, предполагая продолжать свои научные занятия в Московском университете. Однако это предположение не осуществилось, вследствие болезни Сазонова, заставившей всю семью уехать на более продолжительное время за границу.

Поэтому А.О. отправился в Петербург, где, по ходатайству [председателя ученого комитета и члена совета Министра народного просвещения] А.И. Георгиевского, был принят по экзамену в число славянских стипендиатов мин. нар. просвещения. Экзамен, которому А.О. подвергался в министерстве, был довольно оригинален: ему предложили перевести отрывок из Илиады и Ливия на немецкий язык, а когда экзаменующийся спросил, почему в *русском* министерстве, для поступления в *славянские* стипендиаты, требуют от него *немецкого* перевода, между тем как он мог бы перевести данные отрывки на русский язык, ему ответили, что работу его будут оценивать немецкие профессора [Историко-филологического института], Лукиан [Адамович] Миллер и Август [Карлович] Наук, приглашенные министерством для занятий со славянскими стипендиатами, но не знающие русского языка; пришлось писать по-немецки.

Этот случай настолько взволновал славянских стипендиатов, что немедленно отправилась депутация к министру, с [чехом] Иосифом (Осипом) Вячеславовичем Фарником (впоследствии директором петербургской 12-й гимназии) во главе, с просьбою не допускать немецких профессоров к чтению лекций для славянских стипендиатов, прибывших в Россию изучать русский язык и русскую словесность и историю, или же предложить им читать лекции по латыни. Просьба славянских стипендиатов была уважена, и профессорам предложено читать лекции по латыни. Кроме специальных занятий у Миллера (по римской словесности) и Наука (по греческой), приходилось слушать лекции в Историко-филологическом институте по предметам классической филологии и в университете по русской словесности и истории.

После усиленных занятий, засвидетельствованных профессорами Миллером и Науком, А.О. был допущен в декабре 1873 г. к экзамену в историко-филологическом факультете петербургского университета на звание учителя древних яз. в гимназиях, а по выдержании такового отправился в Киев, где был определен 28 января 1874 г. учителем греческого яз. в К. I Г. (на место выбывшего [в конце 1873 г. для занятий земскими статистическими работами] учителя Александра Александровича Русова), в которой состоит на службе по настоящее время. В 1909 г., по выслуге 35-летнего срока по учебной части, был оставлен на службе еще на 5 лет.

До этого года все время преподавал оба древних языка, а с 1909 г., по окончательном упразднении греческого яз., преподает один латинский язык. Имеет чин статского советника и орден св. Владимира 4-й степени. Во время своей службы в К. I Г. А.О. исполнял около восьми лет (с 26 янв. 1879 г. по 22 янв. 1877 г.) также и обязанности воспитателя пансиона. Кроме того, в разное время преподавал и в некоторых других учебных заведениях, а именно: немецкий яз. (с 1878 по 1882 г.) в музыкальном училище киевского отдел. русского музыкального общества и латинский яз. в частной женск. гимн. А. Бейтель (с 1898 по 1901 г.), в частной [мужской] гимн. В.И Петра (с 1906 по 1908 г.), на женских курсах проф. В.З. Завитневича (с 1907 по 1909 г.) и на курсах латинского яз. А.Я. Балицкой (с 1907 по 1909 г.). С 1888 по 1892 г. состоял членом испытательного комитета при управлении киев. уч. окр. по древним языкам. В январе 1877 г. был утвержден штатным приват-доцентом Университета св. Владимира по историко-филологическому факультету, для практических занятий со студентами по древним языкам.

Деятельное участие принимал А.О. Поспишиль в делах киевского отдел. общества классической филологии и педагогики, членом которого состоит беспрерывно со дня его открытия (2 апреля 1875 г.) и в заседаниях которого сообщил много рефератов и докладов по разным вопросам классической филологии, вышедших впоследствии отдельными статьями или же напечатанных в сокращенном виде в отчетах общества.<…>

Научно-литературные труды А.О. Поспишиля следующие:

<…> Кроме того, в еженедельной газете «Русский чех», издававшейся в Киеве в течение 1906-1908 гг., А.О. поместил (на чешском яз.) ряд статей по истории и статистике чешских колоний в России, а также большую статью под заглавием «К истории чешско-русских сношений. I. Пребывание чешского поэта Зейера в России».

Наконец, А.О. Поспишилю принадлежит русский перевод нескольких больших «школ» для смычковых инструментов, изданных на шести европейских языках Босвортом (Bosworth et C°) в Лейпциге, как то: «Начальная школа для скрипки (Полутонная система). Сост. проф. музыкальной консерватории в Праге О.О. Шевчик. Opus. 6»; «Школа скрипичной техники (Opus 1) и смычковой техники (Opus 2)», его же; «Упражнения в трели (Opus 7), в перемене позиций и в гаммах (Opus 8) и в двойных нотах (Opus 9)», его же; «Малый Шевчик. Начальная школа для скрипки. Сост. и обработал Ф. Мейер»; «Новая школа для контрабаса. Сост. Фр. Черный, проф. муз. консерватории в Праге».

А.О. Поспишиль оставил заметный след в воспоминаниях киевских педагогов и бывших гимназистов. Был преподавателем у Р.Э. Классона

Постоловский (Постеловский – по А.И. Маркевичу, Постаневский – после небрежных набора и редактуры «Русского Архива») Григорий Фомич, комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1843-1863), из дворян подольской губ., православный, род ок. 1807 года. Окончив курс наук в винницкой гимн., поступил на службу 14 окт. 1835 г. канцеляристом в каменец-подольское губернское правление, но через год был уволен по прошению от этой должности.

В 1837 г., по выдержании экзамена в педагогическом совете К. 2-й Г., получил от Академии художеств свидетельство на звание учителя рисования в уездн. училищах и был определен учителем чистописания и рисования, сперва в радомысльское уезд. дворян. училище, а затем в такое же киево-печерское училище.

14 авг. 1843 г. был перемещен комнатным надзирателем в 1-ый благородный пансион при К. I Г. (с годовым окладом 228 руб. 57 коп. серебром), в каковой должности оставался до 1863 г., когда, согласно прошению, был уволен от службы по болезни, в чине коллежского секретаря, с предоставлением ему права носить в отставке мундир, присвоенный должности. Имел знак отличия беспорочной службы за 20 лет. Во время своей службы в К. I Г. состоял (с 1850 г.) церковным старостою гимназической церкви.

Сверх надзирательской должности исполнял (с 1860 г.) также обязанности смотрителя здания К. I Г., от каковой должности был уволен, согласно прошению, 14 июля 1865 года.

Из воспоминаний А.И. Маркевича о Н.Д. Богатинове (см. выше): *За плохой ответ Постеловский бил ученика кольцом (на указательном пальце) по голове; говорили, что это больно; но я сам не испытывал; а видать – нередко видал.*

Пристюк Тимофей Иванович, учитель математики (1849-1853) и инспектор гимназии (1856-1857), из мещан [и даже из крепостных! – МК], православный, род в 1822 году. Окончив Университет св. Владимира со ст. кандидата, был определен в 1844 г. на службу в винницкую (ныне белоцерковскую) гимназию старшим учителем математики и состоял здесь с 1846 г. также надзирателем общей ученической квартиры.

В 1848 г. перемещен на должность старшего учителя математики в К. 2-ю Г., откуда 3 авг. 1849 г. перемещен на ту же должность в К. I Г. В этом же году определен учителем арифметики и в киев. институт благородных девиц. В 1853 г. был назначен инспектором черниговской гимн. и состоявшего при ней пансиона, в 1854 г. перемещен на такую же должность в житомирскую гимн., а 8 февр. 1856 г. – в К. I Г., в которой с 16 июня 1857 г. исправлял также должность директора. 31 окт. 1857 г. был назначен и.д. директора немировской гимн. и 23 марта 1860 г. утвержден в этой должности. С 7 сент. 1860 г. по 27 окт. 1864 г. состоял директором училищ волынской губ., после чего был переведен на службу в варшавский учебн. округ.

Т.И. Пристюк, исповедовавший наказание розгами, оставил довольно заметный след в воспоминаниях бывших гимназистов (см. ниже)…

Радкевич Илия Гаврилович, учитель математики и физики (1863-1875), православный, род. 17 июля 1836 года. Окончив в 1857 г. курс наук в Университете св. Владимира по физико-математическому факультету со степ. кандидата, поступил на службу 13 янв. 1858 г. младшим учителем в новгород-северскую гимн., а 17 окт. того же года был определен старшим учителем математики и физики в той же гимназии. 10 сент. 1863 г. перемещен на такую же должность в К. I Г., где прослужил 12 лет, причем с 25 авг. 1864 г. по 26 марта 1865 г. исполнял обязанности секретаря педагогического совета, с 10 февр. 1865 г. состоял библиотекарем фундаментальной библиотеки, а с 9 сент. того же года – церковным старостою при домовой церкви гимназии.

Сверх должности учителя К. I Г., с 10 янв. 1870 г. преподавал арифметику и физику в министерской женской гимназии. 10 июня 1875 г. был назначен директором новозыбковского реального учил., а 4 июня 1880 г. – председателем педагогического совета новозыбковской женской гимн.; в этом же году был утвержден почетным мировым судьею новозыбковского судебного мирового округа. В 1882 г. был награжден чином действительного статского советника, а в 1887 г. – орденом св. Станислава 1-й степени.

31 дек. 1890 г. перемещен на должность директора в ровенское реальное учил., где прослужил до 1906 года. За отлично-усердную службу, продолжавшуюся 48 лет, был пожалован орденом св. Анны 1-й степени. <…>

Выпускник К. I Г. Г.Е. Червинский зафиксировал сочные подробности «устройства опытов на коленке» И.Г. Радкевичем (см. ниже).

<…> *Регаме Казимир Людвигович*, (Casimir Régamey), учитель французского яз. (1889-1907), католик, сын учителя К. I Г. Людвига Регаме (см. ниже), род 14 авг. 1859 года. По окончании курса наук в К. I Г. поступил 31 авг. 1879 г. на историко-филологический факультет Университета св. Владимира, который окончил в 1883 г. со званием действит. студента. 2 дек. того же года, выдержав соответствующее испытание, был удостоен звания учителя гимназий и прогимназий, с правом преподавания истории и географии. Желая преподавать свой родной французский язык, К.Л. 19 марта 1884 г. выдержал также установленное испытание по этому предмету и был удостоен звания учителя французского языка. Но еще раньше, именно 27 авг. 1883 г., К.Л. был утвержден в должности учителя французского яз. в киев. духовной семинарии, где состоял на службе до 31 марта 1889 г., когда был назначен на ту же должность в К. I Г.

Эта гимназия сделалась как бы родной для К.Л. Регаме: сначала годы собственного учения, а затем свыше [чем] 18-летнее преподавание в ней, сблизили его с ней настолько, что трудно было представить себе ее без К.Л., образцового и любимого учителя и незаменимого члена ее педагогической корпорации. С 1 янв. 1897 г. К.Л. соединял с должностью учителя К. I Г. также обязанности лектора французского яз. в киев. духовной академии. В период 1890-1894 гг. К.Л. состоял членом хозяйственного комитета К. I Г. и некоторое время был также секретарем педагогического совета.

Особенно, однако, заботился К.Л. о бедных учениках гимназии, принимая деятельное участие в делах общества вспомоществования недостаточным ученикам, делопроизводителем которого он состоял долгое время.

В декабре 1906 г. К.Л. серьезно заболел эксудативным плевритом и, получив заграничный отпуск, поехал на юг Франции (в Ментону), для поправки здоровья. Но целительный воздух южной Франции и лечение за границей не вернули ему сил, и он, больной и слабый, вернулся в Киев и здесь, окончательно сломленный тяжелым недугом, умер 28 апр. 1907 года.

Из воспоминаний Н.П. Михайлова (см. ниже): *К.Л. Регаме, учитель французского языка – такая светлая и прекрасная личность, что не моему слабому перу, не с моим незнакомством с его жизнью, писать его характеристику. <…>*

Регаме Людвиг Рудольфович (L. Régamey), комнатный надзиратель пансиона (1865-1872) и учитель французского языка (1865-1884), швейцарский гражданин (присягнувший на подданство России 3 декабря 1883 г.), евангелик, родился в 1817 г. По прибытии в Россию и по выдержании в 1843 г. экзамена в совете Виленской губернской гимназии, дозволено ему было преподавать французский язык на правах домашнего учителя. 12 апр. 1846 г. попечителем виленского уч. окр. был определен на должность комнатного надзирателя в виленский дворян. институт, а в следующем году, кроме того, назначен в последнем сначала сверхштатным, а затем младшим учителем французского языка. От должности комнатного надзирателя был уволен по прошению 1 мая 1849 года.

1 декабря 1864 г. был определен младшим учителем французского языка в К. 2 Г., откуда через месяц, 5 января 1865 г, перемещен на таковую же должность в К. I Г., где, сверх должности учителя, состоял также комнатным надзирателем благородного пансиона.

В сентябре 1868 г. был назначен членом испытательного комитета при управлении Киевского учебного округа. Кроме того, преподавал французский язык в Фундуклеевской женской гимназии (с 1 сентября 1870 г.), в коллегии П. Галагана (с 29 сентября 1871 г.) и в частной женской гимназии В.Н. Ващенко-Захарченко, впоследствии А.Т. Дучинской (с 1878 по 1893 г.), в которой состоял с 1880 по 1896 г. также членом попечительного совета. В апреле 1872 г., за выслугою 25 лет, был уволен от должности надзирателя пансиона, но оставался учителем французского языка еще 12 лет, до 18 мая 1884 г., когда вышел в отставку [с государственной службы] в чине статского советника и с орденом св. Владимира 4-й степени. Умер 26 апреля 1900 г.

Романович-Славатинский Александр Васильевич, впоследствии орд. профессор по кафедре государственного права в Университете св. Владимира. По окончании курса наук по юридическому факультету того же университета со ст. кандидата и с оставлением для приготовления к профессорскому званию был определен 5 февр. 1857 г. сверхштатным старшим учителем в К. I Г., с прикомандированием для преподавания к университету. От должности учителя гимназии был уволен 11 дек. 1859 г., когда, по получении степени магистра, был утвержден адъюнктом по занимаемой им кафедре в университете.

Об этом периоде жизни А.В. в его автобиографической записке, помещенной в «Биографич. словаре профессоров Университета св. Владимира» (К., 1884), сказано следующее:

"Романович-Славатинский выдержал с успехом экзамен на степень кандидата прав в июне 1855 г. и, по представлении кандидатской диссертации по кафедре [законов государственного благоустройства] проф. [Николая Дмитриевича] Иванишева «О государственных долгах», утвержден был в этой степени. На эту работу факультет обратил внимание, и когда в 1856 г. министр нар. просв. Норов предложил совету выбрать молодых людей для приготовления к профессорскому званию, юридический факультет остановился на Р.-С-ком, как на кандидате для приготовления по кафедре государственного права, оставшейся вакантной за смертью адъюнкта [по кафедре русских государственных законов Ивана Мартинияновича] Вигуры в марте 1856 года.

В это время не существовало ни стипендиатства, ни приват-доцентуры; оставленные для приготовления к профессорскому званию молодые люди были прикомандированы сверхштатными старшими учителями к одной из киевских гимназий; под руководством одного из профессоров они должны были готовиться к магистерскому экзамену и читать лекции в университете, исполняя все обязанности штатных преподавателей. Р.-С. был прикомандирован к К. I Г. и поручен руководству и наблюдению проф. Иванишева. Руководство это было номинальное, но очень благожелательное и доброе.

5 ноября 1856 г. прочтена была первая лекция. Эта лекция была горячим протестом против господствовавшего тогда преподавания юридических наук по Своду; в ней излагалось pium desiderium [(благое пожелание)] любознательного студента о задачах науки государственного права, о методах ее разработки и преподавания.

Проникнутая молодыми упованиями в силу науки и в значение университетского преподавания она имела успех. После нее началось обычное чтение курса, параллельно с приготовлением к магистерскому экзамену и собиранием материала к магистерской диссертации… Магистерский экзамен был успешно выдержан в 4-х комиссиях в 1858 г., а в 1859 г. была окончена и напечатана и диссертация, под заглавием «Исторический очерк губернского управления в России, от первых преобразований Петра Великого до издания учреждения о губерниях в 1775 г.».

На основании рецензии этого труда, представленной в юридический факультет проф. [по кафедре римского права Каллиником Андреевичем] Митюковым, работа признана удовлетворительной, и по защищении ее в августе 1859 г. Р.-С. удостоен был степени магистра государственного права.

Попечитель Пирогов потребовал, чтобы, до представления Р.-С. в адъюнкты по кафедре государственного права, им прочтены были в полном собрании совета [университета] две пробные лекции – одна по собственному выбору, а другая по назначению факультета. Эти лекции и были прочтены: первая – «Сравнительно-исторический очерк крепостного права и его постепенной отмены в различных государствах» и вторая – «Государственное устройство в Соединенных штатах». На обеих лекциях присутствовал попечитель Пирогов.

Он настолько остался доволен ими, что написал тогдашнему декану юридического факультета Иванишеву о представлении Р.-С. в адъюнкты по занимаемой им кафедре. Представление состоялось, и в октябре 1859 г. Р.-С. был избран адъюнктом, с увольнением от должности сверхштатного старшего учителя К. I Г.”.

См. ниже воспоминания А.В. Романовича-Славатинского о К. I Г.

Ромер Павел Эмилиевич, впоследствии орд. профессор по кафедре чистой математики в Университете св. Владимира. По окончании курса математических наук в том же университете со ст. кандидата был определен 31 марта 1858 г. сверхштатным старшим учителем в К. I Г., с прикомандированием для преподавания к университету.

От должности учителя К. I Г. был уволен 17 ноября 1861 г., когда, по получении степени магистра, был утвержден адъюнктом по кафедре чистой математики в Университете св. Владимира. См. «Биографич. словарь профессоров Университета св. Владимира» (К., 1884).

Ростовцев Иван Яковлевич, учитель латинского яз. (1851-1865) и инспектор гимназии (1852-1865), сын бывш. учителя К. I Г. Я.П. Ростовцева, из дворян черниговской губ., род в 1831 г., имел в волынской губ. участок казенной земли в 299 дес. и дом в Киеве. Среднее образование получил в черниговской гимн., в которой окончил курс в 1847 году.

По окончании курса наук в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету с званием действительного студента и с правом получить степень кандидата был определен 12 июля 1851 г. и.д. младшего учителя параллельных классов в белоцерковскую гимн., с откомандированием для преподавания в К. 2-ю Г., а 31 окт. того же года перемещен на такую же должность в К. I Г.

В этом же году был удостоен степени кандидата и, за рассуждение «Exponantur cognitiones, quibis opus sit uti fabulas Terentii lecturis», награжден был золотой медалью. 11 окт. 1852 г., сверх должности по гимназии, был определен учителем русского яз. в институт благородных девиц. В последней должности состоял до 1859 г., в котором (26 июля) за отлично-усердную службу Государыня Императрица всемилостивейше соизволила пожаловать ему подарок – перстень с бриллиантом. 12 авг. 1853 г. И.Я. был перемещен старшим учителем латинского яз. в той же гимн., а 5 окт. того же года избран и утвержден членом-сотрудником временной комиссии для разработки древних актов высочайше утвержденной при киев., подольск. и волын. генерал-губернаторе.

В 1857 г. попечитель киев. уч. окр., обратив внимание на особенное усердие и заботливость, с какими И.Я. преподавал свой предмет ученикам К. I Г., оказавшим по сему предмету значительные успехи, объявил ему свою искреннюю благодарность. С 27 февр. 1859 г., сверх учительской должности, И.Я. был определен старшим комнатным надзирателем в благородный пансион при К. I Г.

В последней должности пробыл только до 10 авг. того же года, по причине отъезда за границу, куда был командирован с ученою целью на полтора года, с выдачею ему на путевые и научные издержки по 700 руб. серебром в год; 3 марта 1861 г. срок командировки был продолжен ему еще на 4 месяца. На время командировки И.Я. преподавание латинского яз. в К. I Г. было поручено учителю К. 2-й Г. Феодорову. По возвращении из-за границы, 19 окт. 1861 г., И.Я. был избран руководителем кандидатов-педагогов для практических занятий по латинскому языку.

17 окт. 1862 г. ему было поручено исправление должности инспектора К. I Г., в каковой должности был утвержден 16 ноября того же года и оставался в ней до 1865 года. В течение этого года не раз исполнял командировки высшего начальства: так, в декабре 1863 г. был поручен ему осмотр народных училищ; в 1864 г. он был командирован в волынскую губ. для устройства народных училищ, где и находился с 17 окт. по 10 ноября; в декабре того же года был командирован для осмотра приходских и народных училищ в киев., подол. и волын. губерниях.

Кроме того, 13 окт. 1864 г. было предложено ему принять в свое заведывание педагогическую школу для приготовления учителей народных училищ, а 2-го ноября того же года он был определен секретарем попечительского совета. 16 янв. 1865 г. И.Я. был назначен директором училищ волынской губ., 27 авг. 1866 г. – начальником житомирской женской гимн., а 11 июля 1868 г. – окружным инспектором киев. уч. округа. В последней должности пробыл до 7 апр. 1879 г., когда был назначен помощником попечителя киев. уч. округа. Состоя в должности окружного инспектора, И.Я. управлял с 22 сент. по 5 ноября 1869 г. учительской семинарией в Киеве и с 25 авг. по 9 ноября 1872 г. киев. женской гимназией.

В 1874 г. был произведен в чин действительного статского советника, в 1883 г. пожалован орденом св. Анны 1-й ст. и в 1887 г. – орденом св. Владимира 2-й степени. В 1887 г. был командирован в Петербург, для принятия участия, в качестве члена от министерства нар. просв., в выработке новых правил по заведыванию начальными училищами в тех губерниях Европейской России, где не введены земские учреждения. В то же время принимал участие в совещании по вопросам, возникшим в особой высшей комиссии по пересмотру действующих в империи законов о евреях. В 1889 г. состоял председателем историко-филологической испытательной комиссии при казанском университете. Прослужив в киев. уч. округе около 40-ка лет, И.Я. 31 янв. 1890 г. был назначен попечителем оренбургского уч. округа.

Не считая себя вправе характеризовать деятельность И.Я. Ростовцева как окружного инспектора и помощника попечителя киев. уч. округа, мы не можем обойти молчанием в высшей степени плодотворную и полезную деятельность его как члена и председателя киев. отделения общества классической филологии и педагогики, в первом (учредительном) заседании которого, 2 апр. 1875 г., И.Я. был избран товарищем председателя, а в следующем году – председателем общества, в каковой должности оставался до 1890 года. Оказывая своим трудолюбием и гуманным обращением благотворное влияние на своих сослуживцев и сотрудников, И.Я. сумел привлечь к работе не только учителей, но и учеников.

В этом отношении достопамятна речь его, сказанная 8 дек. 1881 г. в заседании отделения по случаю кончины Н.И. Пирогова. Охарактеризовав светлую личность и деятельность покойного и перечислив его заслуги, И.Я. предложил членам отделения почтить память его учреждением при отделении стипендии его имени. Из собранной от членов отделения суммы, пополненной вдовою покойного А.А. Пироговою, образовалась стипендия, на проценты с которой постановлено было приобретать ценные книги в награду ученикам гимназий за лучшие сочинения по классической древности, на темы, задаваемые отделением.

Здесь уместно будет привести имена учеников К. I Г., получивших похвальный отзыв или премию Пирогова за представленные ими сочинения. В 1880 г. были удостоены похвального отзыва: сочинение ученика 8-го класса Валериана Шеффера (впоследствии профессора московского университета по кафедре классической филологии) на тему «Жизнь и деятельность Плутарха по Солону» и сочинение ученика 6-го кл. С. Верещагина – стихотворный перевод из 2-ой книги Овидиевых «Fasti» [(«Анналов»)].

В 1882 г. похвального отзыва удостоено было сочинение уч. В. Певницкого. В следующие годы премию Пирогова получили: ученик 8-го кл. М. Гребенников за сочинение «Греческие колонии в Малой Азии до персидских войн по Геродоту», уч. М. Ростовцев (ныне профессор петербургского университета) за сочинение «Об управлении римскими провинциями в последний период республики», уч. К. Радченко (впоследствии проф. нежинского института) за сочинение «Трибные и центуриальные реформы Сервия Туллия», а похвальный отзыв получили ученики Козакевич, Н. Шахнюк, К. Новацкий и П. Майман.*

Другая сторона полезной деятельности И.Я. Ростовцева, как председателя киев. отдел. общества классической филологии и педагогики, была направлена к изданию трудов членов этого общества.

---

* Из отмеченных выше старательных учеников Валериан Александрович Шеффер окончит К. I Г. в 1880-м (с золотой медалью), Сергей Андреевич Верещагин и Владимир Васильевич Певницкий (последний – с з. м.) – в 1882-м, Михаил Яковлевич Гребенников (с з. м.) – в 1883-м, Михаил Иванович Ростовцев (с серебр. м.) – в 1888-м, Константин Федорович Радченко (с з. м.) – в 1890-м; Александр Севастьянович Козакевич – в 1886-м, Николай Дмитриевич Шахнюк – в 1890-м, Константин Северинович Новацкий и Пинхас Давидович Майман – в 1891 году.

Еще в 1875 г. И.Я., в качестве товарища председателя, сообщил в одном из заседаний общества, что он приготовил к печатанию труд «Избранные речи Цицерона», и просил содействия членов общества к его изданию. Тогда же была избрана редакционная комиссия, в состав которой вошли И.Н. Корольков, Л.М. Студенецкий и А.О. Поспишиль.

Вскоре после этого среди членов отделения возникла мысль предпринять при участии своих членов, а также учителей иногородних гимназий, две работы, а именно: 1) перевести на русский язык сочинение чешского ученого Фр. Велишского «Быт греков и римлян» и 2) составить по Бензелеру [(т.е. по изданию немецкого ученого Густава Эдуарда Бензелера)] греческо-русский словарь. В переводе сочинения Велишского приняли участие, кроме председателя И.Я. Ростовцева, взявшего на себя общую редакцию его, В.И. Петр*, А.О. Поспишиль, Н.П. Задерацкий, Л.М. Студенецкий, М.Г. Ружицкий и И.О. Урбан. Перевод был изготовлен в довольно короткий срок, и рукопись была отправлена в Прагу самому Велишскому, который изъявил готовность издать русский перевод своей книги на свой счет в Праге, где он и появился в 1878 году. Гораздо больших хлопот стоило издание греческо-русского словаря.

Чтобы осуществить это предприятие в самое непродолжительное время, И.Я. Ростовцев привлек к нему как можно больше сил. В составлении словаря приняли участие А.О. Поспишиль, Н.П. Кустов, Т.В. Тихомиров, Л.М. Студенецкий, И.О. Урбан, А.Ф. Сергеев и М.Г. Ружицкий; к ним присоединились, по приглашению председателя общества, следующие учителя иногородних гимназий: Васильев, Фирсов, Горинек и Стрибульский. Благодаря стараниям редакционной комиссии, в состав которой вошли А.О. Поспишиль, Л.М. Студенецкий и Т.В. Тихомиров, греческо-русский словарь вышел в свет в 1881 г., причем министр нар. просв. граф Д.А. Толстой, по ходатайству попечителя киев. уч. окр. С.П. Голубцова, разрешил отпустить на покрытие расходов по изданию словаря 3000 руб. из сумм министерства.

Но этим не закончилась издательская деятельность И.Я. Ростовцева.

В заседании 8 дек. 1881 г., посвященном памяти Н.И. Пирогова, И.Я. Ростовцев предложил членам отделения печатать свои труды по классической филологии в циркулярах уч. округа, как это делалось во время управления киев. уч. округом чествуемого Н.И. Пирогова, установившего этот обычай с целью возбудить в учителях гимназий стремление к литературной деятельности. Испросив на это согласие бывшего тогда попечителя С.П. Голубцова, председатель горячо призывал членов отделения к такой деятельности, и в результате получилось значительное количество трудов, которые, по отпечатании в циркулярах, составили в отдельном издании 3 тома «Сборника статей по классической древности» [1884-1887]. <…> Все эти томы «Сборника» подвергались рассмотрению ученого комитета мин. нар. просв. и были рекомендованы гимназиям, как полезное чтение для учеников старших классов.

Стремясь дать учащим и учащимся, по крайней мере, перевод хорошего иностранного руководства по римским древностям, И.Я. предложил членам отд. общ. класс. филол. и педаг. перевести и издать капитальный труд П. Виллемса «Римское государственное право», который и был издан в 1888-1890 гг. в двух томах.

---

* Вячеслав Иванович Петр родился в 1848 г. в Чехии, преподавал в К. I Г. древние языки в 1873-74 гг., далее был перемещен в К. 2-ю Г., а в 1879-м – в одесскую 3-ю гимназию и далее по другим учебным заведениям Киевского учебного округа. В 1904 г., оставив должность директора киево-печерской гимназии, откроет частную мужскую гимназию, которой будет управлять до 1909 г, когда в результате отставки Вячеслава Ивановича она будет преобразована в киевскую группы родителей гимназию. В том же году станет профессором по кафедре греческой словесности в нежинском историко-филологическом институте князя Безбородко.

В переводе этого ценного труда приняли участие И.Я. Ростовцев и члены отделения [приват-доцент по кафедре римской словесности] Степан Иванович Бех, П.Н. Бодянский и [учитель древних языков] Яков Герасимович Мищенко, причем редакция издания и составление библиографических дополнений была исполнена П.Н. Бодянским.

Когда 31 янв. 1890 г. И.Я. Ростовцев был назначен попечителем оренбургского уч. окр. и вследствие этого оставил звание председателя киев. отдел. общества классич. филол. и педагогики, то члены отделения, во внимание к его великим заслугам, собравшись в экстренном заседании 15 февр. 1890 г. под председательством товарища председателя проф. И.А. Лециуса, постановили избрать И.Я. почетным членом общества и преподнести ему диплом на это звание. <…>

В заключение следует заметить, что И.Я. Ростовцев принимал живое участие также в делах киев. славянского благотвор. общества, как член совета этого общества, причем за услуги, оказанные на поприще школьного образования славян, был пожалован черногорским орденом Даниила I за независимость Черной Горы 1-й степени. <…>

Н.Д. Богатинов очень похвально отзывался о «настоящем инспекторе» И.Я. Ростовцеве, быстро наведшем порядок в К. I Г. после «инспекторства» А.Ф. Андрияшева (см. выше).

Рощин Петр Емельянович, учитель математики (1853-1857), сын чиновника, православный, род. ок. 1826 года. Окончил в 1853 г. курс наук в петербургском главном педагогическом институте по физико-математическому факультету с званием студента и с серебряною медалью. 18 июля того же года был определен старшим учителем математических наук в К. I Г., в каковой должности пробыл до 1857 года.

Из воспоминаний проф. А.В. Романовича-Славатинского (см. ниже):

<…> Вышел он [(Рощин)] из К. I Г. чуть не оплакиваемый своими учениками, повздорив с эксцентричным попечителем Ребиндером, который в наказание приговорил его быть учителем Лубенского приходского училища.

Рупневский Густав Лукианович, комнатный надзиратель пансиона (1857-1862) и учитель географии (1859-1863), из дворян волынской губ., католик, род в 1832 году. Учился в юрьевском университете и, по выдержании испытания, был удостоен в 1854 г. ст. кандидата физико-математического факультета, но без права на чин, соответственный приобретенной им ученой степени. 20 дек. 1857 г. был определен комнатным надзирателем в благородный пансион при К. I Г., в каковой должности оставался до 1862 года. Сверх должности надзирателя был назначен с 13 окт. 1859 г. младшим (а с 1862 г. старшим) учителем географии в той же гимназии. В 1860 г. был командирован на вакационное время за границу, для осмотра учебных пособий на амстердамской выставке. Кроме того, киев. педагогическим комитетом был избран в руководители кандидатов-педагогов для практических занятий по географии. 29 окт. 1863 г. был уволен от службы[, как сопричастный к мятежным начинаниям, и выслан из Киева на службу во внутренние губернии].

Селиханович Александр Брониславович, учитель философской пропедевтики и русской словесности (с 1906 г.), род. 15 янв. 1880 г. в м. Хабне, киев. губернии. По окончании хабенского народного училища поступил в первый класс мозырской прогимн., а затем перешел в нежинскую гимн., которую и окончил в 1898 г. с золотой медалью. В том же году поступил в нежинский историко-филологический институт, откуда, однако, в 1901 г. перевелся на историко-филологический факультет Университета св. Владимира.

В 1902 г. был уволен за участие в студенческих волнениях на два года; в 1904 г. был принят обратно и в декабре 1905 г. окончил курс, причем за сочинение «Учение Канта и Юма о причинности» был удостоен серебряной медали. По окончании университета был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре философии.

В феврале 1906 г. занял место учителя русской словесности в женск. коммерч. училище Л.Н. Володкевич, а осенью того же года был определен учителем философской пропедевтики в К. I Г., где в 1907 г. был допущен также к преподаванию русской словесности; в обеих должностях состоит и по настоящее время. Кроме того, преподает философскую пропедевтику также в К. 4-й Г. и в коллегии П. Галагана. Начиная с 1906 г. принимает деятельное участие в обществе распространения образования в народе, читая общедоступные лекции по литературе, психологии и философии.

Из «Книги жизни» Константина Паустовского (см. ниже):

От Селихановича мы узнали многое. Он открыл нам не только русскую литературу. Он открыл нам эпоху Возрождения и европейскую философию XIX века, сказки Андерсена и поэзию «Слова о полку Игореве». До тех пор мы бессмысленно вызубривали наизусть его древнеславянский текст. У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызывали восхищение широтой человеческого разума. <…>

Серму [(Сэрму)] Франсуа Юльевич (François Sermoud), учитель французского яз. (с 1904 г.), католик, род. 4 окт. 1874 г. в г. Лозанне, в Швейцарии. По окончании в 1899 г. фрейбургской педагогической школы (в Швейцарии) прибыл в Россию и с 25 ноября 1901 г. поступил (по найму) учителем французского яз. в кременчугское реальное училище, откуда 9 июля 1903 г. перешел в острожскую гимназию. Выдержав в октябре того же года в испытательном комитете при киев. уч. округе испытание на звание учителя французского яз. гимназий и прогимназий, был перемещен 6 сент. 1904 г. на ту же должность в К. I Г., в каковой состоит и по настоящее время. В 1908 г. утвержден в чине коллежского асессора и награжден орденом св. Станислава 3-й степени. <…>

Из «Книги жизни» Константина Паустовского:

<…> Сэрму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски:

– Что видим мы на этой интересной картинке?

Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзан или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки. Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо Сэрму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса.

Синицкий Даниил Александрович, учитель русского языка и словесности (1871-1882), сын священника подольской губ., родился 11 ноября 1835 г. Среднее образование получил в подольской духовной семинарии, а высшее в киевской духовной академии, где окончил курс наук в 1861 г. со званием магистра богословия.

До 1870 г. служил сперва в Киеве, а затем в Каменец-Подольске в духовной семинарии, в качестве учителя русского и латинского языков, а также богословия и учения о богослужебных книгах. В то же время состоял также членом Историко-статистического комитета для описания церквей и монастырей Подольской епархии. В 1866 и 1867 гг. состоял членом правления семинарии.

С 15 декабря 1870 г. был назначен учителем русского и церковнославянского языков и словесности в холмскую мужскую гимн., а с 14 мая 1871 г. перемещен на такую же должность в К. I Г., где прослужил 11 лет, до 1 сентября 1882 г., причем с 15 августа 1882 г. преподавал русский язык и словесность также в Фундуклеевской женской гимн., а с 1880 г. состоял членом испытательного комитета при Киевском учебном округе. С 1 сентября 1882 г. был назначен инспектором народных училищ.

<…> 31 марта 1897 г. Д.А. Синицкий был назначен на должность начальника Фундуклеевской и киево-подольской женских Мариинских гимназий, в каковой должности пробыл до 1906 г. Умер после тяжкой болезни 21 декабря 1907 г., имея чин действительного статского советника и ордена св. Станислава 1-й степени, св. Владимира 3-й степени; кроме того был награжден также болгарским орденом со звездою «за гражданские заслуги» и сербским орденом св. Саввы 2-й степени. <…>

Смоленский Вацлав Казимирович, эконом пансиона (1848-1862) и надзиратель за приходящими учениками, уроженец подольской губ., католик, род в 1813 году. Поступил на службу 9 июня 1837 г. в комиссию для ревизии действий киев. дворян. депутатских собраний киев., подол. и волын. губ., сначала писцом, а затем и.д. помощника протоколиста и казначея. С 31 дек. 1844 г., по окончании действий центральной комиссии, был оставлен вне службы. В июне 1845 г. был вновь определен на службу в киев. палату государственных имуществ канцелярским служителем и через 2 года произведен в губернские секретари. С 31 дек. 1848 г. был назначен экономом в 1-й благородный пансион при К. I Г., в каковой должности пробыл по 26 янв. 1862 г., когда был определен надзирателем за приходящими учениками той же гимназии. В 1865 г. был перемещен надзирателем за учащимися в черниговскую гимн., в каковой должности пробыл по 1876 год.

Выпускник К. I Г. А.И. Рубец оставил пикантные подробности об экономе 1-го пансиона В.К. Смоленском, его сестре Текле и племяннике Северине, которые заведовали провизией (см. ниже).

Старков Алексей Васильевич, инспектор К. I Г. (1886-1903), из дворян, род. 17 марта 1845 года. По окончании Университета св. Владимира по историко-филологическому факультету со степенью кандидата был назначен в 1871 г. учителем русского яз. в глуховскую гимназию, где преподавал также и латинский яз. в 1-м классе. В 1872 г. был перемещен учителем русского яз. в киево-подольскую прогимназию (впоследствии К. 3-ю Г.), в которой протекла большая часть его педагогической деятельности. В 1875 г. на А.В. было возложено исполнение обязанностей инспектора К. 3-й Г., в каковой должности он пробыл 11 лет, до 10 ноября 1886 г., когда был назначен инспектором К. I Г.

В последней должности А.В. пробыл почти 17 лет, причем с 1894 г. состоял также председателем педагогического совета частн. женской гимназии А.А. Бейтель. 26 июня 1903 г. А.В. был перемещен на должность директора в К. 3-й Г., в которой долго служил раньше и в которой состоял директором по день смерти, последовавшей 16 января 1911 года. Имел чин действительного статского советника и орден св. Владимира 3-й степени.

<…> *Стеблин-Каменский (Каминский) Егор Павлович*, учитель русского яз. и словесности (1839-1854) и инспектор гимназии (1849-1854), из дворян полтавской губ. (за отцом его числилось в золотоношском уезде 40 душ крестьян и 350 дес. земли, а за матерью 2 дес. земли при г. Полтаве), православный, род 17 апр. 1815 года.

По окончании курса наук в харьковском университете со ст. студента в 1835 г. поступил на службу 26 июня 1836 г. младшим учителем в каменец-подольскую гимназию. В 1837 г. был определен и.д. старшего учителя в винницкую гимн., откуда в следующем году был назначен снова в каменец-подольскую гимн. и.д. старшего учителя русского языка. Затем, по выдержании экзамена в Университете св. Владимира на звание учителя русского яз. и словесности в гимназиях был перемещен 28 ноября 1839 г. к таковой же должности в К. I Г. В 1842 г. был награжден бриллиантовым перстнем.

С 17 авг. 1843 г. по 1 авг. 1850 г. состоял [также] учителем русского яз. в киев. институте благородных девиц. Сверх того, с 23 окт. 1845 г. по 19 янв. 1847 г. исполнял должность старшего комнатного надзирателя в 1-м благородном пансионе при К. I Г., а 23 июня 1849 г. был определен инспектором того же пансиона и самой гимназии, в каковой должности пробыл до 1854 года. В 1850 г., «вследствие найденного министром нар. просв. (князем П.А. Ширинским-Шихматовым), при личном обозрении, в 1-м благородном пансионе во всех частях порядка», объявлена была ему благодарность министра. В 1854 г. Е.П. был назначен директором училищ киев. губ., а 2 дек. 1856 г. – директором нежинского лицея князя Безбородко и нежинской гимназии, где был произведен в действ. статские советники. В мае 1866 г. оставил службу по минист. нар. просв. и переехал в Вильну, где получил место правителя канцелярии генерал-губернатора северо-западного края. Впоследствии занял пост виленского губернатора и был пожалован чином тайного советника. (См. «Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко». Изд. 2-е, СПб., 1881).

Из воспоминаний М. Чалого. «Вторая киевская гимназия»:

Крупные назначения по округу, в попечительство князя Васильчикова с княгиней Екатериной Алексеевной, совершались в круге аристократии в Липках, к обществу которой попович Гренков не принадлежал; там фигурировал инспектор 1-й гимназии Е.П. Стеблин-Каменский, хотя сам не аристократ, но женатый на аристократке. Наш Николай Михайлович [Гренков] должен был уступить насиженное местечко своему великосветскому сопернику и занять его место – инспектора 1-й гимназии.

Вступив [в 1854 г.] в должность директора [2-й киевской гимназии], Егор Павлович сейчас же отменил сечение по субботам и вообще сильно ослабил бразды правления, уже чересчур натянутые [бывшим инспектором, и.о. директора] Гренковым. Стеблин-Каменский свысока относился к своим новым сослуживцам и очень небрежно – к своим обязанностям. Приходил он в гимназию только на большой перемене – побеседовать с преподавателями и никогда не заглядывал в классы. Стараясь поддержать связи с [аристократическими] обывателями Липок, но не имея на то материальных средств, он промышлял счастливой игрой в карты, так как казенного жалованья, по его словам, не хватало даже на жалованье прислуге.

С назначением Могилянского [в январе 1855 г.] директором Лицея князя Безбородка ему [Стеблин-Каменскому] предложена была вакансия инспектора казенных училищ, и только тогда Гренкову удалось получить директорство во 2-й гимназии, которое принадлежало ему, по праву долголетнего служения этому заведению, еще прежде.

Стефанович Федор Леонтьевич, учитель параллельных классов (1866-1872), сын священника, род. в 1843 году. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по историко-филолог. факультету со званием действительного студента был определен с 16 сент. 1866 г. сверхштатным учителем в К. I Г. без жалованья. В октябре того же года был удостоен степени кандидата по историко-филолог. факультету, а 27 дек. того же года назначен учителем параллельных классов в К. I Г., в которой преподавал русский и латинский яз. до 1872 года.

Сверх того, с 1 окт. 1867 г. состоял учителем географии в Фундуклеевской женск. гимназии. 5 авг. 1872 г. был уволен от учительской должности, по случаю избрания на должность могилевского мирового судьи.

Из воспоминаний Н.Д. Богатинова (см. выше): *<…> [Учитель] Стефанович тоже, как и я, делал: носил бороду, обривая усы.*

Стороженко Николай Владимирович, директор К. I Г. (с 1909 г.), из потомственных дворян полтавской губ., православный, род 29 мая 1862 г. в с. Великой Круче, пирятинского уезда, где он владеет 2400 дес. земли; кроме того, имеет каменный дом в Киеве на Пушкинской ул., №36; женат на княжне Варваре Давидовне Жеваховой. Учился в К. 2-й Г., курс которой окончил в 1881 г. с золотой медалью. В том же году поступил в Университет св. Владимира, где окончил полный курс наук в 1885 г., и 24 мая 1886 г. утвержден был в степени кандидата историко-филологического факультета по историческому отделу.

С 28 марта 1887 г. по 28 марта 1889 г. состоял, по избранию факультета, своекоштным стипендиатом для приготовления к профессорскому званию. В 1888 г., по выдержании в петербургском университете соответствующего испытания и по прочтении двух весьма удовлетворительных пробных лекций, удостоен был звания приват-доцента по кафедре русской истории.

После такой научной подготовки Н.В. по семейным обстоятельствам начал службу с 1 февр. 1889 г. инспектором народных училищ 2-го района черниговской губ., откуда в 1891 г. был перемещен на таковую же должность к состоящей при управлении киев. уч. окр. инспекции народных училищ юго-западного края, причем поручено было ему заведывание народными училищами, входящими в состав 4-го района киев. губернии. В последней должности состоял 4 года.

В продолжение этого времени Н.В. был избран (13 сент. 1893 г.) действительным пожизненным членом киев. отделения русского музыкального общества и утвержден (12 ноября 1893 г.) в звании члена-сотрудника комиссии для разбора древних актов в архивах правительственных мест и монастырей киев., подол. и волын. губерний.

15 ноября 1895 г. Н.В. был назначен директором К. 4-й Г., в каковой должности прослужил по 25 августа 1909 года. В течение этого времени был произведен в статские советники (в 1896 г.), пожалован орденом св. Владимира 4-й ст. (в 1903 г.), а 1 янв. 1908 г. – чином действительного статского советника. В 1898 г. под наблюдением Н.В. было выстроено, по проекту инженер-полковника Н.И. Чекмарева, собственное здание для К. 4-й Г. на Б. Васильковской ул., вполне удовлетворяющее всем требованиям школьной гигиены и являющееся вообще одним из лучших школьных зданий киев. уч. округа.

2 марта 1904 г. был назначен, сверх занимаемой должности директора К. 4-й Г., начальником киев. министерской женск. гимн. (ныне гимн. св. княгини Ольги). В январе 1909 г., по распоряжению попечителя киев. уч. окр., был назначен членом комиссии по устройству торжеств празднования столетнего юбилея со дня рождения Н.В. Гоголя и уполномоченным представителем от уч. окр. в киев. городской училищной комиссии и городской думе при обсуждении вопроса о порядке этого юбилейного чествования; кроме того, было предложено ему принять участие в комиссии по рассмотрению представленных на конкурс статей о значении полтавской победы 27 июня 1709 г. для раздачи ученикам начальных и средних учебн. заведений.

25 авг. 1909 г. Н.В. был перемещен на должность директора в К. I Г., в которой 1 янв. 1911 г. был награжден орденом св. Владимира 3-й ст., а по случаю посещения К. I Г. 17 марта 1910 г. сербским королем Петром I удостоен сербского ордена Белого орла 3-й степени.

Параллельно с этою научно-педагогическою деятельностью Н.В. Стороженка идет его общественная деятельность. Так, с 1887 по 1910 г. он восемь раз подряд был избираем, каждый раз на трехлетие, в почетные мировые судьи по пирятинскому судебно-мировому округу и столько же раз (с 1889 по 1910 г.) был избираем пирятинским уездн. собранием, так же каждый раз на трехлетие, в состав уездн. земских гласных. Кроме того, Н.В. состоял в звании гласного киев. городской думы в продолжение двух четырехлетий (1902-1905 и 1906-1909) и, по избранию думы, членом городской училищной комиссии и заведующим городскою бесплатною читальнею имени Н.В. Гоголя.

В апреле 1909 г., так же по избранию киев. городской думы, был уполномочен на участие в составе согласительной комиссии при распорядительном комитете киев. отдела русского военно-исторического общества и на представительство от г. Киева на торжествах в Полтаве по случаю 200-летия со дня полтавской победы, причем в память этого события получил высочайше учрежденную медаль с надписью: «О Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы Россия».

Далее, при удостоверении пирятинского уездн. отдел. полтавского епарх. училищного совета от 20 ноября 1909 г., Н.В. получил, как член этого отделения, серебряную медаль на двойной Владимирской и Александровской ленте, высочайше утвержденную в память исполнившегося 13 июня 1909 г. 25-летия со времени восстановления Государем Императором Александром III церковной школы.

Н.В. Стороженко состоит членом исторического общества Нестора-летописца, в котором неоднократно читал доклады, председателем киевск. отделения галицко-русского благотворительного общества, почетным попечителем двухклассной церковно-приходской школы и одноклассного земского училища в с. Великой Круче, пирятинского уезда, директором киев. отделения музыкального общества, [состоит] наблюдающим за пансионом юго-зап. жел. дорог и т.д.

<…> Кроме того, Н.В. был постоянным сотрудником исторического журнала «Киевская Старина», где напечатал ряд статей, заметок и материалов, большей частью без подписи или за инициалами; далее, помещал статьи исторического, политического и педагогического характера в «Историческом Вестнике», «Русской Мысли» и в газетах «Киевлянин» и «Жизнь и Искусство». С 1902 г., вместе со старшим братом своим, Андреем Владимировичем, издает свой фамильный архив под заглавием: «Стороженки», который появился в настоящее время в семи томах. За поднесение Государю Императору пяти томов, ранее вышедших, удостоился 5 февр. 1909 г. высочайшей благодарности.

Н.В. Стороженко удостоился немалого внимания, под прозвищем «Маслобой», в автобиографическом произведении Константина Паустовского «Книга жизни».

Студенецкий Лука Максимович, учитель древних языков (1874-1885), уроженец тамбовской губ., из духовного звания, родился в 1851 г. По окончании курса наук в петербургском историко-филологическом институте был назначен в 1874 г. учителем древних языков в К. I Г., в каковой должности состоял 11 лет, по 1885 г., причем 10 лет (1875-1885) заведывал фундаментальною и ученическими библиотеками, а также постоянною выставкою учебных пособий, устроенною при гимназии. В 1880 г. был назначен членом испытательного комитета при управлении Киевского учебного округа.

С 1 августа 1885 г. перемещен на службу в Московский учебный округ, где был сначала учителем московской 2-й гимн., а затем инспектором рязанской прогимн. и, наконец, директором владимирской гимн. (1889-1895). Умер 15 марта 1895 г. Во время своей службы в К. I Г. Л.М. Студенецкий принимал участие в составлении греческо-русского словаря, изданного в 1881 г. киевским отделением Общества классической филологии и педагогики.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Субоч Владимир Фаддеевич, учитель древних яз. и воспитатель пансиона (с 1906 г.), род. 3 сент. 1874 г. в виленской губернии. По окончании курса учения в виленской 2-й гимн. с золотой медалью поступил в петербургский историко-филологический институт, где окончил курс наук в 1898 г. по разряду древних яз. и русской словесности со званием учителя гимназии. 6 июля 1898 г. был назначен в житомирскую 2-ю гимн. на должность учителя древних яз. и воспитателя пансиона.

1 июля 1903 г. перемещен учителем древних яз. в К. 2-ю Г., а с 15 авг. 1904 г. назначен надзирателем общей ученической квартиры при той же гимназии. 1 авг. 1906 г. перемещен учителем древних яз. и воспитателем пансиона в К. I Г., где ему поручено также заведывание фундаментальной библиотекой. С 20 фев. 1908 г. назначен экзаменатором по латинскому яз. в испытательном комитете при управлении уч. округа. Состоя в должности учителя древних яз., преподавал также разновременно русский яз. в женских гимназиях: Н. Овсянниковой в Житомире и А.А. Бейтель и министерской (ныне св. княгини Ольги) в Киеве. Заведывая фундаментальной библиотекой К. I Г., проверил все библиотечное имущество, разместил его в новом порядке в книжных шкафах, составил подвижной (карточный) и алфавитный каталоги и, наконец, исправил, приготовил к печати и прокорректировал изданный ко дню столетия К. I Г. систематический каталог библиотеки.

Из «Книги жизни» Константина Паустовского (см. ниже):

<…> Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса.

<…> *Сенинский Юлиан Иванович*[*], учитель истории и латинского языка, (1865-1869 и 1871-1880) и инспектор К. I Г. (1873-1880), из дворян, православный, род. 8 июня 1837 г. По окончании курса наук в виленской губерн. гимн. поступил казеннокоштным студентом в Университет св. Владимира по историко-филологическому факультету, который окончил со степенью кандидата. В 1861 г. был принят на педагогические курсы по 3-му отделу (история и география) и, после теоретических и практических занятий по означенному отделу, был удостоен попечительским советом права на преподавание по 1-му разряду в средних учебных заведениях.

Педагогическую свою деятельность Ю.И. начал в 1863 г. в полтавской гимн, в качестве младшего учителя истории. 26 февраля 1865 г. был перемещен младшим учителем истории и латинского яз. в К. I Г. Перемещенный отсюда 29 июля 1869 г. в киев. прогимназию, Ю.И. 20 августа 1871 г. снова вернулся в К. I Г. на должность учителя латинского яз., причем 27 марта 1872 г. был назначен членом испытательного комитета по древним языкам.

10 июля 1873 г. был назначен инспектором К. I Г. и состоял в этой должности до 5 сентября 1880 г., когда был назначен директором К. 3-й Г. 10 сентября 1886 г. вышел в отставку, в чине действительного статского советника.

В бытность свою инспектором К. I Г. и директором К. 3-й Г. Ю.И. Сенинский принимал деятельное участие в киевском отделении Общества классической филологии и педагогики, в котором был сначала казначеем (1875-1885), а потом товарищем председателя. Кроме того, состоял сотрудником в издаваемом директором А.Ф. Андрияшевым журнале «Друг народа», по отделу истории и географии. Ю.И. нес также обязанности по городскому управлению, а именно в 1883-1887 гг. был гласным киевской городской думы, председателем городской училищной комиссии, членом городской управы и заступающим место городского головы. За труды по исполнению обязанностей председателя городской училищной комиссии была изъявлена ему в 1885 г. глубокая благодарность городской думы.

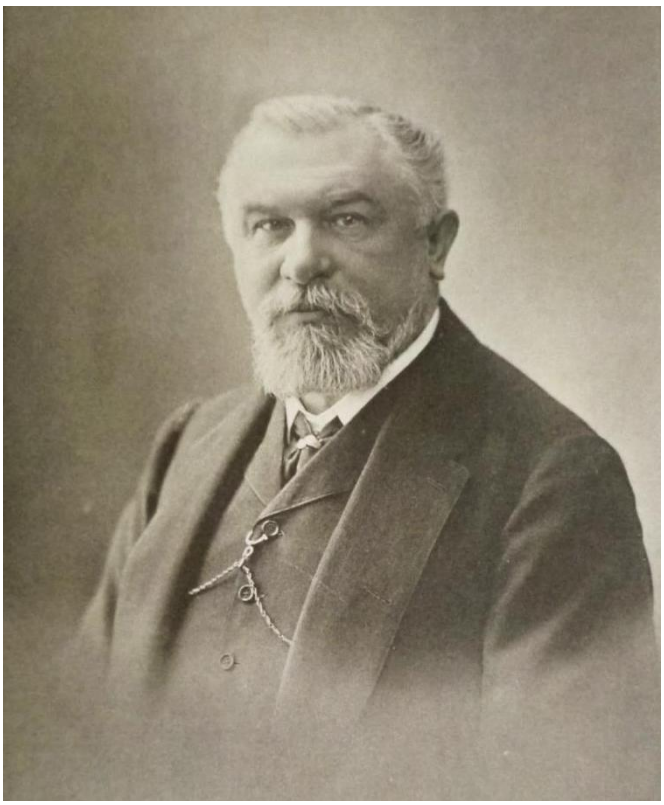
<…> *Терещенко Александр Николович*, почетный попечитель К. I Г. (с 1895 г.), православный, из дворян киев. губ., род 7 сент. 1856 года. По окончании курса частной классической гимназии Креймана в Москве высшее образование получил в университетах московском и киевском св. Владимира, курс которого окончил 19 янв. 1879 г. со степенью кандидата юридических наук. 24 апреля того же года А.Н. поступил вольноопределяющимся 1-го разряда в лейб-гвардии гродненский гусарский полк, 26 июля был произведен в унтер-офицеры, 8 ноября, по выдержании офицерского экзамена, в портупей-юнкера, а 13 дек. – в корнеты; 25 апр. 1880 г. уволен в отпуск, впредь до издания правил о перечислении офицеров в запас, 6 дек. 1882 г. зачислен в запас гвардейской кавалерии, а 15 сент. 1891 г. уволен из запаса в отставку.

17 марта 1883 г. А.Н. был утвержден почетным попечителем К. 3-й Г. и состоял в этой должности до 23 сент. 1895 г., когда был назначен почетным попечителем К. I Г.

11 мая 1887 г. назначен почетным мировым судьей киев. судебно-мирового округа, 22 марта 1896 г. – членом киев. лесо-охранительного комитета, 28 июля 1899 г. утвержден директором киев. губерн. попечительного о тюрьмах комитета, 4 ноября 1902 г. назначен почетным членом киев. губерн. попечительства детских приютов ведомства императрицы Марии [Федоровны], 28 марта 1903 г. – попечителем киев. бесплатного ночлежного приюта Н.А. Терещенка и – по гор. Глухову – 3-классного городского училища Ф.А. Терещенка, больницы св. Ефросинии и детского приюта Терещенков, а 23 дек. 1903 г. – почетным попечителем глуховской мужской гимназии.

---

[*] В старой орфографии эта фамилия писалась как «Сѣнинскій» и потому соответствующая статья следовала после статьи «Сушицкій».



Кроме того, А.Н. состоит свыше 25-ти лет членом дирекции, а затем товарищем председателя киев. отдел. русского музыкального общества. 1 января 1906 г. пожалован чином действительного статского советника, имеет ордена, до ордена св. Владимира 3-й ст. включительно, и медаль Красного Креста в память участия в деятельности общества во время русско-японской войны.

А.Н. Терещенко учредил при К. I Г. следующие стипендии: 1) имени А.С. Пушкина в 5000 руб., 12 апр. 1899 г.; 2) имени Н.В. Гоголя в 5000 руб., 17 мая 1902 г.; 3) имени тайного советника Н.А. Терещенка в 15000 руб., 11 февр. 1904 года.

Сверх того, А.Н. вносит ежегодно на нужды гимназии по 1000 руб., а также уплачивает ежегодно за учение нескольких беднейших учеников гимназии. На его же средства в 1905 г. устроена колония-дача в д. Плютах, на берегу Днепра, для пребывания во время летних вакаций более слабых учеников киевских гимназий, в том числе и К. I Г., на содержании и под наблюдением начальства киевского учебного округа.

Терещенко Никола Артемьевич, почетный попечитель К. I Г. (1881-1888), род. 14 окт. 1819 г. в г. Глухове, где отец его имел дом и скромно трудился для своей семьи. Образование Н.А. получил лишь в местном городском уездн. училище, но природные способности помогли ему пополнить недочеты и пробелы в образовании и стать потом выдающимся общественным деятелем и филантропом.

Еще молодым сравнительно человеком Н.А. начинает принимать деятельное участие в общественной жизни родного города и быстро завоевывает всеобщее к себе уважение и доверие. В 1851 г. Н.А. был избран в глуховский городовой магистрат старшим бургомистром, и с этого времени его популярность в Глухове и за пределами его все более и более растет. Легко проследить, как общественная деятельность Н.А., со времени его выступления в роли городского деятеля, развивается в трех заметных направлениях: в земском управлении, просветительном движении и филантропии. В 1854, 57 и 60 гг. он был последовательно избираем два раза старшим бургомистром и в третий раз – городским головой.

Четыре раза подряд он занимал по выборам должность городского головы (в 1862, 66, 68 и 71 гг.). Но служение Н.А. общественным интересам не ограничивалось областью городского самоуправления. Самое деятельное участие принимал он и в работах уездного – глуховского и губернского – черниговского земств. В 1865 г. он был избран гласным черниговского губерн. земского собрания и членом земской управы и земского собрания в Глухове, а в 1868 г. вновь был избран на те же должности.

Кроме того, Н.А. был три раза избираем почетным мировым судьей глуховского уезда (в 1869, 78 и 82 гг.), два раза – почетным мировым судьей путивльского уезда (в 1870 и 73 гг.), один раз – рыльского уезда (в 1875 г.), а также (в 1879 г.) был назначен почетным мировым судьей житомирского и киевского мировых округов. Но особенно много забот и средств положил Н.А. на дело народного просвещения как у себя на родине – в Глухове, так и в Киеве, куда он переселился в 1875 г., полюбив Киев, как свою вторую родину. Будучи избран в 1865 г. в члены глуховского уездн. училищного совета и затем, в 1870 г., почетным попечителем глуховской прогимназии, Н.А. всюду проявлял необыкновенную трудоспособность и организаторский талант и не жалел средств для любимого дела.

Многие народные училища обязаны своим существованием личным усилиям Н.А. Около полумиллиона было пожертвовано им на коммерческие училища, 150 000 руб. было внесено в пользу киев. политехнического института, на его личные средства основано образцовое коммерческое училище в Киеве, по своим размерам и благоустройству не имеющее равного. Весьма много сделано Н.А. также для киев. народной аудитории, общества грамотности, исторического музея императора Николая II и, в особенности, для К. I Г., почетным попечителем которой он состоял с 1881 по 1888 год. Эти семь лет почетного попечительства Н.А. останутся вечно памятными в истории К. I Г.: домовая при гимназии церковь, старостой которой он был с 1876 по 1902 г., фундаментальная и ученическая библиотеки, пансион, стипендии и другие вклады – являются лучшими свидетельствами того, как много было сделано им для К. I Г.

Находясь в непрерывной кипучей работе, служа одновременно и по выборам, и по назначению, и в городском самоуправлении, и в земстве, Н.А. находил время и силы и для дел благотворительности, причем на этом поприще он проявлял столько же энергии и неутомимости, сколько и на других. Помимо поддержки и помощи, оказываемых многим просветительным учреждениям, Н.А. неустанно заботился о больницах, приютах для детей, бездомных и безработных и не оставлял своею поддержкой благотворительные общества.

В 1859 г. он становится попечителем кролевецкой городской больницы и быстро доводит ее до возможного процветания; затем, в 1860 г., он принял на себя обязанности директора глуховского отделения попечительного общества о тюрьмах; в 1877 г. он был избран попечителем детского приюта им. Терещенка, а в 1879 г. – пожизненным попечителем больницы св. Евфросинии.

Город Глухов, на различные учреждения которого Н.А. пожертвовал до 1½ миллиона рублей, обязан ему прекрасным детским приютом, бесплатной больницей св. Евфросинии и весьма многими пожертвованиями на различные городские нужды.

Еще более обязан Н.А. г. Киев: бесплатный ночлежный дом, детский приют императрицы Марии, Мариинская община Красного Креста, киев. благотворительное общество, бесплатная цесаревича Николая больница для чернорабочих и другие – принадлежат к числу учреждений, процветающих благодаря вложенным в них трудам, заботам и щедрым пожертвованиям Н.А. Терещенка. Ответом на столь редкую самоотверженную службу Н.А. общественным интересам было всеобщее глубокое уважение и искренняя признательность, нашедшие себе выражение во время чествования маститого общественного деятеля и щедрого благотворителя в день 80-летия со дня его рождения и чрез полгода – 50-летнего юбилея его общественной деятельности.

Последние годы жизни Н.А. Терещенка отмечены особенным проявлением его филантропической деятельности. Идя навстречу всем добрым начинаниям киевского общества и городского управления, он спешил к ним с щедрою лептою для их преуспеяния.

Но 19 янв. 1903 г. смерть оборвала плодотворную его деятельность, лишив Киев редкого русского филантропа. Похоронен Н.А. в семейном Терещенков склепе, при созданной его средствами церкви Трех Анастасий.

Благодарные глуховские сограждане, по инициативе глуховской городской думы, признавшей, что польза от созданных им учреждений «была и будет всегда неисчислимо велика», решили поставить Н.А. Терещенку в Глухове памятник. Открытие памятника было торжественно совершено, в присутствии множества депутаций, глуховских и иногородних, и при большом стечении народа, 23 авг. 1909 года.

Киевская 1-я гимназия, столь многим обязанная Н.А. Терещенку, желая почтить его незабвенную память, 13 окт. 1909 г., в день своего торжественного годичного акта, поручила члену своей педагогической корпорации, М.И. Тростянскому, произнести речь, явившуюся ее «венком на памятник Н.А. Терещенку в Глухове».

<…> *Терновский Николай Матвеевич*, учитель приготовительного класса (1876-1882) и русского языка (1882-1894), родился 1 декабря 1846 г. в селе Старицы белгородского уезда курской губернии. По окончании курской духовной семинарии поступил сначала на юридический факультет петербургского университета, а затем, спустя два года, перешел в Университет св. Владимира на тот же факультет. Юридический факультет, по-видимому, не удовлетворил любознательного юношу, и Н.М. поступил на историко-филологический, который и окончил 12 июня 1876 г., причем, по выдержании соответствующего испытания, был удостоен звания учителя гимназий и прогимназий с правом преподавать русский язык и словесность.

27 августа 1876 г. был назначен учителем параллельного отделения приготовительного класса К. I Г. С 1882 г. Н.М. было поручено преподавание русского языка и в «гимназических классах», а в 1889-1894 гг. он преподавал словесность также и в Фундуклеевской женской гимназии. В 1894 г., как бы вспомнив о своих неиспользованных еще юридических познаниях, Н.М. оставил педагогическую деятельность и стал управляющим житомирским отделением Государственного банка, в каковой должности оставался до 1901 г., когда, за выслугой 25-летнего срока государственной службы, вышел в отставку и поселился в своей усадьбе в Киеве. <…>

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Токарский Федор Антонович, учитель математики (1850-1858) и комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона (1856-1858), уроженец черниговской губ., из дворян, православный, род в 1815 году. По окончании курса наук в Университете св. Владимира в 1841 г. со степенью действительного студента был определен младшим учителем математических наук в нежинскую гимназию.

По получении степени кандидата был перемещен в 1842 г. и.д. старшего учителя математики в черниговскую гимн., где с 16 сент. 1844 г. по 27 сент. 1850 г. заведывал книжным магазином и ученическою учебною библиотекою. 30 сент. 1850 г. был перемещен старшим учителем математики в К. I Г., где, сверх учительской должности, был определен с 14 дек. 1856 г. также старшим комнатным надзирателем 1-го благородного пансиона. В обеих должностях пробыл до 1858 г., когда был назначен инспектором в каменец-подольскую гимназию.

Выпускник К. I Г. А.И. Рубец оставил живые подробности о том, как Федор Антонович брал с учеников мзду рублями и продуктами (см. ниже).

Траутфеттер Конрад Эрнестович, учитель немецкого яз. и комнатный надзиратель пансиона (1855-1860), из потомственных дворян курляндской губ., лютеранин, род в 1824 году. Учился в юрьевском университете. По выдержании экзамена в Университете св. Владимира на право учителя немецкого яз. в средн. учебн. заведениях в 1854 г. был определен с 11 мая 1855 г. комнатным надзирателем во 2-й благородный пансион при К. I Г., а с 27 сент. того же года сверхштатным учителем немецкого яз. в той же гимназии.

В 1857 г., по соединении 1-го и 2-го благородных пансионов в один, был оставлен при надзирательской должности в пансионе. Сверх должности по гимназии состоял с 2 сент. 1858 г. учителем немецкого яз. и в институте благородных девиц. В 1860 г., на основании заведенного попечителем Н.И. Пироговым в киев. уч. округе порядка – подвергаться при соискании мест учителей беседе и пробной лекции, подвергался таковым на занятие места учителя немецкого яз. в гимназиях и выдержал беседу вполне удовлетворительно, а лекцию – удовлетворительно. В этом же году был утвержден учителем немецкого яз., а затем перемещен в горыгорецкий земледельческий институт.

В воспоминаниях А.И. Рубца красочно описывается учитель немецкого языка и надзиратель пансиона Штейн (фамилия весьма неточная), предположительно это К.Э. Траутфеттер (см. ниже).

Трегубов Симеон Иванович, протоиерей, законоучитель (с 1885 г.), сын псаломщика, род в 1856 г. в с. Мордве, чигиринского уезда киев. епархии. Образование получил в духовно-учебных заведениях г. Киева: софийском духовн. училище, семинарии и академии, которую окончил в 1881 г. с званием кандидата богословия, а спустя 4 года, в 1885 г., получил степень магистра богословия за диссертацию «Религиозный быт русского народа и состояние духовенства в XVIII в. По мемуарам иностранцев».

По окончании курса наук в духовн. академии 15 авг. 1881 г. был назначен смотрителем киево-подольского духовн. училища, а 21 сент. 1885 г. – законоучителем в коллегию П. Галагана и в К. I Г., причем 16 февр. 1886 г. был рукоположен во священники к церкви св. ап. Павла в коллегии П. Галагана. С 1 ноября 1886 г. состоял в течение 20-ти лет также законоучителем в Фундуклеевской женск. гимназии. В 1900 г. возведен в сан протоиерея. 19 дек. 1905 г. перемещен, согласно прошению, на штатное священническое место при Киево-Софийском кафедральном соборе, с сохранением должности законоучителя в К. I Г., в каковых должностях состоит и в настоящее время. Имеет орден св. Владимира 4-й степени.

Кроме законоучительских обязанностей исполнял разнообразные поручения епархиального начальства и духовенства киев. епархии: был членом и председателем разных комиссий, наприм., по выработке и потом пересмотру эмеритальной кассы духовенства киев. епархии, по раскладке разных сборов между церквами епархии, по постройке семинарских зданий, по обревизованию денежной отчетности и делопроизводства киев. епархиального училищного совета, церковно-учительской школы и проч.; был председателем совета 1-го киев. женск. училища духовного ведомства, состоял и состоит членом киев. духовно-цензурного комитета, помощником благочинного, постоянным членом киев. отделения епархиального училищного совета, председателем подготовительной к епархиальному съезду комиссии, представителем от духовного ведомства в киев. городской думе и заведующим библиотекой Киево-Софийского собора.

С 1900 г. был избираем ежегодно, кроме 1905 г., председателем епархиальных съездов духовенства киев. епархии и руководил их занятиями; наконец, в 1910 г. назначен св. Синодом, согласно избранию духовенства, членом государственного совета от православного белого духовенства. Кроме магистерской диссертации писал статьи по разным церковно-общественным вопросам и проповеди и печатал их преимущественно в «Киевских Епархиальных Ведомостях».

В «Книге жизни» К. Паустовский описывает как их законоучитель, соборный протоиерей Трегубов одним ударом разрушил пренебрежение гимназистов к «закону божьему» (см. ниже).

<…> *Тростянский Митрофан Иванович*, учитель русского яз. и словесности (с 1903 г.), род. 18 ноября 1874 г. в с. Верхнем Ломовце, землянского уезда воронежской губернии. По окончании кандидатом богословия киев. духовн. академии в 1899 г. поступил в Университет св. Владимира на историко-филологический факультет, который окончил в 1903 г. с дипломом 1-й ст. и золотою медалью за сочинение: «Южно-славянские сказания о вилах, самовилах и самодивах».

В том же году был назначен учителем русского яз. и словесности в К. I Г., в каковой должности состоит и по настоящее время. С преподавательскими обязанностями в К. I Г. М.И. соединял с 1904 по 1906 г. обязанности воспитателя состоящего при ней пансиона, а с 1903 г. состоит также членом хозяйственного комитета гимназии. Кроме того, преподавал словесность в Екатерининской жен. гимн. (1905-1907) и русский яз. в институте благородных девиц (1907-1909). В 1910 г. назначен председателем педагогического совета частн. жен. гимн. А.К. Титаренко. Имеет чин надворного советника и орден св. Анны 3-й степени.

М.И. выступал неоднократно лектором по разным торжественным случаям в К. I Г. Так, на годичном акте 13 окт. 1904 г. он произнес речь: «Короленко, как художник [слова]»; в 1907 г., по поводу 25-летия со дня смерти Тургенева, была произнесена им актовая речь: «Современные властители дум»; в 1909 г., по поводу 100-летнего юбилея со дня рождения Гоголя, произнес речь: «Н.В. Гоголь и его смех сквозь слезы», которую затем, 12 апреля, повторил в сокращенном виде на общественном праздновании Гоголевского юбилея в киев. городском театре; в том же (1909) году, на торжественном годичном акте, была им произнесена речь: «Русский филантроп и его деяния», посвященная памяти бывшего почетного попечителя гимназии Н.А. Терещенка; 31 января 1910 г., на юбилейном праздновании 300-летия со дня снятия осады Троице-Сергиевской лавры, произнес речь: «Осада Троице-Сергиевской лавры в русской поэзии», вошедшую потом, вместе с его статьей «Патриотизм и школы», в сборник, изданный К. I Г. в память этого юбилейного события; 17 марта того же 1910 г. говорил приветственную от лица К. I Г. речь Его Величеству сербскому королю Петру при посещении им гимназии.

Все упомянутые речи были своевременно напечатаны отдельно, причем речи о Короленке и «современных властителях дум» были соединены в одну книжку, под заглавием: «Преемники лучшей поры русской литературы» (Киев, 1908).

Горячий сторонник заветных академических традиций, М.И. напечатал в 1908 г. заметку: «Торжественный годичный акт и его значение», в защиту 13 октября – исторического дня К. I Г., празднование которого, в случае совпадения его с будничным днем, оспаривалось. Кроме того, в 1905 г. под редакцией М.И. был издан ученический сборник «Молодые побеги», посвященный памяти Н. Тр. Черкунова, б. учителя географии в К. I Г., служившего в ней 35 лет и скончавшегося в 1905 году.

Из «Книги жизни» Константина Паустовского:

Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский – высокий, чванный, с бледным и постным лицом. По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и крамольников и сбившихся с пути разночинцев. О последних он говорил с сожалением, как о погибших талантах. <…>

<…> *Турцевич (Дулич-Турцевич) Иван Григорьевич*, учитель древних языков (1879-1892), уроженец минской губ., из духовного звания, родился в 1856 г. Учился сначала в мозырской, а потом в шавельской гимназиях (ковенской губернии). По окончании гимназического курса в 1874 г., поступил в петербургский историко-филологический институт, из которого через год перешел по болезни в только что открытый тогда историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине. Будучи студентом старших курсов, состоял учителем арифметики в местном женском 6-классном училище. По окончании курса в институте по классическому отделению со званием учителя гимназии, был определен с 1 июля 1879 г. учителем древних языков в К. I Г., в каковой должности пробыл 13 лет, до ноября 1892 г.

В течение этого времени был два раза в заграничной командировке с научною целью: первый раз в 1879-1880 гг. в Италии, а второй в 1889-1990 гг. в Германии (в Бонне), Франции, Италии и Греции, занимаясь преимущественно римскими древностями. Кроме того, во время службы в К. I Г. состоял членом Общества Нестора-летописца и Киевского отделения Общества классической филологии и педагогики, в котором с 1890 г. был членом совета. С ноября 1892 г. был назначен и.д. экстра-ординарного профессора нежинского историко-филологического института по кафедре римской словесности, каковую кафедру занимал 17 лет, в течение которых, благодаря своим научным работам, был удостоен (в 1908 г.) звания ординарного профессора.

С 1 июля 1909 г. был уволен, согласно прошению, от службы, за выслугою срока. Уже в отставке был произведен в чин действительного статского советника. <…>

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Турчаковский Климентий Иванович, учитель истории и географии (1883-1886), сын священника, родился в 1847 г. в с. Щасновках, волынской губернии. Окончив курс в житомирской гимн. в 1869 г., поступил в петербургский университет, который окончил со ст. кандидата в 1873 г. Прослужив несколько месяцев в череповецком реальном училище, был переведен в 1874 г. учителем истории и географии в кишиневскую гимн., а через 4 года (в 1878 г.) в одесскую Ришельевскую гимназию. В 1880 г. был назначен инспектором вновь открытой 4-классной измаильской прогимн., но в том же году подал в отставку по болезни.

Пролечившись у Н.И. Пирогова около 1½ года, а затем, за смертью Пирогова, закончив лечение в Вене у проф. Бильрота, выдержав шесть последовательных операций, лишившись левой ноги и став на искусственную ногу, давшую ему возможность [относительно] свободно передвигаться, он снова поступил на службу учителем в ту же Ришельевскую гимназию, причем преподавал также географию и коммерческую статистику в одесском коммерческом училище. В то же время он состоял председателем совета в женск. гимн. Матео, впоследствии Статнер.

В октябре 1883 г., по вызову попечителя Голубцова, перешел на службу в К. I Г., причем занял также должность председателя педагогического совета в женск. гимназии Янста. Осенью 1884 г. К.И. Турчаковский был избран советом Университета св. Владимира на вновь открывшуюся кафедру географии, но должен был отказаться от нее вследствие новой болезни, окончившейся лишь через два года. В 1886 г. он принял место инспектора в уманской 4-классной прогимн. и в том же году был утвержден в должности директора той же прогимн., преобразованной в 6-классную. В 1891 г. был переведен директором в златопольскую гимн., а через год, в 1892 г., перешел в харьковский уч. окр., в 6-классную острогожскую прогимназию. Здесь, состоя на службе, он скончался 9 января 1897 г.

В последние годы жизни К.И. Турчаковский живо интересовался только что возникшим педагогическим отделением харьковского историко-филологического общества, вошел в состав его членов, задумал перевод объемистой педагогической энциклопедии Баумейстера и предлагал педагогическому отделу издать его, но это предложение, по недостатку средств, не могло быть осуществлено. <…>

Выпускник К. I Г. В.Н. Терлецкий оставил живые подробности о молодом историке Турчаковском (см. ниже).

Тышкевич Генрих Генрихович, граф, почетный попечитель киевских гимназий (1857-1864), католик, из дворян киев. губ. (в уманском уезде числилось за ним в с. Шарле 289 душ крестьян и в с. Ропотухе 350 душ), род. ок. 1819 года. По окончании курса юридических наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата поступил на службу 11 дек. 1845 г. в канцелярию киев. подол. и волын. генерал-губернатора и в следующем году был утвержден в чине коллежского секретаря. 15 мая 1848 г. в губернском собрании дворянства был избран в директоры киевской конторы государственного коммерческого банка. В этой должности был утвержден 4 июня того же года и оставался в ней по 15 мая 1851 года. В том же году был произведен в титулярные советники. Затем, 15 июня 1857 г., в губернском собрании дворянства был избран почетным попечителем киевских гимназий, в каковой должности был утвержден высочайшим приказом 2 ноября того же года.

В 1860 г. был избран и утвержден в должности почетного попечителя киев. гимназий на второе трехлетие. 17 апр. 1862 г. был пожалован в звание камер-юнкера двора Его Императорского Величества.

Урбан Иван Осипович, учитель древних языков (1876-1880), уроженец Моравии, православный, род. в 1842 г. Высшее образование получил на философском факультете Венского университета, по окончании которого переселился в Россию, где поступил в число славянских стипендиатов и в 1871 г. выдержал в петербургском университете экзамен на звание учителя древних языков. 6 ноября 1871 г. был определен учителем латинского в усть-медведицкую гимн., откуда в следующем году был перемещен учителем древних языков в Новочеркасскую гимназию.

10 авг. 1876 г., согласно прошению, был перемещен к такой же должности в К. I Г., в которой прослужил до 18 мая 1880 г., когда, по расстроенному здоровью, был уволен от службы, с назначением ему в единовременное пособие годового оклада жалованья (660 р.). В том же году за выслугу лет был произведен в чин надворного советника. Через некоторое время И.О. Урбан вновь поступил на службу по одесскому уч. округу и затем свыше 20 лет (1883-1904) состоял учителем древних языков в таганрогской гимназии.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Успенский Михаил Дмитриевич, учитель законоведения (1849-1865) и русского и латинского яз. (1865-1874), уроженец тульской губ., сын священника, род. 2 ноября 1821 года. По окончании в 1848 г. курса наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата законоведения был определен в 1849 г. в канцелярию киев., подол. и волын. генерал-губернатора, в чине коллежского секретаря, а с 12 окт. того же года перемещен и.д. старшего учителя законоведения в К. I Г.

В 1865 г., по случаю прекращения преподавания законоведения в гимназии, был перемещен учителем русского и латинского яз. в низших классах той же гимназии. Около 10-ти лет, с 1853 г., исполнял обязанности секретаря педагогического совета. Таким образом, вся 25-летняя педагогическая деятельность М.Д. Успенского протекла беспрерывно в К. I Г., которую он оставил в 1874 г., в чине статского советника и с орденом св. Станислава 2-й ст., перешедши на службу в варшавский уч. округ.

Выпускник К. I Г. А.И. Рубец запомнил противную привычку Михаила Дмитриевича повторять паразитное слово «датль-да», раз пятьдесят за урок (см. ниже).

Флоринский Николай Иванович, протоиерей, законоучитель и настоятель гимназической церкви (1867-1875), сын священника, род. в 1826 г. в г. Владимире. Образование получил во владимирской духовн. семинарии и в киев. духовн. академии, которую окончил в 1849 г. по 1-му разряду и впоследствии был утвержден в ст. магистра. 7 ноября 1849 г. был определен в вятскую духовн. семинарию на должность профессора и помощника ректора по классу богословских наук, в 1851 г. переведен на ту же должность во владимирскую духовн. семинарию, где прослужил 16 лет, преподавая догматическое богословие и, дополнительно, в миссионерском отделении семинарии, историю русского раскола и археологию русской церкви, исполняя при этом разновременно обязанности библиотекаря, инспектора и члена ревизионного комитета при семинарии.

23 февраля 1858 г. рукоположен во священника к владимирскому Успенскому девичьему монастырю, с оставлением профессором семинарии. С 1864 г. состоял, кроме того, цензором проповедей, а с 1865 г. – членом попечительства о бедных духовного звания.

В киевскую епархию переведен 10 окт. 1867 г., а 17 окт. того же года назначен настоятелем церкви при К. I Г., где, кроме того, с 19 янв. 1868 г. определен был законоучителем младших параллельных классов. С 1868 по 1870 г. преподавал также Закон Божий в одной из элементарных школ для разночинцев, с 1869 по 1871 г. – в женск. минист. гимн., с 28 сент. 1870 г. – в народном училище при К. I Г. и в 1871 г. – в жен. рукодельной школе Гогоцкой.

7 окт. 1871 г. перемещен законоучителем в коренные и в 6-й и 7-й классы К. I Г., продолжая преподавать в приготовительном и первых пяти параллельных классах. В 1875 г. за выслугою 25-ти лет по учебному ведомству, оставил службу в К. I Г. и был 2 года настоятелем Киево-Успенского собора, затем 10 лет – в должности священника Киево-Софийского собора, а последние 12 лет – вторым священником Киево-Сретенской церкви, где на службе и умер 12 июля 1900 года. За службу, учебную и епархиальную, имел иерейские награды и орден св. Владимира 4-й степени.

Полувековое пастырское служение отца Н.И. Флоринского нашло должную оценку в печати. См. брошюры: проф. П.В. Никольского «50-летний юбилей протоиерея Н.И. Флоринского», М., 1900, и протоиерея И. Королькова «Протоиерей Н.И. Флоринский», К., 1901. Значение многочисленных научно-богословских, исторических и проповеднических трудов его отмечено в «Душеполезном Чтении» за 1897 г.; в означенных выше брошюрах можно так же найти перечень этих трудов, печатавшихся в разных духовных журналах и отдельными изданиями.

Выпускник К. I Г. Г.Е. Червинский считал о. Флоринского человеком талантливым, с искрой Божьей в душе, который умел «глаголом жечь сердца людей» (см. ниже).

Функе Юлий Фердинандович, учитель истории (1858-1885), из иностранцев (присягнул на подданство России в 1858 г.), лютеранин, родился 12 апреля 1836 г. По окончании курса наук в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету со степенью кандидата, был определен 12 сентября 1858 г. младшим учителем параллельных классов в К. I Г. Сверх этой должности состоял с 1860 г. учителем истории в Институте благородных девиц и в Фундуклеевской женской гимназии. В 1864 г. был определен на должность старшего учителя истории в К. I Г., в которой прослужил до 1885 г.

Пораженный в ноябре 1884 г. нервным ударом, был уволен по прошению от службы 10 марта 1885 г., в чине статского советника. Имел орден св. Владимира 4 степени. В 1884 г. Ю.Ф. Функе издал «Учебник всеобщей истории, со включением отечественной. Средние века. Курс средних учебных заведений».

Харский Игнатий Иванович, учитель математики (1866-1882), уроженец волынской губ., православный, родился 20 мая 1828 г.; у жены его в овручском уезде было 1 110 десятин земли. По окончании курса наук в Университете св. Владимира со степенью действительного студента, поступил на службу 7 августа 1852 г. учителем математики в златопольское дворянское училище. В том же году был награжден золотою медалью за рассуждение, написанное им на тему, заданную физико-математическим факультетом. В марте 1854 г. утвержден в степени кандидата математических наук. 17 февраля того же года перемещен учителем математики в житомирскую гимн., в которой прослужил 12 лет. Затем, с 13 сентября 1866 г., перемещен на должность учителя математики в К. I Г., в которой в 1868 г. за выслугу лет произведен в статские советники. Сверх этой должности состоял учителем математики также в Фундуклеевской женской гимназии. За отлично-усердную и ревностную службу в обеих гимназиях, кроме неоднократных денежных наград, был пожалован орденами, до ордена св. Владимира 4-й степени включительно. В 1877 г., по выслуге 25 лет по учебному ведомству, был оставлен на службе еще на 5 лет.

16 июня 1879 г. И.И. Харский был назначен почетным мировым судьей овручского округа волынской губернии. Умер, состоя на службе, 2 марта 1882 г.

Как считал выпускник К. I Г. Г.Е. Червинский Игнатий Иванович прекрасно готовил гимназистов по математике для поступления в институты (см. ниже).

Цыренович (Церинович) Иосиф Петрович, учитель чистописания и рисования (1874-1876), православный, род. в 1844 году. По окончании шлиссельбургского уездн. училища и по получении от Академии художеств звания учителя рисования в гимназиях был назначен 11 марта 1863 г. учителем чистописания и рисования в онежское уездн. училище. Через год перемещен в валдайское уездн. училище [Новгородской губ.], а в 1868 г., по распоряжению губернатора Восточной Сибири, в красноярскую классическую гимназию*. С августа 1869 г. по февраль 1870 г. преподавал географию, рисование и чистописание в красноярском женск. училище 2 разряда, а с марта 1870 г. по июль 1871 г. рисование и чистописание в красноярском уездн. училище. В 1871 г., согласно прошению, перемещен в херсонскую прогимн. и одновременно в женск. общественную гимназию.

В июле 1873 г., согласно прошению, был уволен от службы, но в октябре того же года вновь определен учителем чистописания в острожскую прогимн., откуда 12 июля 1874 г. перемещен на ту же должность в К. I Г. В означенный период служебной деятельности постепенно произведен был в чин титулярного советника.

Из отчета директора А.Ф. Андрияшева: *В 1875 году увеличению числа арестов часовых [(вид наказания гимназистов)] немало содействовал бывший учитель чистописания Церинович, который, не будучи в состоянии поддержать порядок в классе, беспрерывно жаловался на учеников и тем ставил классных наставников в необходимость прибегать к наказанию. В 1876 году, по увольнении Цериновича, новый учитель Щеголев держал классы в порядке, что немедленно отразилось на уменьшении числа арестов.*

Черкунов [(Черпунов – у Константина Паустовского)] Николай Трофимович, учитель географии (1870-1905), родился 4 июня 1844 г. в семье военного врача. По окончании К. I Г. в 1861 г. поступил в Университет св. Владимира на естественное отделение физико-математического факультета, курс которого окончил со званием действительного студента в 1865 г. 11 августа того же года был определен учителем естественной истории и географии в холмскую мужскую гимназию. В декабре 1865 г., по представлении диссертации, был утвержден в звании кандидата естественных наук. В бытность свою учителем холмской гимн. Н.Т. занимал также должность библиотекаря этой гимназии в продолжение 4 лет, а также временно преподавал естественную историю в холмском женском училище. 20 апреля 1870 г. был назначен учителем географии в параллельные классы К. I Г., и с этого времени вся его педагогическая деятельность протекает в Киеве, в этой гимназии.

Еще до своего официального назначения в Киев, Н.Т. просил попечителя учебного округа дать ему возможность, до формального утверждения в должности, взяться за порученное дело, и начал преподавать географию в коренных классах К. I Г. В 1874 г. был назначен членом испытательного комитета при управлении киев. уч. округа по естественной истории. С 1 мая 1900 г. Н.Т., кроме К. I Г., преподавал географию также в институте благородных девиц. Умер Н.Т. скоропостижно в Петербурге 10 июля 1905 г., в одну из своих обычных летних поездок. Имел чин статского советника и орден св. Владимира 4-й степени. Такова биография Н.Т. Черкунова по формулярным и служебным бумагам, хранящимся в архиве К. I Г.

---

* *В Интернете не удалось найти обстоятельств такого кардинального «перемещения» учителя – из Валдая в Красноярск (в ссылку?).*

Посвятивши свою жизнь преподаванию любимого предмета, Н.Т. прилагал все свои усилия к тому, чтобы пробудить эту любовь и в своих многочисленных слушателях. С этою целью он по возможности старался облегчить свой курс, ведя его легким, удобопонятным языком, скрашивая его интересными задачами, загадками и рассказами из своих и чужих географических путешествий. С этой же целью им была составлена географическая игра, представляющая собою скелет, конспект каждого курса, содержащая характерные для данной страны природные условия и произведения человеческих рук, все же остальное пополнялось в классных объяснениях, или должно было быть дополнено самим учеником; ученик должен был обратить все свое внимание на карту и по физиономии данной местности определить ее климат, приблизительную растительность, население и т. д.

Для того чтобы быть самому в курсе дела, для пополнения своих географических сведений, Н.Т. каждое лето совершал поездки по России и за границу, где приобретал новые книги и следил за всем новым в области географии.

В одну из таких поездок у него зародилась мысль об устройстве географической коллекции – лучшего наглядного пособия географии. И с этого времени он с поразительной настойчивостью и терпением принялся за осуществление этой мысли своими собственными средствами.

Ученики и знакомые помогали ему в его деле, и к концу его жизни составилась богатая коллекция образцов природного богатства и производства всех стран земного шара, представителей флоры и фауны, географических карт, инструментов и т. д.; по каталогу от 1895 г. коллекция содержала свыше 3 100 номеров. Все ученики средне-учебных заведений Киева имели свободный доступ в эту коллекцию по воскресным и праздничным дням, где Н.Т. давал необходимые объяснения.

Более близкий круг учеников после официальных часов приема собирался в небольших жилых комнатах Н.Т. (лучшие комнаты своей квартиры он отдавал коллекции, занимая сам две небольшие комнатки), и здесь начиналась географическая игра на конфекты и премии, представлявшая собою сокращенный каталог его коллекции; по читаемому Н.Т. билетику с перечнем естественных произведений, или по описанию местности какой-нибудь страны, ученик-гость, взявший на себя определенную страну или государство, должен был узнать все относящееся к его стране, причем набравший ранее других определенное число билетов считался выигравшим и заносился в специальную книгу, а 30 выигрышей давали право на книгу, которая торжественно ему вручалась.

Через известное время посетители Н.Т. составляли себе определенное представление о географии и серьезно знали производство отдельных государств и климатические и природные особенности всех стран земного шара. <…>

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Чешихин Измаил Васильевич, врач К. I Г. (1871-1897), из дворян, православный, род. в 1830 г. в гродненской губернии. В 1842 г. поступил в гимназию им. Замойских в г. Щебржешине, люблинской губернии. По окончании курса наук в 1854 г. в Университете св. Владимира, со ст. лекаря с отличием, был определен в 1858 г. врачем, с правами государственной службы, при имении княгини Репниной в местечке Яготине, пирятинского уезда полтавской губернии. В 1860 г. был удостоен ст. доктора медицины, а в 1864 г. был командирован на 2 года за границу, для приготовления к профессорскому званию. По возвращении из командировки в 1867 г. был допущен, в качестве приват-доцента, к чтению лекций в Университете св. Владимира по предмету клинической диагностики. В 1871 г. был назначен врачем К. I Г. и состоящего при ней пансиона; кроме того, состоял также врачем киев. женского училища духовного ведомства.

В 1879 г., во время мобилизации войск, состоял ординатором киевского военного госпиталя. В 1880 г. за выслугу лет был произведен в коллежские советники, а в 1895 г. награжден орденом св. Владимира 4-й степени. Кроме того, в 1894 г. была ему объявлена высочайшая от имени Ее Величества Государыни Императрицы благодарность. <…>

В 1873 г. Э.Э. Классон пересекался с доктором Чешихиным на заседаниях Общества Киевских врачей.

Чирьев Иван Иванович, учитель математики (1885-1907) и инспектор гимназии (1903-1907), из купцов, род. в 1857 году. По окончании в 1879 г. курса наук в петербургском университете по физико-математическому факультету со ст. кандидата был назначен и.д. учителя математики в виленское реальное училище, откуда был перемещен на ту же должность в витебскую гимн., а затем в полоцкую военную гимназию. В 1885 г. назначен учителем математики в киево-печерскую (5-ю) гимн., а 25 окт. того же года перемещен к той же должности в К. I Г., где, кроме того, состоял воспитателем пансиона с 1894 по 1903 год. В 1903 г. был назначен инспектором К. I Г., в каковой должности оставался по 4 авг. 1907 г., когда был перемещен на должность учителя математики в каменец-подольское среднее техническое училище. Был преподавателем у Р.Э. Классона

Выпускник К. I Г. Н.П. Михайлов считал, что Иван Иванович «имел ужасно суровый и строгий вид, но в сущности был не злой и справедливый человек» (см. ниже).

Шульгин Яков Николаевич, учитель истории и русского яз. и словесности (с 1903 г.), род. 19 февр. 1851 года. Отец его был чиновником при канцелярии киев., подол. и волын. генерал-губернатора. Лишившись в детстве родителей, Я.Н. вместе с тремя сестрами остался на попечении родного дяди, известного киевского профессора всеобщей истории Виталия Яковлевича Шульгина.

Под его присмотром и опекой Я.Н. получил воспитание, сперва в К. 2-й Г., которую окончил в 1870 г. с золотой медалью, а затем на историко-филологическом факультете Университета св. Владимира, курс которого окончил в 1874 году.

По окончании университета Я.Н. поехал учиться за границу и слушал лекции сначала в венском университете, у проф. Бюдингера, читавшего историю древнего востока, и у проф. Лоренца Штейна, читавшего политическую экономию, затем в мюнхенском университете, у проф. Риля, читавшего историю культуры в новые века, и, наконец, в страсбургском университете, у проф. Баумгартена, читавшего новую историю.

В 1877 г. Я.Н. вернулся на родину и временно преподавал географию в киев. ремесленном училище, а затем переехал в Одессу, где состоял учителем истории (по найму) в 4-ой гимназии с 1878 по 1879 г., когда заболел плевритом и оставил службу. Переехав в родной ему Киев, он был учителем в доме проф. Е.И. Афанасьева и В.В. Тарновского. В 1893 г. Я.Н. поступил на службу по финансовому ведомству, в качестве контролера в отделении елисаветградского государственного банка, в каковой должности оставался до 1898 г., а затем, переехав снова в Киев, поступил на службу в железно-дорожное комиссионно-ссудное отделение. В 1900 г., стремясь к прежней педагогической деятельности, Я.Н. занял должность учителя истории и словесности в киев. частн. гимназии Г.А. Валькера, откуда в 1903 г. был перемещен учителем словесности в К. I Г., в каковой должности остается и до сих пор. Кроме словесности Я.Н. преподавал также в К. I Г. в течение трех лет историю. Имеет чин коллежского советника и орден св. Анны 3-й степени. <…>

В то же время биобиблиографический словарь: Деятели революционного движения в России**:** От предшественников декабристов до падения царизма. М.: Изд-во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927-1934 – дает circulum vitae как будто бы совсем другого человека:

Шульгин, Яков Николаевич, дворянин, племянник В. Шульгина, редактора-издателя газ. «Киевлянин». Род. в Киеве ок. 1852 г. Окончил Киевск. ун-т по ист.-фил. фак-ту со званием кандидата. В конце 1870-х г.г. проживал в Одессе; был учителем гимназии. Находился в постоянных сношениях с кружком И.М. Ковальского и посещал собрания, происходившие у В. Виттен и А. Афанасьевой; вел переписку с киевск. революционерами. По словам Ф. Курицына, в 1879 г. совместно с одесск. украинофилами В. Малеванным и А. Андриевским принимал деятельн. участие в устройстве тайной украинофильск. типографии и вел с этой целью переговоры с Ник. Левченко, соглашавшимся быть печатником; по агентурн. сведениям, получил для этой типографии из-за границы шрифт. Помогал денежно М. Драгоманову в издании заграничн. журнала «Громада». Вследствие политическ. неблагонадежности, в июне 1879 г. по распоряжению одесск. ген.-губернатора выслан из Одессы в Вост. Сибирь под надзор полиции. <…>В 1879 г. водворен в Енисейске; в конце 1880 г. переведен в Красноярск. Был арестован в Красноярске 27 февр. 1882 г. и содержался по 8 авг. т. г. в Красноярск. тюрьме. Привлечен к дознанию, производившемуся ген.-майор. Федоровым (по делу «Красн. Креста» «Нар. Воли») вследствие нахождения его адреса у П. Орлова в Томске. По соглашению м-ров внутр. дел и юстиции, изложенному в отношении последнего от 29 янв. 1883 г., дело о нем прекращено. По постановлению Особ. совещания от 15 февр. 1882 г. срок надзора определен в два года, считая с 9 сент. 1881 г. В янв. 1883 г. обратился с ходатайством в Департ. полиции о переводе его на оставшийся срок гласн. надзора в более благоприятную по климату местность, что и было разрешено в марте 1883 г.; 23 мая 1883 г. выехал из Красноярска в Варшаву. За окончанием срока в сент. 1883 г. гласн. надзора выехал в Киев, где подчинен негласн. надзору. Значился в списке лиц, прикосновенных к студенческ. беспорядкам в Киевск. ун-те в 1884 г. В авг. 1886 г. освобожден от гласн. надзора.

В 1887 г. ходатайствовал о допущении его к преподаванию в гимназиях; по распоряжению м-ра нар. просвещ. от апр. 1887 г. лишен права преподават. деятельности, как лицо политически неблагонадежное; ходатайства его в 1892 и 1901 г.г. о том же были отклонены. По жандармск. сведениям 1889 г., принадлежал к киевск. украинофильск. группе. В 1893 г. получил разрешение жить в столицах, после чего служил в Госуд. банке контролером в Елизаветградск. отделении. В 1898 г. поступил счетоводом в управление Юго-Западн. жел. дорог в Киеве. В 1902 г. разрешена педагогическ. деятельность, после чего был преподавателем в Киеве. Историк. [Умер в 1911 г.]

Щеголев Федор Сергеевич, учитель чистописания и рисования (1876-1881), православный, родился 15 сентября 1856 г. Окончив курс Строгановского училища технического рисования с званием ученого рисовальщика, был определен 7 сентября 1876 г. учителем чистописания и рисования в К. I Г., а 16 февраля 1881 г. перемещен в белоцерковское реальное училище.

Мог быть преподавателем у Р.Э. Классона

Щербина Константин Мойсеевич, учитель математики (1898-1909), сын священника, род. 30 июня 1864 г. в г. Прилуках, полтавской губернии. Начальное образование получил в прилукском приходском и уездном училищах, затем окончил прилукскую 6-классную прогимн., после чего поступил в лубенскую гимн., которую окончил в 1882 г. с золотой медалью. В 1888 г. окончил курс Университета св. Владимира по математическому отделению физико-математического факультета со ст. кандидата и в том же году поступил учителем математики в киев. частн. женск. гимназию В.Н. Ващенко-Захарченко (впоследствии А.Т. Дучинской), в которой преподает и до сего времени; с 1890 по 1898 г. преподавал математику также в киев. кадетском корпусе.

1 янв. 1898 г. К.М. был назначен на должность учителя математики в К. I Г. Занимая эту должность, К.М. был неоднократно назначаем депутатом от уч. округа для присутствования на окончательных испытаниях в частн. женск. гимназиях г. Киева, а с 1906 по 1909 г. состоял членом испытательного комитета при управлении учебн. округа. 19 авг. 1909 г. оставил службу в К. I Г., так как на него были возложены обязанности директора открытого в этом году в Киеве учительского института.

Преподавая в киевских средних учебн. заведениях, К.М. оказывал влияние на постановку в них преподавания математики, выдвигая на заседаниях педагогических советов и комиссий различные педагогические и методические вопросы. Интересуясь методикой различных отделов математики, К.М. в особенности много занимался методикой арифметики. В женск. гимн. А.Т. Дучинской он много лет вел занятия в 8-м классе по методике арифметики, причем, наряду с начальным курсом арифметики, большое внимание уделялось им также и систематическому курсу.

Когда в 1909 г. при киев. уч. окр. были учреждены временные педагогические курсы для подготовки учителей средней школы, то К.М. был приглашен заведывать математическим отделением и вести занятия по методике арифметики. Кроме того, К.М. читает лекции по методике математики на киев. высших женск. курсах, а в учительском институте преподает педагогику.

Основные взгляды К.М. Щербины по вопросам, касающимся преподавания математики, изложены в его сочинении «Математика в русской средней школе. Обзор трудов и мнений по вопросу об улучшении программ математики в средней школе за последние девять лет (1899-1907)». Киев, 1908. Книга эта получила известность в русской педагогической литературе: она, как говорит рецензент «Педагогического Сборника» (1909, №12), «интересна не только по фактическим материалам, дающим полную картину положения преподавания математики в русской современной средней школе, но и глубоко продуманными взглядами, которые автор предлагает положить в основу будущей школы».

<…> Состоя членом киев. физико-математического общества, К.М. выступал неоднократно с докладами математического и педагогического характера и был одним из главных участников при составлении изданного этим обществом в 1907 г. «Проекта учебного плана по математике для мужских гимназий». Кроме того, К.М. уделял много времени и труда киев. обществу содействия начальному образованию (народной аудитории) и, в качестве члена совета, много содействовал успешному развитию его деятельности.

Экземплярский Илия Тихонович, законоучитель (1871-1885), сын священника, родился 20 июля 1836 г. в с. Дмитриевых Горах, меленковского уезда владимирской губернии.

Воспитывался во владимирских духовных училище и семинарии, а затем в киевской духовной академии, которую окончил в 1861 г. Еще в духовном училище И.Т. состоял певчим-солистом архиерейского хора, в годы же юности любовь к пению и необыкновенные вокальные способности его настолько поражали киевлян, что многие предсказывали ему блестящую сценическую карьеру оперного певца, и были убеждены, что именно эту дорогу он изберет для себя по окончании образования.

Но дорога эта совершенно расходилась с душевным складом чувств и убеждений И.Т.; тотчас по окончании академии, он, не колеблясь, подал заявление о своем желании служить по духовному ведомству и был назначен в черниговскую духовную семинарию преподавателем по кафедре церковно-библейской истории и соединенных с нею предметов.

В начале 1862 г. И.Т. женился на киевлянке Анне Семеновне Пилипеевой, и эта родственная связь усилила и духовную связь его с Киевом, причем так же и материальная необеспеченность (он получал в Чернигове 21 р. 45 коп. жалованья в месяц) заставляла его искать здесь большего обеспечения для увеличивающейся семьи.

При содействии ректора киевской академии, архимандрита Филарета (Филаретова), И.Т. был 17 ноября 1862 г. переведен в Киев и назначен здесь преподавателем духовной семинарии, где в продолжение 9 лет (до 1 ноября 1871 г.) проходил разные должности: преподавателя церковно-библейской истории, методики Закона Божья, педагогики, гомилетики и литургики, помощника инспектора, наблюдателя за занятиями воспитанников в воскресной при семинарии школе и члена правления семинарии. В это время ему пришлось особенно много потрудиться над практической и литературной разработкой вопросов по педагогике. Кроме многочисленных статей по педагогике в 1865 г. был издан им учебник: «Руководство к начальному обучению. Дидактика и методика», который, вместе с курсом общей дидактики проф. Зайцева и Малышевского, вошел в книгу: «Курс начального обучения», имевшую в свое время важное значение, в качестве пособия для преподавания. К этому же периоду службы И.Т. относятся его литературные труды и занятия в журналах: «Руководстве для сельских пастырей», «Воскресном Чтении» и др.

В 1870 г. жена И.Т. заболела так тяжко, что киевские врачи отказались лечить больную, признав ее неизлечимою. В это тяжелое время И.Т. дал обет принять священство, если его жена выздоровеет. Весною 1871 г. она выздоровела, а чрез несколько дней И.Т. получил предложение от Г.П. Галагана занять место настоятеля церкви, законоучителя и воспитателя в учреждаемой им в Киеве коллегии [(закрытого средне-учебного заведения, в память покойного сына Павла)]. И.Т. увидел в этом призвание Божье, принял предложение, был назначен 10 сентября 1871 г. законоучителем в коллегию, а 19 сентября того же года состоялось рукоположение его в сан священника к церкви коллегии.

Одновременно с этим, 20 октября 1871 г., И.Т. был назначен законоучителем в параллельные и приготовительный классы К. I Г., а 16 августа 1875 г. перемещен из параллельных классов в коренные. Законоучительство о. И.Т. Экземплярского в коллегии и К. I Г. продолжалось 14 лет и создало ему в Киеве широкую известность опытного педагога и любимого духовника, за духовной помощью к которому обращались не только ученики, но и многие из киевлян. Его приглашали неоднократно преподавать педагогику в женских гимназиях и епархиальном женском училище, а епархиальное начальство назначило его благочинным подольских церквей.

При всех этих многосложных обязанностях И.Т. находил еще возможность уделять время для занятий в разных благотворительных учреждениях, причем особенно много потрудился при постройке и организации убежища для слепых.

1 сент. 1876 г. И.Т. остался вдовцом с 5-ю малолетними детьми, которых он затем сам воспитывал, и только, когда последний сын его поступил в гимназию, 27 июля 1885 г. принял монашество, с именем Иеронима. 3 ноября того же года в Киево-Софийском соборе состоялась хиротония его во епископа Чигиринского.

В святительском сане преосвященный Иероним прослужил в Киеве, в качестве викария киевской епархии и настоятеля Михайловского монастыря, до июня 1890 г., когда был назначен на самостоятельную кафедру епископа Тамбовского и Шацкого. В июне 1894 г. был переведен в Литву, епископом Литовским и Виленским, а с 1898г. архиепископом Холмско-Варшавским. Умер 2 ноября 1905 г. и погребен в Варшаве, на Вольском кладбище в построенной им самим церкви [св. Иоанна Лествичника].

Двадцатилетние архипастырские труды высокопреосвященного Иеронима получили должную оценку в посмертных воспоминаниях о нем (см. например брошюру: «Памяти высокопреосвященного Иеронима, архиепископа варшавского», Варшава, 1906).

Из воспоминаний выпускника К. I Г. Г.Л. Львовича (см. ниже)*:*

Метод преподавания о. Илии заключался в живой беседе с нами о религиозных началах. Материалом для этих бесед служили повседневные явления школьной, домашней и общественной жизни.

Янсон Юлий Эдуардович, учитель русской словесности (1856-1861), из мещан, православный, род в 1835 г. в Киеве. В 1855 г. окончил курс наук в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету со ст. кандидата, причем получил золотую медаль за рассуждение: «Историческое обозрение воспитания в России до конца XVIII века». С 7 окт. 1856 г. был определен младшим, а с 1 сент. 1858 г. – старшим учителем русской словесности в К. I Г. Состоя в этой должности, был избран в 1860 г. в руководители кандидатов на киев. педагогических курсах.

В 1861 г. поступил в горыгорецкий земледельческий институт адъюнктом по кафедре сельско-хозяйственной статистики и политической экономики. Отсюда в 1864 г. перешел в Петербург, в лесной институт, а по защите магистерской диссертации: «О значении теории ренты Рикардо» начал читать лекции в петербургском университете, в котором с 1876 по 1888 г. состоял деканом юридического факультета. Кроме того, читал лекции по тому же предмету в институте инженеров путей сообщения, в Александровском лицее и на высших женских курсах. Ю.Э. был одним из деятельных участников предпринятого (в 1867-1870 гг.) вольным экономическим обществом исследования хлебной производительности и торговли в России и написал несколько исследований по этому предмету, касающихся северо- и юго-западного края.

В 1872 г. выступил организатором петербургской сессии международного статистического конгресса и затем принимал постоянное участие во всех международных статистических учреждениях (конгрессах и институте). В 1873 г. Ю.Э. был командирован за границу, с целью ближе изучить постановку статистического дела в западно-европейских государствах. В 1875 г., по поручению министерства нар. просв., устроил в Париже русский отдел выставки географического конгресса.

С 1881 г. по день смерти заведывал устроенным по его плану статистическим бюро при столичной городской управе и организовал первую подробную перепись Петербурга в 1881 г., а затем и в 1890 г., причем руководил также разработкою матерьялов этих переписей. Умер в 1893 году. <…>

Из воспоминаний Н.Д. Богатинова (см. выше) следует, что еще в Университете ему перешел дорогу *«студент Янсон, из аристократического круга, близкий родственник тогдашнего окружного инспектора Могилянского».*

Ярмохович Яков Климентьевич, учитель русского и латинского языков (1881-1889), уроженец волынской губ., сын учителя млыновского приходского училища, родился 4 января 1860 г. По окончании курса наук в коллегии П. Галагана и в Университете св. Владимира по историко-филологическому факультету со степень кандидата, был определен с 25 августа 1881 г. учителем 2-го отделения приготовительного класса К. I Г., а через два месяца, по случаю закрытия этого отделения, был назначен учителем русского и латинского языков в параллельных классах и затем, с 25 июля 1883 г., перемещен учителем русского языка в коренных классах той же гимназии.

С 1 июня 1885 г. по 28 марта 1888 г. заведовал фундаментальной библиотекой гимназии и с этого же года состоял секретарем ее педагогического совета. 14 февраля 1889 г. был уволен, согласно прошению, от должности, по домашним обстоятельствам, в чине надворного советника и с орденом св. Станислава 3 степени. В «Отчете К. I Г. за 1884-1885 учебный год» была напечатана речь Я.К. Ярмоховича, произнесенная им на акте К. I Г. 6 апреля 1885 г., в день тысячелетия со дня кончины св. Мефодия, под заглавием: «О значении перевода священных книг в истории русского литературного языка».

Был преподавателем у Р.Э. Классона

Ясинский Антон Никитич, учитель истории (1895-1896), уроженец херсонской губ., православный, сын купца, род. 17 окт. 1864 года. Учился в К. I Г., которую окончил в 1884 году. Высшее образование получил в Университете св. Владимира, который окончил со ст. кандидата историко-филологического факультета. За представленное им в 1888 г. сочинение на заданную факультетом тему: «Сочинения князя Курбского, как исторический материал», был удостоен награды золотой медалью. С 1890 по 1893 г. состоял учителем истории в киев. кадетском корпусе и в женск. гимн. Ващенко-Захарченко.

В 1895 г., после защиты диссертации «Падение чешского строя в чешском государстве» был утвержден в степени магистра и начал читать лекции в Университете св. Владимира по предмету средней истории, в качестве приват-доцента. В том же году был назначен учителем истории в К. I Г., где прослужил до конца 1896 г., причем одновременно преподавал историю также в институте благородных девиц. 28 ноября 1896 г. был назначен экстра-ординарным профессором в юрьевский университет, где до сих пор состоит профессором истории. Степень доктора истории приобрел за диссертацию «Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии в средние века». Обе диссертации были удостоены Академией наук премий имени А.А. Котляревского и Ломоносова. <…>

Федоров[-Гринбаум] (через Ѳ – Ѳедоровъ) Владимир Васильевич [Цеви Гирш], учитель греческого языка (1849-1852), уроженец подольской губ., из мещан, православный [(выкрест из иудеев)], род. ок. 1817 года.

По окончании в 1847 г. курса наук в Университете св. Владимира со ст. кандидата поступил на службу 18 мая 1849 г. младшим учителем географии в К. 2-ю Г., в чине коллежского секретаря, а 1 дек. того же года, по предписанию киев., подол. и волын. генерал-губернатора, генерал-адъютанта Бибикова, был перемещен старшим учителем греческого яз. в К. I Г., в каковой должности оставался по 1852 год.

[По окончании Киевского университета был назначен цензором евр. книг. Состоя в 60-х гг. чиновником особых поручений при киевском генерал-губернаторе, Ф. принимал участие в деле еврейского просвещения, печатал в «Киевлянине» (1865) статьи о еврейских училищах и составил опубликованный от имени генерал-губернатора известный призыв к еврейским литераторам («Киевлянин», 1864, № 54) высказаться по вопросу о распространении просвещения среди евреев. Будучи последние годы своей жизни цензором евр. книг в Варшаве, Ф. дружил с еврейскими видными литераторами — Слонимским, Соколовым и др. – **Из Еврейской энциклопедии**]

Из воспоминаний М.К. Чалого «Вторая киевская гимназия»:

В 1843 году в университетской церкви нашей был совершен обряд крещения еврея Гринбаума. Окончив Каменец-подольскую гимназию на счет кагала, который предполагал сделать из своего стипендиата ученого раввина, молодой человек изменил своим единоверцам: бросив жену и детей, он тайно убежал в Киев и отдался под покровительство ректора [В.Ф. Федорова], изъявив желание креститься. Василий Федорович был восприемным отцом и дал ему свою фамилию.

[Преподаватель богословских наук, протоиерей] Иван Михайлович Скворцов совершил обряд крещения с подобающею торжественностию. Посреди церкви была поставлена огромная кадь с водою. Хотя было очень холодно (это было в ноябре), жидка раздели донага и трижды окунули с головой в ледяную воду; после чего окутали простыней… Неофит весь посинел, дрожал… Нареченный во святом крещении Владимир Васильевич вошел в казенную палату с прошением о выдаче ему 20-ти рублей, следующих по закону всем новокрещенцам, т.е. выкрестам.

По окончании университета Федоров [был] назначен учителем греческого языка во 2-ю Киевскую гимназию, потом перешел на службу в канцелярию генерал-губернатора. Говорят, он посредством княгини Васильчиковой повлиял на князя и главным образом содействовал (за крупное вознаграждение со стороны кагала) великому переселению иудеев [из-за черты оседлости] в наш Богоспасаемый град, куда они до того времени приезжали лишь на самое короткое время, не имея права жительства. –<…>[Учителя греческого языка] Николая Христофоровича Иеропеса сменил В.В. Федоров, человек несомненно умный, основательно знавший древние языки, не исключая, разумеется, и родного языка еврейского; обладал сверх того чисто жидовскою изворотливостью и пронырством. Он ловко обошел не только такого недальновидного господина, каким был наш директор [Николай Аркадьевич Ригельман], но успел провесть и некоторых попечителей, не исключая и самого Пирогова. Все видели в нем недосягаемое для других учителей совершенство. – «Отчего у вас, господа, так много единиц и двоек наставлено в месячных ведомостях и классных журналах? Посмотрите у господина Федорова – одни пятерки!» – не переставал приставать директор к преподавателям.

Но ему наконец заявили, что греческий язык, во-первых, предмет необязательный; во-вторых, к Федорову шли только такие ученики-добровольцы, у которых и по всем другим предметам имелись отметки не менее 4½, значит, только самые способные, каких в каждом классе не более пяти-семи человек; старались же они получить и по-гречески высшую отметку из-за того, что за это при выпуске давался чин XIV класса. Очевидно, с полдюжиной учеников, и притом самых способных, заниматься несравненно легче и приятнее, чем с 60-ю или 80-ю. Но, несмотря на очевидность такого факта, Федоров сумел пустить пыль в глаза начальству, блистательными успехами своих учеников.

Из хронологических списков окончивших курс гимназии

1886 г.

I отделение

Пансионеры:

Дьяков Ипполит Николаевич
Кулицкий Петр Иосифович
Цешковский Владислав Эдуардович
Яковлев Сергей Михайлович
Ящуржинский Иван Иванович

Приходящие:

Абрашкевич Димитрий Иларионович
Балаклеев Алексей Иванович
Гаврилов Василий Никифорович
Добровольский Николай Степанович
Дрентельн Александр Александрович
Карсницкий Александр Федорович
Козакевич Александр Севастьянович
Косич Александр Андреевич
Ливер Бернард Фридрихович
Мартынов Владимир Александрович
Мощинский Артемий Григорьевич (серебряная медаль)
Пискорский Владимир Константинович
Плесконосов Василий Васильевич
Покотило Сергей Михайлович
Рабинович Исаак Львович
Снежко Сергей Михайлович
Тимошенко Алексей Иванович
Яровой Семен Михайлович

II отделение

Приходящие:

Абрамович Александр Васильевич
Бельговский Павел Константинович
Войтковский Михаил Иосифович
Генке Александр Евгеньевич
Дыновский Феофил Феофилович
Ких Адольф Александрович
Классон Роберт Эдуардович (серебряная медаль)
Краузе Иван Адольфович (серебряная медаль)
Липко-Парафиевский Александр Павлович
Лерхе Анатолий Робертович
Маевский Владислав Северинович
Майзельс Лев Гиршович (серебряная медаль)
Максимов Виктор Павлович
Меленевский Александр Иванович
Миндин Лев Элевич
Можайский Николай Николаевич
Полинковский Лев Иойнович
Федосеев Павел Архипович
Холево Иван Иванович

Шатько Федор Петрович
Шостак Янкель Фроимович

Воспоминания о Киевской I Гимназии

Библиографический обзор печатных воспоминаний о Киевской 1-й Гимназии

1) Е.Ф. фон-Брадке. Автобиографические записки («Русский Архив», 1875, I);
2) Н.Я. Бар-вский. Из школьных воспоминаний о Киеве («Киевская Старина», 1884, VIII);
3) В.Г. Авсеенко. Школьные годы («Исторический Вестник», 1881, IV);
4) Н.Д. Богатинов. Воспоминания («Русский Архив», 1899);
5) М.К. Чалый. Вторая Киевская гимназия (1852-1861 гг.). Киев, 1900;
6) Л. Медведев. В гимназии. Москва, 1904;
7) Ю.В. Ревякин. Волчонок («Киевлянин», 1908).

***

«*Задача мемуаров – освещать личные отношения: в них авторы излагают не общую историю, а свои переживания, дают не описание событий, а мотивировку действий, так что часто, вместо фактов, сообщают лишь намеки на них. Нередко мемуары составляются прямо с целью оправдать взгляды автора или его кружка. Но и помимо тенденции, ограниченность поля зрения создает известную односторонность, которая влечет за собою много ошибок; людям свойственно также представлять свои поступки с наиболее выгодной стороны и в таком виде показывать их другим. Если автор стремится еще и к художественному изображению, тогда труд его часто обращается в своего рода роман.*

Нельзя упускать из виду и возможности недобросовестного или ошибочного изображения» (Е. Бернгейм. Lehrbuch der historischen Methode, стр. 493-494). Такой отзыв о мемуарах мы находим у знаменитого историка Ранке и известного методолога Бернгейма, которые предостерегают историков от увлечения мемуарами, как историческим материалом первостепенной важности.

Разделяя осторожный взгляд названных ученых, мы приступаем к библиографическому обзору воспоминаний о К. I Г., столетняя история которой нашла себе, хотя не полное, но любопытное отражение в произведениях ряда русских писателей.

Хотя в некоторых воспоминаниях, относящихся к К. I Г., и проглядывает порою весьма заметная субъективность автора, все-таки они значительно облегчают и оживляют задачу историка, вводя его во внутреннюю, интимную жизнь гимназии и посвящая его в те сокровенные стороны школьной жизни, которые легко ускользают от внимания постороннего наблюдателя или официального ревизора. Богатство архивного материала, добросовестно составляемые ежегодные отчеты и заметки, в лучшем случае, помогают восстановить правильный исторический скелет столетней жизни гимназии, быть может, даже облечь его плотью и кровью; мемуары же дают этому телу живой дух.

Первые воспоминания о К. I Г. встречаем в «автобиографических записках» Е.Ф. фон-Брадке, бывшего в [18]30-х годах попечителем Киевского учебного округа. Эти записки представляют собою как бы современный отголосок старинных поучений детям, которыми была богата наша древняя письменность, и притом не свободны от личного взгляда автора. Герой взятия Парижа (1815 г.) и сподвижник Паскевича в подавлении польского восстания (1831 г.), Е.Ф. фон-Брадке вынужденно согласился принять должность попечителя Киевского учебного округа, к которой он чувствовал себя недостаточно подготовленным. Недовольный этим назначением, он не мог, понятно, сразу успокоиться, и на пути из Петербурга в Киев дал выход своему неудовлетворенному чувству в отрицательных отзывах о тех гимназиях и училищах, которые были первыми осмотрены им.

Еще в Чернигове он, осмотрев уездное училище и гимназию, составил себе предубеждение против киевских школ, которых еще не видел.

«*В Чернигове осматривал я гимназии, – отмечает он в своих записках, – и нашел совершенно запущенное и нетопленное помещение, дряхлого директора, мало хороших, а большею частью слабых учителей и весьма даровитую, но вполне неразвитую молодежь... Эти оба заведения (уездное училище и гимназия) послужили мне мерилом для всех остальных, и я с грустным чувством продолжал свой путь в Киев, ожидая весьма немногого в будущем*».

Предчувствия Е.Ф. фон-Брадке, по его словам, оправдались. Первая гимназия показалась ему каким-то темным пятном на светлом фоне впечатлений от Киева, с его златоглавыми церквами и красавцем Днепром.

«*Первое свое посещение, – говорит он, – направил я в гимназию. Я нашел значительное, но совершенно запущенное здание, в котором едва можно было взобраться по прежней парадной лестнице, ведущей во второй этаж, до того она была близка к разрушению. Комнаты никогда не топились, и сохранился похвальный обычай не мести их, даже ради приезда нового начальника. Учителя и воспитанники сидели попросту в бараньих шубах, и при входе моем первые сняли их, чтобы показать мне, что они в мундирах.*

Эти учителя, с длинными, всклокоченными волосами, и многие из старших учеников, небритые, имели довольно дикий вид. В числе долгих бород некоторые еще находились в младшем классе, и я узнал, что многие уже 8 лет в нем оставались и при этом промышляли извощичьим ремеслом, а также состояли в услужении в лавках и в мастерских и посещали гимназию раза два в месяц, не имея притом другой цели, кроме добродушного удовольствия пощеголять на праздниках в гимназическом мундире.

Директору и инспектору, вместе взятым, было 150 лет от роду; первый из них, весьма достойный, но ни по дарованиям своим, ни по здоровью неспособный человек; второй вполне непригодный, хотя еще бодрый.

В числе учителей было несколько даровитых личностей, но все без исключения выполняли свои обязанности, как тяжелое ремесло...

Я крепко взмылил голову учителям и предъявил им ясно и подробно мои требования и при этом приказал топить в классах и приготовить сметы для исправления здания, после чего я возвестил им, что намерен теперь же совершить месячный объезд, а после ревизии и по возвращении подробно осмотрю гимназию и, если не найду перемены в способе преподавания, то это может иметь для них весьма пагубные последствия».

Мы склонны видеть в этом суровом приговоре над гимназией, учителям которой были «взмылены головы», последние отголоски того мрачного петербургского настроения, которое стало рассеиваться спустя два дня по приезде в Киев: после приема депутации от дворянства Волынской губернии Е.Ф. фон-Брадке, вспомнив своих боевых товарищей, уже светлее взглянул на школы вверенного ему учебного округа.

«*Производя ревизию в Подольской и Волынской губерниях,* – пишет он, – *я нашел школы вообще в гораздо лучшем состоянии, чем в Киеве и Чернигове», а Кременецкий лицей, по его словам, успешно соперничал с Вильною и многие кременецкие профессора показались ему лучше виленских. Прошло всего несколько недель со дня первого посещения фон-Брадке К. I Г., как по возвращении из ревизии он с радостью заметил, что в его отсутствие учителя преобразились: «они начали усерднее заниматься делом и, хотя не успели произвести что-либо значительное, но уже желали этого*».

После восьмилетнего (1831-1839 гг.) управления Киевским учебным округом, оставляя Киев, Е.Ф. фон-Брадке с чувством высокого нравственного удовлетворения признавался, что к концу его попечительской деятельности в Киеве «*не оставалось и следов бывшей распущенности в школах, и между учителями различных заведений преобладала серьезность, с полным отсутствием кичливости*»... «*В таком положении дел умножалось доверие, – говорит он дальше, – ученики съезжались в Киев со всех концов государства; приходилось заводить двойные классы, учреждать новые училища. По достижении 12-летнего возраста дети уже не оставались дома, и самые знатные семейства доверили их гимназиям. Надо было учреждать казенные пансионы; в одном Киеве их учреждено четыре на триста мальчиков, а требование все росло. Такого наплыва в общественные училища не было и в блестящие времена графа Чацкого*».

Этот лестный отзыв относится ко всем киевским учебным заведениям сороковых годов, а так как К. 1 Г. была, по-видимому, предметом особого попечения Е.Ф. фон-Брадке, то и честь этого отзыва она может отнести к себе, преимущественно пред другими учебными заведениями того времени.

***

К 1843-1846 гг. относятся интересные воспоминания о К. I Г. бывшего ее воспитанника Н.Я. Барановского, помещенные в «Киевской Старине», под заглавием: «Из школьных воспоминаний о Киеве». Появление той заметки было вызвано благородным намерением автора защитить от посмертной клеветы двух лиц, занимавших видное положение в управлении киевским учебным округом – инспектора казенных училищ М.М. Могилянского и попечителя округа, генерал-маиора Траскина, которые на страницах «Киевской Старины» (1883 г.) были представлены в самом непривлекательном свете.

«*Оба они покойники*, – говорит Н.Я. Барановский, – *и не могут ответить за себя: тем более мы, говоря об них, должны соблюдать справедливость и беспристрастие*». Правдивость и беспристрастие, которые руководили автором, придают особенное значение его воспоминаниям о К. I Г.

«*В Киеве*, – пишет, между прочим, Н.Я. Барановский, – *в 40-х годах было две гимназии: в 1-й было 6 классов, во 2-й – 7… В 1-й гимназии было 3 благородных пансиона и конвикт и училище землемеров. В 3-м пансионе было самое незначительное число воспитанников, из лучших польских фамилий: платили по 2 000 рублей ассигнациями в год.*

1-й и 2-й пансионы, хотя и помещались в отдельных зданиях, но по внутреннему характеру, условиям и цене, платимой воспитанниками (1 000 руб. асс. ежегодно), они ничем не отличались один от другого. 1-й и 2-й пансионы и конвикт, кроме надзора известного числа комнатных надзирателей, находились под непосредственным ведением особого инспектора; но все они подчинялись директору 1-й гимназии, имевшему общее наблюдение за всеми этими воспитательными заведениями гимназии...

В каком контрасте находились между собою 1-я и 2-я гимназии в порядках надзора и воспитания, можно видеть из того, что во все мое пребывание в 1-м пансионе я не помню ни одного случая наказания воспитанников розгами. Совсем иное было во 2-й гимназии... Я воспитывался в 1-м пансионе, в котором было около 120 учеников; во 2-м пансионе воспитанников было несколько менее. В 1-м пансионе было 6 комнатных надзирателей и 7-й старший. Каждый из 6-ти надзирателей дежурил сутки в неделю, в воскресные дни была особая очередь. Все надзиратели обладали хорошим знанием новых иностранных языков, на которых воспитанники обязательно должны были говорить, под условием «chèz vous la marque»[*].

[*] «Вы взяты на заметку».

Вечером они сходились для занятий по изучению языков и предметов. Некоторые из комнатных надзирателей двух благородных пансионов 1-й гимназии впоследствии заняли видные государственные должности. Так, Падрен-де-Карне был помощником попечителя одесского учебного округа, граф Келлер – начальником минской губернии, а Стеблин-Каменский – начальником виленской губернии.

Падрен-де-Карне был человек вспыльчивый; однажды во время обеда, не помню по какой причине, он крикнул воспитаннику 6-го класса Н.В. Гербелю (впоследствии переводчику Шекспира): «sortez du table!»[*] Мы все притаили дыхание и, соображая, что ученик выпускного класса не исполнит подобного приказания комнатного надзирателя, ожидали бури... Но Гербель, высокого роста, покойно вышел из-за стола и стал у стены, в виду всего пансиона и первоклассных мальчуганов...

Через минуту Падрен уже извинялся и целовал Гербеля... Но идеалом нашим и всеобщим любимцем воспитанников старших классов был Е.П. Стеблин-Каменский.

Наши пансионы находились в роскошных помещениях. 1-й пансион был в Липках, в доме графа Илинского. Паркетные полы натирались ежедневно. В верхнем этаже были комнаты для занятий, столовых и приемных, в нижнем – спальни.

Кровати и постельное белье, безукоризненной чистоты, стояли днем под чехлами. Отыскать в них клопа было немыслимо. В пансионе было 5 роялей. Обед, очень изящный, состоял из 3-х и 4-х блюд, ужин – из 2-х. К утреннему и вечернему чаю подавались молоко и белый хлеб. Наш пансион отстоял от гимназии в 200-х саженях, 2-й был еще ближе. В гимназии мы занимались от 8-ми до 11-ти часов утра и от 2-х до 5-ти часов пополудни. По возвращении из гимназии двери наших пансионов затворялись на ключ, и мы никуда не выходили.

В праздничные дни, если родные присылали за нами лакеев, нас отпускали; но отлучиться самому из пансиона, или без лакея, было немыслимо; привилегией этой пользовались только 6 старших воспитанников, носивших на плечах погоны и наблюдавших за порядком в 6 отделениях, по числу комнат для занятий и классов: они в праздничные дни могли выходить из пансиона сами, но предупредив надзирателя.

В праздничные дни и обстановка принимала более праздничную наружность; даже швейцар на парадном входе облекался в треугольную шляпу и красную перевязь, постукивая золоченой булавой»...

Вспоминая о преподавании истории в гимназии, Н.Я. Барановский сообщает, какой строгостью отличалась система преподавания, не позволявшая учителю истории выходить из рамок авторизованных тогда учебников Устрялова и Смарагдова, с которыми считался и сам знаменитый историк Н.И. Костомаров.

«*Помню, – говорит Н.Я. Барановский, – мы (пансионеры) ожидали первого визита нового попечителя Траскина, назначенного вместо князя [Сергея Ивановича] Давыдова. В общей зале собран был и весь персонал учителей 1-й гимназии, в числе которых был и Н.И. Костомаров, поступивший сюда на должность учителя истории до открытия университетской кафедры. Русскую историю тогда проходили по учебнику Устрялова, а всеобщую – по учебнику Смарагдова. Требовалось, конечно, твердое знание учебника, и сам знаменитый потом историк уступал, кажется, этому требованию, делая в учебниках только сокращения карандашем. Впоследствии, слушая в университете его увлекательные лекции по русской истории, как-то не верилось, что это был тот самый Костомаров*».

---

[*] «Выйдите из-за стола!»

***

В «Историческом Вестнике» за 1881 г. напечатаны «отрывки из воспоминаний» известного писателя В.Г. Авсеенка, под заглавием «Школьные годы», относящиеся, между прочим, и к К. I Г., в которой автор учился в 1855-1859 гг. Свои первые гимназические годы В.Г. Авсеенко провел в петербургской 1-й гимназии, куда, по его словам, «принимались только дети из самого образованного в России сословии». В 1855 г. родители его переехали в Киев, ввиду чего В.Г. был переведен в К. I Г. Три года, проведенные им здесь, оставили в нем мрачное воспоминание.

«*Мне было очень трудно привыкнуть к совершенно иному тону, царившему в провинциальной гимназии*, – пишет он. – *По составу преподавателей она считалась лучшей в округе, и в этом отношении перемена была не особенно чувствительна. Но совсем другим характером отличался состав воспитанников. На них на всех лежала тусклая печать провинциальности, тот серый, подавляющий колорит обывательской ординарности, с которым мне впервые приходилось знакомиться.*

Артистическая даровитость, отличавшая моих петербургских товарищей, значительный уровень их умственного развития, их раннее, может быть, даже слишком преждевременное, знакомство с интересами значительно высшего порядка, – ничего этого в киевской гимназии я не встретил...

Единственным отрадным воспоминанием за эти три года я обязан покойному учителю русской словесности, А.П. Иноземцеву. Это была очень даровитая личность, к сожалению, рано унесенная смертью. Отличный знаток русского языка, человек с правильным и тонким литературным вкусом, А.П. был совсем не на месте в гимназии, где воспитанники состояли из поляков и малороссов, не только не умевших правильно говорить по-русски, но даже неспособных отделаться от нерусского акцента. Бывало, он чуть не плакал с досады, когда, например, ученик скажет: «помочу перо», и в целом классе не найдется ни одного, кто бы мог его поправить.

Мне сдается, что самая смерть Иноземцева – от разлития желчи – была подготовлена скукой провинциального прозябания и возни с поголовною добропорядочною бездарностью. Ю.Э. Янсон, заступивший его место, человек очень образованный и талантливый, но еще очень молодой, не догадался принять в расчет умственный уровень учеников, но скоро убедился, что класс только хлопает на него глазами, – и тоже огорчился.

Впрочем, это случалось с каждым учителем, который пытался хоть чуточку приподнять уровень преподавания. Мне было очень скучно, я учился гораздо хуже, чем в Петербурге, и хотя кончил курс хорошо, но без медали».

В.Г. Авсеенко, кажется, с предубеждением отнесся к К. I Г., которой он не мог, по сравнению со столичной, простить ее провинциального отпечатка: в строках автора так и сквозит это пренебрежительное отношение петербургского барчука к провинциалам-товарищам «из поляков и малороссов». Однако автор упустил из виду, что незадолго до его поступления в К. I Г., окончили в ней курс такие представители «добропорядочной бездарности», как В.Я. Шульгин и Н.Х. Бунге, и такой малоросс, как Н.И. Стороженко...*

***

В 1900 г. вышли отдельным оттиском из журнала «Киевская Старина» воспоминания бывшего учителя русской словесности, а после инспектора 2-й гимназии, М.К. Чалого, относящиеся к 1852-1861 гг.

---

* Речь идет о выпускнике К. I Г. (1854 г.) Николае Ильиче Стороженке, ставшем впоследствии профессором Императорского Московского Университета по кафедре истории всеобщей литературы.

Изображая в этих воспоминаниях, собственно, жизнь 2-й гимназии, автор мимоходом касается и жизни 1-й гимназии; он говорит о переходе этой гимназии из Липок в ее настоящее помещение и о причине этого перехода, упоминает о бывших ее инспекторах – Н.М. Гренкове, Е.П. Стеблин-Каменском и кн. Дабиже, директорах – А.П. Любимове, А.К. Деллене и А.Ф. Андрияшеве и учителе словесности Н.Д. Богатинове, которого называет «известным святошей».

Особенно интересны те места воспоминаний М.К. Чалого, которые обнимают время попечительства в Киеве Н.И. Пирогова. Великий педагог, желая развить самодеятельность учеников гимназии и возбудить в них живой интерес к занятиям литературой, завел в Киеве ученические литературные беседы, которые устраивались периодически. Первая гимназия, в которой происходили педагогические диспуты, сделалась как бы киевским Вартбургом – местом состязания юных певцов.

Описывая эти состязания, М.К. Чалый говорит:

«*Н.И. Пирогов не переставал проповедовать, как между преподавателями, так и между учениками, о необходимости самостоятельного труда. С этою целью были заведены литературные беседы. Упражнения в литературных занятиях, по всем, преподаваемым в гимназии, наукам, должны были служить целью этих бесед.*

Всякое проявление самостоятельного труда участника в литературных беседах должно быть дорого для руководителей беседы, возбуждая в них надежду, что университет получить ученика, уже хорошо ознакомившегося с тем родом научных работ, который ему предстоит в университете, хорошо подготовленного к университетским занятиям и уяснившего себе цель и значение умного учения.

При этом наставникам было предложено указать учащимся на такие предметы, которые бы им были по силам. На эти беседы раз в неделю собирались ученики 6 и 7 классов обеих гимназий. Ученик 1-й гимназии приносил сочинение, а ученик 2-й гимназии к следующему собранию писал на это сочинение критику, и тут между ними происходил диспут, который тут же и записывался скорописцами. На критику иногда писалась антикритика и т.д. Беседы происходили в зале 1-й гимназии, в присутствии гимназического начальства и преподавателей, под председательством попечителя. Вмешиваться в диспут двух соперников никому не дозволялось. Только в крайнем случае, когда спор заходил слишком далеко и диспутанты не знали сами, как им выпутаться из сетей, в которых они сами себя запутали, их останавливал Н.И. и наводил на настоящую дорогу.

На первые беседы, сколько я помню, были представлены сочинения: воспитанниками 1-й гимназии – Авсеенком, Забугиным и Лашкевичем и 2-й гимназии – Диким, Цветковским и Бутовичем. Сочинения этих учеников, согласно правилам, были написаны по совещании с преподавателями, но авторы следовавших за ними сочинений перестали согласоваться с установленными попечителем правилами.

Выбор тем стал своеволен и безразличен: так, воспитанник 2-й гимназии Н-н дерзнул преподнести почтенному собранию теорию Духинского, доказывая, что русские не славяне, а туранцы, истинные же славяне – поляки, которым и подобает господствовать над всеми прочими славянскими народностями, для чего необходимо возвратить Польше ее прежнее могущество, расширив ее до границ 1772 г. Замечательно, что под давлением начинавшегося тогда польского террора, ни в 1-ой, ни во 2-й гимназии не нашлось ни одного критика на это сочинение: в то время начались уже революционные манифестации в Варшаве, а вслед за Варшавой повторились во всех городах и местечках юго-западного края беспрепятственно».

Из воспоминаний М.К. Чалого видно, что во время попечительства Н.И. Пирогова дисциплина в К. I Г. находилась в упадке: в этом отношении гимназия разделяла тогда общую участь учебных заведений Киевского округа, который был не подготовлен к новым педагогическим веяниям и был застигнут ими врасплох.

Об этом читаем у М.К. Чалого следующее:

«*Директор Деллен, прекраснейший и добрейший человек (такие люди всегда бывают плохими администраторами), был слишком мягок, слишком нежен, чтобы поддержать авторитет власти; а инспектор Дабижа, так же прекраснейший и добрейший человек, был слишком высок по своему княжескому положению, слишком аристократ, чтобы унижаться до мелочей школьной обыденности и заниматься самоотверженно. Но он скоро получил другое назначение. На место его Пирогов выписал из Чернигова Андрияшева: получив его правила о проступках и наказаниях учеников, он узрел в нем призванного педагога, но при нем дисциплина окончательно упала. Нельзя было узнать первой, образцовой по порядку, гимназии.*

Как бы в подтверждение того, что сказано здесь о несостоятельности инспекции в 1-й гимназии, воспитанники пансиона, помещавшегося над попечительской квартирой (где теперь канцелярия), учинили крупный дебош, взволновавший попечителя и ускоривший перемещение Дабижа в Одесский округ.

В одно из заседаний комитета, когда все члены были уже в сборе, входит председатель и спрашивает: «Дабижа здесь?» – «Нет, еще не пришел», – был ответ. Не садясь за стол, Н.И., мрачный и взволнованный, каким никто его из нас до того не видал, стал ходить, насупившись, по зале, а мы все стояли у стола. Входит Дабижа.

– Что у вас там в пансионе случилось? – обратился к нему попечитель.

– Ничего особенного, ваше превосходительство.

– Как ничего?

– По крайней мере, в поданном мне дежурным воспитателем рапорте ничего не было доложено.

– Вам нужны рапорты? Вы сами не можете зайти в пансион? Вам нужны доклады? Вы обязаны знать первым, что делается в пансионе!»

Попечительство Н.И. Пирогова М.К. Чалый выделил в особую главу, справедливо полагая, что оно имеет особенно важное значение для истории просвещения в Киеве и во всем юго-западном крае.

***

В журнале «Русский Архив» за 1899 г. напечатаны воспоминания бывшего директора Острожской учительской семинарии, Н.Д. Богатинова, представляющие довольно значительный интерес и для истории К. I Г., так как автор их был в ней учителем и несколько страниц своих воспоминаний посвятил описанию своего в ней пребывания.

Начало преподавательской деятельности Н.Д. Богатинова совпало с важными событиями русской истории, а также с переходной эпохой в жизни К. I Г. и новыми веяниями в Киевском учебном округе. “*То была особая пора, – говорит Н.Д. Богатинов, вспоминая 1856 и последующие года, – в школе обнаружилась новая жизнь, какую начала новая Россия с новым царствованием. Стали появляться в печати статьи Н.И. Пирогова в «Морском Вестнике», и все вдруг о них заговорили. «Воспитать человека» стало девизом обновленной школы*”.

Один, за другим проходят в воспоминаниях Н.Д. Богатинова замечательные годы в истории К. I Г.: новоселье гимназии, бал киевского дворянства в честь приезда Государя Александра Николаевича, устроенный в гимназии, назначение попечителем Киевского учебного округа Н.И. Пирогова и его первые опыты новой педагогии.

По воспоминаниям Н.Д. Богатинова можно видеть, как высоко стоял Н.И. Пирогов над современным обществом, которое недостаточно понимало и ценило его, а школа далеко не сразу усвоила его педагогические приемы. Сам Н.Д. Богатинов является ярким представителем отсталых педагогов, которые были ошеломлены реформой Пирогова и, не умея провести ее в школьную жизнь, винили в беспорядках реформатора. Если К. I Г. должна нести историческую ответственность за ошибочную оценку попечительской деятельности Н.И. Пирогова ее представителем, то она 13 ноября 1910 г., в день столетия его рождения, искупила вину Н.Д. Богатинова, почтив память великого русского педагога торжественными по нем поминками. (См. издание К. I Г. «Празднование столетия со дня рождения Н.И. Пирогова». К., 1910).

***

Одним из самых интересных образчиков литературы мемуаров о К. I Г. является, несомненно, книга известного поэта Л. Медведева «В гимназии». Автор был учеником и даже пансионером К. I Г., хотя его образование началось и закончилось во 2-ой гимназии: в К. 1 Г. он провел 4 года, с 3-го по 6-й класс, в конце 70-х годов.

Книга Л. Медведева не представляет собою подобия дневника или хронологической записи. Совсем напротив: хронологические рамки имеют для него очень мало значения: он даже приблизительно не определяет времени своего пребывания в том или ином месте; только случайное совпадение его пансионерства с русско-турецкой войной 1877-1878 гг. позволяет нам отнести его обучение к концу 70-х годов прошлого столетия.

На первом плане у Л. Медведева везде интерес литературный. Ему желательно, не только описать то, что он видел или пережил, но описать наглядно и живо. Надо отдать автору справедливость – это ему удается. Книга читается, как настоящий роман из школьной жизни, роман настолько легкий и удачный, что невольно возникает некоторое сомнение, не обобщил ли кое-чего автор? Эта мысль особенно напрашивается при чтении описания им чувств мальчика, в первый раз держащего экзамен и надевающего новый мундир. Никак нельзя отделаться от впечатления, что автор несколько пожертвовал исторической правдой правде художественной. Само по себе это описание исполнено мастерски, и редкий человек, прошедший гимназический курс, хоть в незначительной части не узнает себя в этом, с легкой иронией набросанном, портрете. Нельзя, однако, требовать от автора, чтобы он дал то, чего он, не хотел, да, по самому характеру своего произведения и времени его создания, и не мог нам дать. Он даже личные имена своих товарищей и наставников остроумно прикрыл псевдонимами.

Достаточно и того, что автор дает нам ряд жизненных и, вместе с тем, художественных картин гимназической, а особенно пансионской жизни. Мы не сумеем восстановить по ним весь последовательный ход гимназической жизни, но зато какой яркий свет проливают эти мемуары на некоторые интимнейшие уголки, уголки, с первого взгляда, пожалуй, и не интересные для сухого бытописателя, но для человека, интересующегося внутреннею жизнью учебного заведения, особенно важные для характеристики общего духа и настроения. Надо только уметь его подметить и выделить среди описания личных впечатлений автора.

А впечатления эти чем дальше, тем больше склонялись в пользу гимназии. Л. Медведев быстро освоился с гимназическим обиходом и своими воспитателями, из которых он для каждого находит приветливое, любящее слово. Из оброненных им замечаний видно, что это не было его исключительным, субъективным мнением. Отношения наставников к воспитанникам и последних друг к другу были, по-видимому, самые сердечные.

Автор с первого дня поступления почувствовал себя попавшим в дружную, сочувственную среду. Даже его положение новичка не было ему чересчур тяжело: один товарищ дал ему книги, другой объяснил бывшие в пансионе порядки, поддержал в трудную, тоскливую минуту. Несколько, может быть, мальчишеский, но трогательный обычай господствовал среди пансионеров: обычай торжественного заключения дружеских союзов, имевших ряд степеней и налагавших ряд обязанностей.

"*И я знаю многих*, – прибавляет автор, – *которые не порвали дружеских уз и в дальнейшей своей жизни. Жизненные обстоятельства разлучили, разбросали в далекие одно от другого места, но чувство, посеянное детскою дружбой, так и осталось навсегда неизменным и крепким. Мы постарели, многие из нас хилы и больны, но в измученных жизнью, порою страдальческих чертах так сладко находить нечто, только нам одним знакомое: дорогие, детские черты лица некогда «первого» или «второго друга»*"...

«*Прямо можно назвать трогательной ту заботливость, которой окружили пансионеры маленького сироту»*, – вспоминает он в другом месте об отношении товарищей к сыну убитого на войне офицера. – *Он сделался, так сказать, сыном всего пансиона. Его в буквальном смысле носили на руках, всячески стараясь сделать что-нибудь приятное*».

Такое же тесное единение выразилось и в обстоятельствах, сопровождавших оставление Л. Медведевым пансиона: не было конца прощаниям и сожалениям. Пансионские товарищи не забывали его и потом; тесный кружок не разрывался, пока сама жизнь не разнесла его членов в разные стороны. Когда, 15 лет спустя, автор случайно попал в Киев и поздним вечером проходил мимо гимназии, он не мог, несмотря на неподходящее время, отказать себе в том, чтобы не зайти еще разок посмотреть на свою «alma mater» и заглянуть в гимназический сад – свидетеля детских игр и ранних юношеских мечтаний... И какою лаской и любовью обвеял он свои школьные воспоминания!

"*Тихо, словно говоря о былом, шелестели листья, ярко мерцали звезды на темном украинском небе. Много лет прошло с того времени, много воды утекло... Сколько уже других юношей успело побывать в этом саду. Молодость, веселье, надежды... Я шел и думал: «Привет тебе, наш старый сад, привет тебе от бывшего питомца... Кто знает, суждено ли мне когда-нибудь снова увидеть тебя? Я шел по саду... И сладко было мне, и, вместе с тем, так грустно, грустно*»..."

Л. Медведев в своих воспоминаниях совсем не касается преподавания и только мельком упоминает о своих воспитателях. Эта сторона, видимо, не входила в план его изложения. Зато он обстоятельно описывает порядок жизни в пансионе, порядок, который в общем и до сей поры очень мало изменился.

Несколько однообразная пансионская жизнь прерывалась, кроме отпусков и разных гимназических забав и проделок, в летнее время – ранними купаньями в Днепре, доставлявшими пансионерам неописуемое удовольствие, а зимой – ученическими вечерами, которые устраивали 1-ая и 2-ая гимназии.

Автор описывает их следующим образом:

«*Разнообразно составленная программа, в которую входили чтение, музыка и пение, исполнялась исключительно воспитанниками гимназии. По окончании литературно-музыкального отделения, следовали танцы, потом угощение гостей и снова танцы для заключения. Проходили они очень оживленно и для гимназии всегда являлись своего рода праздниками, именинным днем, о котором говорили долго после и к которому готовились особенно старательно. И вечера обеих гимназий, в самом деле, славились в городе по заслугам*».

В высшей степени полезным было при этом возникавшее среди учеников той и другой гимназии благородное соревнование в успехах по части музыки, пения и декламации. В описываемое автором время первенство в серьезной декламации принадлежало 2-й гимназии, но чтением комических произведений отличались ученики К. I Г. За ними же оставался перевес в области музыки; у них был даже свой ученик-композитор. Это соревнование, переходившее даже в гимназическую церковь, где попеременно пели хоры учеников то 1-й, то 2-й гимназии, сильно занимало воспитанников и у многих возбуждало стремление к всестороннему развитию.

По свидетельству нашего автора, «*старались более читать, думать, рассуждать, издавали рукописные журналы и прочее в том же духе*». В этом им немало помогала богатая гимназическая библиотека и книжные собрания отдельных гимназистов, часто отличавшихся большою любовью к книгам, приобретаемым на их весьма скромные, иногда тяжелым репетиторским трудом добытые деньги. Некоторые имели до сотни томов и более. Воспитанники, однако, не только жадно поглощали корифеев русской литературы и заучивали их наизусть, но у многих очень рано проявилась любовь к писательству, своего рода литературный зуд, появлявшийся даже у юношей без всякого дарования.

Трогательно читать, как один из одержимых этим благородным зудом, не имея никакого отношения к музам, обратился к одному из товарищей, уже признанному гимназическому «поэту», с предложением быть за известное вознаграждение руководителем в поэзии. Но с бедным «поэтом» повторилась печальная история Тредьяковского.

Конечно, первые опыты бывали у всех неудачны, и если, несмотря на строгую тайну, попадали в руки всеузнающих товарищей, вызывали дружный смех; но в конце концов вырабатывались, сравнительно с возрастом, вовсе не плохие писатели.

“*В связи с этим*, – говорит Л. Медведев, – *находится и издание рукописных журналов, где многие из нас пробовали свои литературные силы. Таких журналов было у нас немало. Издавались отдельными кружками, и не в одной, конечно, нашей гимназии… «Редакции» таких журналов обменивались между собою своими «изданиями».*

Нельзя, однако, сказать, чтобы они жили между собой в дружбе и единстве… Задору было хоть отбавляй. А порою встречалось и настоящее остроумие. В дальнейшей жизни в настоящую литературу и журналистику из нас в конце концов пошли не очень многие, но кое-кто пошел”.

Интересно, наконец, отметить наивный, но возвышенный юношеский патриотизм гимназистов, особенно выразившийся во время русско-турецкой войны. С каким вниманием следили они за ходом военных действий по огромной карте с флажками, с каким усердием собирали себе коллекции предметов, имевших отношение к военному делу и войне, в том числе портреты русских генералов, с каким уважением относились ко всякому, кто имел к войне какое-нибудь отношение, с каким восторгом приветствовали русскую победу! «*Маленькие русские сердца – они бились в лад с большими!*» – восклицает Л. Медведев, заканчивая свой пансионские воспоминания, относящиеся ко времени войны.

Из приведенных выдержек можно, кажется, с достаточной ясностью составить себе представление о характере воспоминаний Л. Медведева и о значении их для историка К. I Г.: историк мало почерпнет из них для внешней истории гимназии, зато внутренняя жизнь ее нашла в книге Л. Медведева яркое и законченное отражение.

***

В 1908 г. на страницах «Киевлянина» появился прелестный рассказ Ю.В. Ревякина* «Волченок», сюжет которого заимствован из пансионской жизни К. I Г., в которой автор воспитывался в течение четырех лет. Рассказ начинается описанием послеобеденной прогулки пансионеров в гимназическом саду.

“*В августе, в часы послеобеденной рекреации, мы, воспитанники благородного пансиона при К-ой гимназии, гуляли в саду. Это было самое приятное время для пансионеров. Суровый на вид, но добрейший в мире педель, старый Козел, садился в тени белых акаций, уже покрытых рыжими осенними стрючками. Косые лучи солнца тихо грели сутуловатую спину севастопольского ветерана и золотили его лоснящийся, желтый, как спелая дыня, череп. Козел немедленно начинал сладко дремать, все ниже опуская свою дряхлую голову и руки, обремененные большим звонким колоколом, вестником начала и конца гулянья.*

Герр Борман, воспитатель, сначала около часа совершал меланхолическую прогулку в тени старых тополей, а затем надевал на свои выпуклые, как луковица, глаза большие серые очки и погружался в чтение огромной немецкой газеты. В такие минуты, увлеченный новостями из нежно любимого «фатерлянда», он ничего не видел и не слышал, а мы, ученики низших классов, в числе восьми, могли делать все, что нам было угодно.

Старый сад, окруженный массивной чугунной решеткой николаевских времен, имел много уютных и недоступных для воспитательского глаза уголков. Под изгородью тянулись густые кусты сирени, жасмина и желтых акаций; между этими кустами были извилистые, проделанные нами ходы, разные заграждения, крепости, шалаши и вигвамы. Там в глубочайшей тайне мы выкапывали погреба и подземные ходы, похожие на небольшие норы лисиц, где хранили военные припасы: луки, копья, сарбаканы и томагауки.

---

* Ю.В. Ревякин отсутствует в списках окончивших К. I Г.

В один из теплых вечеров, когда старый Козел, с неизменной своей привычкой, уже дремал с колоколом в руках, а герр Борман сидел совершенно отделенный от всего внешнего огромной газетой, между нами происходила ожесточенная битва: американские ковбои воевали с непримиримыми краснокожими”...

В дальнейшем повествовании художественно развертывается полная картина быта и нравов пансионской жизни.

Вы будто видите перед собой этих оживленных и шаловливых пансионеров, проходите через их комнаты для занятий и дортуары, заглядываете в больницу, присутствуете на ученических играх, переживаете всю ту несложную детскую психологию, которая бывает так открыта и доступна влиянию в эти счастливые годы. Так же ярко и художественно изобразил автор отношения инспектора, воспитателей, пансионских дядек – к ученикам и обратно – учеников к воспитателям и дядькам.

Все нити рассказа сосредоточены вокруг главного героя, воспитанника Максима Чайки. Это – подлинное дитя украинской природы, случайно попавшее в среду «паничей» благородного пансиона, в котором оно увяло и захирело, подобно полевому цветку, пересаженному в оранжерею. Несомненно, Максим Чайка – действительно бывшее лицо, драматическая история которого привлекла внимание автора.

Пусть автор рассказа «Волченок», как поэт, больше заботился о художественной правде, чем об исторической, все-таки историк К. І Г. найдет у него много правдивых черт из жизни пансиона и самой гимназии в 80-х годах прошлого столетия.

***

Как видим, печатных воспоминаний о К. І Г., сравнительно с ее вековой историей и многочисленными питомцами, которые могли бы поделиться с широкими кругами читателей своими воспоминаниями о школьных годах, немного. Желая хотя отчасти восполнить этот пробел, К. І Г., в надежде на отзывчивость своих бывших служащих и питомцев, печатно и письменно обращалась к ним с просьбой прислать к юбилею свои воспоминания о прошедших в гимназии годах. Ожидания гимназии оправдались только отчасти, так как немногие лица откликнулись на ее призыв и прислали для настоящего юбилейного издания свои воспоминания, которые и печатаются ниже в хронологическом порядке.

***

Воспоминания Ц.С. Ясенского (1840-1844 гг.)[*]

В 1835 г. я поступил в 1-й класс Винницкой гимназии, но после перехода во 2-й класс, не знаю по каким причинам, покойный отец мой перевел меня в Житомирскую гимназию, где я переходил 2-й и 3-й классы. Эти два года я считаю самыми несчастными в моей жизни. Директором гимназии был какой-то немец, которого фамилию я забыл, но помню только то, что он всех славян считал скотами, а инспектор Е.Я. Зимовский сек всех учеников без разбора, так что при воспоминании о нем мне кажется, что я был этих два года в каторжных работах.

В К. І Г. попал я по следующему случаю. После смерти отца, приключившейся в 1839 г., опекуном надо мною и имением назначен был брат матери моей, сквирский уездный судья, Иосиф Страшинский, считавший себя чуть ли не умнейшим из всех обитателей земного шара, несмотря на то, что он окончил всего два класса Кременецкого лицея и вышел из полка в отставку юнкером. Нужно было вместе с матерью подписать какое-то прошение о снятии опеки с имения. Когда пришлось подписывать прошение, мать моя, как полька, подписалась: «Анеля Адамовна Ясинска»; когда мне дали перо, я, увидав эту подпись, добавил в конце букву «я».

---

[*] Цезарий Станиславович Ясенский род. в 1823 г. С 1846 г. служил в канцелярии киев. губернатора, а с 1853-м – в акцизном управлении. Затем более 40-ка лет состоял корреспондентом при мин. гос. имуществ.

Опекун мой пришел в ярость, как это я посмел исправлять подпись матери, а когда я стал доказывать, что я поступил правильно, ссылаясь на мою «пятерку» из русского языка в свидетельстве, то он в гневе заявил: «если ты так любишь все русское, то я тебя и определю в Киевскую 1-ую гимназию, в которой тебя будут сечь больше, чем в житомирской».

Узнав из программы, что в К. I Г. тогда было 6 классов, причем с аттестатом зрелости поступают из нее в университет без экзамена, и что для поступления в 4-й класс нужно сдать всю греческую историю и стихосложение, я выучил всю греческую историю в три дня, а затем, так как в Житомирской гимназии стихосложение преподавалось почему-то на латинском языке, то все вакационное время я учил стихосложение на латинском языке, по занятой от товарища тетради. Со страхом отправился я вместе со Страшинским в Киев и, по прибытии, был им отрекомендован директору К. I Г. [А.А. Петрову], что, несмотря на хорошие отметки, я горд и строптив и что поэтому необходимо, для исправления, наказывать меня почаще розгами.

Так как экзамены тогда производились перед вакациями, то в моем житомирском свидетельстве написано было, что я награжден похвальным листом и переведен в 4-й класс, а потому я явился к директору с просьбой допустить меня к дополнительному экзамену из истории и стихосложения. Директор повел меня в 3-й класс, где был урок учителя истории, который заставил меня рассказать историю Греции от начала до конца, после чего поставил мне «5».Стихосложение спрашивал меня сам директор, причем на вопрос «что такое стихосложение?» я ответил: «Prosodia est pars grammaticae, quae docet quantitatem syllabarum, quae longe, quae breviter sunt pronontiandae».

Затем последовал удивленный вопрос директора: «почему же ты не говоришь по-русски?» Мой ответ: «не знаю», вызвал в целом классе хохот. Тогда я подал директору мою тетрадь, в объяснение того, почему я отвечаю стихосложение по-латыни. Затем меня спросили, что такое ямб и хорей и сколько в них долгих и кратких слогов, и я был принят в 4-й класс и в 1-й благородный пансион при К. I Г.

Жизнь моя в пансионе К. I Г. была счастлива, покойна, и могу справедливо сказать, что она составляет счастливейший период всей моей жизни. Особенно приятно вспоминать благородный и ласковый характер директора Александра Петрова, справедливого и честнейшего из людей. Подбор учителей, которые почти все были надзирателями в пансионе, много способствовал при изучении преподаваемых предметов: все они, вместе с инспектором А.П. Любимовым, были добрые и честные люди, воспоминание о которых вызывает у меня искреннее сожаление о прошлом.

Есть у меня еще одно воспоминание, о котором нельзя умолчать, так как оно свидетельствует, с одной стороны, о честнейшем характере наших учителей, с другой же, показывает, как вкореняется в детских душах любовь к воспитателям, если они добры и справедливы. Директор и инспектор были оба именинниками 30 августа, и все воспитанники старались в этот день поднести им подарки, иногда и весьма ценные. Наш 1-й пансион был больше всех других, ибо в нем числилось до 150 воспитанников. Были богачи, которые давали по 25, а иногда и по 100 руб., а бедняки казеннокоштные давали и по 30 копеек. Складчина эта доходила до 800 и более рублей.

Торжество этих дней было памятно надолго, как именинникам, так и воспитанникам. Утром на втором этаже окна пансиона завешивались одеялами и географическими картами, чтобы везде было темно. Два транспаранта, один против другого, освещались восковыми свечами (ибо стеариновых тогда еще не было). При хоре певчих и с подарками для именинников, воспитанники ожидали их появления.

Подарки как уже сказано, были иногда весьма ценные: например, золотые часы с таковою же цепью, дюжина столового серебра, а однажды, когда складчина дошла до 1 000 руб., были куплены илинские дрожки московской работы, пара лошадей в наборных хомутах и даже кучер, которому директор сейчас же дал вольную.

Наказания учеников были весьма редки; при мне был наказан исключением из пансиона и гимназии всего один ученик за крупное воровство. За хорошие успехи в науках – «четверки» и «пятерки» – записывались имена учеников на красной доске, а за «единицы» – на черной. Кроме того, выдавались нам разные мелкие награды, например красивые карандаши, ножики и т.п., или же водили нас в театр, на концерты и т. д.

***

Из воспоминаний профессора А.В. Романовича-Славатинского (1857-1859)[*]

В 50-х годах XIX столетия юридический факультет Университета св. Владимира почти не имел преподавателей. Декан факультета [Николай Дмитриевич] Иванишев, можно сказать, был командующим без армии. Министр [народного просвещения] Норов обратил на это внимание, и так как не было тогда ни стипендиатов, ни приват-доцентов, то он придумал такую комбинацию: прикомандировать к К. I Г. лучших «кандидатов», чтобы они, состоя при гимназии сверхштатными учителями, читали лекции в университете и приготовлялись постепенно к профессорскому званию. Каждый из них был поручен отдельному руководству: я – декану факультета Иванишеву.

Моя связь с К. I Г. была чисто нравственная: я очень ценил, что был причислен к гимназии, состав преподавателей которой мне был известен, как лучший педагогический состав тогдашнего времени. Директором гимназии был высокочтимый Деллен, которого я хорошо знал, как профессора, и очень уважал, как человека.

Между преподавателями известны были мне немногие; между прочим, полный жизненных порывов преподаватель естественной истории Девьен, которого я от времени до времени встречал и составил о нем самое выгодное и симпатичное понятие, как о человеке даровитом, но горячем и рвущемся на жизненную арену; по природе он был холостяк и гуляка, так что женитьба подорвала его жизнь.

Знал я также довольно близко и [Михаила Дмитриевича] Успенского, который преподавал законоведение и был человеком дарования весьма посредственного, но – большим преферансистом, привыкшим к оригинальной поговорке почти за каждым словом: «да-тель-да»... «пики... да-тель-да»... Благодаря покровительству [профессора российских гражданских законов общих, особенных и местных Александра Алексеевича] Федотова-Чеховского, в доме которого он был хорошо принят, он выдержал экзамен на степень магистра, но диссертации не представил. Встречи мои с некоторыми преподавателями К. I Г. внушили мне мысль, что учителя тамошние составляли солидарное товарищество, находившееся в самых хороших отношениях друг к другу и ценившее среди своих товарищей выделявшихся даровитых людей.

Впоследствии я имел случай близко узнать вышедшего из гимназии бывшего учителя математики Рощина, который представлял собою тип недюжинного и даровитого человека. Я узнал его по следующему случаю: я жил тогда на Мало-Владимирской ул., в доме портного Саранчова, и бок о бок с моей квартирой устроился неизвестный мне человек, небольшого роста, широкоплечий, типический представитель великорусской ветви.

У него всегда собиралось много учеников К. I Г., как учащихся еще, так и бывших уже студентами. Личность его меня очень заинтересовала. В чем был секрет этих задушевных отношений учителя Рощина с его учениками? В редкой правдивости, прямоте учителя.

---

[*] Александр Васильевич Романович-Славатинский (1832-1910), историк права, профессор Киевского университета, в конце 50-х гг. сверхштатный старший учитель гимназии.

Вышел он из К. I Г. чуть не оплакиваемый своими учениками, повздорив с эксцентричным попечителем Ребиндером, который в наказание приговорил его быть учителем Лубенского приходского училища. Даровитый и любимый ученик Остроградского, украшение гимназии, человек необыкновенно упрямый и твердый характером, решил: «пусть Ребиндер сам туда поедет, а я не поеду», – и поселился бок о бок со мной на Мало-Владимирской ул., доставив мне случай полюбоваться этим редким типом великоросса – широкоплечего, твердого характера человека. Трудные математические проблемы разрешались им с учениками на дому; написал он, сколько я помню, трактат по теории вероятностей в приложении к карточной игре, которую он любил.

Нашим «Грановским» в это время был профессор русской истории П.В. Павлов, которого более развитые студенты очень уважали. Приемы Павлова, его миросозерцание, его истинный либерализм и гуманность применялись и в учительской деятельности Рощина, за что ученики еще более его чтили; лучшие профессора того времени влиянием своим проникали и в киевские гимназии, которые высоко ставили звание профессора.

Не могу в заключение не припомнить встреченного мною на последнем курсе И.Я. Ростовцева, глубокого филолога и доброго, честного товарища, впоследствии отличного знатока и учителя древних языков в К. I Г., написавшего медальное сочинение на латинском языке. Он сделал потом хорошую служебную карьеру. Дай Бог, чтобы подобные люди еще долго не переводились на святой Руси и чтобы персонал К. I Г. всегда напоминал собою тот благородный персонал, с которым связаны мои юношеские воспоминания.

***

Воспоминания Н.П. Забугина и Н.А. Бунге (1856-1861 гг.)[*]

***

Из воспоминаний М.С. Палиенка (1856-1863 гг.)[**]

…Из пребывания в К. I Г. я вынес самые отрадные впечатления во всех отношениях, в особенности, когда попечителем округа состоял знаменитый педагог Пирогов, почти ежедневно посещавший уроки в высших классах. При нем был, между прочим, учрежден суд товарищей, разбиравший все проступки их и определявший меру наказаний.

Остался мне в памяти бал в актовой зале, в честь посещения, после коронации, Императора Александра II, на средства дворян Киевской, Подольской и Волынской губерний. Все классы были убраны (потолки и стены) дорогой шелковой материей – мастерами, выписанными из-за границы.

В гимнастической комнате была столовая, где ужинал Государь Император со своей свитой и дворянами, а в комнате, где был физический кабинет – столовая для Государыни Императрицы. Нас, учеников, во все время бала допускали смотреть на танцующих из окон коридора 3-го этажа...

***

Воспоминания Л.А. Навроцкого (1861-1865 гг.)[***]

С чувством глубокого умиления я вспоминаю о времени моего ученья в К. I Г. и об учителях. Я лично почти всем обязан родной гимназии. По происхождению я – крестьянин, и в 1861 г. я был единственным из этого сословия в гимназии. Поступил я в нее 18-ти лет от роду, в 4-й класс.

---

[*] Эти воспоминания нами здесь опущены, поскольку, в уже более полном виде, они были потом представлены в 3-м томе юбилейного сборника К. I Г. (см. ниже).

[**] Михаил Степанович Палиенко, р. в 1843 г., после окончания К. I Г. учился на юридическом факультете Университета св. Владимира, в 1867 г. поступил на государственную службу – сперва по министерству внутр. дел, а с 1872 г. по военн. ведомству. По-видимому, младший брат преподавателя К. I Г. И.С. Палиенка, поскольку родился в тех же Черкассах, что и последний.

[***] Лев Андреевич Навроцкий окончил К. I Г. с золотой медалью, затем – юридический факультет московского Университета (в 1869 г.), дослужился до должности председателя Черниговского окружного суда.

Готовился я к приемному экзамену 8-9 месяцев, а до того я умел только читать, писать и скудно знал арифметику до деления. Занимался моим приготовлением к экзамену студент Константин Игнатович, медик, которому я платил гонорара 10 руб. в месяц. По уговору с Игнатовичем я приходил к нему около 7 ч. утра, будил его, и он во время своего чаепития начинал заниматься со мной, что продолжалось около 2 часов.

Жил я на Печерске, а он на Новом Строении, и зимой очень трудно было ходить к нему сокращенным путем через вал и овраг; сапоги мои были не на меня шиты и чулки тоже не на мою ногу, и – хорошо помню – раз носки чулок примерзли к носкам сапог.

Говорю все это, чтобы показать невозможность, при таких условиях жизни, хорошо подготовиться к приемному экзамену; но педагогический персонал снизошел к взрослому, желавшему учиться, и обрезался я только по новым языкам. Учитель французского языка Гедуэн пришел в ужас от моего чтения и, покивав головой, прогнал меня. Немец Гофман был снисходительнее к моему чтению, а все же обрезал.

На другой день после неудачного экзамена по новым языкам, со страхом и почти отчаянием, пошел я в родную мне теперь гимназию – узнать, чем решена судьба моя, и с радостью узнал, что по новым языкам мне дана переэкзаменовка, кажется, на следующий день. На переэкзаменовке по французскому меня заставили перевести без [предварительного] чтения текста, а по немецкому Гофман не спрашивал у меня ни слова, но только взял обещание, что я у него буду хорошо учиться. Так стал я учеником гимназии.

Радости моей не было пределов. В 4-м классе я, как приходящий, был во 2-м отделении. В первую же четверть я стал первым учеником и не потерял своего первенства, которым дорожил очень, до окончания гимназического курса с золотой медалью. В этом случае, думается, не способности мои играли роль, а то умелое преподавание, которое внедряло в ученические мозги суть преподаваемого: ясно было ученикам, что дается и для чего дается.

И.Я. Ростовцев преподавал латинский язык и умел мертвое воскресить. Переводили Цицерона «Accusationes in Verrem», и Иван Яковлевич требовал не дословного перевода, а добивался, чтобы переведено было гладко, чистым русским языком. И понимали мы, ученики, что нас учат уразуметь и мысль, и красоту выражений Цицерона. Теперь, в старости, я помню наизусть некоторые отрывки из Цицерона, а я ведь не зубрил его; помню, благодаря преподаванию. Геометрию преподавал И.С. Палиенко. Когда мы проходили планиметрию, он ходил с нами на землемерные съемки, и мы понимали, что учение геометрии жизненно, а не платоническая подготовка к отметке.

Словесность преподавали – сначала П.Э. Ромер*, а потом В.И. Лучицкий. Первый из них читал нам много красивых отрывков и часто заставлял писать сочинения. Лучицкий же по своим запискам знакомил нас подробно с теорией прозы и поэзии. Его преподавание, думается, было очень полезно для учеников; оно показало нам, что творчество слова не произвольно, а подчинено законам. Лучицкий первый уяснил нам, какую роль играют при создании поэтических образов – разум, воображение, память, фантазия. Он же уяснил нам, почему литературные произведения лучше всего характеризуют каждую эпоху в жизни народа. Великое спасибо Василию Ивановичу!

Да и всем преподавателям родной гимназии великое спасибо и благоговейная память об их трудах для нас, учеников гимназии!

Не одним учением обязан я гимназии, а и тем, что благодаря ей получал средства к жизни, давая уроки. Первый урок я получил, по рекомендации надзирателя Иензена, у модистки Фраам. Предложили мне 3 руб. в месяц, но потом посовестились и в первый же месяц дали 5 руб.

---

* Явная описка: Павел Эмилиевич Ромер вышел из Университета св. Владимира по окончании курса математических наук, а вот его брат Федор Эмилиевич окончил историко-филологический факультет!

Затем я уже имел несколько уроков, так что мог существовать на свои средства до окончания курса в гимназии. Тяжело мне было, вплоть до голода, по окончании курса: но продолжалось это недолго, около 1½ месяца.

Я получил [платный] урок в отъезд, опять-таки благодаря Иензену, и с семьей, в которой давал уроки, переехал в Москву, где и окончил университетский курс по юридическому факультету. Научила меня разумно трудиться родная гимназия, и я трудился в университете, много трудился в жизни и теперь тружусь, отдавшись всей душой судебной службе...

***

Воспоминания профессора Д.И. Нагуевского (1861-1866 гг.)[*]

С глубокой признательностью вспоминаю своих дорогих учителей И.Я. Ростовцева, А.К. Деллена, Э.И. Куликовского, особенно же Н.П. Кустова, благодаря стараниям которого я, после годичного пропуска, принят был снова без экзамена в 7-й класс. Кустов и Ростовцев первые отметили мои наклонности к классическим занятиям и способствовали их развитию. В их нравственной поддержке, я, по недостатку средств, живя в 7-м классе почти впроголодь, почерпал силы окончить гимназию.

Вообще, в мое время состав преподавателей был образцовый и отличался очень гуманным, сердечным отношением к воспитанникам, за исключением сурового филолога А.А. Иванова и неприступного учителя русского языка Н.Д. Богатинова.

Я помню столкновение, происшедшее из-за меня между Ростовцевым и Ивановым, когда последний в 5-м классе желал мне поставить «двойку» по латинскому языку, а Ростовцев ему доказал, что я знаю гораздо больше по этому предмету, чем требуется.

Плохо поставлено было преподавание новых [иностранных] языков (учителя: Макинский и Леклер); но математику многие знали хорошо и увлекались этим предметом (учителя: Петрушевский, Палиенко и Радкевич). История (учителя: Функе и Должиков) не усваивалась достаточно, вследствие лекционного способа изложения; материал в классе не перерабатывался.

Из латинского языка в 7-м классе свободно переводили речь Цицерона «De suppliciis» против Верреса. Сведения по истории русской литературы сообщались сжато (Лучицким), но писали почти все вполне корректно. За нравственностью следили внимательно, но подбор надзирателей не всегда был хорош; Иензен, например, принимал подачки от учеников и, если неподатливых встречал за игрою на биллиарде (в гостинице «Франкфурт» на Крещатике), то доносил на них беспощадно.

Полстолетия отделяет меня от ученической жизни в К. I Г., но я с отрадными чувствами вспоминаю проведенные в ней годы, несмотря на тяжелые условия, при которых мне пришлось оканчивать учение. В то время было меньше формализма между учащими и учащимися, учились охотно и усваивали больше и прочнее, чем теперь...

***

Воспоминания Г.Е. Червинского (1865-1871 гг.)[**]

С чувством благоговейной памяти позволяю себе поделиться своими воспоминаниями об ученических годах, проведенных мною в стенах К. I Г.

---

[*] Дарий Ильич Нагуевский (1845-1920), в 1870 г. окончил, в звании кандидата, курс историко-филологического факультета Новороссийского университета (Одесса), филолог, профессор Казанского университета.

[**] Григорий Евгеньевич Червинский в 1879 г. окончил юридический факультет Университета св. Владимира, последние 15 лет своей службы состоял в должности члена губернского присутствия в Подольской губ., в этой должности был выбран в 3-ю Государственную думу.

Начну с моего поступления в гимназию. В августе 1865 г. мы с братом Александром (ныне умершим) поступили в пансион учителя немецкого языка К.Р. Макинского и оттуда, вместе с нашим гувернером Генрихом Богдани и учителем Веревским, отправились на экзамен, а в какой класс – в точности не знали, так как у нас в деревенской глуши не было никаких программ, и мы руководствовались случайными сведениями из ближайшей к нам Нежинской гимназии, в которой обучался наш домашний учитель Веревский.

Наш патрон, К.Р. Макинский, по предварительном испытании, признал нас подготовленными к экзамену в 3-й класс. И действительно, мы выдержали все экзамены, кроме Закона Божья.

По многим предметам мы знали больше, чем требуется, а французский и немецкий языки знали в совершенстве и, так как мы с братом всегда говорили между собой или по-немецки, или по-французски, то нас наши товарищи и педеля сначала признавали за иностранцев. По Закону Божью экзаменовал нас о. законоучитель Василий Каменский, в присутствии директора А.Ф. Андрияшева; историческую часть этого предмета мы рассказывали хорошо, потом законоучитель спросил у меня Символ веры и псалом «Помилуй мя, Боже», которые он даже не дал окончить, только спросил: “а знаешь «Благого Царя благая мати?»”, а на мое молчание спросил снова: “а «Макария Великого» знаешь?”.

Я сильно сконфузился и сказал, что таких молитв мы не учили; тогда законоучитель заметил: «напрасно, это надо знать». С такими же вопросами он обратился и к моему брату и, кроме того, спросил у него молитву «Да воскреснет Бог», которую мы отлично знали, так как ежедневно громко ее читали, отходя ко сну, но брат, вследствие конфуза, сбился и не докончил. Тогда законоучитель сказал: «как же это вы готовились в гимназию, а первейшего дела, молитв к Богу, не знаете?»

Мы чуть не заплакали от такого реприманда, но тут нам помог и ободрил нас незабвенный А.Ф. Андрияшев: он повел нас в инспекторскую, где нас ожидали наши гувернер и учитель, дал им список всех молитв, которые надо знать, и велел нам ходить в 3-й класс (1-е отделение), но с тем чтобы через две недели мы знали все требуемые молитвы. Мы выучили эти молитвы, и тот же законоучитель проэкзаменовал нас в классе на уроке Закона Божья и признал наши познания удовлетворительными; но мы навсегда были поражены этим обилием молитв, которые не всякий церковнослужитель знает.

Кстати о законоучителях: их было два – в младших классах о. Каменский, в старших о. Флоринский. О. Каменский относился к преподаванию формально, редко объяснял, больше спрашивал учеников и журил, иногда весьма резко, нерадивых; урок его считался пустяковым, на котором можно было готовить другие уроки, или же читать романы, а то и просто шалить.

Совсем иные уроки были о. Флоринского: он редко кого спрашивал, часто забывал задать урок, но проповедник был замечательный и говорил целый час так увлекательно, что все свободные от уроков ученики других классов, и даже иноверцы, приходили его слушать; тишина в классе была такая, как ни на каком другом уроке. Словом, это был человек талантливый, с искрой Божьей в душе, который умел «глаголом жечь сердца людей»; из его лекций я почерпнул больше религиозно-нравственной мудрости, чем из всех книг, которые потом учил или читал. Вспоминая с благоговением этого седого старца, я думаю теперь, что такими, и только такими, должны быть все вероучители нашего юношества и нашего народа.

Содержателем нашего пансиона, в котором я прожил около 6-ти лет, был немец К.Р. Макинский; в то же время он был и учителем немецкого языка в старших классах К. I Г., а в младших – преподавал немецкий язык Гофман. Оба они с немецкой добросовестностью учили нас немецкому языку, причем, конечно, преуспевали те из нас, кто знал язык до поступления в гимназию.

Тем не менее, ко времени окончания гимназии все мы довольно хорошо знали [учебник] Массона (обе части) и грамматику Фишера: это, конечно, немного, но давало возможность читать и понимать немецкие книги и совершенствоваться в дальнейшем.

Нельзя сказать того же о преподавании французского языка. Оба учителя, [Людвиг] Регаме и Леклер, были очень милые и симпатичные люди, но преподаванием почти не занимались; весь урок проходил в разговорах по-французски с теми из нас, кто умел говорить, остальные же ученики занимались, чем угодно, или просто шалили, например, пели [русскую патриотическую] «Во Францию два гренадера», за что учитель Леклер часто грозил записать в журнал и пожаловаться инспектору, но потом всегда прощал. Результатом этого было то, что многие на выпускном экзамене не умели правильно читать. Положенного курса по Margot никогда не успевали одолеть за 7 лет, между тем, как мы с братом еще задолго до поступления в гимназию прошли его полностью.

Инспектором гимназии в год моего поступления был Н.П. Кустов, очень любезный и внимательный человек, но он вскоре был назначен директором какой-то гимназии [(в августе 1866-го – директором училищ Черниговской губ.)], а инспектором к нам был назначен учитель математики И.С. Палиенко.

О нем у всех нас сохранилось воспоминание, как о строгом и педантичном начальнике, но, рассуждая об этом теперь и сам имея учащихся сыновей, прихожу к заключению, что таковым и должен быть инспектор при толпе в несколько сот мальчиков; вообще, я полагаю, что строгость и разумный педантизм – совершенно необходимые спутники правильного воспитания и дисциплины.

В здании гимназии, в первом этаже, помещалась квартира попечителя учебного округа; при моем поступлении попечителем быль князь Ширинский-Шихматов, которого мы, несмотря на совместное жительство, совсем не знали и встречали мельком только в табельные праздники в церкви и на актах. Потом был попечителем генерал Антонович, он часто посещал классы и уроки и беседовал с учениками и иногда с учителями, которые его побаивались. У нас сохранилось о нем воспоминание, как об очень умном человеке. Постоянным помощником всех попечителей, так же проживавшим в здании К. I Г., был М.И. Тулов, производивший на нас впечатление вечно занятого кабинетного ученого.

Церковь у нас была прекрасная и настолько обширная, что в ней помещались и ученики К. 2-й Г., так как у них своей церкви не было. Хор певчих состоял из учеников, живших в пансионе гимназии, и пел всегда очень хорошо; служил законоучитель Каменский, а неизменным пономарем был учитель физики И.Г. Радкевич. Странно, что будучи человеком религиозным (и до сего дня), воспитанным дома в строгих правилах православной церкви, я, тем не менее, сохранил о наших гимназических церковных службах воспоминание, как о какой-то тягостной повинности.

Мы аккуратно посещали, без малейших пропусков или опаздываний, все службы, вечерние и утренние, и выстаивали бесконечно длинные и изнурительные служения чуть не по монастырскому уставу; ученики младших классов, особенно во время великого поста и говения, не выдерживали и часто падали в обморок. Это приводило к тому, что, по окончании гимназии, юноша по несколько лет не заглядывал в церковь.

Я совершенно не согласен с тем, что недавно пропагандировалось в гимназиях под флагом свободы совести, о необязательности посещения церковных служб, говения и т.п., но думаю; что постановка этого дела требует коренной переработки, как в гимназиях, так и в недрах семьи и домашнего воспитания. Рядом с православной церковью в нашей гимназии помещалась римско-католическая каплица для учеников-католиков; священнослужителем и законоучителем был ксендз Олендзкий, которого все любили.

Годичные акты были для нас всегда большим праздником; они происходили в актовом зале, уставленном по стенам большими, во весь рост, портретами государей. Литургию и молебен служил митрополит с епископами, приезжали генерал-губернатор, ректор университета, профессора и другие высокопоставленные лица. Читался отчет, пели гимн и раздавали награды; один раз и я удостоился получить награду из рук митрополита.

Кстати о генерал-губернаторе. В 1866 г., когда я был уже в 4-м классе, вновь назначенный генерал-губернатор [Александр Павлович] Безак распорядился, чтобы гимназисты-поляки не смели говорить между собой по-польски, причем это распоряжение не было объявлено громко, открыто, как закон или циркуляр министра или попечителя, а передавалось втихомолку, шопотом, и произвело крайне тягостное недоумение и среди учеников, и среди учителей.

У нас в гимназии и в пансионе Макинского, несмотря на недавний мятеж 1863 г., было много поляков, и такое стеснение вызвало среди нас, учеников, чувство соболезнования к полякам, которые вели себя всегда корректно. В то же время стали принимать в нашу гимназию евреев, которых прежде в ней не было. Все это делалось, говорят, в целях «обрусения» края; но, как известно, эти цели не были достигнуты.

Первая гимназия, кроме великолепного здания, выгодно отличалась от прочих учебных заведений своим обширным садом, выходившим на три улицы, где мы проводили все переменки, бегали взапуски, играли в мяч, зимой в снежки, а любители покуривали табак втихомолку. Там же были поставлены приборы для гимнастических упражнений; это в значительной степени восполняло наше физическое воспитание в гимнастическом зале.

Я уже говорил о директоре и инспекторе, но должен вспомянуть и моих достойных учителей. Учитель математики И.И. Харский был одним из самых талантливых преподавателей, отлично объяснял урок и великолепно чертил на доске от руки, но был строг и требователен и очень скуп на отметки: получить у него «2+» далеко не означало незнания урока, а «4» и «5» он ставил всего пяти или шести ученикам из 30-ти-40-ка в классе, преимущественно тем, которые отличались природными способностями к математике.

Это ему я обязан тем, что при поступлении после гимназии в Петербургский технологический институт выдержал в числе первых очень строгий конкурсный экзамен по всем математикам и был принят в число студентов института.

Физику и космографию нам преподавал И.Г. Радкевич (впоследствии директор Ровенского реального училища). Учебник академика [Эмилия Христиановича] Ленца мы считали варварским и прибегали к помощи [учебника физики Адольфа] Гано, но на французском языке, так как русского перевода тогда еще не было; впоследствии, в Технологическом институте, я слушал лекции по физике талантливого профессора Р.Э. Ленца, сына академика, и тогда я увидел огромную разницу между учебником отца и лекциями сына.

Физический кабинет в нашей гимназии был оборудован довольно хорошо, но ремонт инструментов и машин производился редко, и многое было испорчено и поломано. На этой почве произошел следующий анекдот: Илия Гаврилович, объясняя действие какого-то насоса, не окончил опыта и сказал: «тут испорчено, должна быть еще медная палочка, которая качается вместе с рычагом». На следующем уроке мы на доске написали крупными буквами следующее четверостишие: «есть такая палочка и стакан воды, палочка качается, да все кончиком туды». И.Г., войдя в кабинет и прочтя это четверостишие, страшно рассердился и позвал инспектора пансиона, который прочел эту надпись, скрытно улыбнулся и сделал нам жестокий выговор; а он умел распекать.

Учителем латинского языка был у нас П.В. Кизимовский (впоследствии директор Черниговской гимназии), добрый и хороший человек; преподавал он прекрасно, и у него латынь знали и учили, хотя далеко не так, как у другого учителя – А.А. Иванова.

Последний был фанатик своего дела, необыкновенно требовательный и строгий педагог; за одно неправильное ударение или пропуск цезуры* он ставил нуль, а иногда и половину нуля – этакую дугу, и говорил: «для вас и нуль много». Все учили наизусть речи Цицерона, оды Горация, «Метаморфозы» Овидия, «Энеиду» Виргилия, а историков всех, и даже Цицероновское «de officiis», читали à livre ouvert**, и все это с грамматическим, филологическим и историческим разбором; в класс он приходил со скрипкой, чтобы аккомпанировать скандовке и гекзаметрам.

Обладая глубокими познаниями в классической филологии и литературе, он делал практическую ошибку, не принимая в соображение ни времени, ни наличных сил своих учеников; ему бы быть профессором на филологическом факультете, и то для любителей классицизма. Окончил он свою карьеру у нас в гимназии очень печально: на выпускном экзамене [в 1871 г.] один из наших товарищей, Н., великовозрастный второгодник, нанес ему удар по лицу, после чего он [(учитель)] оставил гимназию.***

Учителем истории был у нас Ю.Ф. Функе, очень красивый мужчина; читал он свой предмет очень интересно и увлекательно, так что, если прослушать внимательно его урок, то почти не надо было готовиться; он требовал минимального знания учебника Иловайского, который далеко уступал его лекциям.

Словесность преподавал нам В.И. Лучицкий, милейший и добрейший старичек. Русских классиков не читали, ограничиваясь изучением их биографий и названий главных сочинений, с кратким пересказом их содержания; хрестоматией Галахова пользовались для домашних сочинений, классных же сочинений на заданную экспромтом тему не писали.

Учителем русского в 3-м и 4-м классах был у нас Н.Д. Богатинов (впоследствии директор Острожской гимназии), очень строгий и аккуратный до педантизма человек, но талантливый преподаватель; он умел учить, как никто, выучить и вымуштровать, и если мы умели выразительно читать и грамотно писать, то этим обязаны Николаю Дмитриевичу.

Я впоследствии наблюдал, что далеко не все, оканчивавшие гимназию и даже университет, умели грамотно писать и толково излагать свои мысли, и приходится заключить, что русский язык даже для русского человека наука хитрая.

Мой очерк был бы не полон, если бы я не упомянул об одном важном органе гимназического строя, а именно о надзирателях. При мне их было два: один, Грудзинский, которого мы называли «маятником», потому что он имел походку в раскачку и ежедневно, в продолжение долгих лет, мерил два громадных коридора с одного конца в другой; другой – немец Иензен, которого мы называли «сбиром». Последний заведывал дисциплинарной частью и преимущественно внеклассным надзором; он излавливал учеников за биллиардной игрой в «Café Italiano» и у Штифлера****, за что виновные сидели потом в карцере. Особого помещения для карцера не было, а ученики запирались на несколько часов в двух маленьких и узеньких комнатках, где складывались разные хозяйственные принадлежности, но чаще всего запирались просто в классной комнате. При этом Иензен приносил кучу разных учебников и говорил: «посиди, поучись, будешь первым учеником и станешь человеком, а не dummer Kerl*****».

---

* Цезура – ритмическая пауза внутри стихотворной строки.

** «С листа».

*** Возможно, это был Чеслав Нейман, окончивший К. I Г. в 1871 году.

**** Еще в середине XIX века поселился в Киеве швейцарец Мартин Штифлер, в 1859 году принял российское гражданство и положил начало собственному кондитерскому бизнесу. В 1888 году Мартин Штифлер заключил деловое соглашение со своим земляком швейцарцем Бернардом Семадени об открытии в Киеве общего бизнеса. В домах Штифлера (Крещатик, 15) и Бродского (Крещатик, 9) появились фабрика кондитерских изделий и два магазина для их продажи с буфетами и бильярдными. Новообразованное предприятие получило название «Мартин Штифлер». – ***Из Интернета***

***** «Глупый малый».

Озираясь ныне назад, на почти уже пройденный жизненный путь, я чувствую искреннюю душевную потребность высказать благодарность всем моим учителям и выразить глубокий, низкий поклон моей милой «almae matri» – Киевской 1-й гимназии!

***

Воспоминания С.И. Твардовского (1866-1873 гг.)[*]

В год моего поступления в К. I Г. была увеличена программа по латинскому языку, который начали преподавать сразу с 1-го класса, когда до этого преподавание его начиналось только с 4-го класса. В то время К. I Г. была полуклассическая, то есть с одним только латинским языком, а затем, насколько помнится, когда я был в 4-м классе, был введен и греческий язык в низших классах; у нас же в 4-м классе остался только один латинский язык.

Таким образом, каждому из нас, четвертоклассников, в будущем грозил, в случае оставления на второй год, греческий язык, так как пришлось бы наверстывать все пройденное в низших классах. Под этим Дамокловым мечом я, благополучно переходя из класса в класс, окончил гимназический курс без греческого языка, получив в 1873 г. аттестат зрелости.

Аттестат зрелости был установлен в 1872 г., когда я был в 7-м классе, но применение его к нашему выпуску было для нас крайне печально, так как из 40-ка учеников было признано достойными аттестата зрелости всего двое: Давидсон и Захарчик, все же остальные были оставлены на второй год, т.е. в 8-й класс.

Трое из моих товарищей: Курдюмов, Нокельский и Лоскевич, не желая оставаться на второй год в 8-м классе, оставили гимназию в том же году и, получив свидетельство об окончании 7-ми классов, были, как оказалось, приняты – первый в Институт инженеров путей сообщения, а последние два в Технологический институт.[**]

Конечно, то же то же самое следовало сделать всем тем, кто намерен был поступить в высшее техническое учебное заведение, но, к несчастью, остальные были убеждены, что аттестат необходим, почему и остались в 8-м классе. Новых предметов здесь не проходили, а занимались повторением всего гимназического курса. Из того обстоятельства, что в высшие учебные заведения были приняты [наши гимназисты] со свидетельством об окончании 7-ми классов, явствует, что эти заведения не придавали аттестату зрелости того значения, которое имело в виду Министерство народного просвещения.

Время моего поступления в гимназию совпало с установлением строгих правил относительно польского языка, а именно, при моем поступлении отцу моему пришлось внести 200 руб. залога за меня и старшего моего брата, на случай штрафов за польскую речь в стенах гимназии. Насколько я помню, были назначаемы штрафы по следующей таксе: на первый раз 25 руб., второй 50 руб., третий 100 руб., а в случае наложения четвертого штрафа грозило увольнение из гимназии.

На наши детские сердца эти пресловутые правила, так строго карающие детей за родную речь, действовали крайне угнетающе и возмущали нас до глубины души. Однако необходимо признать, к чести гимназического начальства, что в годы моего учения ни одного такого штрафа взыскано не было, а случались только отеческие замечания за подслушанное польское слово, причем нас журили, главным образом, за то, что мы подводим своих родителей под штрафы.

---

[*] Станислав Иосифович Твардовский окончил механическое отделение Петербургского технологического института в 1879 году. Дослужился до начальника службы подвижного состава и пути.

[**] Александр Давидович Давидсон и Адриан Антонович Захарчик, как уже было отмечено, окончили К. I Г. с только что введенным аттестатом зрелости в 1872 г. (причем, последний – с серебр. медалью). Курдюмов, Нокельский и Лоскевич соответственно считаются не закончившими К. I Г.

Из учительского персонала большим уважением и любовью учеников пользовались учитель русского языка и словесности Синицкий, учитель французского языка [Людвиг] Регаме и учитель латинского языка и истории Сенинский. Это были люди в высшей степени общительные, добрые и отзывчивые, относившиеся к ученикам доброжелательно и справедливо.

***

Из автобиографических заметок А.Д. Давидсона (1867-1872 гг.)[*]

В 1872 г., 18-ти лет от роду, я окончил курс К. I Г. Мой выпуск замечателен тем, что состоял всего из 2-х человек: меня и еще некоего Захарчика; мы были выпущены только потому, что получили отметки, требуемые для получения медалей, все же остальные ученики 7-го класса, хотя бы и получившие удовлетворительные баллы на выпускном экзамене, волей неволей должны были перейти в прибавленный впервые в том году 8-й класс.

По окончании гимназии, я поступил на медицинский факультет Университета св. Владимира, где окончил курс в 1876 г., а в январе 1877 г. высочайшим приказом был назначен на службу на Кавказ, по случаю предстоявшей, но еще не объявленной тогда, войны, в расположенную на кавказско-турецкой границе армию.

Я участвовал в походах и военных действиях кавказской армии, был под Эрзерумом во время свирепствовавшего там сыпного тифа, видел могилы наших солдат, вырытые в мерзлой каменистой почве, в виде кубических саженей со сложенными в них в виде бревен трупами в солдатской одежде, т. е. в шинелях и сапогах, или без сапог...

Глубокий, больной, неизгладимый след оставило все это в душе моей... И упоминаю об этом только вскользь, так как немыслимо сколько-нибудь обстоятельно описать это в кратких записках.

Там же, в пределах Азиатской Турции, еще до окончания войны, получил я известие о внезапной смерти моего младшего брата, Рафаила Давидсона, так же ученика К. I Г., шедшего с отличным успехом до 3-го класса, но вскоре вынужденного, по болезни, оставить гимназию и покончившего с собою самоубийством. Там же, под Эрзерумом, получил я из Киева другую печальную весть – о такой же трагической смерти единственного моего любимого товарища по гимназии, сына бывшего директора К. I Г. А.Ф. Андрияшева, Александра Алексеевича...

После заключения мирного договора в 1878 г., я возвратился в Киев.

***

Воспоминания д-ра М.Е. Шмигельского (1872-1879 гг.)[**]

В 1872 г. я выдержал экзамен и поступил во 2-й класс К. I Г. Я был живым, бойким мальчиком, легко привык к школе, ученье давалось мне легко.

С первого же года я был награжден похвальным листом и до окончания курса всегда шел в числе первых учеников. Первый год я был приходящим учеником и жил на частной квартире, но перейдя в 4-й класс, был принят, по просьбе отца, на казенный счет в пансион при гимназии. Первые 2 года мне жилось хорошо в пансионе; меня любили, как товарищи, так и учителя.

---

[*] А.Д. Давидсон (р. 1854), в 1876 г. окончил медицинский факультет Университета св. Владимира со званием лекаря. Служил в кавказской армии, земским врачом в Полтавской губ., уездным врачом в Тверской губернии.

[**] Михаил Ерофеевич Шмигельский учился на естественном отделении физико-математического факультета Университета св. Владимира, а затем перевелся в Новороссийский университет (чтобы слушать лекции профессоров Ковалевского и Мечникова), затем – в Петербургскую военно-медицинскую академию, которую окончил в 1886 г. с отличием в звании лекаря. В 1891 г. отправился за границу, в качестве врача на яхте А.Г. Кузнецова «Форос», и провел в путешествии по Европе, Малой Азии и северу Африки более 5-ти лет, после чего долго жил во Франции.

Директор А.Ф. Андрияшев особенно благоволил ко мне; инспектор Ю.И. Сенинский, ближайший руководитель пансиона, поручал мне занятия с младшими малоуспешными учениками, оказывал мне полное доверие и покровительство и часто отпускал меня и жившего со мною в пансионе младшего брата к учившейся одновременно в Фундуклеевской гимназии нашей старшей сестре.

Но, к концу 5-го класса, весною 1876 г., в жизни нашего пансиона и гимназии случилось крайне печальное обстоятельство, положившее конец этому счастливому периоду моей гимназической жизни и внесшее вообще недоверие и озлобленность в отношения между нашими воспитателями и учениками. В числе моих товарищей по классу был некто П. К., старше меня на 2 года, сын богатого помещика и предводителя дворянства. Он был более развитым опытным юношей, чем остальные товарищи (хотя и был оставлен на 2-й год в 5-м классе из-за греческого языка). В пансионе мы занимались рядом на одной скамье, и он сильно импонировал мне своим умственным превосходством, начитанностью и светским лоском. Мы сдружились, и он стал посвящать меня в свой умственный мир. Правда, сперва мне было тягостно и больно его влияние, так как из семьи я вынес глубокую религиозность и уважение к церковной обрядности.

Мой друг старался всеми силами разрушить во мне эти отсталые взгляды и привить свои передовые: он посвятил меня, 15-летнего мальчика, в выводы теории Дарвина об эволюции животного мира и происхождении человека и пр. Со всеми этими вопросами он был знаком, конечно, из вторых рук и крайне поверхностно – по сочинениям Писарева.

Скоро К. стал посвящать меня и в социальные вопросы, по источникам подпольной революционной литературы, и знакомить с женевскими и лондонскими изданиями, весьма распространенными среди гимназистов старших классов того времени. Признаюсь, что меня неизмеримо больше интересовала охота, рыбная ловля, всякие игры, катанье на лодке (увы! тогда запрещенное и сильно преследуемое в нашей гимназии), чем чтение тех запрещенных книг, которыми увлекался мой друг, и я больше делал вид, что разделяю его вкусы и взгляды, чтобы не вызвать его насмешки и презрения.

Так шло время, пока К. не уехал на масленицу в деревню к отцу, где был арестован – за чтение запрещенных книжек рабочим своей деревни. Его привезли в Киев и посадили в тюрьму. Жандармы сделали в пансионе общий обыск у всех воспитанников, в присутствии наших перепуганных воспитателей и инспектора. Запрещенные книги были найдены у двух лучших учеников 6-го и 7-го класса, Ш. и В., которые были исключены из гимназии и арестованы. Многие ученики пансиона были вызваны на допрос, в том числе и я, как друг К. Допрашивал жандармский офицер в присутствии директора Андрияшева. Понятно, что я не хотел выдать товарища, упорно отговаривался полным незнанием и ничего не показал против него.

Милейший А.Ф. Андрияшев, раньше так меня любивший, не понял этого законного чувства юношеской души и с той поры прямо возненавидел меня за это «злонамеренное запирательство». Исключенные товарищи были сурово наказаны и сосланы, и карьера их была разбита. Только самому К., благодаря связям отца, удалось отделаться высылкой в деревню на поруки отцу, но курса он так и не окончил; 15 лет спустя я встретил его в Крыму мирным, многосемейным буржуа, которому было смешно даже упоминание об этой нелепой, проделанной в юности «пропаганде».

После этого события, жизнь в пансионе, особенно моя личная, стала крайне тяжелой. Обидное недоверие, заподазривание каждого шага оскорбляло меня. У нас периодически делало обыски гимназическое начальство. Отпуски сократили и во время отпуска посылали к родным педелей для проверки.

Около года я терпел этот гнет, наконец, не выдержал. Однажды, незадолго до переходных экзаменов из 6-го в 7-й класс, получив отказ в отпуске к сестре, я ушел к ней произвольно без отпуска, поручивши сторожу передать инспектору, что я в пансионе больше жить не могу и не буду.

За этот проступок меня судили в педагогическом совете и едва не исключили из гимназии, как желал директор. Но мои добрые учителя заступились за меня, как за лучшего ученика, и я отделался суточным карцером. Желание мое было удовлетворено: из пансиона я выбыл на частную квартиру и в течение 7-го и 8-го класса добывал себе средства уроками, так как средств, получавшихся из дому, было недостаточно. Окончил я гимназию очень хорошо и заслужил награждение, по меньшей мере, серебряной медалью, но ничего не получил за «подозрительное направление»...

Я окончил курс с первым выпуском, прошедшим впервые всю классическую систему министра Толстого, причем из 40-ка товарищей учеников, бывших со мною во 2-м классе, дошло до 8-го класса без задержки всего около 10-ти человек. Грустно вспомнить, как тяжело было учиться в то время и как сравнительно много легче и целесообразнее стало все преподавание теперь! А ведь тогда и не смели произнести слова «переутомление»...

Из всех своих дорогих учителей я всегда с особою благодарною памятью вспоминаю учителя русской словесности Д.А. Синицкого и учителя географии Н.Т. Черкунова. Первый глубоко любил и понимал русскую литературу, превращая уроки в полные вдохновения лекции; от всего его существа веяло истинным благородством.

Второй – редкий педагог по призванию. Оставшись на всю жизнь холостяком, он обожал детей и жил исключительно своим любимым предметом – географией; он был всегда окружен своими учениками – в классах или на прогулках, а у себя дома придумывал для нас различные забавные и поучительные географические игры, на которых победитель получал, в виде премии, шоколад, фрукты, книжечку и т.п.

До сих пор я помню интересные рассказы и анекдоты его из путешествий по России и по Европе. Ему я обязан не только любовью к географии и природе вообще, но и тем, что впоследствии, воспользовавшись благоприятно сложившимися обстоятельствами, я многие годы сам провел в заграничных путешествиях, изъездил всю Западную Европу, Северную Африку, Малую Азию и всю Европейскую Россию.

Из других наших наставников я с глубоким уважением вспоминаю учителя математики и физики Д.П. Извекова, доброго идеалиста, из всех сил старавшегося заинтересовать нас своим предметом. Собственно, под его влиянием у меня сложилось решение по окончании гимназии избрать специально естественные науки, хотя, конечно, много повлияло также чтение модных среди моих товарищей книг, как например Писарева, Шелгунова и др.

Учитель немецкого языка Г.Р. Бергман, он же воспитатель в нашем пансионе, педантичный и вспыльчивый, но в сущности добрый и крайне добросовестный труженик, научивший меня играть в шахматы и постоянный мой партнер, принес мне большую пользу, внушив любовь к немецкому языку, немецкой литературе и культуре.

С теплым чувством вспоминаю нашего доброго законоучителя, о. Николая Флоринского, которого часто огорчали и ставили в неловкое или затруднительное положение нашими коварными вопросами и замаскированными насмешками. Давно забыта схоластическая церковная мудрость, которой он нас научал, но не забыт его кроткий образ в простоте душевной верующего и ко всем терпимого христианина...

На 19-м году, в 1879 г., я поступил на естественное отделение физико-математического факультета Университета св. Владимира. Естественное чувство жизнерадостности при переходе к новому, свободному существованию сильно омрачилось, благодаря тяжелому времени в общественно-политическом отношении.

Это был крайне обостренный момент политической борьбы. Шли всевозможные покушения, политические убийства и, как ответ на них, обыски, аресты, казни. С первых же дней, когда, выслушав приветствие ректора университета проф. Н.Х. Бунге, мы получили матрикул, я очутился в крайне бурной атмосфере, мало располагавшей к спокойным научным занятиям.

Студенты волновались, в университете шли сходки, по частным квартирам происходили тайные собрания, на которых страстно обсуждались разные программы политических партий и злободневные вопросы переживаемого момента. В одной из таких квартир, куда привел меня на тайную сходку двоюродный брат, студент старшего курса, я с увлечением слушал красивую речь приезжего из Петербурга делегата студентов, известного впоследствии эмигранта и писателя Плеханова.

В университете на сходках страсти до того разгорелись, что ректор Бунге, сознавая свое полное бессилие восстановить порядок и боясь введения в университет полиции, обратился за советом и помощью к маститому попечителю учебного округа, генералу П.А. Антоновичу, жившему в здании К. I Г., которого я хорошо знал и часто встречал. Это был человек высокой души; в юности, в бытность студентом Московского университета, он был исключен за либерализм и сослан на Кавказ простым рядовым; пробился он в первые ряды жизни тяжелыми испытаниями.

Он понимал и любил молодежь и немедленно прибыл на сходку, с трудом пройдя в средину аудитории, в которой раздавались отчаянные речи. Славный старик, не обращая внимания на грубые крики и оскорбительные возгласы по своему адресу, зная уже заранее о требованиях студентов (перемена университетского устава, созыв Земского собора, отмена репрессий), со слезами на глазах, дрожащим голосом умолял их разойтись, чтобы предупредить большое несчастье; говорил о своем сочувствии нам, о своем личном тяжелом опыте, о невозможности достигнуть исполнения наших желаний беспорядочными взрывами неопытной молодости.

Хотя речь его не оказала влияния на заправил сходки, и он ушел расстроенный и сокрушенный, но все же большинство студентов разошлось, и сходка растаяла.

Вообще, этот первый год был для меня почти потерян для серьезных занятий; я расстроил свое здоровье и ранней весною уехал отдыхать в деревню к родителям, а осенью 1880 г. перевелся в Новороссийский университет [в Одессе], куда меня привлекла слава профессоров Ковалевского и Мечникова. Условия для занятий здесь были несравненно благоприятнее. В ту пору в Одесском университете было на 3-х факультетах (медицинский еще не существовал) всего около 400 студентов, а на естественном около 120 человек на всех курсах. Профессора знали своих слушателей в лицо и по фамилиям, и это сближение было чрезвычайно благотворно для каждого серьезного студента.

Два года, проведенные в Одессе, навсегда остались в числе лучших моих воспоминаний. С большим сожалением покидал я этот университет, перейдя с 3-го курса в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Главной причиной этого моего перехода был уход из [Новороссийского] университета лучших профессоров, и в том числе нашей гордости и красы И.И. Мечникова, который совсем покинул Россию и уехал в Париж, чтобы там предаться своим научным трудам, вдали от политических дрязг. Медицинскую академию я окончил с отличием в 1886 г. и в том же году сдал экзамены на доктора медицины.

Около года занимался я при академических клиниках, но затем вынужден был, по семейным обстоятельствам, поступить на службу – карантинным врачем в Севастополе. Деятельность эта не дала мне никакого удовлетворения, а потому в 1890 г. я перешел на частную службу к известному московскому миллионеру А.Г. Кузнецову, с которым стал путешествовать за границей на его большой паровой яхте «Форос».

Ум, образование и огромные средства владельца яхты давали ему возможность вращаться за границей в лучшем, избранном обществе.* Нашими гостями, во время плаваний по берегам Южной Европы и Северной Африки, бывали разные знаменитости из мира спорта, искусства, общественные деятели, многие русские великие князья: Алексей Александрович, Александр и Михаил Михайловичи, герцоги Евгений и Георгий Лейхтенбергские, великий герцог Мекленбург-Шверинский с женою, великою княгиней Анастасией Михайловной, императрица Евгения (вдова Наполеона III), покойная императрица австрийская Елизавета; наконец неоднократно посещал нас в 1894 г. в г. Канне наследный принц валлийский, недавно скончавшийся король Эдуард VII, горячий любитель морского спорта.

Эта приятная жизнь, полная захватывающего интереса, продолжалась пять лет. Летом, на 3-4 месяца, мы возвращались в Россию через Севастополь, а к концу октября отплывали в Средиземное море, кроме 1893 г., когда лето провели в Англии. Особенно счастливым жребием своим считаю, что мне довелось близко узнать все страны старого классического мира по берегам дивного Средиземного моря. Я посетил их не бегло, как обычно делают туристы, но провел многие дни в великих центрах древней цивилизации и культуры – в Афинах, Александрии, Каире, был в Тунисе на развалинах Карфагена, объездил всю Италию, подолгу оставаясь в Риме, Неаполе, Сицилии, 2 месяца жил в Испании, преимущественно в Гренаде и Севилье и пр.

Мы бросали наш якорь на Балеарских островах (в г. Пальме и Магоне), на Корсике (в Аячио), на Сардинии (в Кальяри), на Эльбе (для осмотра места жительства Наполеона I), на Мальте, на многих островах греческого архипелага (Лесбос, Самос, Кос, Родос, Сира, Крит и др.), в Танжере и Алжире. Смерть незабвенного А.Г. Кузнецова, немало сделавшего и для русского просвещения, положила конец нашим планам отдаленных путешествий в Индию и на Дальний Восток. Его яхта «Форос» была приобретена для нужд русской императорской семьи и еще теперь служит в дворцовом ведомстве под названием «Зарница»...

***

*Воспоминания Г.Л. Львовича (1876-1885 гг.)***

По окончании в 1876 г. приготовительного класса в Острожской прогимназии, я был переведен в августе того же года в 1-й класс К. I Г. Из состава преподавателей самое сильное, неизгладимое впечатление произвел на меня законоучитель о. Илия Экземплярский (впоследствии преосвященный Иероним, архиепископ Варшавский). Метод преподавания о. Илии заключался в живой беседе с нами о религиозных началах. Материалом для этих бесед служили повседневные явления школьной, домашней и общественной жизни.

Такой метод увлекал нас, детей, и мы с живым интересом относились к урокам Закона Божья; в нас вырабатывались разумные, твердые религиозные и нравственные начала, из коих многие остались руководящими на всю жизнь. О. Илия, обладая редким даром педагога – быстрым усвоением характерных черт ребенка и юноши, умел всегда использовать в лучшую сторону этот дар.

---

* «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К°», торгово-промышленное товарищество, крупнейшая в Российской империи и одна из наиболее крупных в мире чаеторговых фирм. Паевое товарищество учреждено в 1891 с основным капиталом 10 млн. рублей. Фирма ведет свое начало от предприятия по торговле чаем на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, основанного в 1840 в г. Кунгуре Пермской губернии кунгурским купцом 1-й гильдии А.С. Губкиным (1816-1883). В 1881 г. правление фирмы перенесено в Москву, в 1884-м внук и наследник А.С. Губкина – Алексей Григорьевич Кузнецов (1856-1895) преобразовал ее в торговый дом под названием «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К°».

** Георгий Логгинович Львович, в 1890 г. окончил юридический факультет Университета св. Владимира, дослужился до заведующего Особым отделом по полицейской части канцелярии наместника Кавказа.

Наказаний, дурных отметок у него не существовало, но было в его руках сильное средство – отдать на суд самого себя или товарищей тот или другой некорректный поступок ученика; как теперь, живо помню эти совместные обсуждения наших шалостей и неуместных выходок. Путем ясной, строгой, последовательной критики, услышанной из уст товарищей, приходишь к сознанию неуместности того или другого поступка. Снисходя к шалостям, о. Илия относился сурово к серьезным отрицательным задаткам в каждом из нас.

9 лет я пробыл в гимназии под его руководством и не помню ни одного случая, чтобы в обращении с нами он повысил голос, и, тем не менее, до последнего, 8-го класса влияние его на нас было огромное. Серьезным пониманием евангельских истин мы исключительно обязаны ему, и это сохранило в душе на всю жизнь благодарную память о почившем.

Во главе гимназии в мое время стоял директор А.Ф. Андрияшев, не так давно умерший. Как педагога, я его не знал, так как он не преподавал ни в одном классе у меня. Как начальник заведения, Алексей Фомич отличался редкой добротой и отзывчивостью. Обладая вспыльчивым характером, он, бывало, проймет ученика до слез, но обыкновенно дело этим и кончалось; редко доходило до карцера.

Зато, если он знал, что ученик нуждался в чем-либо, или его постигло несчастье, тогда А.Ф. все делал, что было в его распоряжении, чтобы помочь или утешить. В свое время мы часто нарекали на строгие формальные требования А.Ф. относительно внешности, одежды, соблюдения правил вежливости, приличия в школе и дома, но впоследствии, благодаря этим требованиям, у нас выработались соответствующие привычки, сохранившиеся и в дальнейшей жизни.

С глубокой симпатией вспоминаю и своего классного наставника в младших классах, П.С. Иващенка, ныне так же покойного, преподававшего у нас русский и латинский языки. Удивляешься теперь его подвижности, энергии и терпению, с которыми он старался внедрить в наши легкомысленные детские мозги правила русского правописания и латинские спряжения и склонения. Труды его даром не пропали; я не помню из своих товарищей в старших классах, кто бы неправильно писал по-русски, а по латинскому языку наш класс всегда шел одним из лучших. До настоящего времени, хотя мне уже за 40 лет, я твердо помню основы латинской грамматики и синтаксиса и свободно могу читать более легких римских классиков, вроде Цезаря и Тита Ливия.

Много так же труда и стараний в этом отношении положил для нас по преподаванию греческого языка и А.О. Поспишиль, но греков из нас хороших не вышло, да и выйти не могло; слишком мы были в 3-м и 4-м классах завалены работой и, при всем старании, положительно не было возможности удалять много времени такому трудному предмету, вводившемуся в курс преподавания с 3-го класса, причем одновременно вводилась алгебра и история.

Такое одновременное введение в программу 3-го класса трех серьезных предметов было крупной ошибкой в педагогии того времени; неокрепший ум 12-летнего ребенка не в состоянии был удерживать логической нити каждого из преподаваемых предметов. Получалась какая-то растерянность; бросаешься от одного предмета к другому, и, в конце концов половина, программы усваивалась чисто формально, как, например, новые языки, русская литература, история. Вероятно, такое поверхностное изучение истории постигло бы и наш выпуск, если бы в бытность нашу в 6-м классе к нам не был назначен учитель Турчаковский, который открыл нам глаза, что суть истории не в эпизодах Беллярминова и Иловайского, а в законах жизни человека и общества.

Метод его преподавания быль чисто прагматический; он рекомендовал нам массу книг по своему предмету, живо развивая перед нами картины исторических событий и заставляя нас писать сочинения на исторические темы.

Не забуду никогда того смятения, которое охватило наш 7-й, когда однажды, придя на урок, Турчаковский дал нам написать тут же в классе сочинение на тему: «История образования городского населения в Западной Европе в средние века». Конечно, результаты получились весьма печальные.

Не могу обойти молчанием так же и светлую, симпатичную личность умершего в год нашего выпуска (1885) учителя математики, Д.Л. Белявского, в высшей степени благородного человека и редкого педагога. Скончавшийся в 1905 г. наш учитель географии, Н.Т. Черкунов, оставил неизгладимую память о сердечных, теплых отношениях своих к ученикам, за судьбой которых он следил до конца своей жизни.

Совместная работа как названных преподавателей, так и других, соприкасавшихся с нами более или менее продолжительное время, оставила во мне теплое чувство и нравственную связь с нашей «alma mater» до настоящего времени.

***

Воспоминания В.О. Кудленка (1880-1889 гг.)[*]

К Киевской 1-й гимназии я не могу не питать глубокой любви, почтения и преданности, так как она дала мне все: воспитание, образование, общественное и служебное положение. Вспоминая свои гимназические годы (из них 7 лет в пансионе при гимназии) и сопоставляя с ними свою последующую жизнь и службу, я прихожу к заключению, что фундамент знаний, нравственных основ, общего развития и воспитания дала мне гимназия очень прочный, а пансионский режим воспитал во мне аккуратность, исполнительность и требовательность к себе, столь необходимые всем нам на службе, а мне, военному, в особенности. Это не дифирамб гимназии, а мое твердое убеждение, основанное на опыте всей моей жизни. Насколько помню, время моего пребывания в гимназии (с 1880-го по 1889 г.) не ознаменовалось ни одним криминальным случаем. Это было время дружной работы учащихся и учителей; все были заняты только образованием и обучением, и никаких отступлений в сторону не было.

Из учителей благотворно влиял на меня и сделал из меня любителя математики И.И. Чирьев. Способ преподавания его был нешаблонный. Обучая нас математическим наукам, он придумывал свои способы доказательства, не книжные, при которых легче, скорее и нагляднее усваивались математические истины. Кроме того, своим любовным отношением, как к нам, так и к преподаваемым предметам, он невольно внушал нам любовь к предмету преподавания и уважение к себе, как учителю.

Любил малышей и вечно возился с ними учитель географии Н.Т. Черкунов; каждый вечер он звал их к себе на квартиру по несколько человек и там занимал их своей богатой коллекцией, собранной им во время путешествий (которым он посвящал свободное вакационное время), а также опытами и фокусами с электричеством и т.п. Очевидно, горячо любил свою науку Н. Т., любил он и детей – учеников своих. Карты в классе он рисовал на доске на память и требовал этого и от нас; этим он развивал в нас графическую память.

Остался у меня в памяти образ учителя истории Турчаковского; это был художник-лектор, уделявший почти все время классных часов на рассказ, в дополнение к учебникам, и лишь некоторое время на опрашивание, т.е. поверку наших успехов. Очень требовательным был учитель древних языков Я.Г. Мищенко; это была гроза для учеников, но зато и знали предмет его ученики лучше, чем ученики других преподавателей.

---

[*] Владимир Онуфриевич Кудленко, учился на математическом факультете Университета св. Владимира, но курса не окончил, в 1891 г. поступил в киев. военно-училищные классы, которые окончил в 1893 г. и был произведен в подпоручики, дослужился до капитана, командира 2-й роты 130-го Херсонского пехотного полка.

Учащиеся жили между собою дружно, несмотря на разнообразный состав класса в отношении вероисповеданий, сословий и состояний. Ни шпионства, ни кляузничества не было. Не было среди нас и закоренелых лентяев; были, как и везде, подсказывание и списывание и другие способы ученического надувательства, но все это в меру.

Высокомерия учеников старших классов к младшим не было, и обид им старшие никогда не чинили. Игры и внеурочное времяпровождение были всегда приличны, и для нас чем-то диким казалось описываемое в «Бурсе» Помяловского.

Между прочим, в 8-м уже классе, у нас, в 1-м отделении, среди многих развилась любовь к шахматной игре, в которую продолжали играть и во время уроков; конечно, тут уже игра велась на бумаге, без досок и фигур.

Вспоминая жизнь свою в пансионе, скажу, что отношения всех воспитателей к пансионерам были очень гуманными. Ввиду большого количества пансионеров (около сотни человек) и невозможности вести воспитание каждого из нас в отдельности, характер каждого из нас складывался или под влиянием примера старших или в зависимости от прочитанных книг. При пансионе была хорошая библиотека. Пансионеры любили читать книги; читали их во время занятий, т.е. во время приготовления уроков, читали и в коридорах при свече, читали и по праздникам по утрам в постели, любили также оставаться почитать после молитвы, но это некоторые воспитатели преследовали. Чтение книг имело на меня очень благотворное влияние, как в смысле развития, так и воспитания; оно создало серьезный взгляд на жизнь.

Начиная со средних классов, некоторые из товарищей отделялись от играющих сверстников и в свободное время в одиночку гуляли летом вдоль длинных аллей сада, а зимою вдоль коридоров: чего-чего только не передумывала молодая голова во время этих хождений в одиночку, развивая самоуглубление в себя, самоанализ. В пансионе нас учили и танцам, и гимнастике (а желающих, за плату, и музыке), но с жизнью мы мало знакомились реально. Вот почему каждый был доволен всяким выходом на время в город, в отпуск или на прогулку, а особенно любили пансионеры, когда их водили в мае месяце рано утром купаться на Днепр.

***

Воспоминания В.Н. Терлецкого (1880-1891 гг.)[*]

Я поступил в К. I Г. в 1880 г., а окончил ее в 1891 году. Директором ее был в то время А.Ф. Андрияшев, оставивший гимназию незадолго до окончания ее мною и поступления моего в Университет св. Владимира; инспектором был Ю.И. Сенинский, который вскоре после моего поступления в гимназию переведен был директором К. 3-й Г. На место ушедшего Сенинского инспектором К. I Г. был назначен хорошо памятный всем нам, бывшим ее питомцам, К.Н. Воскресенский.

Об этом чудном человеке и редком педагоге сохранились у меня самые светлые воспоминания. Это был человек очень образованный, кажется, с двойным высшим образованием – [духовно-]академическим и университетским. Сделавшись нашим инспектором, Константин Николаевич в то же время стал преподавать в младших классах русский и древнеславянский языки. Это был своеобразный учитель, державшийся своих особенных методов в преподавании. Главное внимание свое он обращал на русское правописание, научать которому учеников составляет едва ли не самую трудную задачу учителя русского языка.

---

[*] Василий Никитич Терлецкий то учился, то служил, но в итоге окончил физико-математический факультет (по естественному отделению) Университета св. Владимира в 1907 г. После чего получил должность учителя арифметики, географии и природоведения в Единецком духовном училище Бессарабской губернии.

И вот К.Н., помимо классных диктовок в положенные дни недели, задавал нам домашние копировки, состоявшие в списывании из хрестоматии в особую тетрадь стихотворений и басен, положенных к заучиванию наизусть, и некоторых упражнений на букву «ѣ» из этимологии Кирпичникова и Гилярова.

Классные письменные упражнения не ограничивались одними диктовками; иногда нам задавались переложения басен (во 2-м и 3-м классах) и изложения собственных мыслей на заданную тему. Усвоение русской грамоты, которая дается с таким трудом учащимся в низших классах, далось мне и моим товарищам сравнительно легко, быть может, именно благодаря особым приемам преподавания русского языка К.Н. Воскресенским.

Он постиг раньше других педагогов ту истину, что в деле русской орфографии учащийся должен упражнять прежде зрительную память свою, которая прочнее и надежнее способствует усвоению русского правописания, нежели восприятие слуховое во время диктовок, так как это восприятие слуха подчас даже сбивает ученика с истинного пути, как в произношении великоросса, так и в произношении малоросса: в первом случае преобладает звук «а», а во втором «о».

К.Н. был великоросс, диктовка его была довольно сбивчива для учеников по слуховым лишь впечатлениям; надобно было хорошо знать грамматические правила, чтобы не сбиться в правописании под диктовку К.Н., диктовавшего больше на звук «а», например, «Масква», «добрава», «слѣпова», «эдакава» и т.п. К.Н. это и сам отлично сознавал и требовал от нас твердого и основательного знания русской грамматики.

Особенно осмысленно преподавал он нам русско-славянскую грамматику. Его уроки грамматики очень выигрывали, в отношении легкости и понятности, от сравнительного соотношения форм русского и древнеславянского языков. Это были уроки сравнительного языкознания, параллельного прохождения склонений и спряжений обоих языков, причем оттенялась генетическая зависимость современного русского от древнеславянского.

Далее, К.Н. не разбрасывался на своих уроках, а отдавался на каждом уроке чему-нибудь одному. Свои уроки он распределял по дням недели приблизительно так: на один урок он задавал только грамматику, на другой – стихотворения и басни, с пересказом статей для чтения, на третий – грамматический разбор, на четвертый – диктант.

Как инспектор, К.Н. Воскресенский особенно близко стоял к пансиону при гимназии. В пансионе было воспитанников около сотни; в числе пансионеров, с самого поступления в гимназию, был и я. И вот пансионеры-то и были наиболее близки и дороги К.Н. Вся пансионская жизнь протекала под ближайшим его наблюдением. Он очень часто посещал пансион, по несколько раз в день; квартира его была ближайшей к пансионской столовой, так что он мог часто наведываться к нам в столовую во время чая, завтраков и обедов. Он, видимо, старался об улучшении пансионного стола; при нем стали лучше кормить пансионеров.*

Затем, при нем же стали и лучше одевать их: бывало, К.Н. часто сидит в пансионской гардеробной, на самом верхнем этаже гимназии, и принимает от портного форменные блузы, мундиры и пальто воспитанников. Я прекрасно помню К.Н., сидящим за гардеробным столом и внимательно осматривающим с ног до головы какого-либо юного пансионера, облеченного в новехонькую форму для примерки; он одно платье принимал, другое браковал и отдавал в переделку. Точно так же было и с обувью.

---

* Как становится известным из не вошедших в данное Приложение фрагментов воспоминаний М.К. Чалого, экономы некоторых гимназий и Университета св. Владимира подворовывали в свою пользу, зачастую действуя заодно с директором, тем же Е.Я. Зимовским в Немировской гимназии.

Помню так же, как по мысли К.Н. налили на гимназическом дворе ледяной каток собственно для пансионеров. Было доставлено в пансион несколько десятков пар коньков, стальных и деревянных. К.Н. сидел опять в гардеробной и следил за пансионерами, выбиравшими себе по вкусу коньки; при этом он что-то отмечал в своей записной книжке: вероятно, записывал на каждого пансионера цену выбранных им коньков.

Часто сталкиваясь с учениками гимназии и на уроках, и после уроков, собственно с воспитанниками пансиона, он держался с ними запросто и без начальнической важности: он имел обыкновение называть нас по имени.

По воскресеньям и праздникам К.Н. завел для пансионеров особый порядок выдачи мелких карманных денег. Дело в том, что родители оставляли и в течение учебного года присылали инспектору деньги для раздачи детям своим на мелкие расходы и лакомства, интересен был при этом способ выдачи этих денег. Один из старших учеников-пансионеров записывал накануне праздника фамилии учеников, желавших получить деньги на лакомства. Таких «денежных» пансионеров в общем было немного.

В самый праздник пансионеры в известный час, после богослужения и завтрака, шли в квартиру К.Н. и там размещались в зале в ожидании его выхода. К.Н. выходил из внутренних комнат и проходил в свой кабинет, заставленный изящными шкафами, набитыми снизу и доверху книгами в красивых переплетах. У стены единственного окна, выходящего на Бибиковский бульвар, стоял большой письменный стол. К.Н. садился за стол, открывал свою кассу и начинал выдавать кому 10 коп., кому 15 коп., кому 20 коп., смотря по классу. Младшим ученикам он давал меньше, старшим – больше.

Для нас, помню, доставляло большое удовольствие побывать в кабинете любимого инспектора. Бывали и другие, более крупные, расходы у пансионеров. В таких случаях К.Н. не доверял больших денег юным гимназистам, а избирал из их среды доверенное лицо, которому и поручал сделать нужные покупки.

В первые годы моего учения в К. I Г. в нашу гимназическую церковь ходили и пансионеры К. 2-й Г. Мы называли их «карандашами», а они величали нас «паштетами». С учениками приходили в нашу церковь и инспектор, и директор К. 2 Г. Они становились подле своих учеников с правой стороны. С правой же стороны, ближе к церковному старосте, Н.А. Терещенку, становился и наш директор А.Ф. Андрияшев. Впереди же всех, на левом клиросе, становился попечитель учебного округа, старик Голубцов* с женой, и помощник попечителя И.Я. Ростовцев, у правого клироса, на котором попеременно пели хоры 1-й и 2-й гимназий.

В мое время в здании К. I Г. жил и попечитель Голубцов, там, где теперь помещается канцелярия округа; эта же последняя помещалась на третьем этаже, подле квартиры помощника попечителя. Во флигеле же гимназии (в котором теперь помещается женская гимназия св. Ольги) жили окружной инспектор Шульженко; законоучитель гимназии протоиерей М.Д. Златоверховников; казначей гимназической канцелярии Прилуцкий; надзиратель гимназии, старик [Федор Иванович] Инфимовский; и четыре воспитателя пансиона, бывшие в то же время и преподавателями гимназии – Г.Р. Бергман, А.О. Поспишиль, С.К. Ильяшенко и П.С. Иващенко. Когда Г.Р. Бергман переехал на жительство в свой собственный дом, отказавшись от пансионского воспитательства, то его место воспитателя и квартиру занял И.А. Григорович.

Когда я был в 5-м или 6-м классе, К.Н. Воскресенский был перемещен директором К. 3-й Г., а инспектором нашей гимназии был назначен бывший инспектор К. 3-й Г., А.В. Старков.

---

* Тайный советник Сергей Платонович Голубцов служил попечителем Киевск. уч. округа в 1880-1888 гг.

Директор А.Ф. Андрияшев стоял далеко от нас; изредка только посещал пансион, а во время уроков мы видели его тоже не часто, направлявшимся своей важной и медленной поступью из своей квартиры на втором этаже в инспекторскую комнату. А.Ф. Андрияшев преподавал русскую историю в одном из классов, но я у него не учился и не знаю его с этой стороны. Когда я был в 8-м классе, он вышел в отставку и поселился в своем доме на Ивановской улице (ныне Тургеневской), где отдался своему любимому пчеловодству. Он же издавал и свой «Народный Календарь».

После него директором гимназии был назначен И.В. Посадский-Духовской, при котором я уже оканчивал гимназию и которого поэтому мало знал.

Гимназическая жизнь в пансионе протекала довольно однообразно и монотонно. Наш пансион, помещавшийся в 3-м этаже, был довольно велик, приблизительно в 100 человек. В пансионе было две занятных комнаты*, в которых стояли двумя рядами особые парты, с ящиками для хранения книг и письменных принадлежностей, а у стены, посредине первой занятной, отличавшейся своими большими размерами, стоял воспитательский столик. Кроме того, в пансионе были приемная для гостей с фортепиано и фисгармонией, две спальни, танцовальный зал и библиотека для пансионеров, в которой помещался дежурный воспитатель.

Из четырех воспитателей самым старшим был Г.Р. Бергман, учитель немецкого языка и пансионский библиотекарь. Его дежурства проходили шумно и беспокойно. Педантичный и аккуратный немец, Густав Ричардович не мог справляться с шалунами, которые выводили его из терпения и заставляли его кричать и греметь. У него был зычный голос и кричать он был горазд, а учеников его крик не столько пугал, сколько забавлял. Немало также потешались пансионеры над его своеобразным русским произношением, с особым акцентом. Но, в общем, при своей горячности, Г.Р. был добродушным человеком. Будучи по темпераменту своему сангвиником, всегда живой, подвижный и жизнерадостный, он часто шутил с нами и любил поговорить о политике.

Его коньком были история Германии и немецкая литература. Прекрасно зная и ту, и другую, он нередко отвлекался в сторону на своих уроках немецкого языка, в особенности в старших классах, и любил рассказывать нам наиболее интересные эпизоды из немецкой истории; из родных ему немецких поэтов он, по-видимому, более всего ценил и восторгался великим Гете. Г.Р. любил так же рассказывать про своего знаменитого брата, берлинского профессора-хирурга [Эрнста Бергмана].

Грознее всех воспитателей были С.К. Ильяшенко, которого мы за глаза называли «Степой», и П.С. Иващенко. С.К. Ильяшенко был представительный, высокий мужчина и обладал значительной физической силой. Будучи в сущности незлым человеком, он был очень вспыльчив и в минуту гнева хватал за шиворот шаловливого мальчишку и ставил его под часы в пансионском коридоре. Во время своих дежурств в пансионе, в качестве воспитателя, он любил сидеть за воспитательским столом и читать книгу.

Он много читал; а когда, бывало, устанет от чтения, тогда начнет ходить взад и вперед размеренным шагом по занятной комнате, между двух рядов больших парт, за которыми занимались пансионеры. Степан Константинович преподавал у нас математику и для меня был самым близким учителем, потому что я учился у него почти во все продолжение гимназического курса. С ним же я и окончил гимназию. Потом уже, много лет спустя, я встретил его в Университете св. Владимира инспектором студентов, но вскоре он умер, и мне пришлось итти за его гробом.

---

* Имеются в виду комнаты для занятий.

Совсем в другом роде, [как] человек и педагог, был П.С. Иващенко, очень популярный в мое время учитель русского языка и словесности. Как и С.К. Ильяшенко, П.С. Иващенко был «хохол», и даже, как передавали, из крестьян, но настолько «обрусевший», что никто бы и не сказал, судя по его речи, что он малоросс; он прекрасно говорил по-русски, на «а», без всякого малороссийского акцента. Его уроки, сперва русского языка, а затем теории словесности и истории русской литературы, были для нас очень интересными, хотя отчасти и запугивали нас.

В 7-м классе Петр Семенович преподавал нам и логику, с краткой психологией (по сокращенному учебнику Владиславлева); эта философская наука трудно давалась нам и была для нас сущим наказанием. Но уроки П.С. по русскому языку и литературе были очень живы и интересны, хотя, как я сказал уже, и несколько страшны для нас.

Нас более всего страшил на этих уроках, так называемый, «быстрый, летучий спрос». Когда, бывало, войдет в класс П.С. и, сев на кафедру, скажет: «сегодня у нас быстрый, летучий спрос», то у всех нас душа в пятки уходила. Да и немудрено было испугаться: это значило, что будет спрошен весь класс. П.С. вызывал в таком случае сразу учеников по 4-5, которые устанавливались по обе стороны кафедры и должны были отвечать на быстрые перекрестные вопросы из курса.

Но бывали и такие уроки у П.С., когда он вовсе не спрашивал, а все время объяснял и рассказывал новый урок. Такие уроки были для нас истинным духовным наслаждением: П.С. прекрасно говорил и свой предмет излагал с захватывающим интересом и серьезным знанием дела.

Классные письменные упражнения по русскому языку в 3-м и 4-м классах П.С. любил давать в виде переложений басен; но бывали и опыты письменного изложения на заданную тему, например: «Как я провел рождественские святки»...

Что же касается домашних письменных упражнений по русскому языку в старших классах, то у П.С. мы довольно рано приучались к самостоятельному изложению своих мыслей по заданному вопросу, причем он давал несколько тем, частью из пройденного курса, частью же общего характера, вроде, например, таких: “Изъяснить изречение Петра Великого: «охотой много можно сделать»”, «Город и деревня летом и зимой» и т.п.

И когда П.С. приносил, бывало, наши сочинения в класс в исправленном виде, то мы знали, что весь урок уйдет на беседу по поводу наших письменных работ. Дело в том, что П.С. любил устраивать в классе по поводу наших сочинений нечто вроде коллоквиумов: с лучшими и худшими работами он знакомил весь класс, читая целые выдержки из них и делая при этом свои замечания, на которые автор данной работы мог возражать.

Лучшее сочинение доставляло автору своего рода известность в кругу товарищей и как бы возвышало его во мнении всего класса. На уроках П.С. всегда поддерживался образцовый порядок в классе; точно так же и на его дежурствах в пансионе. Он не кричал на провинившихся учеников, а укоризненно распекал и изводил их своими выговорами: он мастер был делать выговоры. Как пансионский воспитатель, П.С. был оригинален. Он любил, например, после обеда устраивать далекие и продолжительные прогулки с пансионерами. Обычно пансионеры выстраивались парами в длинную линию, одетые в свои пальто, а П.С., как полководец, проходил мимо наших рядов и осматривал их, причем одну пару из старших учеников высылал из задних рядов в голову всего шествия.

Пансионеров, кроме дежурного воспитателя, на прогулке сопровождали обыкновенно пансионские «дядьки». Некоторым из них пансионеры давали своеобразные прозвища: так, один из них (кажется, белый Иван) был известен у нас под именем «Юбеда»*, а другой (тоже, кажется, Иван, но только уже черный) под именем «Югурта». На прогулках с другими воспитателями мы обычно проходили всю Большую Владимирскую улицу, от здания нашей гимназии до Софийского собора и обратно. Петр же Семенович избирал другой маршрут для прогулок и, таким образом, знакомил нас с топографией Киева. Приходили мы с прогулок Петра Семеновича порядком уставшие, но зато с большим запасом свежих впечатлений.

Вечерами, после чаю, П.С. иногда (правда, очень редко) устраивал литературные чтения в танцовальном зале. Приносили для него воспитательский столик и ставили в зале. Пансионеры располагались на длинных деревянных скамьях со спинками. П.С. садился за свой столик и раскрывал одну из повестей Гоголя: он чудно и бесподобно читал Гоголя. Помню, какой гомерический хохот водворялся у нас в зале во время чтения им «Старосветских помещиков» и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»...

Когда на масленицу устраивались в нашем пансионе спектакли и готовили к постановке на сцене одну из комедий Гоголя (чаще всего «Ревизора»), то П.С. руководил репетициями и был вообще душою нашего пансионского театра.

Инспектором тогда был у нас А.В. Старков, который давал мне в старших классах младших учеников – на репетицию, за скромное вознаграждение. У нас в пансионе репетиторами младших, слабо успевавших учеников были обычно, по назначению инспектора, ученики старших классов, конечно, более развитые и серьезные.

Законоучителем в коренных классах был у нас протоиерей И. Экземплярский, бывший в то же время законоучителем и коллегии Павла Галагана, где он и жил. Это был представительный и симпатичный «батюшка», как мы называли его.

Я и теперь живо представляю себе его синюю рясу, у ворота которой висел золотой магистерский крестик, его нависшие брови над умными и выразительными глазами, его голос – высокий тенор, которым он пленял публику во время богослужений.

В середине 80-х годов наш батюшка-вдовец принял монашество, с именем Иеронима, и сделался впоследствии архиереем, сперва епископом Чигиринским (если не ошибаюсь), викарием Киевской митрополии, а затем правящим епископом Тамбовским и, наконец, архиепископом Холмско-Варшавским. Когда мы снимались для группы 8-го класса перед окончанием гимназия, то преосвященный Иероним прислал нам из Тамбова свою фотографическую карточку, которая и была переснята на нашей общей группе. После ухода нашего любимого «батюшки», его место на уроках Закона Божья заступил у нас законоучитель параллельных классов гимназии и настоятель домовой гимназической церкви, протоиерей М.Д. Златоверховников, так же магистр богословия.

Церковным старостой гимназической церкви был в мое время [почетный попечитель] Н.А. Терещенко. Памятны мне храмовые праздники нашей гимназической церкви (6 декабря, день памяти св. Николая Чудотворца). Для певчих в эти дни Н.А. Терещенко поставлял особое угощение, и их водили в оперный театр.

---

* В вышеприведенных очерках Льва Михайлова «В гимназии» описывались весьма колоритные «дядьки» – Иван-Ябеда (с темными волосами) и Вавилов (седой как лунь). Что касается дядьки «Югурта», то известен лишь один исторический герой, носивший сие имя: Царь Нумидии (Северная Африка), правивший в 118-105 гг. до Р.Х. По каким основаниям эта кличка прилипла к «черному Ивану», сейчас остается только догадываться – возможно, по внешнему сходству (смуглый, худощавый брюнет?).

Ранее Югортой и заодно Родэном обзывали гимназисты Немировской гимназии своего директора Е.Я. Зимовского (писали сии обидные клички на заборах!).

По всеобщей истории (а также и русской) было у меня три учителя: Функе, которого очень мало знаю, как преподавателя, так как он оставил гимназию вскоре после того, как стал преподавать нам историю в 3-м классе. Мне более знаком его учебник всеобщей истории, составленный применительно к программе женских гимназий. На место ушедшего Функе поступил к нам молодой историк Турчаковский. Его наружность глубоко врезалась мне в память. Как теперь, вижу его перед собой: темный шатен довольно высокого роста, хромавший на одну ногу. Он никогда не расставался с тростью, на которую опирался, когда ходил. Он чудно рассказывал уроки; и до сих пор помнится мне его рассказ про Троянскую войну…

Но в обращении с учениками он был несколько резок. Один раз, после пансионского завтрака, я принес в класс горбушку ржаного хлеба, густо посыпанную солью, и вздумал «дозавтракать» на уроке истории; это был по счету четвертый урок (завтраки были в пансионе после 3-го урока). Хотя я и сидел на одной из задних парт, но Турчаковский заметил, что я ел, и, не зная еще моей фамилии, крикнул на весь класс: «Кто это там ест с длинной шеей, как у воробья?» Я сконфузился, а класс прыснул со смеху.

Как память об этом учителе, остался у меня немецкий карманный атлас «Taschen-Atlas», изящно изданный за границей на немецком языке и выписанный для нашего класса Турчаковским. Но этот последний не особенно долго оставался у нас учителем: скоро его назначили инспектором в уездную гимназию (Уманскую, кажется).

В нашу же гимназию был назначен новый историк, тоже молодой человек, П.В. Голубовский, магистрант Университета св. Владимира, при котором я и окончил гимназию. Петр Васильевич был маленького роста, на тонких ногах и с двумя большими горбами – спереди и сзади. Сквозь очки светились умом его добрые глаза, а на голове он носил прекрасные длинные волосы, ниспадавшие назад густыми прядями. Он никогда не носил форменного фрака, а всегда был в вицмундире. Бывало, придет в класс П.В., взойдет на кафедру и так и простоит целый урок, не приседая ни на минуту. Он редко рассказывал уроки, а задавал больше по учебнику Иловайского: «отсюда – досюда».

Задав урок, он обращался обычно к классу с вопросом: «Господа, кто желает сегодня занять должок?» Это значило: кто не приготовил на сегодня урока и не желает поэтому отвечать? При этом вопросе подымались с места некоторые ученики и заявляли о своем нежелании отвечать урок.

П.В. был снисходителен к таким честным и откровенным ученикам, записывал их фамилии в своей записной книжке и «должки», т.е. неприготовленные уроки, требуя при этом, чтобы подгулявшие ученики выучили их и ответили бы, когда он вызовет их. После этого он обыкновенно начинал вызывать учеников к кафедре и спрашивал их, причем сам углублялся в какую-нибудь свою работу, которую он приносил с собою в класс.

Он работал в это время над магистерской диссертацией и приносил в класс какие-то свои книги и записки. Иногда он, бывало, так уйдет в свою работу, что, казалось, забывал об ученике, стоявшем у кафедры и отвечавшем урок; и только, когда тот, бывало, собьется или замнется при рассказе, П.В. задавал ему наводящие вопросы, чтобы вывести его на настоящую дорогу. А когда ученик кончал свой пересказ, П.В. задавал несколько вопросов из хронологии и отпускал его с миром. Учиться у П.В. было очень легко: нужно было только знать хорошо учебник Иловайского – и можно было итти на «пятерке».

Состоя у нас учителем, П.В. Голубовский был в то же время приват-доцентом по русской истории в Университете св. Владимира, а несколько лет спустя после моего окончания гимназии, он совсем перешел в университет и сделался профессором русской истории.

Когда в 1905 г. я вторично поступил в Университет св. Владимира студентом физико-математического факультета (в первый раз я поступил туда в 1891 г., непосредственно по окончании гимназии, на историко-филологический факультет, но пробыл на нем всего один год и перевелся в духовную академию), то я застал еще П.В. профессором, ходившим уже с тростью в руках и медленной-медленной поступью по университетским коридорам. Он значительно подался против прежнего: видимо, расшатал свое, и без того слабое, здоровье усиленными научными занятиями, а скоро затем и умер.

Покойный наш учитель, П.В. Голубовский, был, как я понимал его, тем, что называют «цельной натурой». Основательно зная свой предмет, он не был узким специалистом; это была широкая, разносторонняя русская натура. Ему были близки и вопросы религии. Однажды во время каникул мне довелось видеть его в Михайловском монастыре, горячо молившимся у мощей св. великомученицы Варвары. День был будний, и народу в монастыре было мало.

Географию преподавал в мое время Н.Т. Черкунов. Он прекрасно знал свой предмет, и не только книжно, но и по собственному опыту, изъездив чуть ли не весь земной шар, так что имел возможность воочию видеть и изучить нашу землю с ее обитателями.

Каждое почти лето Николай Трофимович предпринимал далекое путешествие в чужие края, с научной целью изучения дальних стран. Из своих многочисленных путешествий он привозил коллекции насекомых, минералов, редкие экземпляры птиц и т.п. Он составил мало-помалу настоящий естественно-исторический музей, заполнивший всю его квартирку, которую он занимал в нижнем этаже гимназии, у пансионской столовой. Две или три комнаты были заставлены столиками, на которых, под стеклянными колпаками, красовались редкие экземпляры природы неорганической и живой. Н.Т. был, таким образом, не только географ, но и естественник, живо интересовавшийся всеми областями природоведения.

Мы все помним добрейшего Николая Трофимовича, постоянно окруженного своими питомцами, которые заменяли ему собственных детей, которых у него не было, так как он оставался всю жизнь не женат, а жила при нем только его старушка-мать. Н.Т. особенно близок был к пансионерам, среди которых у него были свои любимцы. Этих-то любимцев он имел обыкновение вечерами, после чаю, призывать к себе небольшими группами и знакомить их с богатыми своими коллекциями. Кроме того, Н.Т. у страивал географические игры, причем дарил удачно игравших разными лакомствами.

Не раз случалось и мне бывать в заветной квартире Н.Т., заключавшей в себе столь много интересного для пытливого детского ума. Как память о Николае Трофимовиче (уже покойном), сохранились у меня две или три книжечки его учебника географии.

Одиннадцать лет я пробыл учеником К. I Г.; из них девять лет я прожил в пансионе. Помню, как первое время трудно было мне привыкнуть к необычной для меня пансионской обстановке, в кругу многочисленных пансионеров, среди которых попадались иногда злые и нравственно испорченные подростки, обижавшие слабых.

На первых порах я очень грустил по родном доме и родителям. Я был от природы тихий и скромный мальчик, привезенный из деревни, где мой отец был сельским священником. Отец и мать очень любили меня, с малых лет я привык к нежному и ласковому обращению в родной семье. И после привольной, полной любви, неги и ласки, жизни дома, очутиться вдруг девятилетнему мальчику в многолюдном пансионе, среди чужих! Понятно, я чувствовал себя жутко, странно и порою невыносимо тяжело... Всякому новичку, поступившему в пансион, давали какое-либо прозвище или кличку; у некоторых новичков находились покровители и защитники из старших пансионеров, не дававших в обиду своих маленьких друзей. И у меня скоро нашлись такие покровители.

В общем, меня мало обижали более сильные товарищи: меня скоро полюбили в пансионе – за мой хороший голос-дискант, миловидную наружность, опрятность и тихий, кроткий нрав.

Среди пансионских «дядек» был Иван белый (блондин), которого, как я уже выше говорил, пансионеры называли «Юбедой», из отставных унтер-офицеров или фельдфебелей. И он, между прочим, тоже взял меня под свою особую охрану и покровительство, за что родители мои не оставались у него в долгу. Приезд моих родителей и для него был праздником. Этот Иван «Юбеда» по утрам на своих дежурствах должен был бить в колокольчик и будить пансионеров на утреннюю молитву.

Бывало, накануне воскресений и праздников, когда Иван будил учеников звонком, то, в виде особого поощрения вставать, он приговаривал так: «Вставайте, вставайте, почта едет, деньги везет к празднику!» Отличая меня особым вниманием своим, Иван, когда я был в старших классах и мне пришло время перейти из младшей спальни в старшую, поставил для меня кровать в самом почетном месте – в углу, у окна, под иконой. В стене, подле которой стояла моя кровать, были двери в библиотеку, служившую и воспитательской комнатой. Моя кровать, таким образом, стояла в стороне от всех остальных.

В старших классах я чувствовал себя в пансионе далеко уж лучше, чем на первых порах. Но иногда пансионская сутолока, этот вечный шум и звонки пансионские, порядочно-таки надоедали мне... Страстно хотелось куда-либо бежать от всего этого. В таких случаях я спасался в пансионскую больницу, куда отпрашивался у дежурного воспитателя под видом больного. Чаще всего в гимназии я болел «ногтоедом» – болезнью, хотя и не серьезной, но все-таки приковывавшей меня к койке на несколько дней. В больнице был совершенно особый режим, более легкий, чем в пансионе. Здесь можно было и отлежаться вволю, и отдохнуть.

Дни, проведенные в пансионской больнице, в особенности осенью и зимой, были для меня чуть ли не самыми приятными. Бывало, оденешь на себя больничный халат и туфли, выйдешь из больничной палаты в приемную комнату, где помещалась и аптека, сядешь на незатейливый диван и поведешь беседу с фельдшером. А то вот после утреннего чая или обеда заберешься, бывало, на свою койку, – в больничных палатах уютно и тепло, а на дворе снежная метель, мороз трещит, – расположишься поудобнее на постели и примешься запоем читать.

Перед приходом доктора Чешихина немного подтянешься, прикинешься серьезно больным, чтобы он еще не выписывал тебя из больницы. И как, бывало, крепко не хотелось выписываться из больницы и возвращаться в шумный, холодный и многолюдный пансион!..

На переменах во время вечерних занятий пансионеры занимались гимнастикой и танцами, под руководством особых учителей. Помню хорошо, что мне чаще всего приходилось танцовать за даму. Вначале гимнастика в гимназии была по шестам, лестницам и трапециям, а потом ее упразднили и заменили шведской. Было одно время заведено в гимназии фехтование на рапирах, для любителей этого спорта. Помню нашего учителя гимнастики Экстера, фехтовавшего на рапирах с пансионерами старших классов.

Я застал еще в гимназическом саду гигантские шаги, но скоро затем их упразднили. Из игр на вольном воздухе остались только кегли и крокет; ну, и, конечно, игра в мяч никогда не переводилась. На физическое воспитание, вообще говоря, в гимназии в то время обращалось мало внимания; если и была какая-нибудь гимнастика, то она производилась не на вольном воздухе, а в особом зале, душном и переполненном гимназистами.

Говоря о пансионе и моей жизни в нем, не могу умолчать еще об одном любопытном факте. Уже будучи в старших классах, я и некоторые из моих товарищей-пансионеров стали испытывать своего рода писательский зуд.

Явилось желание у нас издавать свой пансионский орган, нечто вроде журнала. Мы образовали литературный кружок, поставивший себе задачей писать и редактировать свой орган. Душою этого кружка были Валериан [Иванович] Карнаухов [(ныне присяжный поверенный в Киеве)], редактор журнала, Константин [Федорович] Радченко, помощник редактора (он умер недавно профессором нежинского историко-филологического института). Осип Фененко* и я, писавшие фельетоны, статьи, заметки и прочее для журнала; Карнаухов, как недурно рисовавший, придумывал, кроме того, разные виньетки и рисунки для нашего органа, которому дано было название: «Пансионский Листок».

Казалось бы, во всей нашей затее не было ничего дурного и предосудительного. В своем «органе» мы касались, главным образом, крупных и мелких событий пансионской жизни, но затрагивали попутно и всю вообще жизнь нашей гимназии.

Но вот, когда вышло уже несколько рукописных номеров «Пансионского Листка», расходившегося по рукам пансионеров в одном или двух экземплярах, хранившихся обыкновенно у членов нашего кружка, неожиданно ночью был сделан обыск у нас и найденные номера журнала были конфискованы; таким образом, «Пансионский Листок» прекратил свое существование.

В заключение своих гимназических воспоминаний скажу, что за время пребывания моего в К. I Г. осчастливил ее своим посещением Государь Император Александр III с августейшим семейством. Это знаменательное событие произошло в августе 1885 года. Незадолго до приезда в Киев Государя и царской семья, нас, гимназистов, ранее обыкновенного собрали после каникул и начали готовить к предстоящей встрече Царя. Помню, Государь и царская семья прибыли в Киев далеко за полдень. День выдался ясный и теплый; мы были выстроены шпалерами вдоль Бибиковского бульвара, по фасаду гимназии.

Государь и Государыня с детьми проехали в открытых экипажах. Мы кричали «ура» и были очень патриотически настроены. С вокзала Государь проехал, кажется, прямо в Софийский собор. Помню еще хорошо, что в другой раз мы были выстроены в большом актовом зале гимназии, куда вышли Государь, Государыня, дети их и великий князь Владимир Александрович. Мы совсем близко были подле высочайших особ и могли рассмотреть их отлично. Государь был очень высокого роста и атлетического сложения, с добрыми, ласковыми глазами. Государыня была очень хороша собой. И Государь, и Государыня милостиво разговаривали с администрацией гимназии.

Был у нас тогда в гимназии ученик А.А. Дрентельн, сын киевского генерал-губернатора**; Государь и к нему подошел и говорил с ним. Мы пели: «Боже, Царя храни» и «Славься, славься, наш Царь». Об этом высочайшем посещении говорит последующим поколениям мраморная доска с золотыми словами на стене актового зала.

***

*Воспоминания И.Я. Кельбера (1893-1900 гг.)****

В 1893 г., одиннадцати лет, я поступил во 2-й класс К. I Г. Самые лучшие, самые светлые воспоминания связаны у меня со временем пребывания в стенах ее. В первые годы моего учения если детское воображение и рисовало себе преувеличенно строгость некоторых учителей, зато другие своей любовью и прекрасным отношением к нам, ученикам, вполне искупали «прегрешения» первых.

---

* Иосиф Иванович Фененко окончил К. I Г. в 1890 году, и более ничего о нем неизвестно.

** Александр Дрентельн (род. в 1868 г.), сын Александра Романовича Дрентельна (1820-1888), вышел из К. I Г. в 1886 г. (одновременно с Р.Э. Классоном), окончил Петербургский университет, с 1906 г. состоял в военно-походной канцелярии Его Величества по месту нахождения Государя Императора.

*** Исруль Фроим Янкелевич Кельбер (род. в 1882 г.), окончил К. I Г. с золотой медалью, в 1906 г. вышел из юридического факультета Университета св. Владимира с дипломом 1-й ст., стал служить помощником присяжного поверенного округа Киев. судеб. Палаты.

Особенной любовью, помнится мне, пользовался историк, ныне покойный, П.В. Голубовский, впоследствии, в конце 90-х годов, профессор Университета св. Владимира. Уже начиная с 3-го класса, первого года преподавания истории, Петр Васильевич возбуждал в наших детских умах любовь к исторической науке, в частности – к историческому чтению. Уроки его были для нас настоящим праздником. По слабости своего здоровья, П.В. являлся в гимназию редко, а придя, большею частью занимал время урока занимательным рассказом или чтением.

Такая система преподавания, несколько необычная для гимназии и чуждая формализма, создала П.В. большую любовь и популярность среди учеников. К сожалению, в 5-м классе, когда многие из нас уже совершенно сознательно интересовались исторической наукой, пришлось лишиться этого редкого учителя и человека, ввиду перехода его в Университет св. Владимира, сначала приват-доцентом, но очень скоро затем и ординарным профессором. Но хрупкий и болезненный организм П.В. не выдержал интенсивной научной работы, и он вскоре угас, покинув навеки родную гимназию и родной университет.

Большими симпатиями учеников пользовался наш классный наставник, начиная с 4-го класса, учитель словесности В.Н. Куницкий. Видимая строгость его была только внешней, в действительности же он с каждым из нас был очень внимателен, подолгу беседовал, давал советы. Он скоро покинул нашу гимназию, переведясь в Петербург, и уступил место классного наставника и словесника Николаю Александровичу Петрову, мягкому, прекрасной души человеку, который вел наш класс, в качестве классного наставника, до окончания гимназии, то есть до 1900 года.

Из классиков наибольшими симпатиями учеников в наше время пользовался А.О. Поспишиль. Он умел нас заинтересовать красотой античных авторов и наибольшее внимание уделял чтению и толкованию, оставляя на втором плане синтаксис и вообще часть филологическую, которая обыкновенно так утомляет учеников.

В мое время вообще в отношении к ученикам совершенно не было ни формализма, ни черствости; этим объясняется трогательное расставание мое и товарищей с родной гимназией, которую я окончил в 1900 г. с золотой медалью. Воспоминания о пребывании в стенах «almae matris» навсегда останутся самыми лучшими, самыми дорогими в моей жизни.

***

Воспоминания Н.П. Михайлова (1894-1904)[*]

<…> Недавно в одной из газет появилось, по поводу юбилея одной гимназии, письмо бывшего ученика в защиту гимназии и некоторых лиц из ее преподавателей, в защиту против злых и бестактных обвинений.

И на это письмо возразили, что такие защитительные панегирики пишут лишь «любимчики», а отношение их к преподавателям, дескать, известно какое! Я заранее спешу уверить, что «любимчиком», в этом пошлом смысле слова, никогда ни у кого не был.

Учился я плохо, благодаря чему 10 лет [(а не 8)] провел в стенах гимназии; я всегда слишком много читал дома и занимался спортом, чтобы быть внимательным, послушным учеником. Но меня все-таки любили, и любили именно те учителя, у которых я плохо учился; любили, я думаю, за ту искру Божью, за те капли живого чувства, которые они проникновенно заметили во мне и оценили. За это отношение ко мне, за это понимание души я и остаюсь всегда признателен им и моей гимназии.

---

[*] Николай Петрович Михайлов (род. в 1883 г.), на момент издания 3-томника в связи с юбилеем К. I Г. (1911 г.) состоял студентом Университета св. Владимира. В 1904 г. издал сборник стихов. Упоминаемый им брат, который тоже учился математике у И.И. Чирьева, мог окончить курс К. I Г., например, в 1901 г., но это был тогда не родной, а двоюродный брат, поскольку его звали в этом случае Константином Николаевичем. Или же он носил совсем другую фамилию, если был кузеном по матери?

Когда на экзамене Закона Божья, при раздаче нам на память Евангелия, архиерей Платон произнес речь, то заключительные слова его как бы наметили для меня основной тон моей будущей жизни и открыли то, чего я не замечал, но чувствовал в своей прошлой гимназической жизни: «Духа не угашайте, братолюбия не забывайте»... Да, не угашали у нас духа в гимназии, и если у иных он угас, то не гимназию винить, да и о них надо пожалеть!.. Поэтому, да не удивляются, что я не буду видеть, не хочу видеть теневых сторон этих 10-ти лет гимназической жизни!

С товарищами я, после окончания, совсем расстался, потерял их из виду почти всех. Я даже рад этому. Все они остались для меня милыми друзьями, мальчиками, юношами и не представляются мне теперь, когда я о них думаю, в виде господ поручика, кандидата прав, учителя и т.д. Недавно я, готовясь к одной работе, разбирал свои бумаги и письма; среди них я нашел массу материала, относящегося к моему пребыванию в гимназии. Я стал разбираться в нем и не заметил, как промчалось пять часов. Когда я очнулся, то первое мое чувство было изумление: как сильна во мне связь с этим прошлым и как оно живо сохранилось во мне! Под этим настроением я и сел писать эти строки, как предисловие к моим воспоминаниям.

На всю жизнь у меня сохранился в памяти день поступления в гимназию. Несмотря на то, что с того временя прошло уже 16 лет, я лучше помню это, чем многое, гораздо позднейшее. Помню ясный зимний день (я поступил с половины года), толпу мальчиков, бегавших в серых куртках, А.В. Назаренка, моего первого учителя, и о. С.И. Трегубова. Эти двое людей, встретив меня ласково и с участием, как бы явились предзнаменованием грядущего отношения ко мне в гимназии, предзнаменованием, сбывшимся впоследствии, что не часто выпадает на долю предзнаменований. Учился я в приготовительном классе недурно; мальчик я был смиренный, тихий, по математике имел «4» и «5». Ничто не предвещало моих грядущих подвигов на гимназическом поприще.

Но довольно о себе! Я начинаю писать о тех, кто в течение 10-ти лет были моими спутниками, наставниками и учителями. Иных уж нет в этом мире, иных, кого я знал молодыми в начале нашего знакомства, теперь встречаю постаревшими и седыми, и мне в моем описании редко придется касаться лично себя, так как память и образы их слишком будут заслонять мой собственный тогдашний облик и жизнь. Чтобы потом не возвращаться к этому, скажу, что я, начиная со 2-го класса, стал учиться все хуже и хуже и в 4-м классе остался на второй год. Этим я закончил первую половину своей гимназической жизни...

Но тем ярче встают передо мною образы моих учителей, особенно некоторых. С 1-го класса и до конца гимназического курса я непрерывно пользовался благосклонностью преподавателей русского языка и словесности. А.А. Андриевский, ныне покойный, был первым из них. За что любил меня он? Долго не мог я понять. Но недавно от вдовы покойного я получил его портрет, фотографию его могилы и небольшую книжку «Словами поэта», с знаменательным эпиграфом: «любите песен сладость»...

Я прочел эти записки отставного учителя словесности и понял, что он прозрел во мне тогда уже эту любовь к сладости песен. Я уже тогда пытался писать стихи, и лучшими моими друзьями были поэты. Больше всего памятно мне стихотворение Никитина: «Вырыта заступом яма глубокая» – особенно любимое А.А. Андриевским. Мне, помню, всегда становилось грустно, когда он его читал нам. Вообще, облик его мне представляется печальным. Может быть, потому, что я сохранил данную им мне книжку «Мцыри» Лермонтова, с отметками рукой Алексея Александровича; помимо того, что все «Мцыри» проникнуто печалью, в нем отмечены наиболее грустные места. Мы их учили наизусть. А.А. был у нас только в 1-м классе, потом ушел, и я его не видел больше никогда.

Затем, кто из посещавших К. 1 Г. не помнит Н.Т. Черкунова? Маленький, седой, в застегнутом сюртуке (тогда учителя ходили во фраках), он производил сначала странное впечатление. Он преподавал географию. «Из обратного царства, детеныши...», – с расстановкой говорил он, когда «детеныш» начинал городить чепуху. Учебник наш по географии составлен был им самим, а в следующих классах он составил нечто вроде географической игры: таблицы, разделенные на квадраты, со сведениями из географии. Иногда он огорошивал ученика неожиданным вопросом; например, меня он как-то спросил: «кому полезен град?», на что надо было ответить: «стекольщикам». Н.Т. очень ценил такие ответы.

Замечательно оригинально ставил Николай Трофимович отметки. Он их зачастую ставил, какими-то условными знаками, а за шалости и незнание ставил «птички», т.е. «V», или когда их много набиралось, – «единицы»; иногда случалось, что ученик за урок получал несколько таких «птичек» и «единиц». Замечательно, что они не имели никакого влияния на общую отметку, ни на отношения Н.Т. к ученику, и ставились, кажется, для его собственного удовольствия. Если ученик шалил на уроке, играя каким-нибудь предметом, то последний отнимался у него и поступал в «коллекцию» Н.Т.; и чего только не было в этой коллекции, вплоть до маленькой галоши!

Заговорив об этом, не могу не вспомнить прекрасной географической и этнографической коллекции Николая Трофимовича. Мы, ученики, по его приглашению, часто ходили к нему осматривать эти коллекции. Но я лично не любил туда ходить. Понимал я эти коллекции тогда слабо, а электрической машины, живого хамелеона и мертвых, но страшных на вид, жуков я боялся ужасно. Н.Т., видимо, не был особенно доволен моим равнодушием, так как я был его лучшим учеником.

Латинский язык с 1-го класса преподавал К.А. Деллен, жизнерадостный, веселый, музыкант. Учился я у него удивительно неравномерно: от «единицы» до «четверки». В 1-м классе он у нас преподавал и французский язык. За первую половину моего пребывания в гимназии у нас сменилось много учителей словесности. Особенно замечательным был Н.А. Петров. Он был удивительно мягкий и тихий человек, чем мы, гимназисты, пользовались, по обыкновению, во вред себе и предмету. Ленились, шумели, удирали с уроков, но любили его ужасно, и те, кто был более чуток, старались особенно хорошо учить для него уроки. По всей гимназии одно время было обыкновение в день именин (6 декабря) подносить Николаю Александровичу торт; собирались с этой целью деньги, иногда довольно много, что служило для нас предметом величайшего удовольствия и торжества.

П.Н. Бодянский, ныне инспектор нашей гимназии, преподавал у нас греческий язык. Он был для меня всегда очень симпатичным и милым. Мне, бывало, становилось всегда весело на уроке, при взгляде на его румяное, энергичное и доброе лицо, которому он порой пытался придать выражение строгости и суровости. «Кол, любезнейший, и больше ничего!» – объявлял он мне, отдавая тетрадку с письменным ответом.

А мне, хотя и неприятно это, но я ничуть на него не обижен. Вообще, я на его уроках никогда не боялся и не скучал. Одно время он был также моим классным наставником.

Один из преподавателей словесности, В.Н. Куницкий, бывший у нас недолго, памятен мне своим увлечением [поэтом] Кольцовым и странной манерой держать себя в классе. Он вечно что-нибудь вертел в руках и часто ломал эту вещь. «Отнимите от меня это, а то я сломаю», – говорил он ученикам. Вызывал отвечать он тоже удивительно: тихо подойдет к ученику, хлопнет по плечу и крикнет: «Вы!» Он нас, учеников 4-го класса больше всего «мучил», как мы тогда говорили, диктовками, чем достиг того, что мы в 4-м классе писали грамотнее, чем потом в 8-м.

Вспоминаю теперь время пребывания в младших классах, и каким далеким оно мне кажется! Сквозь дымку десяти лет и прожитых испытаний оно встает как что-то туманное, почти забытое, но милое сердцу.

Помню я свою гимназию и жизнь ее совсем не такими, какими они есть и кажутся мне теперь. Чуть, бывало, раздастся звонок, объявляющий о начале «большой перемены», как по всей гимназии раздается грохот сотен бегущих ног: гимназисты спешат вниз в буфет. Там две длинных очереди – к чаю и котлетам. Шум, толпа, толкотня. Приходится делать чудеса ловкости, чтобы благополучно пронести стакан горячего чаю без блюдечка. Особенно нам, малышам, было это трудно.

А летом сейчас же в сад. Там неизбежная игра в мяч, в «серединку», в «стенку» и т.д. Рядом, за стеной, женская гимназия. Мяч, сомнения в том быть не может, «случайно» непременно залетит туда, и снаряжается за ним экспедиция. А сквозь решетку идет торговля: покупаем у торговок фрукты, мороженое и т.д. В мое время в саду были две беседки и гигантские шаги: теперь они уничтожены. Эти беседки служили нам сборным пунктом в игре «в разбойники». Какой прекрасный и милый этот гимназический сад!

Бывало, во время экзаменов, здесь подзубриваешь, сидишь в тени кустов, и так не хочется итти в душный класс, на экзамен или урок. Ужасно досадно слушать звонок старика Артема (он теперь в богадельне, но я его помню еще бодрым стариком, заведывавшим звонками). Бывало, вызовет учитель к концу урока отвечать, а урока не знаешь. С тоской идешь к столику, вдруг – звонок! – «Фу, слава Богу, Артем спас!» – говаривали мы.

В числе исчезнувших при мне особенностей гимназии помню стоячие доски на ножках, кафедры и парты на несколько человек, длинные, порезанные, ветхие. При мне ввели нынешние парты и ужасно строго следили, чтобы мы не царапали полировки; поэтому почти каждый из нас носил в класс пузырек с лаком.

Темною тенью всегда омрачена была для меня в дни моего детства пора весны: экзамены были моим кошмаром. Я их боялся стихийно, до глупости. Ничего не делая целый год, перед экзаменами, особенно математики, я хватался, за несколько дней до срока, за книги и с ужасом убеждался, что не могу решить ни одной задачи!

Спешу закончить свои воспоминания о первых годах моей гимназической жизни. Я остался на второй год в 4-м классе; изменились учителя и товарищи. Чтобы закончить этот отдел, припомню один эпизод с П.Н. Бодянским. Он в то время заведывал ученической библиотекой. Малыши, отправляясь за книгой после уроков, трепетали перед ним и никогда не осмеливались отказаться от книги, предложенной им. Когда я остался в 4-м классе и Павел Николаевич уже не преподавал в моем классе, то ему случайно попалось одно из моих гимназических стихотворений, но без подписи.

П.Н. захотел узнать, чье оно, и обратился за этим к своим ученикам, моим бывшим товарищам. Но те, верные гимназической традиции «не выдавать», долго не открывали этой «тайны», и только после уверений П.Н., что ему это стихотворение нравится и что в нем нет ничего преступного, мое имя стало известно П.Н.

Теперь мне придется писать о времени более близком, о котором у меня сохранились более определенные воспоминания, записки, письма, документы.

Из учителей этой эпохи моей гимназической жизни, эпохи моего второгодничества в 4-м и 5-м классах, эпохи [министра народного просвещения] Ванновского и смягчения классицизма, я отмечу К.Л. Регаме, О.Ф. Иогансона, И.И. Чирьева и законоучителя о. С.И. Трегубова. К.Л. Регаме, учитель французского языка – такая светлая и прекрасная личность, что не моему слабому перу, не с моим незнакомством с его жизнью, писать его характеристику. Всегда спокойный, ровный, он умел внушить к себе уважение, ни разу не прибегнув за все 7 лет, что я его знал, к жалобе, записям в журнале и тому подобным репрессиям. – «Поссоримся, господин такой-то», – говорил он, и только! Удивительно корректный, он никогда не изменял своего отношения к нам, ни в младших, ни в старших классах. Мы ценили и дорожили его отношением к нам. Я за все время ни разу не помню, чтобы он возвысил голос, кричал, раздражался, а мы не раз давали к этому повод.

Бывало, сидя на задней парте в углу с приятелем, я во время перевода заведу спор на любимую, отвлеченную тему, а потом, в старших классах, о философии. Казимир Людвигович заметит это и заставит замолкнуть отвечающего. В классе воцарится гробовая тишина, в которой резко раздаются наши несдержанные толоса.

«Позволите и мне присоединиться к разговору? – спросит Казимир Людвигович. – Ах, какой вы Мефистофель, г-н Михайлов, соблазняете Лопухина!» И, право же, становится так неловко и неприятно, как никогда в других подобных случаях.

Немецкий язык преподавал у нас О.Ф. Иогансон. Учился я у него отвратительно. Интересный вид имеют мои записные книжки с отметками по немецкому языку. Среди множества «единиц» и «двоек» попадаются изредка «4» и «5». Это за стихи! Оскар Федорович, сам поэт, композитор, человек талантливый, ценил и поощрял мое творчество. С 6-го класса я бросил учить немецкий язык, но моя дружба с О.Ф. не только не уменьшилась, но, напротив, окрепла. Ей не мешали ни «единицы», ни скандалы с подсказыванием, ни побеги с уроков, ни курьезные истории у классной доски во время переводов. О.Ф. был один из тех, кто отметил меня в толпе учеников за искру Божью, несмотря на неуспехи в учении и шалости. И спасибо ему за это!

Когда я остался в 4-м классе, то перешел в руки И.И. Чирьева. Он преподавал математику. Я лично учился по математике прескверно, но мой брат был лучшим его учеником, и поэтому Иван Иванович думал и во мне встретить те же математические способности. Но, к его удивлению, я оказался абсолютным профаном. Ничего не понимая в алгебраических премудростях, я заданные задачи списывал и выучивал наизусть, в чем мне помогала моя прекрасная память. Но, случалось, забудешь знак, букву, цифру, – и получается абсурд. На доске ряд знаков, но что они значат? – не знаю. Мне подсказывают, сам Иван Иванович помогает, а я не понимаю, что надо сделать. Иван Иванович хмурится, насупится, по своему обыкновению, и скажет: «Михайлов, не корчите из себя Митрофанушку! сядьте!» Он имел ужасно суровый и строгий вид, но в сущности был не злой и справедливый человек. Потом он был инспектором в нашей гимназии, уже без меня, и, говорят, очень изменился.

Законоучителем у нас во 2-м отделении был о. С.И. Трегубов. Он вел нас до 6-го класса. Боялись мы его ужасно. Урок Закона Божья был одним из самых серьезных и трудных. Я с приготовительного класса учился у батюшки очень хорошо, но всякий раз, выходя отвечать, трепетал. Но, несмотря на это, я очень любил и гордился своим законоучителем, его манерой преподавать, голосом его, даже его наружностью. И я знаю из самых достоверных источников, что о. Симеон тоже благоволил ко мне и даже стоял за меня при случае на [педагогических] советах. И вдруг в 6-м классе, когда начали «историю церкви», я стал путать жития святых и плохо отвечать; не могу забыть того изумления, которого не мог скрыть о. Симеон. Он изумлялся и ставил «нотабене», я тоже изумлялся и продолжал отвечать плохо. Затем, в 7-м и 8-м классах, у о. М.Д. Златоверховникова, я опять стал получать высшие баллы.

Помню, был у нас учитель латинского языка А.Ф. Лебедев, удивительно мягкий человек. При нем мы так свободно держали себя, так явно пользовались подстрочниками и списыванием у соседей на письменных ответах, что порой доходило до курьезов. Он, бывало, поймает списывающего, возьмет листик с переводом, покачает головой и положит, а за письменный ставит, как за самостоятельно написанный. Как только станет очень уж врать ученик при ответе, он только улыбается: «Эх, господа, подстрочники у вас не в порядке!» Но вообще письменные ответы были у нас своего рода грозой. Когда их отменили, многие из нас вздохнули легче.

Процедура письменных работ в мое время была обставлена торжественно: писали их на отдельных листках, все книги убирались в парты; сначала диктовали русский текст, затем кое-какие неизвестные слова, а затем уже приступали к самому письменному.

Спрашивать что-либо запрещалось: «лучше пропустить», – говорили нам. И после письменных процент «двоек» и даже «единиц» увеличивался в классе очень значительно. Особенно мы боялись письменных в конце четверти, когда отметка по письменному имела решающее значение.

И вдруг, после разноречивых слухов, письменные отменили. Для меня лично и для очень многих это было большим облегчением. Я, как «поэт», обязанный откликнуться на все в гимназической жизни, встретил эту отмену «одой»:

«Радость наша безгранична!
Письменных не будет»...

Заканчивалась эта «ода» словами:

«Словом, страшный вред, конечно,
Письменных все знают,
Все ликуют бесконечно,
Все их забывают»…

Писали мы письменные и потом, но с русского на древние языки уже никогда не писали, да и значения они прежнего не имели. Наступило другое время, другие отношения. Ведь мы с 1-го класса начинали латинский язык, а с 3-го – греческий; латинскую и греческую грамматику и синтаксис знали со всеми исключениями, лучше русской. Материала было много, и письменные ответы, особенно в многолюдных классах, служили важным средством проверки знаний. К описываемой эпохе требования по классическим языкам ослабели, появились новые веяния, а письменные ответы остались на той же, былой почве, и их эти новые веяния снесли.

В течение года у нас обыкновенно устраивали литературно-музыкальный вечер. Тогдашний директор, Иван Васильевич Посадский-Духовской, любил и умел устроить все парадно и хорошо: «товар лицом показать». Передо мной лежит сейчас программа такого вечера 11 февраля 1903 г.: хоры, оркестр, сольные номера, декламация; среди последних и моя фамилия. Мы с братом принимали участие в этих вечерах.

Особенно любили мы предварительные, после уроков, собрания. Под надзором и руководством преподавателей словесности шли упражнения в декламации, избирались участники вечера, сыгрывался оркестр, хор собирался на спевку. Опустевшее здание гимназии, со звонким эхом и необычной обстановкой, все было странно и нравилось нам.

Потом торжественный час вечера. Актовый зал залит светом, масса публики, учителя, с которыми теперь так странно встречаться вне классных и учебных отношений, и минута публичного выступления на эстраде, – все это ужасно волновало нас, участников вечера. После своего номера гуляешь со знакомыми по коридорам и все стараешься повести и показать: «а вот это наш класс, а здесь физический кабинет», – с таким видом, как хозяин кабинета редкостей показывает двухголового теленка...

В 1903 г. я впервые «печатался» отдельным изданием. Мои стихи, небольшая книжечка, разошлись по всей гимназии. К моему первому выступлению на писательском поприще тепло и сочувственно отнеслись не одни товарищи, но и преподавательский персонал. Меня «признала» поэтом моя гимназия, и я гордился и горжусь этим до сих пор, хотя теперь я уже пятый год работаю во многих изданиях и газетах, и стихами, и прозой.

Подхожу к концу своих воспоминаний, к последним классам. Это времена более близкие, писать о них было бы труднее; но мне помогает дымка какого-то романтизма, какою предо мной окутаны годы 7-го и 8-го классов. Не знаю, почему я не могу себе иначе представить это время, как весной, и с каким-то радостным настроением. В своем дневнике, относящемся к этому времени, я читаю: «За все время последних лет в гимназии я ни разу, идя в гимназию, не думал, что иду учиться. Я шел встретиться с товарищами, шел, как в клуб»…

И все-таки я учился не хуже многих других; отношения с преподавателями были превосходные, с товарищами тоже, и это в те времена «старого режима», о которых иные говорят с таким презрением и ужасом. Многое, может быть, было не таким, как нужно в идеале, но человеческое отношение и взаимное понимание были не хуже, чем теперь, для тех, кто сам не бежал от них.

С 5-го класса до конца учения классным наставником у нас был К.М. Щербина. Преподавал он математику, камень преткновения для меня. Относительно К.М. я могу сказать, что если мы что-либо знали по математике, так это благодаря ему. Он удивительно умел объяснить и втолковать. Даже я, заклятый враг математики, как гимназического предмета, у Константина Мойсеевича стал учиться лучше, чем у других преподавателей, а он был очень строгий и требовательный.

Бывало, стоит он, перелистывает книжечку свою и начнет: «Пожалует... отвечать... господин...» – и задумается, а в классе гробовая тишина. «Михайлов!» – резко произнесет К.М. По классу пронесется облегченный вздох. Я иду к доске. К.М. обыкновенно вызывал четырех, и обе доски делились пополам. Как, бывало, корил меня К.М. за истрепанную общую тетрадь, за отсутствие чистовой тетради для задач. К.М., очевидно, понимал, что мои неуспехи в математике объясняются, во-первых, плохим основанием, заложенным в младших классах, а во-вторых, моим характером. Я знал, что он понимает меня, и за то изо всех сил старался, иногда до курьезов. Бывало, решишь, случайно, верно задачу. К.М. подойдет и, увидев небольшую неправильность, укажет пальцем на доске и скажет: «Сотрите это». А я, в отчаянии, воображая, что неверно все, в один миг стираю с доски всю задачу. К.М. только рукой махнет!

Сколько раз мне попадало от него, когда я, отвечая, в порыве желания дать точный и быстрый ответ, вместо: «ближайшее меньшее и ближайшее большее», говорил: «наибольшее меньшее и наименьшее большее...». Ходили мы с К.М., бывало, на экскурсии, то в Лавру, то в Кирилловский храм на Лукьяновке. Шумно, весело, оживленно. С удовольствием вспоминаю эти прогулки.

Историю преподавал в мое время сначала Антон Никитич Ясинский, а потом Н.Л. Лятошинский, бывший потом директором одной из провинциальных гимназий. История была моим любимым предметом, и у Николая Леонтьевича я считался одним из лучших учеников; а он с большим трудом допускал учеников в разряд «хороших». Преподавание Н.Л. отличалось прекрасной манерой, умением интересно рассказать, старанием ознакомить нас с источниками и документами.

Очень поощрял Н.Л. писание рефератов. Я сам получил однажды «5» за стихи из эпохи французской революции, в ответ на удивленное мычание класса Н.Л. ответил: «Ну, что же? Это тоже реферат, только в стихах!» А потом, через минуту, вызвал меня, поставил за ответ «4» и говорит: «Он и так знает!» Оригинальная у него была манера: он диктовал нам свои заметки и приказывал в книге подчеркивать тирады, исчерпывающие весь смысл урока. Потом я сам применял это в своей педагогической деятельности репетитора, убедившись в превосходных результатах этого приема.

П.Л. Когут завершил собой длинный ряд преподавателей словесности, бывших у меня с приготовительного класса; их сменилось до него пятеро. Пришел он к нам после Н.А. Петрова, добрейшего и слабого человека, и был предшествуем полугодовым «междуцарствием» и грозными слухами о его строгости и требовательности. Встретились мы с ним врагами, а расстались сердечно, друзьями. Петр Леонтьевич был человек резкий, но прямой, искренний и беспристрастный. Нам всем казалось иногда, что ко всем и ко всему он относился слегка небрежно. Но не раз нам пришлось убедиться, что и он способен увлечься и становился тогда замечательно интересным и красноречивым; тогда не заметишь, как промелькнет час урока.

Замечательно, что он не любил так называемых «курсовых» сочинений, а темы избирал все отвлеченные и очень поэтические. «Возвышенную цель поэт избрать себе обязан», – помню одну из них, потому что, когда я долго сидел над чистым листом, задумавшись, то П.Л., со своей всегдашней резкостью, сказал: «Ну, вот, не пишет! а я для него такую тему назначил! чего вы стали?». Многие преподаватели словесности хорошо ко мне относились и отличали меня, ставя высший балл за сочинение, несмотря на обилие грамматических ошибок, но никого из них я не любил так, как строгого, резкого Петра Леонтьевича.

Он, бывало, не поставит за мое сочинение отметки, только напишет на полях: «грамота слаба» – а потом возьмет лист и обратится к классу: «Вот как надо писать сочинения». От другого учителя класс, пожалуй, не снес бы такого обращения, и это отразилось бы на отношениях ко мне товарищей, но все знали откровенную прямоту П.Л., его резкость и справедливость, которую ничем нельзя было переломить. Да и отношения товарищеские у нас были хорошие и не пропали тогда у нас еще старозаветные предания товарищества былых времен!

Смотришь на нынешнее, и кажется, что не 10 лет прошло с тех пор, а полвека! Так волны событий тревожных годов смыли многое и многих! Когда мы, собравшись в гимназии, с трепетом ожидали объявления о том, кто допущен к выпускным экзаменам, то П.Л. Когут, проходя и заметив тоску ожидания на наших лицах, с такой сердечностью, участием и теплотой сказал нам несколько простых слов пожелания удачи и уверенности в нашем успехе, что стало как-то легче на душе.

Еще одно лицо из нашего учительского персонала, и я закончу галерею портретов моих наставников и учителей, более или менее имевших соприкосновение со мной. И.А. Григорович преподавал у нас греческий язык. Писать о нем я могу только в дифирамбическом тоне, так как более идеально доброго человека я редко встречал. Один у него был недостаток: знание греческого языка он ставил наравне с воздухом, пищей и питьем. Вызовет Иван Александрович кого-нибудь. Идет перевод Гомера. Пока переводишь, кое-как идет дело с помощью подстрочников, а как дошло до разбора, стой!

– «Дайте форму, если не знаете, из своей головы не выдумаете! какая это форма?» Наобум отвечаешь: «perfectum». И.А. повторяет «perfectum» с такой иронией и отчаянием, что вчуже становится стыдно. – «Куском дерева сидите, тело без души» – отчаивается милый И.А., и в его голосе слышится глубокое сожаление и печаль.

Бывало, раздает тетради с исправленным письменным и, пока мы созерцаем наши ошибки, исправленные красным чернилом, и «двойки», подписанные внизу, И.А. говорит нечто вроде речи, всегда одну и ту же, так что мы все знали наизусть эту речь: «Многие думают, что знание греческого языка само собою придет; они, вот, жестоко ошибаются. Предстоит экзамен, и экзамен серьезный, Разжевано, положено в рот, – остается, вот, только проглотить. Не могу же, вот, я ваши головы рассечь и вложить»…

Здесь И.А., смотря по обстоятельствам, начинал в более сильном тоне распекать нас. Но как мы его любили и жалели, если он бывал болен! Когда он в 8-м классе грустно сказал нам, что вскоре уходит из гимназии, не было ни одного гимназиста, который бы не пожалел о вспыльчивом, но добром и милом Иване Александровиче!

Чтобы завершить эту галерею воспоминаний, упомяну еще о двух сторожах – Максиме и Марке. Это были старожилы гимназии. Максим – ужасно важный, с большим самолюбием и тактом. Малыши его боялись и относились к нему с большим почтением. Держался он с солдатской выправкой, вежливо и строго: «Доиграетесь, доиграетесь; пожалуйте-с к директору-с!» – с торжеством и важностью провозглашал он нам. Мы в старших классах ужасно его изводили, спрашивая: «Что, Максим, холодная вода?»

В чем было дело, почему это его обижало, мы не знали, забыл, кажется, и сам Максим, но задевало это его ужасно.

Марко – в другом роде, попроще, погрубее, но тоже старый служака. Дразнили мы и его немало, доводя до исступления, кричали: «Маркелл Куприяныч!», или толкали его в саду в кучу листьев. Вообще, жестокий народ – мальчишки, да еще в толпе! Но они оба, в сущности говоря, так сжились с этой шумной и буйной толпой, что жили почти той же жизнью и долго обиды не помнили. Впоследствии я не раз разговаривал с ними: помнят всех, вспоминают прошлое, как будто одноклассники!

В 7-м классе директор И.В. Посадский ушел от нас. Помню, как его провожали. На вокзале масса народу, цветы. Он умел поставить гимназию на хорошую ногу, выдвинуть ее. В его директорство в гимназии царил дух корректности, такта и внимательного отношения. Все должны были быть вежливыми. Сам И.В. даже малышам 1-го класса говорил «вы», что нам очень льстило; вообще, отношения были удивительно хорошо налажены. К нам были вежливы и внимательны, и это отражалось и на наших отношениях друг к другу и к наставникам.

Последний год пребывания в гимназии пролетел, как миг. Экзамены начались у нас в апреле. Помню, [педагогический] совет собрался вечером судить о допущении к экзаменам. Все мы, кто не был уверен, и другие – из сочувствия к нам, собрались вечером в нашем гимназическом саду. Ждали долго. Ночь была прекрасная, весенняя, пахло распустившимися тополем и каштаном, светил месяц, пел соловей. Мы стояли на пороге новой жизни; для иных решалась судьба. Настроение было приподнятое, печальное и приятное. Мы бродили по саду, пели, мечтали о будущем...

И в каждом из нас в глубине души таился небольшой страх за себя, за товарищей, и трепет ожидания. В самый напряженный момент прибежал один из товарищей, Мукалов, и объявил: «Совет окончен... все допущены». Долго мы не могли разойтись и толпились перед гимназией под каштанами, в лунную весеннюю ночь... Экзамены прошли легко и удивительно приятно. Они нас, товарищей, еще больше сблизили перед расставанием, сблизили и со многими учителями. Никогда я так не был привязан к гимназии и не проводил в ней время так задушевно, хорошо и приятно, как в эти полтора месяца экзаменов.

Но экзамены кончились, мы были «зрелыми» людьми! Перед нами была новая жизнь! Помню, в день последнего экзамена я стоял один в саду и думал об этой новой, зовущей и пугающей, жизни; думал с тихой и светлой грустью о прошлом и о своей гимназии, как о чем-то близком, родном и милом. Я смотрел и старался запечатлеть в душе эти образы моей юности, как бы предчувствуя, что они станут для меня светлыми грезами в грядущих бедах и тревогах жизни. Так в нашем милом гимназическом саду, в жаркий июньский день, прощался я со своею юностью, с беззаботными годами, и вступал в новую жизнь...

<…>

СТОЛѢТІЕ
КІЕВСКОЙ ПЕРВОЙ ГИМНАЗІИ.
(1809—1811—1911 г.г.)

Томъ III.

ОБЗОРЪ ИСТОРІИ ГИМНАЗІИ.
Часть II:
КІЕВСКАЯ ПЕРВАЯ ГИМНАЗІЯ
въ 1854—1880 г.г.

Воспоминанія о Кіевской 1-ой гимназіи А. И. Рубца, Н. А. Бунге и Н. П. Забугина.

Историческій очеркъ Св.-Николаевской церкви Кіевской 1-ой гимназіи.

Кіевъ.
Типографія С. В. Кульженко, Пушкинская ул., собст. домъ № 4.
1911.

Состояние гимназии во время постепенного введения устава 1864 года

Устав 8 декабря 1828 г., с некоторыми изменениями и дополнениями к нему, действовал в жизни гимназии в пятидесятых годах и даже в так называемый Пироговский период, а также в течение ближайшего к этому периоду времени – с 1862-го по 1865 год. Правда, в попечительство Пирогова личность попечителя и окружавшие гимназию общественная среда, современная литература и другие тогдашние условия влияли на гимназическую жизнь, может быть, еще сильнее, чем параграфы самого устава. Как бы то ни было, с внешней стороны, по крайней мере, устав этот определял существовавшие в гимназии порядки вплоть до 1865-66 учебного года, когда началось постепенное введение устава от 19 ноября 1864 года. Это нисколько не мешало педагогическому совету и администрации гимназии вводить частичные изменения и улучшения в жизнь данного учебного заведения, тем более, что это было время управления министерством народного просвещения Головнина, который предоставлял отдельным гимназиям значительную самостоятельность в деле детальной разработки вопросов преподавания и воспитания.

<…> Что касается временного упадка пансиона [Киевской 1-ой гимназии] в дисциплинарном отношении, о чем мы упомянули раньше, то упадок этот был следствием, с одной стороны, некоторой распущенности, усвоенной частью пансионеров в предыдущий период, когда и гимназическое, и окружное начальство относилось к учащимся в высшей степени гуманно, в надежде развить в них чувство уважения к закону и порядку – не мерами строгой дисциплины, а доверием к их врожденному чувству порядочности, и потому не очистило пансион вовремя от тех элементов, которые не в состоянии были, по своему нравственному и умственному уровню, оценить хорошее, мягкое к себе отношение и, вместо нравственного улучшения, все более и более распускались, считая предоставленную в то время пансионерам некоторую свободу чем-то вынужденным у начальства, данным воспитанникам по необходимости, вследствие требований, так сказать, духа времени; с другой стороны, упадок пансиона на короткое время (1863-64 учебный год) в дисциплинарном отношении, т.е. увеличение количества проступков и их резкий, выдающийся характер, может быть, еще более объясняется польским движением в юго-западном крае.

Об этом движении немало документов сохранилось в архиве гимназии, конечно, поскольку движение гимназию, так сказать, задевало. Говоря по этому поводу, приходится коснуться вопроса о поведении не только пансионеров, но и приходящих, т.е. вообще всех учеников гимназии.

1863 год вообще имел важное значение в истории учебных заведений юго-западного края и, в частности, в истории Киевской 1-ой гимназии. Он ясно доказал, что все попытки примирения польской национальности с существовавшим государственным строем России не привели к предположенной цели и что польское население края, под влиянием узких патриотически польских понятий, не способно отказаться от несбыточных надежд и при первом удобном случае готово решиться на всякия жертвы и прибегнуть ко всяким средствам. Последствия такого крайнего взгляда были очевидны. Более всего от него пострадала учащаяся молодежь, всегда впечатлительная и способная воспринимать без разбора и доброе, и худое, смотря по обстоятельствам.

Такое настроение, хотя и незначительной части местного населения (помещиков и горожан отчасти), поставило учебные заведения края в исключительное положение. Кроме прямого своего назначения, они обречены были на беспрерывную борьбу с враждебными замыслами и недоброжелательством того же самого общества, которому призваны были служить.

В таком положении администрации 1-ой гимназии приходилось особенно внимательно следить за настроением вверенного ее попечениям учащегося юношества. Усилия гимназического начальства и педагогического персонала до известной степени достигали цели, насколько можно судить по отчету за 1863 г., где сказано, что «*воспитанники пансиона в течение 1863 г. вообще вели себя хорошо, несмотря на то, что подпольные действия польской пропаганды и общее направление современной молодежи не могло не оказывать влияния на них, при неизбежных сношениях их с приходящими учениками и родственниками-студентами; вредные последствия такого влияния обнаружились в развитии духа своеволия между старшими воспитанниками*».

Против такого «своеволия» приняты были самые решительные меры взыскания, которые прекратили окончательно дальнейшее развитие зла. Но раньше, чем удалось восстановить порядок в гимназии и пансионе, произошло немало событий, в которых ярко выразилось «своеволие», упоминаемое в отчете. Во 1-х, одиннадцать, преимущественно приходящих, учеников (но были и пансионеры) польского происхождения «самовольно», по словам отчета, отлучались из города, с целью присоединиться к вышедшей из Киева шайке инсургентов.

Не менее замечательные события произошли в том же году и в помещении пансиона. В этих событиях во всей силе сказалась распущенность воли и мысли в некоторой части воспитанников пансиона. Одним из главных действующих лиц этих событий явился надзиратель пансиона [Андрей Акимович] Иванов, впоследствии преподаватель латинского языка в 1-й же гимназии. Его, не особенно уступчивый и покладистый, судя по архивным данным, характер, строгая требовательность в отношении к ученикам, и в 1863 г., и впоследствии, в годы преподавательской деятельности, постоянно приводили к резким столкновениям его с воспитанниками. Нижеизложенные события изображены нами близко к тексту протоколов педагогического совета за 1863 год.

В октябре 1863 г. педагогический совет обсуждал проступок ученика 3-го класса С., оказавшего ослушание надзирателю Иванову и инспектору, отказавшись итти в карцер. При разборе дела оказалось, что ученик С. выказал ослушание вследствие наущения и подстрекательства своих товарищей – учеников 4-го класса Ск. и Г.

Именно, Ск. не только подстрекнул С., ослушавшегося приказания надзирателя Иванова и инспектора, но даже после, когда С., по распоряжению директора, был посажен в карцер, написал к нему письмо, которым подстрекал к новому ослушанию, говоря: «если начал, то доканчивай – тебе уже все равно».

При обсуждении по этому поводу характера, поведения и образа мыслей Ск., совет призвал, для большего уяснения дела, и самого Ск. В совете, на вопросы директора, инспектора и учителей, Ск. отвечал «строптиво и дерзко», обнаружил вообще дурной образ мыслей, заявил, что воспитанники вправе сопротивляться силою несправедливым, по их мнению, требованиям начальства, и в заключение отказался вовсе от предложения директора сознать свой проступок и выразить раскаяние.

При дальнейшем расследовании выяснено было, что ученику Ск. было уже 17 лет, исповедания он был римско-католического, уроженец Царства Польского, по-видимому, сын бедных родителей; воспитывался он в 1-ой гимназии на счет сумм Царства, в предшествующем учебном году держал отлично экзамены по всем предметам, но из русского языка вовсе не отвечал. Совет единогласно признал, что ученик Ск., по своему дурному образу мыслей, не мог быть терпим в гимназии, и потому, большинством 9-ти голосов против 4-х, закрытой баллотировкой, определил исключить его из гимназии без оповещения по округу, а ученика С., за ослушание по наущению товарищей, подвергнуть заключению в карцер на двое суток.

При расследовании только что изложенного эпизода обнаружилось, как мы видели, что на учеников слабовольных и недалеких крайне неблагоприятно действовала окружающая их среда товарищей, отличавшихся дурным направлением мысли и воли. Насколько влиятельна была эта товарищеская среда и как должна была страдать от этого пансионская дисциплина, лучше всего может показать следующее дело.

Вечером после ужина 17 октября 1863 г. ученики отвинтили ручку от дверей комнаты, в которой находились, потушили лампу, а прочтении молитвы и свечу, и, пользуясь совершенною темнотой, начали кричать, ругать надзирателя Иванова и бросать в него хлебными кусками, но инспектор немедленно пришел в пансион и застал беспорядок прекратившимся. Приступив к исследованию дела, комиссия (назначенная для расследования дела об этом беспорядке), вследствие сознания учеников 5-го класса N.N., из которых один был замечен в крике, а другой в потушении свечи, открыла:

1) что беспорядок был произведен по предварительно составленному в ватерклозете плану и при участии учеников, 7-го класса – трех, 6-го класса – пяти и 5-го класса – четырех;

2) что в пансионе в недавнее время, по предложению ученика 7-го класса N., образовалось так называемое «общество», положившее своею целью тайное противодействие мерам порядка и дисциплины и явное произведение беспорядков.

В бумагах вышеупомянутого ученика N. был найдены: 1) две тетради, состоящие из пасквилей на чинов совета гимназии; 2) две тетради дневных записок N.; 3) рассуждение о современном состоянии гимназии; 4) одна тетрадь под заглавием «Критика», которая содержала возражение на статью Прудникова «Чего хочет Польша».* По прочтении всех этих бумаг оказалось, что ученик N., вместе с другими учениками 7-го, 6-го и 5-го классов, составили «общество», назвав его «Гимназическим обществом».

---

* Как известно в январе 1863-го началось (и продолжалось до осени) шляхетское восстание с целью восстановления Речи Посполитой… В Интернете удалось найти след сей брошюры: Чего же хочет Польша? М. Прудников. СПб., в тип. Главн. Управления Военно-Учебн. Заведений. 1863. 29 стр.

Поводом к этому, по словам дневника N., послужили следующие обстоятельства: а) запрещение ученикам выходить из пансиона когда угодно и куда угодно; б) поручение старшим ученикам наблюдения за учениками низших классов и вообще меры порядка и дисциплины; в) наказание отдельных учеников, из которых один, по словам записок N., бранил надзирателя Иванова и поднял на него палку, а второй, по выражению тех же записок, получив замечание за то, что бил ученика первого класса, сказал надзирателю: «убирайтесь! это не ваше дело!».

Задумав по этим поводам «общество», N. составил, по показанию его, вместе с другими учениками, «правила», по которым принадлежащие к «обществу» обязывались: а) по отношению к начальству, не говорить ни слова с надзирателем Ивановым, не обращаться к инспектору, а к директору, и вообще стараться «покорить» их, бунтоваться, спросив предварительно общего мнения, не ходить на послеобеденные лекции Иванова, которые он дает для желающих основательно изучить латинский язык; б) по отношению к товарищам, каждый ученик, какого бы то ни было класса, должен повиноваться обществу, участвовать во всех движениях учеников, как то бунтах, протестах, и вообще стоять за товарищей, следить за подозрительными лицами посредством особых полисменов, беспрекословно повиноваться повелениям «общества», не исполнять обязанностей, налагаемых начальством.

Средствами для приведения в исполнение этих «правил» назначены: а) в отношении к товарищам, предостережение, угроза, исключение, кулачная расправа; б) в отношении к начальству, насмешки, памфлеты, пасквили, издание журнала для пропагандирования враждебных начальству убеждений, кулачная расправа.

По составлении таких «правил», члены «общества», по словам дневных записок N., начали привлекать к нему других учеников и успели сделать исполнителями своих намерений некоторых учеников 5-го, 4-го и 3-го классов – всего четырех учеников; зато другие ученики высших классов не согласились пристать к «обществу»; выше всех, по умственному развитию, в числе отказавшихся пристать к «обществу», по словам записок N., стоял ученик 7-го класса X., а потому «общество» прежде всего начало принуждать его к принятию участия в тайных намерениях и целях «общества». X-у предложены были два требования: не говорить с Ивановым и отказаться от наблюдения за занятиями учеников низших классов. X. решительно отказался исполнить эти требования.

Тогда участвующие в «обществе» потребовали X. к себе в свою комнату, но, так как он отказался исполнить и это распоряжение, то недовольные этим члены «общества» сами пришли к X. и побуждали его исполнить их требования, предлагая ему подписать просьбу об увольнении надзирателя Иванова и нарекая на него, что он имеет преимущество над ними, как «старший», и, вместе с тем, угрожали, в случае бы X. не согласился на их требования, употребить свои средства.

X. на все требования отвечал, что «старший» он потому, что, как казеннокоштный воспитанник, получает воспитание на общественные деньги и хочет чем-нибудь отблагодарить общество, которое его воспитывает, и что он без драк, без угнетения достиг того, что многие из его учеников прилежно занимаются и ведут себя хорошо, и в заключение окончательно отказался подписать прошение об увольнении Иванова и принять участие в «обществе».

Вслед за этим, как видно из записок N., участники «общества» перестали говорить с X. и своими беспрерывными преследованиями и оскорблениями поставили его в такое нестерпимое положение, что он, не объясняя причин, обратился к начальству с просьбой об увольнении из гимназии.

В то же время почти такие же меры «общество» приняло в отношении к надзирателю Иванову, производя беспорядки на его дежурствах, уклоняясь от всякого сношения с ним и запретив даже сидеть вблизи его за столом во время обеда и ужина.

Действуя в таком духе, «общество» подговорило ученика 3-го класса У. не исполнять приказания надзирателя Иванова и потом приказания инспектора, а вслед за тем, когда У. был, по приказанию директора, отправлен под арест и сознался во всем, тогда участники «общества» решили произвести беспорядок в пансионе и, при участия учеников младшего возраста, привлеченных к этому делу, привели в исполнение свои намерения.

Вообще, комиссия, по расследованию дела о беспорядке в пансионе 17 октября, нашла, что главным деятелем в так называемом «Гимназическом обществе» был вышеупомянутый N., который в дневнике своем обнаружил весьма безнравственное направление, с увлечением приводил свои ложные понятия, но в произведении беспорядка на дежурстве Иванова не участвовал.

Некоторые из уличенных участников «общества» обнаружили свою виновность в беспорядке 17 октября тем, что стали уже после беспорядка объяснять надзирателю Бевиньону, что беспорядок направлен не против него, а против Иванова. Некоторые члены «общества», давая показание в течение 4-х часов, только под конец обнаруживали полную искренность и отчасти раскаяние в своих поступках.

Были из членов «общества» и такие, которые за многократные дерзости надзирателю Иванову, еще до открытия дела об «обществе», подвергались наказанию и обязанности испросить у Иванова прощения, но, испросив его, потом хвастались, что «вынудили его силой».

Значительная часть участников «общества», при расследовании дела о беспорядке 17 октября и об «обществе», обнаружила упорное запирательство и отсутствие раскаяния. Неудовольствие части пансионеров против надзирателя Иванова, по словам некоторых из допрашиваемых, объяснялось тем, что он строго наблюдал за поведением пансионеров.

Педагогический совет, рассмотрев все приведенные выше обстоятельства, прежде всего установил, что «общее неудовольствие» учеников на надзирателя Иванова, на которое виновные часто ссылались, не имело никаких оснований и не могло быть принято для виновных смягчающим обстоятельством. Решено было закрытой баллотировкой уволить из гимназии, с отметкой «добропорядочного» поведения и с немедленным удалением из заведения, ученика N. (главного руководителя «общества»). Решение это было постановлено большинством девяти голосов против шести.

Остальные участники «общества» и беспорядков, направленных против Иванова, наказаны были, по определению педагогического совета, частью так же, как N. (один), частью удалением из пансиона, с лишением казенного или бесплатного содержания (четыре), частью временным удалением из пансиона – до вакаций или до нового определения совета (три), наконец, некоторые заключением в карцер от одних до трех суток. Несмотря на эти довольно суровые наказания, дух «своеволия» и распущенности не исчез сразу.

3 декабря 1863 г. дежурный надзиратель Иванов запретил ученикам грызть семячки, но на его запрещение не обратил внимание ученик Ц., несмотря на неоднократное напоминание и угрозу отправить его в карцер. Надзиратель вынужден был, наконец, отослать ослушника в карцер и, подошедши к Ц., взял его за руку, чтобы отвести с места, но Ц. грубо оттолкнул руку Иванова и не пошел. Не пошел он и тогда, когда инспектор, извещенный об этом деле, явившись в пансион, призвал и долго увещевал его наедине отправиться в карцер, напоминая ему, что, в случае непослушания, он будет удален из заведения.

По уходе инспектора, Ц., сказав, что его увольняют, обратился к надзирателю с самой грубой бранью; когда же последний, перебивши его, сказал, что, если он будет продолжать брань, то дело не ограничится одним исключением из гимназии, но что он будет представлен в полицию для дальнейшего наказания, то Ц. не только не остановился, но повторил и усилил прежнюю брань и угрожал на словах и жестами ударить Иванова.

Тогда надзиратель, объявив Ц., что прикажет вывести его из заведения, попросил инспектора явиться наверх и призвать сторожей. Тогда Ц., по требованию инспектора, пошел добровольно в больницу.

В рапорте надзирателя по этому делу сказано было еще, что «Ц. обыкновенно вел себя тихо», но что он «крайне глуп» и что «ослушание и дерзость с его стороны были, вероятно, вследствие наущения других», что Ц. «не дорожил пребыванием в гимназии, потому, что еще в предшествовавшее полугодие изъявил решительное намерение перевестись из гимназии в католическую семинарию», наконец, что «побуждением Ц. к крайней дерзости было распространенное между учениками убеждение, что «семь бед – один ответ» и что как бы важен ни был проступок, за него больше ничего не будет, как исключение».

Надо сказать, что при личном объяснении с инспектором Ц. объявил, что «все это он сделал по собственному побуждению и что он сам желал увольнения из гимназии, а в проступке своем не выражал раскаяния». В письме на имя инспектора он просил не отсылать его домой к родителям, а «сыскать для него какое-нибудь занятие в Киеве», говоря, между прочим, что в гимназии он остался бы «не на добро». Ц., по определению совета, был подвергнут трехдневному аресту в карцере и исключен затем из гимназии с оповещением по округу.

При определении наказания Ц. в совете высказано было мнение, что, для предупреждения подобных проступков, делаемых учениками часто с целью быть исключенными из заведения, необходимо подвергать виновных телесному наказанию.

Тяжелое в дисциплинарном отношении время для 1-ой гимназии и ее пансиона миновало. С 1864 года в годовых отчетах по пансиону и гимназий постоянно говорится о том, что пансионеры и приходящие ученики вели себя в течение такого-то года «отлично», что с каждым годом меньше и меньше приходилось на каждого воспитанника наказаний, наложенных в течение года за проступки, что меньше становилось и самих проступков, что «направление учащихся представляло заметный поворот к лучшему», что (в 1864 г.) «после колебаний в школьной дисциплине, которые были неизбежны, вследствие позднейших распоряжений, радикально изменивших прежний дисциплинарный порядок, гимназия совершенно успокоилась и пришла в нормальное состояние».

Как уже сказано было выше, для поддержания порядка в заведении стали назначать так называемых «старших» – из учеников высших классов – для каждого стола в комнате для занятий пансионеров. На «старших» возложена была обязанность не позволять младшим своим товарищам в учебное время развлекаться чем-либо посторонним и мешать занятиям других учеников. Для устранения дурного иногда влияния старших учеников на младших, в 1865 г. спальни пансионеров были помещены в двух отдельных комнатах, из которых одна была назначена для учеников старшего возраста, а другая для учеников младших.

Что касается поведения приходящих учеников, то и здесь нужно, как мы уже говорили, отметить поворот после 1863 г. к лучшему. Из 400 с лишним, ежегодно, учеников гимназии за время с 1864 по 1869 г. подвергалось наказаниям не более 150-200. Самые проступки в этот период отличались, так сказать, обычным среди учащихся характером, как то: опаздывание на уроки, леность, шалость во время перемены, курение табаку, ослушание, драка, уклонение от уроков, непочтительность к старшим, непосещение церкви и, наконец, как самый тяжелый проступок, воровство.

Соответственно характеру этих проступков налагались и наказания: арест от 1-го до 5 часов, заключение в карцере от 1-го до 3-х дней, удаление из пансиона и, как самая высшая мера наказания, исключение из гимназии по определению совета.

<…>

Преобразование гимназии на основании утвержденных 19 июня и 30 июля 1871 года изменений и дополнений в уставе 19 ноября 1864 года*

В 1871-72 учебном году положено было основание существованию Киевской 1-ой гимназии на совершенно новых началах: параллельно с окончательным проведением последних требований устава 19 ноября 1864 года введены были в жизнь гимназии также и «изменения и дополнения» к уставу гимназий и прогимназий этого же 1864 года.

Эти «изменения и дополнения» в публицистической литературе и в обществе получили не совсем точное наименование – «Толстовского устава»; не совсем точное потому, что в наименовании «Толстовский устав» подчеркивается не столько то обстоятельство, что эти «изменения и дополнения» возникли в управление Министерством [народного просвещения] графа Д.А. Толстого, сколько то, что они созданы самим именно графом Толстым. Но, проследив историю возникновения «изменений и дополнений», мы, самое большее, что можем признать в таком наименовании, это то, что они были проведены в жизнь только под энергичным влиянием графа Д.А. Толстого.

Строго критическое исследование вопроса о самой системе образования, привязанной этими «изменениями и дополнениями», приводит нас так же к необходимости изменить установившееся представление и о самом, так называемом, «классицизме» и «классическом образовании», а равно и о «реализме» и «реальном образовании», под первым из которых в публицистике и в обществе разумели и доселе разумеют исключительно изучение латинского и греческого языков и античной культуры, а под вторым – изучение наук естественных, в их современном развитии и значении в современной общественно-политической жизни.

На самом же деле, «классицизм» и «реализм», как системы школьного образования, заключались в совершенно ином значении этих терминов.

Под «классицизмом», как системой образования, подразумевался не латинский и греческий языки и не античный собственно мир греков и римлян, хотя и они, главнейшим образом, входили в систему предметов, назначенных к изучению в школе, но преимущественно здесь разумелся тот круг наук, который традиционно сложился и утвердился как необходимый источник знания в западноевропейской школе, начиная еще со средневековой школы, преобразованной потом под влиянием гуманизма и эпохи Возрождения, века географических и прочих научных открытий и, наконец, под влиянием новых и новейших знаний.

Достаточно просмотреть, конечно, в исторической перспективе, «таблицу числа недельных часовых уроков в гимназиях и прогимназиях», предложенную «изменениями и дополнениями в уставе 1864 года», чтобы увидеть, что здесь кроется не насаждение исключительного изучения латинского и греческого языков и античной культуры, а утверждение преподавания в гимназии на традиционно сложившихся началах общеевропейской системы образования и воспитания. В этот круг наук и знаний входят и математическая география с физикой, и математика с естествоведением, и логика, и языки, или, точнее, филология, и история с географией.

---

* Мы даем выдержку из этого раздела не только для того, чтобы показать философию «классического» и «реального» среднего образования в царской России, но и имея в виду, что один из «Классонят» – Иван выбирал как раз между гимназией и реальным училищем, чтобы тем самым определиться с дальнейшим, уже высшим образованием. См. очерк «Классонята. Родственники Гарденины».

Все это – целые области и системы знания, а не определенные, специализованные научные дисциплины, понимаемые в нашем смысле слова. Логика, например, должна изучаться в связи с греческими и латинскими философами, и церковно-славянский язык – с латинской и греческой филологией, грамматикой и литературой.

Самый термин «классицизм» означает, таким образом, не что иное, как известную школу, известный круг школьных наук, а не непременно язык и мир античных греков и римлян. От всего этого «классицизма» веяло не античным, греко-римским языческим духом, а западноевропейским, немного средневековым, аристократически-христианским миросозерцанием; самый изучаемый античный мир греков и римлян воспринимался здесь в форме европейского миропонимания.

Под «реализмом» же разумелось не широкое изучение естественных наук, как об этом сложилось в наше время представление, а прикладное, утилитарное направление образования в школах. Вместе с тем, в системе «реального» образования нашла себе выражение и другая сторона европейско-русской культуры – материальная и демократическая, с материалистическим мировоззрением. Таким образом, «реализм» в описываемое время понимался вовсе не в нашем смысле слова, не как область знания, направленная на изучение, главным образом, наук естественных, а как воспитание в демократическом духе и на почве демократической идеологии.

Весь вопрос о составе наук в средней школе сводился, таким образом, не столько к подбору предметов изучения, потому что он уже был дан школьной традицией «классицизма» и «реализма», сколько к выбору форм для образования и воспитания молодых поколений в желательном направлении.

Эти-то формы воспитания и образования и имел в виду Министр народного просвещения, граф Д.А. Толстой, а не одно лишь усиленное изучение мертвых языков – греческого и латинского.

«*Вывел наше народное просвещение на правильный, испытанный веками, широкий путь развития*, – пишет министр, – *которым шло и продолжает итти просвещение наиболее преуспевших в науке народов, устав 1828 года, упрочивший положение гимназий, как ученых школ. Нарушили правильное развитие учебной системы реформы 1849-1851 годов. Они – если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения, ибо вопрос между древними языками, как основою всего дальнейшего научного образования, и всяким другим способом обучения, есть вопрос между нравственным и материалистическим направлением обучения и воспитания, а следовательно, и всего общества.*

От полной несостоятельности в деле науки, литературы и всего умственного развития Россию спасли сначала меры нового царствования, ослабившие действие реформ 1849-1851 гг., а затем устав 1864 года. Наибольшая заслуга устава 1864 года заключается в признании, что только те учебные заведения могут приготовлять учащееся юношество к университетскому образованию, в коих нераздельно преподаются древние языки. Настоящее мое представление в Государственный совет, – заканчивает гр. Д.А. Толстой, – *вызвано именно неотложною необходимостью освободить устав 1864 года от более или менее случайных его неудобств и недостатков*»[*].

Граф Д.А. Толстой, понимавший всю важность в деле государственного воспитания классической школы, не мог, однако же, оставить ее одну в качестве единой средней школы, общей для всех слоев населения и для удовлетворения всех нужд государственной жизни.

---

[*] Рождественский. Исторический обзор деятельности М.Н.П., стр. 520.

Он вполне разделял мнение департамента законов Государственного совета, выраженное по поводу учреждения 6-й классической гимназии в Москве, и к тому же удостоившееся Высочайшего мнения, о том, что «*реальные гимназии не только имеют свое неоспоримое значение, но и составляют, особенно в торговых и промышленных центрах, насущную потребность для местных жителей, доставляя им возможность подготовлять своих детей, как к поступлению в высшие специальные учебные заведения, так и прямо на практическое поприще заводской и технической промышленности, нуждающееся до крайности в отечественных деятелях*»[*].

Но ему было ясно, что реальные гимназии не могли удовлетворять ни той, ни другой из отмеченных целей. Не надо смешивать тогдашние реальные гимназии с теперешними реальными училищами. Эти училища есть уже создание именно самого гр. Д.А. Толстого, возвысившего их в научном и воспитательном отношении до положения средних учебных заведений, в полном значении этого слова.

И только благодаря этому, в наше время возможен вопрос о некотором сближении гимназий и реальных училищ, как в курсе наук, так и в приспособлении тех и других взаимно и к университету, и к политехническому институту.

До реформы же гр. Толстого, согласно его собственному замечанию, «реальные гимназии по уставу 1864 года не в состоянии были удовлетворить ни одной из указанных департаментом потребностей».

“*Хотя*, – говорит гр. Толстой, – *в уставе и выражено вполне то верное начало, что никакой реальный курс не может служить надлежащим подготовлением к университету, но затем в нем пущены такие уклонения от этого правильного воззрения, которые дают реальные гимназии с гибельными мерами 1849-1851 гг.: в целом уставе принято изложение, дающее повод предполагать, будто реальные гимназии суть заведения одного рода и порядка с гимназиями университетскими или классическими; вследствие чего возникли ходатайства об открытии реалистам доступа в университет; устав неправильно соединяет с реальными гимназиями понятие «общее образование» и приближает их курс к курсу гимназий, тогда как общим образованием, в обширном смысле, может быть названо образование элементарное, а в тесном – только классическое*”.

Преподавание в реальных гимназиях наук было поставлено весьма неполно и неосновательно, а главное, не было осмыслено конечной целью.

«*Неправилен взгляд*, – замечает далее гр. Толстой, – *что реальные гимназии должны приготовлять к поступлению в высшие специальные училища. Реальные гимназии являются учебными заведениями, не имеющими никакой положительной цели и не дающими никакого определенного положения молодым людям, оканчивающим в них курс учения. Для высшего, университетского образования они нисколько не подготовлены; специальных сведений для дальнейшего практического изучения какой-либо отрасли промышленности и занятий оною они [так же] не имеют*»[**].

Все преподавание в этих реальных гимназиях в то время несколько напоминает теперешнее преподавание в коммерческих отделениях (5-й и 6-й классы) при реальных училищах, где таковые отделения еще уцелели, как, например, при Киевском министерском реальном училище, ученики которых являются действительно ни к чему не подготовленными, ни к службе, ни к поступлению в коммерческие институты и тому подобные высшие учебные заведения.

---

[*] Ibid., стр. 518.

[**] Рождественский: ibid., стр. 520-521.

Поэтому, задачей реформы реальных гимназий, по мысли гр. Д.А. Толстого, было поставлено «*приноровление курса реальных училищ*», в которые были преобразованы реальные гимназии, «*к специальным потребностям различных родов промышленности и торговли. Они должны готовить к поступлению прямо на практическое поприще промышленных занятий среднего разбора. Что же касается до перехода воспитанников реальных училищ в высшие специальные учебные заведения, то желательно сделать его возможным, не столько в интересах этих заведений, сколько ради того, чтобы способнейшим воспитанникам, желающим итти далее, не был прегражден путь*»[*].

Задача среднего, а в связи с ним и высшего образования, насколько показала практика школьной жизни, заключалась, таким образом, не в том, чтобы уничтожить одну систему образования в пользу другой, а в том, чтобы реформировать на почве серьезных требований государственной жизни Империи и ту, и другую среднюю школу – гимназии классическую и реальную, что и было осуществлено графом Д.А. Толстым.

Утверждение, создавшееся в пылу публицистической полемики, будто гр. Толстой создал, в качестве единой средней государственной школы, классическую гимназию, а «реальные гимназии низвел на степень профессиональных школ»[**], не имеет под собою документальной почвы.

Основная мысль гр. Толстого, насколько позволяют думать документы, заключалась в том, чтобы, во-первых, поставить все науки во вновь преобразованных реальных училищах на более основательную степень, чтобы они отличались не исключительно только прикладным характером, но и чисто теоретическим, а во-вторых, так как ясно было, что окончившие реальные училища не смогут попасть в университеты, ввиду тех строгих требований, какие предъявляют эти последние от желающих поступить в них, надо было обеспечить правовое положение реалистов.

Вот почему и были созданы разные типы реальных училищ, имевшие в виду своими специальными курсами ту или иную профессию, как-то: коммерческие, технические, с преобладанием механики или химии, горнозаводские, сельскохозяйственные, технологические, агрономические, строительные и т.п., учреждавшиеся исключительно по ходатайству местных общественных групп.

Документальные данные показывают, что учреждению того или другого реального училища всегда предшествовали местные ходатайства. Министр же гр. Д.А. Толстой выработал лишь, но опять-таки не от себя, а на основании обширного, собранного в министерстве, через попечителей округов, от подведомственных учреждений, материала, общий план постановки учебно-воспитательного дела во вновь учреждаемых реальных училищах[***]. Из документального материала мы убеждаемся в том, что министерство, при открытии того или иного реального училища с профессиональным характером, имело, если не исключительно, то главнейшим образом, заботу об общей учебно-воспитательной стороне дела, а не о профессиональной.

Так было, между прочим, и при учреждении Киевского реального училища, когда министерство только наполовину удовлетворило ходатайство городской думы о том, чтобы реальное училище имело строго профессиональный характер, и учредило его на общих основаниях, как шестиклассное реальное училище с коммерческим (5-го и 6-го классов) и механико-техническим отделением 7-го, дополнительного класса.

---

[*] Ibid., стр. 521.

[**] Ibid., стр. 521-522.

[***] См. циркуляр Мин. нар. просв. от 31 июля 1872 года, за № 8159, об учреждении реальных училищ. Ср. И. Матченко: Двадцатипятилетие Киевского реального училища. Историческая записка. Киев, 1898, стр. 1-17.

Первым же директором, для устроения учебно-воспитательной стороны училища, был назначен инспектор Киевской 1-й гимназии И.С. Палиенко, а инспектором – секретарь педагогического совета и преподаватель математики той же гимназии А.Н. Дьяченко. Благодаря таким первым шагам, Киевское реальное училище получило не узкопрофессиональный характер, а то направление учебно-воспитательного дела, которое сложилось в Киевской 1-ой гимназии, что, по-видимому, и составляло задачу министерства.

Общим показателем того, что при преобразовании реальных гимназий в реальные училища не имелось в виду создавать из них непременно профессиональные школы, служит то повсеместное явление, что реальные училища, имевшие сперва специальный характер, и разные профессиональные отделения, благодаря такой постановке отдельных общеобразовательных наук, какой требовал граф Д.А. Толстой, т.е. строго научной, теоретической, а не прикладной только, в конце концов возвысились до одного уровня и положения с классическими гимназиями, а все эти отделения или же позакрывались, или же влачат и доныне самое жалкое существование.

<…> В описываемом 1871-72 уч. году, т.е. как раз в то время, о котором директор Андрияшев выразился, что он «никогда не находил столько отрадных явлений, как в то время», имел место случай с одним из учеников 1-ой гимназии, в достаточной степени показавший всем, что на школу теперь возлагалась чрезвычайно ответственная задача – предохранение вверенного гимназии юношества вне стен заведения от того брожения, какое тогда происходило в обществе и в общественной литературе.

Это брожение было отчасти отголоском тех реформ, которые произведены были императором Александром II еще в 60-е годы, как то: крестьянская реформа, судебная, земская и другие. Часть русского общества, увлекавшаяся демократической идеологией, сперва понимала эти реформы как чисто демократические, но когда постепенно стал выясняться их исторически последовательный, строго правовой характер, то эта же самая часть общества стала отрицательно относиться к дальнейшему развитию тех же реформ в 70-е годы. В результате этого и возникло то брожение в части общества и в его литературе, от которого, естественно, должна была теперь ограждать учащееся юношество школа, как учреждение строго государственное.

На случай подобного рода мы наталкиваемся в 1872 году и в 1-ой гимназии. В экстренном заседании педагогического совета 1 мая заслушано было секретное предложение управляющего киевским учебным округом от 1 мая за №5, по делу об ученике Киевской 1-ой гимназии Феофиле Бородаевском.

Из дела сего видно:

«*Секретным отзывом от 28 августа [1871 г.] за №918, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор уведомил управляющего киевским учебным округом, что были проведены обыски у студента петербургского университета Семяновского и ученика Киевской 1-ой гимназии Феофила Бородаевского, причем у последнего найдены 4 письма к нему от Семяновского из Петербурга, довольно предосудительного содержания в политическом отношении, 4 фотографических карточки, из коих одна его, Бородаевского, другая – девицы Дзиобинской, приятельницы Бородаевского, и две – лиц, прикосновенных к Нечаевскому делу, Дементьева и Ткачева.*

Из показания Бородаевского видно, что студент Семяновский советовал ему читать статьи Добролюбова, Писарева, Чернышевского и других подобных писателей; что он писал к нему из Петербурга, прося уведомить, с кем он, Бородаевский, ведет дружбу; что он же привез с собой из Петербурга коллекцию фотографических карточек и продавал их, для отсылки вырученных денег в пользу пострадавших по Нечаевскому делу; и, наконец, что в Петербурге существует какое-то тайное общество, членом которого состоит Семяновский.

Посему генерал-адъютант Дондуков-Корсаков, усматривая из вышеизложенного, что Бородаевский никакого доселе политического проступка не совершил, а собственно есть лицо, завлекаемое студентом Семяновским, признал возможным освободить его из-под ареста и передать в распоряжение управления учебного округа. А так как начальству и наставникам гимназии ближе всего должны быть известны нравственное направление ученика Бородаевского, степень его умственного развития и образ его жизни, чего нельзя не принять во внимание для справедливой оценки меры его виновности по поводу его настоящей предосудительной связи, то управляющий округом предписал предложить педагогическому совету гимназии обсудить все обстоятельства и данные, обнаруженные произведенным у Бородаевского обыском, в связи со всем тем, что известно совету о Бородаевском, как об ученике гимназии, и выразить свое заключение о распоряжении, какое совет считал бы нужным сделать касательно Бородаевского.

По справкам в делах гимназии оказалось: Феофил Бородаевский, ученик 7-го класса, родителей не имеет и в августе 1868 г. поступил из полтавской гимназии в 5-й класс Киевской 1-ой гимназии. По определении в 1-ю гимназию, постоянно находился под непосредственным попечением дальнего родственника своего, бывшего учителя, ныне умершего, Ильи Горонескуля, потом был на попечении брата его, воспитателя пансиона 1-ой гимназии, ныне мирового судьи зеньковского уезда, полтавской губ., Ивана Горонескуля, а этим последним передан в августе 1871 года воспитателю Петру Олиферову-Мануйловичу.

В бытность свою в 5-м и 6-м классах Бородаевский отличался скромным поведением и прилежанием, хотя, при слабости способностей, и не был в числе лучших по успехам учеников.

В прошлом учебном году, перейдя в 7-й класс, он вскоре увидел, что не в состоянии справиться с курсом и удовлетворить требованиям гимназии для получения аттестата, вследствие чего и начал манкировать занятиями, чем неоднократно вызывал меры взыскания со стороны заведения и был допущен на второй год в том же классе только по уважению к скромности его поведения и во внимание к его обещанию усердно заняться для успешного окончания курса наук в гимназии. В настоящем году Бородаевский вообще вел себя отлично и занимался весьма прилежно, хотя, при своей малоспособности, и не считался в числе лучших учеников.

Педагогический совет, обсудив все вышеизложенные обстоятельства, пришел к тому заключению, что участие ученика Бородаевского в предосудительной связи с студентом петербургского университета Семяновским было более пассивное, обусловливаемое товарищескими отношениями к последнему, как бывшему своему товарищу, в чем несомненно убеждают:

1) скромный и уединенный образ жизни Бородаевского, ограничивавшийся преимущественно исправным посещением классов в последнем году и занятиями на дому;

2) слабость дарований и умственного развития Бородаевского, при которых трудно допустить, чтобы он мог не только разделять, но даже и поднимать идеи, проводимые писателями такого рода как Чернышевский, Писарев, Добролюбов и другие;

3) что Бородаевский, по своим личным качествам, выше указанным, не имел и не мог иметь влияния на товарищей.

Поэтому педагогический совет находит, что при всей предосудительности поступка Бородаевского немедленное удаление его из заведения, накануне окончания им курса, было бы слишком тяжелым наказанием, почему полагал бы, сделав ему строгий выговор от имени совета, с угрозою исключения с оповещением – в случае неодобрительного дальнейшего поведения, допустить его к экзамену, с тем что если он не удовлетворит требованиям предложения министра народного просвещения от 12 апреля за №3816, то, признавая дальнейшее пребывание на третий год в том же классе неудобным, уволить его из гимназии по прошению.

В заключение педагогический совет, относясь с крайним прискорбием к настоящему печальному делу, не может не присовокупить, что заведение не могло иметь непосредственного влияния на образование характера и убеждений бывшего ученика гимназии Семяновского, так как он во все время пребывания в гимназии жил в доме отца и воспитывался под ближайшим руководством его, а не гимназии, в которую появлялся только в учебные часы, и отличался преимущественно ребяческими шалостями, свойственными его детскому возрасту, в котором он находился даже при окончании курса в гимназии, так как он окончил курс не имея 17-ти лет, а по окончании курса, оторванный от заведения и родительского дома, легко мог сделаться жертвою злоумышленных увлекателей[*]».

Допущенный к экзамену Бородаевский на одном из них провалился и, согласно постановлению совета, должен был оставить 1-ю гимназию.

То, что случилось с учеником 1-ой гимназии, очевидно, было и в других гимназиях и учебных заведениях, потому что вскоре последовало распоряжение попечителя уч. округа о принятии общих мер против повторения подобных случаев.

Так, 10 мая 1872 г. в заседании педагогического совета читано было секретное циркулярное предложение управляющего киевским учебным округом, при коем препровождены были копия предложения министра народного просвещения от 22 апреля за №85 и извлечение из протокола заседания попечительского совета от 6 мая:

«*Главная цель вышеозначенного предложения министра, последовавшего по высочайшему повелению, заключается, во 1-х, в том чтобы разъяснить учащемуся юношеству, какими путями, по большей части, действуют злонамеренные совратители, старающиеся вовлечь юношество в тайные общества или кружки, а во 2-х, предупредить юношество, дабы никто не мог отговариваться неведением, что всякое участие в тайных обществах или кружках повлечет за собою немедленное удаление из заведения с запрещением вступать в другое и с подчинением надзору полиции*».

Педагогический совет определил: «*объявить ученикам старших трех классов строгое запрещение принимать участие в тайных обществах и кружках, разъяснив им, какими путями, по большей части, действуют злонамеренные совратители, и указав всю преступность тайных обществ, и предупредить юношество, что всякое участие в тайных обществах или кружках повлечет за собою немедленное удаление из заведения, с воспрещением вступать в другое и с подчинением надзору полиции; объявление это сделать в каждом классе, применительно к возрасту и составу класса, приняв исходным пунктом этого объявления проступок Бородаевского*».

---

[*] Александр Семяновский окончил К. I Г. в том же 1871 г., с серебряной медалью.

Кстати, «перевод стрелок» в отношении А. Семяновского на «злоумышленных увлекателей» говорит все-таки о слабости его «морально-политической подготовки» в самой гимназии, т.е. триада «за веру, царя и отечество» не была вбита в его мозги как фундамент существования Русского подданного, в отличие от «патриотическо-религиозной головы» учителя К. I Г. Н.Д. Богатинова. Кроме того, «*идеи, проводимые писателями такого рода как Чернышевский, Писарев, Добролюбов и другие,*» имели для незрелой молодежи большую привлекательность. В общем, все это плохо кончилось для Русских подданных в 1917-м…

Независимо от того педагогический совет определил «*принять все зависящие меры по ограждению учащихся от заблуждения и зла, для того чтобы сделать невозможным принятие с их стороны участия в таких обществах и кружках, вменив в обязанность всем преподавателям, чтобы они пользовались каждым удобным случаем предостерегать учащихся от дурных влияний и возбуждать и развивать в них чувства привязанности к государю и отечеству и водворять в них любовь к серьезному труду и сознание необходимости последнего, который может приготовить их к истинно полезной и трудовой общественной деятельности по окончании курса учения, приглашая при всяком удобном случае родителей и квартиросодержателей содействовать в этом отношении заведению; при этом педагогический совет не мог не обратить внимания на вредное влияние, которому могут подвергаться ученики вследствие чтения книг предосудительного содержания, и, принимая во внимание, что определением совета 16 ноября 1870 года ученикам запрещено брать книги из частных библиотек, имея в виду, что при заведении существует своя ученическая библиотека, приноровленная к возрасту, потребностям и развитию учащихся, которою все ученики могут пользоваться бесплатно, но точное исполнение этого распоряжения совета парализуется свободною выдачею таких книг со стороны частных библиотек, педагогический совет определил: ходатайствовать чрез попечителя учебного округа у высшего начальства о воспрещении содержателям частных библиотек выдачи книг ученикам гимназии*».

В исполнение же вышеупомянутого предложения управляющего округом педагогический совет определил: “*составить комиссию, под председательством директора, из инспектора, законоучителя о. Ильи Экземплярского и учителей Богатинова и Синицкого, поручив ей рассмотреть правила для учеников и, в чем окажется нужным, изменить и дополнить их, внеся в ученические правила для гимназистов старших классов следующее: «ученикам гимназии строго воспрещается составлять между собой всякие тайные общества или кружки и принадлежать к таковым, даже без преступной цели; нарушение этого требования общих государственных законов и дисциплинарных правил повлечет за собой немедленное исключение виновных из гимназии, с воспрещением вступать вновь в какое-либо гражданское или военное учебное заведение и с подчинением их в местах жительства – полиции*»”.

<…> К этому времени [1874 г.] относится один случай с 4-мя учениками 1-ой гимназии, жившими на частных квартирах, случай, побудивший педагогический совет к дальнейшим мероприятиям относительно внешкольного, квартирного надзора.

28 октября в педагогическом совете слушали дело о поступке ученика старшего отделения 7-го класса, римско-католического исповедания, Марьяна Белинского, а также и о поведении учеников того же класса и того же исповедания – Игнатия Махцевича, Казимира Длузского и Владимира Гродецкого*. Из этого дела видно следующее:

«*Инспектор 1-ой гимназии, посещая квартиры учеников гимназии 21 октября вечером, посетил, между прочим, и квартиру Марьяна Белинского, живущего у вдовы надворного советника Эвелины Францевны Махцевич, вместе с сыном этой последней – Игнатием Махцевичем и Владимиром Гродецким. При осмотре помещения Белинского инспектор нашел на этажерке, между прочими книгами, и 4 книги революционного содержания на польском и русском языках, причем когда инспектор осматривал книги на верхней полке, Махцевич одну из этих книг – «Myśli o naszych działaniach w kraju i za granicą» пытался скрыть в кармане и возвратил ее вследствие особого приказания инспектора.*

---

* Как будет видно позже, все определения педагогического совета К. I Г. были выполнены неукоснительно: только Владимиру Гродецкому удастся окончить гимназию в 1875 году – в первом выпуске 8-класников.

В тот же вечер, в 9 час., инспектор посетил квартиру ученика Длузского и его в квартире не нашел, а хозяйка дома объявила, что она не знает, к кому именно он ушел, на другой же день Длузский дал показание, что он был у служащего железной дороги Райского; Райские же, муж и жена, показали, что он не был у них в течение месяца, но, несмотря на это, Длузский не захотел сознаться, где он был.

По рассмотрении книг, отобранных у Белинского, оказалось, что книги эти были следующие: 1) Historya powstania narodu polskiego w 1861-1864 roku, przez Agatona Gillera, с эпиграфом «fiat lux – libertas erit» [(«да будет свет – свобода будет»)], Париж, 1867; 2) Polityka samobójstwa. Uwagi nad pisemkiem: Polska i Rossyja w 1872 r., przez b. członka rady stanu królewstwa polskiego, Познань, 1872; 3) Myśli o naszych działaniach w kraju i za granicą, przez Mateusza Gralewskiego, Лейпциг, 1865; 4) Письма без адреса. Неизданные статьи Н.Г. Чернышевского. Издание журнала «Вперед», Цюрих, 1874.

По расследовании дела Белинский, будучи спрошен как он приобрел эти книги, объявил, что купил их во время возвращения после вакаций в Киев – в Хвастове [(Фастове)], на железной дороге, у какого-то жителя Одессы Рожновского, ехавшего по своим делам в Нежин, потому что Рожновский нуждался в деньгах. Привезши эти книги в Киев, Белинский положил их на этажерку, где они и найдены, но что он будто бы не читал их и никому не давал. На заявление же, что его объяснение не имеет характера вероятности и что, не сочувствуя содержанию книг, он не решился бы на приобретение их, Белинский упорно стоял на своем и не обнаружил искреннего раскаяния.

Педагогический совет, принимая во внимание, что содержание всех указанных книг крайне возмутительно, определил: а) Белинского, за приобретение и хранение у себя этих книг, исключить из гимназии с оповещением по [учебному] округу, оштрафовав поручителя, Фортуната Осипова Белинского, на основании распоряжения высшего начальства 1866 г. о представлении обеспечения лицами польского происхождения, суммою в 200 руб. серебром; б) ученика Махцевича, за желание скрыть революционные книги, обнаруживающее, что он знаком был с их содержанием, удалить из гимназии без оповещения; в) ученика Длузского за то, что он не исполнил распоряжения о перемене квартиры и не представил обеспечения, требующегося по закону от лиц польского происхождения, и за несвоевременные отлучки из квартиры в ночное время неизвестно куда, предложить отцу уволить его из гимназии; г) ученику Гродецкому приказать немедленно перейти на квартиру по указанию начальства, с тем что если он не исполнит этого распоряжения, то будет немедленно уволен из гимназии.

Что же касается Махцевичевой, то так как она приняла означенных учеников без разрешения начальства, отнестись в полицию о воспрещении держать ей учеников и, вместе с тем, подвергнуть ее на основании 3-го пункта того же распоряжения штрафу в 50 руб. за каждого находящегося у нее на квартире ученика, а именно всего за двух учеников – 100 руб. серебром».

В связи с этим педагогический совет 7 ноября «*согласно предложению директора о разделении квартир, для более тщательного надзора, между классными наставниками и даже преподавателями, постановил распределить все ученические квартиры в этом году и делать это и на будущее время*».

<…>

Состояние гимназии во второе пятилетие семидесятых годов

Второе пятилетие 70-х годов – это время существования 1-й гимназии в том ее составе, в каком она сохранилась и до нашего времени.

«*1876-й гражданский год*, – говорится в отчетной записке за этот год, – *состоит из двух резко различающихся полугодий: первое – принадлежит 1875-76 учебному году, которое заключает собою период постепенного преобразования Киевской 1-й гимназии по уставу 1871 года; второе – служит началом существования гимназии в преобразованном, на основании устава, виде полного классического заведения. 1-я гимназия состояла в этом году из двух параллельных отделений приготовительного класса и восьми гимназических классов, из которых пять разделялись на параллельные отделения; всех классов, таким образом, было 15*».

Школьное законодательство в духе и направлении устава 1871 года продолжалось и в этот период времени; оно направлено было, главным образом, на те детали и подробности, которые не могли быть приняты во внимание при введении основных реформ, в первое пятилетие 70-х годов, далее – на некоторые изменения в учебных планах, вызванные жизненным опытом применения учебных планов нового устава и, между прочим, преобразованием 7-го класса из двухгодичного в два одногодичные, совершенно самостоятельные классы – 7-й и 8-й, и, наконец, – на те мероприятия, которые подсказывались требованием времени и общим государственным законодательством.

Вообще же говоря, школьное законодательство этого периода имело в виду более внешнюю, чисто деловую, административную сторону школьного строя, чем внутреннюю, учено-учебную, теоретическую деятельность гимназической жизни. Главным образом, много внимания уделено в этот период на дальнейшее развитие института наставников и на внешкольный и квартирный надзор. Отличительной особенностью русской жизни этого времени являлось, между прочим, необыкновенно большое увлечение всякого рода социалистическими теориями и пропаганда этих учений особенно среди учащейся молодежи.

«*С половины 1873 года по 1 января 1877 года*, – говорит проф. Рождественский, – *из общего числа лиц, прикосновенных к противогосударственной пропаганде, воспитанники высших и средних учебных заведений составляли 50%*»[*].

Существование этого явления в русской жизни в описываемое время оказало решительное влияние на школьное законодательство этого времени. Как накануне, и в первое пятилетие 70-х годов, реформа средней школы совершилась под сильным влиянием университетов и поставила в тесную связь с университетом среднюю школу, так во второе пятилетие продолжение реформы средней школы шло в невольной связи с развитием пропаганды в обществе разных противных государственному строю учений.

От спокойного и последовательного созидания учебно-воспитательной обстановки школьное законодательство невольно отвлекалось в сторону противодействия проникновению в школьную среду этого рода учений и теорий.

Благодаря такой неблагоприятной обстановке, создавшейся в то именно время, когда происходила реформа, или, вернее сказать, когда происходило создание современной русской средней школы, многие элементы и учебно-воспитательные средства этой школы не могли получить своего надлежащего развития к нашему времени, несмотря на напряженную работу и в министерстве, и на местах. После учебных планов и программ, это особенно отразилось на развитии такого важного элемента в средней школе, как институт классных наставников.

В министерстве по-прежнему еще держалась прежняя точка зрения на задачи и цели института классных наставников, как на надзор за правильным ведением учебного дела в классах, как на руководительство классными и домашними учебными занятиями учеников, отчасти и как на контроль преподавательской деятельности учителей.

---

[*] Рождественский. Исторический обзор деятельности Министерства Народного Просвещения, стр. 501.

Но вышеупомянутые явления общественной жизни, развивавшиеся постепенно вне стен школы и энергично прорывавшиеся и в школьную жизнь, создавали на местах иные задачи для классного наставничества и вызывали другие потребности в школе. В результате создавалось раздвоенное отношение к задачам института классных наставников и к непосредственной деятельности самих лиц, несущих эти обязанности, в министерстве и на местах.

«*Но отдавая полную справедливость усердию многих классных наставников*, – говорит в своем отчете за 1876 год директор Андрияшев, – *я не могу не заметить, что институт классных наставников еще далеко не достигает надлежащего развития. Причина этого – неопределенность официального положения классного наставника, а еще более – неопределенность круга его обязанностей*».

Ко всему этому присоединялось еще и то обстоятельство, что министерство не располагало такими денежными средствами, чтобы можно было оплачивать труд классного наставника в такой мере, чтобы сделать его существование, а равно и деятельность в школе – независимой от заработной поурочной платы, как то достигнуто, например, в отношении директорской и инспекторской должностей.

Такую именно сторону жизни средней школы в описываемое время обрисовывает нам циркулярное распоряжение попечителя [Киевского учебного] округа, присланное директору 1-й гимназии 17 июня 1876 г. за №6134, следующего содержания:

“*В журнале Высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения всеподданнейшего отчета по Министерству народного просвещения за 1874 год, между прочим, изложено:*

«Не взирая на похвальный отзыв попечителей учебных округов о деятельности классных наставников вообще, отчет относится к этому учреждению, ввиду важности предмета, с большой строгостью, объясняя, что преподаватели наши еще мало освоились с новым своим призванием к воспитательной деятельности, и указывает при сем, что, несмотря на увеличение в отчетном году числа гимназий и прогимназий, общее число классных наставников из преподавателей уменьшилось с 675 до 660, так что пришлось вверить, в большем размере против прежнего, по два класса одному и тому же классному наставнику.

Слабее институт наставников прививается в столицах и больших городах, где учителя более отвлекаются частными уроками.

Комиссия находит такое замечание министра народного просвещения существенно важным, указывающим на то направление, к которому нужно стремиться в интересах развития безусловно полезного учреждения классных наставников. Хотя несомненно, что преподаватель, занимающий в своем классе наибольшее число уроков, имеет более дела со своими учениками и может оказывать на них наиболее нравственное влияние, но, с другой стороны, нельзя отвергать, что чем более преподаватель занят уроками, тем он более может быть затруднен в исполнении обязанности классного наставника и тем менее может деятельно следить за общим ходом учения в своем классе.

Комиссия, согласно с заявленным Его Сиятельством лично в заседании оной мнением, полагает, что главнейшая задача классных наставников должна состоять в том, чтобы неослабно следить, в какой мере задачи и уроки соображаются с силами учеников, наблюдать, чтобы требования от учеников по одному предмету не были в ущерб другого предмета и чтобы вообще ученики не были излишне обременены уроками.

К этому должны быть направляемы все силы и педагогических советов гимназий, и классных наставников. При этом только условии классные наставники будут исполнять в действительности свое призвание и приносить ожидаемую от них пользу.

Посему и имея в виду вышеозначенное Его Сиятельства заявление, комиссия полагала существенно необходимым, чтобы министр народного просвещения указало попечителям учебных округов самые действительные меры к устранению тех неблагоприятных обстоятельств, которые препятствуют учреждению классных наставников действовать со всем ожидаемым от оного успехом, а в будущих всеподданнейших отчетах по министерству желательно видеть подробные сведения о том, в какой мере классные наставники исполняют одну из главнейших своих обязанностей – следить за общею экономией и успехами преподавания в сих классах по всем предметам».

По поводу сего замечания комиссии последовала собственноручная Его Императорского Величества отметка: «Принять к руководству».

Далее, в том же журнале выражено, что отчет с особенною похвалой отзывается о деятельности классных наставников в реальных училищах, указывает на удачное распоряжение по Одесскому округу о выдаче ученикам реальных училищ особых книжек, в которые классные наставники вписывают отметки, полученные учениками в течение недели, их поведение и все сведения, необходимые для родителей относительно успехов и поведения их детей. О самом же учреждении классных наставников в реальных училищах сказано в отчете, что оно «почти везде принимается успешно и, несмотря на кратковременность существования, дает уже благоприятные результаты».

Ввиду важности введения классных наставников во всех вообще средних учебных заведениях, комиссия считала бы полезным видеть в будущих отчетах по министерству народного просвещения сравнительное указание, в какой степени успешно прививается учреждение классных наставников в гимназиях и реальных училищах, если же существует в сем отношении какая-либо между ними разность, то и объяснение о причинах таковой разности.

По сему замечанию комиссии последовала так же высочайшая Его Императорского Величества рукою отметка: «принять к руководству».

В исполнение сего высочайшего повеления, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство обратить на институт классных наставников самое серьезное внимание и употребить все зависящие меры, чтобы институт этот достиг полного своего развития, так как в противном случае существующие средние учебные заведения не будут в состоянии удовлетворить тем целям, которые поставлены для них ныне действующими уставами.

В этих видах я признаю необходимым указать педагогическому совету вверенного Вам учебного заведения на высокое значение тех обязанностей, которые возлагаются на классных наставников, и на необходимость исполнения их со всею добросовестностью, какая требуется по самому существу этих обязанностей. А так как обязанности классных наставников многосложны и поглощают довольно значительное время, то предоставление одному наставнику двух классов может быть допускаемо только в крайних случаях, когда в наличном составе преподавателей не найдется лица, которое могло бы быть удостоено этого звания.

С другой стороны, ввиду объясненной выше важности обязанностей классных наставников, не должно быть допускаемо так же уклонение преподавателей, которых начальство гимназии признает достойными звания классных наставников, от принятия на себя обязанностей этого звания, тем более что по уставу все вообще преподаватели, если даже кто из них и не состоит классным наставником, обязаны, не ограничиваясь одним обучением, содействовать всеми способами также воспитательным целям заведений.

Кроме сего, я нахожу вообще необходимым вменить Вам, милостивый государь, в обязанность требовать от классных наставников столь же строгого отношения к их обязанностям, как и к остальным своим обязанностям по знанию преподавателя.

Сообщая о вышеизложенном Вашему Превосходительству для надлежащего исполнения, имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, о последствиях распоряжений моих по сему предмету, а именно, в какой мере распоряжения эти будут содействовать в действительности развитию и упрочению института классных наставников, доставлять подробные сведения в представляемых Вами по вверенному Вам учебному заведению годовых отчетах, сообразно с изложенным выше высочайшим повелением".

В отношении ведения вакационных занятий учеников 31 мая 1876 г. было получено следующее предложение попечителя округа за №5566:

«*Дошло до моего сведения, что с вакационными письменными работами учеников в некоторых гимназиях поступают не так, как следовало бы по смыслу существующего на этот счет министерского распоряжения. Так, иногда случается, что задаются эти работы несвоевременно и некоторые ученики, уезжая на каникулярное время, не знают, что им задано; иногда задаются работы, для исполнения которых необходимо иметь новые для учеников книги; а главное, эти работы не всегда тщательно просматриваются учителями и, таким образом, является у учеников привычка небрежно относиться к своим вакационным работам.*

Для устранения таких недостатков на будущее время, при ведении столь важного дела, считаю нужным предложить педагогическим советам обсудить это дело и постановить правила относительно устройства его, приняв в руководство следующие основания:

1) Вакационные письменные работы должны быть задаваемы заблаговременно, так чтобы все ученики могли знать об них, а классный наставник должен наблюдать, чтобы у всех учеников они были записаны.

2) Каждый ученик должен исполнить вакационные письменные работы того класса, в котором он находится после экзаменов. Если эти работы кем-либо из учеников во время вакаций не будут исполнены, классный наставник должен настоять на исполнении их учениками в праздничное время; в случае повторения этого проступка учеником, должно принять другие действительные к тому меры, например, лишение отпуска на будущее каникулярное время до тех пор, пока ученик не выполнит самым тщательным образом все работы и пока они не будут одобрены учителем.

3) Для того, чтобы вакационные письменные работы не были обременительны или неудобоисполнимы для учеников, они предварительно обсуждаются в классной комиссии, под председательством классного наставника, и, по принятии их, классный наставник сообщает учителям.

4) После каникул письменные работы тщательно рассматриваются, по принадлежности предмета, учителем, преподающим в том классе, в котором ученик состоит.

5) По рассмотрении и исправлении работ, учитель в классе убеждается в степени участия, какое принимал ученик при составлении их, возвращает работы ученикам и выставляет за них шар в особом списке, который представляет директору.

6) Шар, выставленный учителем за вакационные письменные работы, должен иметь влияние на отметку за успехи в первую четверть года, так что, вследствие неудовлетворительных вакационных работ, отметка за первую четверть может быть уменьшена.

7) За точным исполнением правил относительно вакационных письменных работ должны строго наблюдать директор и инспектор».

24 марта, вместе с предложением за №3439, попечителем округа препровожден был директору 1-й гимназии «Каталог учебных руководств и пособий, которые могут быть употребляемы в гимназиях и прогимназиях ведомства М.Н.П.», изданный в 1875 г. по распоряжению министерства, для руководства при выборе на будущее время учебников и пособий для употребления в 1-й гимназии.

Что касается деятельности педагогического персонала 1-й гимназии, то все внимание его было обращено в 1876 г. на поведение учеников; почему-то ни в одном из описанных нами годов не отмечено протоколами совета стольких проступков учеников, как в этом 1876 году. Случаи воровства учениками, главным образом, младших классов, ученических книг, нарушение порядка в местах общественных собраний, курение табаку в классе учениками старших классов, какие-то проступки, предосудительные в нравственном отношении, даже в приготовительном классе, дерзости и, в особенности, неблагонадежность учеников в политическом отношении, начиная с 4-го класса и кончая 8-м, – все это имело место в 1-й гимназии в течение всего 1876 года.

31 августа педагогическим советом было заслушано предложение директора «*относительно необходимости к ограничению бесконтрольного пользования книгами со стороны учеников в частных библиотеках и наблюдения над учениками в местах общественных собраний*». Определено: «*по поводу этих вопросов, в связи с вопросом о надзоре над учениками, живущими на квартирах у родственников и близких лиц, составить комиссию*».

4 октября в заседании педагогического совета был заслушан доклад комиссии по вопросу об устройстве надзора за учениками. Определено принять в такой форме:

«*1) ученикам гимназии разрешается жить у родственников или близких лиц не иначе, как по заявлению об этом начальству гимназии со стороны родителей и когда лица, у которых родители предполагают поместить детей, пользуются доверием гимназического начальства;*

2) все родственники или лица близкие, принимающие учеников гимназии на квартиру, становятся, по надзору за учениками, в такое же самое положение, в каком находятся все вообще квартиросодержатели, в удостоверение чего и должны обязаться подпискою, установленною для лиц, определяющих учеников в гимназию;

3) эти правила распространяются и на тех лиц, которые принимают к себе учеников в качестве репетиторов».

В этом же заседании было решено, для усиления надзора за квартирами, распределить квартиры между классными наставниками по принадлежности классов.

Что касается мероприятий, направленных к поднятию у учеников старших классов интереса к научным вопросам, в особенности, связанным с классической литературой и филологией, то заслуживает внимания предложение попечителя округа относительно проекта правил о конкурсных сочинениях учеников трех старших классов, с приложением тем для этих работ.

Это предложение было заслушано советом 28 сентября и по поводу него постановлено следующее: «*Работы учеников, одобренные комиссией преподавателей предмета, по принадлежности, отсылаются, по определению совета, директором гимназии в киевское отделение Общества классической филологии и педагогики и, по рассмотрении в нем, с отзывами возвращаются, для постановления педагогическим советом определения о поощрении авторов таких работ мерами, какие совет признает удобными. Темы, присланные упомянутым отделением, приняты к сведению, для употребления при назначении конкурса*».

15 ноября граф Понятовский, по ходатайству своего поверенного по делам Модзалевского, пожертвовал 145 рублей серебром для уплаты беднейшим ученикам 1-й гимназии за право учения. Педагогический совет в заседании того же числа постановил выразить, от имени совета, благодарность гр. Понятовскому и Модзалевскому за означенное пожертвование.

***

Преподавание всех вообще предметов и во всех классах гимназии, – по словам отчета, – *как в первом, так и во втором полугодии производилось по учебным планам, утвержденным Министром народного просвещения. Преподаватели при выполнении программы руководились объяснительными записками, приложенными к означенным учебным планам.*

В частности, по Закону Божию в приготовительном классе изучались первоначальные молитвы. Изучению их предшествовало объяснение, которое состояло в простом, удобопонятном переводе их на русский язык, в сообщении общего смысла молитв и в изложении частностей оной. Из священной истории Ветхого и Нового Завета рассказывались главнейшие события, по «Начальному наставлению в православной вере» священника Соколова.

В 1-м и во 2-м классе проходилась священная история, по руководству Соколова, в систематическом порядке. При изложении священной истории Нового Завета прочитывался иногда самый текст священного писания, относящийся к изучаемому событию, так что дети непосредственно знакомились с Евангелием. Местности, на которых происходили изучаемые события, наносились в начерченную ими карту Палестины.

В 3-м классе преподавалось богослужение, по руководству Рудакова, причем ученики знакомились с церковными песнопениями на славянском и русском языке, а также и с историческими указаниями на происхождение этих песнопений.

В 4-м и 5-м классах изучали православный катехизис, по руководству митрополита Филарета, с точным соблюдением указаний объяснительной записки. Тексты переводились [с церковнославянского] на русский язык, причем указывалась и связь этого текста с контекстом, так что ученики подробно узнавали, кто и при каких обстоятельствах сказал известные слова. В 3-м, 4-м и 5-м классах пред каждым уроком после молитвы читалось Евангелие, причем делались необходимые объяснения догматического и нравственного содержания. Чтение Евангелия выслушивалось с должным благоговением, стоя.

В 6-м классе преподавались важнейшие события всеобщей церковной истории и история русской церкви, по руководству Рудакова, с указанием необходимых географических и хронологических данных.

В 7-м классе повторялся православный катехизис, с необходимыми дополнениями и более обстоятельными объяснениями важнейших догматических вопросов. Для этой цели или прочитывались относящиеся к этим вопросам догматические и апологетические статьи, или давались устные объяснения.

В 8-м классе повторялась история церкви, преимущественно русской, с изложением более подробных сведений о распространении христианской веры в нашем отечестве, о состоянии Юго-западной церкви, о расколе и др. Кроме того, повторялись все предметы гимназического курса Закона Божия, с целью привести приобретенные знания к единству в сознании и разумном понимании воспитанниками религиозных истин, служащих основанием христианской жизни и деятельности.

Особенное внимание было обращено на преподавание древних языков, как основного предмета в гимназическом курсе. В 1-м классе, согласно учебным планам, проходилась этимология правильных форм, по латинской грамматике Кюнера, в переводе Носова.

В самом начале курса наблюдалось, чтобы ученики основательно усвоили латинское произношение и для этой цели сравнивались звуки русских и латинских букв. Чтение по латыни быстро усваивалось при помощи письма.

Затем ученики 1-го класса приступали к изучению настоящего времени действительного и страдательного залога и к склонению существительных. При изучении имен существительных обращено было внимание на то, чтобы ученики могли указать сходство и различие между падежами в их окончании. Проводилась параллель между известными и неизвестными падежами, при помощи которой ученики твердо усваивали окончания падежей. При изучении имен прилагательных старались как можно более склонять имена прилагательные в связи с существительными разных родов. То же наблюдалось при склонении имен прилагательных сравнительной и превосходной степени.

Весьма важным пособием для усвоения учениками изученных частей этимологии были переводы с латинского на русский и с русского на латинский язык, причем делался подробный разбор каждого слова. Переводы с русского языка на латинский писались в тетради, сначала в классе, под руководством учителя. Учитель старался сначала приучить учеников пользоваться словарем и делать справки в грамматике.

К концу года, по мере усвоения курса 1-го класса, ученики стали переходить к более самостоятельным переводам, в виде экстемпоралей[*]*, сначала легких, а затем более трудных фраз. Такие упражнения с особенною пользою производились при повторении всего курса, назначенного для 1-го класса. Исправление ошибок производимо было в классе самими же учениками, так что ученики легко могли сознать свои ошибки и исправить их.*

Во 2-м классе проходилась, по грамматике Кюнера, изд[ания] Кремера, этимология неправильных форм. Из синтаксиса пройдены правила на косвенный вопрос <далее пропуск в записке>.

Для облегчения учащихся при изучении уклоняющихся глаголов, последние изучались постепенно, по мере того, как встречались в переводах и в разучиваемых наизусть баснях. В конце года, для приведения в систему изученных глаголов, делалось общее повторение систематически, причем задавалось не более 10 глаголов на один урок.

Письменные упражнения давались еженедельно, непосредственно на пройденные правила, и делались в классе из [вы]учен[н]ых уже слов. Независимо от того, переводы с русского языка на латинский делались учениками дома, для чего задавались переводы, проделанные в классе. Тетради для домашних работ проверялись в классе, причем преподаватель в самостоятельности домашней работы удостоверялся посредством спрашивания и разбора составленного учеником перевода.

В 3-м классе заканчивалась этимология неправильных форм, так же по грамматике Кюнера, в переводе Кремера.

Переводы 4-го курса разучивались вместе с систематическим повторением неправильных глаголов. Из синтаксиса, по тому же учебнику, были объяснены правила, встречающиеся в Корнелии Непоте и в переводах из грамматики. Письменные работы классные назначались по разу в каждую неделю, соответственно пройденным грамматическим правилам. Домашние письменные работы давались два раза в неделю, из числа упражнений, помещенных в 4-м курсе.

---

[*] Экстемпораль – классное письменное упражнение по переводу с русского на греческий или латинский язык без предварительной подготовки.

При изучении Корнелия Непота ученики предварительно выбирали и заучивали слова, а затем, после разбора и объяснения встречающихся правил, текст разрабатывался в классе и, по разработке, назначался на урок, для основательного усвоения учениками, до такой степени, чтобы ученик мог передать содержание изученного по латыни обратным переводом.

В 4-м классе проходился систематически синтаксис, по грамматике Кесслера. Пройдены правила на управление падежей. Для практического усвоения выбирались статьи из сборника Зюнерле, в котором есть цельные статьи, составленные приспособительно к известным правилам синтаксиса. Статьи эти давались параллельно с теоретическими уроками по грамматике.

Перевод Юлия Цезаря делался при следующих приемах: прежде всего ученики выбирали в особые тетради неизвестные им слова и заучивали их; потом записывали и заучивали обороты, свойственные латинскому языку; затем следовал перевод с латинского на русский язык в классе, под руководством учителя, сопровождаемый этимологическим и синтаксическим разбором, с необходимыми пояснениями по истории, древностям и географии; обратный перевод того же текста сопровождался заучиванием его наизусть.

В 5-м классе, по грамматике Кюнера, в переводе Кремера, проходился синтаксис сложного предложения. Объяснения каждого правила начинались с примеров, знание которых более всего требуется от учеников. Имелись в виду, главным образом, формы речи, встречающиеся у Цезаря и Цицерона. При чтении писателей Саллюстия и Цицерона практиковался, как и в 4-м классе, обратный перевод, необходимый для понимания читаемого. Чтения из Овидия сопровождались замечаниями относительно стихосложения, отличия поэтического языка от прозаического и вообще особенностей поэтического слога. Домашние чтения велись из Цезаря и в определенное время проверялись в классе. Письменные работы состояли из цельных статей, назначаемых приспособительно к проходимому в 5-м классе курсу грамматики.

В 6-м классе повторялся синтаксис, с необходимыми дополнениями. Порядок изучения синтаксических правил был приноровлен к потребностям, возникающим при чтении авторов, в конце же года весь пройденный синтаксис повторялся в систематическом порядке. Для домашних упражнений давались статьи из «Сборника для переводов с русского на латинский язык» Смирнова, по два раза в неделю, вместе с уроками по грамматике. Для классных письменных работ составлялись фразы на синтаксические правила, или же диктовался составленный учителем перевод с латинского на русский язык еще неизвестных отрывков из Тита Ливия, Юлия Цезаря или других писателей, а ученики своими словами передавали содержание прочитанного.

В 7-м классе из грамматики, по грамматике Кесслера, подробно проходились употребления сослагательного наклонения и правила о последовательности времен в условных периодах.

Для переводов с русского языка на латинский брались статьи из «Сборника переводов» Смирнова, классные же упражнения состояли в перифразе прочитанного из Ливия, с приложением пройденных синтаксических правил. Кроме того, пройдены биографии Виргилия и Тита Ливия и переведено во втором полугодии отчетного года 755 стихов из первого писателя и 37 глав из второго.

В 8-м классе преподаватель держался преимущественно метода сравнительного, который состоял в том, что он постоянно указывал на сходство, существующее между греческим и латинским языком, с одной стороны, и русским и славянским, с другой.

Из авторов читался Гораций, к чтению которого преподаватель приступал не прежде, как по сообщении главных оснований латинской метрики и рифмики по новой системе. При чтении указывалось ученикам, как на внешнюю музыкальную сторону стиха, так и на внутренние поэтические красоты содержания, а также делались необходимые объяснения из истории, мифологии и древностей.

Лучшие оды заучивались учениками на память. При чтении Цицерона имелось в виду, главным образом, чтобы ученики приобрели способность понимать изящество стиля и твердо усвоили грамматический строй языка. При чтении Цицерона ученики занимались, кроме того, изучением древних греческих и римских философов.

По греческому языку в 3-м классе проходилась этимология, по грамматике Кюнера, согласно учебным планам, утвержденным министерством. Переводы писались на дому. Письменные упражнения постоянно находились в связи с грамматикой и с запасом выученных учениками слов. Все вообще уроки разучивались в классе.

В 4-м классе повторен курс 3-го класса и, кроме того, пройдена часть грамматики, назначенная для 4-го класса. Переводы с русского на греческий язык делались учениками на дому и затем писались в классе на доске. Это делалось для того, чтобы заставить учеников самостоятельно готовить на дому заданные работы. Кроме того, назначалось еще в течение последнего полугодия отчетного года 9 экстемпоралей.

В 5-м классе окончена этимология, а фонетические особенности языка делались известными, по мере встречавшейся в том надобности, при переводах; затем работа 5-го класса состояла в том, чтобы систематизировать то, что было пройдено в 3-м и 4-м классах, чему особенно помогало чтение Гомера, знакомя с генетической стороной форм и вообще с историей языка. Но главное изучение языка идет на чтении Ксенофонта, при котором практиковался обратный перевод.

Чтению Гомера не предшествовало объяснение диалекта, на том основании, что только присоединение неизвестного к известному дает прочные плоды и имеет глубокое воспитательное значение; на этом основании только при изучении стихов «Одиссеи» объяснялись отличия Гомеровского диалекта от аттической прозы, причем формы последней выводились генетически.

Впоследствии, когда накоплялся, таким образом, достаточный материал для объяснения диалекта, назначался особый урок для группировки сделанных замечаний. Письменные работы ведутся в связи с чтением Ксенофонта и состоят из перевода на русский язык связанных частей, составленных преподавателем.

В 6-м классе из грамматики проходились главные правила синтаксиса, для усвоения которых делались письменные упражнения, как дома, так и в классе. «Одиссея» читалась в том сокращенном виде, который дал ей ученый Кирхгоф. Из Ксенофонта пройдена вторая книга, из Геродота читалась седьмая книга; при чтении главное внимание обращалось на точное и верное понимание текста, затем на те особенности, которыми отличается эпический язык Гомера и ново-ионическое наречие Геродота от обыкновенной аттической речи.

В 7-м классе из грамматики пройдено местоимение, условные периоды, посредством сравнений с латинскими, предлоги, управляющие одним только падежом. Письменные упражнения задавались на дом, по грамматике Григоровского. Кроме того, было 8 классных упражнений. Из «Илиады» переведены в последнее полугодие 1072 стиха, из Геродота 50 глав.

В 8-м классе метод преподавания, так же, как и по латинскому языку, был сравнительный. По этому же методу объяснена греческая и римская мифология. Пред началом чтения Софокла сообщены ученикам правила греческой метрики и ритмики, по системе Вестфаля.

Из Софокла читалась «Антигона». При чтении Демосфена в особенности обращалось внимание на усвоение учениками грамматического строя языка. Для этой цели делались переводы с русского на греческий язык, как устно, так и письменно, а более легкие места переводились с греческого на латинский язык и наоборот.

По математике. В приготовительном классе посредством решения умственных задач практически ученики знакомились с четырьмя арифметическими действиями и затем переходили к письменным задачам, по методе, принятой в задачнике Евтушевского.

В 1-м классе сначала проходилась нумерация, затем повторялись четыре действия над целыми отвлеченными числами. Ученики знакомились также с таблицею русских мер и проходили раздробление и превращение именованных чисел и действия над именованными числами. В конце курса ученики знакомились с простейшими дробями. При преподавании арифметики все правила выводились из практического решения задач.

Во 2-м и 3-м классах проходилась остальная часть арифметики. Правила производства действий, так же, как и в 1-м классе, выводились из практического решения задач. При повторении употреблялся обратный способ. Кроме того, в конце каждого отдела предлагались задачи, относящиеся ко всему отделу.

Алгебра и геометрия проходились во всех классах, согласно с учебными планами, утвержденными Министерством народного просвещения, обыкновенным дидактическим путем, причем в особенности наблюдалось, чтобы ученики усваивали задаваемые уроки в классе, при самом их объяснении. Успешность преподавания, главным образом, обусловливалась постоянным требованием основательного и вполне отчетливого знания предмета. В особенности обращалось внимание на решение задач алгебраических и геометрических в возможно большем числе, для того, чтобы выработать в учениках способность употреблять в дело приобретенные ими математические познания.

Преподавание физики производилось, по руководству Краевича, индуктивным способом. Преподаватель объяснял физические законы из прежде показанных опытов чрез простое обобщение. Для более основательного усвоения учениками физических законов постоянно решались физические задачи, которые сначала делались в классе, под руководством учителя.

Преподавание математической географии происходило следующим образом: пред каждой новой статьей составлялся по содержанию ее конспект, в виде вопросов, которые ученики записывали, затем вырабатывались ответы на означенные вопросы, и только, когда содержание статьи изучено было таким способом в классе, ученики систематически усваивали целую статью.

Русский язык. Преподавание русского языка в приготовительном классе велось согласно с объяснительною запискою к учебным планам Министерства народного просвещения.

В течение 1-ой половины учебного года ученики упражнялись в толковом чтении, по хрестоматии «Родина» Радонежского, изучали наизусть маленькие стихотворения из той же хрестоматии и в то же время знакомились с материальною частью элементарной грамматики, по методе Тихомирова. Во 2-м полугодии при систематическом диктанте сообщены ученикам элементарные, доступные пониманию их, правила русского правописания.

В 1-м классе проходилась этимология русского языка, по учебникам Кирпичникова и Гилярова, с необходимыми дополнениями. В то же время ученики практически ознакомлены были с составом предложения.

Сведения теоретические выводились из устных и письменных примеров, а также и из разбора статей по хрестоматии «Родина», с помощью руководящих вопросов, составленных преподавателем, и письменных упражнений, для которых назначался один урок в неделю. На уроке этом ученики писали диктовки и переложения рассказа на данную в вопросах тему; кроме того, ученики заучивали наизусть стихотворения, в один раз не более 10-ти строк, которые всегда переписывались учениками на дому в особой, заведенной для этой цели, тетради.

Во 2-м классе продолжалось изучение грамматики, по руководству Кирпичникова. Для усвоения пройденных правил, делались пред началом каждого урока небольшие диктовки, для объяснения по ним следующего урока. Поверочные диктовки назначались в течение года 15 раз. Независимо от того, ученики писали переложения, письменные пересказы прочитанного, а также переписывали стихотворения, задаваемые на уроки. Для основательнейшего изучения грамматики, постоянно делались разборы, с помощью руководящих вопросов, предложенных в изданной для этой цели книжке.

В 3-м классе проходился систематический синтаксис и повторялась этимология, по учебнику Говорова. Грамматические сведения усвоялись тем же способом, как и в низших классах. При помощи указанных руководящих вопросов разбор статей делался по хрестоматии Поливанова. Объяснение уроков из синтаксиса сопровождалось письменными примерами. Один из недельных уроков посвящался письменным упражнениям, а другой – разучиванию стихотворений и выразительному чтению поэтической речи. На один урок давалось до 20-ти строк стихотворений, которые переписывались учениками на дому в тетради, для сей цели назначенные, и выучивались наизусть.

В 4-м классе, кроме учения о переводах, проходилась грамматика церковнославянского языка, по славянской грамматике Перевлеского. Ученикам постоянно назначались письменные упражнения, состоявшие в переложении отрывистой речи в периодическую и из периодической в отрывистую. Кроме того, на заданные и разъясненные темы они писали периоды, составляли рассказы и описания, по плану, выработанному в классе. Независимо от того, в классе производились от времени до времени поверочные диктанты, соответственно пройденным частям синтаксиса. Таких работ в течение года исполнено 12.

В 5-м классе из русской словесности преподавались правила о сочинении и о его составных частях вообще; изучались качества слога, простого и художественного, проходилось о родах и видах сочинений и при этом сообщались необходимые сведения из этимологии и логики. Руководством для изложения всего этого курса служили стилистика (фамилия [автора учебника] не упомянута) и хрестоматия Галахова. Ученики составляли на дому планы описаний, повествований и рассуждений и затем на заданные темы писали как классные, так и домашние сочинения. Письменных работ исполнено в отчетном году 12.

В 6-м классе по словесности выяснено различие поэтических произведений от прозаических, не только по форме, но и по содержанию, и показано различие между устно-народной и литературной, художественной поэзией. Содержание прочтенных в классе или указанных для прочтения на дому словесных образцов излагалось учениками письменно дома. Кроме того, писались учениками домашние сочинения, а в классе – классные сочинения. В конце года ученики заучивали небольшие образцовые поэтические произведения.

В 7-м и 8-м классах ученики упражняемы были в чтении и разборе литературных образцов, по примерной программе министерства. В виде письменных ответов они составляли характеристики лиц исторических и поэтических; решали и разъясняли историко-литературные вопросы, в связи с пройденным; передавали содержание литературных памятников, не пройденных на уроках, с разрешением вопросов, которые ставились преподавателем; писали сочинения на темы исторические и рекомендованные преподавателями древних языков из греческих и латинских классиков. Сочинений учениками 7-го и 8-го класса написано в течение года по 8-ми. Письменные работы учеников разбирались в классе.

Ввиду крайнего недостатка времени для таких разборов признано полезным учредить по воскресеньям, по крайней мере, два раза в месяц, согласно объяснительной записке к правилам для учащихся, литературные беседы. Для таких бесед избирались лучшие из обязательных сочинений и читались самими учениками в классе. При этом товарищам ученика, читающего сочинение, дозволялось предварительно знакомиться с содержанием читаемого сочинения и затем, во время прочтения его, делать свои замечания и возражения автору. Преподаватели руководили такими прениями и заключали их своими замечаниями о достоинствах и недостатках прочитанных сочинений. Литературные беседы происходили в присутствии директора, инспектора и классных наставников.

Преподавание немецкого и французского языков велось согласно с учебным планом. В низших классах были приняты учебники: по французскому языку – «Курс французского языка» Игнатовича, по немецкому языку – «Немецкая грамматика» Кейзера. По каждому языку было назначаемо не более одного письменного упражнения, наблюдая, чтобы в одну неделю ученики исполняли классную письменную работу, а в другую – домашнюю. Исправленные ответы переписывались дома в новые тетради и снова пересматривались учителем. В высших классах ученики знакомились с классическими немецкими произведениями; для этой цели по немецкому языку переводили в 6-м классе Гете, в 7-м – Шиллера «Орлеанскую деву», в 8-м классе того же писателя «Историю тридцатилетней войны». По французскому языку переводы делались по хрестоматии Фену. В 8-м классе переводили из Расина.

Преподавание истории как в высших, так и низших классах согласовалось с учебными планами и учебною запискою. Эпизодический курс 3-го и 4-го класса изучался по руководству Белярминова. В высших классах были приняты учебники Иловайского и «Курс отечественной истории в связи с всеобщей» Рождественского.

География преподавалась на основании учебных планов и программы, утвержденной министерством, по учебнику Смирнова, с необходимыми дополнениями. При этом в низших четырех классах объяснение и спрашивание уроков производилось по вопросам, которые заставляют учеников внимательнее вникать в смысл выученного урока, а также припоминать и прилагать к делу пройденное прежде. Для облегчения же черчения карт по градусам изданы особые градусные сетки.

По чистописанию преподаватель придерживался метода, принятого почти во всех учебных заведениях, выработанного известным каллиграфом Градобоевым. Особенность этого метода состоит в том, что вся масса учеников известного класса одновременно работает под такт и не имеет времени развлекаться чем-либо другим. Ученики пишут по объясненным им наперед правилам.

Значительная часть учеников (85) обучалась рисованию, которое преподавалось по методу, принятому в Строгановском центральном училище.

В начале 1876 г. сделаны следующие перемены учебников: в приготовительном и 1-м классе, вместо книги «Детский мир» и первой части хрестоматии Поливанова, принята «Родина» Радонежского. По латинскому языку найдено необходимым ввести латинскую грамматику Кюнера – в переводе Носова, вместо грамматики того же автора в переводе Кремера.

По русской словесности в 5-м классе, для облегчения учащихся, введен учебник стилистики Завьялова. По Закону Божию найдено полезным священную историю Попова заменить, как более доступною для детей, историей Соколова.

Об успехах учащихся Киевской 1-ой гимназии вернее всего можно судить по результатам испытания зрелости в окончательном классе. В прошлом году подвергалось испытанию зрелости 17 учеников; из них выдержали экзамен и получили аттестаты зрелости 16 и получил свидетельство об окончании гимназии 1. В частности, все эти ученики распределялись на три группы: получивших по всем предметам отличные отметки – 1, получивших отметки хорошие – 11, достаточные – 4, не вполне удовлетворительные – 1. По степени успешности предметы следовали в таком порядке: Закон Божий – 4,50, математика – 4,11, латинский язык – 3,94, русский язык – 3,94, греческий язык – 3,79, история – 3,50.

Из низших классов выше всех по успехам стоял 6-й класс: число переведенных составляло 94% всего числа учащихся в этом классе. Ученики оказали в особенности превосходные успехи по языкам и по математике. Лучшие ученики во время переводного экзамена свободно переводили указанные помощником попечителя, не читанные ими в течение года, отрывки греческих и латинских классиков, почти не нуждаясь ни в какой поддержке. Еще свободнее они переводили новое с немецкого и французского на русский язык.

За 6-м классом по успехам следовали: 7-й, приготовительный, 2-ое отделение 1-го, 1-ое отделение 2-го, 1-ое отделение 3-го, 2-ое отделение 3-го, 5-й, 2-ое отделение 2-го, 1-ое отделение 4-го, 2-ое отделение 4-го класса. Наименьшая степень успешности оказалась в 4-м классе. Причина такого явления заключается в трудности курса этого класса, который по объему не уступает курсам прочих классов, а по математике даже труднее курса других классов, так как они должны изучать почти новые для них предметы: геометрию и алгебру и, кроме того, держать окончательный экзамен по тем предметам, которые преподавались в низших классах.

Успешное испытание по этим предметам тем более затрудняется, что ученики в течение года не имеют времени на повторение курсов низших классов; повторение же их в течение одного дня перед самым экзаменом не дает ученику никакой возможности отвечать на экзамене удовлетворительно.

Это в особенности следует заметить о географии, арифметике, Законе Божием, по которым столько проходится в течение четырех лет, что ученик не в состоянии пред экзаменом даже прочитать хотя бы один раз. Остается идти на экзамен с тем, что ученик может припомнить из выученного им два или три года тому назад. Только способнейшие ученики, которые успевают сколько-нибудь повторить курсы низших классов в течение года, в состоянии на экзамене отвечать по воспоминанию повторенного ими за несколько месяцев перед экзаменом.

Что касается состава учеников 1-ой гимназии в 1876 году, их количества по классам, а равно цифровых данных об успехах и поведении учеников, а также числа живущих на квартирах, то сведениями обо всем этом мы не располагаем, вследствие отсутствия данных об этом в отчетной записке и в архиве гимназии.

Из отчета за 1876 год мы только узнаем, что к 1 января 1877 г. в 1-ой гимназии состояло учеников 592, следовательно, по сравнению с 1876 годом, более на 101 человек. В пансионе в 1876 году состояло 92 воспитанника, из них: 4 казеннокоштных, 11 фундушевых и 77 своекоштных*.

Средства пансиона были таковы: суммы, отпускаемые из государственного казначейства, в количестве 2.857 р. 10 к.; суммы, получаемые из процентов на пожертвованные капиталы, – 3.500 р.; и суммы, вносимые воспитанниками за содержание, в количестве около 19.600 рублей в год.

«*Относительно учебной части*, – говорит отчетная записка, – *главное внимание обращено было на успехи воспитанников в изучаемых ими предметах, чрез развитие в них самостоятельности, под непрерывным надзором воспитателей и контролем начальства пансиона. Только в крайних случаях, когда особая неразвитость или отсталость в предметах изучения мешала воспитаннику двигаться наравне с другими, назначаемы были инспектором репетиторы, в каждом случае с согласия на то родителей, из воспитанников старших классов. Всякое проявление лености было преследуемо дисциплинарными мерами соответственно причинам, вызвавшим леность*».

<…> В Киевской 1-ой гимназии ученики вносили за учение в год по 30 руб., а в приготовительном классе по 20 рублей; всей суммы в течение отчетного года поступило 11.196 рублей, с остатком же от прошлого года – 11.396 р. 92¾ коп. В течение 1876 года израсходовано:

На жалованье законоучителю лютеранского исповедания	100 р.
На жалованье 5 классным наставникам и 3 помощникам их	1129 р.
Бухгалтеру	392 р.
На жалованье добавочное окружному инспектору	36 р.
На содержание церкви и причта	220 р.
На хозяйственные расходы	1939 р. 38 к.
Передано в казначейство вычеты на пенсию	27 р.
Отчислено в специальные средства министерства	1340 р.
Издержано на содержание параллельных классов и на вознаграждение за исправление ученических упражнений	3639 р. 38 к.
На пособия и награды служащим	2550 р.
Итого	11.372 р. 76 к.

Затем, осталось к 1 января 1877 г. – 24 руб. 16¾ коп.**

В 1877 году произведены изменения и дополнения в учебных планах, введенных согласно новому уставу 31 июля 1872 г., а также произведен пересмотр мер о взысканиях с учеников.

<…> 31 января на обсуждение педагогического совета было внесено предложение попечителя от 26 января 1877 г. за №1070, с объявлением Высочайшего повеления о введении общего для всех классов ежедневного гимнастического урока во время большой перемены, от 12 до 12½ часов, во всех средних учебных заведениях.

14 же февраля совет слушал мнение назначенной в предыдущем заседании комиссии для разработки вопроса о практическом применении этого повеления. Комиссия пришла к следующим выводам:

---

* Казеннокоштные и своекоштные воспитанники содержались соответственно за счет казны и на средства родителей, фундушевые – за счет частных благотворителей. Из 84 пансионеров, допущенных к экзаменам, их выдержали 64 воспитанника, которые и были переведены в следующие классы, в том числе из VIII класса выпущены оба (2) пансионера.

** Подобные же финансовые отчеты за последующие годы нами опущены, за похожестью.

«*1) Введение совместного обучения одним учителем невозможно и по количеству учеников, и потому, что нельзя собрать учеников для обучения в одном месте; найти же нескольких учителей гимнастики затруднительно.*

2) При каком угодно распределении групп ученических необходимо будет занять гимнастический и главный коридор и, может быть, смежные, и в обыкновенное время, при обыкновенном движении, оказывается недостаточно чистого воздуха, а при усиленном движении, воздух будет настолько испорчен, что гимнастика принесет один вред.

3) Разделение на группы, неизбежное при таком составе, какой имеет 1-ая гимназия, кроме того, что потребует нескольких учителей гимнастики, затруднит надзор за порядком, и сколько-нибудь правильное устройство гимнастики в такое короткое время, какое назначается для большой перемены, не может быть достигнуто.

Ввиду таких затруднений, педагогический совет постановил войти в соображение, не представляется ли удобным найти особое помещение для общей гимнастики».

28 февраля педагогический совет, согласно предложению директора, определил ходатайствовать о разрешении устроить особенную гимнастическую залу.

17 октября педагогический совет слушал предложение Министра народного просвещения от 4 октября за №10909, об изменении §11 «правил о взысканиях с учеников», в том смысле, что «*ученики, оставляемые под арестом, должны находиться под надзором помощников классных наставников и воспитателей пансиона, где таковые есть, с привлечением, где возможно, преподавателей и других лиц, с жалованием или без оного*».

28 же ноября, согласно мнению директора, что лучший и более правильный надзор может быть устроен при посредстве классных наставников, совет постановил обсудить весь этот вопрос в общем собрании классных наставников.

7 декабря педагогический совет обсуждал вопрос об устройстве надзора за учениками, оставленными под арестом, и принял следующие меры:

«*1) Назначение наказаний должно быть как можно осторожнее и не иначе, как при участии классного наставника того класса, которому принадлежит виновный ученик.*

2) Надзор за учениками, под главным наблюдением классных наставников, ближайшим образом возлагается: за приходящими учениками – на помощников классных наставников, за воспитанниками же пансиона – на воспитателей пансиона.

3) В случае болезни классного наставника, распоряжения относительно учеников его класса делают директор или инспектор гимназии».

19 декабря педагогический совет слушал предложение директора относительно записной книги, какую, по инструкции для классных наставников, каждый из них имеет у себя. Эта инструкция была читана в заседании совета еще 24 октября, но в чем она состояла, об этом не имеется данных в архиве гимназии.

Предложение директора заключалось в следующем:

«*1) Записная книжка разделяется на 3 части: первая часть приближается к общим ведомостям и заключает в себе поименный список учеников, с графами для успехов и сведениями о летах, времени поступления в гимназию и адресами родителей; вторая часть заключает в себе поименный список учеников, с обозначением проступков учеников; третья часть заключает в себе все общие распоряжения по классу, постановленные классной комиссией и классным наставником.*

2) Записная книга классного наставника должна иметь общественный характер. Кроме того, для уведомления родителей, опекунов и заступающих место родителей учеников об успехах, вводятся особые бланки, наподобие аттестаций».

Все эти меры, предложенные директором, совет признал вполне целесообразными и постановил принять их к исполнению.

12 декабря [1877 г.] происходило в 1-ой гимназии поминовение императора Александра Павловича, по случаю исполнившегося в этот день столетия со дня его рождения. Как происходило это поминовение, собственно, в 1-ой гимназии, призванной к существованию самим императором Александром Павловичем, мы не знаем, потому что нигде не сохранилось документальных следов об этом поминовении.

Мы даже не знали бы о самом факте поминовения, если бы не сохранилось при делах гимназии циркулярное распоряжение и.о. попечителя округа, генерал-маиора Новикова, от 28 ноября за №12789, следующего содержания:

«*12 декабря сего года исполняется столетие со дня рождения в Бозе почивающего императора Александра I. Ввиду сего, Министр народного просвещения, от 19 ноября за №12465, поручил мне предложить начальникам учебных заведений Киевского учебного округа – освободить в этот день учащихся от занятий, собрать их в тех заведениях, где есть домовые церкви, в сих последних, для присутствования при богослужении и молебствии, с произнесением вечной памяти в Бозе почивающему Монарху и многолетия ныне благополучно царствующему Государю; где же домовых церквей не имеется, в ближайшем соборе. По окончании богослужения было бы желательно, чтобы учащиеся были собраны в стенах заведения, для выслушания соответственной празднованию речи, которая могла бы быть подготовлена к этому дню одним из служащих в заведении лиц*».

***

В 1877 году 1-ая гимназия состояла из восьми коренных, пяти параллельных и двух приготовительных классов.

Помещение гимназии состояло из главного здания и двух флигелей. В главном здании помещались: церковь православная и римско-католическая каплица, все классы, библиотека, кабинеты и пансион; здесь же находились и квартиры попечителя округа, его помощника, директора гимназии, инспектора и некоторых помощников классных наставников. Во флигелях помещались: окружной инспектор учебного округа, настоятель православной гимназической церкви, диакон той же церкви и воспитатели пансиона, а также начальное училище, с квартирой для учителя.

<…>

***

В 1877 году были введены следующие учебники:

1) в 4-м классе: «Латинская грамматика» Зейферта, «Руководство к переводам на латинский язык» Зюнерле ч. I, «Греческая хрестоматия» Носова;

2) в 5-м классе: «Теория русской словесности» Эккарта, «Руководство к переводам на латинский язык» Зюнерле, «Синтаксис греческого языка» Нидерле; для перевода с французского языка принят «Телемак» Фенелона;

3) в 6-м классе: «Сборник статей для перевода на греческий язык» Баталина и Черного;

4) в 7-м классе: «Перевод с русского на греческий язык» Фарнина;

5) в 8-м классе: «История Греции и Рима» Гуревича, «Русская хрестоматия Буслаева».

К 1 января 1878 года учащихся в 1-ой гимназии состояло 655 (к 1 января 1877 г. было 592, к 1 января 1876 г. – 491). Такое значительное увеличение числа учащихся произошло вследствие открытия параллельных отделений в приготовительном и в 5-м классах. По сословиям учащиеся распределялись так: детей дворян и чиновников 446, духовного звания – 51, городских сословий – 114, сельских сословий – 26, иностранцев – 18; по вероисповеданию: православных – 497, католиков – 107, лютеран – 16, евреев – 34, прочих исповеданий (?) – 1.

<…> Число учеников, выбывших из гимназии в 1877 году по случаю окончания курса, было 23, до окончания курса – 66 (к 1 января 1877 года было выбывших по случаю окончания 17, до окончания – 44; к 1 января 1876 года за окончанием курса выбыло 21, до окончания – 65).

Процент выбывших до окончания курса, сравнительно с общим числом учащихся, постепенно уменьшался; так в 1875 г. он составлял 1,32%, а в 1877 г. – менее 1%. «*Причина такого явления*, – говорит директор Андрияшев, – *объясняется развитием потребности в образовании, по мере увеличения которой и родители, и учащиеся начинают более дорожить заведением, опасаясь, в случае выбытия, потерять возможность продолжать образование*». Число поступивших в гимназию к 1 января 1876 г. было 87, к 1 января 1877 г. – 153 и к 1 января 1878 г. – 145, так что процент вступивших в 1875 г. составлял 17,30% всего числа учащихся в гимназии, в 1876 г. – 29,42%, а в 1877 г. – 22,14%.

«*Такое колебание процента вновь поступивших,* – по объяснению Андрияшева, – *обусловливается тем, что гимназия не имеет возможности удовлетворять правильно потребность в образовании, так как при переходе учеников из низших классов в высшие, некоторые классы так переполняются учащимися, что прием вновь поступающих приходится совершенно закрыть, отказывая весьма многим. На увеличение процента поступающих имело, между прочим, влияние окончание курса учениками вновь преобразованных 6-классных прогимназий, ученики которых начинают в последние годы переполнять и высшие классы гимназий, процент поступления в которые в прежние годы был весьма незначителен*».

По всем предметам на переводных испытаниях получило удовлетворительные отметки только 69%, а на аттестат зрелости – 84%. Самое большее число переведенных было в 7-м классе—71%, затем в 4-м и 6-м классах – 67%, потом в 3-м и 5-м – 65% и, наконец, в 1-м – 62%. В 8-м классе в 1876-77 учебном году состояло 26 учеников; все они были допущены к испытанию на аттестат зрелости, но два не выдержали испытания по математике; из них один остался на второй год, а другой выбыл до окончания курса. Один ученик, вовсе не подвергаясь испытанию, выбыл из гимназии. Остальные 23 ученика окончили гимназию.

В течение всего 1876-77 учебного года по всем предметам получили удовлетворительные отметки 61% всего числа учащихся; в частности: по греческому языку – 70%, по русскому языку – 67%, по латинскому языку и математике – по 64%.

“Что касается успехов учеников за второе полугодие отчетного года, или за первое полугодие 1877-78 учебного года, – говорит в своем отчете директор Андрияшев, – *то нужно прежде всего заметить, что отметки успехов за это время дают только приблизительное понятие о степени успешности занятий учеников, так как при исчислении получивших удовлетворительные отметки по всем предметам принято за правило считать удовлетворительными только получивших в низших классах «2½», в 3-м и 4-м – «2¾», а в высших классах – полные «3»; между тем, удостаиваются перевода по неглавным предметам имевшие по двум предметам не более «2».*

Такой порядок счисления в данное время единственно возможен, пока не будут собраны сведения об успехах за весь год, для более точного определения удовлетворительности. На этом основании можно с уверенностью сказать, что общий процент удовлетворительных отметок в конце отчетного года – 58% – далек от действительного числа учеников, которые могут удостоиться перевода в высшие классы в конце 1877-78 учебного года.

По главным предметам успехи учащихся представляются в следующем процентном отношении к числу учеников: по латинскому и греческому языку – 80%, по русскому языку – 86%, по математике – 72%.

Число учеников, которые, имея по главным предметам удовлетворительные отметки, получили неудовлетворительные отметки по предметам неглавным, составляет около 20% всего числа учащихся".

Относительно поведения учеников в 1877 году директор Андрияшев в своем отчете сообщает следующее:

«*При рассмотрении штрафного журнала 1-ой гимназии, прежде всего обращает на себя внимание общее число проступков и наказаний и арестов на 1 час. Оказывается таких наказаний 920 случаев, так что на каждого ученика приходится не менее 1½ часа ареста. Цифра эта еще более окажется значительной, если к числу часовых арестов прибавить аресты до 2-х и до 3-х часов, которые назначались за те же почти проступки, как и аресты часовые, но в более сильной степени; тогда получится не менее 2-х часов ареста на каждого ученика в год.*

Такое явление прежде всего объясняется наличным контингентом учеников 1-ой гимназии, в которой более двух третей – 472 ученика – младшего возраста и только 183 ученика – высших классов, а так как ученики низших классов, главным образом, подают повод к частым взысканиям, то тем наиболее увеличивают процент взысканий по отношению к общему числу учащихся. Это доказывается тем, что в высших классах один случай ареста приходится на трех учеников, между тем, как в низших классах средним числом на каждого ученика приходится по два наказания в год».

«*Вредная сторона частого употребления наказания арестом заключается, главным образом, в том*, – пишет далее директор, – *что дети привыкают относиться к лишению свободы весьма равнодушно, вследствие чего неизбежно ослабляется значение самой меры наказания лишением свободы, этой, почти единственной, гимназической меры взыскания. Вникая в сущность такого явления, нельзя не заметить, что одна из причин обилия ареста в 1-ой гимназии заключается в той легкости, с которой привык относиться весь педагогический персонал, вследствие всегдашней употребительности в наших школах наказания арестом. Легкость этого отношения не происходит от недостатка педагогического такта, не от непонимания дела, а скорее всего, от укоренившегося школьного порядка.*

В наших школах вкоренился не совсем верный взгляд на наказание, как на средство держать учеников в страхе и облегчения себя в ведении строгой дисциплины между учащимися, а не как на меру исправления, собственно, виновного. Такой взгляд, укоренившийся долговременной школьной практикой, поддерживает в нашей школе и то неверное мнение, что виновного можно исправить только уже наказанием. Замечательно, что подобное мнение особенно упорно держится среди худших педагогических сил. Так, самое большее число арестов было назначено за шалости на уроках гимнастики, затем у тех преподавателей, у которых замечается наименьшие способности держать в порядке класс. Есть преподаватели, которые в течение года не назначили ни одного ареста, тем не менее, у них дисциплина в классе превосходна и поведение учеников примерно.

Можно с уверенностью сказать, что ни в одной мере взысканий не проявляется в такой степени характер случайности, как в кратковременных арестах. Сравнивая число этих взысканий за последние три года, мы находим, что число это каждый год меняется, и меняется весьма заметно. Так, в 1875 году таких арестов было 1121, в 1876 году – 556, в 1877 году – 920. Такое колебание цифры арестов объяснить не трудно. В 1875 году увеличению числа арестов часовых немало содействовал бывший учитель чистописания Церинович, который, не будучи в состоянии поддержать порядок в классе, беспрерывно жаловался на учеников и тем ставил классных наставников в необходимость прибегать к наказанию.

В 1876 году, по увольнении Цериновича, новый учитель Щеголев держал классы в порядке, что немедленно отразилось на уменьшении числа арестов.

В 1877 году число арестов опять увеличивается, на что, кроме увеличения числа самих учеников, имело влияние, по крайней мере, на первое время, введение общеобязательной гимнастики для всех учеников разом, на уроках которой, при самой строгой бдительности, чрезвычайно трудно поддержать дисциплину в массе 655 детей. Нельзя не заметить некоторого колебания в числе и других взысканий, назначаемых за проступки учащихся, за исключением выговоров, число которых, строго говоря, не может быть принимаемо в соображение, так как некоторые из преподавателей – классных наставников не всегда считают нужным записывать выговоры в штрафной журнал».

Из более важных проступков можно указать на проступок ученика 5-го класса Семяновского, который, будучи в театре, потребовал из буфета пива. Один из преподавателей, случайно находившийся вблизи Семяновского, воспретил ему пить пиво, но Семяновский не послушался. Педагогический совет, по обсуждении проступка Семяновского, определил уволить его из гимназии, не воспрещая ему поступить в другое заведение.*

Из 655 учеников, состоявших в гимназии к концу отчетного года, было 589 отличного поведения, 62 – хорошего и 9 – удовлетворительного. В том числе: учеников низших классов – отличных – 407, хороших – 51, удовлетворительных – 9; в высших классах – отличных – 182, хороших – 11. В предыдущем году из 592 учеников отличных было 552, хороших – 38, удовлетворительных – 2.

В ведении гимназии состояло 19 частных ученических квартир, на которых жило всего 54 ученика, т.е. 8% всего числа учащихся в гимназии. Учителя содержали 12 квартир; на учительских квартирах находилось 32 человека. Высшая плата квартиросодержателям простиралась до 600 руб., низшая – 180 р. На частных квартирах состояло репетиторов 14.

В конце своего отчета директор Андрияшев высказал несколько своих замечаний, не лишенных исторического значения.

“*Считаю долгом указать,* – пишет директор, – *на то замечательное явление, которое более резко обнаружилось в отчетном году в отношениях родителей к школе. Родители в течение года почти не интересовались успехами и поведением детей, ограничиваясь распискою на аттестациях, выдаваемых этим последним. Замечательно, что все меры к привлечению родителей к участию в учебно-воспитательном деле, как то: вызовы для совещаний родителей, рассылка аттестаций, заявления о безуспешности – не только не приносят пользы, но как бы раздражают родителей. В этом отношении можно указать несколько весьма поразительных фактов.*

Один из родителей, на заявление, что сын его не успевает, считал возможным жаловаться, что «гимназия недостаточно принимает во внимание, что слабый ученик – сын известного в городе отца». Другая мать обиделась, когда ей сказали, что сын ее худо себя ведет. В присутствии сына она категорически заявила классному наставнику, что сын ее – превосходное дитя и не может дурно учиться, а тем менее нехорошо вести себя.

Третий, принадлежащий к самой просвещенной среде родителей, не на шутку оскорбился, что классный наставник имел дерзость пригласить его, чтобы сообщить о дурных поведении и успехах его детей. Еще один, не менее просвещенный родитель считал странным требование инспектора от его сына, известного своею неисправностью, записки о причинах небытности в классе.

---

* Это уже третий «ученик Семяновский»: первый, Александр, окончил К. 1 Г. в 1871 г., второй, Николай Семенович, в 1875 г. А третий – любитель пива, как мы видим, был отчислен в 1877 г. из К. 1 Г.

Наконец, явился даже такой замечательный родитель, который, услышав от классного наставника заявление о дурных успехах сына, удивился, зачем его потревожили из-за таких пустяков.

Приведенных фактов достаточно для того, чтобы видеть, до какой степени гимназии трудно пользоваться содействием родителей в учебно-воспитательном отношении, а вместе и то, до какой степени подобное отношение родителей к школьному делу может вредно влиять на успехи и поведение учащихся.

Не могу не указать на то несомненное доказательство доброго настроения учащихся во вверенной мне гимназии, которое они обнаружили в настоящую войну России с Турцией – теплым участием к положению раненых воинов, выразившимся значительным пожертвованием на содержание приюта выздоравливающих раненых, учрежденного с согласия и под ведением главноуполномоченного общества Красного Креста, Демидова, князя Сан-Донато. Замечателен при этом, в особенности, тот такт, с которым юные жертвователи не добивались личного участия в этом деле и сумели, по совету своих руководителей, делать добро без всякого ущерба для своего учебного дела".

<…> 29 ноября[1878 г.] педагогический совет слушал предложение попечителя округа относительно принятия мер к тому, чтобы ученики гимназии не являлись в штатской форме в театр и в места общественных собраний. Относительно посещения учениками театра, в видах исполнения §35 правил о поведении учеников, где говорится, что «посещение учениками театра должно быть, по возможности, реже, дабы ученики могли сосредоточить внимание на учении», совет постановил, «чтобы каждый случай посещения учениками театра предоставлен был решению классного наставника и чтобы каждый раз на каждое отдельное представление был выдаваем инспектором особый печатный именной билет».

Относительно исполнения §36, о воспрещении входа ученикам в недозволенные места, совет постановил: "1) считать безусловно воспрещенными места: маскарады, клубы, биллиардные, места публичных увеселений, «Тиволи», пивные сады, биргалле, «Минеральные воды», как место гулянья, питейные дома и посещение галереи, или так называемого райка, в театрах; 2) разрешить посещение, но не иначе, как с родителями или родными, кофеен, кондитерских и гостиниц".

Этот 1878 год очень богат многими дерзкими поступками учеников в отношении учителей, надзирателей, воспитателей в пансионе и даже в отношении самого инспектора.*

---

* 24 сентября 1878 г. А.Ф. Андрияшев произнес на акте 1-ой гимназии речь «О необходимости взаимодействия семьи и школы в деле воспитания и обучения», где, в частности, заявил:

«*Как вор в ночное время, так настоящий пропагандист стремится прокрасться в тайник молодого сердца и незаметно для учителей, воспитателей и даже родителей похитить самое дорогое сокровище – доброе настроение дитяти; сеет в его сердце плевелы зломыслия и отрицания, а иногда и полного нигилизма, направленного к непризнанию всего святого, к непризнанию всего государственного, общественного и школьного порядка, всего, что возвеличило и что подняло Россию на высокую степень могущества и славы. Всеми мерами лжи и обмана, пропаганда силится влить в душу недоучившейся молодежи тот смертоносный яд отрицания, который, подтачивая в самом зародыше умственную жизнь молодежи, обращает самый цвет русской жизни в какой-то жалкий пустоцвет, погибающий бесплодно в бесплодных порываниях к чему-то, чего не могут себе даже смутно представить сами вожаки жалких революционеров…*

Недавно свирепствовал тиф, подкосивший немало жертв... Общество врачей старалось тогда публиковать санитарные правила для предупреждения распространения заразы. В последнее время начинают свирепствовать нравственные болезни: болезнь отрицания или нигилизма, болезнь социализма и всяких лжеучений. Наш священный долг указать своевременно средства для недопущения этих нравственных болезней в среду воспитываемых поколений» (сия речь напечатана в «Отчете» гимназии за 1877/78 учебный год).

<…> В этом году были вновь введены следующие учебники: по латинскому языку – «Латинская стилистика» Ходобая и Виноградова и «Словарь русско-латинский» Ф. Боза; по русской словесности – «Теория словесности Филонова и «История русской литературы» Петрова.

«*Учащихся в гимназии*, – говорится в отчете директора, – *было в первой половине этого года 655, во второй – 617. Такое уменьшение шло, главным образом, от выпуска значительного числа учащихся – 38. На смену значительного по числу учеников 8-го класса первой половины гражданского 1878 года поступил во вторую половину гражданского же, а в первую – учебного 1878-79 года – новый 8-й класс, в количестве всего 23 учеников.*

В низших четырех классах признано необходимым, по возможности, ограничить прием в начале 1878-79 учебного года, так как комплект учеников, состоящих в гимназии, почти во всех помянутых классах превышал число 40 человек. Таким образом, гимназия в 1878 году, как и в прежние годы, не могла удовлетворить всех просьб желающих определить своих детей в число учащихся.

Число обращавшихся с прошением о принятии в гимназию, с включением и прошений, возвращенных до внесения в списки, ввиду сомнительности приема, и взятых обратно родителями, для своевременного приискания вакансии в других заведениях, простиралось до 300. Из этих прошений удовлетворено всего 123. Значительную часть этого числа, а именно, около ⅔ принятых в гимназию, составляют поступившие в приготовительный класс; затем, в 1-й класс принято 15 человек в каждое отделение, во 2-й класс – по 4 чел. на отделение, в 3-й класс принято всего 3 чел. в оба отделения, в 4-й класс – один ученик.

В 1878 г. выбыло, по случаю окончания курса, 38 учеников; выбыло до окончания курса – 116. Средним числом из каждого класса выбыло от 5-9 человек. Из всего числа выбывших только восьмая часть уволилась для поступления в военную или гражданскую службу; остальные ⅞ поступили в другие учебные заведения».

К 1 января 1879 г. в гимназии состояло 617 учеников; из них: в приготовительном классе было 92, в 1-м – 96, во 2-м – 97, в 3-м – 90, в 4-м – 75, в 5-м – 55 (считая по два отделения в каждом классе), в 6-м – 46, в 7-м – 43, в 8-м – 23 (считая по одному отделению); по сословиям они распределялись так: детей дворян и чиновников – 408, духовного звания – 62, городских сословий –103, сельских – 29, иностранцев –15; по вероисповеданиям: православных – 452, католиков – 109, лютеран – 25, евреев – 31.

В пансионе состояло 92 ученика, которые по классам распределялись так: в приготовительном – 8, в 1-м – 13, во 2-м – 16, в 3-м – 19, в 4-м – 14, в 5-м – 8, в 6-м – 10, в 7-м – 4. Что касается сословного и вероисповедного состава пансионеров, то, за отсутствием данных в отчете, он неизвестен.

Об успехах учеников директор в своем отчете пишет:

“*Прежде всего обращает внимание то обстоятельство, что в низших классах, по большей части, число переведенных по экзамену больше числа имевших удовлетворительные отметки в течение года; в высших классах замечается обратное явление.*

Это, главным образом, объясняется различною мерой требований для удовлетворительности отметок: в низших классах считается удовлетворительною отметкой «2½» или «2¾», между тем, как в высших классах для полной удовлетворительности требуется «3» за все четыре четверти года. Такая строгость в отношении годичных отметок в высших классах служит причиною того, что в число учеников, не оказавших удовлетворительных успехов за все четыре четверти, попадают нередко и трудолюбивые и прилежные ученики, которые на экзамене и в конце года успевают доказать вполне удовлетворительные знания во всех предметах.

Относительно низших классов, напротив, нередко приходится убеждаться, что имеющие в году только наполовину удовлетворительные отметки, на экзамене оказываются вполне слабыми и потому не удостаиваются перевода в высшие классы.

Общее число переведенных по всем классам составляло более ¾ всего числа подвергавшихся экзамену; на такой значительный процент общего числа переведенных имело влияние число переведенных из приготовительного класса в 1-й, которых в отчетном году было 92%. <…>

Испытания для получения аттестата зрелости учеников 8-го класса производились с особою строгостью, На всех почти экзаменах присутствовал помощник попечителя, а на некоторых – окружной инспектор и попечитель, а также профессора: Гогоцкий, Антонович и Шиллер. На Законе Божием присутствовал Его Преосвященство епископ Уманский, ректор Киевской духовной академии, Михаил.

Из 38 учеников гимназии, подвергавшихся испытанию зрелости, выдержали таковое 37; из них 2 ученика получили отметки отличные и удостоены награды золотой медалью; 9 учеников получили в общем выводе более «4-х» и остальные от «3-х» до «4-х». Из посторонних лиц подвергались испытанию 3 человека, выдержал испытание только один. Самый большой процент получивших весьма удовлетворительные отметки по испытанию зрелости: по Закону Божию – 78%, по истории – 54%, по латинскому и греческому языку – 40%, по русскому языку – 37%.

<…> В отчетном году уволено за безуспешность 12 учеников. Большая половина этой цифры приходится на 1-й и 2-й классы; в прочих классах удалено не более одного ученика в каждом классе. На основании §34 устава, удалено из гимназии 22 ученика, из которых самое большее число получивших неудовлетворительные отметки было по математике – 20; затем следует латинский язык – 14, русский язык – 8, греческий язык – 7 учеников.

Поведение учеников в отчетном году вообще было весьма удовлетворительное. Отличных учеников было 92% из общего числа учащихся, хороших – 7½%, добропорядочного поведения – ½%. Более тяжелого взыскания, т. е. увольнения из заведения с воспрещением поступления в другие заведения, не было ни одного случая. Уволено с правом поступления в другие учебные заведения – 3 человека.

Подвергалось заключению в карцере от часу и более – 161 человек. Затем, остальные 654 случая взысканий состояли из выговора и оставления в классе на 1 час. Увольнение было назначено одному ученику – за похищение чужих вещей, другому – за безнравственные рисунки и показывание таковых ученикам и третьему – за явное неповиновение учителю".

«*Вообще, наблюдая жизнь вверенного мне заведения в истекшем году*, – пишет в заключение директор Андрияшев, – *я не мог не прийти к заключению, что домашняя жизнь учеников, и притом не только на частных квартирах, но даже в домах родителей и родственников, не всегда устроена удовлетворительно.*

И семейная, и квартирная среда, по большей части, не отличается тем вниманием к детям, без которого немыслимо правильное руководство молодого поколения. Мало того, нравственное влияние окружающей детей среды нередко так слабо, что дети отданы на произвол судьбы.

Так, например, родители и квартиросодержатели положительно не принимают никаких мер, чтобы урегулировать почти общее влечение детей к посещению театра в ущерб учебного дела. А были случаи, что родители даже противодействовали мерам начальства в этом отношении, покупая им билеты в галерею [(театральный раек)], куда, вследствие производимых там молодежью беспорядков, вовсе воспрещается ходить ученикам гимназии.

Для устранения, по возможности, недостатков домашнего надзора и усиления влияния гимназического начальства, классные наставники входили в беспрерывные сношения с родителями и лицами, на попечении которых находятся дети, и своими советами и наставлениями старались хотя отчасти парализовать вредное влияние домашней жизни на ход занятий учащихся. В особенности было обращено внимание на усиление учебных занятий, как на одно из самых могущественных средств нравственного воспитания.

Обращаясь к внутренней жизни заведения, я считаю долгом указать на одно из существенных препятствий к преуспеянию учебно-воспитательного дела во вверенном мне заведении: это – полнейшая невозможность индивидуализировать учащихся, при том многолюдстве, которым обременена гимназия при двойном составе всех почти классов. Гимназическое начальство не имеет физической возможности в таком большом городе, как Киев, следить за домашнею жизнью каждого ученика и, по необходимости, многое должно предоставлять попечению домашних руководителей, хотя эти последние не всегда в состоянии удовлетворить такому важному значению.

Что касается, собственно, классных занятий, то в этом отношении считаю нелишним обратить внимание на те затруднения, которые неизбежны в жизни заведения, имеющего двойной состав, и которые проистекают из последовавшего, с введением нового устава гимназий, распоряжения о назначении уроков по новым языкам в разные часы, чтобы дать возможность более способным и даровитым ученикам слушать оба новые языка.

Приведение в исполнение этого распоряжения имело своим последствием, что ученики, слушающие один язык, остаются свободными во время уроков по тому языку, которому они не обучаются, что немало мешает ведению строгого порядка в заведении, а главное, немало затрудняет надзор за учениками в таком обширном здании, как помещение Киевской 1-ой гимназии».

<…> Самым важным вопросом этого[, 1879] года был вопрос о более планомерной организации внешкольного надзора. Вопрос этот, как и прочие элементы школы, имеет свою самостоятельную историю. В разное время он решался разно, и в 1879 году мы имеем только одну из стадий развития этого вопроса, но не создание его.

Внутреннее состояние некоторой части русского общества в 70-е годы и течения, создавшие такое настроение этой части общества, не были причиной создания этого вопроса в 1879 году, как это может показаться на первый взгляд; они только создали остроту вопроса и наложили отпечаток на формулировку в решении этого, вообще весьма важного вопроса государственной школы в описываемом году. Одно время, еще при императоре Николае I, решение вопроса о внешкольном надзоре привело к превращению гимназий, в том числе и Киевской 1-ой гимназии, в закрытые учебные заведения, в пансионы и конвикты для дворян.

Затем вопрос этот был разрешен в том направлении, что ученики гимназий могут жить, по желанию родителей или заступающих их место, и дома, но пребывание их дома сводилось к простому только пребыванию для обеда и ночлега, а все остальное время, даже и вечернее приготовление уроков, должно было проходить при гимназии, на общих ученических квартирах.

Особенно многосторонним решениям подвергался этот вопрос в царствование императора Александра II. К 1869 году, как мы видели, вопрос этот ставился так, что гимназия рассматривалась только, как учебное заведение, а не воспитательное, воспитание же оставлялось на попечение родителей или их заместителей. Это привело к падению пансионов и к широкому развитию частных ученических квартир.

<…> К 1879 году обстановка жизни учеников вне гимназии настолько осложнилась под влиянием общественных нравов и настроений, что назрела мысль, одновременно и в Министерстве народного просвещения, и на местах, о выработке не столько новых, сколько «одинаковых мер и объединенных правил поведения учеников вне гимназии и вне дома». С началом 1879 года участились случаи таких проступков со стороны учеников 1-ой гимназии, которые далеко выходили за пределы простого нарушения обыкновенных правил поведения для учеников.

Так, например, 30 апреля педагогический совет слушал заявление директора об ученике Вердеревском, который «*завел знакомство с посторонними молодыми людьми, преимущественно еврейского происхождения. Для того чтобы приравнять себя к обществу студентов, какой мотив был высказан самим учеником Вердеревским, он приходил в это общество не в гимназической форме. Такие сторонние развлечения во многом отразились и на неаккуратном посещении гимназии, ослаблении занятий и вообще отношении к гимназии что, между прочим, высказалось и в таком факте, как смех во время молитвы на уроке Закона Божьего*».

Педагогический совет, обсуждая заявление директора, постановил: "*оставить Вердеревского в гимназии, но заставить переменить квартиру, поведение отметить «2», при сообщении, что малейшее уклонение его от правил для учеников гимназии поведет за собой его удаление из гимназии*"*.

В том же заседании директор предложил педагогическому совету обсудить общие меры усиления надзора за учениками. Определили принять следующие меры:

«*1) Строго следить за исполнением учениками правила о том сроке, долее которого они не могут быть вне своих квартир. По принятому советом постановлению, крайним сроком, долее которого ученики не могут быть вне своих квартир, принять для зимнего времени 8 часов вечера, а для летнего 9 часов. Посещение театров в будние дни запретить ученикам и решить воспретить катанье на лодках.*

2) Собрать сведения о репетиторах и сообщить педагогическому совету. Принять за правило на будущее время – разрешать репетиторство только таким ученикам, которых найдет педагогический совет и достаточно подготовленными для репетиторства, и, вместе с тем, которым репетиторство не мешает собственным занятиям. На каждый случай выдавать билеты и просить родителей не брать иначе, как по билетам.

3) Относительно знакомства с домашними условиями учеников, классные наставники, по возможности, оказывают свое содействие, посещая, если окажется необходимым, квартиры учеников.

4) Обратиться к родителям, чтобы следили за детьми и, особенно, за их знакомствами, так как гимназия имеет факты ненормального для учеников знакомства и имеет менее чем родители средств проследить за знакомствами учеников».

В годичном отчете за 1879 год директор сообщает следующее: „*Во время одного из внезапных осмотров в мае месяце найдена у ученика 6-го класса Мельниченка книга об эмансипации женщин Милля, хотя и пропущенная цензурой, но по содержанию не соответствующая ни кругу занятий, ни развитию ученика.*

По этому случаю я считал нужным заметить ученику, чтобы он не развлекался чтением книг, не соответствующих его возрасту, и при этом спросил, не читал ли он еще других подобных книг? Тогда Мельниченко сознался, что он еще читал журнал преступного содержания: «Земля и Воля». Вследствие этого, признано было необходимым произвести самое строгое расследование по этому предмету.

---

* Ученику Вердеревскому, похоже, так и не удалось доучиться в К. І Г., поскольку он не значится в «Биографическом словаре, окончивших курс гимназии».

Оказалось, что Мельниченку и еще четырем ученикам 6-го класса доставил журнал преступного содержания ученик 6-го класса Левин-Зиссель, передавший этот журнал при содействии ученика того же класса Антона Добровольского. Вследствие этого, Левин и Добровольский, по распоряжению Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора, удалены из гимназии, а прочие ученики подвергнуты дисциплинарным взысканиям, с отметкою «3» в поведении и с отдачею их под строжайший надзор начальства гимназии. Установлены также самые строгие меры надзора и за учеником 7-го класса Романович-Славатинским, виновным в хранении у себя рукописи возмутительного содержания".*

18 мая директор вынужден был обратиться к киевскому полициймейстеру со следующим предложением: «*До сведения моего дошло, что некоторые из приходящих учеников 1-ой гимназии, живущие у родителей или у близких лиц, отправляются на Днепр и плавают на лодках, иногда без гребцов, а другие часто купаются на берегу со стороны Киева, или же, переехав на левый берег, купаются там под открытым небом. Сделав вместе с сим строжайшее запрещение всем вообще ученикам вверенной мне гимназии совершать подобные прогулки, а также и купание в каком бы ни было месте вне купален, я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение полицейским чинам, назначенным для надзора на берегу Днепра, строго наблюдать, чтобы ученики гимназии ни в каком случае не были допускаемы ни к прогулкам по Днепру, ни к купанию вне купален*».

В то же самое время попечитель округа прислал директору приглашение за №5716, следующего содержания: «*Считая необходимым установить одинаковые меры надзора за учениками средних учебных заведений в г. Киеве, честь имею покорнейше просить Вас пожаловать по этому поводу в заседание, имеющее быть сего 22 июня в инспекторской комнате 1-ой гимназии в 6 часов вечера*». В этом заседании была выработана следующая форма именного билета для каждого ученика гимназии:

---

* Сергей, будучи сыном профессора университета св. Владимира Александра Васильевича Романович-Славатинского, все-таки в 1881 г. более или менее благополучно окончил К. I Г.

Как и ранее отмеченный Владимир Мельниченко, учившийся в отмеченное время на класс младше – но окончивший К. I Г. в том же, 1881-м, году.

	Б И ЛЕ Т
Предъявитель сего ученик …	класса Киевской 1-ой гимназии
Киев 18…. г.	
……..дня.	
	Директор……

[Тогда же был выработан и такой документ.]

«*Правила для учеников средних учебных заведений г. Киева вне стен заведений и вне дома:*

1) Воспрещается ученикам посещать увеселительные заведения, как то: Шато-де-Флер, Тиволи, Минеральные воды, гулянья в Байковой роще и за Днепром и увеселительные сады. Дозволяется бывать в Ботаническом саду.

2) В театрах дозволяется бывать, с особого каждый раз разрешения училищного начальства, но не иначе, как по билетам, выдаваемым сим последним, и притом отнюдь не в райке, или в галерее.

3) Воспрещается посещать публичные балы, маскарады, клубы, танцовальные вечера, трактиры и сады при них, кофейни, кондитерские, биллиардные и другие подобные публичные заведения; строго воспрещается бывать в тайных собраниях или кружках.

4) Воспрещается катанье в лодках по Днепру и гулянье за городом иначе, как с родителями или заступающими их место.

5) Воспрещается ходить по улицам и быть вне дома позже 9 часов вечера, исключая случаев экстренной надобности, или же с родителями и заступающими их место.

6) Каждый ученик обязан постоянно иметь при себе этот билет и предъявлять его по первому требованию полиции или лица, снабженного от начальства известным для того видом; в случае неисполнения учеником этого требования или явного неповиновения, лицо, коему поручен надзор, имеет право обратиться за содействием к полиции, для доставления виновного в то учебное заведение, к которому он принадлежит.

7) Ученики должны вне дома в точности исполнять установленную форму одежды, не исключая ранца для ношения книг и учебных принадлежностей, и быть застегнутыми на все пуговицы. Ношение партикулярного платья строго воспрещается.

8) При встречах с начальством, а также с преподавателями и помощниками классных наставников, ученики должны приветствовать их вежливым поклоном, снимая кепи или фуражки.

9) Воспрещается пользоваться книгами для чтения из публичных библиотек. Всякая недозволенная книга, попавшая в руки ученика, должна быть предъявлена им начальству.

10) Никто из учеников не имеет права заниматься репетиторством, без особого на то разрешения от начальства».

Эти же правила, напечатанные на специальных бланках, были разосланы всем, у кого были на попечении ученики, для сведения.

«*Для более точного и бдительного наблюдения за исполнением учениками правил поведения вне дома и вне стен заведений, – предписывал вслед за тем попечитель 25 августа за №8316, – необходим строгий надзор со стороны средних учебных заведений за увеселительными заведениями в Киеве.*

Но так как этих мест много, а средства надзора, которыми располагают средние учебные заведения, весьма ограничены, то я нахожу нужным распределить наблюдение за этими местами так, чтобы каждое учебное заведение имело преимущественный надзор за тем или другим местом, и считаю более или менее удобным распределить надзор следующим образом:

Третьей гимназии поручается наблюдение за гуляньями за Днепром и вообще за берегом Днепра.

Второй гимназии – Шато-де-Флер, Минеральные воды и Крещатик.

Первой гимназии – гулянья в Байковой роще.

Коллегии Павла Галагана – театр на Фундуклеевской улице, Бергонье.

Прогимназии – Ботанический сад.

Реальному училищу – театр на Владимирской улице, Сетова».

Лицам, которым поручалось наблюдение в городе, были выдаваемы особые билеты от полициймейстера, через канцелярию попечителя округа. Для сведения и руководства педагогическому совету и классным наставникам, попечителем округа, вслед за изданием правил для учеников и именных билетов, было предложено, 11 июля за №6452, следующее распоряжение:

«*В настоящее время, когда случаи вовлечения учеников средних учебных заведений, особенно г. Киева, в преступные общества сделались довольно частыми, необходимо усилить наблюдение за учениками во всех отношениях, и педагогические советы обязаны принять все меры для охранения детей от злоумышленных посягательств на них. Обращая внимание на это начальников вышеупомянутых заведений и педагогических в них советов, я считаю нужным предложить к исполнению следующие меры:*

1) В видах развития и укрепления в учениках чувства религиозного, как начальством заведения, так и законоучителями, должны быть усилены меры надзора за посещением учениками в воскресные и праздничные дни общественного богослужения.

2) Ученики снабжаются одинакового для всех образца билетами, удостоверяющими их личность; помощники же классных наставников и другие лица, коим будет поручен надзор за учениками вне заведения, – особыми для сего установленными видами.

3) Надзор за учениками всех средних учебных заведений, вне классного времени, поручается, главным образом, помощникам классных наставников, так чтобы в каждом из увеселительных мест и заведений, а равно и в театрах (для каковой цели помощники классных наставников пользуются правом бесплатного входа), присутствовало ежедневно по одному лицу, причем исполнение этого поручения может продолжаться понедельно.

4) Квартиры учеников, живущих не у родителей или родственников и не у лиц педагогического сословия, должны быть посещаемы помощниками классных наставников, а также, по временам, и самыми классными наставниками.

5) От надзора классных наставников, вне классного времени, не должны быть освобождаемы и те ученики, которые, хотя и живут при родителях или родственниках, но возбуждают сомнение в их нравственной благонадежности; на таких учеников классные наставники должны обращать особенное внимание и принимать все зависящие от них меры к направлению их на прямой путь.

6) Классные наставники должны сколь можно чаще просматривать книги учеников, как в классе, так и на квартирах, а также, время от времени, по окончании классных занятий, тщательно проверять – находится ли в исправности форма и не допускаются ли в этом отношении какие-либо отступления, например, замена кепи – фуражкой и тому подобное.

7) Ученические библиотеки должны быть пополнены интересными для юношества сочинениями, не исключая и романов, преимущественно исторического содержания, известнейших писателей.

8) Поставить родителей в известность о правилах для учеников и предварить их, чтобы они, с своей стороны, приняли меры к надзору за детьми, особенно за их знакомствами и чтением, и внушали бы им, в видах предохранения от гибельных последствий, уважение к существующему порядку.

Независимо от сих мер, предоставляется педагогическим советам обсудить, не считают ли они нужным сделать какие-либо по сему поводу добавления, и если таковые последуют, покорно прошу своевременно донести о них мне.

Вместе с тем, хорошо понимая, что эти меры могут принесть надлежащую пользу и послужить к благу воспитывающемуся у нас юношеству только в таком случае, когда начальство и члены педагогического совета отнесутся к ним искренно, с полным желанием блага детям, я позволяю себе обратиться к классным наставникам с особенной просьбой употребить все свои усилия, чтобы предохранить детей от гибели и направить их на прямой путь истины и добра».

Вслед за сим, 14 июля за №6617, попечителем округа, для внимания преподавателей, было прислано предложение следующего содержания:

«*В циркулярном предложении Министра народного просвещения попечителям учебных округов от 24 мая 1875 г. за №552, напечатанном в циркуляре по управлению Киевским учебным округом 1875 г. №6 (стр. 144), Его Сиятельство обращал внимание на опасность, какой подвергается учащееся юношество со стороны пропагандистов, старающихся действовать на неопытные умы учащейся молодежи, завлекая их в свои сети и делая орудием преступной своей деятельности.*

Такое пагубное влияние злонамеренных лиц на недоучившееся юношество продолжается и даже усиливается в настоящее время. Гнусные злодеи, эти убийцы из-за угла – во столько же действительные злодеи юного поколения и всего русского просвещения: они набрасываются с своими безумными, неосуществимыми и презренными теориями преимущественно на юношество, так как люди сколько-нибудь опытные и основательные отворачиваются от них с омерзением; накладывая же тень на образование, из коего добыли и искаженные понятия, они заставляют искать в науке корень и причину совершаемых ими зол и бедствий, в коих, само собою вовсе неповинна истинная образованность, а этим самым могут возбудить сомнение в пользе научных знаний и приостановить естественно поступательный ход народного просвещения.

Имея в виду, что только нравственный авторитет уважаемых наставников и самый бдительный и постоянный надзор со стороны начальников учебных заведений за вверенными их попечению юношами, в особенности, в отношении к развитию и поддержанию в них религиозно-нравственного направления, могут оградить молодое поколение от тлетворной заразы вредных учений анархистов, Его Сиятельство, в предложении от 14 мая за №5264, обращает особое внимание на необходимость назначения на должности учителей наставников лиц с особой осторожностью, так как, к крайнему сожалению, дети и юноши, вместо того, чтобы встретить в семье отпор вредным увлечениям, иногда находят поддержку пагубным теориям, и наставникам приходится в этом случае заступать место родителей и опекунов и укреплять в порученных их наблюдению питомцах чувства преданности престолу и уважения к религии.

Конечно, не детям низших классов средних учебных заведений следует толковать о бессмысленных социалистических учениях, но ученикам старших классов гимназий и реальных училищ нужно объяснять всю их нелепость; они настолько зрелы умственно и нравственно, что, Его Сиятельство уверен, легко поймут всю их преступную несостоятельность и, конечно, никто из них не захочет послужить орудием людей, губящих систематически и безжалостно хладнокровно юные, лучшие наши силы и светлую будущность России, немыслимую и невозможную без широкого распространения истинного образования, основанного на твердых началах науки, истинах веры, правилах нравственности и сознательной преданности своему Государю и своей родне».

<…> Число учащихся в 1-ой гимназии к 1 января 1879 года было 617 чел.; к концу года, к 1 января 1880 года, состояло 635 чел.

«*Такое приращение*, – говорит директор Андрияшев, – *объясняется многочисленностью 8-го класса и вообще высших классов. Из поданных 208 прошений о поступлении принято в гимназию, по экзамену и без оного, 122 чел. Половина принятых учеников поступила в приготовительный класс; затем, остальная половина принята, главным образом, в 1-й и 7-й классы. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в 7-й класс поступают ученики, окончившие 6-классные прогимназии, которых в Киевском учебном округе состоит четыре, вследствие чего контингент окончивших курс прогимназий, не менее 100 человек, должен разместиться в гимназиях, высшие классы которых, по большей части, не меньше узаконенного комплекта.*

Ввиду такого обстоятельства, по необходимости приходится принимать в 7-й класс и сверх комплекта, дабы не отнять от молодых людей возможности продолжать свое образование».

По классам ученики распределялись так: в приготовительном классе было – 83, в 1-м – 100, во 2-м – 105, в 3-м – 88, в 4-м – 71, в 5-м – 65, в 6-м – 39, в 7-м – 46, в 8-м – 38 человек. Параллельные отделения были в приготовительном и первых пяти классах. По сословиям состав учеников был такой: детей дворян и чиновников – 424, духовного звания – 59, городских сословий – 110, сельских – 27 и иностранцев – 15.

По вероисповеданию ученики принадлежали: к православному – 473, к католическому – 107, к лютеранскому – 23 и к иудейскому – 32.

В 1879 году выбыло всего из гимназии 77 учащихся, в том числе: 22 окончивших курс учения, 21 – с аттестатом зрелости и 1 – со свидетельством. Затем, выбыло до окончания курса 55 учащихся, в том числе: уволено по просьбе родителей, для поступления в другие учебные заведения, или же для поступления на государственную службу – 34, умерло – 2, уволено за безуспешность – 11, за дурное поведение – 2, предложено родителям взять из гимназии 6 учеников. Таким образом, число учеников, уволенных за безуспешность, составляет менее 2% всего числа учащихся в гимназии, а число уволенных за дурное поведение – менее 1%.

«*Вникая в положение тех и других учеников*, – говорится в отчете, – *а главное, имея в виду предохранить учеников от влияния преступной пропаганды, в случае преждевременного выбытия учеников, начальство гимназии своевременно принимало все зависящие меры для исправления означенных учеников, постоянно обращаясь к содействию родителей.*

Подвергались увольнению ленивые или дурного поведения ученики только тогда, когда все меры, предпринятые для предупреждения этого печального исхода, не достигали своей цели. Из учеников, выбывших по желанию родителей, только самая незначительная часть выбыла для поступления на государственную службу, все остальные поступили в другие учебные заведения».

«*При определении уровня успехов учеников 1-ой гимназии*, – говорится дальше в отчете, – *необходимо прежде всего обратить внимание на результаты окончательных и переводных экзаменов в конце 1878-79 учебного года; они только дают вполне обследованные и точно определенные данные. Сравнивая отметки за год и за экзамен, можно вообще заметить, что число удовлетворительных отметок за экзамен – более, чем за год. Это объясняется усилением занятий учеников во время экзамена, ввиду опасности остаться в том же классе.*

Такое усиление занятий в высших классах заметнее, чем в низших. В особенности это было заметно в отчетном году в 5-м классе, где из 48 учеников имели удовлетворительные отметки по всем предметам в течение года только 23 ученика, а на экзамене – 36 учеников.

<…> Еще удовлетворительнее результаты испытания зрелости. Из 22 учеников 8-го класса, подвергавшихся испытанию зрелости, все оказали удовлетворительные успехи, за исключением одного ученика, который письменные испытания по латинскому и греческому языкам выдержал неудовлетворительно. Испытания зрелости производились при точном соблюдении правил, предписанных для таких испытаний.

На испытаниях присутствовали: помощник попечителя, депутат от университета, доцент [по кафедре греческой словесности Федор Герасимович] Мищенко, и депутат от духовного ведомства, протоиерей Богданов. На устных испытаниях лучшие ответы давались по Закону Божию и по математике; затем следуют латинский и греческий языки и, наконец, история. Удостоены серебряной медали ученики 8-го класса Лиокумович Иосиф [Ильич] и Регаме Казимир [Людвигович].

Из посторонних подвергались испытанию два лица, но выдержал испытание только один и получил свидетельство на право поступления в университет.

Общее число успевающих по всем предметам во вторую половину 1879 гражданского и в первую половину 1879-80 учебного года – 67%, почти такое же, как и в прошлом 1878 году. Выше всех по успехам стоит 8-й класс, в котором из 38 учащихся – 36 удовлетворительных; затем следуют 2-й, 1-й, приготовительный, 7-й, 6-й, 4-й и 5-й.

Результаты эти, впрочем, могут дать только приблизительное понятие об уровне успехов в гимназии в первой половине учебного года, так как можно надеяться, что многие из учеников, получивших по главным предметам одну неудовлетворительную отметку, легко могут исправиться и к концу года будут в состоянии удовлетворить самым строгим требованиям для перевода в высшие классы. В особенности это можно сказать относительно предметов неглавных, по которым для перевода в высший класс достаточно одной только удовлетворительной годичной отметки.

По этим предметам преподаватели никак не могут быть щедрыми на отметки, чтобы на первых же порах не поселить в детях преждевременной надежды на перевод в высший класс, надежды, которая не может не иметь влияния на успешность в занятиях во вторую половину учебного года. Вообще, поведение учеников в этом году было удовлетворительно. Из 635 учеников, состоявших к 1 января 1880 г., имели отметки отличного поведения – 531, хорошего – 96 и добропорядочного – 8. Тем не менее, в видах ограждения учащихся от вредного влияния преступной пропаганды, признано необходимым усилить меры надзора за домашнею жизнью учащихся. Для этой цели, главным образом, признано необходимым постоянное посещение ученических квартир и внезапный осмотр их книг и имущества».

<…> «*В заключение долгом считаю заявить,* – пишет директор, – *что, изучая домашнюю жизнь учеников в 1879 г., я не мог не убедиться окончательно, что домашняя среда учащихся не всегда удовлетворяет требованиям правильного воспитания. Из 8 учеников, уволенных по определению совета, или, вследствие его предложения, по просьбе родителей, только 1 ученик жил не у родителей.*

Замечательно же и то обстоятельство, что 6 учеников, виновных в чтении газет преступного содержания, жили так же у родителей, под их ближайшим и непосредственным надзором. При подробном расследовании дела оказалось, что родители всех означенных выше учеников позволяли детям отлучаться из дому без их ведома, читать что угодно и сколько угодно, без всякого разбора и контроля; выяснено также, что на глазах родителей ученики от 15-16 лет успели совершенно ознакомиться с литературою социально-политического направления и вообще приобресть сведения, которые вовсе не должны бы входить в круг ведения ученика гимназии.

Помогали в этом случае немало частные местные библиотеки для чтения, которые, несмотря на воспрещение учащимся пользоваться книгами не из ученических библиотек, продолжали и в 1879 году, как и в прежние годы, снабжать учащихся секретно и при посредстве старших родственников изданиями, совершенно не подходящими возрасту и развитию учащихся. Такое ненормальное явление в деле воспитания молодых поколений может быть устранено только принятием со стороны гражданских властей самых строгих мер к воспрещению частным библиотекам выдавать ученикам какие бы то было книги или вообще принимать их в число своих подписчиков».

1880 год, завершивший собою десятилетие существования 1-ой гимназии по уставу 30 июля 1871 года, является одним из самых интересных после 1872 года, в котором были введены новые учебные планы, намеченные новым уставом. В 1880 году педагогическим советом 1-ой гимназии были впервые подвергнуты серьезной критике учебные планы нового устава.

Почти десятилетний опыт обнаружил положительные и слабые стороны учебных планов, и педагогический совет 1-ой гимназии, на основании этого опыта, отметил те стороны, исправление которых должно было составить задачу школьного законодательства ближайшего времени.

<…> *"В заседаниях совета 15-го, 17-го и 29-го сентября обсуждали вопросы по поводу предложения попечителя Киевского учебного округа от 31 июля за №8054 и от 20 сентября за №10350, с циркулярным распоряжением управляющего Министерством народного просвещения относительно необременения учащихся.*

Означенным распоряжением, для достижения указанной цели, Управляющий министерством предложил к руководству и исполнению 4 пункта: 1) о необременении учащихся занятиями на дому; 2) о требовании от учеников низших классов меньше умственного труда, чем от учеников высших классов; 3) о сосредоточении внимания преподавателей на слабых учениках; и 4) о неувеличении учебного материала против назначенного учебными планами; независимо от того, предложил советам гимназий войти в ближайшее обсуждение о том, какие бы могли быть предложены практические меры к облегчению учащихся в учебных заведениях.

Педагогический совет гимназии, обсуждая означенное предложение попечителя учебного округа, прежде всего, для уяснения мер, какие могли бы служить для достижения указанной в том предложении цели, старался выяснить вопрос: в чем заключается в настоящее время действительное обременение учащихся. Обременение это заключается, с одной стороны, в количестве учебного материала, а с другой, в распределении этого материала по классам, а главным образом, в постановке учебного дела и в постановке способа поверки познаний учеников для перевода в высшие классы.

В особенности, обременение учащихся заключается в низших 4-х классах и преимущественно в 4-м классе. По смыслу правил об испытаниях, ученики 4-го класса обязаны выдержать устный и письменный экзамен во всем пройденном в низших четырех классах, а между тем, в течение года едва успевают пройти весьма значительный курс собственно 4-го класса, не имея положительно возможности заняться повторением курса низших классов.

Обременение учащихся в этом классе повторением на дому в особенности высказывается по так называемым второстепенным предметам, по которым ученики низших классов переводятся без экзаменов, даже в том случае, когда в среднем выводе из годичных отметок имеют «2¼», т.е., другими словами, получили в течение года одну только удовлетворительную отметку. По предметам главным, правда, требуется для перевода из 1-го во 2-й и из 2-го в 3-й класс две, а из 3-го в 4-й даже три удовлетворительные годичные отметки и, кроме того, ученики должны выдержать письменный экзамен.

Но письменный экзамен, обнаруживая до некоторой степени познания учащихся, имеет то важное неудобство, что не ставит ученика в необходимость основательно повторить предмет, пройденный в течение года, не говоря уже о том, что по предметам второстепенным, по которым вовсе не полагается экзамена, ученики переводятся в высший класс, не осмыслив пройденного в его совокупности и нередко не пополнив тех пробелов в своем знании, которые могли произойти от болезни и от других причин.

Нельзя не заметить, что и по предметам главным, при существующем порядке исключительно письменных испытаний, положительно не гарантирован перевод ученика в высший класс с достаточной подготовкой, так как письменный экзамен, как показал опыт, не может служить достаточным средством контроля познаний учащихся, частью потому, что письменные упражнения, задаваемые на таком экзамене, не вполне доказывают степень познаний учащихся, а частью вследствие разных случайностей: подсказывания, списывания у товарищей и других злоупотреблений, которые не могут быть устранены, при всей бдительности надзора за выполнением экзаменационной работы.

Таким образом, система письменных экзаменов имеет тот существенный недостаток, что деморализует учащихся, развивая в них стремление отделываться от экзаменов без труда и без основательного знания изучаемых предметов. Отсюда чисто формальное отношение учащихся к изучению преподаваемых предметов, поверхностное и недобросовестное приготовление к урокам и общий недостаток подготовки, который является постоянным тормозом для успешности изучения дальнейшего курса, а вместе с тем, и главным источником того обременения, на которое так много жалуются родители и общество.

Затруднения учащихся увеличиваются, можно сказать, с каждым классом, и увеличиваются не столько от увеличения количества учебного материала, сколько от недостаточности основательной подготовки, от привычки учеников относиться к учению поверхностно, привычки, которая развивается вследствие ничтожности требований для перевода в высшие классы по предметам неглавным, а потом сознательно или бессознательно переносится и на предметы главные.

С другой стороны, вникая в распределение второстепенных предметов по классам, нельзя не заметить, что, при усилении требований по главным предметам, существующие учебные планы ничуть не уменьшили, против прежнего учебного материала, требований по предметам неглавным.

Неудивительно поэтому, что настоящие учебные планы по второстепенным предметам не могут быть выполнены вполне удовлетворительно в то незначительное количество учебных часов, которое назначено по тем планам на неглавные предметы, вследствие чего основательное изучение второстепенных предметов делается почти невозможным.

Несмотря на самый строгий надзор за ходом учебных занятий, ученики неглавные предметы изучают весьма слабо, так как имеют возможность, при пяти еженедельных уроках, посвящать самое незначительное время на приготовление уроков по второстепенным предметам. Такое поверхностное учение неизбежно затрудняет как повторение тех предметов, так равно и изучение всего, вообще, гимназического курса.

Нельзя также не заметить, что привычка относиться к учению поверхностно развивается в учащихся отчасти и вследствие существующего порядка экзаменов, который на практике представляет то важное неудобство, что для различных классов ставит различные условия экзаменов и перевода в высший класс, причем ученики одних классов подвергаются экзаменам в то время, как ученики других классов должны продолжать уроки, несмотря на то, что последние, при значительном отвлечении преподавательских сил экзаменами и ассистенциями, на них не могут быть преподаваемы исправно и идти правильно, а в некоторые дни совершенно прерываются; между тем, как ученики, собираясь в классы ежедневно, иногда даже без всякой надобности, только приучаются к рассеянности и к беспорядочному препровождению учебного времени, что не может не оставить дурного влияния и на дальнейший ход их учебных занятий.

Поверхностное отношение учащихся к своему делу поддерживается в них до некоторой степени распоряжением о вакационных работах, которые, будучи выполняемы без всякого контроля, а главное, без всякого желания и охоты со стороны учащихся, по большей части, не достигают цели и обращаются в простую формальность, да и не могут не быть на практике одной формальностью, так как не имеют самостоятельного значения при оценке успехов учащихся.

Живое и энергическое отношение учащихся к изучению преподаваемых предметов значительно парализуется, кроме того, громадным преобладанием числа уроков по языкам (около ¾ учебных часов), сопровождаемых беспрерывным писанием, которое состоит в записывании слов, в переводах с русского на иностранный и с иностранного на русский язык и в других письменных работах. Такое многописание может вредно отзываться вообще на развитии способностей учащихся, главное, может приучить детей к механическому выполнению задаваемых уроков.

Наконец, причина обременения учащихся заключается: 1) в многолюдности классов в Киевской 1-ой гимназии, которое немало затрудняет успешное ведение учебного дела, а главное, не дает возможности учителю сосредоточить свое внимание своевременно на слабейших учениках, и 2) в необходимости продолжать учебные занятия и экзамены в самое жаркое время года, в июне месяце, когда ученики в многолюдных классах положительно задыхаются от жары.

При соображении всех этих обстоятельств, педагогический совет Киевской 1-ой гимназии полагает:

1) Разделение предметов на главные и второстепенные, как подрывающее основательность учения в гимназии и несоответствующее цели гармонического развития учащихся по всем отраслям знания, отменить, вполне восстановив равноправность и обязательность тех и других предметов, как по отношению к оценке успехов учащихся, так и при переводе учеников в высшие классы.

2) Совершенно отменить переводы учащихся по одним письменным испытаниям, предоставив преподавателям в конце года назначать общие повторения и к письменным ответам прибегать, как к дополнительному средству поверки познаний ученика, при удостоверении, посредством устных ответов, в основательном изучении учеником пройденного в течение года предмета.

3) В 4-м классе назначить устный экзамен на тех же основаниях, как в прочих классах, приняв за правило, чтобы ученики низших классов ежегодно обязаны были в конце года отдать полный отчет только в курсе наук, пройденном в течение одного года.

4) Для всех вообще классов установить однообразный порядок испытаний, наблюдая, чтобы учение оканчивалось одновременно во всех классах и чтобы затем ученики обязаны были основательно на дому повторить каждый предмет в целом его объеме.

5) С введением такого порядка основательного повторения предметов в конце года, педагогический совет считает неуместным всякое колебание относительно перевода ученика, а потому полагал бы необходимым совершенно устранить всякия переэкзаменовки до вакаций или после вакаций, так как опыт показал, что подобные переэкзаменовки вредно влияют на занятия и успехи учеников в течение года, питая в них надежду на возможность вознаградить пропущенное в течение года занятиями во время вакаций и перейти в высший класс при помощи снисхождения со стороны преподавателей и педагогического совета, без основательного и своевременного изучения предмета в течение года.

6) Так как вакационные работы не достигают своей цели и, при невозможности дать им самостоятельное значение, обращаются в одну формальность, то педагогический совет полагал бы работы эти отменить, предоставив ученикам полную возможность воспользоваться вакационным временем для отдохновения и укрепления своего здоровья.

7) В видах поднятия живого умственного развития учеников и предупреждения усвоения ими привычки к механическому исполнению заданных работ, педагогический совет полагает необходимым, по возможности, избегать назначения таких письменных работ, задаваемых на дом, которые не могут быть выполнены самостоятельно, наблюдая притом, чтобы в один день не назначалось более двух письменных работ.

8) Для предоставления преподавателям возможности сосредоточить внимание на слабейших учениках, в видах облегчения учебных занятий, педагогический совет полагал бы необходимым принять за правило, чтобы состав класса ни в каком случае не превышал бы комплекта 40 учеников, так как, при большем числе учеников, значительная часть года теряется на ознакомление с учащимися, с их способностями и подготовкою, вследствие чего не представляется возможным своевременно сосредоточить внимание на слабейших учениках и принять своевременные меры к поднятию уровня их познаний.

9) Для облегчения учащихся, педагогический совет признает необходимым прекращение учебных занятий в жаркое летнее время, т.е. в июне месяце".

***

В 1880 году была увеличена плата за учение в 1-ой гимназии – в приготовительном классе с 20 рублей до 25-ти, а в остальных классах – с 30 до 35 рублей в год; предложение попечителя, разрешавшее такое увеличение, было заслушано 22 января.

В том же заседании принято к исполнению распоряжение попечителя от 10 января за №280, чтобы выписываемые в ученическую библиотеку книги были рекомендованы кем-нибудь из преподавателей или на основании предварительного знакомства с содержанием или были бы пересмотрены, при выписке, рекомендовавшим лицом прежде допущения в библиотеку; не удовлетворяющая требованиям книга должна быть перечислена в основную библиотеку.

<…> Новым попечителем округа [(тайным советником Голубцовым, взамен вышедшего в отставку 26 марта П.А. Антоновича)] было препровождено циркулярное распоряжение от 23 июня за №6541, следующего содержания:

«*На основании §§ 3 и 4 правил об испытаниях гимназий, прогимназий и реальных училищ Министерства народного просвещения, познания и успехи учеников, как в продолжение учебного года, так и на испытаниях, оцениваются обычными цифрами, причем «5» означает познания и успехи отличные, «4» – хорошие, «3» – удовлетворительные, «2» – не совсем удовлетворительные и «1» – вовсе неудовлетворительные. Из этих пяти отметок «5», «3» и «1» признаются отметками основными, «4» и «2» служат отметками [переходными] – «4» к «5» и «2» к «1».*

Дроби и какие-либо знаки, при оценке как познаний и успехов, так и прилежания, внимания и поведения, не допускаются. Между тем, из некоторых, дошедших до меня, аттестаций и объяснений преподавателей видно, что в некоторых учебных заведениях приняты отметки + и –.

Признавая употребление сих знаков в отметках несоответствующим вышеизложенным §§, имею честь просить начальников учебных заведений Киевского учебного округа предложить преподавателям оценивать знания учеников только полными цифрами, отнюдь не употребляя никаких знаков увеличения или уменьшения цифр».

<…> В 1880 году принято было соединение преподавания в высших классах древних языков в одном лице, причем класс, в котором соединялось преподавание, считался коренным для того преподавателя, который взял на себя преподавание обоих языков. Вследствие перемещения инспектора гимназии Сенинского директором в 3-ю Киевскую гимназию, соединенное преподавание в 8-м классе и соединенное с ним классное наставничество было поручено преподавателю А.О. Поспишилю.

К 1 января 1880 г. состояло 635 учащихся. Выбыло: по случаю окончания курса 38 человек, по просьбам родителей и по разным обстоятельствам – 61, умерло – 2; всего выбыло – 101, осталось – 534 чел. Затем, в течение отчетного года принято в гимназию 152 чел., так что к 1 января 1881 г. состояло 686 учащихся.

«*Такое значительное увеличение числа учащихся, – по словам отчета, – объясняется, главным образом, приемом большого числа детей в существующие при гимназии два приготовительных класса, в которые принята почти половина поступивших в гимназию учеников. Другая половина распределяется между тринадцатью гимназическими классами, так что средним числом в каждый класс принято не более 7 человек.*

Тем не менее, некоторые классы так переполнены учащимися, что, по необходимости, нужно было прекратить прием прошений о принятии в эти классы еще пред вакациями, немедленно по окончании экзаменов, когда определялась наличность этих классов. К таким классам принадлежали оба отделения 2-го и 3-го классов.

Исключение сделано только для тех, которые подали прошение задолго до окончания экзаменов, ввиду того обстоятельства, что педагогический совет зачислил детей таких просителей кандидатами на поступление в гимназию после вакаций. Более значительное число учеников принято в 7-й класс, причем имелось в виду, главным образом, дать возможность окончить образование ученикам, окончившим курс 6-классных прогимназий».

Общее число учеников – 686 – распределялось по классам: в приготовительном – 82, в 1-м – 125, во 2-м – 98, в 3-м – 104, в 4-м – 88, в 5-м – 65, в 6-м – 35, в 7-м – 45 и в 8-м – 44. По сословиям и происхождению было: детей дворян и чиновников – 442, духовного звания – 61, городских сословий – 122, сельских сословий – 39 и иностранцев – 22. По вероисповеданию: православных – 516, католиков – 118, лютеран – 22, старообрядцев – 2 и евреев – 28.

Кроме окончивших курс, выбыло 63 учащихся. Самый большой процент выбывших был во 2-м и 5-м классах. «*Явление это объясняется, – по словам отчета, – во 2-м классе – тем, по большей части, что родители, убедившись, что дети затрудняются изучением древних языков, переводят их в реальные училища. Из 5-го класса выбыли преимущественно ученики, достигшие возраста 17-18 лет и поступившие в военную службу, с правами окончивших курс прогимназии.*

Уволено из гимназии 10 человек, преимущественно оставшихся в одном и том же классе 2 года; ученики эти удалены на основании устава гимназий и прогимназий. Число уволенных, собственно, советом за безуспешность и дурное поведение составляло в отчетном году всего 1,45%. Вникая в положение подвергшихся удалению из гимназии, гимназическое начальство предварительно предприняло все зависящие меры к исправлению учеников, замеченных в дурном поведении, а также для поднятия их успехов, и только, когда все меры оказывались безуспешными и ученик не извлекал для себя никакой пользы из пребывания в гимназии и делался вредным, по своему влиянию на других учеников, совет предлагал родителям взять таких детей из гимназии».

<…>

***

Реформа средней школы осталась непонятой в массе нашего образованного общества. В попытку разрешения этого вопроса всегда вносилось больше чувства, чем спокойного, основанного на строгом анализе идей и документов этой эпохи, исследования.

Главная ошибка всех суждений, посвященных вопросу о смысле и значении реформы школы, заключается в том, что автором ее всегда считался министр граф Д.А. Толстой. Вторая ошибка заключается в разделении эпохи царствования императора Александра II на два периода: на шестидесятые годы – период реформационный и на семидесятые годы, о которых сложилось убеждение, что в течение этих годов бралось назад то, что было дано в 60-е годы.

Различие между проведением реформ в 60-е и в 70-е годы действительно было, но не в самом их существе, а лишь в порядке осуществления; но это явление обусловливалось самими же реформами, вытекавшими в порядке следования одних из других.

Самая первоначальная и основная реформа, обусловившая собою и все последующие, была реформа дворянская – 19 февраля 1861 года. Эта реформа получила в нашей публицистической, а вслед затем, и в научной литературе не совсем точное название – «освобождения крестьян». Это; последнее, бывшее одним из следствий дворянской реформы, настолько поразило общественное внимание, что за ним не заметили более первоначальной и серьезной реформы – дворянской. Реформа 1861 года не исчерпывалась одним манифестом 19 февраля и не нашла своего полного выражения в этом документе.

В акте 19 февраля 1861 г. заключалось не столько одно простое освобождение крестьян от крепостной зависимости, сколько разграничение центральной императорской правительственной власти от поместной традиционной власти дворян и выражение этого разграничения в новых, определенно выраженных, формулах закона, за которым последовали и соответствующие отношения между правительством, дворянством и прочим населением империи.

Результатом этой основной государственной реформы была утрата дворянством многих политических прав, как то: права вербовки солдат в государственную армию, права местной сельской администрации и местного сельского суда и, в особенности, права владения частью местного населения, именно, крестьянским сословием, и многих других менее значительных прав. Все эти права, по реформе 19 февраля 1861 года, отошли от дворянства к центральной императорской власти, и потому логически вытекали отсюда и последующие, но уже производные, реформы: крестьянская, судебная, воинская, земская, а в 70-е годы – и школьная.

За всеми этими реформами крепла, как никогда раньше, центральная императорская власть, а потому, естественно, реформировавшиеся государственные учреждения получали строго централизованный характер.

Если, поэтому, обсуждение и проведение реформ в 60-е годы проходило в одной обстановке, при так называемом широком участии общественных сил и установлений, а в 70-е годы, как, например, школьная, реформы прошли при обсуждении в сфере одних только подведомственных учреждений, то это является естественным следствием изменившегося государственного строя, под влиянием предыдущих реформ, в 60-е годы. Это последнее обстоятельство, ускользнув от внимания публицистической литературы, дало основание утверждать, что реформы 70-х годов были шагом назад в строении государственной жизни и, в частности, что школьная реформа есть дело исключительно одного [тогдашнего Министра народного просвещения,] графа Д. А. Толстого.

Реформа средней школы, в том числе и 1-ой гимназии, в 70-е годы является выдержанным целым, проникнутым одним и тем же направлением, как и прочие реформы императора Александра II. Взятая вне этого целого, школьная реформа останется непонятным явлением в истории нашего государственного и общественного развития.

Реформами императора Александра II создавалась новая государственная организация, хотя исторически и преемственная, но значительно разнящаяся от непосредственно предыдущей. Центром организации служила самодержавная императорская власть, более крепкая, чем каковой она была дотоле. Естественно, поэтому, что все реформировавшиеся государственные учреждения должны были принять несколько иной характер и строение, чем они были до реформ императора Александра II; то же должно было случиться и со школьной реформой.

На протяжении 70-х годов это и случилось: школа, как государственное учреждение, получила более упрощенный, централизованный строй и более специализованный в своем деле характер; по своим задачам, она призвана была воспитывать подрастающие поколения на началах вновь реформированной государственной жизни страны.

Воспоминания о Киевской 1-ой Гимназии А.И. Рубца, Н.А. Бунге и Н.П. Забугина

В томе первом нашего издания мы напечатали ряд воспоминаний о Киевской 1-ой гимназии, в том числе и часть воспоминаний ее бывших учеников Н.А. Бунге и Н.П. Забугина; последние переданы нам теперь в большем объеме, равно вновь доставлены воспоминания маститого питомца гимназии, Александра Ивановича Рубца, окончившего курс гимназии в 1858 г. и ныне проживающего в г. Стародубе, Черниговской губернии.

Те и другие воспоминания относятся непосредственно к тому периоду из истории гимназии, который обозревается в части исторической записки, помещенной в настоящем томе, а потому мы сочли уместным напечатать их здесь, так как они живо иллюстрируют тот официальный, более сухой материал, которым пользовались составители исторического обзора, и прибавляют несколько новых данных к изучению светлой эпохи кануна шестидесятых годов и попечительства Н.И. Пирогова.

***

Воспоминания А.И. Рубца (1853-1858 гг.)[*]

Очень рад поделиться с Киевской 1-ой гимназией своими воспоминаниями, как бывшего ученика этой гимназии со времен 1853 года. Я, Александр Иванович Рубец, поступил в Киевскую 1-ю гимназию в январе 1853 года. Поводом к этому послужил перевод моего отца, который был начальником военных поселений в г. Чугуеве, – в Умань, как главный город военных поселений Киевской и Подольской губерний.

Киевская 1-ая гимназия находилась тогда в Липках; здание этой гимназии было выстроено еще при Екатерине II, имело красивый вид – и было прекрасно устроено для классов гимназии. Комплект учеников этой гимназии составляли три пансиона, размещенных в трех зданиях вокруг гимназии. 1-й пансион – «наиблагороднейший», состоявший из воспитанников богатых родителей, по преимуществу поляков, которые имели уличное название «учеников бичевой аристократии», потому как родители их всегда ездили в экипажах с краковской упряжью и с бичами. Я называю эту закладку «краковскою» потому, что она состояла в надхомутных украшениях из разноцветных шарфов и имела очень красивый вид, а поездка этих панов сопровождалась оглушительным хлопаньем бичей. 2-й пансион, называвшийся «дворянским», потому что там были преимущественно дети помещиков, дворян и чиновников русских («москалей»). 3-й пансион составляли дети мелкопоместных дворян-хуторян, и назывался этот пансион – «хуторской».

1-й пансион имел свое местопребывание в большом доме графини Илинской; плата с учеников взималась следующая: 350 р. в год – с музыкой, а 300 р. – без музыки. С каждого, поступающего в гимназию, пансионера взималась большая серебряная и маленькая чайная ложка и дюжина салфеток для стола. Большая часть учащихся в 1-м пансионе должна была иметь крепостного человека, с непременным условием, чтобы он знал какое-либо ремесло, был столяр, токарь, слесарь, портной и т.п.

Приблизительно то же самое взималось во 2-м и 3-м пансионе; хотя и не у каждого ученика было по крепостному человеку-ремесленнику (были и такие, которые приезжали без таких крепостных людей), но количество всех пансионеров было больше 300 человек. Администрация пансионов имела в виду из всего числа крепостных образовать рабочие дворы, которые были бы поселены в обширном дворе 1-ой гимназии и занимались бы ремонтом всего, что было необходимо для пансионов и самого здания гимназии. Им платили очень умеренную плату, для взноса оброчных статей помещикам.

В 8½ часов утра из трех пансионов шли попарно учащиеся в здание 1-ой гимназии и затем располагались по классам, где учителя спрашивали их уроки. Во время большой перемены ученикам раздавались французские булки, черный хлеб и соль, и учащиеся довольствовались этим умеренным завтраком и пополняли его или колбасами, или салом, покупавшимися у толкавшихся у здания в множестве торговок. У некоторых учеников была странная фантазия – они выгребали из булок мякиш, наполняли их черным хлебом и ели с большим удовольствием, воображая с гордостью, что едят большие пироги.

Классы были всегда полны учащимися, потому что в то время, когда я учился, не соблюдалось строгих правил относительно приема, и ученик того времени мог, по вольности дворянства, 3 и 4 года оставаться в классе, и его за это не исключали. Так как ученики были все из дворян и пользовались дворянской привилегией, то в классе были и маленькие, и большие, бривши бороды, имевшие себе товарищей – студентов и даже учителей и профессоров университета; они брали на себя обязанности дядек при малолетних и восстанавливали порядок при побоях и драках.

---

[*] Александр Иванович Рубец (род. в 1837 г.) в 1866 г. окончил Петербургскую консерваторию и был назначен в ней преподавателем элементарной теории и сольфеджио. В начале 1890-х потерял зрение и поселился в г. Стародубе Черниговской губернии.

1-й пансион – «наиблагороднейший» и 2-й – «дворянский» – имели надзирателями чистейших французов и немцев, а также иногда и поляков. Каждый день соблюдался по очереди французский и немецкий языки. Чтобы заставить учащихся говорить по-французски и по-немецки, придумали наказание, состоявшее в том, что надевали на шею четырехугольный картон, с нарисованным на нем посередине огромных размеров красным языком, который надевался на тех, кто не мог говорит на этих языках; у кого красный язык оказывался перед обедом, тот лишался третьего блюда.

В нашем [1-м] пансионе надзирателями были французы Мессонье и Демарэ; они плохо знали русский язык, говорили на изысканном французском и не ругались, а были очень добры, мягки и снисходительны; они только высмеивали учащихся, если те были неряшливо одеты, плохо держались и отличались обжорством. Все мы очень любили поесть, и нас хорошо кормили. Немцы надзиратели были – Макинский и Краузе*, которые, в противоположность поджарым французам, были народ полный и крупный. Пятый надзиратель был поляк – Жилинский, самый ненавистный, иезуитоподобный, всех оскорблявший и с презрением относившийся к русским, причем, однако, и ему тоже доставалось от нас; он ходил всегда в изящном парике, и на этом-то парике все нами вымещалось.

Каждый класс пансиона имел большую комнату; лампы в то время наливались подсолнечным маслом, которое по вечерам очень тускло горело, а мы, хорошо поевшие, любили подремать над книгами; Жилинский же подходил к нам со связкой ключей и бил нас ими по затылку. Приготовление уроков на следующий день требовалось всегда громкое, и Боже сохрани, кто молчит; при таком порядке мы всегда плутовали: так как французы не знали русского языка, то мы иногда повторяли все одни и те же слова громким голосом, например, из географии Ободовского: «о климате Европы, о климате вообще, о климате Европы, о климате вообще, о климате Европы, о климате вообще...» с различной интонацией, пять и шесть раз, а сами в это время делали папиросы.

Ученики разнообразили свое приготовление уроков разными шалостями. Иные ученики так увлекались своими уроками, что ничего не замечали, что вокруг них делается, а другие в это время обкладывали их бумагой и зажигали ее, так что загорались штаны, и когда они это чувствовали, то бежали с громким криком к надзирателю жаловаться.

Товарищи, сидевшие по 2-3 года в классе, разнообразили свое время, предлагая меряться с ними силою; испытывали мальцов в их выдержанности и храбрости; давали щепотку табаку и предлагали втянуть в нос, – малец берет табак и с особым удовольствием исполняет сказанное, и так по трое и четверо вместе делали, и все разом чихали; при этом доставалось от надзирателей всегда мальцам. Иногда добрые великовозрастные товарищи вступались за мальцов, и тогда другим шалунам и зачинщикам приходилось очень плохо: давали им тюти, скандаки по головам**, так что головы обидчиков очень страдали.

Деятельность каждого надзирателя оканчивалась, когда уводили нас в спальню спать: тогда вступали в свои обязанности старые солдаты – дядьки; которые обходили все спальные комнаты целую ночь напролет; их было на каждый пансион по два человека; они поднимали головы тех, кто свешивал их с подушки, и закрывали одеялом раскрывшихся во сне. Вообще, это были тихие и хорошие дядьки, всегда трезвые.

---

* В списках комнатных надзирателей и воспитателей по Благородным пансионам «немец» Краузе не числится, в отличие от Ивана-Баптиста Вильгельмовича Мессонье (1839-59), Петра-Антония Николаевича Демаре (1847-56), Карла Романовича Макинского (1839-63) и Гилярия Никодимовича Желинского (1844-71). В 1845-60 гг. таковым же служил Иван-Фридрих Осипович Иензен, а в 1855-60 гг. – также Конрад Эрнестович Траутфеттер.

** «Тютя» – тумак, по нынешнему, а вот со «скандаками» разобраться досконально не удалось, может быть, в данном случае «скандак» – это оттяжка великовозрастным гимназистом своей ладони на голове у мальца, т.е. пальцев одной руки пальцами другой руки, при прижатом запястье, а потом резкое освобождение первых?

Воспитанники должны были вставать в 5½ часов, и дядьки при этом ходили и звонили в большой колокол. Демарэ и Мессонье приходили очень рано, стаскивали одеяла и кричали: «мальцы-красавцы, тру-ту-ту, вставайте!» Некоторые из учеников бросали в них сапогами, но они не обижались за это. Мессонье останавливался перед теми, которые спали крепко, и говорил речь на французском языке, в которой говорилось, что спать крепко хотя и приятно, но надо вставать, «посмотрите на меня, какой я аккуратный» и т.д.

На это ему отвечали: «пошел к чорту!» Он не понимал и спрашивал: «qu'est ce, que c'est шорту? Je ne comprend pas».

Во дворе нашего пансиона была одна большая липовая аллея; направо и налево от аллеи находились большие площадки, на которых дети играли в лапту, чехарду, бегали взапуски, играли в пятнашки и, ставши по 5-6 человек в ряд, шли оживленно с натиском на таких же противников, и завязывалась борьба. Левая сторона площадки оканчивалась беседкой, густо обсаженной большими липами; в ней летом собирались любители пения и пели разные песни: великорусские, малорусские, польские, с разнообразием оттенков, что иногда выходило очень гармонично и звучно. Эта часть двора отделялась от другого двора, где стояли амбары, погреба и ледник, а в конце двора стоял дом, в котором жил директор гимназии.

В мое время директоров и инспекторов переменилось несколько: Петров, Любимов, Гренков, Пристюк, князь Дабижа. Все они отличались друг от друга какими-нибудь особенностями. Петров был добродушный старик, вспоминал о том, что и он был гимназистом и как старался всячески угодить начальству и хорошо учиться. Он был у нас, при мне всего 2 года, затем его перевели в Петербург, где он был начальником цензурного комитета[*].

---

[*] Петров, Александр Григорьевич – тайный советник, председатель С.-Петербургского Цензурного Комитета, родился в 1803 году. По окончании курса в Воронежской гимназии он поступил в Харьковский университет, где сперва слушал науки общие, а потом – курсы юридического факультета и этико-филологического отделения философского факультета. В 1819 г. (30-го августа) П. вышел из университета со степенью кандидата и получил назначение на должность преподавателя законоведения в Киевской гимназии (25-го февраля 1820 г.). Занимая одновременно с учительской должность чиновника особых поручений при попечителе Киевского учебного округа (с 8-го октября 1833 г.), а потом – синдика Университета св. Владимира (с 31-го января 1834 г.), П. в 1835 г. (25-го мая) был назначен директором училищ Киевской губернии; по учреждении к Киеве новой гимназии, занял место директора 1-ой гимназии (1-го января 1836 г.) и некоторое время исполнял ту же должность во 2-ой гимназии (в 1836 г.), а с 17-го мая 1838 г. назначен был инспектором классов Киевского Института благородных девиц. В это же время П. принимал участие в работах особого Комитета, учрежденного по Высочайшему повелению для начертания проекта Положения о раввинах и духовных при них управлениях (1840 г.). Служба П. в Киеве продолжалась до 20-го июля 1844 г., когда он был определен директором Ришельевского лицея. В течение 9 лет, проведенных в Одессе, П., сверх директорства исправлял должность попечителя учебного округа (с 27-го сентября 1844 до 23-го декабря 1846 г.), а впоследствии был назначен помощником попечителя с оставлением директором Лицея (3-го августа 1846 г.). В 1852 г. (16-го декабря) П. по прошению был уволен от должности директора Лицея, а 2-го февраля 1853 г. вовсе вышел в отставку. Чрез 7 лет он снова поступил на службу (21-го июля 1860 г.) цензором в Московский Цензурный Комитет, 17-го апреля 1863 г. получил чин действительного статского советника, а в 1865 г. (30-го августа) назначен был председателем С.-Петербургского Цензурного Комитета, будучи 1-го января 1875 г. произведен в тайные советники. В последних должностях П., несмотря на полученное им широкое философское образование, нисколько не отличался от самого обыкновенного цензора. Скончался он в С.-Петербурге 31-го июля 1887 года в должности председателя Цензурного Комитета и в звании члена Совета Главного Управления по делам печати. – ***Большая биографическая энциклопедия***.

Выходит, Александр Григорьевич, несмотря на свою отставку в 1853 г., в то же время «подрабатывал» в К. I Г. инспектором (при А.П. Любимове, директорствовавшем в 1844-57 годах, или же, скорее, при его преемнике А.К. Деллене), в годы учебы А.И. Рубца (1853-58)?

Александр Петрович Любимов был всегда кем-нибудь или чем-нибудь недоволен – петушился и горячился и был ужасно смешон. Он любил церковное пение и всегда выражался так: «вы сегодня пели хорошо, очень хорошо и даже добропорядочно». К учителям он всегда придирался и был недоволен их преподаванием и делал им выговоры в классе, в присутствии учеников, чем учителя были очень недовольны, но, в конце концов, переставали придавать этому значение, так как эти выговоры были ни на чем не основаны.

Николай Михайлович Гренков был небольшого роста, с плешью, которую он прикрывал большими волосами*, с длинным носом, по которому он всегда водил и гладил рукой. Он хотел, чтобы ученики его любили и почитали, как своего благодетеля. Он всегда придирался к баллам, которые были поставлены в журнале, и когда был недоволен, то надувался и пыхтел и на два тона выше делал выговоры ученикам. Речь его была всегда нескладна, и ученики любили его передразнивать и повторяли его слова с его же интонацией; он тогда плевался и говорил: «идите к чорту, бесенята, невоспитанные! такой сын не принесет никакой радости своим родителям, а только скорбь».

Тимофей Иванович Пристюк был высокого роста, очень благообразного и красивого вида, имел физиономию полную, стригся под гребенку; он был очень придирчив, шипел и даже сюсюкал, когда был зол, ученикам всегда очень доставалось от него.

Князь Дабижа имел вид очень благородный, одевался очень хорошо и был в высшей степени деликатен, очень мягок, приветлив и держался по-княжески: никогда не кричал, не повышал голоса, говоря речь, делал руками грациозные движения, очень поощрял в учениках желание говорить хорошо по-французски и по-немецки и жалел, что не преподают в гимназии английский язык, а то бы наша гимназия была первенствующей пред другими. Он сам хорошо говорил по-английски.

Все эти лица были большие драчуны и секли учеников розгами, исключая Петрова и Дабижа, которые были против телесного наказания. Особенно был жесток Пристюк, который любил наказания розгами, сам присутствовал при сечении и всегда приговаривал: «жарь, жарь, жарь сильней!» И когда ученики не плакали, не визжали и не кричали, он вырывал у секущих розги и кричал: «пошел вон, мерзавец, я вычту из твоего жалованья целковый! позвать Ивана Халявку!» Взрослых учеников секли особенно жестоко, давали минимум 100 розог в раз. Эта операция всегда совершалась по субботам, после обеда, в комнате-гардеробной.

Там стояла длинная скамейка; ученики вызывались по алфавиту: малец и великовозрастный, и так по очереди весь состав наказываемых, которых было 12-15 человек. Великовозрастные ученики убеждали мальцов, что криком ничего не поможешь, а нужно быть спартанцем и храбрым, ложась на скамейку, засунуть руку в рот и кусать ее, и тогда будешь храбрецом и героем между товарищами. Это ужасно возмущало Пристюка, а в детях возбуждало охоту к терпеливому перенесению всяких мучений. Для разнообразия, великовозрастные товарищи иногда разрешали мальцам кричать и визжать, что есть мочи; это они исполняли очень усердно, так что визг раздавался на улице, и проходившие тут старухи-нищие крестились и говорили: «мученики!.. чтоб их мучители кипели в аду в горючей смоле!»

---

* Речь идет о т.н. «внутреннем займе», когда лысеющие мужчины остатки волос зачесывают от пробора на эту самую плешь.

Был ученик Бобровников, который сидел пять лет в одном классе, его секли иногда и не по субботам; при наказании он подходил к Пристюку и просил: «позвольте лечь мне первому, а то я стою в последнем ряду, мне же некогда». Даже Пристюк махнул на него рукой. Бобровников впоследствии говорил, что если счесть все удары розог, полученные им в Киевской 1-ой гимназии, и превратить их в рубли, то он был бы богатым банкиром.*

Я раньше выразился, что нас хорошо кормили. Хозяйством 1-го пансиона заведывал эконом [Вацлав Казимирович] Смоленский (он был поляк); ему помогала его родная сестра, пожилая уже девушка – Текля.

Все учащиеся любили ее ужасно за ее добродушный нрав; она никогда злостно и грубо не отзывалась об учащихся, а мы ее всегда называли «Матка Бозка Ченстоховска», она же нас всегда крестила и просила не сравнивать ее с Богородицей. Как хорошо ни кормили нас, но молодежь от 12-15 лет всегда имела хороший аппетит.

Когда кто-нибудь замечал, что «Матка Бозка Ченстоховска» выходила в кладовую за какой-нибудь провизией, то сейчас собиралась кучка проголодавшихся учеников, во главе с Бобровниковым, подходили к ней, и Бобровников начинал ее расхваливать, говорил, что она попадет в рай за свою доброту к сироткам-детям, родители которых очень далеко, и что ее доброта всем известна, что все молятся о продлении ее жизни надолго.

Когда же она, умиленная этими словами, расцветала радостной улыбкой и благодарила Бобровникова за то, что он хорошо ее понимает, и она это ценит, компания проголодавшихся не дремала, пользовалась случаем и, если видела кадушку с маслом и черный хлеб, то одни запускали руки в масло и наполняли им тут же стоящие кувшины, другие хватали круглые, большие хлебы под мышку, а третьи тащили яблоки, сушеные сливы, наполняли карманы всем этим добром и, крикнув Бобровникову: «годи! гайда!», выбегали из кладовой с удивительной быстротой, а бедная г-жа Смоленская испускала крик ужаса и неистово вопила: «Северин, Северин [(племянник)]! ратуй! грабят разбойники!»

Мы же все спокойно усаживались в один из карцеров, и дележ производился удивительно справедливо. Мальцы поощрялись великовозрастными на такие подвиги, которые говорили им, что они будущие казаки и славные бойцы. А Смоленский в это время бежал к директору и сообщал, что «проклятые лайдаки» ограбили кладовую. Пристюк говорил: «я их допеку, я их разнесу, будут они у меня визжать под розгами!..» Но иногда позабывал выполнить обещанное.

Спальни для меньших классов находились наверху; во втором этаже были комнаты для приготовления уроков, большой зал с прекрасным паркетным полом и столовая; в нижнем этаже помещались спальни взрослых – 5-го, 6-го и 7-го классов. В 5½ часов все дети были разбужены и в 6 ч. собирались в зал для молитвы.

Молитвы читались наизусть, а псалмы по книжкам. Читать молитвы требовалось медленно, с толком, с расстановкой, что нами редко соблюдалось; обыкновенно чтецами выбирались лучшие ученики, читавшие очень быстро, и через ¼ часа молитвы были закончены. Отворялись двери в столовую; по правилам, сначала должны были туда входить меньшие классы, но взрослые этого не соблюдали и врывались всегда одни из первых.

Каждый класс имел свой особый стол; дети многолюдных меньших классов всегда сидели очень тесно друг к другу. Возле каждого стоял стакан чаю средней крепости, разведенный сахарным песком, тут же впереди стоял стакан молока и каждый ученик получал половину пятикопеечной булки.

---

* «Сидевший по пять лет в одном классе» Бобровников так и не смог закончить К. I Г., поскольку он отсутствует в соответствующем списке (в ближайшие к 1858 году), есть лишь Александр Петрович Бобровников, который окончил курс обучения в 1853 г., но его уже не мог встречать А.И. Рубец (1853-58). Как свидетельствует сам Рубец, «его Бобровников» поступил в драгуны (см. ниже).

Каждый стол младших классов имел своего старшего, который носил золотые погоны; когда он был голоден и хотелось ему поесть, он смело кричал: «Рубец, Богданов, Толчонов, Корницкий... оставляю вас в наказание без чая!» Когда ему возражали: «я ничего не сделал, я ни в чем не виноват!», то он говорил: «вы ничего не сделали, но вы толсты и здоровы, а я хочу есть!» И чай и булки уничтожались учениками 5-го, 6-го и 7-го классов, бывшими распорядителями за столами у мальцов. Жаловаться на них никто не смел, так как за это получалась смазь по лицу или удар по затылку.

После чая все отправлялись по классам – подготовлять окончательно уроки к этому дню. В половине девятого звонили, чтобы ученики одевались. Одевание состояло в том, что поверх курток надевали шинели, подбитые уксусом (иначе говорится: ветром), выходили во двор, выстраивались попарно. Являлись надзиратели, пальто у которых тоже было легкое, и поэтому они вели учеников очень быстро, что нам нравилось.

Мы входили в гимназию румяные, с блестящими глазами, раздевались в передней и расходились по классам, которые не имели особенно презентабельного вида и были всегда прохладны; скамьи в них были большие, черные, плохо выкрашенные; на них были вырезаны ножами различные изречения бедовых учеников и прозвища учащихся.

Каждый гимназист, с первых же годов, имел свое характерное прозвище, которое соответствовало всегда его внешнему виду, например: «Кабан» – Рубец, «Мамай» – Корницкий; Марковичи назывались: один – «Красная девица», другой – «Кабриолетка», и все в таком роде.* Вырезались на классных столах также какие-нибудь непристойные и неприличные слова и выражения. Прочитавши что-нибудь подобное, Пристюк говорил: «пойдем, я тебе нарисую на теле то, что ты заслужил за свое безобразное поведение! разве так дворянин выражается? это доказывает, что ты имеешь знакомство с мужиками и дурными людьми».

В 9 часов ровно, по звонку, приходили учителя. Учителей того времени можно было разделить на две категории: к первой относились те учителя, которые обращались с учениками грубо, дерзко, драли учеников за уши и за волосы до крови; они задавали уроки «отселе и доселе» и требовали, чтобы ученики знали урок наизусть, слово в слово, а если ученик рассказывал своими словами, то учитель бил его по щекам, таскал за волосы и говорил: «разве ты умнее министерского учебника? ты ведь дурак и должен придерживаться того, что написано в книге».

Поэтому долбня была ужасная, все заучивалось слово в слово, говорилось без запинки, без знаков препинания, нельзя было пропустить [ни] одного слова, так как тогда получалась бессмыслица. Некоторые молодые учителя, видя такое отношение старых к учебному делу, подражали им и безжалостно били и истязали учеников; они с удовольствием перенимали у старых учителей битье по пальцам и рукам линейками и квадратами. У иных детей долго не заживали раны и синяки на руках, пальцах и физиономиях.

И ученики всеми силами старались отплатить своим мучителям за это битье; они портили им платье: например, шубы смазывали салом или дегтем, калоши ненавистных учителей прибивали к полу гвоздями, потом самым нежным голосом просили позволения помочь им надеть калоши; получив позволение, подводили учителя к калошам, надевали их на ноги, а калоши, прибитые к полу, не давали возможности двигаться, и учитель при первом же движении вперед падал и больно ушибался (калоши же от дырок пропадали). Поднявшись, учитель схватывал половую щетку и начинал избивать ею направо и налево, правых и виноватых.

---

* Корницкий не числится среди окончивших К. I Г. в описываемые годы, а однофамильцы Маркевичи – Ипполит Иванович и Николай Николаевич вышли из нее вместе с А.И. Рубцом, причем второй из Маркевичей – с серебр. медалью. По воспоминаниям А.И. Маркевича (см. выше), он поступил в К. I Г. в 1854 году.

Во время ужасных гололедиц дети с притворным уважением предлагали таким учителям, например, Макинскому, опереться им на плечи, чтобы проводить их по льду; учитель, подкупленный их вежливостью, опирался смело о подставленное плечо, но тут-то и происходило самое интересное: ученик как будто спотыкается, в это время дает «подножку» учителю, тот падает, разбивает колени и не приходит в гимназию недели три.

Было два учителя – большие выпиваки, которые приходили в класс всегда навеселе, Один – учитель географии Корнаковский, прекрасно знавший свой предмет, прекрасно чертивший карты на доске, с красивыми очертаниями гор и берегов и всегда немые; эти прекрасно нарисованные карты очень хорошо укладывались в памяти учеников, которые сами отлично чертили всевозможные карты. Другой – учитель рисования Беляев, учившийся в петербургской Академии художеств, так же прекрасно преподавал свой предмет. Вследствие того, что он был беден, без средств, профессора в Академии не обращали на него должного внимания и не давали ему ходу; он стал пить, пил запоем, без просыпа.

По этой причине оба учителя были очень нервны, и малейший шум выводил их из себя. Корнаковский, если слышал шопот или перелистывание страниц, кричал: «опять стучишь, опять шумишь!», и ударял линейкой по головам, но ученики успевали отстраняться. Беляев, когда не был пьян, чертил в классе на доске фигуры греческих богов из мифологии: Юнону, Венеру, Юпитера, Меркурия, играющего на флейте, и т.д., что выходило очень красиво. Он любил поощрять способных детей и поддерживал у них желание учиться и делать рисунки с натуры; ему многим обязан впоследствии известный художник Забелло, который прекрасно лепил, делал вещи из мрамора и был прекрасный пейзажист*.

Третий учитель – Токарский, старый математик; он каждого ученика делал своим крепостным, дающим ему известный доход. Он говорил всем ученикам: «ты плохо учишься и должен брать уроки у меня!». За каждый урок он получал по два рубля; требовал также, чтобы все ученики, приезжая с каникул после Рождества и Светлого праздника, привозили ему из дому мзду за оказываемую им помощь в математике; он брал все: ветчину, колбасы, куличи, пасхи, брал головами сахар, фунтами чай, банки варенья, и чем больше получал от ученика, тем выше баллы ставил на экзаменах.

Родители, чтобы дети лучше учились, дарили ему портсигары, сигары, табак и даже кто-то подарил несколько дюжин игральных карт. Излишнюю провизию Токарский продавал нашему же эконому Смоленскому, с тем условием, чтобы во время завтрака получать себе от него ветчину или что-либо подобное для удовлетворения желудка.

Вторую категорию учителей составляли три прекрасных, гуманных, хорошо знающих свои предметы, учителя: воспитанник Петербургского педагогического института – Иноземцев, Девьен и прекрасно преподававший математику и впоследствии известный всему Петербургу, преподаватель высшей математики у гражданских инженеров, в Институте путей сообщения и в артиллерийской Михайловской академии, Петр Емельянович Рощин, наичестнейший, наидобрейший и благороднейший человек, как его всегда называл Бобровников – «второй Христос». Эти трое имели большое влияние на всех учителей и на всех учащихся в это время в Киевской 1-ой гимназии.

---

* Пармен Петрович Забела, или Забелло (1830-1917), в 1848 г. окончил К. I Г., в 1850-м поступил в Императорскую Академию художеств, за успехи в лепке был удостоен малой серебряной медали, в 1854-м уехал в Италию, где провел восемь лет.

Иноземцев преподавал историю всеобщую и русскую, русскую и общую словесность, выразительное чтение стихов и драматических отрывков из Пушкина, Шиллера, Шекспира. Сам он читал восхитительно отрывки из трагедий Кальдерона, Лопе-де-Вега, стихи Петрарки, поэмы Пушкина, Лермонтова, Кольцова и др.; его лекции в классе были одни из самых оживленных и достойных похвалы; весь класс был полон восторженных восклицаний, его называли «наш замечательный Перикл, наш Демосфен, наш замечательный Солон».

Когда мы изучали басни и стихи, он заставлял самих учеников писать басни и стихи, соблюдая все правила стихосложения и размеры: ямбы, хореи, гекзаметры и александрийский стих. Он завел у нас в гимназии такой порядок, что для сочинения употреблялись два часа рядом: один урок пишем сочинение, а на втором Иноземцев читал и разбирал недостатки написанных сочинений. При этом он никогда не бранился, а только смеялся над погрешностями юных писателей; смеялся он до упада, от всего сердца, вместе с учениками, которые выставляли свои недостатки в сатирических стихах.

Не забуду никогда, какое большое впечатление произвело на учащихся заданное в классе сочинение – написать басню, приняв за образец Крылова, Лафонтена и Хемницера; тема для басни должна быть самостоятельно выбрана каждым пишущим. На верху работы выставлялась фамилия ученика.

Когда проходил час заданного сочинения, Иноземцев собирал их и прятал в лично ему принадлежавший шкафчик, а после перемены приносил работы в класс и говорил: «ну, посмотрим, какие вы Крыловы, Лафонтены и Хемницеры».

Форма басни должна быть такова: сначала сюжет басни, а потом нравоучение из той же басни. Нас было 23 человека; все басни учитель читал по очереди и все они были пародиями на басни Крылова и Хемницера; дошла очередь до ученика Мельникова, и он начал читать так:

«Кот и муха»

Однажды кот раззявил рот,
А муха в рот ему влетела…

– А что же дальше? – спрашивает Иноземцев. – А дальше читайте нравоучение.

И он прочел:

Всякое дитя большое, садясь за стол,
Чтобы не замараться,
Должно всегда салфеткой завязаться.

В классе раздался гомерический хохот.

Давались еще темы по словесности и по истории древней, средней и новой; сочинения всегда писались в классе, а на дом не давались. Мы все любили Иноземцева, а потому с особым удовольствием писали сочинения в то время, когда он ходил по классу и заглядывал в тетради. Домой сочинений не давали, боясь, чтобы не было подделок и подлогов. Раз была дана тема: «Влияние средневековых событий на развитие человечества». Тем же Мельниковым это сочинение было написано стихами, начиналось так: «В древности народы были очень грубы, часто заводились ссоры, разбивались губы», – и вся средняя история была изложена хорошими стихами и в остроумных выражениях.

Задаваемые уроки по истории учащиеся должны были рассказывать собственными словами и всегда хорошим русским языком. Кроме того, Иноземцев всегда читал отрывки из истории Греции и Рима, и так хорошо читал, что восторженное состояние учеников было неописуемо. Одним словом, Иноземцева все боготворили, и когда он выходил из класса, то ученики окружали его и все в самых теплых выражениях благодарили его за доставленное уроком удовольствие.

Учитель Девьен, по-видимому, обруселый француз, был самого добродушного нрава; он преподавал естественную историю в младших классах и физику в старших. Все естественные предметы преподавались им практически: например, зоология – на коллекциях всевозможных насекомых (бабочек, жуков, мух и т.д.). От своих учеников, уезжавших домой на каникулы, Девьен требовал собирать редких насекомых и приготовлять коллекции, затем советовал, как делать для них ящики, какие пробки и булавки нужны для накалывания насекомых, объяснял, каким спиртом или эфиром лучше умерщвлять то или другое насекомое, чтобы оно не портилось и не теряло своей окраски, говорил, где и какое редкое насекомое можно достать на юге, севере или востоке и т.д.

Когда гимназисты возвращались с каникул с коллекциями, то Девьен всегда выражал восторг, если видел насекомое, не принадлежащее к данной местности.

По его инициативе мы изучали мастерства: слесарное, столярное, токарное, и все это применялось к изготовлению предметов разного вида коллекций по физике. В классах физики он предлагал делать физические аппараты своей выдумки, причем приходил в восторг, если кто-либо из учащихся придумывал свой собственный аппарат для физических опытов. Так, один ученик гимназии, когда проходили отдел о сложных блоках, которые называются полиспастами, применил 60 блоков в одном целом и наглядно показал, что малейшее движение одного блока передается чрезвычайно быстро всем остальным.

Все эти блоки были удивительно искусно выточены и отполированы самим учеником; этот полиспаст остался в физическом кабинете гимназии, и все ему удивлялись. Другой ученик представил аппарат, доказывающий силу электричества от трения стекла меховым предметом. Это производилось таким образом: брались 4 латинских лексикона Кронберга, складывались по два вместе, между ними вкладывалось большое стекло, которое опиралось краями на лексиконы, а над стеклом помещались вырезанные из папиросной бумаги фигурки и шарики из сердцевины бузины; когда терли по стеклу куском меха, то электричество передавалось находящимся над стеклом предметам, и они прыгали и танцевали.

Больше всего смешило Девьена предположение того же ученика, что если бы выстроить большой зал со стеклянным потолком и поместить туда людей в легких пробковых одеждах, стеклянный же потолок усиленно натирать мехом, то люди стали бы подниматься к потолку, прыгали б и танцевали, как бумажные фигурки, и, таким образом, на практике пришлось бы испытать действие электричества. Все ученики ужасно смеялись, а Девьен пожимал ученику руку и очень благодарил за такое открытие в области электричества.

Девьен ввел в обыкновение делать экскурсии и составлять коллекции по зоологии; для этого мы собирали ужей, ящериц, лягушек, закупоривали их в банки со спиртом, а если кто-либо из высшего начальства приезжал из Петербурга или Москвы в Киев и посещал 1-ю гимназию, то всегда показывали предметы занятий учеников. Девьен умел хорошо делать чучела, научил и нас этому; у нас были лисицы, зайцы, орлы, кобчики и даже большой журавль; все это гимназии ничего не стоило, так как все делалось учениками на свой счет. Все мы знали хорошо ботанику, потому что сами составляли коллекции цветов, трав, листьев, хорошо высушенных.

Экскурсии и занятия Девьена очень занимали учащихся и ободряли их; мы очень интересовались коллекциями, ходили по болотам, лазили в воду, чтобы доставать водолюбов и разных жуков, ловили оводов, слепней и других кусающихся насекомых; такие любители природы из учеников, если хорошо учились, получали в награду книги с чудными рисунками редких бабочек, пчел, шершней; они знали все подробности из жизни насекомых и все зоологические их особенности. Гимназисты хорошо знали ботанику, зоологию, а некоторые даже и минералогию.

Физические опыты всегда были удачно исполняемы, электрическая машина действовала прекрасно, гальванизм удавался, никогда не ставил в тупик тех, которые его подготовляли. Одним словом, Девьен был образцовым преподавателем, знающим, как подготовить детей к изучению физических законов, и его ученики основательно знали и долго помнили всю естественную историю. Его ровный характер и деликатные чувства не позволяли ему унижаться ни пред каким начальством, и потому начальство его недолюбливало, боясь, что он имеет вредное влияние на учеников. Девьен был самый любимый преподаватель гимназии. Нам всем он был очень дорог и памятен.

Он был уволен из Киевской 1-ой гимназии, как говорили, за неуважение к начальству; все мы негодовали за такое несправедливое отношение к Девьену, особенно на помощника попечителя Юзефовича, который, как бывший военный, выслал его из Киева в 24 часа, но, как говорили, Девьен сейчас же получил место учителя в Житомирской гимназии, Волынской губернии, где его тоже очень любили и почитали.*

Петр Емельянович Рощин был воспитанником Петербургского педагогического института. Во все свои годы пребывания там он был одним из первых учеников; он был лучшим учеником Остроградского. Не знаю, как и от кого моим товарищам удалось узнать, что Остроградский говаривал так: “в педагогическом институте только один Бог знает математику на «5», а я и мой ученик Рощин достойны получать только «4»”.

Рощин окончил педагогический институт в 1852 году; он был казеннокоштный, т.е. учился на казенный счет, а потому должен был известное время отслуживать свою стипендию, куда его ни пошлют учителем математики, а так как в то время было вакантное место учителя математики в Киевской 1-ой гимназии, то он и поступил к нам.

П.Е. Рощин имел прекрасный, дружелюбный характер; всегда обращался с учениками в высшей степени деликатно и мягко, добродушно и ласково. Если с ним встречался гимназист нашей гимназии и снимал перед ним фуражку, П.Е. останавливался, подавал ему руку и приветливо расспрашивал, где он живет, ходит ли часто в отпуск к своим родным, какая его специальность по способностям: математик ли он, историк, или любит словесность и какой род словесности особенно предпочитает: стихи лирические, эпические, и кто из поэтов ему больше всех симпатичен.

Если же встречался ученик, любящий математику, то Рощин радостно беседовал с ним о математике, и когда ученик приходился ему особенно по нраву, то он просил его убедительно ходить к нему на квартиру, где он встретит по вторникам и пятницам людей, хорошо знающих математику и знакомством с которыми можно дорожить. Когда Рощину встречались студенты без всяких средств, голодающие, П.Е., несмотря на то, что сам был очень беден, отдавал им все, что было у него в кармане, и никогда об этом не жалел.

Он делился с ближним по-христиански всем, что сам имел. При споре он никогда не выходил из себя, очень уважал мнение противника и, как математик; прекрасно доказывал спорящему с ним, что тот нелогичен, не приводит никаких логических доказательств в защиту своего мнения, а потому и неправ. Если его собеседник выходил из себя, горячился, то П.Е. прекращал спор и просил его окончить спор в другое время, когда он успокоится немного.

По вторникам и пятницам у Рощина собиралось очень много знакомых, спорили и рядили о житейских делах; все, бывавшие у него, оставались очень довольны такими беседами. Но на П.Е. пошли доносы, начальство говорило о нем, что он вредный преподаватель, оказывает вредное влияние на воспитанников, беседует о Боге, трактует вкривь и вкось христианское учение, что он ужасный атеист и т.д.

---

* Сей сюжет совершенно не совпадет с официальным circulum vitae В.П. Девиена (Девьена)! В том числе и в том, что он в 1857-м получил благодарность «за ревностную и полезную службу» от попечителя Киевского учебного округа князя И.И. Васильчикова.

Эти неправдивые мнения о Рощине увеличивали его адептов, а вместе с тем люди гадкие и лживые распространяли нехорошие и гнусные мнения о Рощине, что подало повод иным настойчиво требовать у попечителя того времени, князя Васильчикова, бывшего в то же время и военным генерал-губернатором в царствование Николая Павловича, чтобы Рощина удалили из гимназии, – и генерал-губернатор Васильчиков приказал Рощину уехать из Киева в Таращу уездным учителем.

На это приказание Васильчикова П.Е. отвечал, что он поедет на какое угодно место, где он может приносить пользу; но так как в Таращу он назначен в наказание, а он не сознает себя виновным, то он туда и не поедет, а останется в Киеве; если же его насильно увезут, то насилию он не будет сопротивляться. Получив такой ответ, Васильчиков навел справки о Рощине в Педагогическом институте и получил следующий ответ оттуда: «Рощин очень хороший человек, хороший математик и прекрасный преподаватель». Жена князя Васильчикова, очень развитая женщина, с добрым сердцем, узнав всю историю Рощина, очень упрекала своего мужа, что недобрые люди подтолкнули его на неблаговидное дело, и просила его убедительно прекратить это дело и оставить Рощина в покое.

Возле 1-ой гимназии находились небольшие домики в 2 и 3 комнаты – квартиры, в которых тогда жили следующие учителя: Корнаковский, Беляев, Куликовский, он же и надзиратель 2-го пансиона гимназии, и Рощин. Это все были добрые, хорошие люди, наичестнейшим образом относившиеся к своим педагогическим занятиям. Все они были люди холостые. Весною, летом и осенью, в свободное от занятий послеобеденное время, они всегда ходили гулять в Ботанический сад, зимою же в свободное время приглашали к себе на квартиру своих знакомых, для бесед и для чтения, если находились хорошие чтецы.

Любимым чтением того времени были повести Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова, его стихотворения и поэмы «Демон», «Мцыри», «Измаил-бей» и «Боярин Орша», Пушкина «Евгений Онегин» и «Горе от ума» Грибоедова; все это читалось с наслаждением и вместе с тем с боязнью, чтобы кто-нибудь не подсмотрел и не подслушал, что читают учителя с знакомой им молодежью: офицерами, студентами, юнкерами и кадетами. Именно в это время, в 1853 году, замечалось движение молодежи вперед в умственном сознании, которому все было тогда ново и интересно.

Только что возник вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости, и в обществе спорили и рядили о том, что может быть более нелепого и удручающего, как владеть рабами и продавать порознь людей – родителей в одну сторону, а детей в другую, что должно действовать ужасно возмущающе на всякого, более или менее развитого человека. Вопрос о крепостном праве очень тревожил и интересовал не только лучших русских людей того времени – офицеров, студентов, преподавателей, но и людей, стоящих во главе власти, как, например, генерал-губернаторов и других правительственных лиц. Чиновники из высшего круга и класса ужасно боялись произведений, вроде уже распространенных в обществе пасквилей и памфлетов на современное общество, произведений нахальников (как называли авторов), не дающих никому из чиновных лиц продолжать спокойно жизнь в обществе, не позоря их насмешкой.

А все обитатели квартир Киевской 1-ой гимназии были добродушнейшие и очень снисходительные ко всяким проделкам высших чиновников люди и занимались, как, например, Корнаковский, самыми скромными занятиями. Одна комната его квартиры служила ему кабинетом и спальней, вторая же была переполнена массой канареек и чижей, за которыми он ухаживал с большою нежностью, заботой и любовью: кормил их канареечным семенем, заботливо относился к нарождающемуся поколению канареек и наслаждался хором своих воспитанников; он приготовлял всевозможные инструменты для поощрения и возбуждения их желания петь.

Иные птички были так выдрессированы, что прилетали в его кабинет, бесцеремонно рассаживались на плечах, голове и руках его и тем доставляли Корнаковскому, а так же и Беляеву, большое наслаждение.

Весной и летом Корнаковский открывал окна, и они вылетали во двор 1-ой гимназии, а при звуке пищика и трении металлических прутиков прилетали сейчас же обратно и садились на ветвистую сосну, которая стояла посередине комнаты, и радостным шумом своих голосов возвещали, что они, послушные требованиям хозяина, вернулись назад.

Корнаковский был очень аккуратен и для ухода за птичками, в то время, когда сам был в гимназии, нанял одну старушку с внучкой; они-то и убирали комнату канареек. Трогательны и поэтичны были сцены канареечной комнаты; гимназисты всех возрастов на большой перемене толпились у окон этой комнаты и любовались, как малолетняя внучка старухи видимо наслаждалась проделками птичек над собою; когда она хлопала ручками, выражая свой восторг, канарейки не пугались, садились ей на плечи, впутывались в ее курчавые волоса, а она им помогала выпутываться.

Государь Император Николай Павлович верил только военным людям и находил, что если во главе учебных заведений находятся его генералы, то только тогда можно спокойно существовать и дело народного образования будет тогда улучшаться и введется строгая военная дисциплина между учащимися. Из всех военных губернаторов ярко выделялся генерал-губернатор Бибиков; он был ужасно занят обширными делами Киева и Киевской губернии, так как он был, вместе с тем, и попечителем Киевского учебного округа, а власть его, как генерал-губернатора, распространялась, кроме Киевской, на Подольскую, Черниговскую и Волынскую губернии. Он сам во все входил, не доверяя никому из окружающих его лиц. Бибиков был неимоверно строг к своим подчиненным, если видел, что они недостаточно хорошо исполняли возложенные на них обязанности. Его очень все боялись; он нагонял страх своим страшным видом и разъяренностью своего характера.

Он строго держался такого режима и всегда был строг с учениками гимназии, студентами университета, кадетами Киевского корпуса, а также и с начальством всех учебных заведений; посещал все учебные заведения внезапно, не предупреждая, и не дай Бог, если при этом были обнаружены какие-нибудь упущения. Все перед ним трепетали – и студенты, и дети. Вследствие его неимоверной строгости, студенты, дети и гимназисты держали ухо востро и была удивительная тишь и благодать в учебных заведениях.

Всякий проступок против дисциплины строго наказывался. Если, например, студент-медик встречался с Бибиковым на улице и был не в форме, без пуговок или расстегнут и не давал удовлетворительного объяснения, Бибиков говорил: «иди к ректору и скажи ему, что я ссылаю тебя фельдшером в N-ский полк на три месяца». Если студент был словесник, то Бибиков ссылал его в уездный город писцом в уездный суд на несколько месяцев; если провинившийся был математик, то его ссылали учителем арифметики к кантонистам, положим, в Кременчуг, Полтавской губ., на 2 или 3 месяца. Студенты препровождались к месту ссылки под конвоем жандармов; от начальства той местности, куда ссылался провинившийся, требовалось, чтобы оно извещало еженедельно о поведении студентов.

Если случались волнения в университете, Бибиков приходил в университет, прямо входил в кружок студентов, требовал, чтобы они сознались в своей вине и прислали бы к нему двух или трех человек выборных, с которыми он мог бы побеседовать о случившемся.

Его речь к студентам была удивительно красноречива и убедительна; когда он видел, что его речь успокоительно влияла на студентов и что не нужно никаких карательных мер, он говорил: «господа! всему тому, что я вижу и слышу от вас, я не могу придавать большого значения и очень удивляюсь, что можно было волноваться такими пустяками; я прощаю вас и думаю, что в другой раз вы будете осмотрительны», и брал с них слово, что в последующее время не случится больше таких казусов. В своих беседах и речах, обращенных к студентам, Бибиков часто употреблял пословицы и остроумные выражения.

Все классы 1-ой гимназии очень враждовали между собой и отстаивали один у другого свое первенство; например, ученики 3-го класса не хотели уступить превосходство 4-му, бились, дрались и не просто кулаками, а коромыслами и даже кочергами. Драки были ожесточенные, кровь лилась ручьями, и какой-нибудь юноша, идя впереди других с окровавленным лицом, говорил: «хотя и нос разбит, но наша взяла – мы победили!»

Такие драки часто оканчивались повреждением спины, ребер и выбиванием зубов. Раз такого рода драка окончилась плачевно: несколько учеников были изувечены, ребра поломаны, зубы выбиты, носы расквашены и все лица покрылись опухолью; этих пострадавших отвезли в больницу, находившуюся во 2-м пансионе 1-ой гимназии на Эспланадной улице. Такой случай нельзя было скрыть от генерал-губернатора Бибикова.

Бибиков приказал собрать две гимназии – 1-ю, в которой было 300 человек учащихся, и 2-ю, в которой было 600 гимназистов, и велел всем собраться на площади возле здания 1-ой гимназии. Три пансиона этой гимназии пришли в только что сшитых курточках, а гимназисты 2-ой – в новых мундирах. 1-ая гимназия стояла с левой стороны, 2-ая справа.

Из кадетского корпуса приехала телега, нагруженная чем-то и покрытая войлоком. Каждый подумал, что привезли, вероятно, розги, и обучавшие гимназистов маршировке унтер-офицеры должны будут произвести расправу.

В назначенное время (это было ранней осенью, в воскресение) Бибиков подъехал в фаэтоне; мы выпрямились, как самые бедовые солдаты. Он встал во весь свой рост, левой рукой облокотился на плечо своего кучера (правая была у него оторвана ядром во время войны*) и громко крикнул: «на чем стоишь, на том ложись!» Все легли и у всех промелькнула мысль, что сейчас будет всеобщая порка, но Бибиков в другой раз громко крикнул: «храпи во всю мочь!», и началось ужаснейшее храпение 900 душ.

Третий раз Бибиков крикнул: «трись по земле!», и тут началось катание гимназистов по голой земле, а перед тем за полчаса прошел дождь, и земля была мокрая, так что все одежды гимназистов были ужасно перепорчены. Затем Бибиков крикнул: «смирно! умрите и будьте безмолвны!» Все остановились, в какой позе кто был; тогда он обратился к начальству обеих гимназий с следующими словами: «вот как, надо дрессировать мальчишек и доказать им, что они должны безапелляционно исполнять приказания начальства; нелепо так распускать мальчишек!» Сел и уехал.

---

* Все-таки Д.Г. Бибикову в Бородинском сражении (1812 г.) ядром оторвало левую руку, кроме того он был тяжело ранен в грудь и правую руку.

Кто пострадал от этого? Директора и инспектора гимназий да родители своекоштных учеников 2-ой гимназии, потому что платья учеников обеих гимназий были окончательно перепорчены – изорваны и изгажены грязью.*

При 2-м пансионе гимназии находилась больница, которая помещалась в 5-ти больших комнатах, называемых палатами. В каждой палате стояло по 5 больших коек с хорошими тюфяками и одеялами. Если ученик поступал почему-либо в больницу, то его раздевали, клали в постель, присуждали ему ¼ порции еды, словом, лечили его, как серьезно больного. Доктор у нас был старик лет шестидесяти, фамилия его была Зевеке; он-то и лечил, и осматривал больных учеников и считался очень хорошим практиком и знающим доктором. Осматривая вновь поступающего больного, Зевеке щупал пульс и, глядя на часы и делая серьезную физиономию, говорил: «вы серьезно больны!» – «О, да, господин доктор, я ужасно болен, у меня сильное сердцебиение и головокружение, я не могу просидеть и ¼ часа в классе!» Добрый Зевеке очень хорошо понимал, что ученику хочется несколько дней отдохнуть и выспаться, и сейчас же предписывал фельдшеру, чтобы тот дал ученику касторового масла и 3 грана хинина.

Облаток тогда не было, и эту отраву нужно было пить из рюмки. Ученик, заливаясь слезами, просил Зевеке освободить его от этого лекарства, говоря, что он и в детстве никогда не принимал лекарств; тогда добрый доктор заменял хину с касторкой порошками соды с кислотой. «Но вы должны, – говорил при этом Зевеке, – быть на полпорции еды и будете так питаться целую неделю». Ученик снова плачет, говоря, что от такой диэты он совсем отощает, и просит убедительно назначить полную порцию. Доктор окончательно смягчается и говорит болящему, что через 4 дня здоровье его вполне восстановится.

Доктор хорошо видел, что ученику после долгих трудов хочется отдохнуть, ибо ученики вставали очень рано – в 5½ часов, занимались много часов подряд, потому у них всегда был огромный аппетит и всегда им хотелось спать, так что подготовляли уроки к следующему дню вялые и сонные. Зевеке входил в положение ученика и давал ему возможность 3-4 дня выспаться всласть, хорошо поесть, почитать книги, написать письма к родным, и тем доставлял мнимо-больному полное счастье. Эпидемий у нас в гимназии не было никаких; ни кори, ни скарлатины, ни горячек; никаких «страшных» лекарств не употреблялось, как только хина, касторка, содовые порошки и «девичья кожа», которая прописывалась иногда при кашле и когда першило в горле.

Была только доктору возня с теми, кто участвовал в драках: приходилось перевязывать раны и прикладывать примочки к синякам.

---

* Не можем здесь не подключить живописный сюжет из воспоминаний Николая Ге «Киевская Первая гимназия в сороковых годах»:

Нашу церковь, как находящуюся в Липках, посещали лица высших сословий, которые жили преимущественно в Липках. Появились новоприезжие – две дамы, две сестры П. Желая пользоваться их обществом, начал посещать нашу церковь генерал-губернатор Бибиков. Вот по поводу этих посещений наш добродушный директор-артиллерист принялся приводить наш внешний вид в порядок. Прежде всего нас остригли, затем нас начали строить так, чтобы линии голов были верны. Директор бегал, пригибался чуть не до земли, чтобы видеть чистоту линии; затем быстрые вопросы: кто спереди, кто сзади, кто справа, кто слева. Бибиков, разумеется, нас не видел, мы же видели и его, и его свиту, в которой тогда состоял даже один поэт [Виктор Ипатьевич] Аскоченский – в синем фраке с металлическими пуговицами. К нам в пансион даже дошло его поэтическое посвящение двум П., напечатанное на голубой бумажке золотом. А вот когда нас увидал Бибиков, и мы почувствовали его обращение. Он остановил нас, идущих целым пансионом до 100 человек, заметил у одного ученика не застегнутую одну или две пуговицы на куртке. Он остановил всех нас и закричал, что «другой раз я тебя здесь выпорю, ежели это случится». Нам всем стало стыдно за него.

Законоучителем моего доброго старого времени был протоиерей Каменский, который на вид был очень суров, а на самом деле добрейший и сердечный человек. Он настойчиво говорил, что молитвы надо знать твердо наизусть и вместе [с тем] сознательно относиться к их смыслу – знать, кому они предназначены и какую цель имеют. Иные же родители учат детей долбнею, слова молитвы коверкают, два слова соединяют воедино, не соблюдают знаков препинания, оттого выходит ужасная белиберда при быстром чтении молитвы; родители говорят, что детям нужна вера, а не слова, но это не совсем правильно.

Отец Каменский строго следил, чтобы ученики младших классов произносили молитвы не торопясь и чтобы каждое слово выговаривали отчетливо, а фразы – со смыслом и выразительно. Он говорил: «хотя наша религия требует чистой веры и стремления к правде, тем не менее, человеческий разум и сам Господь Бог допускает, чтобы в молитве был правильный выговор слов и выражение при чтении ее».

Молитвы и все церковные службы – обедни Иоанна Златоуста, Василия Великого, Преждеосвященных Даров, всенощные – дети должны внимательно выслушивать, помнить великое значение их и твердо знать, в каких местах церковных служб нужно становиться на колени всею церковью, когда наклонять головы и т.п.

Молитву пред принятием святых Тайн все учащиеся должны были повторять за священником громко, внятно, с выражением и с сознанием всей важности таинства причащения. Настойчивость во всем том, чему отец Каменский счел нужным научить нас, дали прекрасные результаты. У нас в [гимназической] церкви часы, апостол, великопостные чтения на 1-ой, 4-ой и особенно на 7-ой, страстной неделе обязательно читались учениками старших классов по выбору и назначению священника; порядок в церкви на службах был у нас образцовый и тишина удивительная: никто не смел разговаривать, молитвы читались шепотом.

Ученики должны были знать, какое Евангелие читалось в данное воскресенье. Отец Николай* часто на уроке внезапно кого-нибудь об этом спрашивал и журил тех, которые забывали. Он никогда не жаловался нашему начальству на проступки учеников во время богослужений, а сам отечески уговаривал тех, которые были замечены им в нарушении и неисполнении церковных обрядов и благочиния. Мы его горячо любили за правдивость и настойчивость в своих ревностных требованиях внимания учеников к храму Божьему.

Из особенно религиозных, соблюдающих благочиние, почтительных и искренно верующих учеников он выбирал себе псаломщиков, пономарей и дьячков; они читали на клиросе, подавали кадило, носили свечи во время выходов и наблюдали за порядком и тишиной во время принятия причастия. Учащиеся не толпились, шли равномерно один за другим к отцу Николаю; после принятия Тайн выборные ученики вытирали губы приобщившихся шелковым платком и отводили их с правой стороны на левую, для получения просфоры и запивки причастия кагором, легко разведенным теплой водой.

Отец Каменский, «правдивый», как его прозвали, требовал, чтобы в церкви было два хора. Всех певчих обоих хоров было до 50-ти человек. Первый хор состоял из хорошо и основательно знающих напевы всех богослужений; певчие учились сначала по слуху, а потом и по нотам. Второй хор, на левом клиросе, состоял из начинающих, неопытных певцов, мало знающих трудные и сложные мотивы таких песнопений как «Милость мира», «Тебе поем», нотное «Отче наш» и запричастное пение.

---

* В миру – Василий Петрович Каменский.

Они пели только «Господи, помилуй», простое и тройное, символ веры, поочередно с первым хором, каждый по одному члену, и молитву Господню, точно так же по очереди каждый. От регента Ефимовского требовалось всегда аккуратное, в известные дни, обучение пению в каком-нибудь свободном классе, в послеобеденное время, два раза в неделю.

Первый хор состоял из лучших голосов, выбранных из всех семи классов: мальцов-сопрано, альтов и взрослых из 5-го, 6-го и 7-го классов, которых Ефимовский называл тенорятами, бесенятами и басами; бесенятами он называл хорошие голоса, но малозвучные, по неразвитости организма. Почти что все великовозрастные ученики не принимали участия в хоре, потому что не хотели подчиняться требованию Ефимовского исправно в понедельник и четверг посещать спевки; они всегда отказывались тем, что горло болит или в горле першит, или что мозоли не позволяют выстоять часа 1½ на спевках.

Все хористы любили очень церковное пение, были всегда аккуратны в хождении на спевки, скоро выучивали новые мотивы. Спевки происходили в 1-м «наиблагороднейшем» пансионе, в здании графини Илинской; все выбранные из 2-го и 3-го пансионов собирались сюда. Ефимовский выбирал очень мелодические и гармонические хоры, потому что в юности пел в хоре Духовной академии в Братском монастыре; он имел прекрасный, густой бас. Он следил строго за поющими в хоре, чтобы они не кричали, не спешили, хорошо выговаривали слова песнопений и были бы внимательны к нему, когда он показывал знаками различные оттенки напева.

Церковь находилась в самом здании гимназии. Так как 1-ая гимназия была в Липках, где жили по преимуществу все люди знатные и богатые, то в субботу на всенощной и в воскресение на обедне было много дам, девиц и детей. Каждая дама имела свое определенное место, где стоял всегда стул, чтобы можно было отдохнуть. Так как в нашей церкви был образцовый порядок и тишина, то все любили посещать ее и молиться в ней.

У нас было много поляков-католиков; для преподавания им Закона Божия приглашались два ксендза: бискуп был всегда одет во всем белом церковном одеянии*, он был, кажется, монахом Бернардинского ордена; другой, молодой ксендз, вышедший из католической академии, был еще в низших степенях католической иерархии. Каждое воскресение ученики-поляки ходили в 12 часов в костел и, по окончании служения, шли в отпуск к родным, близким и друзьям их родителей и оставались там до вечера.

Во время говения ксендз требовал, чтобы исповедующийся ученик писал на записку все свои прегрешения и подавал исповеднику, и когда он упадал на колени перед ксендзом, тот читал вслух его грехи, а кающийся клялся исправиться и удостоиться прощения Бога Отца, Сына и Святого Духа и Пресвятой Девы Марии.

Были такие шалуны и бездельники, в особенности великовозрастные, что выкрадывали у поляков их листочки с покаянными грехами из столов и перемешивали их; делали это всегда поздно вечером перед самой исповедью, и тогда бедные, положим, Корницкие, Иомейко, Мазевские, бывали ужасно сконфужены, когда ксендз читал не их грехи, а других товарищей-поляков. Одного такого беспутного человека накрыли в его злом намерении перемешать грехи и избили ужаснейшим образом, так что в другой раз он уже не осмелился поступить так с грехами своих товарищей.

Преподавателем французского языка был Гедуэн, который прожил в Киеве и преподавал французский язык в 1-ой гимназии около 40-ка лет; он имел собственный пансион для богатых молодых людей, за содержание которых он брал большие деньги – 600-700 руб. [в год], с музыкой и французским языком.

---

* Бискуп – обычно, католический епископ.

Проживши в Киеве 40 лет, Гедуэн очень плохо говорил по-русски; его русский язык состоял из множества гадко выговариваемых польских, немецких и русских исковерканных слов, например, он говорил: «если я тебе, мальчику зеро полеже, то сам чорт не перележе!» Он был очень правдивый человек и верил всему тому, что ему ни говорили молодцеватые и дерзкие ученики.

Гедуэн заставлял писать с русского на французский язык различные переводы. Эта работа всегда сопровождалась всевозможными хитростями, чтобы переводы были удачны. Переводы делались порядочно знающими французский язык поляками; писались они на длинной полоске белой, толстой бумаги и помещались в левом рукаве куртки, а на конце этой полоски привязывался шнурок, который пролегал в левый рукав и протягивался по левой ноге под панталонами. Когда ученик писал свой перевод на доске, то левая его нога была согнута, он вытаскивал исписанную полоску из рукава и смело переписывал французские фразы, Гедуэн же в это время спрашивал урок – спряжение правильных и неправильных глаголов, потом подходил к пишущему на доске, тот выпрямлял свою левую ногу и кусочек бумаги скрывался в левом рукаве куртки.

Гедуэн очень строго ставил баллы, и больше всего доставалось ученикам 3-го пансиона – «хуторянам», которые никогда не знали порядочно французского языка. Гедуэн, преподавая грамматику, читал ученикам одно и то же по несколько раз, без объяснения слов по-русски, и потом спрашивал: «Avez vous compri, messieurs?», – а ученики все хором кричал: «non».

Этим своим ответом ученики доводили Гедуэна до изнеможения и, как говорится, до третьего цыганского пота: во-первых, отчаянным произношением, а во-вторых тем, что учитель должен был читать одно и то же по грамматике 6 и 7 раз, пока, наконец, гимназисты, сжалившись над ним, на вопрос: «avez vous compri?» [не] кричали дружно: «вуй» [«да»]. Тогда Гедуэн радостно соскакивал с кафедры и, довольный и веселый, шел в учительскую, думая, что совершил что-то очень важное и хорошо выполнил свой долг.

Раз Бобровников задумал пошутить над Гедуэном: он принес в класс хорошенькую, бронзированную чернильницу и поставил ее перед учителем. Гедуэн в этот день был в хорошем расположении духа, поставил точки в журнале тем ученикам, которых хотел спросить, спросил лучших учеников класса и каждому поставил по «5»; спросивши урок, он пошел к тем, которые писали на доске переводы, и одобрительно отозвался об их работе; в это время Бобровников подбежал к кафедре, чистым платком махнул по журналу, и все знаки и баллы, поставленные Гедуэном, исчезли: он приготовил очень искусно чернила из березового угля, так что когда написанное им просыхало, то стоило только слегка ударить платком, и на бумаге ничего не оставалось – чернила исчезали.

Гедуэн, вернувшись от доски, хотел поставить двойку кому-то за перевод, вдруг видит журнал совершенно чистым: ни одной отметки, ни точек не осталось в журнале и помину от них. Он так рассердился, что, шатаясь, выбежал в учительскую и в этот день больше не возвращался в класс. Бобровников, как только убежал Гедуэн, принял свою чернильницу с удивительными чернилами и заменил их обыкновенными, после погрозил всему классу кулаками и сказал: «не смейте говорить, что он меня спрашивал и что это сделал ему я в пику! говорите, что я все время сидел на месте и вел себя хорошо». Явился [надзиратель] Пристюк, взял перо и написал на отдельной бумажке слова; когда чернила немного подсохли, он махнул своим шелковым платком так, как сделал это Бобровников, но его платок только запачкался. «А, я понимаю, – сказал он, – я эту шутку хочу разъяснить».

Через два дня явился Гедуэн, суровый, сердитый. Он начал ставить разные знаки в журнале, опять из той же новой чернильницы чернилами Бобровникова, а потом пошел проверять переводы и выученные стихи, написанные наизусть по-французски.

Внезапно приходит Пристюк; увидя новую чернильницу, он захватил ее, написал несколько слов на бумажке новыми чернилами и, когда они подсохли, махнул платком, и на бумажке ничего не осталось. Пристюк встал, позвал Бобровникова и сказал ему: «я тебе покажу, как обманывать, я тебе всыплю 150 розгачей! я доведу до сведения попечителя о твоих мерзких поступках, ты будешь изгнан из гимназии и сослан на Кавказ; повоюй там с черкесами!». Но Бобровникова на Кавказ не сослали, а когда через Киев шли войска драгун, гусар, улан и кирасир, чтобы занять места, по назначению, в Крыму – в Севастополе, он с другими великовозрастными товарищами поступил в драгуны. Впоследствии все они стали храбрыми героями и борцами за славу своего отечества.

Преподавателем немецкого языка был у нас известный в Киеве учитель Макинский. Он был высокого роста, блондин, с курчавыми волосами и имел благовидный вид. Он выглядывал, что называется, борцом – сильным, мускулистым человеком. Он носил из тонкой и мягкой кожи сапоги и ступал твердо, тяжеловесно. Все мы говорили о нем, что он «человек с весом», т.е. начинающий полнеть. Он учился в Дерптском университете и был «ein alter Bursch»*, любил очень пиво, любил и ценил свои победы на рапирах и всегда был счастлив в поединках. Он любил бороться по-французски и по-английски (бокс), но при этом не уважал бокса и говорил всегда, что боксеры – ненавистные мясники.

Во время своего дежурства, после обеда, он очень много ходил взад и вперед по длинной анфиладе классных комнат, в продолжение часа, а затем садился в кресло, выпивал кофе и дремал, понемногу всхрапывая. Он строго наблюдал, чтобы уроки немецкого языка были хорошо усвоены учениками. В младших классах ему это удавалось, но когда ученики переходили в старшие классы, он ставил «1», «2» и «3» тем, которые в меньших классах учились на «5». Начальство вообще везде мало обращало внимания на французский и немецкий языки.

Если Макинский ставил ученику «3», то это означало, что ученик может обедать; Макинский ему говорил: «essen Sie ganz gut und fühlen Sie sich recht gut»**. Тем из великовозрастных, которые сидели по 4 года в одном классе, он ставил, для очистки совести, единицы и даже нули. Макинский говорил всегда: «чтобы быть дворянином, нужно быть богатым и знать хорошо немецкий язык». Плохо знающим он говорил: «Sie haben vergessen, Sie die Buchstaben aussehen, вас надо постегать розгами, und man muss Sie gut auspeitschen»***. Макинский был очень рад, когда через Киев проходили войска в Севастополь и великовозрастные ученики 3-го класса поступили в ряды этих войск. «Это и есть ваше настоящее призвание», – постоянно говорил он им.

Макинский любил только тех учеников, которые, поступая в гимназию, уже умели правильно говорить и писать на обоих языках, и ставил им хорошие баллы; такими учениками были обыкновенно поляки. Макинский очень любил рассказывать о своей дерптской студенческой жизни и показывал шрамы на лице, плечах и груди – следы поединков; в подтверждение того или другого удачного применения им самим выдуманного способа борьбы, он вставал и делал различные движения, показывал на деле свои знания в борьбе, при этом приходил в азарт, стучал кулаками, и его мускулы на руках показывали, какой громадной силой он обладал; все это он проделывал обыкновенно без вицмундира.

Выходя с нами на прогулку, он всегда одевал безукоризненно изящное пальто и такую же шляпу – цилиндр. Он широко шагал по тротуарам киевских улиц, так что мы за ним не поспевали, и только стоны детей заставляли его образумиться и умерить свои шаги; он оборачивался тогда лицом к детям и отбивал такт ногами назад.

---

* «Престарелый бурш (член студенческой корпорации в Германии)».

** «Ешьте довольно хорошо и чувствуйте себя по-настоящему хорошо».

*** «Вы забыли, вы проглядели букву, <…>, и вас надо хорошенько выпороть».

Любимыми его ругательствами были: «ach du alter Pelz, der eine ist von Stroh und der andere ist ebenso», или: «ach du alter Naseweis»*. Он знал хорошо гимнастику и, чтобы показать свою силу, брал по пяти мальчиков на каждую руку и встряхивал их; то же самое проделывал он и с десятью старшими учениками; потом ставил себе на каждую ладонь по одному малышу и делал с ними гимнастику, а они ужасно боялись и кричали, думая, что сейчас упадут.

За год до смерти Макинского я был у него. Он мне очень обрадовался; был он уже очень слаб – ему было тогда около 80-ти лет. В Киеве у Макинского был пансион из 40-ка человек; у него в пансионе немецкий язык процветал. Ученики его пансиона жили у него по-семейному: обедали за двумя столами, по 20-ти человек за каждым; жена его и родственница разливали суп, а ученики вели себя «sehr famos artig»** и удивительно спокойно.

Другой преподаватель немецкого языка и, вместе с тем, надзиратель был (не помню точно фамилии), кажется Штейн. Это был очень толстый, круглый немец, держал себя степенно, мало говорил, может быть, потому, что плохо выговаривал слова по-русски. Штейн никогда не выходил из себя, не ругался и не давал воли рукам, боясь, вероятно, как-нибудь затрещиной обидеть дворянина.***

Он настойчиво требовал от учеников, чтобы они отчетливо и громко произносили слова переводов из Seidensticker (немецкое руководство), твердо знали правильные и неправильные глаголы и медленно и с выражением читали по-немецки стихотворения и басни, и на каждом шагу поправлял выговор слов. В рекреационное время, когда он был дежурным надзирателем, он прибегал к наглядному способу обучения, для того чтобы дети лучше запоминали немецкие слова; он брался за стул и говорил: «Das ist ein Stuhl».

Дети, усмехаясь, говорили, что немецкий язык очень похож на русский, только слова выговариваются мягко, и прозвали Штейна «Der Stuhl»; говорили, например, так: «Der Stuhl ушел», «Der Stuhl пьет кофе» и т.д. Маленьких учеников своих классов он знакомил с немецкими названиями предметов, находящихся в комнате, строго наблюдая за правильным употреблением определенного и неопределенного членов, с названием одежды, белья, употребляемых в пищу продуктов (масла, сахара и т.д.), с названием экипажей, животных, цветов и прочее. С учениками 3-го пансиона – «хуторянами» он особенно старательно занимался, и благодаря прекрасному преподаванию Штейна дети любили немецкий язык и многие получали хорошие отметки. Штейн занимался в младших классах, а Макинский в старших, и когда к последнему переходили ученики Штейна, он очень удивлялся познаниям их и тому, что только «хуторяне» – ученики 3-го пансиона продолжали хорошо заниматься по-немецки: хорошо писали сочинения и диктанты.

Впоследствии Штейн занимался и в старших – 4-м и 5-м классах. Немецкие сочинения состояли в том, что ученики должны был писать письма к родным и товарищам; давались также темы по истории русской и всеобщей. Иноземцев полюбопытствовал узнать, какие важные исторические события описываются по-немецки учениками старших классов.

---

* «Ах ты, старая шкура, кто-то у нас из соломы сделан и другой – такой же»; «ах ты, старая выскочка».

** «Очень, на славу, учтиво».

*** Это, предположительно, учитель немецкого языка и комнатный надзиратель пансиона К.Э. Траутфеттер (1855-60), который был таковым как раз в годы учебы А.И. Рубца (1853-58).

Сначала он подшучивал над слишком краткими изложениями того или другого события, но когда прочел сочинения на немецком языке: «Причины войны греков с Троей», «В чем состояла деятельность царей Рима Нумы Помпилия и Сервия Тулия», «В чем заключается разница законов Ликурга и Солона», то перестал смеяться и, встретившись раз в коридоре с Макинским, пожал ему руку и сказал по-немецки: «прекрасна ваша метода и цель преподавания; для усвоения немецкого языка вы заставляете учеников в сжатой форме излагать усвоенное уже по другим предметам».

Иные учителя, относившиеся к ученикам грубо, читавшие свои лекции – как будто отбывали барщину и не заботившиеся о том, чтобы ученики хотя бы порядочно знали их предметы, ругали и поносили Иноземцева и его сподвижников.

Штейн любил прогуливаться тихо: ходит, бывало, ходит, вдруг остановится и, как будто отдыхая, заговорит с нами; из его разговоров мы узнали, что он любит поесть и очень любит кофе. Когда мы уезжали домой на летние каникулы, то Штейн напутствовал нас многими полезными советами.

Он убеждал нас не оставаться все время без дела, а заниматься всегда каким-нибудь полезным делом; например, рассматривать состав почвы и ее удобрение, узнавать, чем отличается огородная земля от другой, какая должна быть ее обработка и удобрение и когда она может давать хорошие доходы и обильные урожаи; советовал нам наблюдать за дождевыми червями, на вид такими противными, а на самом деле очень полезными в деле удобрения почвы; не убивать понапрасну маленьких птичек, которые приносят нам очень много пользы, истребляя во множестве разных вредных насекомых; не преследовать лягушек, так как они тоже уничтожают вредных насекомых – мух, комаров и других; по крику зеленых лягушек, которые сидят на деревьях, угадывать ту или другую погоду, какую придется пережить в следующие дни; не отбирать у птичек яиц, не лишать их этой бесцельной жестокостью птенцов; наблюдать за ласточками и грачами, которые точно указывают время, когда к нам приходит весна; наблюдать за болотной дичью, но не убивать ее; пить много молока, так как оно полезно для здоровья, а в особенности парное; наблюдать за пчелами и насекомыми, дружить с пасечниками, не бояться пчел, только не дразнить и не беспокоить их в улье и т.д.

И много других хороших и полезных советов давал нам Штейн; советовал как удить рыбу; учил нас отличать по крику пугача от совы, которая по ночам истребляет маленьких птичек, а потому и сама заслуживает истребления; говорил нам о кукушке – этой «бродячей цыганке», не имеющей гнезда, и т.п. Когда узнал Девьен, какую пользу своими рассказами приносит Штейн, ему, как естественнику, он очень благодарил его и отзывался о нем хорошо.

Ученики 1-й гимназии подразделялись на две группы по специальности: изучавшие латинский язык назывались «латынянами», а невзлюбившие латыни и изучавшие законоведение назывались «законоведами». Законоведение преподавал Успенский; это был тощий, худой мужчина, носивший особую верхнюю одежду – не то шинель, не то плащ испанского покроя; называлась она альмавия. Смотрел он сосредоточенно и всегда что-то обдумывал.

Успенский был очень образованный и начитанный человек, хороший юрист, но он никогда не входил в близкие сношения с учениками. Он имел маленькую неприятную особенность – повторять слово «датль-да». Ученики ужасно смеялись над этим; иные шалуны, завидя его издали, кричали: «вон идет датль-да». Слово «датль-да» повторялось на уроке раз пятьдесят. Успенский рассказывал, например, так: «я расскажу вам, господа, об устройстве уездного суда, датль-да, об уездном управлении, датль-да» и т.д. Мы его уважали очень, но ужасно противна была эта привычка, не в меру часто повторяемая.

Он взялся преподавать законоведение, не любя своего предмета, но считал нужным, чтобы ученики изучали законоведение по учебнику Рождественского, изложение которого было очень сухо, – а потому ученики не особенно любили уроки законоведения, мало присутствовали на них и часто незаметно уходили из класса на уроке Успенского. Успенский оживлялся только тогда, когда читал о стряпчих, и смеялся много над тем, что они берут большие деньги за то, чтобы выгородить преступника из уголовного дела.

Преподавателем латинского языка был Ростовцев, очень хорошо знающий свой предмет, но строгий до невозможности: если ученик, при склонении какого-нибудь слова, хоть раз ошибался, то он ставил ему единицу. Хорошо знали латинский язык только некоторые из поляков, а Мазевский и Рипчинский знали его настолько фундаментально, что Ростовцев никогда не мог сбить их ни на склонениях, ни на спряжениях правильных и неправильных глаголов, и Ростовцева это очень радовало.*

Мазевский обладал удивительными способностями; по всем предметам он учился хорошо, хорошо играл на фортепьяно, знал наизусть много сцен из французских классиков – Расина, Мольера, Корнеля; уже у нас в гимназии стал учиться английскому языку и оказал большие успехи. Он был безукоризненно хорошего поведения, ни с кем не заводил драк, был очень вежлив и деликатен в обращении с товарищами, соблюдал всегда удивительную чистоту одежды, так что никогда не было на одежде пятен и оторванных пуговиц на куртке; ходил он удивительно плавно, не шел, а плыл, если можно так выразиться; прекрасно танцевал и был грациозный и прекрасный гимнаст; имел перчатки (чего у других не было) и когда выходил гулять, то всегда их надевал. Уроки выучивал очень скоро, а остальное свободное время помогал товарищам. Он не любил математику, но все-таки уроки по математике всегда знал.

Мазевский занимался одно время у учителя математики Токарского. Токарский очень грубо с ним обращался, например, говорил так: «пожалуйте, мадемуазель Мазевская, и отвечайте о непрерывных дробях». Мазевский, бледный, с трясущимися губами, шел к доске и действительно прекрасно отвечал урок и решал задачу, после чего стряхивал с куртки мел, вытирал руки платком и шел на место.

Ученик Мельников спрашивал у Мазевского, почему он сдерживается и не отвечает дерзостью на грубость Токарского. Мазевский говорил: «я ученик и не хотел быть дерзкой канальей, это только унизило бы меня, а не его!» А Мельников ему на это отвечал: «ты хорошо поступаешь, потому что не тронь … [(г..но)], а то будет вонять!»**

Когда отвечали хорошие ученики, то Ростовцев говорил: «очень рад, хорошо, прекрасно, великолепно! вы очень хорошо знаете свой предмет!» и ставил «5» или «5+»; когда же отвечал плохой ученик, то он приговаривал: «тюру – тюру – тюру», за что мы и прозвали его «титира». Если слабые ученики оставались по его предмету на повторительный курс, то он советовал им перейти на отдел законоведения к Успенскому и беспрестанно повторял им: «вам будет хорошо и мне будет хорошо!» и так надоедал им, что они переходили в класс законоведения к Успенскому.

Когда я кончал 7-й класс, Ростовцев был назначен инспектором гимназии, потом куда-то директором, затем товарищем попечителя в Киевском [учебном] округе и, наконец, попечителем Оренбургского учебного округа; что потом сталось с ним, я не знаю.***

---

* Одновременно с А.И. Рубцом в 1858 г. окончил курс К. I Г. Игнатий Александрович Мазевский (с золотой медалью и с правом на чин 14-го класса), а Игнатий Рыбчинский (а не Рипчинский) – в следующем, 1859-м.

** Аркадий Федорович Мельников вышел из К. I Г. одновременно с А.И. Рубцом – в 1858 году

*** Маститый И.Я. Ростовцев проживает ныне в Оренбурге. – Примеч. ред. юбилейного 3-томника

В нашей 1-ой гимназии прекрасно преподавал гимнастику Дубинский*. Танцы же преподавал другой учитель, фамилии которого теперь не помню. Начинал он учить нас с позиций и на этом очень долго останавливался в низших классах, пока не приучал ноги учеников легко исполнять все позиции, потом уже приступал к танцам. Гимнастика и танцы происходили в зале; весною, летом и в начале осени гимнастика производилась на открытом воздухе. Дубинский разделял гимнастику на пассивную и активную. Пассивная гимнастика состояла в упражнениях рук и ног без трапеций, лазания по шесту и т.п. Меньшие классы делали гимнастику отдельно от старших.

Великовозрастные ученики, находившиеся в младших классах, отказывались идти на гимнастику с мальцами и дерзко отвечали учителю, который требовал, чтобы они делали гимнастику со своим классом, они же хотели упражняться вместе с старшими классами, которые, в свою очередь, не желали смешиваться с другими – богатырями из меньших классов, и Дубинскому трудно было ладить со взрослыми гимназистами.

Пассивная гимнастика состояла в медленном и напряженном движении обеих рук вверх, вниз, в сторону, вперед; наконец, руки держались так «как будто вы ангелы с крыльями», – всегда говорил Дубинский; затем движение корпуса направо и налево и, наконец, разные движения то одной, то другой ногой, или ступнями ног, под команду: правой, левой; сгибание и разгибание всего туловища, медленное приседание и вставание – такое же медленное или быстрое; сидя, сгибаться и захватывать руками носки сапог, затем быстро отшатнуться и встать без помощи рук; становились по двое друг к другу спиной, брались за руки и поочередно наклонялись один вправо, другой влево [(с позиции преподавателя)], поднимая на спине своего товарища и т.п.; в этом и состояла пассивная гимнастика, без всяких приспособлений.

Ученики сначала смеялись над гимнастикой, потом увлеклись, видя, что сделались крепче и мускулистее. Делались упражнения и с гирями: меньшие начинали с 1 ф. и до 5 ф., а старшие от 5 ф. до 15 фунтов. Директор и инспектор требовали, чтобы все упражнялись с гирями, и мы приобрели чугунные гирьки в железных лавках, которых в Киеве было очень много, и по утрам упражнялись с гирями.

Племянник эконома, ученик Смоленский, благодаря таким упражнениям, нагулял, как мы говорили, горы мускулов на руках и ногах; он свободно ходил на руках; он попросил, чтобы ввинтили крюк в потолок, привязал туда толстую веревку и, взявшись за нее одной рукой, поднимался по ней вверх и опускался вниз; то же самое проделывал он и на водосточной трубе нашего пансиона: брался только одной рукой за желоб, а все его тело напряженно висело в воздухе. Он умел колесом прокатиться по двору и без рук моментально встать на ноги; без разбега перепрыгивал от хвоста через голову гимназической лошадки, легко удерживаясь на ногах; подымал двумя руками берковец**.

Смоленский никогда не болел, ел удивительно мало, спал прекрасно и, в свое определенное время, очень рано вставал, вскакивал с постели и сейчас же умывался холоднейшей, почти ледяной водой. Макинский очень его за это хвалил, но советовал ему развить так же, как мускулы, и свой ум и мозги, потому что он плохо занимался, говоря, что занятия науками много отнимают времени и потому он может ослабеть телом.

---

* К сожалению, по сему преподавателю отсутствует не только circulum vitae, но его нет и в «Хронологических списках должностных лиц», имеющих досадные лакуны по преподавателям гимнастики с конца 1830-х до начала 1880 годов.

** Берковец – 10 пудов. Что касается ученика Смоленского, то это, по-видимому, Северин Францевич, который вышел из К. I Г. одновременно с А.И. Рубцом и которого тетка Текля призывала на помощь, когда проголодавшиеся гимназисты грабили кладовую с провизией (см. выше).

В 1-ой гимназии учились, большею частью, игре на фортепьяно; преподавателями музыки на рояле были Шмитберг и Витвицкий*. Витвицкий держался такого метода преподавания: он давал пьесы с виртуозными пассажами, был ужасно строг и требовал, чтобы известный пассаж был безукоризненно сыгран; требовал также частого повторения, для того, чтобы показать красивую легкость рук.

Он задавал такие пьесы, как «Prier d'une verge» Бондаржевской; вся пьеса состоит из мотива, сопровождающегося пассажами и арпеджиями в правой или левой руке. Пьеса удивительно пустая и бессодержательная, но в то время очень любимая и распространенная в Киеве. Задавал он и легкие пьесы – ноктюрны, вальсы, мазурки Шопена и различные малороссийские шумки и думки. Ученики-поляки его очень любили и чрезвычайно восторгались его игрой (Витвицкий был поляк).

Шмитберг был совсем другого сорта человек. Он брал к себе только особенно способных и музыкальных учеников; с лентяями ссорился и вспыльчиво кричал: «на кой черт вы учитесь музыке, ничего не делаете! музыку надо любить и уделять ей несколько часов в день, для разучивания на память вещей, которые я задаю; вы должны полюбить красоту и мелодичность мотивов в пьесах Мендельсона, Бетховена, Моцарта и других; вы совсем не жалеете своих родителей, которые платят за ваши уроки музыки». Он основательно, теоретически знал музыку; вначале он учился в школе игре на органе, на котором всегда играют в католических и лютеранских церквах.

Шмитберг иногда играл во время обедни в костеле; мы всегда знали, когда он будет играть на органе, и тоже отправлялись в костел, где наслаждались дивной игрой Шмитберга. Особенно красиво было, когда, после громких, могучих аккордов (фортиссимо), он играл мелодично, тихо, еле слышно. Пред таинством причащения он удивительно красиво импровизировал предыдущие мотивы, а при окончании мессы играл торжественное шествие и заканчивал фугеттой** или могучими, прекрасно гармонизированным аккордами, постепенно стихавшими и замиравшими под сводами храма.

Это заключение мессы мне больше всего нравилось, и на другой день, явившись к нему на урок музыки, я просил его сыграть это шествие, но он мне отвечал, что по окончании игры он сейчас же забывает свою импровизацию. Имея прекрасный слух, я сейчас же садился за фортепьяно и играл то же самое, что он импровизировал, а он, обрадованный, говорил, что из меня выйдет что-нибудь путное, если я буду старательно заниматься – почаще импровизировать и почаще сочинять.

Его любимые ученики были: Мазевский и Николай Маркович, сын известного историка Малороссии***. В выпускном классе на акте мы своею игрою приводили в восторг присутствовавших: родных, знакомых и начальство. Мы играли концерт Гумеля ла минор, а аккомпанировал нам оркестр Лопухина под управлением Пфейфера, который славился тогда в Киевской и Подольской губерниях. На других инструментах никто из учеников не играл, потому что не было влечения. Я не знаю, когда умер Шмитберг и где провел он остаток своей жизни – в России или за границей. Все знали его, как хорошего, знающего музыканта и способнейшего преподавателя.

---

* «Преподаватель музыки на рояле» Витвицкий в списках К. I Г. не значится, зато в них есть не Шмитберг, а Александр-Август Францович Шмидт-де-Берг (с годами преподавания 1833-1858).

** Фугетта – небольшая фуга.

*** Маркевич Николай Андреевич (1804-1860), украинский историк, этнограф и поэт. В молодости выпустил несколько сборников стихов, в том числе «Украинские мелодии» (1831), в основе которых лежали украинские народные предания и поверья. «История Малороссии» Маркевича (т. 1-5, 1842-43) – компилятивная работа; некоторый интерес представляют 3-5-й тома (в них собран документальный материал). Значительную научную ценность имеет собранная М. коллекция исторических документов по истории Украины 18 века (хранится в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина). Из этнографических работ известна «Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта» (1860). – ***БСЭ***

Мазевский, по окончании университета, отправился в Париж, где окончил консерваторию и имел удивительные успехи в игре на фортепьяно.

В мое время все были поражены назначением молодого профессора Университета св. Владимира, тогда только адъюнкта, Павлова, преподавателем в нашу гимназию. Павлов, как я припоминаю, явился к нам в 1-м часу и читал в 7-м классе. Он выглядывал очень симпатичным человеком, был высокого роста, волосы его были курчавые, он был красив и изящно одет – в черном, модном, длиннополом сюртуке. Он поразил всех семиклассников прекрасной речью, которая была полна вдохновения и которую он, как видно, импровизировал. Он начал русскую историю перечислением всех славянских и иных племен, населявших в древние времена Россию; объяснял названия племен, живших в лесах и полях; начал и кончил свою речь красивыми жестами.

Павлов обладал удивительно плавною речью, не пикал, не заикался, и так незаметно для всех проходила его лекция. Ученики 7-го класса были поражены его речью и, по окончании ее, стали дружно аплодировать ему. Он просил всех успокоиться, не нарушать тишины и своим шумом не мешать заниматься находящимся по соседству классам, затем поклонился и перед выходом прибавил, что он надеется своими лекциями принести нам пользу, если только мы будем добросовестно относиться к занятиям, не пропускать лекций и запоминать все, что он говорит в классе. У всех учеников, после ухода Павлова, блистали глаза и все выглядели торжественно и победоносно, что профессор университета читает у них лекции.

Но недолго был у нас Павлов: его перевели в Петербургский университет. Тогда прошла молва, что некоторые, близкие к попечителю округа лица испугались сильного влияния увлекательного и красноречивого лектора на гимназическую молодежь и, по просьбе князя Васильчикова, тогдашний Министр народного просвещения Норов забрал Павлова в Петербург. Ученики 7-го класса были этим очень опечалены и огорчены, что в аттестате оканчивающих гимназию не будет подписи профессора Павлова.

Другой случай был таков: в 1856 году профессор Киевского университета Селин сделал объявление, что он будет читать для всех, кто только пожелает присутствовать на его лекциях, – о драме, трагедии вообще и о драматургах Англии, Франции, Испании и Германии; лекции предполагались в послеобеденное время. Подписная цена была на все 20 лекций – 20 рублей, на одну – 2 рубля. Все старшие гимназисты 1-ой гимназии были очень обрадованы, когда им разрешили посещать лекции Селина в здании университета после обеда. Учащейся молодежи было предоставлено право платить в рассрочку за первые 10 лекций уменьшенную плату, вместо 10-ти – 7 рублей, а от Рождества Христова, за вторую половину лекций, тоже 7 руб., но только с уплатой денег вперед. Сбор с этих лекций был назначен Селиным в пользу несостоятельных студентов. Лекции назначены были от 6-ти до 8-ми часов вечера, а мы – гимназисты – в 5 часов уже были в сборе.

На первой же лекции все места были заняты разнообразнейшей публикой: тут были дамы, девицы, семинаристы, студенты духовной академии, офицеры, кадеты и много-много людей уже пожилых, седых, даже были многие на костылях, кажется, раненные во время обороны Севастополя. Ученики нашей гимназии – 5-го, 6-го и 7-го классов – расположились кто стоя, кто сидя на табуретках, некоторые сидели на окнах, а двое или трое сидели внизу у кафедры, у ног профессора Селина. У всех нас трепетали сердца, потому что мы в первый раз присутствовали на лекции в университете.

Лекции Селина были замечательно хорошо изложены, в особенности же интересны были его лекции о драмах и трагедиях Шекспира и других классиков и ложно-классиков. Он излагал прекрасным восторженным языком пьесы Кальдерона и Лопе-де-Вега, и нас поразили драмы и трагедии Испании; мы тогда впервые узнали содержание драм и трагедий Англии, ложно-классические драмы Корнеля, Расина и прекрасное содержание комедий Мольера.

Когда он прочел «Отелло» Шекспира и обрисовал нам мрачный и вместе правдивый характер мавра, прочел его характерную речь к сенату, а потом сцену, где проявилась страстная, ревнивая мстительность Отелло по отношению Дездемоны, значительная часть женской аудитории разразилась рыданиями. У меня самого текли слезы, и товарищи мои, как всякие злостные люди, назвали меня «бабой».

К сожалению, начальство наше прекратило посещение нами лекций, побоявшись, что мы не будем иметь времени приготовлять уроки. Мы ужасно были опечалены и озлоблены против начальства и, как оказалось после, напрасно обвиняли в этом помощника попечителя Юзефовича, который об этом ровно ничего и не знал.

В том же самом году приехал в Киев артист-негр Ольрильдж, великолепный исполнитель трагедий Шекспира. Мы сейчас же абонировали две ложи, и нам разрешили поехать на эти представления. Мы видели Ольрильджа в роли Отелло; его игра поразила нас правдивостью и естественностью: он так удивительно передал все оттенки чувств Отелло, что неровность его характера всем бросалась в глаза; он был удивительно нежен и добр к Дездемоне, восторженно страстен в сцене с сенатором и проявлял безумную ревность к Дездемоне, когда лукавый Яго подстрекал его к отмщению; самое преследование Дездемоны, когда она в ужасе бросалась от него, ее смерть через удушение, самоубийство Отелло и его падение со ступеней вниз – все было поразительно естественно.

Весь театральный зал замер от ужаса, а затем зааплодировал бешено, неистово: таких бурных аплодисментов я в жизни не слыхал; на вызов публики Ольрильдж вышел на сцену усталый, ослабевший и дрожавший всем телом. В драме «Король Лир» он был так же великолепен и правдив.

После спектакля мы устроили нашему надзирателю Жилинскому громадный скандал; некоторые из моих товарищей побежали к подъезду и упросили жандарма, чтобы, когда при выходе из театра крикнем: «карету графа Жилинского!», подали нашу одноконку, на которой мы приехали в театр; такие одноконные извозчики назывались в Киеве «петухами». Мы хотели задеть самолюбие Жилинского, который приехал в своей прекрасной карете. Когда Жилинский вышел из театра, кто-то из учеников крикнул: «карету графа Жилинского!», и сейчас же подкатил наш одноконный «петух». Это вызвало громкий смех.

Жилинский, как мы и думали, был этим ужасно оскорблен и сейчас же пожаловался Пристюку. Двух семиклассников Пристюк велел посадить на две недели в карцер; ночью они сидели в карцере, а утром шли заниматься в класс, с ужасной головною болью – результатом дурно проведенной ночи. У бедных учеников, после двухнедельного ареста, опухли лица от бессонных ночей и вообще они очень плохо себя чувствовали и выглядели очень болезненно.

Кажется, в 1857 году Киев посетил Государь Император Александр II и пробыл здесь пять дней. Он был восторженно встречен всеми сословиями: дворянами, военными, студентами, гимназистами и простым народом; народ ходил по всем улицам и высматривал, куда поедет Государь, приветствуя его громким «ура». На институтской улице, когда Государь выходил из Института благородных девиц, народ окружил его экипаж, выпряг лошадей и сам двинул его руками и покатил его. Никакая полиция не могла унять восторга народа, который исходил от всей души и чистого сердца.

В то время 1-ая гимназия, со всем составом трех пансионов, была переведена в здание кадетского корпуса, тогда освободившегося; это здание состояло из четырех этажей, а перед ним находился обширный плац. Живущие там гимназисты составляли интернат; были и полупансионеры, которые ходили в гимназию только на лекции, а жили дома.

В этом здании 1-ой гимназии дворянство Киевской губернии решило устроить прекрасный бал и помещение для Государя во время его пребывания в Киеве. Комнаты, предназначенные для Его Величества, были обтянуты шелковыми материями. Губернский предводитель дворянства, граф [Леонард Людвикович] Мадейский, прислал свою чудесно разнообразную мебель, очень изящную: была и золотая, и черного дерева, с перламутровой инкрустацией, удивительно сделанные диванчики красиво перемешивались с пуфами и другою мебелью. Прислуга была в роскошных царских ливреях, с аксельбантами, в чулках и туфлях с перламутровыми пряжками.

Зал был двухсветный, и мы, сидя в своих комнатах на четвертом этаже, наблюдали в окна, что делалось в зале, и любовались танцами. Было столько угощений, что мы только облизывались: мороженое, различные фрукты, конфекты, всевозможные напитки – оршады, лимонады; все это в изобилии предлагалось публике.

При входе Государя Императора все закричали: «ура», «виват» и «слава». Дамы и девицы были удивительно красиво и модно одеты, в прекрасных бальных платьях и декольтированы. Государь со всеми милостиво разговаривал и очень долго беседовал с некоторыми из дворян, присутствовавших на празднике.

Оркестр Лопухина, из 60-ти человек, под управлением Пфейфера, играл самые модные танцы Штрауса. Танцы открылись полонезом, в котором участвовал сам Государь; он шел в первой паре с княгиней Васильчиковой, во второй паре князь Васильчиков с графиней Мадейской, затем генералы, полковники тех войск, которые находились в Киеве, предводители дворянства и другие гости. Полонез Шопена, прекрасно оркестрованный Пфейфером, замечательно хорошо подходил к такому торжественному моменту. Государь Император с полчаса любовался танцующими. Дирижировал танцами молодой князь Любомирский, прекрасный танцор и, в особенности, прекрасный мазурист.

В 1857 году, как я прежде говорил, мы уже жили в здании кадетского корпуса. Весною 1858 года, я помню еще очень хорошо, на экзамене физики кто-то из нас крикнул, что в Липках большой пожар и что многие десятки домов объяты уже пламенем. Инспектор Дабижа советовал ученикам старших классов бежать скорее к бывшей 1-ой гимназии и отстоять, если можно, квартиры бедных наших учителей. Мы побежали и увидели, что огонь окружил здание бывшей гимназии со всех сторон и 10 или 15 домов были в огне. Приехал князь Васильчиков и удивился, что никакого порядка нет – ни пожарных, ни войск для охраны имущества домовладельцев. Он очень рассердился и кричал: «где же полициймейстер, где бранд-маиор? ведь так может погибнуть здание гимназии – работы Растрелли!»

Мы подошли к нему и сказали, что здание в некоторых местах курится, но он грозно на нас прикрикнул: «не ваше дело, мальчишки, мы не допустим этого!» Домики, где жили Корнаковский, Беляев и Рощин, уже загорелись; гимназисты побежали спасать канареек, но они уже вылетели из окон, задохлись от дыма и попадали в огонь. Корнаковский метался, рыдал и говорил: «я не переживу этого дня!». Войско форсированным маршем явилось на пожар, а пожарная команда опоздала на целый час. Началось усиленное качание воды; мы тоже усердно качали воду, а Цявловский и Смоленский в несколько минут были на крыше бывшей гимназии и, взявши гуттаперчевые трубы от насосов, смело поливали водой крышу, которая уже раскраснелась от жару, так что трудно было на ней стоять. Васильчиков приказал снять гимназистов с крыши, говоря, что вместе с шедевром Растреллевской архитектуры, могут погибнуть и мальчишки, стоящие на крыше.

Было много трагических случаев с хозяевами сгоревших домов. Бывшее помещение гимназии графини Илинской осталось целым, пострадав только слегка, но было ремонтировано и восстановлено в прежнем виде, так что нельзя было узнать, горело ли оно или нет. Туда перевели 2-ое епархиальное училище, где оно и теперь существует. Пострадали очень обитатели маленьких домов, имущество которых погибло в огне; повсеместно слышались стоны, рыданья и плач. Мы были героями этого дня: вытаскивали драгоценности и хорошую мебель из домов начинавших загораться, качали воду и т.д. Все ужасно устали, в горле и во рту пересохло; после этого пожара многие болели горлом, но доктор Зевеке прописывал какое-то полоскание и смазывание, дня через три переставало сохнуть и болеть в горле. Поздно вечером мы вернулись с пожара домой, усталые и голодные. Князь Дабижа велел дать нам обед, соединенный с ужином; мы поели всласть и сейчас [же] легли отдохнуть от усиленных мускульных трудов. Молодой, крепкий сон подкрепил нас и не оставил никакого следа после усиленного качания воды и перетаскивания тяжелой мебели, тяжести которой мы тогда не замечали, так как были очень возбуждены. На другой день был экзамен латинского языка и законоведения; нас не строго спрашивали и ставили хорошие баллы.

Обыденная жизнь воспитанников нашей гимназии была не очень сложна. Два раза в месяц пансионеры всех трех пансионов должны были мыться в банях, которые помещались во дворе 1-ой гимназии. Все мы любили баню, были большие охотники париться на самой высокой полке, а иные прямо с полки выходили во двор, катались в снегу и опять парились, и никто из них никогда не болел. Доктор Зевеке каждый месяц осматривал тела воспитанников; мы называли это «голым парадом» и ужасно стеснялись этой церемонии, в особенности поляки.

Кроме воскресных дней и больших праздников, когда все ученики отпускались по домам к своим родителям, самым любимым днем было 1 мая, когда устраивалась маевка и гимназисты шли на прогулку с надзирателями. Каждый пансион держал свой особый путь: «наиблагороднейший», например, шел по Крещатику на Подол, спускался к Днепру и направлялся в Киево-Печерскую Лавру; «дворянский» шел через крепость в Лавру, осматривал Аскольдову могилу и другие достопримечательности, а затем извилистой дорогой по Днепровскому мосту возвращался в Липки; «хуторяне» не любили долго ходить по городу и просили надзирателей сократить им путь; они раньше других возвращались домой. Первым желанием воспитанников было выкупаться 1 мая, но это трудно было исполнить, да и не безопасно, потому что выкупавшиеся и пойманные на этом строго наказывались.

В одну из таких прогулок, когда мы были возле Днепра, я и Бобровников, улучив время, выкупались, но, выйдя после купания, увидели, что наш пансион уже скрылся из виду. Бобровников предложил мне: «ну, Кабан, идем прямо от Цепного моста к Лавре, по этим крутизнам!» Мы полезли; трудный был путь; я несколько раз срывался, но Бобровников меня выручал, подымал меня, и мы карабкались дальше. Пот с нас лил ручьями; мы сняли шинели и куртки; наконец, добрались до конца крутизны и на вершине холма легли отдохнуть. Мы были так истомлены, что только после получасового лежания могли стать на ноги; белье на нас было так мокро от пота, хоть выжми, пить хотелось ужасно; мы пошли разыскивать воду, чтобы утолить мучившую нас жажду, и добрались до монашеских келий. Здесь мы увидели на балконе одной келии очень толстого монаха, который сидел в одном белье и что-то пил; мы побежали к нему и кротким голосом просили его дать нам напиться воды.

Но он пробасил: «я такой гадости не пью! сколько там от сотворения мира пропало рыб, скота, людей, так что даже противно ее пить, да и вам не советую пить этого гадкого напитка!» – «Что же вы пьете?» – спросил Бобровников. – «Я пью только вино, летом со льдом. Если хотите прохладиться, то я налью вам кружку».

Он налил кружку белого вина, усадил нас возле себя, и мы насладились прохладным вином всласть. Поблагодарив в очень изысканных выражениях этого толстого монаха, мы двинулись дальше в путь и вовремя пришли в гимназию, так что нас ни в чем не заметили.

Между моими товарищами были большие любители чтения; они увлекались повестями Тургенева, напечатанными в «Современнике», и повестями и рассказами Гоголя, в издании Кулиша. Такие любители чтения собирались человек по 12 или 15 в уединенных комнатах и начиналось чтение; собравшихся всегда предупреждали, чтобы желающие слушать чтение сидели хорошо: не переглядывались, не пересмеивались, а внимательно слушали бы; если кому надоест слушать, тот должен тихо уйти из комнаты.

Лучшим чтецом этого кружка считался Николай Николаевич Маркович [(Маркевич)], сын историка, по прозванию «Теленок». Он читал удивительно ясно и с увлечением: порывисто усиливал голос или понижал и даже доходил до шепота в особенно поэтических местах. Все мы имели при себе маленькие тетрадки, куда вносили краткое содержание читаемого, ставили в некоторых местах различные значки, чтобы потом поговорить о том, что особенно заинтересовало нас. Все это мы делали по совету А.П. Иноземцева.

После чтения происходили оживленные дебаты и восторженные похвалы «Тарасу Бульбе» или «Мертвым душам».

Вторым прекрасным чтецом в 6-м и 7-м классах считался Петр Вербицкий, обладавший громадной памятью: он знал наизусть и прекрасно декламировал почти всего Пушкина и Лермонтова, сам писал прекрасные стихотворения, но специальностью его было чтение комических стихотворений Баркова; Рылеева он читал бесподобно; великолепно читал он и прозу; «Горе от ума» знал все без запинки. Мы часто беспокоили его просьбами прочесть то или другое, любимое нами, произведение, и Вербицкий был так добр, что всегда исполнял наши просьбы и доставлял нам наслаждение своим чтением.

Он читал нам «Детские годы Багрова внука» или «Детство и отрочество» Л.Н. Толстого, и мы всегда были под впечатлением прекрасных произведений литературы; это послужило нам поводом усиленно заниматься словесностью.

Вербицкий писал басни, заданные в классе сочинения писал стихами, употребляя всегда необыденные формы стихосложения – октавы и белые стихи, и удивлял нас легкостью, с какой он владел стихом. Прозаические его сочинения тоже всегда были написаны прекрасным языком; учителя всегда им были довольны. Он удивительно скоро выучивал уроки и выученное долго держалось в его памяти.

Товарищи удивлялись его способностям, а некоторые и завидовали ему. Вербицкий был высокого роста, и Мельников говорил про него:

Он был высокого роста,
Им страсти владели,
Не знал он ни поста,
Ни святой недели…

Вербицкий на это отвечал: «значит, я Чингис-хан» (потому что эти слова были сказаны самим Вербицким о Чингис-хане). Физиономия его была одутловатая и некрасивая, будто он был пьян, и мы говорили ему с насмешкой, что он, вероятно, пьет по ночам. Я не знаю, что с ним сталось по окончании гимназии.

Аркадий Мельников слыл у нас великим математиком. Имел он замечательные способности, выучивал в полчаса то, на что мы употребляли часа три. Память у него была изумительна: бывало, просмотрит логарифмы на 50-й странице и говорит: «знаю», а мы спросим у него, например, логарифм на 7-й строчке, и он сейчас же говорит цифру. Стихотворение прочтет раз и знает наизусть, какой бы длины оно ни было.

Раз он побился об заклад, что в короткое время выучится английскому языку, и через две недели мы услыхали, как Мельников беседует по-английски с Мазевским, который уже с полгода изучал этот язык. Мельников корчил серьезную физиономию и, как истый англичанин, произносил слова и фразы совершенно правильно, о чем сказал нам Мазевский. Мельников обладал поразительным умением подражать тону и звуку чьего-нибудь голоса; например он удивительно копировал [надзирателя] Жилинского: его манеры, тон, ругательства, заслышанные нами из другой комнаты, вводили нас в заблуждение, и мы моментально стихали, чтобы не иметь дело с грубым «лайдаком», как мы называли Жилинского. Мельникова очень любил Рощин и предсказывал, что из него выйдет прекрасный преподаватель математики. Как говорили мне, Мельников впоследствии служил в окружном суде, а затем был учителем, кажется, в Новгородской гимназии.

На масляной у нас всегда бывало какое-нибудь празднество, например, устраивался спектакль. Один раз давали «Наталку Полтавку» Котляревского. Спектакль прошел очень удачно. Женские роли – Наталки и ее матери Терпелихи – исполняли мальчики, имеющие хорошие голоса. Роль Наталки исполнял очень хорошо 13-летний Р.; у него был звонкий серебристый голос, пел он задушевно и очень хорошо подражал звукам женского голоса. Роль Терпелихи пел и хорошо говорил слезливым голосом гимназист N.

Прекрасно выходили сцены и дуэты Терпелихи и Наталки. Непритворно плакали и страдали они, так что вызывали слезы даже у взрослых посетительниц этого спектакля.

В другой раз шла пьеса Мольера «Мнимый больной», исполнявшаяся на французском языке. Мнимого больного играл гимназист Цявловский; исполнение этой комической роли было в высшей степени правдиво, при этом его французский выговор был прекрасен, и публика все время его хвалила. Цявловский поступил к нам из Варшавы, где его отец – генерал служил при наместнике.*

Сцену и декорации мы всегда сами устраивали и рисовали. Сцена устраивалась из обеденных столов; декорации помогал рисовать [учитель] Беляев; для этого холсты раскладывались в большом зале на полу и мы, стоя, большими малярными кистями рисовали деревья, хижины, комнаты, улицы и все, что нужно было для пьесы. В «Наталке Полтавке» задние кулисы, с изображением вида Полтавы, были очень хороши.

В пьесе «Мнимый больной» сцена изображала комнату со всеми атрибутами больного: большая кровать с подушками и теплым одеялом, на столе стояли разные медикаменты и весы для взвешивания пилюль, компрессы, которые часто переменялись на голове больного. Цявловский в халате и колпаке, постоянно хватающийся то за бок, то за живот и при этом стонавший, был удивительно комичен.

После спектаклей всегда были оживленные танцы; танцевали под аккомпанемент гимназистов, играющих танцы на рояли в две или четыре руки, например Мазевского, Марковича и других. У нас очень любили танцевать мазурку; в особенности грациозно танцевали поляки: Стецкий, Корницкий и Пивницкий; их просили всегда танцевать соло, причем гимназист Быковский, комик с головы до ног, просил и себе позволения танцевать мазурку.**

---

* На год раньше А.И. Рубца К. I Г. окончил Александр Цявловский, а 4-мя годами ранее – Георгий Цявловский. В Варшаве служил Даниил Иванович Цявловский, в 1864 г. произведенный в генерал-майоры, с назначением помощником начальника местных войск Варшавского военного гарнизона; от двух браков имел 5 сыновей и 5 дочерей.

** Стецкий, Корницкий и Быковский, а также Александров (см. ниже) отсутствуют в списке окончивших К. I Г. в годы близкие к 1858-му – выпуску А.И. Рубца; Адам Марцельевич Пивницкий вышел из К. I Г. в 1854-м, а упомянутый выше Петр Прокофьевич Вербицкий – одновременно с А.И. Рубцом.

Он одевал парик из ваты, длинные седые усы, доставал где-то шпоры и, танцуя, очень красиво бряцал ими в такт. Он танцевал с различными комическими ужимками и удивительно подражая полякам: то он становился на колени перед дамой, с которой танцевал, то отделялся от нее, скрещивал руки на груди и, наклоняясь вперед, несся к своей даме, затем выпрямлялся во весь рост и, опять отдаляясь от нее, посылал ей воздушный поцелуй и т.д.

[Малоросса] Быковского все очень любили, и русские, и поляки, и он одинаково ровно относился к тем и другим, подмечая все особенности их характера. Так, поляка он изображал всегда гордым и надменным и выражался так: «идзь к дьяблу, пшеклентный лайдак, быдло!». Русского изображал беспечным добряком, любящим обниматься и целоваться с кем бы он ни встретился, или изображал подвыпившего господина, идущего нетвердой походкой, плюющего направо, а налево растирающего пустое место.

В 6-м и 7-м классах несколько хорошо писавших сочинения учеников решили издавать [рукописный] журнал: «Родная Правда». В этом журнале были всевозможные отделы: сначала передовые статьи, вторая часть – стихотворения, третья часть была посвящена педагогическим статьям.

Так, например, в последней части были помещены статьи: о нравственном долге преподавателей всегда держаться корректно со своими учениками; о значении математики, ее важности и необходимости как для общего развития, так и для усвоения прочих предметов гимназического курса, о хорошем и правильном изложении математических истин, необходимых для ясного перехода от арифметики к алгебре; о том, какое имеет значение и какую приносит пользу сознанию учеников хороший, развитой преподаватель, имеющий в виду общее развитие учеников по всем предметам; какое значение имеет праздность и ничегонеделание в жизни ученика, от природы способного, если даже ничегонеделание происходит от чтения интересных повестей, романов, ничего общего с наукой не имеющих, каковое чтение не приносит пользы развитию ученика, а только вред; какие именно искусства нужно развивать среди учащихся (музыку, рисование, декламацию) и какая польза бывает от этого учащимся.

В первом же номере этого журнала была помещена большая поэма: «Наш педагогический дом и люди-педагоги, старающиеся нас развить и вывести в люди». 1-й номер состоял из 20-ти листов почтовой бумаги большого формата и был переписан в 5-ти экземплярах. Все 6- и 7-классники рьяно взялись за работу, чтобы поскорее вышел 1-й номер.

По выходе он произвел громадное впечатление на учащихся, преподавателей, а в особенности на гимназическую администрацию – инспектора, директора, попечителя и т.д. Администраторы ужасно обиделись нашей поэмой и сокрушались о том, что в стенах 1-ой гимназии появились подобные «писатели». Авторы статей все скрывались под псевдонимами.

Начали доискиваться, кто написал «Наш педагогический дом», где сатирически были изображены все учителя, инспектор и директор и тонко подмечены все особенности их характеров. Портреты были удивительно выразительно обрисованы, так что сразу можно было догадаться, «кто из почтенных людей выставлен на позор», как выражалась об этом наша администрация. К статье были приложены и настоящие портреты, рисованные пером. Никого из своих «писателей» мы не выдавали. Очень сожалею, что первые два номера этого журнала у меня утрачены: кто-то в позднейшее время взял их у меня читать и не возвратил, а там были поэмы, стихотворения, написанные прекрасно, и характер их авторов обрисовывался очень рельефно.

Решили, что нельзя оставить этого журнала учащихся без внимания; взяли первый номер журнала и отправились к тогдашнему попечителю Ребиндеру, который был очень осторожен и в важных случаях всегда советовался с другими лицами о делах [учебного] округа. Прочитав номер «Родной Правды», Ребиндер поехал посоветоваться об этом к бывшему попечителю, а тогда только [что назначенному] генерал-губернатору, князю Васильчикову; князя он не застал, – тот уехал в Подольскую губернию, а швейцар сказал, что княгиня дома и принимает. Васильчикова приняла Ребиндера очень любезно и, заметив у него связку бумаг, поинтересовалась узнать, что это такое; узнав, что это журнал, издаваемый гимназистами 1-ой гимназии, просила дать ей сейчас же просмотреть его.

Ей очень понравились стихи, басни и, в особенности, сатирическая поэма «Наши педагоги», над которой она очень смеялась. Ребиндер заметил: «несомненно, это все очень остроумно написано, но нельзя же допускать, чтобы в учебном заведении издавался такой журнал».

По совету княгини Ребиндер явился в гимназию, собрал всех гимназистов, педагогов и администрацию и обратился к учащимся с такими словами: “Ваш журнал очень хорош, стихи и басни написаны звучно и остроумно, вы положительно имеете литературные таланты, но в вашей поэме «Наш педагогический дом» огульно и беспощадно осмеяны люди почтенные, облеченные властью от правительства, обязанные следить за порядком и правильным ходом занятий в гимназии, и вы согласитесь со мной, что все ваши преподаватели слишком беспощадно вами осмеяны; я, как попечитель, прямо требую от вас, чтобы вы прекратили издание такого рода журнала и не продолжали его; если вы это исполните, то я постараюсь забыть о нем и никого не накажу; хотя авторы скрываются под псевдонимами, но впоследствии всегда обнаруживаются, и потом может быть плохо авторам; господа, еще раз прошу прекратить ваш журнал, – вы люди развитые, не дети и можете понять, что вам будет плохо”.

После речи Ребиндера все ученики воскликнули: «мы сознаем свою опрометчивость и не будем издавать больше журнала!». Ребиндер поклонился и, высоко подняв голову, удалился из зала. Его речью были крайне недовольны Пристюк и старые учителя гимназии, например, Токарский и другие; они говорили, что всем сочиняющим сатиры и пасквили, следовало бы всыпать по 200 розгачей и выключить из гимназии. А учителя, пользовавшиеся популярностью среди учащихся, находили, что попечитель хорошо поступил, объяснившись с гимназистами и своею правдивою речью заставивши их сознать свою непочтительность к начальству и к людям старым и почтенным, говорили, что Ребиндер прекрасно держался при улаживании тишины и спокойствия в этом инциденте.

Гимназисты, издававшие журнал «Родная Правда», решили окончательно прекратить его, хотя вторая книга этого журнала была почти готова к изданию.

Говоря о гимназисте Быковском, я забыл упомянуть о его родном брате – студенте, высоком, толстом, комике и весельчаке. Его очень любил генерал-губернатор Бибиков. Расскажу подробно один факт из жизни старшего Быковского. Это случилось в драматическом театре. Из Петербурга приехала на гастроли знаменитая драматическая актриса Кравченко. На первом представлении театр был полон. Кравченко играла бесподобно. В ложе генерал-губернатора сидела госпожа Красовская, за которой очень ухаживал Бибиков, теперь бывший в отсутствии. Быковский, вызывая актрису, вместо «Кравченко» крикнул: «Красовская». Весь зал подхватил: «Красовская, Красовская!» С Красовской сделалось дурно и она уехала и пожаловалась Бибикову.

Бибиков вспылил и велел полицейским доставить ему Быковского, живым или мертвым, но те не могли его нигде в Киеве найти: Быковский как будто провалился, прямо со спектакля он уехал в ближайшее к Киеву местечко – Бровары, на свадьбу к своему товарищу, так как был туда приглашен. Прошло два дня, а Быковского не было. Бибиков горячился ужасно, ругал полицию; наконец, на третий день захватили в жидовской балагуле Быковского, возвращавшегося из Броваров, и, как он был, немного подвыпивши и в растрепанной одежде, потащили к генерал-губернатору.

В это время у него был управляющий Подольской казенной палатой, которого Бибиков всячески ругал и пушил за взятки, называл подлецом, говорил, что он скомпрометировал даже его самого, тем что он, Бибиков, допустил его быть управляющим в Каменец-Подольске.

Увидя входившего Быковского, Бибиков сказал ему, указывая на управляющего казенной палатой: «и ты такой же скотина как этот мерзавец!» Быковский наипочтительнейшим образом расшаркался и, подавая управляющему руку, серьезным голосом произнес: «позвольте познакомиться с вами, почтеннейший коллега!» При этом он скорчил такую гримасу, что Бибиков расхохотался и прогнал Быковского прочь. Тем дело о происшествии в театре и окончилось.

Я еще не упомянул об одном нашем товарище – Александрове. Родом он был, кажется, с Кавказа, типом походил на армянина, был жгучий, красивый брюнет, прекрасно рисовал акварелью и масляными красками портреты, а также виды Кавказа, которые он рисовал на память своим хорошим знакомым, например офицерам, служившим на Кавказе.

Он хорошо писал стихи и, кажется, воображал себя лучшим последователем Лермонтова, кажется, он и был автором поэмы «Наш педагогический дом». Не все товарищи его любили, потому что он был заносчив и высокого мнения о себе. В споре он был нетерпим, доказывал противнику, что тот мало знающий человек и лучше бы молчал, чем говорить о том, чего не знает. Особенно пренебрежительно относился он к полякам, которых называл «горделивыми панами» и «ослами». Старший брат Александрова ничем не выдавался, а был просто добрым товарищем, «пентюхом». Оба они не окончили гимназии. Старший стал заниматься хозяйством, был хорошим пасечником и любил больше всего липовый мед. Младший переехал в конце 50-х годов в Петербург и рисовал карикатуры в «Искру», «Будильник» и писал статьи в другие журналы того времени. Потом он отправился в Крым и на Кавказ, а затем я потерял его из виду.

Не знаю в точности, в 1855-м или 1856 году объезжал все учебные округа тогдашний Министр народного просвещения, Норов. В Киеве он оставался целую неделю, посетил все учебные заведения Киева, а также верхние и нижние пещеры Киево-Печерской Лавры. Мы были заранее предупреждены, что Норов был одним из героев 1812 года, ранен в одном из сражений, кажется при Бородине; одна нога его была отнята, и он ходил на деревяшке. Как говорили, он был очень религиозен; посетил святые места в Палестине и описал все достопримечательности Вифлеема, Иерусалима и других мест; его описания были полны великого экстаза и благоговения к описываемым местам.

В учебных заведениях он наблюдал за учащимися, как они держатся в церкви и как молятся. Мы узнали, что Норов посетил уже 2-ю гимназию, был на обедне в университетской церкви, где министра привел в восторг университетский хор [певчих], которым дирижировал тогда известный уже в Киеве, бывший студент этого университета, Станиславский. Его хор состоял из лучших женских и мужских голосов. Басы были удивительны по объему голоса; между ними славился тогда Алексеев, который мог брать любые ноты, начиная с самых низких и кончая самыми высокими, одинаково свободно и звучно.

Вечером мы ждали приезда Норова, но, не дождавшись, стали читать вечернюю молитву. В этот раз молитву читал я; молитва подходила уже к концу, как раздались голоса: «министр приехал!» В это время я читал псалмы Давида, читал внятно и с чувством. Потом, под моим управлением, хор учеников спел разученные ранее песни – молитвы «Под твою милость» Бортнянского и «Не имами помощи». По окончании молитвы министр подошел ко мне, обнял меня и сказал: «благодарю вас за хорошее чтение и пение!». Он спросил, всегда ли я читаю молитву, но я отвечал, что все ученики по очереди прославляют Бога Отца и святого Духа.

Все с почтением окружили министра; он был сердечно рад, что все встречают его с радостью. На другой день я получил от него книгу «Путешествие по святым местам», с надписью: «Ученику 5-го класса, доброму, сердечному отроку Александру Рубцу, за его прекрасное чтение молитв». Все учителя, а в особенности наш законоучитель протоиерей Каменский, были очень довольны, что псалмы и молитвы читал я, так они были мною прекрасно прочтены и спеты. Тогдашний попечитель, князь Васильчиков, тоже остался нами доволен, а княгиня прислала на всю гимназию 1½ пуда конфект. Товарищи, подтрунивая надо мной, говорили: «ай да кабан Рубец, ловко поддел министра, что тот даже прослезился, когда ласкал и хвалил этого кабана!» Возвратившись в Петербург, Норов высказывал всем свою неподдельную благодарность и похвалу тому, что дети-ученики искренно молятся и непритворно произносят свою хвалу Всевышнему.

Наш иезуитоподобный надзиратель, поляк Жилинский, так опротивел всем нам, что мы не знали, чем бы ему досадить. Кто-то из товарищей сочинил стихи или, как мы называли, балладу; к этой балладе я сочинил музыку; каждый вечер, перед тем как идти ужинать, мы с увлечением распевали ее. Сначала эти стихи пелись соло, а в конце каждой строфы одно слово повторялось, с энтузиазмом, сильно, громко, всем хором. И всегда при конце этой баллады мы радостно смеялись и били усиленно в ладоши. Однажды во время пения этой баллады входит Жилинский, чмокает, как всегда, губами и говорит: «прекрасное пение, чисто польский мазурочный мотив». Мы сразу умолкли, но он нас просил продолжать. Мы сказали, что если он на нас не рассердится и не обидится, то мы будем петь.

Мы повторили все куплеты с самого начала; когда же запели: «и сравняться душой может только с тобой пан Жилинский!» и весь хор подхватил этот последний припев, Жилинский ужасно вспылил, рассердился и закричал: «а, вот вы какие подлецы! вот какие гадкие песни вы поете и осмеиваете меня!» Мы ему возражали, что пели эту песню для себя, в уединенной комнате, что он сам упросил нас спеть ее пред ним, под условием, что не рассердится и не обидится, а потому и не имеет права обвинять нас в оскорблении; зачем же он нарушает наше мирное времяпрепровождение, да еще и ругает нас?

Жилинский сейчас же оделся и побежал к Пристюку с жалобой и просьбой, чтобы некоторых учеников, в том числе меня, исключили из гимназии. Пристюк сказал ему, что сам разберет это дело, представит его на учительский совет, а потом о его решении уведомит Жилинского, а теперь советовал ему идти домой, так как его обязанности надзирателя уже окончились. Пристюк сейчас же пришел к нам, созвал поющих и спросил, кто оскорбил Жилинского.

Выступил я и сказал Пристюку следующее: “Поймите наше положение, Тимофей Иванович, мы уже взрослые ученики, а надзиратель Жилинский принимает всегда оскорбляющий нас тон и имеет невозможную привычку ругать нас самыми гадкими словами, причем предъявляет нам невозможные требования, которые доводят нас до исступления; мы не можем переносить его резких, унизительных для нас, русских, польских ругательств – «моска́ли, лайда́ки, пшеклентые, быдло!», он постоянно клевещет на нас нашему начальству; доверяя его словам, нас наказывают сажанием в карцер, где мы должны спать на голом полу, отчего у нас болит все тело, где воздух сперт и где, наконец, нам не дают ламп, так что мы не можем приготовлять уроков, а учителя на уроках за это нами недовольны; мы просим вас, Тимофей Иванович, войти в наше положение и удалить от нас этого, ненавистного нам надзирателя: мы его не любим и может дойти дело до того, что мы его побьем!”

На другой день Пристюк разобрал это дело в учительском совете, на котором решили Жилинского перевести в младшие классы, где еще не потерян его авторитет, а нам решили выбрать опытного педагога. Итак, мы были избавлены от Жилинского и прекратились наши неприятные и гадкие отношения с этим иезуитоподобным поляком – недругом русской молодежи.

***

Окончивши мои воспоминания о Киевской 1-ой гимназии, прошу обратить внимание на все то, что я скажу о преподавании в гимназиях в настоящее время: какие существуют программы и как они приноравливаются к разнообразным требованиям гимназии, об учителях, какие встречаются в настоящее время, о преподавании ими тех или других предметов, какому надзору они подвергаются от попечителя и директора гимназии и чем они связаны в своей преподавательской деятельности.*

Рассмотрите программу ежедневных занятий: в день приходится 5 часовых уроков, например, в младшем классе: 1-й час – французский язык; 2-й час – арифметика, задачи письменные или устные; 3-й час – Закон Божий – Ветхий Завет, по Рудакову; затем большая, получасовая перемена, во время которой дети закусывают; если погода хорошая, то дети играют во дворе в пятнашки, в мяч или бегают взапуски; в плохую погоду остаются в рекреационном зале, кричат, визжат и шумят так, что надо удивляться, как они не болеют горлом и голоса их не расстраиваются; преследуют друг друга насмешками и различными прозвищами, доводят других до слез и ожесточения, бывают сильные потасовки и членовреждения – зубов, носа, дерганье за волосы, за уши, кривляются ужаснейшим образом, принимают неподходящие позы и т.д., так что нужно удивляться невниманию надзирателей или надзирательниц гимназии; 4-й урок посвящен чтению и декламации стихотворений и басен; 5-й урок – чистописание, с соблюдением всех правил каллиграфии.

После стольких уроков, требующих сильного умственного напряжения, дети уходят домой, голодные и утомленные; наскоро поев, бросаются в постель, отдохнуть и расправить усталые члены, более слабые и задремлют, затем опять приготовление уроков к следующему дню. Программы для всех классов составлены крайне несоответственно силам и возрасту учащихся. Не берется во внимание, что дети должны физически правильно развиваться, требуя движений и пребывания на свежем воздухе, а чрезмерные занятия ослабляют молодые силы.

---

* Мы приводим и сию «публицистическую» часть воспоминаний А.И. Рубца, относящуюся уже к 1910-м, поскольку в это время начинали учиться или уже учились «Классонята».

И вы полагаете, господа, что долбня отошла в область преданий? Нет! Ученики и теперь у некоторых учителей заучивают только одни слова, не понимая смысла заучиваемого; иные ученики, обладающие хорошей памятью, легко выучивают целые страницы наизусть, за что и получают похвалу от учителя; а что же должны делать те, у которых память не так остра? Если ученик отвечает своими словами, но нескладно, то вместо того, чтобы поправками и замечаниями приучить его к правильной речи, иные учителя говорят: «если не умеешь выражаться, то придерживайся подлинника», например, [учебника] истории Иловайского. Если бы наши гимназии придерживались такого [же] распределения программы, как я видел в Германии, Париже и провинциях Франции, где программы по всем предметам соответствуют возрасту и среднему уровню развития детей и, хоть они кратки, но предметы прекрасно усваиваются и понимаются.

А какой толк в том, что у нас преподается такая масса предметов, но прочного знания нет никакого. В немецких школах не изнуряют детей громадностью программ. Распределены занятия так, что уроки, требующие усиленного внимания в классе, чередуются с занятиями, освежающими память и организм учащихся. Устраиваются часто экскурсии, под руководством опытных учителей и учительниц, которые объясняют наглядно все выученное по ботанике или зоологии, приучают детей составлять различные коллекции, и все это служит к лучшему усвоению изучаемых предметов.

Затем, большая многолюдность классов делает воздух в них спертым и тяжелым, что влияет на здоровье учащихся. Необходимо усиленное проветривание классных комнат на переменах, а главное, не делать классы столь многочисленными. В младших классах наших гимназий бывает до 40 человек в каждом. Не удобнее ли, во всех отношениях, устроить и параллельные классы, чтобы каждый класс состоял из 20-25-ти человек, чтобы преподаватель мог переспросить всех учеников за час и знал бы, как каждый из них готовит свои уроки и в чем некоторые отстают от класса, кто какими обладает способностями и недостатками, что можно требовать от них и как научить их ясному и плавному изложению мыслей. Учитель должен быть виртуозом своего дела, чтобы суметь своими вопросами возбудить и приковать внимание учеников, не только к своим объяснениям, но и к ответам товарищей. Значит, знание учащихся зависит от умения преподавателя и, отчасти, от знания хороших учеников.

Кто такие бывают преподаватели? все ли они любят свое дело? подготовлены ли они к своей деятельности? Скажу смело и справедливо – нет! Учителя гимназий – это студенты университетов, окончившие различные факультеты; но недостаточно одних знаний, чтобы быть хорошим преподавателем, должно иметь специальную подготовку или, по крайней мере, сердечное влечение к этого рода деятельности. Есть такие легкомысленные люди, которые, не имея педагогической подготовки и даже не зная элементарных приемов преподавания, стремятся получить место учителя, чтобы получать хорошее вознаграждение за исполнение своих преподавательских обязанностей, исполнять которые они не могут добросовестно. Большинство молодых людей идею великого труда обращают в ремесло. И кто страдает от этого?

Несчастные ученики; они только чутьем догадываются о шаткости педагогических знаний своего учителя, которому следовало бы еще учиться в этой области, а не производить опыты над бедными учениками, вырабатывая для себя приемы преподавания.

В прежние времена, в 40-х – 50-х годах [XIX века], когда в гимназиях не было такого наплыва учащихся, в классе было человек по 20, детей людей исключительно богатых, из купцов и дворян. В Петербурге в то время было великолепное по идее и важное по своим личным достоинствам учебное заведение, именно, Высший педагогический институт, куда поступали только имеющие большую склонность к педагогической деятельности.

И все учителя из этого педагогического института были светилами в знании тех предметов, которые они преподавали, а так же и в умении выбирать приемы их преподавания, например, словесник Иноземцев, естественник Девьен и математик Рощин, впоследствии преподаватель в высших военных заведениях. Их личность, их преподавание оставили неизгладимый след в умах и сердцах гимназистов моего времени, они живы еще и до сих пор, так что и в преклонных уже [наших] летах чувствуется радость при мысли, что мы были их учениками и потому хорошо окончили курс гимназии.

Теперь спрашивается, кто виноват в плохом составе учителей нынешних гимназий? Они назначаются начальством учебных округов. Кто оберегает данное заведение, чтобы оно было образцовым и педагоги в нем были опытные и с выдающимися знаниями своих предметов? Директор гимназии. И мы видим, что происходит от этого на деле. Если директор математик, то все внимание обращено на предметы, сюда относящиеся; если он филолог, то наибольшее внимание уделяется русскому языку, словесности и т.п.; словом, постановка педагогического дела исковеркана, между тем, как в среднем учебном заведении все предметы – общеобразовательны, а потому должны быть поставлены все на равной высоте.

В особенности провинциальные гимназии страдают незнанием своего отечественного языка. Сочинения на заданные темы почти все изложены удивительно не по-русски. При министре Толстом, когда требования на латинский язык были ужасно строги, русские сочинения учеников отзывались латынью, не были соблюдаемы строго правила русской грамматики и фразы имели латинское построение.

Теперь обратите внимание, как понимает высшее начальство сущность и значение педагогического совета учащих*. Учащие ни в каком случае не самостоятельны – они во всем подчинены директору и должны считаться с его мнением; их возражения при решении какого-нибудь вопроса, хотя бы были основаны на продолжительном опыте и положительном знании, остаются воплем в пустыне, иными словами, на них не обращают внимания, а решается все так, как желает того директор.

Директор дает вполне самостоятельно характеристику учителей гимназии для высшего начальства и, конечно, отзыв его бывает пристрастен в хорошую или дурную сторону; беспристрастие явление очень редкое. Этим характеристикам директора верят всегда, а потому часто поступают с учителями несправедливо; учителя иногда подвергаются, без всяких объяснений, изгнанию или переводу в другую гимназию, которая считается как бы местом ссылки для строптивого или мало знающего, неопытного преподавателя.

Оттого преподаватели, большею частью, молчат во время педагогического совета и подчиняются во всем директору, боясь, чтобы их не изгнали без всякого суда, ведь у многих из них есть семья. Такое насилие над учителями в большом ходу и оттого отношения учителей и директора чрезвычайно неестественны и натянуты. От этого страдают также и ученики, так как нельзя поручиться в таких случаях за добросовестное отношение преподавателей к ним.

Неестественные отношения между педагогическим персоналом гимназии порождают массу нелепых слухов об учебном заведении; составляется плохое мнение о составе преподавателей и о деспотическом нраве директора; дети его боятся, не любят, в особенности, если директор имеет суровый вид, кричит, топает ногами и глаза его сверкают от вспыльчивости. Некоторые, вероятно, допускают все это, как средство для установления строгой дисциплины.

---

* То есть учителей.

Если бы и у нас, как в Германии, через каждые два года назначался съезд учителей, например по 2 или 3 человека от уезда, в губернском городе, для выработки программ по всем предметам, начиная с младших классов и кончая выпускными, чтобы собравшиеся учителя могли рассмотреть учебники и признать их пользу или непригодность для учеников, хотя бы они были одобрены ученым комитетом, наконец, обсудить методы преподавания тех или других предметов.

Особенное внимание следует обратить на преподавание русского языка и всеми способами стараться развить правильную и свободную русскую речь у учеников; для этого необходимо выразительное чтение стихов, басен, отрывков из драм и прозы; развить у детей понятие о ритме стиха и задавать сочинять стихи и басни на известные размеры стихосложения.

Теперь, как и прежде, есть учителя ленивые, беспечные и небрежные: они, как и тогда, задают урок, например истории, географии – «отселе и доселе»; спрашивают урок рассеянно, устремив свои глаза в даль и не допуская никаких рассуждений в классе, так что такие уроки для учеников тягостны, скучны и бесплодны. Иные не сознают пользы живого и увлекательного рассказа учителя во время урока, а это служит к подъему духа и энергии в учащихся. Чтение кстати отрывков из поэтов или других писателей, поддерживая внимание, развивает учеников. Такие приемы учителей прекрасно влияют на учащихся, устраняют их рассеянность, а постоянные вопросы потом о прочитанном помогают усваивать предмет, и яснее становится суть дела. По окончании урока ученики выходят почти с приготовленными к следующему дню уроками, остается только просмотреть утром на свежую память, и знания прочно усвоены.

Какая может быть польза, положим, от учебника Кареева [по истории], в котором на каждой странице несколько иностранных слов; приходится приготовлять урок с лексиконом, да и трудно запоминается. Кажется, пора настойчиво требовать, чтобы учебники писались ясным русским языком, по возможности, без иностранных слов, осложняющих и отягощающих память и мешающих ясности изложения.

Развивающим образом влияли бы на учеников беседы учителя в классе о данном предмете по очереди с каждым из учащихся, а затем общие прения всего класса, под руководством учителя, обязанность которого – направлять течение беседы, исправлять неточности в выражениях и сдерживать пыл спорящей молодежи.

В Германии везде, а в русских гимназиях – в некоторых, где есть хорошие преподаватели словесности, кроме ежедневных уроков, раз или два раза в месяц назначаются критические состязания на темы, выбранные самостоятельно одним из учеников и касающиеся образцовых произведений классиков. Критический разбор самостоятельно для этой цели выбранного произведения приучает учеников к красивому и ясному изложению, вдохновенному и вполне самостоятельному. Для приучения различать и понимать красоту стихотворений и вообще поэтических произведений необходимо заставлять учеников читать с выражением, даже с пафосом, отрывки драм, стихотворений и прозы, как например Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы» и т.п.

У нас всеобщая литература излагается для учеников удивительно поверхностно, например относительно произведений Шиллера – перечисляется, сколько написано им стихов, поэм, драм, а о «Тридцатилетней войне», о «Лагере Валленштейна» – учащиеся ничего не знают; о произведениях французских ложно-классиков – Корнеля, Расина, Евгения Мюссе, об историческом писателе вроде Талейрана – даже и понятия не имеют.

Мало кто из учителей советует приобрести себе собрание лекций об иностранных писателях, например «Историю французской, немецкой, английской и итальянской литературы» Петра Вейнберга. Ученики очень поверхностно знают трагедии и драмы Шекспира, об испанской же литературе, с такими писателями как Кальдерон, Лопе-де-Вега, и не слыхали. Даже преподаватели не все знают, например, о существовании Н.И. Стороженка, профессора Московского университета по всеобщей литературе.

Дети способные и талантливые в музыке, любящие пение, имеющие влечение к рисованию, лепке и выпиливанию по дереву – не имеют возможности развить свои способности вследствие ограниченности программ по этим предметам и небрежной постановки их преподавания. Пение, если преподается, то больше по слуху, без всяких теоретических правил о размере, фразировке и оттенках в исполнении хоровых вещей, как церковных, так и светских. Вся наша Русь православная поет, по слуху запоминая мотивы песен и гармонических комбинаций.

В учащихся не развивают стремления к художественному исполнению в пении и музыке. Учащиеся более кричат, чем поют, вследствие чего голоса дрожат и такие вещи, как Бортнянского, Березовского, Сарти, Галлюпи выходят очень слабо. Ученики чувствуют, что знания их учителей в музыке весьма ограничены, и потому часто к учителям пения относятся с презрением и называют их «отставными козы барабанщиками».

На душе министерства, а также директоров гимназий, лежит большой грех в том, что ничего не делается для развития в детях способностей к искусствам разного рода. Необходимо, чтобы было обращено серьезное внимание на преподавание музыки и рисования, в продолжение всего курса гимназии, и чтобы учителя искусств имели солидную подготовку и знание каждый по своему предмету. При пении не только чтобы заботились об устройстве хорошего хора, но заботились бы также и о правильной постановке каждого голоса и о сохранении его, прекращая занятия во время ломки голоса при переходе в старший возраст.

При рисовании заставляли бы учеников побольше рисовать с натуры, а не копировать, и сохраняли бы все рисунки, начиная с первого, чтобы и сами дети, и родители, и начальство видели постепенные успехи рисования карандашом, пером, тушью и различными красками; сохранение рисунков приучает также к аккуратности. Вообще, все предметы лепки, выжигания, выпиливания должны сохраняться, для проверки успехов, сделанных учащимися. Во время рождественских праздников следует устраивать выставки ученических работ по всем отраслям искусств, чтобы знакомые и родственники учащихся имели свободный доступ на выставку и оценили бы успехи учащихся; это возбудило бы рвение у исполнителей к дальнейшему совершенствованию.

Необходимо во всех классах мужских и женских гимназий ввести гимнастику, которая так необходима для правильного физического развития; особенно хороша гимнастика на открытом воздухе, конечно, в теплое время года, маршировка, бег и т.п.; для развития силы мускулов хорошо иметь в классах гири, чтобы на переменах желающие поразмяли свои члены. Танцы так же должны быть обязательны для всех, так как они в особенности развивают ловкость и грациозность движений и фигуры, а потому учитель должен следить, чтобы все ученики танцевали, а не отказывались от танцев, разве только в случае какого-нибудь физического недостатка.

Я могу прямо сказать, что гимназисты и гимназистки, окончившие курс, имеют очень плохое знание пройденных предметов и вообще мало развиты и мало подготовлены к слушанию лекций в университете и на курсах. Я очень удивляюсь, что аттестаты зрелости выдаются тем, которые имеют круглую «тройку» по всем предметам.

Я могу привести факты, которые, по-моему, говорят о неразвитости окончивших гимназию; они не умеют, например, прочесть толково вслух газету, соблюдая хотя бы знаки препинания, написать удовлетворительно хоть маленькое прошение о поступлении в учебное заведение или на службу и т.п.

Я нередко задавал себе вопрос; отчего нынче такой наплыв учащихся в средние учебные заведения? Неужели все способны к изучению стольких предметов по намеченным программам? Иной, малоспособный по своему телосложению и силам, мог бы сделаться прекраснейшим столяром, токарем, слесарем или кузнецом, но мы видим, что массы таких все-таки идут в гимназию, и родители из всех сил и средств поддерживают их, думая, что, окончив гимназию и университет, сын их будет следователем, прокурором, врачем и т.п. Многие родители – простые мещане, сторожа, повара, кухарки – заботятся о том, как бы получше одеть своего Петю или Сашу и продержать его в гимназии, а о том, способен ли он к учению или нет, они и не думают.

Если бы учителя и начальство гимназии строго держались правила – не тянуть малоспособных и неразвитых учеников из класса в класс, то репетируя их, то подготовляя, а настойчиво советовали бы родителям определять своих детей в заведения, соответствующие их способностям и наклонностям, то иной мог бы быть хорошим таксатором, другой поступил бы в школу художеств, тот – резчиком, позолотчиком, стенографом, бухгалтером, телеграфистом, сортировщиком, наборщиком, писцом и т.д. А то все имеют сильное стремление попасть из гимназии в университет, именно потому, что университет дает много прав, заманчивых для молодежи.

Если бы правительство решилось уничтожить все права по образованию в высших учебных заведениях, то, наверное, вместо 12 000 студентов в одном университете, было бы не больше тысячи или двух. Теперь в столичных университетах почти по 12 тысяч студентов в каждом; большинство на юридическом факультете; знаний их и занятий проверить невозможно. Студенты-юристы снуют по улицам, изучают биллиардную игру, пропивая то, что дают им родители на годичное их содержание в университете, а потом беспокоят начальство, нахально и недобросовестно прося пособия на дальнейшее прожитье.

Я не говорю о тех студентах, которые способны, трудолюбивы и действительно нуждаются в пособии. Возьмите, например, естественный факультет: там легко убедиться, что студент работает, успевает, делает изыскания, представляя результаты опытов по химии, физиологии и т.п.; студенты пишут рефераты о прочитанных, наших и иностранных, сочинениях, представляют годичные сочинения на разные темы.

Так же можно проверить работы студентов медицинского факультета: они представляют каждую неделю препараты по анатомии, а также отчеты о наблюдаемых в клиниках болезнях (студенты-кураторы), представляют свои работы по фармакологии, свои наблюдения по изучению различных болезней и отчеты о том, какие сделаны были операции в продолжение известного семестра. Такие работы – лучшие показатели усердия студентов в занятиях. Затем, проверкой студентов, окончивших юридический факультет и желающих получить судебную должность, могут служить возложенные на них обязанности, например, защита уголовных преступников, с требованием дельного и хорошего изложения защиты и правильного применения в каждом случае законов, сенатских решений и т.п. И только после успешного выполнения возложенных обязанностей кандидаты могут быть зачислены на действительную службу – в окружный суд или судебную палату.

Все студенческие беспорядки происходят оттого, что люди, стоящие во главе университета (ректор, совет профессоров, инспектора) действуют не так, как должно на самом деле. Все они как-то заискивают у студентов и потому бывают первыми виновниками беспорядков. Дозволяют студентам не держать вовремя экзаменов и не придерживаются строго законов и правил, хорошо изложенных в кодексе университетских уставов.

Если бы начальство строго придерживалось упомянутых правил, а после 2-х или 3-х замечаний и выговоров ректора, студенты не унимались, то их удаляли бы на 3 месяца из университета, в случае упрямства – на год, а потом исключали бы совсем из университета, для отбывания воинской повинности, без всякого снисхождения; так же должны быть увольняемы студенты, не посещающие лекций и даже живущие по другим городам во время занятий. Такое строгое соблюдение правил университетского устава, мне кажется, отрезвляющим образом подействовало бы на легкомысленных студентов; притом лишение стипендии, за нерадение и непосещение лекций, и высылка на место жительства, к родным, опекунам, попечителям, непременно смягчили бы и образумили студентов.

Профессора и инспектора должны знать непременно фамилии неблагоразумных и строптивых студентов и, если они сбивают товарищей, стараясь поднять шумные и возмутительно дерзкие протесты, то должны быть исключаемы без всякого снисхождения, как вредные элементы, и отданы под уголовную ответственность. Если начальство не держится таких строгостей, то в этом его громадная вина; это послабление в последнее время столько погубило хорошей, талантливой молодежи и, вследствие этого, развратило ее. Виноваты и профессора, которые играют в «популярность» со студентами, допускают всевозможные препирательства молодежи с собою по различным предметам.

Вредит делу успешного и серьезного занятия науками то, что молодым людям, не имеющим собственных средств к жизни, можно вступать в брак, часто под влиянием минутных увлечений; такие студенты должны отрывать себя от занятий науками, для добывания средств к пропитанию. У университетской молодежи нет теперь стремления к изучению наук, и вся она спешит заняться политикой...

***

Воспоминания Н.А. Бунге и Н.П. Забугина (1856-1861 гг.)[*]

Мы шли вместе с 4-го класса, с 1857 г., я же, Забугин, начал гимназический курс годом раньше, т.е. с 1856 г., поступив в 3-й класс 1-ой гимназии, помещавшейся тогда еще в Липках, на Екатерининской улице, где теперь женское духовное училище.

Я поступил в гимназию из пансиона учителя французского языка этой гимназии Гедуэна, служившего ранее в рядах французской армии, – как мы, воспитанники его, слышали, – барабанщиком. Несмотря на такую, неподходящую для педагога, подготовку Гедуэн сумел организовать очень недурно и воспитательную, и учебную части в своем пансионе, который вследствие этого приобрел хорошую репутацию в городе.

Действительно, преподавательский состав был подобран весьма удачно: в числе учителей был даже такой выдающийся человек как И.Я. Ростовцев, о котором будет еще сказано в своем месте. Содержание в пансионе, которым я пользовался, так как жил там, было очень хорошее. Воспитанников было немного, благодаря чему жизнь в пансионе имела скорее семейный, чем школьный, характер. Этому очень способствовала личность почтенной старушки, жены Гедуэна, о которой мы, бывшие воспитанники пансиона, всегда вспоминаем как о редко доброй и заботливой женщине. Эти качества старушки Гедуэн имели особенно важное значение, ввиду совершенно еще детского возраста воспитанников, – я, например, поступил туда 10-летним ребенком.

Таким образом, пансион, мало чем отличавшийся по своей внутренней жизни от семьи, оставил во мне самое приятное воспоминание. Окончив его, нужно было переходить в гимназию, в которую я и поступил в 3-й класс полупансионером, которые допускались в 1-й гимназии только в виде исключения.

---

[*] Николай Андреевич Бунге (1842-1914) стал химиком, профессором Киевского университета св. Владимира; Николай Платонович Забугин (р. 1845) – управляющим Киевским отделением государственного дворянского земельного банка. У Н.П. Забугина был брат Иван Платонович Забугин, проф. нежинского лицея князя Безбородко, который в 1875 г. (на 32-м году) застрелился по чисто романическим обстоятельствам.

Гимназия была тогда закрытым заведением и приходящих в ней вовсе не было, но так как помещение ее, хотя и достаточное для небольшого числа воспитанников того времени, не имело жилых комнат, то воспитанники гимназии были размещены в двух частных домах: одном – по Виноградной улице и другом – на углу Лютеранской и Левашевской улиц, которые были наняты для этой цели и в которых были устроены два пансиона, первый и второй.

Я не касался этих пансионов, так как жил дома, но меня поражала существовавшая между этими пансионами вражда, выражавшаяся даже на улице в очень резких формах, чего я никак не мог объяснить себе ни тогда, ни теперь. В пансионах был развит корпоративный дух, что было симпатично, но почему эти две корпорации должны были враждовать между собою, так и осталось для меня непонятным. Переход от семейно-домашней жизни в пансионе Гедуэна к строгим порядкам гимназии того времени, когда в ней был полновластным распорядителем Тимофей Иванович Пристюк, состоявший тогда инспектором, показался мне слишком резким и тяжелым.

Особенно сильное впечатление сделало на меня практиковавшееся в больших размерах телесное наказание, которое применялось инспектором часто и довольно жестоко. Произвол в этом отношении был полный, все зависело от личного усмотрения Пристюка. Наказание розгами за проступки, совершенные в течение недели, откладывалось обыкновенно до субботы и потому в этот день подвергались наказанию не один, не два ученика, а гораздо большее число, и раздирающие душу крики наказуемых, оглашавшие своды нижнего этажа здания из гимнастического зала, где производилась экзекуция, всегда в присутствии инспектора Пристюка, действовали сильно на мою детскую, впечатлительную натуру и не изгладились даже теперь, в мои старые годы.

Пристюк родился в двадцатых годах прошлого столетия в крестьянской семье и был, следовательно, близок ко всему, что совершалось в тяжелые времена крепостного права. Быть может, этим обстоятельством следует объяснить те черты неограниченного произвола, грубости и даже жестокости, которыми отличалось его управление гимназией.

Так как мы, пишущие эти строки, шли дружно, не отставая один от другого, от 4-го класса до конца гимназии, то характеристику наших общих учителей мы сделаем несколько дальше, здесь же я должен вспомнить добрым словом замечательного учителя математики – Петра Емельяновича Рощина, который не перешел с нами из Липок в нынешнее здание гимназии, так как получил назначение в Петербург – в Артиллерийскую академию или училище. Он имел огромное нравственное влияние на учеников, служа примером удивительно честного выполнения долга, редкой справедливости, спокойного и обдуманного отношения ко всему.

Преподавание его было талантливое, ясное до того, что, кажется, не было ученика в классе, который не понял бы его объяснений. Если же иногда, по трудности предмета или по каким-нибудь другим причинам, его объяснение не было хорошо понято классом, то он сам признавал свое объяснение недостаточно ясным и полным и, не ставя дурных отметок ученикам, на что имел право, ибо ученики в таких случаях урока не знали, объяснял вторично, после чего самые трудные вещи усваивались хорошо всеми. Он пользовался огромным авторитетом, часто беседовал с учениками вне урока и всегда проповедовал такие высоко честные правила, что, я уверен, не один из его учеников вспоминал в своей жизни эти беседы и старался руководствоваться ясными, верными и твердыми началами, о которых пришлось слышать в юности от обожаемого наставника.

В 1857 г. я, Забугин, перешел в 4-й класс, куда прямо из дому поступил Бунге. Мне, Бунге, пришлось держать вступительный экзамен по всем предметам в один день, и я последовательно переходил от столика к столику, у которых сидели мои экзаменаторы. Экзамены прошли благополучно, хотя не без некоторой заминки, а именно по математике. В гимназию я был принят полупансионером. Почти немедленно после приемного экзамена начались уроки.

1-ая гимназия была только что переведена из Липок в здание, в котором она находится в настоящее время (по Бибиковскому бульвару). Здание это поразило меня своим изящным видом и размерами, но еще более поразил меня гул в коридоре гимназии – точно попал в улей с пчелами. Скоро раздался звонок, и надзиратели пансиона приемами, не особо культурными, начали вгонять воспитанников в классы; я очутился в обширной комнате, среди моих ближайших товарищей, довольно многочисленных (4-й класс был в год моего поступления в гимназию самый многолюдный из всех 7-ми классов, а именно в нем числилось более 40-ка человек) и весьма разнообразных по летам и росту.

Расселись мы по скамьям как попало, и мне пришлось сидеть рядом с большим и сильным мальчиком, начавшим свое знакомство со мной «боксом», который я снес молча ввиду начавшегося уже урока. После двух уроков наступила так называемая «большая перемена»; ученики из классов повалили в коридор, где им раздавали завтрак, состоявший из куска вкусного черного хлеба с солью. Несмотря на столь скромное угощение пансионеры выпрашивали, а иногда даже отнимали у полупансионеров следуемую последним порцию хлеба. Особенно лакомым куском считалась «горбушка», за обладание которой пансионеры вступали в бой.

После большой перемены следовали еще два урока, а затем пансионеры отправлялись обедать, а полупансионеры, хотя и имели право на обед и на пребывание в гимназии до вечера, тем не менее, уходили домой до следующего утра.

Так началась моя гимназическая жизнь и, признаться, при условиях довольно тяжелых. Между товарищами у меня не было знакомых, гимназические обычаи и порядки мне не были известны, а гимназическая атмосфера того времени была очень тяжелая…

Должности директора и инспектора были вакантны; первую должность исполнял Тимофей Иванович Пристюк, вторую – князь В.Д. Дабижа. Первый, как выше было указано, был человек умный, но суровый, обладал необыкновенной энергией и, к сожалению, был глубоко убежден в благотворном и воспитательном действии телесного наказания; второй – человек хорошо воспитанный и мягкий от природы, по-видимому, не сочувствовал господствовавшему старому режиму, но не мог и не умел ему противодействовать и так же не пользовался расположением воспитанников, так как не отличался сердечностью.

Кроме директора, инспектора и надзирателей над пансионерами властвовали еще так называемые «старшие» воспитанники, которые весьма дурно обращались с вверенными их попечению младшими воспитанниками и часто наказывали их.

Все эти наказания – стояние в углу, стояние на коленях, лишение пищи, лишение отпуска, карцер, розги и вызываемые ими неудовольствие и противодействие со стороны воспитанников, – производили на меня очень тяжелое впечатление. С учением у меня вначале так же шло неладно. Я привык дома добросовестно готовить все заданные уроки более или менее равномерно, привык также чистосердечно признаваться преподавателю, что ту или другую часть заданного мне урока я не понял или не успел приготовить, а потому и начал применять ту же систему в гимназии, но, увы, с очень сомнительным успехом.

Просидев целое утро в гимназии и вернувшись домой уже усталым, мне невозможно было приготовить все заданные уроки «на пять», как я делал это при домашнем учении, а готовил их, насколько успевал, равномерно, не соображая, спросит ли меня учитель по тому или другому предмету или нет. Мои чистосердечные признания, что того или другого я не понял или не успел приготовить, ставились мне в вину и уменьшали отметки.

Скоро, однако, я постиг тайну гимназического учения и стал готовить «на пять» заданное по тому предмету, по которому я рассчитывал быть спрошенным, а «на три» или даже того меньше – заданное по предметам, по которым я не рассчитывал быть спрошенным, и тогда дело с учением, или, вернее, с отметками, пошло на лад… Но подобное учение меня не удовлетворяло, и это тем более, что кроме преподавателя естественных наук В.П. Девиена никто из учителей 4-го класса не привлекал меня своим преподаванием.

Латынь, предмет для нас новый и трудный, преподавал Ю.Э. Янсон, впоследствии известный профессор статистики и политической экономики Петербургского университета, но довольно посредственный латинист и педагог, который не только не вселил нам любви к изучению древних языков, но не успел даже укоренить в нас первые начала латинской грамматики, чем очень было затруднено изучение латинского языка в высших классах.

В 5-м, 6-м и 7-м классах Ю.Э. Янсон преподавал нам словесность и так же с весьма сомнительным успехом. Географию преподавал нам Корнаковский, который свел преподавание географии России на заучивание всех уездных городов: учащийся вызывался к доске и обязан был нарисовать на память губернию, разделить ее на уезды и разметить в ней все уездные города, не говоря уже о губернском и важных торговых городах; заучивали мы также полный императорский титул.

Математику преподавал нам престарелый Ф.Л. Токарский, который более бегал и суетился по классу, чем разъяснял урок. Французскому языку обучал нас Гедуэн, лишенный всякого педагогического такта и служивший мишенью всевозможных шалостей, немецкому языку – Макинский, дюжий остзейский немец, осыпавший нередко воспитанников бранными словами и грозивший бросить [классный] журнал в голову воспитанника.

Отношения к товарищам были довольно острые, к новичку придирались, затем отношения мало-помалу становились более мирные, но довольно холодные, хотя в классе находились те лица – Субботин, Яценко, Черкунов и пишущий со мной эти строки Забугин, с которым впоследствии, после окончания гимназии, в университете и после окончания университета, завязались те прочные дружеские отношения, которые прерывает только смерть…*

В июне наступила трудная пора экзаменов, причем экзамены происходили торжественно, в присутствии директора, инспектора и ассистентов. Экзамены прошли для обоих нас благополучно, и мы были переведены в 5-й класс. Во время пребывания нашего в 5-м классе атмосфера в гимназии стала гораздо легче.

---

* Виктор Андреевич Субботин окончил курс К. I Г. одновременно с Н.А. Бунге и Н.П. Забугиным, в 1867 г. окончил медицинский факультет Университета св. Владимира, сделал там же ученую карьеру, дослужившись до ординарного профессора кафедры гигиены, медицинской полиции и медицинской географии и статистики.

Александр Степанович Яценко (тоже – выпуска 1861 г.) в 1867 г. окончил медицинский факультет Университета св. Владимира, сделал там же ученую карьеру, дослужившись до доцента по кафедре хирургии, кроме того с 1882 г. заведывал хирургическою госпитальною клиникою.

Николай Трофимович Черкунов – это будущий преподаватель географии, в К. I Г. же.

Исполнявший должность директора Пристюк был переведен в Немировскую гимназию, на вакантное же место директора гимназии был приглашен попечителем учебного округа Ребиндером профессор Университета св. Владимира А.К. Деллен, человек гуманный и педагог в душе; в должности инспектора был утвержден князь Дабижа; учитель математики Токарский был заменен молодым преподавателем И.С. Палиенком, весьма преданным своему делу; преподавание латинского языка перешло к И.Я. Ростовцеву, мастеру своего дела, о котором все мы вспоминаем как о превосходном преподавателе, очень требовательном и строгом.

Конечно, не одни только личные перемены в гимназии вызвали в ней испытанное и нами облегчение: причина этого явления лежала гораздо глубже и заключалась в той перемене условий общественной жизни, которая заметно стала чувствоваться после Крымской войны, когда повеяло чем-то свежим, новым, гуманным, когда предвкушались уже подготовлявшиеся тогда и осуществившиеся вскоре после того коренные государственные реформы. Независимо от этих общих причин, отражавшихся, разумеется, и на гимназии, назначение в 1858 г. попечителем Киевского учебного округа Николая Ивановича Пирогова как по мановению волшебного жезла переменило весь облик гимназии.

Кто не был свидетелем-очевидцем этого знаменательного перерождения гимназии, тот с трудом поверит, чтобы личность одного человека могла произвести в очень короткое время такую колоссальную перемену во всем гимназическом строе. Сразу, с необычайной быстротой прежний дух гимназии совершенно переменился; персонал был тот же, все оставались на своих прежних местах, но все как-то изменилось, преобразилось, стало действовать иначе. Телесные наказания, которые еще так недавно, год-полтора тому назад, применялись в слишком широких размерах, совершенно уничтожились; исчезло прежнее, довольно грубое обращение с воспитанниками; учителя вдруг вспомнили, что они не ротные командиры, а педагоги, и что ученики вверены им не для муштровки, а для обучения и воспитания.

Этот поразительный результат был достигнут не столько преобразованиями, произведенными Пироговым, сколько обаятельной личностью Пирогова, его высоким ученым и педагогическим авторитетом, его необыкновенной доступностью и простотой обращения, его глубоким уважением к личности человека. Двери к Пирогову были открыты для всякого, не исключая и гимназиста, и великий ученый принимал всех просто, вежливо и давал каждому просимый совет или наставление.

Этому частому и легкому общению с Пироговым способствовало еще то обстоятельство, что он, приехав в Киев, поселился в здании гимназии [– в тех помещениях], где в настоящее время канцелярия попечителя округа. Вспоминая о легком доступе к Пирогову, об его удивительной простоте, мягкости и внимательном отношении ко всем, обращавшимся к нему, нельзя не упомянуть добрым словом покойную первую жену Пирогова, которая отличалась редкой добротой, гостеприимством, теплым радушием и сердечным отношением к гимназистам, часто приходившим в квартиру Пирогова, по тем или другим основаниям, и посещавшим его сыновей, живших там же.

Пирогов бывал в гимназии очень часто, причем он появлялся не в вицмундире, при орденах, а в своем обычном черном, длинном балахоне-пальто, без всякого предупреждения входил в тот или другой класс, садился или рядом с учителем или рядом с учеником на скамью и, прослушав урок, уходил из класса столь же тихо, как и входил в него.

Иногда Пирогов во время своего посещения классов сам предлагал вопросы ученикам, беседовал с учителем и все это делал так просто, что не вызывал ни тревоги, ни смущения в учениках. Видели мы его так же часто, почти каждую службу, в гимназической церкви, через которую он проходил незаметно и становился обыкновенно в алтаре.

Вообще, во время нашего пребывания в гимназии нам очень часто приходилось видеть Пирогова и любоваться его умным, добрым и серьезным лицом. Такою обаятельною была для нас, воспитанников гимназии того времени, личность покойного Пирогова.

Что касается до его административно-педагогических мероприятий, то, не входя в критику их, так как мы сообщаем здесь только наши школьные воспоминания и передаем лишь те впечатления, которые испытывались нами в юношеском возрасте, мы должны удостоверить, что все, что было предпринято Пироговым в этой области, вызывало тогда в нас, юношах, самое отрадное чувство. Да и не могло быть иначе.

Неограниченный произвол, царивший в гимназии в первые годы нашей школьной жизни и очень тяготивший нас, уступил теперь место строгому порядку и известной регламентации, вследствие изданных Пироговым правил о проступках и наказаниях учеников, в которых проступки воспитанников были подведены под определенные категории, рубрики и за них были определены те или иные наказания. Эти правила, которыми не только ограничивался, но прямо уничтожался прежний произвол, были вывешены в классах, и воспитанники, хорошо ознакомленные с ними, понимали, что все проступки предусматривались этими правилами, что они не могли совершаться безнаказанно, но что за них следовали не произвольно избираемые, а строго определенные взыскания.

Так как взыскания эти налагались по постановлениям педагогического совета гимназии, который, всесторонне обсудив проступок провинившегося и определив его характер и индивидуальные особенности, устанавливал, согласно означенным правилам, соответственное взыскание, то естественно, что в результате вырабатывалась в воспитанниках вера в справедливость назначаемых советом наказаний и в законность действий его.

Телесное наказание и удаление из гимназии сохранились в Пироговских правилах. Розга была удержана, так как полная отмена ее не встретила сочувствия ни в педагогических сферах, ни между родителями, но применение ее было очень ограничено – требовалось большинство ¾ голосов всех членов педагогического совета, по закрытой баллотировке, притом только по отношению к воспитанникам первых трех классов*. При таких ограничительных правилах, за время с 1859 по 1861 г., когда мы окончили гимназию, был подвергнут телесному наказанию только один воспитанник 2-го класса.

При Пирогове значение педагогических советов гимназий было очень поднято, и они обнаружили вследствие этого оживленную деятельность, занимаясь обсуждением всевозможных общих педагогических вопросов, методов преподавания разных предметов и т.п. Тот же служебный персонал гимназии, который занимался раньше, главным образом, проверкой денежной кассы заведения, был вызван Пироговым к новой жизни и самодеятельности. Все это совершилось на наших глазах с поразительной быстротой.

Система экзаменов тоже была преобразована при Пирогове. Торжественность экзаменов, существовавшая ранее, была отменена; экзамены слились с преподаванием и были заменены репетициями. Эта мера, весьма целесообразная, в особенности при небольшом числе учеников в классе, не дала, однако, ожидаемого результата – равномерного учения в течение всего года: ученики по-прежнему «рассчитывали», когда их спросят не только в течение года, но и в течение репетиций, и к этим урокам усердно готовились. Причина этого печального явления заключалась, как нам казалось, в том, что объем задаваемых уроков не соответствовал как во время учения, так и во время репетиций средним силам и способностям учеников.

---

* Как утверждал М.К. Чалый (см. выше), комитет под председательством Н.И. Пирогова постановил назначать розги в случае голосования за применение этого наказания ⅔ членов педагогического совета мужского учебного заведения.

Кроме всех указанных нововведений Пирогов ввел в 1859 г. в занятия учеников еще так называемые литературные беседы. В них могли принимать участие ученики только двух высших классов, но они не имели для учеников обязательного характера. Участвовали ученики обеих гимназий, которых было тогда только две. Беседы происходили один раз в каждые 3 недели; одни ученики читали свои сочинения, другие читали разборы этих сочинений, причем дозволено было вступать в словесные прения под руководством педагогического персонала гимназий, с Пироговым во главе. Темы предоставлено было выбирать самим ученикам. Беседы эти имели в первое время большой успех: ученики ретиво взялись за разработку сочинений на разные, большею частью отвлеченные и очень интересные темы, а словесные прения между авторами и критиками были очень оживленные.

Но эта успешная работа над сочинениями на обширные и трудные темы не могла не отразиться вредно на обычных занятиях учеников в классе и приготовлении уроков к следующему дню. Вследствие этого чрез какой-нибудь год заметно было значительное уменьшение охоты к занятиям беседами; нужно было просить написать что-нибудь, и самые беседы сделались более сухими и не столь оживленными. Тем не менее, введенные Пироговым литературные беседы имели большое и благотворное значение, так как развивали в учениках самостоятельность в работе, способность распоряжаться собранным материалом, уменье изложить свои мысли и отстоять их в словесных прениях.

Все изложенное показывает, насколько Пирогов своими качествами и особенностями, а также принятыми им мерами, установившими закономерность действия гимназических властей и направленными к более успешному обучению и развитию воспитанников гимназии, вызывал в нас, очевидцах всего совершившегося и изменившего в корне все прежние порядки и характер гимназической жизни, мало сказать – чувство глубочайшего уважения, но какое-то поклонение этой редкой личности. Ясное, светлое, живое и благодарное воспоминание о Пирогове сохранилось у нас до сих пор и не изгладится до последних наших дней.

Благодаря указанным выше обстоятельствам, в 5-м классе дышалось свободнее и училось приятнее, так как все чувствовали, что, в случае обращения за советом или с вопросом, последует не грозный окрик, а ласковое слово со стороны педагогического персонала. И как могло быть иначе, когда сам попечитель ласково разговаривал с учениками и принимал участие в литературных беседах. Приятность учения увеличивалась еще и личностью некоторых учителей в 5-м классе. К таким учителям нужно отнести, прежде всего, И.Я. Ростовцева и Ф.Ф. Петрушевского.

И.Я. Ростовцев страстно любил свой предмет, умел заинтересовать им учащихся и, преподавая латинский язык, он одновременно обучал нас русскому, требуя точных и изящных переводов с латинского на русский язык. Благодаря именно его урокам у нас составилось правильное понятие о хороших переводах, которые, увы, у нас так редки.

К сожалению, плохие основные сведения из грамматики, приобретенные в 4-м классе, и скорый переход И.Я. Ростовцева в Житомир не позволили нам должным образом воспользоваться образцовым преподаванием Ростовцева, что было очень жаль, тем более что в 6-м и 7-м классах преподавание латинского языка перешло в руки менее опытные и талантливые (Федоров, Юскевич-Красковский*), и мы окончили гимназию почти без всяких сведений по латинскому языку.

---

* Преподаватель Юскевич-Красковский отсутствует в «Биографическом словаре должностных лиц» К. I Г., с другой стороны, М.К. Чалый в своих воспоминаниях (см. выше) упоминал сего преподавателя, соответственно служившего в К. 2-й Г. По-видимому в К. I Г. Иван Данилович (Дамианович) Юскевич-Красковский преподавал латинский язык на временной основе и недолго.

Ф.Ф. Петрушевский, впоследствии профессор физики Петербургского университета, принадлежал к редким преподавателям. Всегда спокойный и вежливый, он имел особенный талант излагать свой предмет настолько удобопонятно, что нам нетрудно было готовить уроки по учебнику Ленца, для того времени весьма удовлетворительному, но до крайности сухому и не всегда понятному. Оживлял Петрушевский свое преподавание опытами в физическом кабинете, который он значительно расширил и улучшил. Преподавание физики было настолько хорошо, что из нас я, Бунге, считаю себя счастливым, что мне было суждено пройти весь курс под руководством Петрушевского, так как приобретенное мною по физике в гимназии послужило мне надежным фундаментом при дальнейшем изучении физики в университете.

Естественные науки преподавал В.П. Девиен, который своим увлекательным изложением сумел одушевлять даже такой сухой предмет как кристаллография и минералогия. Занятия в 5-м классе шли очень успешно, и из нас во втором полугодии имя Бунге стояло на красной доске [(отличников)].

Репетиции, заменившие при Пирогове, как выше было указано, торжественные экзамены, прошли для нас благополучно. Не так удачно прошли экзамены для многих из наших товарищей. Уже в 4-м классе многие отстали, еще большее число застряло в 5-м классе, так что из с лишком 40-ка человек, бывших с нами в 4-м классе, перешло в 6-й только шесть! Трое из догнанных нами в 5-м классе перешли так же в 6-й класс, так что в 6-м классе нас было всего девять человек.

В 6-м классе занятия шли довольно свободно, учителя смотрели на нас уже как на «взрослых», редко спрашивали, а занимали нас более чтением и объяснением уроков. Надзор за учащимися был слаб. В пансионе, а даже в классах завелась игра в карты – на листе бумаги происходили «выпивки». Тем не менее, в общем большая часть учеников много читала и старалась приобрести по любимым предметам более сведений, чем те, которые находились в учебниках.

Читали, правда, без должного руководства и не только в свободное от занятий время, но и во время уроков. Это побудило педагогический совет гимназии (в марте 1860 г.) ввести печатные бланки, по которым ученики могли получать книги из находившихся в Киеве кабинетов для чтения, с дозволения и за подписью учителей гимназии, и строго воспретить ученикам чтение книг во время уроков.

Ввиду предоставления большей свободы воспитанникам произошла большая перемена в успешности их занятий, и те, которые были первые в низших классах, пошли вниз, выдвинулись же вперед менее даровитые и [более] прилежные.

Так Субботин, который был первым во всех классах, стал третьим или четвертым учеником, а я, Бунге, записанный в 5-м классе на красную доску, получил за первое полугодие в 6-м классе «2» по латинскому языку и вследствие этого, несмотря на хорошие отметки по другим предметам, очутился последним учеником в классе, первым же учеником стал Оссовский, юноша очень ограниченный, но необыкновенно прилежный и благонравный.

Репетиции прошли благополучно, и мы оба перешли в 7-й класс. Товарищам нашим так же повезло, и мы все очутились в 7-м классе, где нам жилось еще свободнее, так как учителя еще реже «вызывали» и еще более читали и рассказывали. Между новыми учителями особенно выдавался своею талантливостью и познаниями Рупневский, очень подробно знакомивший нас с географией, преимущественно с Альпами. Его преподавание более походило на университетские лекции, чем на гимназические уроки.

Посещая уроки, мы в то же время подготовлялись к окончательному экзамену, на котором требовалось [показать] знание всего пройденного в течение семилетнего пребывания в гимназии. Экзамены эти, по всем предметам за исключением космографии, происходили в это время в университете, в присутствии профессоров, при вполне непривычной обстановке, причем экзаменовавшие профессора обращали внимание на общее развитие экзаменующихся и, при оценке познаний последних, не были связаны гимназическими традициями. Ввиду этого произошла некоторая переоценка познаний учащихся: лучшие по годичным отметкам не оказались лучшими по экзаменационным отметкам.

Тем не менее были выпущены из гимназии семь учеников с похвальными аттестатами (Оссовский Любомир [Викентьевич], Бунге Николай [Андреевич], Забугин Николай [Платонович], Субботин Виктор [Андреевич], Черкунов Николай [Трофимович], Хойнацкий Александр [Иванович], Яценко Александр [Степанович]) и два со свидетельствами (Лавровский Н. и Аморейский Владимир [Павлович]); между ними находились только пять из сорока с лишком, бывших одновременно с нами в 4-м классе! Один из окончивших (Оссовский) был награжден золотой медалью, два других (Бунге и Забугин) – серебряными медалями.

После окончания гимназии все мы, выпущенные с похвальными аттестатами, поступили в университет на различные факультеты и, окончивши его (за исключением Оссовского), рассеялись по обширному нашему отечеству, а затем вновь устроились в Киеве, где в дружеской беседе нередко вспоминали и вспоминаем наше гимназическое время, о котором мы сохранили приятное воспоминание, не только потому что

«все не вечно, все пройдет,
что пройдет, то будет мило», –

но и потому, что гимназическая жизнь наша прошла при весьма благоприятных условиях: что почти во все время нашего пребывания в гимназии во главе этого заведения стояло лицо гуманное и преданное делу (А.К. Деллен), что нам было суждено быть свидетелями и испытать на самих себе благодетельные реформы Н.И. Пирогова, что между нашими учителями были, быть может, талантливые, но в то же время были и люди выдающиеся – Ростовцев, Петрушевский, Богатинов, Девиен, Рупневский, а главное, не было ни одного учителя, который относился бы к нам недоброжелательно, не говоря уже – жестоко.

Даже исправлявший должность директора Пристюк, казавшийся нам столь грозным, действовал не по злобе, а по глубокому убеждению в пользе своей системы...

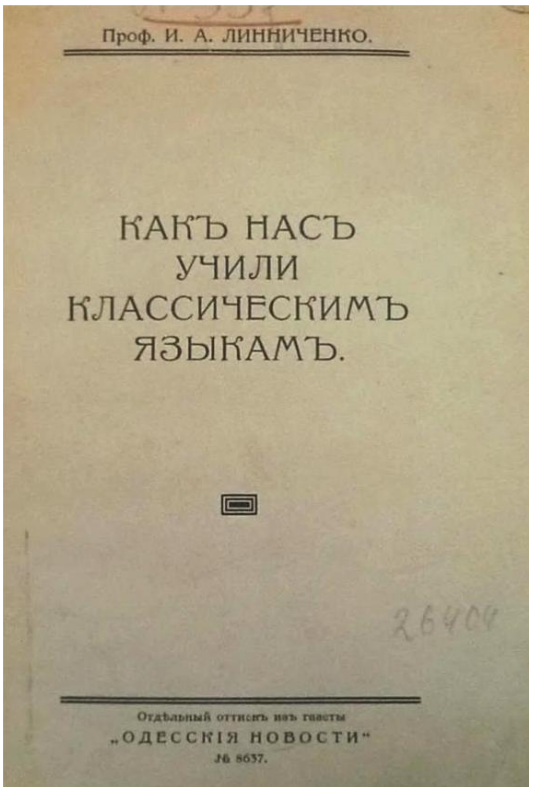
В заключение нельзя не заметить, что во время нашего гимназического курса Киев, эта мать городов русских, был ополячен. Предводитель дворянства был поляк*, почетный попечитель гимназии (граф Тышкевич) – поляк, в только что выстроенном каменном театре происходили представления на польском языке, в присутственных местах громко раздавалась польская речь.

Тем не менее, однако, в 1-ой гимназии всегда господствовал русский дух, хотя между учениками гимназии было довольно много поляков, а даже между преподавателями их было несколько. Даже тогда, когда поляки начали готовиться к восстанию, разыгравшемуся в 1863 г., в нашей гимназии польского течения не было заметно, и она всегда оставалась в полном значении слова русской!

---

* Губернские предводители дворянства по периодам: тайный советник, камергер, граф Генрих Георгиевич Тышкевич (1826-1854); тайный советник Леонард Людвикович Мадейский (1854-1857), коллежский асессор в звании камер-юнкера Октавиан Францевич Ярошинский (1857-1860), коллежский советник Александр Александрович Горват (1860-1866). – ***Родословная книга дворян Киевской губернии за время: от 1840 по 1864 год. Манускрипт***

Проф. И.А. Линниченко*. Как нас учили классическим языкам. Одесса, 1912


Проф. И. А. ЛИННИЧЕНКО.

КАКЪ НАСЪ УЧИЛИ КЛАССИЧЕСКИМЪ ЯЗЫКАМЪ.

26404

Отдѣльный оттискъ изъ газеты „ОДЕССКІЯ НОВОСТИ“ № 8637.

Собравшиеся в Петербурге классики вотировали (а как же классикам этого не вотировать?) возвращение к классической системе образования. О вреде и пользе изучения мертвых языков писано так много, даже у нас, что на одоление всей этой полемической литературы не хватило бы целой жизни. Защитники классической системы делились у нас на два разряда – сторонников изучения мертвых языков с точки зрения педагогической («гимнастики ума») и насадителей классической системы обучения в видах политических – для последних только прохождение Сциллы и Харибды классицизма дает зрелость ума (читай: зрелость политическую, т.е. политический консерватизм).

Тон, конечно, задавали вторые, люди государственного ума; первые давали свой ученый и педагогический отзыв, гл. обр. по приглашению вторых, pour sauver les apparences [(чтобы соблюсти приличия)], освящали авторитетом жрецов науки политические меры государственных умов, стоявших во главе всяческого просвещения.

Не стану разбирать данного вопроса с точки зрения теоретической. Расскажу только, как нас учили классическим предметам и что из такого обучения вышло. В гимназию я поступил до введения строгой Толстовской системы классического воспитания; реформа застала меня в шестом классе, а так как греческий язык вводился с пятого класса, то мы окончили гимназию с одним только языком латинским. Тем не менее мы не избежали строгостей новой системы, хотя, не изучая греческого языка, вынесли только половинную тяжесть классицизма на наших юных, еще не окрепших гимназических плечах.

* Иван Андреевич Линниченко (1857-1926) вышел из К. I Г. с серебряной медалью в 1875 году. Закончив в 1879-м историко-филологический факультет университета св. Владимира, стал затем профессором русской истории в Новороссийском Императорском университете (Одесса).

Профессор И.А. Линниченко

Отец мой окончил гимназию в конце [одна тысяча восемьсот] тридцатых годов; курс учения тогда был семилетний, преподавание языка латинского начиналось тогда, кажется, с третьего класса, а на это преподавание отводилось не более двух часов в неделю. Греческий язык был необязателен, изучение его поощрялось награждением чина четырнадцатого класса при окончании гимназии. Отец мой не только добровольно изучал язык греческий, но, несмотря (а может быть именно потому) на то, что на язык латинский отводилось по программе немного часов, настолько усвоил язык Римлян, что на первом же курсе в университете получил золотую медаль за сочинение на латинском языке «de mimis Romanorum» [(«Римские мимы»*)].

(Г.А. Иванов, профессор московского университета, очень хороший классик и человек редкой доброты, чуть ли не единственный раз в жизни поставил студенту-классику единицу за сочинение… – Читаю, – рассказывал он мне, – сочинение студента о Горации, писанное на языке латинском. Что-то знакомое, даже очень знакомое.

Заглядываю в издание Teubner'а – оказывается, студент дословно переписал предисловие к этому изданию, но выдал себя единственной самостоятельной [безграмотной] фразой «ex quo videndum est quantus homo erat Horatius» [(«с этой точки зрения человек был Горацием»)]. Это было в начале девяностых годов, в самый разгар классицизма.)

Я поступил во второй класс гимназии. Латинский язык преподавался в мое время уже с первого класса (помню это хорошо, так как на вступительном экзамене спрягал amo [люблю] и склонял tabula [доска, таблица]) при двух-трех часах в неделю, но зато нам преподавали и науки естественные, ботанику, зоологию, для которых с Толстовской реформой уже не хватало часов в программе, более половины которой отведено было на преподавание классических языков (8 лат. и 8 греч. = 16 на 30 недельных часов).

---

* Мимы (с греческого – «подражания») – у античных греков и римлян всякие сценические представления массового характера во вкусе зрителей из низших слоев – выступления акробатов, фокусников и т.п., сценки с пением и танцами, наконец целый реально-бытовой сатирический фарс. Актеры в этом низовом театре тоже назывались «М.» (подражатели). – ***Из Интернета***

Преподавание во 2-м и 3-м классах вел у нас добрейший и симпатичнейший учитель, раньше преподававший законоведение*. Учили мы грамматику по учебнику Игнатия Коссовича, да переводили небольшие отрывки, помещенные в приложении к учебнику: Lupus capram conspicatus est, quat in rupe pascebatur [(Волк увидел козу, которая паслась в ущелье)].

(В случаях болезни преподавателя последнего иногда заменял директор [Алексей Фомич Андрияшев]. Наш директор навсегда прославился переводом отрывка из хрестоматии Коссовича. Отрывок начинался словами aperi os [(«откройте рот»)]; директор, не имевший специальности – он был юристом, перевел эту фразу так: свиное рыло.)

Первый наш наставник латинского языка употреблял одну только форму поощрения классических занятий. Задавал он нам какую-нибудь мудреную (и не для одних третьеклассников) фразу, непременно прибавляя: кто эту фразу переведет, получит хорошую отметку. Мы рылись в словарях, совещались шепотом и предлагали, почти всегда неудачно, всевозможные опыты перевода (из таких заковыристых фраз одна, но с ее удивительно оригинальным переводом, предложенным одним из моих товарищей, осталась навсегда в моей памяти: Lupus in lupa sedit et lupum edit – верного перевода, волк сидит в овчарне и ест волка, не предложил никто, к великому торжеству добродушного преподавателя**).

В четвертом и пятом классах мы перешли в руки иных классиков, пока еще (до Толстовской реформы) домашнего производства. Учили они нас тихо и мирно – грамматике по тому же И. Коссовичу, переводили мы Цезаря «De bello Gallico» [(«Галльскую войну»)], [римского историка] Саллюстия. Классические познания наших наставников-классиков были не особенно высокой марки.

Мне, например, доставляло всегда особенное удовольствие преподносить классику какое-нибудь особенно затруднительное для перевода место из Тита Ливия или Тацита (с последним знакомился добровольцем) и наблюдать краску смущения преподавателя, напрасно напрягавшего свое развитое гимнастикой классицизма соображение к уразумению запутанных классических периодов. Грамматику мы одолели уже всю и изредка писали и extemporalia, переводы с русского на латинский.

С шестого класса, года реформы, и на нас повеяло новым духом, хотя, повторяю, мы благополучно избежали Харибды, т.е. не подпали под греческий язык.

Классические познания отечественных классиков показались начальству недостаточными, и пока еще в Лейпциге, под ближайшим руководством сидевшего в Петербурге А.И. Георгиевского (прославившегося, как классик, своими классическими листами в комментариях к описанию галльской войны великого римского полководца [Цезаря]), приготовляли в немецкой классической кухне острое классическое рагу из юных русских аспирантов, попробовали повторить опыт Петра I, набравшего было разных братушек для поучения Россиян морскому делу.

---

* Михаил Дмитриевич Успенский в 1865 г., по случаю прекращения преподавания законоведения в I К. гимназии, был перемещен учителем русского и латинского яз. в низших классах той же гимназии (см. выше).

** Как мы видим, это юмористическая смесь латинского (lupus in lupa, lupum) с латинской калькой русского (седит, едит).

Из Чехии, Моравии, даже галицкой Руси вызваны были всевозможные Утушилы, Затушилы, Нетушилы (за последнего еще спасибо), Направники, Оправники, Управники, Наворотилы, и даже (вопреки всякой логике) Поспешилы*, Поторопилы и т.п. (в истории русского классицизма почетную известность имеют имена Крюкова, Pellegrino, Леонтьева, Корша, Шварца, Ростовцева, Зелинского, получивших ученую подготовку в отечественных университетах, а вывезенные транспорты заграничных братушек прославились только своими чешско-русскими переделками немецких грамматик с классическими переводами – животок короток, да поучительными примерами для назидания второклассников – как приятно нам лежать под тенью дерев и пить фалернское вино).

Нам еще сравнительно повезло. Преподавателем к нам попал галичанин, человек толковый, относительно порядочно знавший русский язык, основательно – латинский и даже хорошо – математику (математиком он и был по специальности) и притом аккуратный, исполнительный и добросовестный – последнее даже сверх меры, он, бедный, подтягивая нас, дабы держать класс на высоте требований начальства, уходил себя, заболел чахоткой и чрез несколько месяцев, после благополучного исхода экзамена (и нашего, и своего) на аттестат зрелости, скончался за границей.

Число часов, отведенных на преподавание латинского языка, сразу повысилось с 3-х до 8-ми, в ущерб, конечно, преподаванию прочих предметов. Скромной, простой и толковой грамматики Коссовича, давно нами изученной, оказалось недостаточно. Грамматику мы стали изучать наново, по монументальному учебнику Шульце-Ходобая. Сия грамматика, по немецкому обычаю, была отпечатана двумя шрифтами – крупным и петитом. Петитом напечатаны были примечания к правилам и примечания к примечаниям. В примечаниях помещалось и бесконечное число примеров, фраз из классиков. И все эти примечания, примечания к примечаниям, исключения и примеры приходилось учить наизусть.

Переводили мы как прозу, так и поэзию – Цицерона, Саллюстия, Овидия, Виргилия, Горация. Преподаватель требовал, чтобы мы к каждому уроку приготовляли не менее 50-ти строчек классика к переводу и эти же 50 строчек заучивали наизусть. Вызванный к ответу должен был прочесть заданное наизусть по-латыни, затем, не смотря в книгу, перевести весь отрывок, и только при грамматическом разборе дозволялось пользоваться книгой. (Сам преподаватель очевидно обладал прекрасной памятью, так как всегда знал заданное нам наизусть, а ему приходилось ежедневно выучивать по несколько страниц из разных классиков, т.к. преподавал он в разных классах.)

Для перевода с русского на латинский введена была, приспособленная к такому переводу, неким Фохтом (преподавателем нежинского историко-филологического лицея) «Капитанская Дочка» Пушкина.

Так как Пушкин писал немного позже падения западной римской Империи, то в его прозе встречались понятия и предметы, не известные древним классикам, а потому в нашем словаре трех троглодитов (Ананьева, Яскецкого и Лебединского) мы не находили часто слов латинских, соответствующих русским подлинника. Приходилось прибегать к метафорам, описательным выражениям, аналогиям.

Так, ученый-классик Фохт предлагал переводить пушку целой фразой «gens quoddam tormenti, quod puschka vocantur». Военные чины, полный генерал, генерал просто, полковник, капитан, производились в dux, legatus, prolegatus, centurio [(лидер, депутат, продепутат, командир центурии, или сотни)] и т.д.

---

* В Киевской Первой гимназии с 1874 года действительно служил учитель древних языков Алексей Осипович Поспишиль, родом из Чехии (см. выше)! А в харьковских гимназии и университете латинский язык преподавал Иван Вячеславович Нетушил – чех, родившийся в 1850 г. в Южной Моравии!! – Примеч. М.И. Классона

Понятие жандарм, римлянам не известное (их заменяли в Риме, вероятно, всеведущие авгуры), предлагалось переводить: gens quoddam hominum qui jandarmi vocantur.

Раз в неделю мы писали extemporalia – переводы с русского на латинский. Для этих extemporalia мы обязаны были выучить по семь глав из Цезаря. Преподаватель из этих семи глав составлял экстракт по-русски, а мы должны были изложить его языком Цезаря.

Ошибки в переводе обозначались на тетрадях наших дробью – числитель его обозначал крупные (грамматические) ошибки, знаменатель мелкие (стилистические), например – 5/7; при отсутствии ошибок, что конечно было великим событием в жизни лучших из наших классиков, дробь выражалась как 0/0. После дроби ставилась и отметка за extemporalia. В следующие за extemporalia дни нужно было использованные 7 Цезаревых глав выучить наизусть и переводить, как и все остальное, не глядя в книгу.

Разбор перевода был почти исключительно грамматический, с перекрестным допросом по поводу всевозможных «утов» (ut causale, finale, consecutivum) и «кводов». В realia* преподаватель пускался редко. Коньком его было почему-то объяснение социального положения римских equites [кавалеристов] (которых он упорно называл по-русски зсадниками) и теории неприкосновенности личности у старых римлян, ежели он скажет: civis Romanus sum [(я – римский гражданин)], а произносил он неизменно – зум, никто не смеет его обидеть.

Естественно, что при таких строжайших требованиях на приготовление к уроку латинского языка уходила масса времени. Мальчики с слабой памятью по несколько часов долбили сакраментальные 50 строк классика и, разумеется, к утру следующего дня забывали вполне основательно выученное накануне, и поэтому продолжали долбежку во время других уроков. Переводить свободно мало кто умел; поэтому во время перемен возле немногих классиков собирались товарищи, требуя перевода и грамматических пояснений заданных уроков. Классики поэтому (а не забудьте, мы изучали только один древний урок) поглощали не менее ¾ наших учебных занятий. Наше местное начальство, в угоду начальству высшему, обращало исключительное внимание на наши успехи в изучении классиков. Хорошему классику прощались все недочеты по другим предметам.

Не могу не привесть здесь следующего характерного случая. В 1874 г. во время археологического съезда (дело происходило в Киеве) генерал-губернатор князь А.М. Дондуков-Корсаков дает раут для членов съезда.

В числе гостей был и известный академик И.И. Срезневский. Подходит он к местному помощнику попечителя [учебного округа] И.П. Новикову и задает ему вопрос о положении преподавания русского языка и словесности в средних учебных заведениях. – «Право, не умею вам сказать, – отвечает помощник попечителя, – я интересуюсь только постановкой преподавания классических языков в гимназиях». Можно себе представить возмущение знаменитого языковеда, услыхавшего такое, совершенно невероятное заявление помощника попечителя. – «Вот они, наши революционеры, вот губители Руси», – весь затрясшись от негодования закричал Измаил Иванович. На сцену эту попал князь А.М. Дондуков-Корсаков и поспешил увесть взбешенного академика от совершенно опешившего помощника попечителя.

---

* «Реалия» – латинское прилагательное среднего рода множественного числа (realis, -e, мн. realia – «множественный», «действительный»), превратившееся в существительное. Им обозначают «предмет» и «вещь», материально существующую, нередко связывая по смыслу с понятием «жизнь». Согласно словарным определениям реалия – это предмет, понятие, явление, характерное для истории, культуры, быта, уклада того или иного народа страны, не встречающееся у других народов, это слово, обозначающее такой предмет, понятие, явление, также словосочетание (обычно – фразеологизм, пословица, поговорка), включающее такие слова. – ***Из ученой статьи по филологии***

И.П. Новиков (впоследствии попечитель петербургского учебного округа) был действительно plus royalisee que le roi mème [(большим роялистом чем тот же король)] в деле насаждения классицизма в средней школе. И.П. Новиков по специальности был человеком военным (за серебряные эполеты и серебристые, коротко остриженные волосы он получил предикат «белый генерал»).

Был он послан по каким-то военным делам за границу, но почему-то вдруг воспылал страстью к древним языкам и вместо того, чтобы исполнять свои военные поручения, стал слушать лекции по классической филологии и, конечно, в Германии, классической стране классических филологов. Но всему бывает конец, даже заграничным командировкам, и Иван Петрович принужден был вернуться домой.

Представляется своему министру, до сведения которого дошли уже вести о классических увлечениях генерала. Министр, усомнившийся в пользе классических языков для ратного дела, посоветовал генералу поискать места в министерстве графа Д.А. Толстого; генерал последовал совету своего министра и получил вскоре назначение помощником попечителя в Киев к другому генералу, П.А. Антоновичу (генералы во образе попечителя одно время были в моде, в них по-видимому стали нуждаться и теперь, с введением потешных войск: бывший классик или терапевт, хирург был бы здесь более на месте, в роли командира полка – существо если не метафизическое, как космополит, по учению Карамзина, то во всяком случае несколько потешное, представляю себе некоторых попечителей верхом на лошади, производящих смотр смешливым мальчикам, и ужасаюсь антипедагогических последствий – подрыва сначала авторитета власти, а затем пожалуй и подрыва основ [государственного строя]!).

«Белый генерал» усердно принялся за насаждение классицизма в своем округе. Сказанная им И.И. Срезневскому на княжеском рауте фраза вполне соответствовала действительности. Его, в качестве ревизора, мы почти не видали на иных, кроме классических, уроках (исключение изредка делалось им для уроков математики – Иван Петрович считал себя еще и математиком, но эти посещения делались им кажется лишь по такому же снисхождению, по которому И.А. Хлестаков два раза взглянул на М.А. Сквозник-Дмухановскую – а, дай уж посмотрю на нее).

Зато редкая неделя не обходилась без того, чтобы Иван Петрович не зашел в наш класс (им особенно излюбленный) на урок латинского языка (визит к нам был ему особенно удобен, так как Иван Петрович проживал в здании нашей гимназии). На уроке он не сидел безгласно, как его принципал, добрейший старичек П.А. Антонович, двукратно пожимавший руку наставника (при входе в класс и при выходе из него) и после десятиминутной молчаливой ревизии переходивший в следующий класс, приветливо поклонившись гимназистам.

Иван Петрович садился на заднюю парту, брал классика у соседа-ученика и принимал самое деятельное участие, как настоящий знаток классических наук, в нашем переводе, предлагая свои замечания и комментарии. Генералу впрочем в переводе не всегда везло – правда, ему приходилось переводить à livre ouvert [(дословно – с открытой книги; без подготовки, на ходу)]; он всегда горячо отстаивал свое понимание темных мест классика (а, как известно, классик без темных мест, требующих целых фолиантов объяснений, такой же не настоящий классик, как цельная античная статуя – сколько кафедр античной филологии и искусства пустовали бы в университетах, сохранись недостающие руки у Венеры Милосской!).

Нас, не столь опытных в классической борьбе, генерал быть может и положил бы на обе лопатки каким-нибудь классическим tour de hanches en tête*, но наш преподаватель прошел хорошую школу классической борьбы и нередко закладывал генералу мертвую петлю двойного Нельсона, после которой, по уверению чемпионов, жить нельзя. Помню один случай такой. Я был, в присутствии генерала, вызван к ответу. Переводили мы, кажется, Цицерона.

В переводе встретилось весьма обычное слово – tandem [(в конце концов)]. Перевожу его (по контексту) через «же», не встречая возражения со стороны преподавателя. – Tandem никогда не значит «же», – раздается голос генерала с задней парты. – Почему? – удивляется преподаватель. – По крайней мере, в классическом языке, у Горация, tandem никогда не значит «же».

Наш классик, ходивший всегда крупными шагами, сгибая колени и наклоняя верхнюю часть туловища вперед, сделал несколько шагов от кафедры к генералу и, протянув правую руку вперед, воскликнул: А как же вы переведете quousque tandem, o Caeilina, abutere patientia nostra [(Доколе же, о Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим доверием, вариант: Как долго…)]? Классик на несколько секунд застыл в этой классической позе – раздался звонок, и генерал, ни слова не ответив, оставил класс. Так нам навсегда и осталось неизвестным, признал ли генерал правоту классика или усмотрел в знаменитой фразе намек на свое, далеко не всегда педагогическое, вмешательство в преподавание.

(Не могу не припомнить здесь еще одного случая неудачной поправки «белого генерала». Дело происходило во время выпускного экзамена по богословию и истории Церкви. Экзамен был обставлен весьма торжественно. На экзамен был приглашен архиерей; за экзаменационным столом восседал преосвященный, по одну его сторону – «белый генерал», по другую – депутат от университета проф. А.И. Селин, далее: инспектор, директор, два законоучителя и два ассистента, из преподавателей, т.е. почти по одному экзаменатору на экзаменующегося гимназиста. Доходит очередь до меня. Вынимаю билет – о перенесении митрополичьей кафедры из Киева во Владимир. Начинаю: митрополичья кафедра была перенесена из Киева во Владимир… – Не кафедра, а престол, – поправляет меня «белый генерал». – Пусть будет престол, – отвечаю я. Вдруг преосвященный – епископ Филарет, ректор киевской духовной академии, человек очень умный и знающий, острый на язык, оборачивается к Ивану Павловичу с насмешливой улыбкой – Новикова он почему-то недолюбливал, а меня хорошо знал, так как часто бывал у нас в доме, и возражает ему: «нет не престол, а кафедра». «Белый генерал» стал розовым. – «Владимир на столе, а се его злато», – привскочив на стуле, прибавляет А.И. Селин. – Княжеский престол, а митрополичья кафедра, – продолжает преосвященный. Между экзаменующими поднимается спор, который оканчивается полным поражением «белого генерала», возомнившего себя специалистом и по наукам богословским.)

Товарищи мои подчинялись суровой классической феруле**, мечтая лишь о том, чтобы поскорее окончить гимназию и выбросить из головы всех Цезарей, Саллюстиев, Цицеронов, нашпигованных грамматическими закавычками.

---

* Тур де анш ан тет (tour de hanches en tête). Прием классической (французской) борьбы. Захват головы [за шею] одной рукой сопровождается толчком бедра при приподнимании противника от земли. – ***Из Интернета***

** Ферула – старинное название линейки, которой били по ладоням ленивых школьников, отсюда переносное значение – стеснительное покровительство. – ***Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф., 1907***

Один я постоянно, упорно и систематически протестовал против педантической системы преподавания классического языка. Я и не думал учить наизусть классических отрывков, отказывался излагать третьи и четвертые примечания к примечаниям ученого Ходобая.

И тем не менее я был всегда первым по переводу, переводил не только Цезаря и Саллюстия, но даже Цицерона прямо á livre ouvert, а extemporalia писал почти без ошибок, умело командуя ротой разных коварных «утов», и был в дружеских отношениях с самим «аблативусом абсолютом»*.

И преподаватель в отношении меня оказался бессильным. Когда он корил меня за нежелание учить грамматику и выучивать бессвязные отрывки ученых классиков, я, безошибочными переводами с латинского языка на русский и обратно, доказывал ему, что ведь в таком безошибочном переводе и заключается цель изучения языка, а какими средствами я прихожу к этой цели, для него должно быть безразлично. Пожимая плечами, он, однако, должен был ставить мне круглое пять.

Тайна моих успехов в латинском языке была очень проста. Я много читал по латыни. Пользуясь словарем (не пресловутым словарем трех троглодитов или старым [Ивана Яковлевича] Кронеберга, а хорошим немецким Klotz'а) и хорошими заграничными (с немецкими и французскими комментариями) изданиями классиков, я прочел ряд латинских авторов – всего Овидия, всего Виргилия, немало из Тита Ливия, Цицерона и даже таких как Веллей Патеркуль, Аммиан Марцеллин и т.д. Читал и кое-что из realia – Моммсена, Гиббона, Преллера (Röm Mythologie) и даже несколько томов римских древностей Марквардта-Моммсена [(Marquardt-Mommsen, «Handbuch der römischen Alterthümer»)], и мне доставляло особенное удовольствие, отыскав в мифологии какую-нибудь совершенно захудалую богиню, обращаться к классику с вопросом об ее значении. Смущенному преподавателю оставалось или отделываться общими фразами, или глубокомысленно замечать, что, по его мнению, данная богиня слилась с Майей**.

Благодаря усиленным занятиям переводами (сверху вниз и снизу вверх) и жестокой грамматикой в изложении Шульца-Ходобая товарищи мои о римских realia не имели ни малейшего представления – лучшие из нас помнили только названия осадных машин – баллисты и катапульты (последнюю впрочем некоторые – это факт – смешивали с каталепсией), да знаменитую фразу преподавателя: ежели он скажет civis Romanus sum, никто не смеет его обидеть.

Сухой и удивительно скучный учебник римской истории, по которому мы учили последнюю у нашего историка, не давал никакого разумного и идейного представления об основах римской жизни, духе римских законов, причинах борьбы патрициев и плебеев, условиях, которые привели к падению Римской Империи, и т.д.

---

* Ablativus absolutus – это грамматически не зависящий ни от какого члена предложения причастный оборот, стоящий в ablativus и имеющий значение обстоятельства времени, причины, уступки, условия, образа действия. На русский язык этот оборот переводится соответствующими обстоятельственными придаточными предложениями, существительными с предлогами и иногда деепричастным оборотом.

Troia capta Aeneas in Italiam venit. *После того как Троя была захвачена*, Эней прибыл в Италию.

Caesare imperatore (duce) bellum Gallicum gestum est. *Когда Цезарь был предводителем (полководцем)*, велась галльская война. – ***Из Интернета***

** Майя (греч. maia – «кормилица, повивальная бабка») – в древнегреческой мифологии нимфа гор, старшая из семи плеяд, дочерей Атланта и Плейоны. От Зевса Майя родила бога Гермеса. Она воспитывала Аркада, сына Зевса и нимфы Каллисто (на что указывает ее имя). У древних римлян Майя – дочь Фавна, богиня весны, покровительница плодородия. От ее имени римляне произвели название весеннего месяца, в первый день которого богине плодородия приносили жертвы. В дальнейшем образы греческой и римской Майи слились, и под этим именем почиталась единая эллинистическо-римская богиня, супруга Вулкана, мать Меркурия (Гермеса), отождествлявшаяся также с Бона Деа и Фауной. – ***Из Интернета***

В чем состояла красота и сила римского стиля в прозе и поэзии, мы опять-таки не имели представления. Писателей мы делили на легких (Корнелий Непот, Цезарь) и трудных (Тит Ливий, Цицерон, Тацит). Что касается поэзии, то мы знали о размере александрийском, сафическом, разных архаических и проклинали на чем свет стоит Горация, чуть не каждое стихотворение писавшего иным размером.

И тем не менее на окончательном экзамене нам задали тему для сочинения по русской словесности: «основные черты различия культуры греческой и римской»! (не забудьте – греческого языка мы в гимназии не изучали). Как ответили на этот вопрос мои товарищи, не знаю. Я был в этом вопросе (на который, конечно, вполне удовлетворительно не могли бы ответить ни Моммсен, ни Грот с Курциусом вместе, так как первый изучал только римскую историю, а вторые – только греческую) несколько более ориентирован, случайно начав читать взятую в библиотеке отца книгу Карьера «Искусство в связи с историей культуры», из которой кое-что и припомнил на экзамене.

Помощью беспроволочного телеграфа (гимназисты изобрели его гораздо раньше Marconi) я удачно передал мои ученые соображения некоторым из наиболее слабых товарищей, и совокупными силами мы решили вполне удовлетворительно (к великому убытку для науки наши труды не отпечатаны в многотомном издании «Столетие I киевской гимназии») столь трудный для ученых классиков вопрос.

Extemporale на выпускном экзамене сошло благополучно для всех нас, благодаря поистине изумительной системе обмена мыслями между товарищами, несмотря на все принятые против возможности подобного обмена меры (нас рассадили у маленьких столиков в необъятной зале, на расстоянии чуть не километра один от другого). Системы нашей я позволю себе не обнародовать, да и ознакомление с нею было бы совершенно бесцельно для педагогов ввиду беспримерного таланта изобретательности гимназистов.

Итак, что же дало нам в конце концов усиленное и крайне утомительное учение классического языка?

Доктор Ватсон, спутник похождений героя романов Конан-Дойля и его присяжный историограф, делает в предисловии к биографии своего героя, знаменитого Шерлока Хольмса, инвентарь его познаний; в некоторых областях ведения, по-видимому, не имеющих между собою ничего общего, имел весьма солидные сведения, оставаясь круглым невеждою в отношении целого ряда предметов общеобразовательных. Но этот гениальный самоучка в своем самообучении преследовал цель строго определенную, изучая только то, что могло принесть ему пользу в избранной им профессии.

Какие же цели, практические или теоретические, преследовали наши государственные умы, заставляя нас ежедневно проклинать не только неудобоваримых Шульцев-Ходобаев, но и всех римлян с их классическим неподражаемым стилем, прозой и поэзией, темными фразами, из-за истинного смысла которых воюют между собою даже боги филологии? В отношении общего образования мы при окончании гимназии стояли почти на одном уровне с английским сыщиком, в отношении практическом вышли в жизнь вооруженными несравненно хуже его.

Из катехизиса мы запомнили: почему сие важно в-седьмых, что сие изображает. Катехизис обширен, а о сущности христианского вероучения никому не было времени с нами беседовать – ведь, кроме катехизиса, нужно было еще пройти и историю церкви, и христианские богослужения. (Если мы знали, что сущность христианского богослужения – любовь к ближнему, то только благодаря нашим родителям.)

Из истории мы помнили ряд хронологических дат, но никто из нас не сумел бы отвечать толково на вопросы о значении эпохи Возрождения, о сущности крепостного права, определить понятие феодализма, роль папства в истории средневековой Европы. (История не принадлежала к числу предметов важных, а потому ответы на окончательном экзамене вроде того, что Пунические войны вели консулы Луций и Минуций, а начальником Стрелецкого приказа при Софье был барон Штейн, признавались удовлетворительными.)

Географию – быть может потому, что гимназия предназначалась не для пролетариев, кухаркиных детей, а для сыновей зажиточных родителей, имевших всегда двугривенный в кармане на извозчика, – преподавали настолько плохо (заканчивая ее чуть ли не в третьем классе), что наши студенты и посейчас помещают Львов в Турции, а Лемберг* – в Германии, не понимая, что такое смешение и перемещение может привести к нарушению политического равновесия европейских государств. (Один из известных в свое время администраторов, опровергая alibi подсудимого, заявил в официальной бумаге: подсудимый утверждает, что в означенное время он был во Львове, между тем как агентурными сведениями установлено, что он в это время находился в Лемберге.)

Физику проходили кое-как, наспех – ведь на выпускном экзамене по ней не приходилось отвечать.

Писали по-русски мы довольно грамотно (и за то спасибо), но связно и стройно излагать мысли свои умели немногие. Для чтения русских классиков у нас не хватало времени. Два-три стихотворения Пушкина, столько же Лермонтова, «Чуден Днепр» [(поэтический сюжет из «Мертвых душ»)] Гоголя – вот и весь наш багаж по русской литературе. Писали мы домашние работы на темы: «Тише едешь, дальше будешь» (так как цель классической системы состояла в приготовлении из нас породы консерваторов); характеристику [Ивана] Грозного – по Карамзину (вероятно с целью доказать вред дурного воспитания); «Космополит – есть существо метафизическое» (с целью поднятия национального самосознания).

Но в [учебном] округе нашим стилем и познаниями по словесности не интересовались, там были дела поважнее – оценка наших латинских extemporale. Гимназист, имевший 4 или 5 по классику, был как civis Romanus лицо неприкосновенное, за которое горой стоял весь педагогический совет (один из наших классиков, быть может не без основания, заявлял, что на 5 латинский язык знает только Господь Бог, он сам знает его на 4, а кто знает его хорошо, тот знает его на 3**).

Математику, кроме двух-трех математиков «милостию Божьей», мы знали из рук вон плохо, и если тем не менее решили на окончательном испытании очень трудную клаузурную работу***, то только благодаря случайности и системе «беспроволочного телеграфа».

Изучение классического языка действительно много содействовало гимнастике нашего ума, но только в том отношении, что все силы нашего недозревшего мыслительного аппарата были направлены к изобретению систем «беспроволочного телеграфа» и всевозможных «подводных аппаратов» для благополучного плавания мимо классической Сциллы.

---

* Лемберг – офиц. назв. (нем.) г. Львов, попавшего в Австрию, в 1772-1918 гг., в 1918-м попадет обратно в Польшу.

** Сие сравнение, похоже, стало уже некоторым клише среди воспитанников К. I Г.:

Петр Емельянович Рощин был воспитанником Петербургского педагогического института. Во все свои годы пребывания там он был одним из первых учеников; он был лучшим учеником Остроградского. Не знаю, как и от кого моим товарищам удалось узнать, что Остроградский говаривал так: “в педагогическом институте только один Бог знает математику на «5», а я и мой ученик Рощин достойны получать только «4»”. – ***Воспоминания А.И. Рубца (1853-1858 гг.)***

*** По-видимому, от лат. clausula – заключение.

Внушить нам назидательными примерами из римской истории любовь к отечеству и народной гордости было по разным причинам рискованно: ведь в словарях (даже 3-х троглодитов) наряду с известными фразами «с щитом или на щите», «как сладко умирать за край родной» находится и не вполне националистическое определение отечества: patria est ubicunque est bene [(родина всюду, где хорошо)].

Незрелым юношам пришлось бы объяснять, почему суровые римляне времен республики (последнюю правда обыкновенно замалчивали и писали – Res publica) отличались всевозможными добродетелями, а люди периода Империи погрязали в пороках, почему первые клали не только, как Сцевола, руку, но и весь живот на алтарь отечества, а последние торговали родиной или разрывали Империю на клочки, пришлось бы оценивать и деятельность Цезаря, и поступок Брута и т.д. Вот почему мы больше помнили Лукрецию и Тарквиния, пребывание Энея в гроте с Дидоной, чем Катона и Гракхов и, не знаю уже как, узнали ядовитую (более обидную, впрочем, для римлян, чем для самого полководца) характеристику Цезаря – мужа всех жен и жены всех мужей.

А так как мы, хотя и не имели времени (и нам их и не рекомендовали) читать ни Тургенева, ни Достоевского, ни Л. Толстого, все же прочли и Добролюбова, и Писарева, и Н. Михайловского, то консерваторами мы не стали; некоторые из нас вышли ярыми радикалами, большинство – умеренными либералами, сочувствовавшими всем либеральным реформам Александра II-го.

И такими вышли мы, основательно просеянные через классическое решето. А просеяли нас так основательно, что до благополучного оставления гимназии с патентом на зрелость из ста с небольшим моих товарищей по 2-му классу (в двух отделениях) вышли в университет всего шестеро, т.е. менее 6%.

По этому поводу передаю здесь факт, за достоверность которого ручаюсь (факт этот передан мне лицом – ныне уже умершим, заведывавшим секретным столом канцелярии одного учебного округа, и подтвержден свидетельством одного из директоров гимназии – и гимназия, и ее директор еще на этом свете – в архивах которой хранятся соответственные документы).

Вскоре после убийства [в 1878 году] шефа жандармов Мезенцева, наместник его [генерал Дрентельн], представляясь Государю Александру II, заявил Императору, что, по его мнению, одной из главных причин революционного движения в России является классическая система воспитания, выбросившая на улицу 100 тысяч недоучившихся гимназистов. Громадность этой цифры поразила Государя, и он велел негласным образом ее проверить.

Вслед за тем попечители учебных округов получили секретнейшие бумаги от министра народного просвещения графа Д.А. Толстого следующего содержания: в бумаге излагался разговор шефа жандармов с Государем и выражалось предположение, что вскоре чинами жандармской полиции будет произведено негласное дознание по затронутому шефом жандармов вопросу, «поэтому, – заканчивалась секретная бумага, – предлагаю вашему превосходительству принять меры к тому, чтобы чины жандармской полиции не получили верных сведений о числе выбывших из гимназий до окончания срока учения».

Один из попечителей, ничтоже сумняшеся, велел эту секретную бумагу переписать целиком и разослал ее с надписью «секретно» директорам гимназий к исполнению.

Вскоре от директоров гимназий стали поступать соответственные донесения попечителю округа. В донесениях сообщалось, что такого-то числа гимназию посетил чин жандармской полиции и, между прочим, спрашивал о числе воспитанников гимназии, выбывших до окончания срока учения.

Директора пишут: «Я показал (такую-то) цифру» (разумеется, фиктивную)». Наименьшую цифру в одном округе показал директор, имевший почему-то репутацию либерала (быть может, дознание можно было бы произвесть и иным способом, изучая, например, цифровые данные всеподданнейших отчетов министров народного просвещения, но рассказываю факт, как он произошел).

Однажды один из профессоров университета представляется графу И.Д. Делянову, министру народного просвещения [(после отставки в 1880-м Д.А. Толстого и назначения И.Д. Делянова в 1882 г. – в промежутке между этими двумя событиями, в марте 1881-го, революционеры взорвали Александра II)].

Как известно, Иван Давыдович был очень разговорчив, любил на приемах болтать о том, о сем, а больше ни о чем. Не знаю о чем шла речь, но вдруг И.Д. поражает собеседника внезапным заявлением: «да, пора уже покончить с этим классическим мракобесием». – «Как же, ваше сиятельство, ведь вы так энергично отстаивали классическую систему?» – «Да как же я мог иначе? Ведь [мой университетский товарищ] Катков на меня кричал, он меня чуть не побил»*.

---

* Согласно гимназическому уставу 1864 г. гимназии в России делились на два типа: классические, имевшие в программе изучение древних языков и дававшие выпускникам право поступать в университеты; и реальные, в программе которых преобладало естествознание, а древние языки отсутствовали. Выпускники реальных гимназий могли продолжить образование в высших специальных училищах технического свойства. Оба типа гимназий имели общий статус общеобразовательных начальных учебных заведений, а министр народного просвещения имел право преобразовывать классические гимназии в реальные.

С критикой такой системы начального образования в 1860-х гг. выступил в печати редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков (1818–1887). Он видел в разделении гимназий внутреннее противоречие: если и те и другие есть общеобразовательные учреждения, почему одни их них лишены права аттестовать выпускников в университет? Если же реальные гимназии, «вопреки предписанному им в уставе свойству общеобразовательности суть более или менее школы специального свойства», то почему их учебный план «не заключает в себе приспособления ни к какому техническому делу»?

Катков предлагал разрешить это противоречие, реформировав школу в духе классицизма. Он пропагандировал сосредоточение учебной программы на трех основных предметах: греческом и латинском языках и математике. Для того чтобы эти предметы стали превалирующими в гимназическом расписании, он предлагал «потесниться» естественно-научным предметам: географии, физике и химии.

Древние языки, по мнению Каткова, есть «педагогическое орудие», задача которого служить гимнастикой для формирующегося ума, который, приобретя этой гимнастикой навыки мышления, анализа и умственного трудолюбия, «сам, без помощи учителей, легко приобретет все разнообразные сведения, которые ему понадобятся». Преподавание наук – это дело университетов, гимназия же должна обеспечить «сосредоточение, собирание умственных сил», поэтому необходимо выделить несколько предметов, на которых учащиеся концентрировали бы умственные усилия в ходе обучения в гимназии.

Предмет, посредством которого совершается умственная концентрация, должен быть таким, утверждает Катков, «чтобы сущность преподавания как можно менее зависела от произвола или личности преподавателя», и «не изменяться в своей сущности, приноравливаясь к возрасту». Этим требованиям, по мнению Каткова, отвечали только древние языки.

У классической системы образования, как она виделась Каткову, было много противников. В ней видели систему схоластическую, стремящуюся наполнить ум юношей пустым знанием, не применимым к жизни, в то время как обществу требовались образованные специалисты-практики: врачи, учителя, инженеры и т.д.

<…> Большой удачей для Каткова было назначение на пост министра народного просвещения в 1866 г. графа Д.А. Толстого. Это была одна из многочисленных мер, принятых властями в результате испуга, в который повергло правительство покушение Д. Каракозова на Александра II. Кроме того, до назначения министром Толстой занимал пост обер-прокурора Синода, и император предложил ему оставить за собой обе должности, что подчеркивает желание власти усилить влияние церкви на образование. – ***О.С. Кругликова. «Московские ведомости» М.Н. Каткова в полемике о реформе образования в 1860-1870-х гг. // Известия Уральского госуниверситета, 2008***

Я лично вовсе не враг классиков и классических наук. Но я признаю их полезными только для тех, кому они полезны. Как общая система воспитания, классические языки в современной постановке образования, отнимающей у ученика больше половины его учебного времени, безусловно вредны и в отношении теоретическом, и в отношении практическом.

Практическую пользу изучение латинского языка дало только двум из нас – оному моему товарищу, преподавателю древних языков в гимназии, и мне, избравшему ученую карьеру. Да и то я, немало возившийся с средневековыми писателями и средневековыми латинскими актами, должен был переучиваться, так как средневековая латынь значительно отличается от латыни классических авторов.

(Мне пришлось однажды, при переводе одного средневекового автора, обратиться к совету одного очень хорошего классика, но он отказался проверить мой перевод, ссылаясь на то, что средневековой латыни он не знает. Быть может, он, как строгий пуританин, боялся потерять если не чистоту сердца, то чистоту своей классической речи. Впрочем, я слышал, как на одном ученом диспуте в университете, происходившем на языке латинском – диссертация была писана по латыни, оппоненты ругались на чистом классическом языке: «Hottentotus, kamtschadalus [готтентоты, камчадалы]]». Это мне напомнило средневековые акты передачи земельных владений «cum graniciebus» [(«вместе с границами»?, но звучит весьма неприлично!)].)

Недавно мне удалось видеть воспитанников знаменитой Гамбургской академии Гагенбека*. Что за чудная дрессура, и как охотно академисты делают свои номера! И вся тайна дрессуры – в ласковом обращении. Неужели же наши дети хуже гагенбековских зверей, и их можно дрессировать только разными, в том числе и классическими, скорпионами?

Константин Паустовский. Книга жизни. Кн. 1 – Далекие годы**

<…> ***Кишата***

Я не завидовал, как другие мальчики, тому, что киевские кадеты носили белые погоны с желтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна с серебряными пуговицами считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно и я на время перестал чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твердые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей – учеников приготовительного класса – всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв приготовишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

– Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция – чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрилы и подлизы ходят в новых фуражках», – говорили братья.

---

* Хагенбек (Hagenbeck), Карл (1844-1913), основатель одной из крупнейших в мире фирм по торговле дикими животными в Гамбурге. В 1907 создал зоопарк в Штеллингене (близ Гамбурга), где впервые были успешно использованы вольеры для зверей. В 1890 основал также цирк, где занимался дрессировкой. Свою жизнь и деятельность описал в книге «О зверях и людях» (1908, рус. пер. 1957). – ***Из Интернета***

** Константин Георгиевич Паустовский учился в К. I Г., с некоторым перерывом, с 1902-го по 1912 годы.

Фото гимназиста Константина Паустовского, около 1915 г.

На фуражке полагалось сидеть, носить ее в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста. Мне купили еще ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

<…> Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

– Не пугайся, – сказала мне мама. – Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклассника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

– Привели еще одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами.

Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился мне Александр Первый. Он прижимал к бедру зеленую треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами.

Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому – тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.

Первоклассник, карикатура В. Кадулина, Киев, 1910-е

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:

– Учись хорошо, а то съем!

Мама принужденно улыбнулась. Бодянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в приготовительный класс.

Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повел по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал мое плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме.

В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гама большой перемены. От перемены осталась пыль. Она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад киевской Первой гимназии – столетний парк, занимавший среди города целый квартал.

Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра.

Уже тогда, мальчиком, я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнезд. Может быть, потому, что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что «мир чудо как хорош и человек должен жить в нем и трудиться, как в большом саду».

Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука липкую конфету «зубровку» и сказал с польским акцентом:

– Съешь этот цукерок на следующей перемене.

Я поблагодарил его шепотом и взял конфету. Первые дни в гимназии я говорил шепотом и боялся поднять голову. Все подавляло меня: бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор Бессмертный – пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке.

Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться. Может быть, потому, что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром. Директор редко выходил оттуда. Ему мы кланялись по всем правилам, остановившись, тогда как с учителями мы здоровались на ходу.

Казимир вел меня по гулким коридорам. По ним бродили, заглядывая в классы через застекленный верх дверей, надзиратели «Дыня», «Шпонька», «Нюхательный табак» и единственный надзиратель, которого гимназисты любили, – Платон Федорович. Тот коридор, где был приготовительный класс, находился под властью Платона Федоровича. Это спасло меня на первое время от многих неприятностей.

Надзирателям полагалось следить за поведением гимназистов и сообщать инспектору о всяческих их проступках. За этим следовали кары – оставление на час или два «без обеда» (иначе говоря, томительное сидение в пустом классе после конца уроков), четверка по поведению и, наконец, вызов родителей к директору. Мы больше всего боялись этой последней кары.

В старших классах существовали и другие наказания: временное исключение из гимназии, исключение с правом дальнейшего обучения и самое страшное – исключение с «волчьим билетом», без права поступить потом в какую бы то ни было среднюю школу.

Я видел только одного гимназиста-старшеклассника, исключенного с «волчьим билетом». Это было, когда я учился уже в первом классе. Рассказывали, что он дал пощечину преподавателю немецкого языка Ягорскому, грубому человеку с зеленым лицом. Ягорский обозвал его при всем классе болваном. Гимназист потребовал, чтобы Ягорский извинился. Ягорский отказался. Тогда гимназист ударил его. За это он и был исключен с «волчьим билетом».

На следующий день после исключения гимназист пришел в гимназию. Никто из надзирателей не решился его остановить. Он открыл дверь класса, достал из кармана браунинг и направил его на Ягорского. Ягорский вскочил из-за стола и, закрывшись журналом, побежал между партами, стараясь спрятаться за спинами гимназистов. «Трус!» – крикнул гимназист, повернулся, вышел на площадку лестницы и выстрелил себе в сердце.

Дверь нашего класса выходила на площадку. Мы услышали сухой треск и звон стекла. Что-то упало и покатилось по лестнице. Классный наставник бросился к двери. Мы выбежали вслед за ним. На лестнице лежал веснушчатый гимназист. Он поднял руку, схватился за лестничную балясину, потом рука разжалась, и он затих. Глаза его смотрели на нас с удивленной улыбкой.

Около гимназиста засуетились надзиратели. Потом быстро вошел директор Бессмертный. Он стал на колени перед гимназистом, расстегнул его куртку, и тогда мы увидели кровь на рубахе. По лестнице уже подымались санитары «Скорой помощи», в коричневой форме, с французскими кепи на головах. Они быстро положили гимназиста на носилки.

– Уведите сейчас же детей! – сказал директор нашему классному наставнику.

Но тот, должно быть, не расслышал, и мы остались. Из класса вышел Ягорский и, сгорбившись, пошел в учительскую комнату.

– Прочь! – вдруг сказал ему в спину директор.

Ягорский обернулся.

– Прочь из моей гимназии! – тихо сказал директор.*

---

* В фундаментальном труде «Столетие Киевской Первой Гимназии», Киев, 1911 г. преподаватель с фамилией Ягорский не упоминается. Зато приводятся биографические данные по учителю русской словесности и латинского и немецкого языков (с 1904 г.) Юлиану Андреевичу Яворскому, который благополучно пребывал в сей должности и в год выхода данного труда. Евгений Адрианович Безсмертный служил директором К. I Г. в 1903-1907 годах. В общем, сей прискорбный случай требует дополнительного расследования.

И Ягорский побежал, приседая, по коридору. На следующий день мама не хотела пускать меня в гимназию, но потом раздумала, и я пошел. В гимназии нас распустили после второго урока. Нам сказали, что те из нас, кто хочет, могут пойти на похороны гимназиста.

И мы пошли все – маленькие, испуганные, в длиннополых шинелях, таща за плечами твердые ранцы. Стоял холодный, туманный день. За гробом шла вся гимназия. Было много цветов в гробу. Директор вел под руку седую, плохо одетую женщину – мать этого гимназиста. Тогда я еще плохо разбирался в таких житейских случаях, но все же понял, что жизнь дала нам первый урок товарищества. Мы подходили по очереди к могиле и бросали в нее по горсти земли, будто клялись, что всегда будем доброжелательны и справедливы друг к другу.

Но это было гораздо позже, а сейчас Казимир ввел меня в приготовительный класс. За столом сидел классный наставник Назаренко – громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охранке.* Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции.

Я сел на низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко диктовал: «Однажды лебедь, рак да щука...» За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клена. Мне хотелось поменяться с воробьем судьбой. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клена.

– Новичок, – прогремел Назаренко, – достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, черный мальчик с веселыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

– Проглоти слюну, тогда пройдет.

Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год. Пыль, беготня на переменах, постоянный страх, что тебя вызовут к доске, пальцы в чернилах, тяжелый ранец и, как отзвуки потерянной жизни, мелодичные звонки киевских трамваев за окнами, отдаленный свист шарманки и гудки паровозов, долетавшие с вокзала. Оттуда отходили тяжелые поезда и неслись, попыхивая паром, через рощи и скошенные поля, в то время как мы, согнувшись над партами, задыхались от меловой пыли, стертой сухой губкой с классной доски.

…Против приготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром к потолку. В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, кишели в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

---

* Игра слов: Навуходоносор – имя вавилонских царей, а «Науходоносор» – «на ухо доносит».

В воспоминаниях Анатолия Петровича (в тексте – Глеба) Беклемишева (*www.famhist.ru*), относящихся к 1899 г., содержится бытовая версия появления прозвища:

[Мать] Мария Модестовна сама подготовила Глеба в приготовительный класс и отвела его в Первую гимназию. Это было желтое здание, по архитектуре типичное для времен Николая 1-го. Экзаменовал Глеба Афанасий Иванович Назаренко, воспитатель приготовительного класса, не старый еще человек с красивой черной раздвоенной бородой, по прозвищу Навуходоносор. Это странное прозвище он получил еще в университете, где ему дали «в ухо», а он на это «донёс», отсюда и вышло на-в-ухо-доносор.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках – черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стоял около двери.

– Смотри, – кричали ему старшеклассники, – рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы выли от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвется в пустой приготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слез не смогут смягчить этот гнев. Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженых детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами.

Развлечение это, стоившее нам стольких слез, придумал бледный гимназист. Его звали Багров. Несколько лет спустя он стрелял из револьвера в Киевском оперном театре в царского министра Столыпина, убил его и был повешен.

На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал:

– Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем.

Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или агентом охранки, устроившей убийство Столыпина в угоду царю (Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле). Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером.

Вода из реки Лимпопо

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках кривым старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря». Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял*. Низенький, с длинной, почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор».

---

* Как мы уже видели, в I К. гимназии с 1870-го по 1905 г. служил учитель географии Николай Трофимович Черкунов.

Черпунов всегда притаскивал на уроки всяческие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира.

– Смотрите, – он взбалтывал бутылку, – сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нем расцвела культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура – это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

– Глупо, но похоже на правду! – замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки.

Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик.

Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумывал разные наглядные способы. Так, он рисовал на классной доске большую букву А. В правом углу он вписывал в эту букву второе А, поменьше, в него – третье, а в третье – четвертое. Потом он говорил:

– Запомните: это – Азия, в Азии – Аравия, в Аравии – город Аден, а в Адене сидит англичанин.

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь. Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота. Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моем воображении, как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью, – будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю: Я снял фуражку и поклонился.

– Пойди сюда! – подозвал меня Черпунов и протянул мне толстую руку. – Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что же у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

– Похвально! – сказал он. – Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник.

– С мамой? – спросил я.

– Что с мамой?

– Прийти к вам с мамой?

– Нет, зачем же, приходи один. Мамы не понимают в географии.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошел к Черпунову. Он жил на Печерске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно.

Была поздняя осень, но сирень еще не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили пароходы. Они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом.

Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка. Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик.

Открыл мне сам Черпунов. На нем были серая теплая куртка и войлочные туфли.

Чудеса начались тут же в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист – я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

– Венецианское стекло, – сказал Черпунов, помог мне расстегнуть шинель, снял ее и повесил на вешалку. – Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнем.

– Совсем как рахат-лукум, – заметил я.

– Глупо, но похоже на правду, – пробормотал Черпунов.

Я покраснел так, что у меня зажгло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу.

– Не обижайся. Это у меня такая поговорка. Ну, пойдем. Выпьешь с нами чаю.

Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повел в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона и свисавшие с полотна ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, желтыми и белыми цветами.

Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами.

– Вот, Маша, – кивнул на меня Черпунов, – это тот гимназистик, про которого я рассказывал. Сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно.

Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет.

– Неужели вы ему будете все объяснять, Петр Петрович? – спросила она, разглядывая меня и усмехаясь.*

– Да, после чая.

– Тогда я схожу на это время в город. В кондитерскую. К Кирхгейму. Мне надо кое-что купить.

– Как хочешь.

Женщина налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками.

– Набирайтесь сил перед лекцией.

После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом.

– Это раковина из Новой Гвинеи, – заметил Черпунов.

– Ну, прощайте! – громко сказала молодая женщина, встала и вышла.

– Ну вот, – промолвил Черпунов, проводил ее глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с изможденным лицом. – Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великим гуманистом. Ты, должно быть, не понимаешь, что означает это слово. Неважно. Поймешь потом. Он был великий ученый и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки.

Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришел наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

Женщина вошла в столовую и остановилась в дверях. На ней была черная маленькая шляпка. Она натягивала на левую руку перчатку.

– Между прочим, что такое поэзия? – неожиданно спросил Черпунов. – Пожалуйста, не собирайся мне отвечать. Это определить нельзя. Вот раковина с острова, где жил Маклай. Если ты долго будешь смотреть на нее, то вдруг тебе придет в голову, что как-то утром солнечный свет упал в эту раковину и так на ней и остался на вечные времена.

---

* Как уже неоднократно было зафиксировано, Черкунова (Черпунова, по Паустовскому) звали Николай Трофимович, а не Петр Петрович.

Женщина села на стул около двери и начала стаскивать с руки перчатку.

Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей.

– Если ты прижмешь раковину к уху, – говорил где-то далеко Черпунов, – то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит. И никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Все, что человек не может понять, называется тайной.

Женщина сняла шляпку и положила ее себе на колени.

– Возьми, послушай, – предложил Черпунов.

Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум, будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны. Женщина протянула руку.

– Дайте и мне. Я уже давно не слушала.

Я отдал ей раковину. Она прижала ее к уху, улыбнулась и приоткрыла рот так, что были видны ее маленькие, очень белые и влажные зубы.

– Что же ты, Маша, не идешь к Кирхгейму? – неожиданно спросил Черпунов.

Женщина встала.

– Я раздумала. Мне скучно одной идти к Кирхгейму. Извините, если я помешала.

Она вышла из столовой.

– Ну, что же, – сказал Черпунов, – продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там, в углу стоят черные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик. Только неси осторожно.

Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем легким.

Черпунов не торопясь открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клена, лежала в ящике на темном шелку и переливалась, как радуга.

– Не так смотришь! – рассердился Черпунов. – Надо вот так!

Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами – то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось, что крылья ее горели чудесным огнем, но никак не сгорали.

– Редчайшая бабочка с острова Борнео! – с гордостью произнес Черпунов и закрыл крышку ящика.

Потом Черпунов показал мне звездный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

– Ну, на сегодня довольно, – сказал Черпунов. – Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

– Вы всегда дома?

– Да. Я уже стар, чтобы бродить и путешествовать, мой друг. Вот я и странствую по стенам и столам, – он показал на книжные полки и на мертвых колибри.

– А вы много путешествовали? – спросил я робко.

– Не меньше, чем Миклухо-Маклай.

Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал в передней шинель, вошла молодая женщина. Она была в коротком узком жакете, в шляпе и перчатках. Маленькая темная вуаль была опущена у нее на глаза. От этого они казались совсем синими.

– Вы где живете? – спросила она. Я ответил.

– Значит, до Крещатика нам по пути. Пойдемте вместе.

Мы вышли. Черпунов стоял в дверях и смотрел нам вслед. Потом он громко сказал:

– Маша, прошу тебя, будь осторожна. И возвращайся скорей.

– Я слышу, – ответила женщина, но не оглянулась.

Мы миновали Никольский форт с бронзовыми мордами львов на крепостных воротах, прошли через Мариинский парк, где я встретил когда-то гардемарина, и повернули на Институтскую улицу. Женщина молчала. Я тоже молчал. Я боялся, что она о чем-нибудь спросит и мне придется отвечать.

На Институтской она наконец спросила:

– Что вам больше всего понравилось в нашем музее?

– Бабочка, – ответил я, помолчав, и добавил: – Только жалко эту бабочку.

– Да? – удивилась женщина. – Почему же вам ее жалко?

Мне в то время никто не говорил «вы», и от этого я еще больше смущался.

– Она очень красивая, – ответил я, – а ее почти никто не видит.

– А еще что вам понравилось?

На Крещатике мы остановились около кондитерской Кирхгейма. Женщина спросила:

– Вам позволяют пить какао в кондитерской? И есть пирожные?

Я не знал, позволяют ли мне это или нет, но вспомнил, что один раз я был с мамой и сестрой Галей у Кирхгейма, и мы действительно пили какао. Поэтому я ответил, что, конечно, мне позволяют бывать у Кирхгейма.

– Вот и хорошо! Тогда пойдемте.

Мы сели в глубине кондитерской. Женщина отодвинула на край столика вазон с гортензией и заказала две чашки какао и маленький торт.

– Вы в каком классе? – спросила она, когда нам подали какао.

– Во втором.

– А сколько вам лет?

– Двенадцать.

– А мне двадцать восемь. В двенадцать лет, конечно, можно верить всему.

– Что? – переспросил я.

– У вас есть какие-нибудь любимые игры и выдумки?

– Да, есть.

– И у Петра Петровича есть. А у меня нет. Вот вы бы приняли меня в свои игры. Мы бы хорошо играли.

– А во что? – спросил я. Разговор становился интересным.

– Во что? Ну хотя бы в Золушку или в бегство от злого короля. Или мы придумали бы новую игру. Она называлась бы «Бабочка с острова Борнео».

– Да! – сказал я, загораясь. – Мы бы разыскали в заколдованном лесу колодец с живой водой.

– С опасностью для жизни, конечно?

– Ну да, с опасностью для жизни!

– Мы бы несли эту воду, – сказала она и подняла на лоб вуаль, – в ладонях. Когда один уставал бы нести, он осторожно переливал бы воду в ладонь к другому.

– Когда мы будем переливать воду, – заметил я, – одна или две капли обязательно упадут на землю, и в тех местах...

– В тех местах, – перебила она, – вырастут кусты с большими белыми цветами. А что случится потом, как вы думаете?

– Мы обрызгаем бабочку этой водой, и она оживет.

– И превратится в прекрасную девушку? – спросила женщина и засмеялась. – Ну, пора идти. Вас, наверное, ждут дома.

Мы вышли. Она проводила меня до угла Фундуклеевской, а оттуда пошла обратно. Я оглянулся. Она переходила Крещатик, тоже оглянулась, улыбнулась и помахала мне маленькой рукой в черной перчатке.

Дома я не рассказал никому, даже маме, что был в кондитерской Кирхгейма. Мама все удивлялась, почему я ничего не ем за обедом. Я упорно молчал. Я думал об этой женщине, но ничего не понимал.

На следующий день я спросил у одного из старшеклассников, кто эта женщина.

– А ты разве был у Черпунова? – спросил старшеклассник.

– Был.

– И видел музей?

– Видел.

– Повезло, – сказал старшеклассник. – Это его жена. Он старше ее на тридцать пять лет.

В следующее воскресенье я не пошел к Черпунову, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. А через несколько дней мама вдруг спросила меня за вечерним чаем, не видел ли я у Черпунова молодую женщину.

– Видел, – сказал я и покраснел.

– Ну, значит, правда, – обернулась мама к отцу. – А он был с ней, говорят, так добр! Она жила, как принцесса в золотой клетке.

Отец ничего не ответил.

– Костик, – сказала мама, – ты уже выпил чай. Иди к себе, скоро пора ложиться.

Она услала меня, чтобы поговорить с отцом о Черпунове. Но я не стал подслушивать, хотя мне очень хотелось знать, что случилось.

Вскоре я узнал об этом в гимназии. Жена ушла от Черпунова, уехала в Петербург. Старик заболел от горя и никого к себе не пускал.

– Так и надо Черномору, – сказал гимназист Литтауэр. – Не женись на молодой!

Мы возмутились этими словами. Мы любили старика Черпунова. Поэтому на следующем же уроке, когда француз Сэрму влетел в класс, мы отомстили Литтауэру.

– Литтауэр! – громовым хором крикнул весь класс. – Иттауэр! Тауэр! Ауэр! Эр!

Потом сразу наступила тишина.

Сэрму вспылил и, как всегда, не разобрав, в чем дело, крикнул:

– Литтауэр, вон из класса!

И поставил Литтауэру четверку по поведению.

Больше мы не видели Черпунова. Он не вернулся в гимназию.

Через год я встретил его на улице. Он едва брел – желтый, опухший, опираясь на толстую трость. Он остановил меня, расспросил, как я учусь, и сказал:

– Бабочку помнишь? С острова Борнео? Так вот, нет у меня уже этой бабочки.

Я молчал. Черпунов внимательно посмотрел на меня.

– Я подарил ее университету. И ее и всю свою коллекцию бабочек. Ну, будь здоров. Рад был встретить тебя.

Черпунов вскоре умер. Я долго помнил о нем и о молодой женщине. Непонятная тоска охватывала меня, когда я вспоминал ее вуаль и то, как она, переходя Крещатик, улыбнулась и помахала рукой.

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

– Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

– Ну, как же! – ответили мы. – Великолепно помним.

– Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.

Первая заповедь

На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая, чесучовая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день – вторник или суббота.

Как только Трегубов появился у нас в третьем классе, он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании «закона божьего». Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов. А может быть, и тем, что и законоучители и гимназисты не относились к этому предмету всерьез.

Трегубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к «закону божьему».

– Алтухов, – сказал он, – прочти первую заповедь.

– «Аз есмь господь бог твой да не будет тебе бози иний разве мене!» – выпалил Алтухов и усмехнулся. Придраться к этому ответу было невозможно.

– Садись! – сказал Трегубов и поставил Алтухову единицу. – Боримович, теперь ты прочти первую заповедь.

Боримович, бледнея, прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу. Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем Трегубов, злорадно улыбаясь, ставил единицы. Мы ничего не понимали. Весь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами.

Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду и произнес:

– Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. Невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как ягнята. После речения «Аз есмь господь бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что в месте сем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!

Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его шелковой рясе.

До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого иерея.

На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались «Приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера». Иерей посапывал, а класс тихо веселился, пока наконец минуты за две до звонка не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал.

После Златоверховникова Трегубов явился к нам, как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола – огромный, с широкой бородой и гневными бровями. Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки.

Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона. Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь.

Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать с «закона божьего». Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического «закона». Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В нем властвовал ксендз-каноник Олендский.

Высокий, тучный, с белой головой, с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный «российский» гимназист.

– Сбежал? – сурово спрашивал Олендский.

– Нет, пан каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке.

– Немного посидеть? Ах, лайдак, лайдак! – Олендский начинал трястись от смеха. – Подойди сюда!

Гимназист подходил к Олендскому. Ксендз громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов.

– Садись! – говорил после этого Олендский. – Вон туда, в угол, за спину Хоржевского (Хоржевский был очень высокий гимназист, поляк), чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в геенну огненную. Сиди и читай газету. На!

Олендский вытаскивал из кармана сутаны сложенную вчетверо «Киевскую мысль» и протягивал беглецу.

– Спасибо, пан каноник! – говорил беглец.

– Благодари не меня, а бога, – отвечал Олендский. – Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли.

Трегубов, конечно, знал, что Олендский прячет нас у себя на уроках. Но перед Олендским даже Трегубов терялся. Добродушный ксендз при встречах с Трегубовым становился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство иерея православной церкви не позволяло Трегубову вступать в пререкания с Олендским. Мы же пользовались этим, сколько могли. В конце концов, мы так понаторели в католическом «законе божьем», что знали его лучше многих поляков.

– Станишевский Тадеуш, – говорил ксендз-каноник, – скажи мне «Магнификат».

Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок и наконец признавался:

– Забыл, пан каноник.

– Забыл? Однако ты не забываешь приходить в костел каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись! Кто знает «Магнификат»? Ну? Кто? О, святая дева над девами, королева апостолов! Что же это такое? Все молчат! Кто знает «Магнификат», пусть подымет руку.

Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных, какой-нибудь несчастный беглец от Трегубова.

– Ну, – говорил в изнеможении Олендский, – скажи хоть ты «Магнификат»! И если после этого бог не покарает их, – ксендз показывал на поляков, – то только из-за своего великого милосердия.

Тогда беглец вставал и говорил без запинки «Магнификат».

– Подойди сюда! – говорил Олендский. Беглец подходил. Олендский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу.

Потом Олендский нюхал табак, быстро успокаивался и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну. После уроков Олендский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве – высокого ксендза со смеющимися глазами.

Обучение «закону божьему» и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили, – это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть – исповедоваться и причащаться. Мы выбирали для говенья окраинные церкви – священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимназист посещал все великопостные службы.

Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть. И все чаще можно было увидеть в разрывах туч синее небо недалекой весны. На голых тополях кричали галки. На Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми «зайчиками».

Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову. Но Трегубов был неуязвим.

Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз. Но месть эта была безжалостной.

Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу – пасюка – и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового Завета.

Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту.

– Что такое? – грозно спросил Трегубов.

– Крыса, батюшка! – ответил, трясясь, Жданович.

Мы повскакали с мест. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.

Мы начали бросать в крысу книгами. Она завизжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол.

– Двери отомкните! – ревел он со стола протодиаконским басом. – Двери! Выпустите ее в коридор!

Мы делали вид, что боимся крысы, и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах:

– Платон Федорович! Сюда!

И он с размаху бросил в крысу классным журналом.

Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы.

Отец Трегубов не слезал со стола. Он только опустил рясу. Он стоял перед нами, как собственный памятник в два человеческих роста. Когда крыса была изгнана, Трегубов при помощи Бодянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса.

Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил:

– Не радуйтесь слабости человеческой! Смотрите лучше за собой. А то я опять замечаю у некоторых господ гимназистов гербы с выломанным вензелем гимназии. Буду за это беспощадно сажать «без обеда».

<…>

Я был, конечно, мальчишкой

Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в третий класс. Бодянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блестели. Мы встали.

– По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод, – сказал Бодянский, – занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами.

Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях. Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи. Кричали «ура». Вверх летели шапки.

Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «ура» и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Черный бронзовый Николай Первый стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок.

Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы услышали торжественное пение:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю и нашего жильца, студента-черногорца Марковича.

– Иди сейчас же домой! – сказал мне Боря. – И не смей один выходить на улицу.

– Я хочу с тобой, – робко сказал я.

– Тебя задавят. Ступай домой. Завтра все увидишь.

Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой. Но Боря уже исчез.

Где-то далеко впереди загремел оркестр, и я узнал крылатые, звенящие звуки «Марсельезы»:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!

Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть, курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками.

Когда мы проходили мимо Оперного театра, я услышал топот копыт. Я влез на тумбу и увидел цепь конных городовых. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городовыми пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался.

Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Фундуклеевской мимо театра Бергонье, вот поворачиваем на Крещатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Идзиковского.

– Куда мы идем? – спросил я девушку в каракулевой шапочке.

– К городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободные, как птицы. Вы понимаете?

– Понимаю, – ответил я.

– Где вы живете? – неожиданно спросила она.

– На Никольско-Ботанической.

– Родители знают, что вы на демонстрации?

– Все сейчас на демонстрации, – ответил я, стараясь обойти разговор о родителях.

Мы прошли магазин сухих фруктов Балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой думы стояла густая толпа. На крыше думы блестел позолоченный архистратиг Михаил – герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы.

Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субоч.

– Паустовский Константин, – оказал он строго, но глаза его смеялись, – и ты здесь! Немедленно отправляйся домой.

– Не беспокойтесь, он со мной, – сказала девушка.

– Извините, мадемуазель, я не знал, – вежливо ответил Субоч.

Толпа подалась назад и отделила нас от Субоча. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару.

– Спокойно, граждане! – крикнул рядом хриплый голос.

Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар. Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта. Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей – они носились над толпой, поблескивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба: ти-ти-та-та! ти-ти-та-та! Потом опять стихло.

– Товарищи солдаты! – снова крикнул надорванный голос, и сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор. На нас посыпалась штукатурка.

Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и толпа бросилась к стенам.

Девушка втащила меня во двор, и последнее, что я видел на Крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина Балабухи и поднял черный браунинг.

–Что это? – спросил я девушку.

– Стреляют! Войска стреляют.

– Зачем?

Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие и запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из-за ранца. В нем гремели книги.

Мы выбежали дворами на Прорезную улицу и поднялись к Золотым Воротам. Мимо нас промчались две лакированные кареты «Скорой помощи». Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На Прорезной проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились.

– Боже, какая подлость! – повторяла девушка. – Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой – расстреливать!

Мы сделали большой круг и мимо Владимирского собора вышли к Николаевскому скверу – как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал «ура» и махал фуражкой.

– Спасибо, – сказал я девушке. – Отсюда близко. Я дойду сам.

Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку – она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел.

Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-Ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари. Но сейчас их почему-то не зажигали. На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула:

– Где Боря? Ты не видел Борю?

– Там! – показал я в сторону Крещатика.

– Иди домой! – сказала мама и побежала вверх по улице.

Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала:

– Гулена! С ума сойти из-за вас! Идем, умоешься.

Дома я застал только Галю и Диму. Галя ходила по комнатам, натыкалась на стулья и повторяла: «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике.

Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал.

– Ты видел убитых? – спросил меня Дима.

– Ага! – промычал я, ничего не соображая.

– Не лезь к нему! – сердито сказала Галя. – Видишь, на кого он похож!

Потом наконец пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что видел много убитых и раненых.

Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разузнав, кто звонит. Потом мама услала меня спать. Перед тем как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыши. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло. Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил.

Утром мама сказала, чтобы я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дому. Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки: «Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели». Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан Задорожный, черносотенец и грубиян. На нем была серая шинель, портупея, а на боку, кроме шашки, висел в кобуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена – тощая, как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами.

Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. «Герой Мукдена!» – насмешливо называл Задорожного отец.

– Жорж, – жеманно пропищала Задорожная, – имейте в виду, что я беспокоюсь.

– Пустое, мой друг! – браво ответил Задорожный и поцеловал ей руку. – Мы только прикончим весь этот гевалт.

И он ушел, не оглядываясь.

Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми огорчались и негодовали.

Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о «тюфяке» Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расползалась в клочья, как прелое рядно. Но вместе с тем мы слышали разговоры взрослых о мужестве и великой выносливости русского солдата, о том, что так дальше продолжаться не может и что пришли сроки народному долготерпению.

Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографе бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть.

– Это прокламация? – спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии.

– Нет, – ответил Боря, – это стихи. Я с трудом разобрал их начало:

Довольно, довольно, герои Цусимы!
Вы жертвой последней легли.
Она уже близко, она у порога,
Свобода родимой земли!

Свобода! Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью стояла на баррикаде. В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикладывала к орудию дымящийся фитиль. Это и была Свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, «Марсельезу»: «К оружью, граждане! Час славы настал!» Били барабаны, пели трубы, Свобода победно, шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление. Позади Свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет.

Все-таки на картине Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» в руках у героини – французский, трехцветный флаг

Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике. Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой. На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости.

Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. «По приказу из Петербурга», – добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковской улице и погром приближается к нам. Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела отпускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей.

– Куда они ушли? – спросил я отца.

– В студенческую боевую дружину. Защищать евреев.

Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги.

Днем отец привел растерянную старушку-еврейку со сползшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора. Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему десять рублей. Но Игнатий отдал маме деньги и сказал:

– У меня самого в дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы Задорожная не заметила.

Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подбородок был облеплен шелухой от семечек.

За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и канотье, за ним – вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками и тучная старуха в теплой шали, а за ней – несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок.

– Отчиняй! – крикнул парень и стукнул в калитку ломом.

Из дворницкой вышел Игнатий.

– Жиды есть? – спросил его парень.

– Такие, как ты, – лениво ответил Игнатий.

– Жидов ховаете? – крикнул парень и затряс калитку. – Мы в полной известности. Отчиняй.

– Вот попрошу сюда полковника Задорожного, – пригрозил Игнатий, – он с тобой поговорит по-своему.

– Плевал я на иерусалимских полковников! Мы из твоего полковника сделаем юшку!

Тогда мадам Задорожная, подслушивавшая этот разговор из флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица, через двор. Рукава ее черного халата развевались и хлопали.

– Хам! – крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню. – Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии? Босяк! Василий! – завизжала она. – Иди сюда, маруда!

Из флигеля выскочил оторопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором.

– Новости! – сказала мадам Задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель. – Каждый хам будет выдавать себя за истинно русского! Нет, извините! Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет!

Так неожиданно жена черносотенца отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим. Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить в ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над нашей квартирой. Там давно висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее «катапультой».

Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме. Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили.

Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался – рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись. Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громыхая сапогами, помчался парень.

– Давай, второй кирпич! – крикнул мне Дима. Но я опоздал – парень уже скрылся за угловым домом.

– Ты не так тянул, – сказал Дима, – поэтому мы и промазали. Ты тянул вкось.

Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить.

Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из «катапульты».

Вечером Лиза понесла в дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя. Я увязался за Лизой.

Окна в дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табурете, тихонько наигрывал на гармонике и напевал вальс «На сопках Маньчжурии» – память о японской войне.

Страшная ночь, только ветер на сопках рыдает...

Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак.

– За тобой гоняются, – сказал он, – чтобы убить, а ты шей и шей. Иначе не с чего жить.

Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала песню Игнатия.

В вышине одиноко томится луна
И могилы солдат озаряет...

<…>

Крушение

После Крыма все сразу переменилось. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу.

<…> Однажды я увидел маму в приемной директора гимназии. Я бросился к ней, но она отвернулась, и я понял, что она не хочет, чтобы я ее заметил.

Я не мог догадаться, зачем мама приходила к директору, но ни о чем ее не спрашивал. Через несколько дней новый наш директор, Терещенко, назначенный вместо Бессмертного, лысый, низенький и круглый, с головой, будто смазанной маслом (за это ему дали прозвище «Маслобой»), остановил меня в коридоре и сказал:

– Передайте вашей мамаше, что педагогический совет уважил ее просьбу и освободил вашего брата и вас от платы за ученье. Но имейте в виду, что освобождаются только хорошие ученики. Поэтому советую подтянуться.

Это было первое унижение, какое я испытал. Дома я сказал маме:

– Диму и меня освободили от платы. Зачем ты ходила к директору?

– Что же я могла сделать другое? – тихо спросила мама. – Взять вас из гимназии?

– Я сам бы заработал на себя.

Тогда впервые я увидел на мамином лице испуг, как будто ее ударили.

– Не сердись, – сказала мама и опустила голову. Она сидела и шила у стола. – Разве я могу заставлять тебя работать?

Она заплакала.

– Если бы ты знал, как мне тяжело за всех и особенно за тебя! Как он смел, ваш отец, так необдуманно поступать и быть таким легкомысленным! Как он мог!

С некоторых пор мама называла отца «он» или «ваш отец». Она плакала, склонившись над старым платьем. Обрезки материи и белые нитки валялись на полу.

Мама распродала почти все вещи. В квартире стало сыро и пусто. Промозглый свет проникал из окон. За ними были видны шаркающие сапоги, боты, глубокие калоши. Мелькание ног, забрызганных грязью зимней распутицы, мешало сосредоточиться и раздражало. Будто все эти чужие люди ходили по самой квартире, наносили холод и даже не считали нужным взглянуть на нас.

Среди зимы мама получила письмо от дяди Коли. Письмо очень ее взволновало.

Вечером, когда все мы сидели за круглым столом, где горела единственная лампа и каждый занимался своим делом, мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию и что это совершенно необходимо, пока отец не получит хорошее место и не вернется в семью.

<…> Когда я сошел утром в Брянске, был такой мороз, что весь воздух выл от скрипа полозьев. Стужа лежала цепким дымом на земле. В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце. За мною выслали лошадей. В санях лежали тулуп, башлык и рукавицы. Я закутался. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди блесткой снеговой пыли – сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек.

<…> Я старался не думать о том, что было недавно в Киеве. Я предпочитал вспоминать об Алуште, о трех платанах, о Лене. Я даже написал ей письмо в Ялту, но так и не решился отправить. Оно казалось мне очень глупым. А более умного письма я написать не мог, сколько я над ним ни бился.

Артиллеристы

<…> Я провел зиму и лето в дружной семье арсенальцев. Но горечь пережитого в Киеве не проходила. Я постоянно вспоминал о маме, об отце, и мне было временами стыдно, что я живу в теплом и гостеприимном доме, где всегда было ровное и веселое настроение. Я представлял себе холодный киевский подвал, пустой стол с хлебными крошками, озабоченное лицо мамы, усталого от репетиторства Диму.

Мама писала мне редко, а Галя и Дима не писали совсем. Иногда мне казалось, что мама не пишет потому, что у нее нет денег даже на марки. Надо было что-то делать, чтобы ей помочь, но я не знал что. Я не мог привыкнуть к брянской гимназии. Все гимназисты в моем классе были гораздо старше меня. Я все чаще с сожалением вспоминал киевскую гимназию и задумывался над тем, чтобы вернуться в Киев. В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ.

«С нового учебного года, то есть с осени, – писал Субоч, – вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А пережитыми передрягами не огорчайтесь – eempora mueaneur ee nos mueamur in illis, – надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону».

Я прочел это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и еще понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь.

От этого сознания стало страшно, хотя в то время мне было уже почти шестнадцать лет.

<…> ***Один на большой дороге***

<…> Осенью я уезжал обратно в Киев. Так было решено на коротком семейном совете на Брянском вокзале, когда мама с Галей и Димой проезжала в Москву. Я приехал на вокзал с дядей Колей и тетей Марусей, чтобы повидать маму.

<…> На вокзале дядя Коля пытался односложно шутить. Тетя Маруся засунула мне в карман шинели конверт и сказала: «Прочтешь в дороге».

Когда поезд тронулся, она отвернулась. Дядя Коля взял ее за локоть и повернул лицом к поезду. Тетя Маруся улыбнулась мне и опять отвернулась. Дождевые капли бежали по оконному стеклу. Из-за них ничего не было видно. Я опустил окно и высунулся.

Дядя Коля и тетя Маруся стояли на платформе и смотрели вслед поезду. Пар падал на землю. Далеко позади поезда я увидел полосу чистого неба. Там уже светило солнце.

Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я достал из кармана конверт. В нем были деньги и записка: «Береги себя. Ты выходишь один на большую дорогу, а потому не забывай, что у тебя есть провинциальные дядя и тетя. Они тебя крепко любят и всегда готовы помочь».

<…> ***Осенние бои***

В гимназии учителя и товарищи встретили меня после Брянска так же приветливо, как и Боря. Даже протоиерей Трегубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне.

Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп – этим звуком он привык пугать кишат, – и сказал:

– Виновны, но заслуживаете снисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите!

Но согрешить мне все же пришлось. В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения – первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе – демократическим. В первом отделении учились преимущественно оболтусы – сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки.

Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше.

Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год, осенью, происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало.

День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение: то неожиданно распускало после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводило два-три класса на экскурсию в художественный музей, то внезапно закрывало выходы в сад, где обычно происходила драка.

Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене. Некоторых гимназистов класс «освобождал» от драки. Освобождали больных, слабосильных или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно: никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине.

Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. В этом случае, по железным законам гимназической войны, их никто не трогал. Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов – оттуда было лучше видно. Бой начинался с внезапной и зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели. Все гимназисты устремлялись в сад. Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятой наступающими друг на друга рядами, проносились, свистя, как картечь, сотни каштанов.

Все сторожа – Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других – бежали рысью в сад. За ними мчались, обгоняя друг друга, испуганные надзиратели. Хлопали двери. В коридорах раздавались встревоженные голоса учителей.

Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегал по лестнице, торопясь на место боя.

Однажды вслед за Бодянским в сад поспешно спустился и ксендз-каноник Олендский. Мы полезли на подоконники. Нам хотелось увидеть, как Олендский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению.

Но вместо этого Олендский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мячи. Должно быть, Олендский вспомнил свое детство. Ксендз, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, участие в этом бою, даже в качестве примирителя, доставило ему большое удовольствие.

Как только вспыхивал бой, все запасные выходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы.

– В Первой гимназии началось! – орали на улице мальчишки.

Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев. Были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги, стада слонов. Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев ликующий победный крик – это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство.

На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одерживало победу.

Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом – будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос.

Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский.

<…> После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов.

– Вот что значит, если у людей нет царя в голове, – говорил нам с горечью Бодянский. – А еще читаете всяких Ибсенов и Леонидов Андреевых! Просвещенные юноши! Будущие столпы общества! Зулусы и троглодиты!

«Живые языки»

Из «мертвых» языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса.

1 – директор Н.В. Стороженко, 2 – инспектор П.Н. Бодянский (рядом с ним справа – А.О. Поспишиль), 3 – латинист В.Ф. Субоч (идентификация Михаила Кальницкого, Киев), 1911 г.

Бодянский тоже строго следил за нашими познаниями в латыни и любил повторять:

– Латинская речь есть величайший феномен языкосложения!

Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больных, опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешиля в Опоздаль.

Из «живых» языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки.

Француз Сэрму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене.

На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсажи, кормили желтых цыплят. Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками розанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке.

Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти.

Сэрму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски:

– Что видим мы на этой интересной картинке?

Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзан или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки.

Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо Сэрму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса.

Мосье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс.

Мосье Говас происходил из Бретани. Это был низенький толстый человечек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться.

Инспектор представил нам мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Регамэ и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности.

Тогда наступила очередь гимназиста Литтауэра. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение. Литтауэр вышел, остановился против иконы, широко перекрестился и начал «молитву перед учением»: «Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы».

Он прочел эту молитву пять раз, потом прочел «Великую ектенью». После этого Литтауэр огласил «Символ веры», «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина.

Мосье Говас стоял, вежливо склонив голову и недоумевая.

– «Господи, владыко живота моего! – взывал Литтауэр. – Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!»

Мы хором повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось десять минут. Мы боялись, что у Литтауэра не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти десять минут. Но Литтауэр нас не подвел. Он второй раз прочел «Символ веры» и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, Господи, люди твоя».

Затрещал звонок, и мосье Говас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь, по коридору.

Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский и крикнул:

– Фигли-мигли! Кощунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литтауэр?

– Что вы! – воскликнул, вставая, Литтауэр. – Я же еврей, Павел Петрович.*

– Ой-ой-ой! – сказал Бодянский. – Еврей! Интересный резон! Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука! Собери книги и ступай домой. По дороге можешь обдумывать то печальное обстоятельство, что отныне ты уже имеешь вторую четверку по поведению.

При мосье Говасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений, между всеми этими «аксант эгю», «аксан грав» и «аксан сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам мосье Говас.

---

* Литтауэр Михаил Георгиевич, иудей, сын купца 1-й гильдии, род. 3 янв. 1894 г. в Варшаве.

Группа должностных лиц К. I Г. в 1911 г.
1-й ряд (считая слева, сидят): С.М. Конопацкий, Д.Т. Матвейчук, И.Я. Змигродский, А.О. Поспишиль, А.В. Лобачевский, П.Н. Бодянский, Н.В. Стороженко, Н.Ф. Малиженовский, Я.Н. Шульгин, В.П. Клячин, В.Н. Иванов, А.В. Назаренко.
2-й ряд: А.Ф. Коваржик, Я.П. Лукианов, И.А. Маляревский, А.М. Рогозинский, В.Ф. Субоч, Ф.Ю. Серму, В.Ю. Рябчевский, И.В. Дуссан, Ю.А. Яворский, М.И. Тростянский, М.А. Страшкевич, Н.В. Оглоблин, М.Ф. Крыжановский, М.Ф. Дрешер, И.М. Щербаков.
3-й ряд: В.А. Софьин, А.Б. Селиханович, С.Б. Трабша, Л.Ф. Батуев, И.Н. Усницкий, Т.Г. Аниконов, А.Н. Стежко, Н.В. Лягунов, Ф.И. Воячек, Е.Т. Багорский, П.Ф. Кожич, И.И. Троцкий, И.Е. Веселовский

Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег. И в глазах у мосье Говаса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька.

Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Додэ, но мосье Говас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между «фютюром» и «кондисионелем».

С течением времени выяснилось, что у мосье Говаса есть в Бретани, в маленьком городке, каменный домик и старуха мать и что мосье Говас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кроликов, а мосье Говас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж – это было выгодно. Поэтому мосье Говаса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература.

Один только раз мосье Говас разговорился с нами. Это было весной. Мосье Говас готовился поехать на летние каникулы в Бретань. Этим объяснялось его хорошее настроение.

Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений. А для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым.

Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком омаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мосье Говас смотрел на весну и печально покачивал головой – жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает с зеленого листика толстую божью коровку. А все потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее.

– Да, – сказал мосье Говас, – такова жизнь! Будем же терпеливы. Не станем роптать на судьбу и на Бога. Терпенье вознаграждается. Не так ли?

Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, что терпение сродни идиотизму.

<…> Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина».

Иогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Иогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя. Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием. От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Иогансон долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом.

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую неделю Иогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали – он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Иогансона стояла глубокая тишина.

– Ну вот, юноши, – заговорил Иогансон, – все кончено! Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницей с меня слетало по нескольку лет. Да! Это было так! То была музыка счастья. Я писал о нем. Где оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот форменный сюртук. Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей опере. Все! Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене венского театра.

Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы...

Иогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупясь.

После урока на перемене к нам пришел Субоч.

– Я хотел предупредить вас, – сказал он, когда мы его окружили, – чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний.

В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!» Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили, как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение.

Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец на Лукьяновском базаре опера была найдена. Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговки салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки – чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц.

Рукопись вернули Иогансону на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это произошло. Мы только видели, как Иогансон шел после урока по коридору, окруженный восьмиклассниками. Он был без пенсне. Он шел нетвердо, пошатываясь. Восьмиклассники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бодянский, улыбался и кивал головой. Он обнял Иогансона, и они поцеловались.

В гимназии несколько дней длилось нотное безумие. Иогансон приносил партитуру оперы и чистую нотную бумагу. Он раздавал нам эту бумагу, и мы переписывали оперу в нескольких экземплярах. Это было в конце зимы, а весной я получил по почте кусочек картона. На нем было написано, что Оскар Федорович Иогансон просит меня «почтить своим присутствием» исполнение отрывков из его оперы, которое произойдет на квартире у одного из моих товарищей по классу.

Вечером я пошел в назначенное место, на Бибиковский бульвар. Широкая лестница в доме моего товарища была ярко освещена. Два больших зала были полны народа. Больше всего было гимназистов, но были и гимназистки из Мариинской гимназии, и седовласые музыканты, и актеры. Иогансона еще не было. Я стоял у входа в зал и видел освещенную лестницу. На ней появился Оскар Федорович. Он взбежал по лестнице – тонкий, помолодевший, в черном элегантном сюртуке. Он быстро вошел в зал. Все зааплодировали.

Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно музыка о счастье, о страданиях любящих, равных мучениям Тристана и Изольды. Я не могу передать певучесть этой музыки, ее струнную силу. Когда музыка окончилась и большинство гостей, поздравив Иогансона, разошлось, нас, оставшихся, пригласили к столу. Поздней ночью мы проводили Иогансона до дому. По дороге он зашел на телеграф и послал телеграмму в Вену. Он вышел из телеграфной конторы погрустневший и сказал, что слишком долго ждал этого дня. А когда слишком долго ждешь, то радость превращается в некоторую печаль.*

---

* Из circulum vitae: *Перу О.Ф. Иогансона принадлежит трехактный драматический этюд «Обида», появившийся в печати в 1901 г. и одобренный (в 1902 г.) московским литературным комитетом к постановке на сценах императорских театров. Кроме того, он написал несколько романсов, которые исполнялись в концертах в Киеве, Петербурге и за границею*.

Похоже, К. Паустовский «художественно преобразил» сие направление творческой деятельности своего учителя.

«Господа гимназисты»

Кто мог знать, что получится из нас, «господ гимназистов», как называл нас Бодянский? Что получится из этих юношей в выгоревших фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать. Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы – оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном, слове.

Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей. Какой-нибудь выцветший надзиратель «Шпонька», попадая в круг булгаковских выдумок и «розыгрышей», вырастал до размеров Собакевича или Тартарена. Он начинал жить второй, таинственной жизнью уже не как «Шпонька» с опухшим, пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий. Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающее из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти фантастического.

Мы встретились с Булгаковым после гимназии только в 1924 году, когда он был уже писателем. Он не изменил Киеву. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максима Холодная Вода – честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны. Почти в одно время со мной в гимназии училось несколько юношей, ставших потом известными литераторами, актерами и драматургами. Киев всегда был городом театральных увлечений.

Гимназист Михаил Булгаков, 1908 г.

Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала стольких людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. (Недаром Субоч говорил нам, когда мы «случайно» опаздывали на уроки: «Нет в жизни ничего случайного, кроме смерти». Высказав эту сентенцию, Субоч ставил опоздавшему пять с минусом по поведению.)

Это не было, конечно, случайностью. Причины этого явления так многочисленны и трудно уловимы, что мы, по лености своей, не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что все произошло по счастливой случайности. Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская.

Мы забываем о революции Пятого года, о студенческих сходках, куда мы, гимназисты, ухитрялись пробираться, о спорах взрослых, о том, что Киев всегда был городом с большим революционным накалом. Мы забываем, что запоем читали Плеханова, Чернышевского и революционные брошюры, отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Земля и воля». Читали Герцена и Кропоткина, «Коммунистический манифест» и романы революционера Кравчинского.

Но и это беспорядочное чтение приносило свои плоды.

Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей и хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопутствовала нам на всем протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек.

Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям. Мы увлекались поэзией и литературой. Но понимание русской литературы, всей ее классической ясности и глубины, пришло к нам позже, чем понимание более легкой литературы Запада.

Мы были молоды, и западная литература привлекала нас изяществом, спокойствием и совершенством рисунка. Холодный и прозрачный Мериме был легче для нас, чем мучительный Достоевский. У Мериме или у Флобера все было ясно, как в летнее утро, а Достоевский надвигался, как гроза с ее тревогой и желанием спрятаться под надежную крышу. И Диккенс не знал сомнений. И Гюго. И Бальзак.

А может быть, в увлечении нашем западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки «Универсальной библиотеки». Они наводняли тогда книжные магазины. За двадцать копеек можно было прочесть «Монт Ориоль», «Евгению Гранде», «Дикую утку» и «Пармский монастырь». Мы читали все это запоем. Одно время мы особенно увлекались французской поэзией – Верленом, Леконтом де Лиллем и Теофилем Готье. Мы читали их в подлинниках и в переводах. Легкий, временами почти неуловимый, как отдаленный запах, а временами твердый, как металл, французский язык звучал у этих поэтов колдовством.

Эта поэзия привлекала нас не только певучестью и туманным содержанием, похожим на весеннюю дымку, но и тем, что она вызывала представление о самих поэтах, о Париже. Поэзия эта существовала как одна из заманчивых вещей в ряду многих заманчивых вещей, связанных с Парижем. Аспидные крыши, кольцо бульваров, дождь, огни, Пантеон, розовая ночь над Сеной и, наконец, стихи. Так возникал в нашем наивном представлении Париж. Он был немыслим без стихов, как без баррикад и поцелуев.

Но очень скоро я, увлекавшийся французской поэзией, понял, что это – холодный блеск, тогда как рядом сверкают россыпи живой и чистой поэзии русской.

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле...

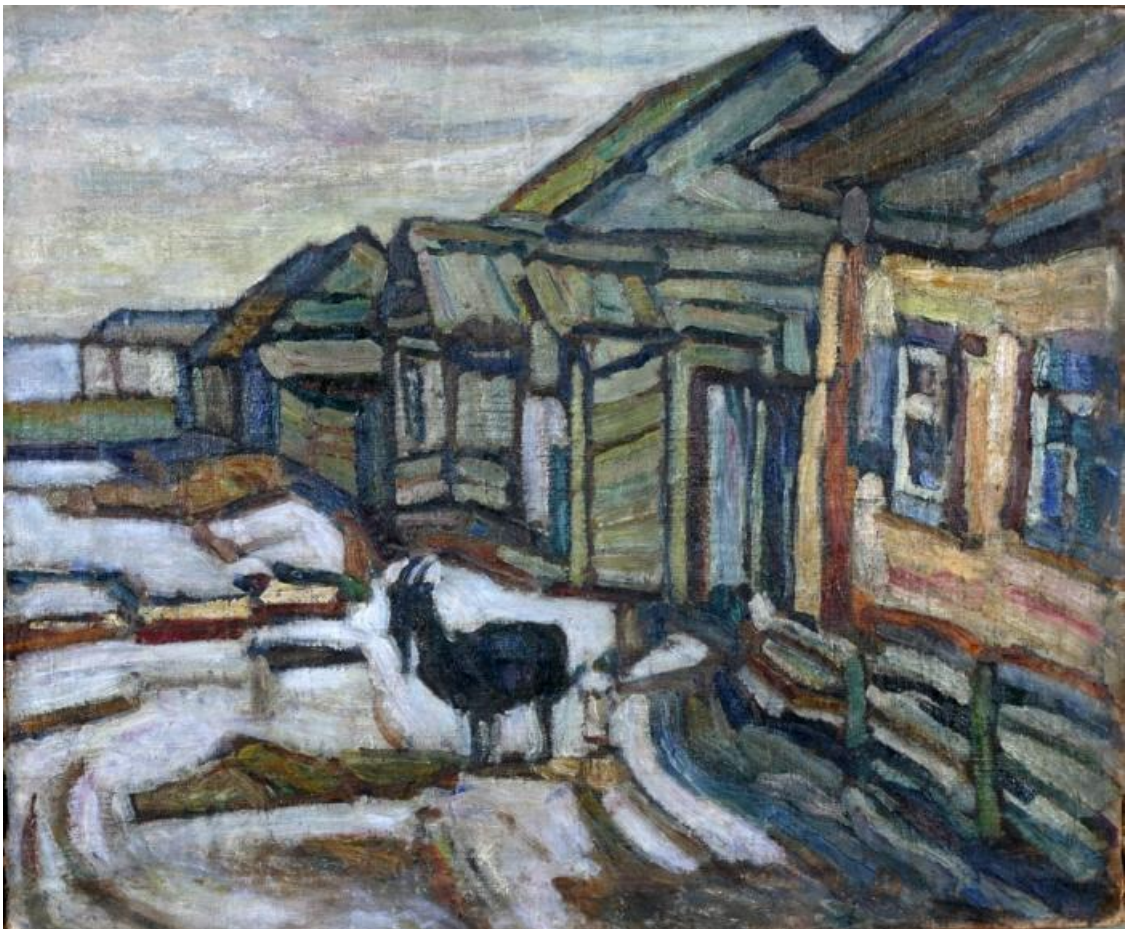
Мы росли, и постепенно могучая и, быть может, величайшая в мире русская литература овладевала нашими сердцами и вытесняла на второй, хотя и почетный, план литературу Запада. Кроме литературы, мы увлекались еще и живописью.

На мраморной доске в актовом зале гимназии золотыми буквами были написаны имена медалистов и знаменитых людей, окончивших нашу гимназию. В числе этих людей был художник Ге. Этого художника, хотя он и был нашим старшим товарищем, мы все же не признавали за черный тон и нравоучительность его картин. В наше время начиналось запоздалое увлечение импрессионизмом.

Мой товарищ по классу Эмма Шмуклер готовился быть художником. Он учился живописи у киевского импрессиониста Маневича. Мне нравились картины Маневича – местечковые домишки и дворы, написанные жирно, почти малярным мазком.

Я часто бывал в доме у Эммы. Это был, как говорили, артистический дом. Отец Эммы, широко известный в городе врач-бессребреник, в юности мечтал стать оперным актером. Почему-то это не удалось ему. Но все же страсть к опере преобладала у доктора Шмуклера над всем. Все в его доме было оперное – не только сам хозяин, крупный, бритый и громогласный, но и рояль, ноты, написанные от руки, жардиньерки для цветочных подношений, афиши, портреты знаменитых певцов и перламутровые бинокли.

Даже шум, не затихавший в квартире у доктора, был совершенно оперный. Окрики на детей, горячие ссоры – все это походило на рулады, речитативы, модерато, аллегро и форте, на дуэты и трио, на перебивающие друг друга мужские, женские и детские арии.



Абрам Маневич. Винница, Иерусалимка

Во всем этом шуме был скрытый напев. Голоса из квартиры Шмуклера звучали звонко и свободно, как «бельканто», и разносились по всей парадной лестнице. Я часто бывал у Эммы Шмуклера, но все же предпочитал этому семейному дому каморку другого моего товарища по гимназии, поляка Фицовского. Так же как и я, он жил один. Фицовский, коренастый, с русой прядью на лбу, был всегда невозмутимо спокоен и относился ко всему как к глупой суете.

У него были свои чудачества, раздражавшие учителей. Например, он разговаривал со своим соседом по парте, весельчаком Станишевским, на чистейшем русском языке, но так, что порой нельзя было понять ни слова. Достигалось это простым способом. Все ударения в словах Фицовский делал неправильно и говорил очень быстро.

Фицовский заставил меня изучить международный язык «эсперанто». У этого языка, выдуманного варшавским окулистом Заменгофом, было то достоинство, что он был легок. На этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто.

По примеру Фицовского я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил присылать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молоденькая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов – правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота и что все русские офицеры говорят по-французски.

Каждую неделю мы устраивали в каморке у Фицовского пирушки. На этих пирушках мы меньше всего пили (денег хватало только на бутылку наливки), но больше всего разыгрывали из себя лермонтовских гусар, читали стихи, спорили, произносили речи и пели.

Засиживались мы до утра. Рассвет, проникавший в прокуренную каморку, казался нам рассветом удивительной жизни. Она ждала нас за порогом. Особенно хороши были рассветы весной. В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова была полна романтических историй. Эта удивительная жизнь, что ждала нас за порогом, была неуловимым образом связана с театром. В тот год мы увлекались русской драмой и актрисой Полевицкой. Она играла Лизу в «Дворянском гнезде» и Настасью Филипповну в «Идиоте».

Ходить в театр мы могли только с разрешения инспектора Бодянского. Он не давал нам больше одного разрешения в неделю. Тогда мы начали подделывать разрешения. Я подписывал их за Бодянского и так набил руку, что Бодянский только качал головой, когда надзиратели показывали ему отобранные у гимназистов разрешения. Он не мог отличить фальшивые от настоящих и говорил:

– Я этих театралов скручу в бараний рог! Латинский язык надо учить, а не шляться по галеркам! Фальшивомонетчики вы, а не сыновья почтенных родителей!

Мы поджидали Полевицкую после спектаклей около актерского подъезда. Она выходила – высокая, светлоглазая. Она улыбалась нам и садилась в сани. Встряхивались бубенцы. Их звон уносился вниз по Николаевской улице, исчезал в снежной ее глубине.

Мы расходились по домам, а снег все падал и падал. Пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало наперегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас, долго не давало заснуть. Оно мигало на стенах моей комнаты светом ночного фонаря. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали. За окном свистели полозья. Горячие лошади скакали мимо. Кого они уносили в эту ночь?

Борис Кустодиев. Портрет Елены Полевицкой, 1905 г.

В комнате поручика Ромуальда сама по себе звучала струна на гитаре. Звук струны долго дрожал. Он делался все тоньше, пока не становился сначала как серебряный волосок, потом как серебряная паутина. Тогда он затихал.

Так в радостном возбуждении, в сумятице дней, где жизнь переплеталась со строчками стихов так крепко, что их нельзя было оторвать друг от друга, тянулась зима. Я тогда жил уже совершенно один и зарабатывал дешевыми уроками. Денег мне хватало на еду и на библиотеку, и я в то время совершенно не ощущал, должно быть по молодости, никакой тяжести и тревоги.

Горбоносый король

Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России. Начальство гордилось не только историей этой гимназии, но и ее зданием – величественным и неуютным. Единственным украшением этого здания был беломраморный зал в два света. В этом зале всегда было холодно, даже летом.

Мы любили сановные посещения, потому что каждая высокая особа просила директора освободить в память своего посещения гимназистов от занятий на один или на два дня.

Директор благодарил за честь и соглашался. Мы торопливо связывали ремешками книги и вываливались буйными толпами на улицу.

Но не все посещения высоких особ сходили так гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота. За неделю до его приезда Платон Федорович начал обучать нас сербскому гимну «Боже правды, ты, что спасе от напасти досад нас». Кроме того, нам было приказано, приветствуя короля, кричать не «ура», а «живио».

Директор Терещенко, «Маслобой», должен был сказать королю несколько приветственных слов по-французски*. Приветствие написал мосье Говас. Он гордился этим. Впервые ему выпала на долю высокая честь писать приветствие его величеству королю.

Директор выучил приветствие наизусть. В этом он сравнялся с нами. Но «Маслобой» отличался слабой памятью. Он боялся забыть приветствие перед лицом Петра Карагеоргия. Директор нервничал. Он потребовал от нового нашего инспектора Варсонофия Николаевича (Бодянский был в то время назначен директором Третьей гимназии), чтобы тот дал ему в помощь лучшего подсказчика-гимназиста.

Мы не любили «Маслобоя» и отказались назвать лучшего подсказчика. Пусть «Маслобой» справляется сам. Лучший подсказчик в гимназии – к тому же француз – Регамэ учился в нашем классе. Вместе с нами он невозмутимо выслушивал просьбы инспектора и вежливо улыбался. Наконец мы сдались. Мы обещали дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике безответному гимназисту Боримовичу. Иванов обещал переделать двойку на тройку.

Соглашение было достигнуто. Регамэ получил листок с текстом приветствия и переписал его на шпаргалку. Приветствие начиналось словами: «Sir, permeeeez à nous» и так далее. По-русски это звучало примерно так: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии».

Мы все выучили это приветствие наизусть. Когда директор проходил по коридору, мы хором, подражая его пискливому голосу, говорили из класса ему в спину: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии!»

Нас особенно веселили «седые стены». «Маслобой» делал вид, что ничего не слышит.

---

* «Ошибка памяти» К. Паустовского – это не Терещенко (Александр Николович Терещенко был в это время почетным попечителем К. I Г.), а Н.В. Стороженко, который по случаю посещения К. I Г. 17 марта 1910 г. сербским королем Петром I был удостоен сербского ордена Белого орла 3-й степени (см. circulum vitae тогдашнего директора К. I Г.).

В день приезда короля гимназия светилась праздничной чистотой. Широкую лестницу устлали красными коврами. День был солнечный, но, несмотря на это, в актовом зале зажгли люстры. Мы пришли в парадных мундирах. Наш класс выстроили в две шеренги в вестибюле. Сбоку стоял Субоч с маленькой шпагой, засунутой в карман вицмундира. Над карманом блестел только тонкий золотой эфес. От Субоча пахло духами. Его пенсне так сверкало, будто стеклышки его были сделаны из пластинок алмаза.

У мраморной колонны стоял «Маслобой». По нашей гимназической терминологии, «Маслобой» «выпустил пар». Он был бледен. Ордена дребезжали на его тугом сюртуке.

С улицы послышалось «ура». Это кричали войска, расставленные шпалерами.

«Ура» приближалось к гимназии. Грянул оркестр. Двери распахнулись. «Маслобой» беспомощно оглянулся на Регамэ и двинулся рысцой навстречу королю.

Низенький горбоносый король с седыми усами, в голубой шинели, с серебряным набором, быстро вошел, припрыгивая, в вестибюль. За его спиной все голубело от шинелей и лоснилось от цилиндров.

Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и, вместо того чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля.

Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец он вырвался из могучих лап Василия. К королю подскочил адъютант и, отстранив Василия рукой в белой лайковой перчатке, услужливо снял королевскую шинель. Глаза у Василия помутнели, как у пьяного. Василий стоял вытянувшись и отдувался – он не мог сообразить, что случилось.

– Сир! – сказал «Маслобой», склонившись перед королем, и отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь.

Регамэ тотчас начал «подавать». Он делал это виртуозно.

Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием. Потом король услышал подсказку и усмехнулся.

Директор кое-как окончил приветствие и показал королю на узкий проход между шеренгами гимназистов, приглашая «его величество» проследовать в актовый зал.

Король двинулся. За ним, гремя саблями, небрежно волоча их по чугунным полам вестибюля, хлынула свита. Аксельбанты замелькали в наших глазах.

На шаг позади короля шел воинственный генерал Иванов, командующий Киевским военным округом. За свитой шли, сняв цилиндры и слащаво улыбаясь, сербские министры.

Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимназическими мундирами, мы дружно и во весь голос грянули: «Жулье!» Это было похоже на «живио». Мы повторили этот крик несколько раз. Он гремел в «седых стенах» гимназии.

Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, кивал нам и улыбался. Субоч побледнел. Командующий Киевским военным округом генерал Иванов незаметно показывал нам за спиной кулак. В нем была зажата перчатка. Перчатка тряслась от негодования. «Маслобой», приседая от испуга, семенил за королем.

Король прошел, и мы услышали, как гимназический хор торжественными и постными голосами запел наверху: «Боже правды, ты, что спасе...»

Субоч пристально осмотрел всех нас. Но мы стояли стройно и безмолвно. На наших лицах не отражалось ничего, кроме умиления перед этой торжественной минутой.

Субоч пожал плечами и отвернулся. Но история с королем еще не была окончена. Когда он шел обратно, мы дружно и оглушительно прокричали: «Держи его!» Это опять было похоже на «живио». И король опять ничего не понял. Он милостиво улыбался, а министры все так же изящно несли перед собой цилиндры с атласной белой подкладкой.

Но когда мимо нас проходил седобородый премьер-министр Пашич, считавшийся либералом, мы впервые прокричали понятно и правильно: «Живио, Пашич!»

Мы, конечно, перестарались. Матусевичу, обладавшему могучим басом (впоследствии Матусевич был певцом Киевской оперы), поручили прокричать «Держи его!» прямо в ухо королю. Король пошатнулся, но быстро овладел собой и любезно кивнул Матусевичу.

После этого случая с королем двенадцать гимназистов из нашего класса, в том числе и я, получили разнос от директора. После разноса нам запретили три дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки.

До сих пор я не понимаю смысла нашего исключения. Это были три дня безмятежного отдыха, чтения, прогулок по Днепру и посещения театров. Скрыть случай с сербским королем, конечно, не удалось. Нам неистово завидовала вся наша гимназия. И не только наша, но и Вторая, и Третья, и реальное училище, куда никогда не возили никаких королей.

<…> ***«Золотая латынь***

Латинист Субоч смотрел на меня круглыми глазами. Усы его топорщились.

– А еще восьмиклассник! – сказал Субоч. – Черт знает чем занимаетесь! Следовало бы влепить вам четверку по поведению. Тогда бы вы у меня запели!

Субоч был прав. Тот трюк, или, как мы его называли, «психологический опыт», который мы проделали на уроке латинского языка, можно было только и определить словами «черт знает что». В нашем классе когда-то висели картины. Их давно сняли, но в стенах осталось шесть больших железных костылей. Эти костыли вызвали у нас одну «удачную мысль». Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью.

Субоч был человек стремительный. Он влетал в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались. Пенсне сверкало. Журнал, со свистом рассекая воздух, летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели. Воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада.

Таков был обычный приход Субоча.

Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субоч искал в книжке очередную жертву. Шестерых самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу. Спирало дыхание.

В класс влетел Субоч. В это время все остальные гимназисты сделали между партами «стойку» – стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты.

Субоч разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, и в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в «исходное положение» – стал на ноги и сел на места. А мы, шестеро, отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели за парты. Наступила звенящая зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, как будто ничего не случилось. Субоч начал бушевать. Но мы отрицали все начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было, никто не висел на стенах и класс не делал никакой «стойки». Мы даже осмелились намекнуть, что Субоч страдает галлюцинациями.

Латинист растерялся. Он вызвал к себе шестерых гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субоч пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол – нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице: Субоч был очень мнительный.

– Дежурный, – сказал Субоч, – позовите ко мне Платона Федоровича.

Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем.

– Вы ничего не заметили в начале моего урока? – спросил его Субоч.

– Нет, – ответил Платон Федорович.

– Никакого шума, грохота?

– Класс встает и садится всегда с некоторым шумом, – осторожно ответил Платон Федорович и с недоумением посмотрел на Субоча.

– Благодарю вас, – сказал Субоч. – Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления.

Платон Федорович выжидательно смотрел на Субоча.

– А что именно? – спросил он вкрадчиво.

– Ничего! – вдруг рассердясь, отрезал Субоч. – Извините, что я вас побеспокоил.

Платон Федорович развел руками и вышел.

– Сидите тихо, – сказал нам Субоч и взял журнал. – Я сейчас вернусь.

Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Варсонофием Николаевичем, носившим прозвище «Варсапонт».

Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене, влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления.

– Тэк-с! – загадочно сказал Варсапонт и засунул костыль обратно.

Класс следил за Варсапонтом.

– Тэк-с! – повторял Варсапонт. – Что сей сон означает?

– Тэк-с! – повторил он в третий раз, покачал головой и ушел.

Субоч сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери. Сорвались с тополей воробьи. Ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников.

До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей «психологического опыта» и боялись, что после этого Субоч действительно повредится в уме. Но все окончилось проще. Слух о «психологическом опыте» разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение.

Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениальное удается только раз. Дело окончилось провалом. Субоч все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь. Она была не хуже знаменитой речи Цицерона «Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением!»

Субоч сделал в этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субоча, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке «золотой латыни», на уроке самого великолепного из всех языков мира.

– Латинский язык! – восклицал он. – Язык Овидия и Горация! Тита Ливия и Лукреция! Марка Аврелия и Цезаря! Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гете и Шекспир! И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы. Золотая латынь! Каждое ее слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой. А вы? Что делаете вы? Вы издеваетесь над ним! Вы позволяете себе превращать занятия этим языком в балаган. Ваши головы начинены дешевыми мыслями! Мусором! Анекдотами! Футболом! Бильярдом! Курением! Зубоскальством! Кинематографом! Всякой белибердой! Стыдитесь!

Субоч гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но, кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь. Примирение вскоре было достигнуто. А потом наступил и величайший триумф «золотой латыни».

Стараясь загладить свою вину перед Субочем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субочем и очень его любили. И вот пришел наконец тот памятный день, когда Субоч вынужден был поставить всем, кого он вызвал, по пятерке.

– Счастливое стечение обстоятельств! – сказал Субоч и усмехнулся в усы.

И на следующем уроке, как Субоч ни придирался к нам и ни гонял нас по «темному тексту», он снова должен был поставить всем по пятерке.

Субоч сиял. Но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление, небывалое в его практике. Творилось попросту чудо.

После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субоч помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заговорила вся гимназия. Поползли вздорные слухи. Злые языки обвиняли Субоча в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста.

– Придется, – сказал как-то Субоч нерешительным голосом, – поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке. Как вы думаете?

Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субоч был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о «золотой латыни». Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась.

Все это кончилось тем, что Субоч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен. Он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсапонта и знатока латыни ксендза Олендского.

Субоч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить. Но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще.

Директор похохатывал и потирал руки. Варсапонт ерошил волосы. Помощник попечителя снисходительно улыбался. А ксендз Олендский только качал седой головой:

– Ой, полиглоты! Ой, лайдаки! Ой, хитрецы!

После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки. Но слава лучшего латиниста осталась за Субочем. Ничто уже не могло ее поколебать.

Преподаватели гуманитарных наук

Изящный старичок с белой вымытой бородой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин отличался одним необыкновенным свойством: он не выносил бессмысленных слов. Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники и рвал их в клочки или, сцепив руки, тряс ими перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал:

– Вас! Именно вас! Попрошу! Вон! Вас! Вон!

Припадки эти кончались глубоким изнеможением. То была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, уводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой.

Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались, чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки – на четверки. Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева».

Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул:

– Попугаи на бульвар прилетели!

Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу. Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку.

Потом Шульгин рванул на груди свой форменный сюртук. Отлетели и покатились по полу золотые пуговицы. Матусевич схватил его за руки. Один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем. Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал.

Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками парт.

Появились испуганный инспектор и Платон Федорович. Они увели Шульгина.

В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал:

– Пащенок! Вон сейчас же из нашего класса! А иначе – тебе не жить! Ну!

Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил. Класс молчал.

– Ну! – повторил Станишевский.

Гудим, пошатываясь, пошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим вобрал голову в плечи и вышел. Больше он в классе не появлялся. Да он и не мог появиться – законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений.

Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера, пристанище хулиганов и неучей. После этого случая Шульгин слег. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием.

Иногда мы встречали его в Николаевском сквере. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны.*

Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский – высокий, чванный, с бледным и постным лицом. По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и крамольников и сбившихся с пути разночинцев. О последних он говорил с сожалением, как о погибших талантах. Тростянский нас раздражал. В классных сочинениях мы ниспровергали его богов и превозносили крамольников. Тростянский, вежливо улыбаясь, доказывал нам тихим голосом, что мы ошибаемся, и ставил двойки.

Тростянского сменил преподаватель психологии и русской литературы Селиханович, похожий на поэта Брюсова. Он ходил в черном, застегнутом наглухо штатском сюртуке.

Это был человек мягкий и талантливый. Он «промыл» перед нами русскую литературу, как опытные мастера-реставраторы промывают картины. Он снял с нее пыль и грязь неправильных и мелких оценок, равнодушия, казенных слов и скучной зубрежки. И она заиграла перед нами таким великолепием красок, глубиной мысли и такой великой правдой, что многие из нас, уже взрослые юноши, были поражены.

От Селихановича мы узнали многое. Он открыл нам не только русскую литературу. Он открыл нам эпоху Возрождения и европейскую философию XIX века, сказки Андерсена и поэзию «Слова о полку Игореве». До тех пор мы бессмысленно вызубривали наизусть его древнеславянский текст. У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызывали восхищение широтой человеческого разума.

---

* В главке «О записных книжках и памяти» кн. 2 («Беспокойная юность») «Повести о жизни» К. Паустовский вспомнил такие весомые слова Я.Н. Шульгина:

Еще в гимназии учитель «русской словесности» старик Шульгин любил повторять нам, что «культура – это память». Сначала мы не очень соображали, о чем говорит Шульгин, но с возрастом поняли, что это действительно так.

– Мы, – говорил Шульгин, – держим в своей памяти века. Вся история мира, воображение, человеческая мысль – все это хранится в памяти и заставляет работать наш разум. Если бы не было памяти, мы бы жили, как слепые кроты.

Философы, писатели, ученые, поэты, чьи имена до тех пор воскрешали в памяти только мертвые даты и сухой перечень их «заслуг перед человечеством», превращались в ощутимых людей. В изображении Селихановича они никогда не существовали сами по себе, вне своей эпохи.

На уроках о Гоголе Селиханович воскрешал перед нами Рим гоголевских времен – его карту, его холмы и руины, его художников, карнавалы, самый воздух римской земли и синеву римского неба. Вереницы замечательных людей, связанных с Римом, проходили перед нами, вызванные к жизни магической силой. Эта магическая сила была проста и доступна каждому. Называлась она знанием, одухотворенным любовью и воображением.

Мы переходили из одной эпохи в другую, из одних интереснейших мест в другие, не менее интересные. Изучая литературу, мы побывали с Селихановичем всюду – среди оружейников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под моросящим дождем «Болдинской осени», в сиротских домах и долговых тюрьмах диккенсовской Англии, на рынках Парижа, в заброшенном монастыре на острове Майорке, где болел Шопен, и в безлюдной Тамани, где морской ветер шуршит стеблями сухой кукурузы.

Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира и чувством прекрасного, – жизнь Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рылеева, Чехова, Диккенса, Бальзака и еще многих лучших людей человечества. Это наполняло нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства.

Попутно Селиханович учил нас и неожиданным вещам – вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки.

– Несколько человек сидят в комнате, – говорил он. – Все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек?

Мы отвечали, что вежливый человек должен, конечно, тотчас уступить женщине кресло.

– А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? – спрашивал Селиханович.

Мы не могли догадаться.

– Уступить ей место спиной к свету, – отвечал Селиханович, – чтобы заплаканные ее глаза не были заметны.

Меня Селиханович удивил тем, что, заговорив о моем желании стать писателем, он спросил:

– А у вас хватит выносливости?

Я не подозревал, что эта черта необходима для занятия литературой. Впоследствии я убедился, что Селиханович был прав.

Однажды он остановил меня в коридоре и сказал:

– Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно: вы хотите быть прозаиком – значит, вам нужно хорошо знать поэзию.

Я пошел на лекцию Бальмонта. Она называлась «Поэзия как волшебство».

В зале Купеческого собрания было тесно и жарко. На маленьком столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, горели два бронзовых канделябра.

Вошел Бальмонт. Он был в сюртуке, с пышным шелковым галстуком. Скромная ромашка была воткнута в петлицу. Редкие желтоватые волосы падали на воротник. Серые глаза смотрели поверх голов загадочно и даже высокомерно. Бальмонт был уже не молод.

Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы он замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль.

После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах.

Кукушки нежный плач в глуши лесной
Звучит мольбой, тоскующей и странной.
Как весело, как горестно весной, —
Как мир хорош в своей красе нежданной!

Он читал, высоко подняв рыжеватую бородку. Стихи расплывались волнами над зрительным залом.

И, как тихий дальний топот,
за окном я слышу ропот,
Непонятный странный шепот —
шепот капель дождевых.

Бальмонт кончил. Затряслись от аплодисментов подвески на люстрах. Бальмонт поднял руку. Все стихли.

– Я прочту вам «Ворона» Эдгара По, – сказал Бальмонт. – Но перед этим я хочу рассказать, как судьба все же бывает милостива к нам, поэтам. Когда Эдгар По умер и его хоронили в Балтиморе, родственники поэта положили на его могилу каменную плиту необыкновенной тяжести. Эти набожные квакеры, очевидно, боялись, чтобы мятежный дух поэта не вырвался из могильных оков и не начал снова смущать покой деловых американцев. И вот, когда плиту опускали на могилу Эдгара, она раскололась. Эта расколотая плита лежит над ним до сих пор, и в трещинах ее каждую весну распускается троицын цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар По звал свою рано умершую прелестную жену Вирджинию.

Бальмонт начал читать «Ворона». Мрачная и великолепная поэзия дохнула в зал.

За окнами не было уже ни Киева, ни огней на Крещатике, висевших голубоватыми цепями, – не было ничего. Только ветер уныло гудел над черной, присыпанной снегом равниной. И железное слово «невермор» тяжело падало в пустоту этой ночи, как бой башенных часов.

«Невермор!» «Никогда!» С этим никак не мирилось сознание. Неужели никогда? Никогда не вернется на землю Вирджиния и никогда уже не постучит она шаловливо и осторожно в тяжелую дверь? Никогда не вернутся молодость, любовь и счастье? «Да, никогда!» – каркал ворон, и человек сжимался от одиночества в потертом кресле и смотрел больными детскими глазами в холодную пустоту. И этот маленький, брошенный всеми человек был Эдгар По, великий поэт Америки.

Я на всю жизнь остался благодарен Селихановичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии. Она открыла передо мной богатства языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную силу. Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, будто с глаз сняли повязку. Селиханович открыл нам литературу и философию, а старик Клячин – историю Западной Европы. Худой, в расстегнутом сюртуке, всегда небритый, с большим кадыком, с прищуренными и ничего не видящими глазами, Клячин говорил хрипло, резко, обрывками фраз.*

Он бросал слова, как комья глины. Он лепил ими живые статуи Дантона, Бабёфа, Марата, Бонапарта, Луи-Филиппа, Гамбетты. Негодование клокотало у него в горле, когда он говорил о девятом термидора или о предательстве Тьера. Он забывался до того, что закуривал папиросу, но, опомнившись, тотчас гасил ее о ближайшую парту.

Клячин был знаток французской революции. Существование этого учителя в тогдашней гимназии было загадкой. Иногда его речь подымалась до такого пафоса, будто он говорил не в классе, а с трибуны Конвента. Он был живым анахронизмом и вместе с тем самым передовым человеком из наших учителей.

---

* Похоже, здесь К. Паустовским допущено художественное преувеличение: на фото 1911 г. (см. выше) В.П. Клячин выглядит вполне бодрым господином средних лет.

Временами казалось, что это последний старый монтаньяр [(леворадикальная группа депутатов Конвента)], чудом проживший сто лет и очутившийся в Киеве. Он избежал гильотины и смерти в болотах Гвианы и не потерял ни капли своего сурового энтузиазма. Изредка Клячин уставал. Тогда он рассказывал нам о Париже времен революции – о его улицах и домах, о том, какие горели тогда на площадях фонари, как одевались женщины, какие песни пел народ, как выглядели газеты. Многим из нас после уроков Клячина хотелось перенестись на столетие назад, чтобы быть свидетелями великих событий, о которых он нам рассказывал.

Выстрел в театре

Паркет в актовом зале был так навощен, что в нем, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажженные среди дня люстры. В зале стоял легкий гул. Он сразу оборвался. Позванивая шпорами, в зал вошел невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас. Медными голосами закричали трубы. Мы стояли не шевелясь.

За полковником, Николаем Вторым, вошла, кивая, очень высокая сухая женщина в белом твердом платье, с огромной шляпой на голове. Страусовые перья свешивались с полей ее шляпы. Лицо у женщины было мертвое, красивое и злое. Это была императрица.

За ней гуськом шли девочки с тонкими бескровными губами, в таких же твердых белых платьях. Платья эти не гнулись. На них не было складок, и казалось, что они сделаны из белого ребристого картона. За девочками – великими княжнами – плыла, громко шурша, огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом пенсне и с атласной лентой через плечо – воспитательница царских дочерей фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. Она обмахивала лицо кружевным платочком.

Так началось торжественное празднование столетия нашей гимназии.

Свита закрыла от нас Николая. Мы видели только тщательно примазанные волоски на лысинах министров, алые ленты, белые брюки с золотыми лампасами и штрипками на лакированных ботинках, генеральские шаровары, серебряные кушаки. Лучший декламатор в гимназии Недельский читал царю приветственные стихи собственного сочинения. Он старательно выкрикивал их деревянным голосом. Он обращался к царю на «ты».

Потом свита раздалась, и по широкому проходу к нам подошел Николай. Он остановился, потрогал русые усы и медленно сказал, картавя:

– Здравствуйте, господа.

Мы ответили, как нас учили, – негромко, но внятно:

– Здравия желаем, ваше императорское величество!

Я стоял последним в шеренге, потому что был самым маленьким по росту в нашем выпускном классе. Николай подошел ко мне. Легкий тик передергивал его щеку. Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил:

– Как ваша фамилия?

Я ответил.

– Вы малоросс? – спросил Николай.

– Да, ваше величество, – ответил я.

Николай скользнул по мне скучным взглядом и подошел к моему соседу.

Он обошел всех. У каждого он спрашивал, как его фамилия.

После обхода начался концерт. Николай слушал его стоя. Поэтому стояли и все.

Всем видом своим Николай как бы хотел показать, что ему наскучили торжества и что он не намерен тратить время на гимназические концерты. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку.

Концерт скомкали. Гимназический оркестр сыграл «Славься, славься, наш русский царь». Потом кто-то прочел «Вещего Олега», а хор спел кантату.

Все это было скучно и никому не нужно. Министры позевывали за спиной царя. На участников концерта было тяжело смотреть – они дрожали от страха.

Пока шел концерт, мы разглядывали министров и свиту.

Нас удивила разница между царем и его свитой. Николай, невзрачный и даже мешковатый, терялся среди обширной свиты. Она звенела и сверкала золотом и серебром, лакированными голенищами сапог, лядунками, аксельбантами, темляками, саблями, шпорами, ментиками и орденами. Даже когда свитские стояли неподвижно, и то мы слышали неясный звон, исходивший от их регалий и оружия.

Николай прослушал концерт с каменным лицом и уехал из гимназии. Он был недоволен. У него были свои счеты с нашей гимназией. За два дня до этого торжества бывший гимназист нашей гимназии Багров стрелял в Оперном театре в министра Столыпина и смертельно его ранил. Но об этом я расскажу дальше.

По случаю столетия гимназии ее решили преобразовать в лицей. Указ об этом был заготовлен. Но после выстрела в театре это сочли неудобным – как можно давать права лицея гимназии, воспитывающей государственных преступников! Поэтому гимназию только переименовали в «Императорскую Александровскую» – в честь Александра Первого, а у гимназистов вместо обыкновенных гербов появились гербы с вензелем «А» и с короной.

Новые буквы на этом гербе – «ИАГ» – дали гимназистам остальных киевских гимназий богатую пищу для зубоскальства. На этой почве происходили драки. Мы же, гимназисты последнего класса, решили донашивать старые гербы. Начальство негодовало, но мы ссылались на то, что у нас нет денег на покупку новых гербов и пряжек. В конце концов начальство махнуло рукой. Не было смысла ссориться с выпускным классом.

По случаю приезда Николая в Киеве были разнообразные торжества. Открыли бронзовый уродливый памятник Александру Второму и еще более уродливые гипсовые памятники святым Ольге, Кириллу и Мефодию. В окрестностях Киева происходили маневры. Что-то освящали, открывали, устраивали крестные ходы и торжественные спектакли. Целую неделю на домах висели флаги.

На скаковом поле после рысистых бегов происходил парад всех киевских гимназий.

Мы прошли, подымая пыль, перед Николаем. Закатное солнце било в глаза. Мы ничего не видели и «завалили равнение». Из последних сил рявкали военные оркестры.

Наша гимназия отличилась тем, что забыла ответить на приветствие царя. К нам подскакал на лошади полный генерал, долго ругал нас и дергал в сердцах поводья. Рыжий конь прижимал уши и пятился.

В Оперном театре был торжественный спектакль в присутствии Николая. На этот спектакль повели гимназисток и гимназистов последних классов всех гимназий. Повели и наш класс. Служебными темными лестницами нас провели на галерку. Галерка была заперта. Спуститься в нижние ярусы мы не могли. У дверей стояли любезные, но наглые жандармские офицеры. Они перемигивались, пропуская хорошеньких гимназисток.

Я сидел в заднем ряду и ничего не видел. Было очень жарко. Потолок театрального зала нависал над самой головой. Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом загорались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста. Николай со своим семейством ушел в аванложу.

Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и свитские.

Я смотрел на зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов. Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы.

Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:

– Смотрите! Он сел прямо на пол!

– Кто?

– Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!

Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать. Вокруг Столыпина было пусто.

По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь. Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот. Из ложи бенуара спрыгнул вниз офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа.

– Очистить галерку! – сказал у меня за спиной жандармский офицер.

Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли.

Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Боже, царя храни».

– Он убил Столыпина, – сказал мне шепотом Фицовский.

– Не разговаривать! Выходить немедленно из театра! – крикнул жандармский офицер.

Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями.

Площадь была пуста. Цепи конных городовых оттеснили толпы, стоявшие около театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятясь, нервно перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков.

Пропел рожок. К театру размашистой рысью подкатила карета «скорой помощи». Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр.

Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались.

Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы.

Я вернулся домой на Лукьяновку и рассказал бабушке и Гаттенбергеру об убийстве Столыпина. Бабушка сказала, что нельзя стрелять в театре, так как могут пострадать невинные люди. А Гаттенбергер взволновался, надымил сигарой, заметил, что этого прохвоста Столыпина должны же были когда-нибудь убить, и тотчас уехал в город разузнавать новости. Он вернулся после полуночи и рассказал, что Малая Владимирская улица, где лежит в лечебнице Столыпин, застлана соломой, а черносотенцы призывают к еврейскому погрому.

– Этого еще не хватало! – воскликнула разгневанная бабушка.

Но Гаттенбергер сказал, что, пока царь в Киеве, погрома не будет. <…>

<…> ***Аттестат зрелости***

Выпускные экзамены начались в конце мая и тянулись целый месяц. Все классы были уже распущены на летние каникулы. Только мы приходили в пустую прохладную гимназию. Она будто отдыхала от зимней сутолоки. Шум наших шагов разносился по всем этажам. В актовом зале, где шли экзамены, окна были распахнуты. Семена одуванчиков летали в свете солнца по залу, как белые мерцающие огоньки. На экзамены полагалось приходить в мундирах. Жесткий ворот мундира с серебряным галуном натирал шею. Мы сидели в саду под каштанами в расстегнутых мундирах и ждали своей очереди.

Нас пугали экзамены. И нам было грустно покидать гимназию. Мы свыклись с ней. Будущее рисовалось неясным и трудным, главным образом потому, что мы неизбежно растеряем друг друга. Разрушится наша верная и веселая гимназическая семья.

К. Паустовский (крайний слева) с друзьями

Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать. На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.

Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.

Была еще вторая сходка. На ней мы условились, кто из нас должен помочь писать сочинения некоторым гимназисткам Мариинской женской гимназии. Не знаю почему, но письменный экзамен по русской словесности они держали вместе с нами. Переговоры с гимназистками вел Станишевский. Он принес список гимназисток, нуждавшихся в помощи. В списке было шесть имен. Мне поручили помочь гимназистке Богушевич. Я ее не знал и никогда не видел.

Сочинение мы писали в актовом зале. Каждый сидел за отдельным столиком – гимназисты слева, а гимназистки справа. По широкому проходу между гимназистками и нами прогуливались надзиратели. Они поглядывали, чтобы мы не передавали друг другу записок, промокашек и других подозрительных предметов.

Все шесть гимназисток из списка Станишевского сели около прохода. Я старался угадать, которая из них Богушевич. Фамилия «Богушевич» вызывала представление о полной украинке. Одна из гимназисток была полная, с толстыми косами. Я решил, что это и есть Богушевич. Вошел директор. Мы встали. Директор с треском распечатал плотный конверт, вынул из него бумагу с темой сочинения, присланной из учебного округа, взял мел и тщательно написал на доске: «Истинное просвещение соединяет нравственное развитие с умственным». Тревожный гул прошел по залу – тема была гробовая.

Мне нельзя было терять времени. Я тотчас начал писать конспект сочинения для Богушевич на узкой полоске бумаги. Во время выпускных экзаменов нам разрешалось курить. Для этого мы поодиночке отпрашивались в курительную комнату в конце коридора. Там дежурил одряхлевший сторож Казимир – тот самый, что привел меня в приготовительный класс. По дороге в курилку я свернул в тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. Я выкурил папиросу, а окурок положил на подоконник, на условленное место. Казимир ничего не заметил. Он сидел на стуле и жевал бутерброд.

Моя задача была окончена. После меня в курилку пошел Литтауэр. Он бросил на окно свой окурок с конспектом, а из моего достал шпаргалку и, возвращаясь на место по проходу, подбросил ее на стол гимназистке Богушевич. После Литтауэра это же проделали Станишевский, Регамэ и еще двое гимназистов. Их работа требовала ловкости и верного глаза. Я уже начал писать свое сочинение, когда в зал возвратился Литтауэр. Я следил за ним. Мне хотелось посмотреть, как и кому он подбросит шпаргалку. Но он сделал это так быстро, что я ничего не заметил. Только по тому, как одна из гимназисток начала судорожно писать, я понял, что дело сделано и Богушевич спасена.

Но писать начала не гимназистка с толстыми косами, а совсем другая. Я видел только ее худенькую спину, перекрещенную полосками от парадного белого передника, и рыжеватые локоны на шее. На сочинение дали четыре часа. Большинство из нас окончило его раньше. Только гимназистки еще сидели, мучаясь, за столами.

Мы вышли в сад. В нем в этот день пело такое множество птиц, будто они собирались здесь со всего Киева. В саду чуть не вспыхнула ссора между Литтауэром и Станишевским. Литтауэр сказал, что Станишевский бездарно устроил всю эту помощь гимназисткам. Станишевский вскипел. Он сиял от успеха своего предприятия и ожидал славы, а не критики.

– В чем дело? – спросил он Литтауэра задиристым тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

– А в том, что нам ни на какого черта не надо было знать фамилии гимназисток, которым мы пишем. Шесть гимназисток – шесть шпаргалок. Любую шпаргалку получает любая гимназистка. Зачем мне знать, что я пишу для Богушевич или Яворской? Не все ли мне равно! Это только осложнило дело, когда мы подбрасывали шпаргалки.

– Боже мой! – Станишевский горестно покачал головой. – Ты форменный кретин! У тебя нет никакого полета фантазии. Так знай, что я сделал это нарочно.

– Зачем?

– Мне это показалось ин-те-рес-нее! – веско ответил Станишевский. – Может быть, на этой почве вспыхнет между спасителем и спасенной жгучая любовь! Ты об этом подумал?

– Нет.

– Ну и балда! – отрезал Станишевский. – А теперь – к Франсуа. Есть мороженое.

После каждого экзамена мы кутили на свои скромные деньги – ходили в кондитерскую Франсуа и съедали там по пяти порций мороженого.

Самым трудным для меня был экзамен по тригонометрии. Я все-таки выдержал его. Экзамен затянулся до вечера.

После экзамена мы подождали, пока инспектор объявил отметки, и, обрадованные тем, что никто не провалился, шумно вырвались на улицу.

Станишевский изо всей силы швырнул вверх растрепанный учебник. С неба на мостовую, качаясь и разлетаясь по сторонам, посыпались страницы. Нам это понравилось. Мы все по команде метнули свои учебники в небо. Через минуту мостовая побелела от шелестящей бумаги. В спину нам засвистал городовой.

Мы свернули на Фундуклеевскую, потом на узкую Нестеровскую. Постепенно все разбрелись, и нас осталось всего пятеро: Станишевский, Фицовский, Шмуклер, Хорожевский и я. Мы пошли к Галицкому базару, где было много маленьких закусочных и пивных. Мы решили напиться, потому что считали, что экзамены уже окончены. Оставалась только латынь, но этого экзамена никто не боялся.

Мы острили и хохотали. В нас, по старомодному выражению, вселился бес. Прохожие оглядывались на нас. На Галицком базаре мы зашли в пивную. От полов пахло пивом. Вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались «отдельными кабинетами». Мы заняли такой «кабинет» и заказали водку и бефстроганов. Хозяин предусмотрительно задернул линялую занавеску. Но мы так шумели, что время от времени кто-нибудь из посетителей приоткрывал занавеску и заглядывал к нам в «кабинет». Всех заглядывающих мы угощали водкой. Они охотно пили и поздравляли нас с «благополучным окончанием».

Был уже поздний вечер, когда хозяин вошел в наш «кабинет» и, скосив на занавеску глаза, сказал вполголоса:

– Сипатый торчит за дверьми.

– Какой еще сипатый? – спросил Станишевский.

– Из сыскного. Надо вам аккуратненько выбираться во двор через задний ход. А со двора есть проход на Бульварно-Кудрявскую улицу.

Мы не придали особой важности словам хозяина, но все же вышли через задний ход в зловонный темный двор. Мимо мусорных ящиков и дровяных сараев, нагибаясь, чтобы не задеть головой за протянутые бельевые веревки, мы выбрались на Бульварно-Кудрявскую. Никто за нами не шел. Мы вышли из подворотни на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке.

– Добрый вечер! – просипел он зловещим голосом и приподнял котелок. – Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?

Сие фото выложено в Интернете Олесем Бузиной без идентификации (кроме возможного места съемки – Киев)

Мы ничего не ответили и пошли вверх по Бульварно-Кудрявской. Человек в котелке пошел за нами.

– Молоко на губах не обсохло, – сказал он со злобой, – а тоже лезут в проходные дворы!

Станишевский остановился. Человек в котелке тоже остановился и засунул руку в карман длинного пиджака.

– Что вам нужно? – спросил Станишевский. – Убирайтесь немедленно к черту!

– По кабакам ныряете, – заговорил человек в котелке. – А еще воспитанники императорской гимназии! За посещение кабаков полагается волчий билет. Это вам известно?

– Пойдем! – сказал нам Станишевский. – Скучно слушать дурака.

Мы пошли. Человек в котелке двинулся за нами.

– Я-то не дурак, – сказал он. – Это вы дураки. Я сам учился в гимназии.

– Оно и видно, – заметил Шмуклер.

– Что видно? – истерически закричал человек. – Меня за пьянку из гимназии выкинули с волчьим билетом. А я вам вашу выпивку так и прощу? Нет! Я своего добьюсь. Не будет мне покоя, пока не дадут вам по волчьему билету. Плакали ваши экзамены. Рукава от жилетки вы получите, а не университет. Вели в кабаке разговоры против правительства? Вели! Над царским семейством надсмехались? Надсмехались! Мне вас прибрать – это раз плюнуть. Со мной не рекомендую шутковать. Я вас все равно представлю в охранку.

Мы свернули по пустынным улицам к Святославскому яру. Мы думали, что сыщик побоится идти за нами в глухой этот яр. Но он упорно шел следом.

– Неужели мы впятером с ним не справимся? – тихо спросил Станишевский.

Мы остановились. Сыщик вынул из кармана револьвер. Он показал его нам и глухо засмеялся. Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Фицовский предложил отделяться по одному и исчезать. В этом случае сыщик всегда будет идти следом не за одним, а за несколькими – сначала за четырьмя, потом за тремя, за двумя и, наконец, за одним. Вместо пятерых он сможет задержать только одного.

Но никто из нас не согласился с Фицовским. Это было бы не по-товарищески.

Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством помешанного плелся сзади.

На востоке начало синеть. Пора было действовать. Мы сговорились и, кружа по переулкам, подошли к дому, где жил Станишевский.

На улицу выходила каменная ограда в полтора человеческих роста. Внизу на ней был выступ. Мы по команде вскочили на этот выступ и перемахнули через ограду. Уроки гимнастики нам пригодились. Куча битого кирпича лежала в палисаднике за оградой. Град кирпичей посыпался на сыщика, оставшегося за стеной. Он вскрикнул, отскочил на середину улицы и выстрелил. Нудно провыла в воздухе пуля.

Мы бросились через палисадник и подворотню во второй двор, взбежали на четвертый этаж, в квартиру Станишевского, и через несколько минут уже лежали все, раздевшись, на диванах и тахтах и прислушивались к тому, что происходит на улице.

Отец Станишевского, седой щетинистый адвокат, ходил по комнатам в халате. Он был настроен так же воинственно, как и мы, но умолял нас лежать спокойно, не вскакивать и не подходить к окнам. Сначала было слышно, как кто-то бешено тряс ворота и ругался с дворником. Потом во дворе послышались голоса сипатого и городовых. На наше счастье, двор того дома, где жил Станишевский, был проходным. Дворник уверял, что гимназисты, должно быть, удрали через проходной двор. Пошумев, сыщик и городовые ушли.

Мы уснули мертвым сном и проснулись только в полдень. Мы выслали на улицу разведчиц – сестер Станишевского. Ничего подозрительного не было, и мы разошлись по домам. Как это ни покажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности: неизбежного исключения и волчьего билета за два дня до окончания гимназии. Это было бы равносильно гражданской смерти.

Наконец настал удивительный день, когда в актовом зале у большого стола, покрытого зеленым сукном, директор роздал нам аттестаты и поздравил каждого с окончанием гимназии. На следующий день в гимназии был традиционный выпускной бал. На него пригласили гимназисток, державших вместе с нами экзамен по русской словесности.

Гимназия была ярко освещена. В саду висели разноцветные фонарики. Играл оркестр.

Перед балом Субоч сказал нам речь:

– В четвертом классе я вас только терпел. В пятом я начал вас воспитывать, хотя было мало шансов сделать из вас настоящих людей. В шестом классе я с вами подружился. В седьмом – я вас полюбил, а в восьмом я начал даже вами гордиться. Я несчастный отец. У меня слишком много детей, не меньше сорока человек. К тому же через каждые несколько лет мои дети меняются. Одни уходят, другие приходят. Отсюда вывод – на мою долю выпадает в сорок раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в сорок раз больше возни. Поэтому я, может быть, не всегда был одинаково внимателен ко всем. Мне грустно расставаться с вами. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Я молодел с вами. Я прощаю отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с первым отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия. Но вас я призываю к великодушию. Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но что это все-таки значит? Это значит, что ежедневно мы встречаем людей, чье существование не приносит ни им, ни окружающим никакой радости и пользы. Бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни были, помните мудрый совет: «Ни одного дня без написанной строчки». Трудитесь! Что такое талант? Трижды и четырежды труд. Любите труд, и пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги! Не поминайте лихом своих наставников, поседевших в боях с вами!

Мы бросились к нему, и он расцеловался с каждым из нас.

– А теперь, – сказал Субоч, – несколько слов по-латыни!

Он взмахнул руками и запел:

1) Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
[Post jugundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
2) Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad Superos,
Transite ad Inferos,
Ubi jam fuere!
3) Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!
4) Vivat Academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!

Vivant membra qualibet!
Semper sunt in flore!
5) Vivant omnes virgines,
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!
6) Vivat et respublica
Et qui illam regint!
Vivat nostrum civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegint!
7) Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat Diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores!]*

Мы подхватили нашу первую студенческую песню.

Потом начался бал. Распорядителем был Станишевский. Он приказал гимназистам-спасителям пригласить на вальс спасенных ими гимназисток. Он познакомил меня с худенькой девушкой с радостными глазами – Олей Богушевич. Она была в белом платье. Опустив глаза, она поблагодарила меня за помощь и побледнела от смущения. Я ответил, что это сущие пустяки. Мы танцевали с ней. Потом я принес ей из буфета мороженого.

После бала мы провожали гимназисток домой. Оля Богушевич жила в Липках. Я шел с ней ночью под теплой листвой деревьев. Ее белое платье казалось слишком нарядным даже для этой июньской ночи. Мы расстались с ней друзьями.

Я пошел к Фицовскому, где наш кружок проводил остаток ночи. Мы устроили в складчину ужин с вином и пригласили на него Субоча, Селихановича и Иогансона. Иогансон пел песенки Шуберта. Субоч виртуозно аккомпанировал ему на бутылках.

Мы много шумели и разошлись, когда поднялось солнце, но на улицах еще лежала холодная длинная тень. Мы крепко обняли друг друга на прощанье и пошли каждый своей дорогой со странным чувством грусти и веселья. <…>

1946 г.

---

* Дословный перевод:

Итак, будем веселиться, / Пока мы молоды! / После веселой молодости, / После горестной старости / Нас возьмет земля. / Где те, кто до нас / Жили на земле? / Идите на Небо, / Перейдите в Ад, / Где они уже были! / Наша жизнь коротка, / Конец ее близок; / Смерть приходит быстро, / Уносит нас безжалостно, / Никому не будет пощады! / Да здравствует Академия! / Да здравствуют профессора! / Да здравствуют все члены ее! / Да здравствует каждый член! / Пусть вечно они процветают! / Да здравствуют все девушки, / Стройные, изящные! / Да здравствуют и женщины, / Нежные, любящие, / Добрые, трудолюбивые! / Да здравствует наша страна, / И тот, кто ею правит! / Да здравствует наш город, / Милость меценатов, / Которые нам покровительствуют! / Да погибнет тоска, / Да погибнут печали! / Да погибнет Дьявол, / И все враги студентов, / И смеющиеся! (над ними).

Первые две и последняя строки каждого куплета исполняются дважды. Таким образом, строки каждого куплета исполняются в следующем порядке: I, II, I, II, III, IV, V, V. Имеются и поэтические переложения.